Илья Эренбург

4

Илья Эренбург 4

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

Илья Эренбург

Собрание сочинений в восьми томах

Москва
«Художественная литература»
1991

Илья Эренбург

Собрание сочинений
том четвертый

Очерки
Репортажи
Эссе

1922–1939

Москва
«Художественная литература»
1964

ББК 84Р7
Э 76

Составление, подготовка текста
И И ЭРЕНБУРГ и Б. Я. ФРЕЗИНСКОГО

Комментарии
Б Я ФРЕЗИНСКОГО, В. В. ПОПОВА

Оформление художника
Е А ГАННУШКИНА

Э $\frac{4702010206-326}{028(01)-91}$ Подписное

ISBN 5-280-01625-X (Т. 4)
ISBN 5-280-01055-3

Виза времени ▪

Письма другу

БЕРЛИН

Дорогой друг, я все еще в Берлине. Ты удивишься. Как можно, когда существуют аспид и мимозы парижских бульваров, теплые ступени римской Пьяцца-Спанья, смолистое кьянти в траттoриях Флоренции и прочие превосходные вещи, сидеть в этом городе, похожем на запущенную казарму с выбитыми стеклами, пропускающими круглый год холодные норд-осты? Ведь сколько раз в былые времена, проезжая Берлин, торопились мы скорее перебраться с одного вокзала на другой, подняв воротник пальто, не глядя на прямые, скучные улицы. Берлин тогда казался нам не городом, а узловой станцией. Что же, мы не были столь далеки от правды. Конечно, многое изменилось в Европе. Говорят, что и Берлин сильно изменился. Но сильнее всего изменились мы сами. Если я живу в Берлине, то отнюдь не оттого, что в нем появились мимозы или кьянти. Нет, просто я полюбил за годы революции грязные узловые станции с мечущимися беженцами и недействующими расписаниями.

(Впрочем, может быть, все это — литература, и причины, удерживающие меня в Берлине, не имеют ничего общего с моей железнодорожной страстью. Ведь ты знаешь, что мимозы парижских бульваров находятся под заботливым покровительством Пуанкаре, а на широкой лестнице Пьяцца-Спанья резвятся чернорубашечники Муссолини.)

Я не берусь тебе объяснить, что привлекает в Берлин табуны иностранцев. Я пишу это письмо из «Романишес-кафе». Это очень почтенное учреждение, нечто вроде генерального штаба фанатических бродяг, вселенских хлопотунов и просвещенных жуликов, исцеленных от узкого национализма. Профессию моих соседей определить трудно. Мягкие, бесформенные

шляпы, яркие, но засаленные галстуки, давно не бритые щеки в равной мере характерны и для художника-дадаиста, и для неудачливого спекулянта, торгующего долларами поштучно. Прислушиваюсь к беседам. Щупленький итальянец громко шепчет (этому свойству позавидовал бы любой начинающий актер) о том, что следует к июню или самое позднее к июлю организовать международный рабочий поход на Рим. Рядом с ним какой-то голландский литератор, необычайно крайний, возмущается гастролями Московского камерного театра: «Помилуйте, ужасные ретрограды! В то время как у них в Гарлеме выработана декларация, отменяющая и авторов и актеров, люди, приехавшие из красной Москвы, играют... Расина!» Не менее голландца возмущен его сосед, национальности абсолютно неопределимой: он вчера купил датские кроны, а сегодня они пали. Государственный банк, вместо того чтобы заботиться о финансах страны, разоряет людей. А цены растут: «мокко» сегодня уже восемьсот марок! Возмутительно! На этом сходятся все.

Я не знаю, почему все эти люди живут в Берлине. Валюта или визы? Эмигранты или экономные туристы? Во всяком случае, все они Берлином недовольны и не пропустят возможности его поругать. Особенно русские: это считается хорошим тоном. Я совсем не хочу оригинальничать. Я боюсь, что ты не поверишь мне,—это звучит явно парадоксально: я полюбил Берлин.

— Вы шутите? Ведь это город, у которого нет лица...

Они правы по-своему. Берлин уныл, однообразен и лишен couleur locale[1]. Это его «лицо», и за это я его люблю. Трудно разобраться в длинных прямых улицах, одна точная копия другой. Можно идти час, два—и увидеть то же самое: дома с противоестественными валькириями или кентаврами на фасадах, чахлые деревья, общипанные вечными сквозняками, и на углу—сигарную лавку «Лейзер и Вольф». Это—выставка, громадный макет, приснившийся план. Кажется, люди должны здесь жить по-особому: голо и схематично, мечтать о мировых походах, изобретать теорию относительности и есть вареный картофель.

В центре Берлина метрополитен, вырываясь из-под земли, дугой висит над городом. Это станция «Гляйс-

---

[1] Местный колорит *(фр.)*

драйэк». Рельсы. Гудки локомотивов. Огни семафоров. Железная идиллия.

А дальше?.. А дальше — поезда снова врываются в землю. Выходят на ежедневную учебу взводы домов, мерзнут кентавры, облетают деревья, и абстрактный приказчик сигарной лавки «Лейзер и Вольф» продает схематическому покупателю сигару, сделанную из листьев капусты. Оба условно называют ее «гаваной». В годы войны им снились сказочный Багдад, нефть и рельсы. Теперь они смотрят в кинематографе «Теорию относительности», которая сопровождается жалобами Шумана и стонами вдов.

В Европе только один современный город — это Берлин. О, конечно, в Лондоне больше автомобилей, но, кроме автомобилей, в Лондоне имеются уютные домики, проповедники Гайд-парка, рождественские индюшки, Вестминстерское аббатство и прочие буколические радости. Нет, Лондон не город,— это «рай» и «ад» нравоучительных картинок; здесь плакал бедный Дэвид Копперфилд. Картинки я знаю с детских лет. И если члены Пиквикского клуба вместо омнибусов передвигаются в автобусах, то это лишь некоторое неуважение к памяти Диккенса. Ты любишь Париж? Я его тоже очень люблю. Это, пожалуй, только «рай», и, когда меня в прошлом году из этого «рая» выгнали, я, как Адам, застенчиво улыбался. Что говорить — замечательный город! Ты ведь знаешь его не хуже меня. Вспомни мидинеток под каштанами, девочек, прыгающих на расчерченной мелом мостовой, букинистов вдоль набережной Сены, черных дроздов и символических поэтов в Люксембурге, «страшного» анархиста Себастьяна Фора, который учит хоровому пению младенцев,— вспомни все. Разве это не грандиозная провинция, не очаровательные выселки счастливейших людей?

Да, разумеется, и у Парижа и у Лондона имеется свое «лицо». А Берлин — просто большой город, мыслимая столица Европы. Среди других городов — это Карл Шмидт, Поль Дюран, Иван Иванович Иванов.

Я думаю, теперь ты начинаешь понимать мое пристрастие к Берлину. Но есть в нем другие чары. В этом городе, похожем на огромный вокзал, идет действительно вокзальная жизнь. В Берлине больше нет быта, и немецкие писатели-бытовики поливают желудевым кофе томительные мемуары.

В Париже я видал и дроздов и символистов. Война как будто кончилась. Вдовы вышли замуж. Калеки привыкли к костылям. Аперитивы по-прежнему манят своей горечью и сладостью. Быт все тот же, я радуюсь за Париж,— он заслужил своих дроздов и символистов.

Ты пишешь мне, что жизнь в России налаживается. Появились новые писатели, стойкие юноши и американизированные тресты. Я радуюсь за Россию. Разумеется, она заслужила и это, и многое иное.

Здесь же ничего нет. Старое ушло. Офицеры из Контрольной комиссии своими руками разбивали превосходные прожекты. Осколки валялись на земле. Новое не явилось. Наступила вокзальная жизнь.

Прочитав эти слова, не подумай о былых временах, о вылощенных, нарядных вокзалах Франкфурта и Штутгарта. Это очень неприютный вокзал. Если в нем имеются чистые и спокойные уголки, то они мало кому доступны. Я вспоминаю узловую станцию Жмеринку во время немецкой оккупации. Загаженный беженцами зал. В углу столик, накрытый чистой скатеркой, как будто перенесенный сюда из мифического ресторана. На столе карточка. «Только для гг. германских офицеров». Такой столик существует, конечно, и в Берлине,— это витрины хороших магазинов, плакаты курортов, театры, автомобили и прочее. На них значатся цифры, но в переводе на немецкий язык эти цифры читаются: «Только для гг. иностранцев».

Впрочем, трагедия и очарование Берлина отнюдь не в бедности, не в лишениях. Нас, переживших годы революции, этим удивить трудно. Я видал вокзалы пострашней. Нет, особенность здешней жизни — в прирожденной страсти к точным расписаниям и в полном отсутствии их. В Берлине нет ни анархии, ни революции, ни разложения. Но над большим прямым городом, над железной сетью Гляйс-драйэка, над валькириями, даже над сигарными лавками «Лейзер и Вольф» стоит неизвестность. Никто не принимает этой жизни всерьез. Никто не знает, когда придет поезд и куда увезет он растерянных пассажиров.

Какой строй в Германии? Говорят, что республика. Вероятно, это так. Во всяком случае, в Берлине строй незаметный, а это немалое достоинство.

Республика?.. Может быть... Я живу в маленьком пансионе. Над моей кроватью висит фотография императорской семьи. Каждое утро, просыпаясь, я в уми-

лении считаю, сколько же у кайзера сыновей. Умилившись, я выхожу на улицу,— называется она, кстати, Кайзераллее. Рядом с ней находится Гогенцоллернплац. Это хорошая площадь, что касается имен, то как-то левые предложили переименовать улицы. Но гласные, сославшись на величие истории и на интересы шоферов, предложение отклонили. Впрочем, я тебя уверяю, что в Германии была революция, и Келлерман даже написал об этом популярный роман. Хочу оправдать и мою хозяйку: в витрине любого писчебумажного магазина имеются превосходные фотографии кайзера и всех его домочадцев. Они стоят дешево и хорошо раскупаются. В каждой приличной семье должен быть хоть один портрет кайзера — это в порядке нежных воспоминаний. Ведь не всегда же люди жили на вокзале... В некоторых рабочих семьях, впрочем, можно обнаружить портреты других покойников: Бебеля или двух Либкнехтов. Но любопытно, что эти изображения являются лишь памятью о былых днях. Я нигде не видал фотографий людей, которые теперь управляют страной. Конечно, на вокзале не до фотографа.

Да, в Германии, безусловно, республика, я вспомнил — существует даже закон о ее охране. Берлинцы читают в проходе трамвая «B. Z.» и узнают, что в Дрездене коммунисты устраивают рабочее правительство, а в Мюнхене фашисты готовятся к перевороту. Читая это, берлинцы думают, что и Дрезден и Мюнхен — счастливые города. Там имеются хотя бы поддельные расписания. В Берлине же никто не знает, когда и куда уйдет ближайший поезд.

Как в каждом городе, в Берлине имеются «националисты» и «интернационалисты». Они живут в разных кварталах. Западная часть Берлина настроена сверхпатриотично. Но это отнюдь не оттого, что она ближе к Руру Нет, западные кварталы далеко от чада фабрик и поэтому заселены «порядочными людьми», а, как известно, «порядочные люди» любят говорить о любви к родине. «Порядочный человек» не выносит французского языка. Часто он не может вынести и русский язык, ибо никак не хочет поверить, что русский язык — это не польский язык. Он непримирим Для него Камерный театр был принужден переименовать «Адриенну Лекуврер» в «Морица Саксонского», а «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов». «Довольно иностранцев!» — ворчит он. Поворчав же, идет на бир-

жу, покупает акции захваченных французами предприятий, насмехается над государственным займом, играет на понижение марки и, заработав за одно утро десять миллионов, жертвует тысячу марок «в пользу борцов Рура». По дороге домой он заезжает в большой парфюмерный магазин. На дверях надпись: «Никаких французских товаров». «Порядочный человек» знает, что магазин принадлежит другому «порядочному человеку», а надписи на дверях предназначаются для зевак; спокойно он спрашивает флакон духов Герлена: подарок любовнице.

Люди, которые живут на восточной и на северной окраинах Берлина, считают себя «интернационалистами». Но они не играют на бирже. Они от своих скудных грошей отделяют гроши и шлют их через профсоюзы рурским сотоварищам. Иногда они отправляются в чужие кварталы и, проходя по улицам Вестена, поют «Интернационал». Порой и обитатели Запада переступают границы,— пеньем «Deutschland über alles»[1] дразнят Восток. Тогда все путается на узловой станции, и даже такая солидная монументальная вещь, как патриотизм, который раньше был гранитом памятников Бисмарку и медью крупповских игрушек, становится неясной, меняющейся формой. Может быть, эти люди, отрицающие рьяно родину, и являются подлинными патриотами?

Так обстоит дело с патриотизмом. Но не думай, что неизвестность, неопределенность касаются лишь тончайших сфер политики, внешней и внутренней. Нет, я их чувствую во всем. Я даже начинаю сомневаться во времени и летоисчислении. Так, недавно я ощутил всю невесомость шести-семи веков. Я сидел в мрачном зале и слушал, как судили писателя Карла Эйнштейна. Он написал книгу. Книга как книга. Его обвинили в богохульстве. В Германии, кстати, «свобода совести». Эксперты цитировали «отцов церкви». Все было весьма эффектно и напоминало исторические пьесы в постановке Рейнгардта.

Это — единственный раз, когда я заметил, что в Берлине кто-то помнит о существовании религии. Точнее, об этом вспомнили, чтобы засудить писателя. Церкви стоят на месте (их здесь не особенно много).

[1] Германия превыше всего *(нем.)*

В воскресенье туда ходят слушать за небольшую плату концерт. Это относится, конечно, не к религии, а к музыке.

Морали тоже не стало. Старая — это семейные воспоминания вроде портретов кайзера. Новой еще не выдумали: нельзя же на вокзале развешивать картинки... Живут как придется. Милая Гретхен продает журналы. Надо уметь купить, не краснея,— это «Freundschaft»[1], академический вестник, посвященный гомосексуализму. Проститутка, скромно зазывающая на Егерштрассе прохожего, начинает казаться образцом добродетели. Помилуй, среди кафе, где женщины любят женщин, а мужчины мужчин, она просто-напросто — самая обыкновенная традиционная проститутка. Ведь это идиллия!

В двенадцать часов ночи закрываются кафе. В двенадцать часов открываются нахт-локали. Иностранец стоит на улице — куда идти? Подходит немец, солидный, добродетельный немец: «Хотите?..» Идут долго темными, похожими одна на другую улицами. Условный стук в окно. Иностранец пугливо озирается: ведь это притон! Но он входит в обыкновенную семейную квартиру. На стенах — фамильные фотографии к серебряной свадьбе. Хозяин, который днем пишет бумаги в каком-нибудь бюро, начинает увеселять гостя похабными историями. Хозяин еще помнит прошлые времена и говорит с легкой тошнотой. Хозяйка подает поддельное шампанское и желудевый кофе. Потом приходят дочки, равнодушно раздеваются и танцуют. Они молоды и ни о чем не помнят, они испытывают лишь холод: семья экономит на угле.

Я тебе пишу не о чудовищах, а о жизни бедных людей, которые не виноваты ни в том, что они хотят есть, ни в том, что хитрый немец, сделавший в Гамбурге луну, еще не придумал новой морали.

Те, кому не нужны оброненные иностранцем кроны или шиллинги, развлекаются иначе. А может быть — так же: смотрят, как танцуют голые женщины, танцуют сами, главным образом — танцуют. Поехал я этой зимой в горы, на границу Богемии. Деревушка оказалась переполненной берлинскими шиберами. Жены

[1] Дружба *(нем.)*.

шиберов, одетые в ярко-лиловые или изумрудные штаны, съезжали на своих собственных задах, весивших не менее трех пудов, со снежных гор, а поработав, спешили в диле, то есть на танцульки, отплясывать фокстрот. В Берлине столько же диле, сколько в Париже кафе, в Брюсселе банков, а в Москве советских учреждений. Танцуют все, всюду и везде, танцуют длительно и похотливо.

Немудрено, что и искусство современной Германии охвачено удушающими туманами. Ты полагаешь, что экспрессионизм — это школа? Тщетно искать в нем художественных канонов, присущих хотя бы импрессионизму или футуризму. Экспрессионизм — истерика. В галерее «Штурм» висит громадное полотно, закиданное красной краской.

Называется «Симфония крови». Критиковать? Не стоит. Просто художнику не до картин: он хотел плакать или буянить. Краски оказались под рукой. Мог оказаться револьвер — было бы хуже. Дай тюбики с красками любому путчисту, правому или левому,— он мигом сделает такую же «симфонию крови». В том же «Штурме» соответствующие поэты читают стихи. Полумрак. Зеленые лампы. Невыносимый вой. «Тайна...», «Кровь...» Становится не на шутку страшно. Когда устраивает припадок истерики какая-нибудь Зизи или Мими — это, может быть, даже очень мило. Но когда голосит и бьется здоровый, работящий Карл Шмидт   это весьма тяжело.

Моя хозяйка тоже больше ни во что не верит Доллар и марка вертятся на трапециях. Вслед за ними вертится столь скромная вещь, как цена на картошку. Купить сегодня или завтра?.. Ничего не известно!

Подделка раньше была подделкой. Теперь она стала бытом. В Берлине все   эрзац. Табак из капусты, кофе из фасоли, пирожные из картошки. Вместо рубашек — одни манишки. Когда берешь в руки простейшую вещь, никогда не знаешь, из чего она сделана. К этому быстро привыкаешь, и это очень хорошо гармонирует со всей вокзальной жизнью. Если бы мне дали здесь хлеб с маслом, я, наверное, принял бы масло за подделку почтенного маргарина.

Перечитал письмо и усомнился, поймешь ли ты меня. Ведь мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься тому, что ты не в Берлине, а в стране, где жизнь налаживается, где имеются новые писатели, стойкие юноши, американизированные тресты и многое другое. Что же, я все-таки люблю Берлин. Я, кажется, забыл тебе сказать нечто весьма важное. Этот город беженцев, несмотря на все отчаяние, исступленно работает. И, глядя на его работу, порой забываешь даже о вокзале,— видишь только прекрасные железнодорожные мастерские. А зачем эти люди работают и что будет завтра — они сами не знают.

Этой работы иностранцы обыкновенно не замечают. Как-то трудно поверить, блуждая по запущенным улицам Берлина, слушая заглушенные звуки джимми, глядя на всякие «симфонии крови», что рядом идет созидание новых вещей. За два последних года проложена большая линия метрополитена. Науэнская радиостанция выросла в четыре раза. Немцы не могут не работать, так же как неаполитанцы не могут не петь. Пафос труда предохраняет Берлин от небытия. Он хочет жить, и в этом он радикально расходится с пожеланиями старшего консьержа Comité des Forges.

Но как бы ни целила работа души берлинцев, неизвестность томит их. Для чего все эти создаваемые вещи? Не забывай, что речь идет о народе философов, социальных доктринеров и моралистов. В маленьком кафе «Иости» за чашкой желудевого кофе посетители в перелицованных пиджаках спорят о судьбах Европы. Шпенглер писал свою книгу здесь же, рядом, на вокзальной стойке...

Самые нетерпеливые не могут больше ждать. Довольно!.. Все равно куда, лишь бы уехать. В нетопленных опустевших квартирах мелких бюргеров пылкие мечтатели грезят о великолепии былой империи. У них темперамент не моей хозяйки — портретов кайзера им мало. Там вылупляются на свет божий мрачные романтики, убийцы Ратенау и Эрцбергера.

А в кварталах, северном и восточном, тоже молодые и тоже неистовые жадно посматривают в ту сторону, где живешь ты, дорогой друг, где имеются разные странные и завлекательные вещи.

Ни у тех, ни у других нет своего собственного знамени. В дни уличных стычек мелькают междуна-

родные символы — знак свастики и пятиугольная звезда. И тех и других мало. Огромное большинство берлинцев не верит в эти спасительные расписания. Когда же? Когда и куда?.. Прекрасная неизвестность! Ты, проделавший нашу великую революцию, пойми и полюби ее! Это единственная правда сегодняшней Европы. Все выдающие свои выкладки или грезы за подлинное расписание лгут, одни искренне, другие нет.

Вся Европа полна той же неизвестности: и чопорный Лондон со своей «мирной эволюцией», и наш милый Париж. Но другие города, богатые и сытые, скрывают тревогу, и меня пленяет среди этих каменных страусов откровенно нищий Берлин.

Сердце Европы работает далеко не исправно. В предчувствии невыносимых разлук оно порывисто бьется. Часто по ночам мне кажется, что я слышу его глухие перебои. Слушать сердце Европы можно только в Берлине. Да, конечно, в Лондоне мораль еще на месте, и прелестные англичанки с ангельскими овалами прерафаэлитов не продают «Freundschaft». Да, конечно, Пикассо делает великолепные картины, с которыми нельзя сравнить мазню экспрессионистов. Да, конечно, даже португальский мильрейс может смотреть на германскую марку, как на цирковую лилипутку.

Да, конечно, здесь жизнь еще не налаживается, юноши склонны к неврастении, писателей новых нет, а работе трестов сильно мешают их же кузены — французские тресты.

Но скучный абстрактный Берлин снялся с места, двинулся в ночь. Поэтому Фридрихштрассе темнее и страшнее Пикадилли или Бульвар-де-Капусин. Мне кажется, что тот, кто первый вышел, раньше всех дойдет. Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин. Полюби его потому, что ты любишь Париж и Рим, потому, что ты любишь несчастную сумасбродку Европу, которая запуталась в проволочных заграждениях Пикардии, Польши, Тироля и которая валяется в засохшей крови и в незасыхающей грязи. Полюби ее невольного гонца в прекраснейшую неизвестность, город отвратительных памятников и встревоженных глаз — Берлин!

БРОКЕН

Уехать из Берлина теперь не так-то просто О загранице и мечтать нечего: все равно — дальше передней какого-либо великодержавного консульства не уйдешь. Но и Германия делится на различные поясы: досягаемые, опасные и вовсе не доступные. На Востоке через жилую комнату, как известно, проложен «коридор», в отличие от обычных коридоров отнюдь не приспособленный для того, чтобы по нему ходили. Я боюсь, что в этом коридоре имеются места менее сладкие, нежели цукерни. Я не еду на Восток. На Западе происходит «мирная демонстрация плодов латинской культуры», а также различные похороны случайно погибающих при этом варваров-тевтонов. Кроме того, там ежедневно арестовывают не менее десяти переодетых Радеков. Я, кажется, с лица не похож на названного гражданина. Но все бывает: однажды в Пиллау меня приняли за капитана французской армии. Я не еду на Запад. Юг? Да, конечно, в Баварии очень хорошие горы. Но видишь ли, я не высказался до сих пор ни за Кирилла Владимировича, ни за Николая Николаевича: при таких условиях наивно хлопотать о баварской визе.

Итак, я уехал туда, куда можно было уехать. Сейчас я сижу на верхушке Брокена. Правда, здесь до неприличия холодно и сыплет хороший крещенский снег. Зато ведьмы не держат консульств и не спрашивают виз. Благодатные места! Кроме снега здесь можно найти спокойствие. Глядя на чёрные холмы Гарца, я чувствую лирическую тошноту. Откровенно говоря, мне хочется писать не тебе и вовсе не о немцах. Но я буду достойным окружающих меня туристов, для которых летний отдых — тяжелая работа, и попытаюсь честно закончить это письмо.

Те же черные холмы, кроме соображений лирических и сентиментальных, могут вызвать иные чувства. Бедекер уверяет, что отсюда видно, не считая сел, восемьдесят семь городов. Всюду трубы, которые бодро дышат среди холодных долин. Все это приводит меня в состояние спокойное, уверенное. Может быть, там изготовляют самые неувлекательные вещи: револьверы, сейфы, презервативы. Отсюда не видно. Но дыхание труб означает, что земля живет, и это приятно.

В Берлине порой слишком беспокойно. Чересчур много античной трагедии, цыганского табора и разговоров о долларе. Здесь я отдыхаю от прекрасной неуверенности.

Летом семнадцатого года люди в России успокаивались, выбравшись за заставу города и увидев поле, ромашки, великолепную эпическую чушку.

Здесь роль последней играют дымящие трубы. Они напоминают о нерушимом ритме жизни. «Еще дымят»,— может сказать сторож Брокенской обсерватории, пренебрегая всем остальным, от Шпенглера до доллара.

Ты можешь расценивать это как хочешь. Одни начнут говорить о физиологической потребности, другие о религиозном пафосе труда. Мне же сдается, что в этом повинна воля материала. Горло певчих птиц создано для лирики, и задолго до первой корриды шеи кастильцев уже напоминали бычьи шеи. Труд здесь — хлеб и небо. Об этом можно писать вдохновенные книги. Я же сейчас ограничусь одним примером. В дни спартаковского восстания революционеры захватили помещение газеты «Форвертс», которая была тогда органом усмирителей. Бои отличались обычной ожесточенностью гражданской войны: убивали, расстреливали, живьем не сдавались. Носке победил, помещение «Форвертса» было взято. А два часа спустя вышел очередной номер газеты. Лежали трупы спартаковцев, но ни одна машина не была повреждена. Почему же побежденные, умирая или отступая, оставили своим врагам такое оружие? О, конечно, не по великодушию. Нет, просто рука немецкого рабочего не могла подняться на машину. Для него легче было убить человека.

Теперь ты понимаешь, что вид с Брокена стоит столбца газетных телеграмм. Если бы ты сейчас был здесь, в этом темном промерзшем зале, где туристы пьют желудевый кофе, откуда видны трубы восьмидесяти семи городов,— ты понял бы, как может бороться организм с тифозными бациллами.

Это было бы наилучшим ответом на твой вопрос: не отдают ли немецкой «клюквой» книги молодых русских писателей, побывавших во всех немецких нахтлокалях и уверовавших в агонию Германии? В борделях даже самых здоровых стран трубы, разумеется, не дымят, а писатели, попадая за границу, скучать не

любят. Кроме того, в Москве иногда психологически необходимо думать, что Европа — не жилица. Однако, Германия живет. Кроме этих восьмидесяти семи имеется много других городов. А книги? Книги остаются книгами.

Конечно, бацилл сколько угодно. Недавно я присутствовал при съемке фильма. Героиня кидалась с балкона замка, а герой, терзаемый раскаяниями, кончал свою кинематографическую жизнь на верхушке липы Режиссер рассказал мне, что на днях будут произведены другие съемки последней части. Героиня помирится с мужем и даже спешно родит ребенка, а бывший любовник получит место старшего лесничего в имении счастливого супруга и вполне этим удовлетворится Благополучная развязка предназначается для экспорта в Америку. Что касается немцев, то для них героиня непременно будет кидаться с балкона, а герой вешаться. Два конца одной картины — обычное явление: если американцы не выносят мрачных концов, немцы радуются им. Благополучный исход, торжество добродетели здесь сейчас не в моде: они оскорбляют. Режиссеры ночей не спят, выдумывая все новые и новые ужасы: замуровать, привезти чуму, выдать живьем крысам. В темных длинных залах кино чувствуешь ясно приступы жара. Петер Мюллер страшен в такие минуты. На картофельных его щеках при виде диких пыток проступает румянец. Жидкие глаза горят, переживая змей, орхидеи и экспрессионистическую любовь. Но в десять часов сорок пять минут кончается сеанс. Петер Мюллер вскоре засыпает. Утром он идет на работу. Тогда-то видно, что болезнь его не так уже страшна.

Сейчас я окружен этими Мюллерами. Здесь служащие, рабочие, приказчики, школьники. Шиберов нет: они на чистой половине, в вайнштубе. Вареная картошка, кофе без сахара. Туристы отдыхают, они пытаются отогреть полиловевшие руки. Непонятный народ! Они лезут на гору чинно и деловито. У каждого поклажа: мешок, чайники, кастрюли, какие-то полотнища, одеяла — не менее пуда. Вещи явно ненужные: нигде они шатров не разбивают и костров не раскладывают. Ночуют в гостиницах, а едят в ресторанчиках. Навьючиваются же они исключительно по романтической традиции — чтобы было труднее. А немцы ведь и отдыхают с трудом. Они карабкаются наверх, дорога трудная. В сторону стрелка: «Кресло короля Фрид-

риха, хороший вид на окрестности». Не раздумывая, безропотно, гуськом они повертывают к этому «креслу». Доходят до него, останавливаются и глядят вниз, на какую-нибудь речушку, глядят ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать — они видели воочию этот «хороший вид»; глядят без удовольствия, но удовлетворенно. Потом проделывают военный полуоборот и лезут дальше. Это, конечно, не забава, а труд.

Так — во всем. Когда немцы едят, они не наслаждаются, как французы, не читают при этом рассеянно книжицу, как наши интеллигенты былого времени,— нет, трудолюбиво они двигают челюстями, и только. В кафе часто можно видеть влюбленного, неистово вывертывающего ручки девушки. В этом гораздо больше от гимнастики «по Мюллеру», нежели от страсти. Летом все, хотя бы в течение двух-трех дней, лазят на горы или плавают. Спят в гостиницах на полу, чтобы было дешевле. Едят сельдерей с картошкой и картошку с сельдереем. Но при этом если не веселы, то бодры и довольны жизнью.

Как ты видишь, это менее всего напоминает агонию. Мои соседи со своими дикими рюкзаками скорее смахивают на варваров, нежели на пресыщенных римлян. Конечно, сегодня они взяли только Брокен. Но, глядя на них, я понимаю, что двигало и колонны, шедшие в августе четырнадцатого года завоевывать Багдад, и романтиков с факелами, провожавших недавно труп Воровского. Шаг. Пот. Пол-оборота. Потом со всей мыслимой практичностью фантастов: «Перелицовка мира или смерть!..»

Так иногда кончаются экскурсии на Брокен.

ХИЛЬДЕСГЕЙМ

Пишу на этот раз из средневекового кабачка — ратскелера — в почти музейном Хильдесгейме. Город чудесный! Какие дома пятнадцатого, шестнадцатого, семнадцатого веков! Два этажа просто, а над ними — четыре в черепичной крыше. Всюду раскрашенная деревянная скульптура. Я написал «почти музейный», потому что это живой город, не Брюгге и не Равенна. Но сохранил он внешне свой прежний облик с каким-то поражающим упрямством. Внутри домов проводи-

ли электричество и устанавливали коридорную систему, а на фасадах по-прежнему среди незабудок улыбалась Юдифь в оранжевом плаще. Отсюда или из Нюрнберга надо начинать плаванье по душе Германии. Как все здесь не похоже на старую Италию или даже на соседнюю Фландрию! Только тут и чувствуешь вес, вязкость, значимость земли. Умбрийские холмы слишком легко давались. Они напоминают перевернутое небо. А брюггские меланхолики, несмотря на рагу, пиво и полнотелых жен, бредили северной жидкой лазурью.

Здесь, в Германии,— прекрасный культ уродства. Венеры Кранаха соблазнительны, как таксы. В домах, в картинах, в языке — уют, приземистость, спертость. Всюду — и в узких улицах с крюком-вывеской ростовщика, и в погребках, и в чернявости готических книг, и в топорных пословицах всюду чувствуется присутствие женского тела, пылающего очага, смерти.

Как мог сохраниться Хильдесгейм в самом центре промышленной Германии? В Италии давно бы поставили на заставах вертящиеся рогатки и стали бы поджидать форестьеров. Потом футуристы начали бы скандалить, требуя «отменить Хильдесгейм». Трамвай в шумный Ганновер. Фабрика сосисок. Не менее дюжины кинематографов. Но когда какой-то мистер Куль захотел купить одну из этих Юдифей на предмет украшения своего чикагского дома, горожане не соблазнились всесильными долларами.

Утром я видел, как школьная экскурсия осматривала город. Не было кунсткамерного любопытства, скорей — хозяйская сметка. Смотрели ведь будущие инженеры, коммивояжеры, канализаторы, изобретатели самопишущих блоков «принтатор», строители и обитатели новых бетонных или стеклянных городов.

В этом кабачке, где вместо столов винные бочки с резными амурами, сейчас сидят какие-то хильдесгеймские граждане, образа мыслей левого, и спорят о резолюциях Гамбургского конгресса. Ты чувствуешь, как сильна преемственность? Германская история выпирает наружу из каждого толстоносого амура, из каждого слова этого семипудового резонера, недовольного слиянием двух Интернационалов. Как наивно думать, что случайно, на время, энергией Бисмарка или цементом победы, были спаяны в одно все эти герцогства и княжества! Можно, конечно, за известное

(даже небольшое) количество франков нанять расторопных ребят и утешаться «рейнским сепаратизмом», но Германия от этого не распылится.

Патриотизм здесь — особого порядка. Французы любят свою страну легко и бесстыдно, как счастливые любовники. Чувством этим они чванятся: всячески поносят они чужие вина, чужие моря, чужих женщин, даже не зная их. Что ж, это просто инстинкт самосохранения. Как мог бы француз жить, зная, что где-то растет лучший виноград, чем в Бургундии? Ведь между любовью и счастьем он признает только один знак равенства. Есть еще русский патриотизм, но это из области патологии. «Ты — единственная!» — и шмыг в Баден-Баден: хоть в России, мол, и поняли Христа и выдумали Советы, но, между прочим, весьма приятно, когда чистый клозет и парламент... Нет, лучше не говорить о русском патриотизме!

Здесь — иначе, проще, а следовательно — таинственней. Это отнюдь не пароксизм влюбленности, скорей — привычка. Вот этот гражданин и «добрая старая Германия» никак не могут быть приняты за влюбленную парочку. Пожалуй, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Нет здесь самообольщения. Здесь, наоборот, поражает подражательность. Все иностранное расценивается выше туземного. Толстейшие и добродетельнейшие немки бредят крохотными парижскими панталончиками. Немецкие писатели ухитряются писать... под Ремизова. Все это так. Но при всем этом они еще любят свою Германию, и любовь эту проявляют не в лирических вздохах на верандах кафе Интерлакена или Шевингена, а здесь же, на потощавшей — от отсутствия даже маргарина груди бедной Пульхерии Ивановны.

Пафос моего письма отнеси за счет высокого качества «нирштайнера». Я теперь понимаю, почему так улыбаются эти толстоносые амуры...

МАГДЕБУРГ

Это послание напугает тебя. Одна бумага чего стоит желтая, с изумрудными пятнами! Яичница с луком. Что делать: другой здесь нет. Когда обер дал мне этот лист, я весьма смутился. Я попросил: нельзя ли обыкновенной? Но, услыхав слово «обыкновенная»,

официант, в свою очередь, смутился. Он не понял меня. Эта бумага ему кажется весьма обыкновенной. Вероятно, и кафе, в котором я сижу, а он служит, ничуть не удивляет его, несмотря на тифозные стены, вымазанные оранжевой и лиловой краской, готовые тотчас распасться. Все это для местных жителей «обыкновенно», а я вот от этого «обыкновенного» начинаю бредить.

Я знал прежде, что существует город Магдебург. Грешным делом, я думал: город как город. Что же, я поплатился за свою наивность! Что такое Магдебург? Как будто вправду город, даже большой. Вокзал никак не предостерегает. Но стоит доверчиво миновать контролера, отбирающего билеты, и выйти на площадь, как начинается наваждение.

На выставки экспрессионистов в берлинском «Штурме» можно и не ходить. Но если ты приехал в город, как же обойти улицы? А здесь вместо фасадов домов глядят «симфонии крови» и «лиловые умоисступления». Это не один дом чудака, нет — десять, двадцать, сто, я не считал. Киоски для газет, как размалеванные кактусы, колют глаза. Спастись некуда. Трамвай и тот на славу раздраконен. На стенах, на столбах горячечным бредом мечутся афиши.

Ты перебиваешь: как? откуда? почему Магдебург?.. Друг мой, рано или поздно это должно было случиться. Почему именно здесь? Просто — городу на свой лад повезло,— лотерея. Могло быть в Касселе или Ганновере. Во главе строительного управления города оказался экспрессионист Бруно Таут. Началось с газетных киосков. Потом — дом, другой. Частные домовладельцы предались жестокой моде. Кондитерские, парикмахерские, кабаки наперебой стали кормить левых художников. Потом и маляры прониклись новым стилем. Соответствующие вывески появились на окраинах. Так был перелицован город Магдебург.

В этом нет ничего неожиданного. Немцы вообще излишним консерватизмом не отличаются. Это не Париж, где до сих пор винтовые лестницы, уборные без сидений и пыльные пуфы трех Людовиков. Народ здесь крепкий, выносливый. Я вот мечусь как угорелый, а они ничего — живут, даже замечать перестали.

С утра идет дождь. По нестерпимо ярким домам, в пятнах, в крокодиловой сыпи, в зебровой чепухе, просто в пакости, течет вода. Красок она, увы, не смывает. И вот представь себе, что в этих домах люди

живут изо дня в день, стирают пеленки, хворают аппендицитом, подсчитывают расходы. Нет, только немцы способны выдержать подобное! Недаром в годы войны они спокойно ели эрзацы, от которых умирали даже страусы в Zoo. Ели пудинги из кольраби с содой. Живут в экспрессионистских домах. Работают. Большой город...

А я сижу и скулю. Какой унылый финал искусства! Я знаю, что ты возразишь: «Это, мол, экспрессионисты, плохие художники и прочее. Вот если бы сюда парижских кубистов или, того лучше, наших конструктивистов, тогда бы...» Представь, тогда бы получилось то же самое, ну чуть получше, поскромней. Не в качестве дело. В Германии вообще, а в Магдебурге с особой рьяностью происходит внедрение нового искусства в жизнь. Так всегда бывало. Джотто доходил до столяров, ювелиров, горшечников.

Мне ясен путь (это — как круги брошенного камня) от первой кубистической картины до папиросной коробки «Мурати». Значит, беда не в методе расширения, не в вульгаризации. Беда не в искусстве — оно, кажется, не хуже былого. Беда в нас. Мы стали суше. Мы не можем жить, как некогда, с искусством тихой, семейной жизнью — мы требуем развода. Между фресками Джотто и сельским рукомойником существовала тесная связь,— и то и другое было нужно, легко умещалось в жизни. А Магдебург — ведь это же великомученичество!

Я ни за что не остался бы в этом городе. Но я не мог бы жить и в Венеции. Я сейчас сижу и мечтаю о берлинских улицах, где, слава богу, относительно мало искусства. На одной из окраин Магдебурга я нашел целую улицу простых домов, речку, мост, корпус фабрики. Я готов был заплакать от умиления.

Я никак не отказываюсь от искусства. Но, повторяю, мы стали суше. А может быть, это целомудрие? Искусство для нас — высокий роман, исступление, обязательная влюбленность. Театральные зрелища, музыка, картины, стихи — мы все бегаем на эти свидания. Но искусство, входя в быт, оскорбляет нас. Оно не может жить среди наших телефонных разговоров, пиджаков и таксомоторной любви. Это — не стиль, пусть и плохой, но налет, вражеская оккупация.

Былые века достойны всяческого уважения. Люди могли тогда жить с Мадонной изо дня в день, как с квартирной хозяйкой, могли чесать свои спины высо-

кохудожественной слоновой костью. А мы вот все норовим попроще, посерее. Искусство, вошедшее в жизнь, кажется нам женой, которая, что ни минута - за варкой щей, за штопкой носков,— требует торжественных фраз о вечной любви. От такой жены спасенье вокзал...

К счастью, вокзал имеется и в Магдебурге.

ВЕЙМАР

Мне грустно, друг! Хуже всего, что грусть эта не в дождливый день, не в премерзком Магдебурге, а здесь, рядом с солнечными бликами, с густой нежностью веймарских улиц. Я сам не знаю, откуда она.

Веймар прекрасен. Я долго стоял у простого протертого кресла, на котором умер Гете. Я ходил по проулкам и площадям. Навстречу мне кидался горячий дух лип.

Сейчас я сижу в стареньком кафе, где мирно уживаются почтенные бюргеры в высоких стоячих воротничках и обормоты из здешней академии в каких-то «конструктивных» блузах. О солнце, о смоле говорит темное пиво в глиняных кружках. Откуда же грусть? Я хочу понять себя. Я здесь не паломник. Я и не соратник молодой академии. Просто турист. Но, знаешь, каждый новый день и каждый новый город говорят мне об одном: наше дело изнемогает. Ты, конечно, понимаешь, что я говорю не о социальном прогрессе, не о научных работах. Ведь как бы мы ни ссорились с искусством, все это — размолвки милых. Без него — что делать? Что без него этот город? Место заседаний германской «учредилки»...

Искусство изнемогает!

Здесь обосновалась академия — «Bauhaus»,— единственная живая художественная школа Германии. Ее удалось устроить в дни ноябрьских бурь. Она случайно уцелела в нынешние годы отступлений под охраной тюрингенского социалистического правительства (если хочешь, не менее случайно уцелевшего). Вначале бюргеры протестовали, они даже вынесли на митинге гневную резолюцию совсем в современном российском стиле: это, мол, город Гете и Шиллера, здесь не место футуристическим кривляниям... Потом обвыкли. Сейчас академия спокойно работает. Через месяц должна открыться

показательная выставка в специально выстроенном доме. Утром я смотрел мастерские. Здесь преподают и работают лучшие художники современной Германии: седые старики Клее и Файнингер, полурусский Кандинский, молодые конструктивисты. Немного напоминает это московский Вхутемас, пожалуй, строже, деловитей и преснее. Самое живое конструктивисты. Здесь преподает молодой венгр Моголи-Надь, здесь долго работали Лисицкий и голландец Ван Десбург.

Кажется, мне от этого и грустно, дорогой друг. Не думай, будто я настолько поправел, что мне грустно от успехов левых. Нет, я просто еще люблю отпетое искусство, и я имею право на свою долю грусти.

В одной из мастерских я увидал ученика. Он задумчиво ставил на одну пуговицу от брюк другую. На мой вопрос, что он делает, последовало: «Конструкцию». Еще я видел, как изготовляют «конструктивные» фонари. В магазинах имеются проще, да и «конструктивней» — сделанные без художников. Ни один конструктивист не согласился бы просидеть больше пяти минут на особом «конструктивном» стуле. А между тем провозглашен лозунг утилитаризма. Дело идет к новому прикладничеству. Есть еще пословица: от ворон отстала, а к павам не пристала. Печальная пословица.

Живописец Брак сказал, что нужно линейкой проверять чувство. Это очень хорошо. Это знал и Гете. Но левые линейкой издубасили чувство.

Красота жива. Она кругом. Она в этом городе. Она тесно связует прошлое с современным. Вот виадук — путь на Йену. Там дальше — Эрфуртский собор. Сама природа здесь как бы требует искусства. Невысокие холмы говорят о чувстве меры, как Тоскана или Иль-де-Франс. Но внеэмоциональное искусство сильно смахивает на заячий соус без зайца...

Наука? Конструктивисты с гордостью входят в старый кабинет, где Гете изучал теорию цвета. Но ведь не с помощью этой теории был написан «Фауст»! Что-то исчезло в искусстве. Со страхом я выписываю это слово, долго бывшее под запретом: исчезло вдохновение. Вот почему хлебнувший его диких вод поэт-футурист Пастернак мнится среди нас чудесным анахронизмом. Вот почему, что бы ни делал Пикассо - кубистические скрипки или вполне натуральных женщин, больных слоновой болезнью,— у него берут только внешний прием.

У нас не стало вдохновения. У правых его никому, даже шиберу, искать не вздумается. А левые? Вот они вычисляют, думают, изготовляют декларации, отлучают еретиков, покрывают стены и сердца диаграммами, уравнениями, схемами — и все это, чтобы дойти до псевдоконструктивного стула, до закрашенных одной краской досок, до пуговиц.

Они презирают вдохновение — это ведь инженеры духовных дорог, химики сердечной материи. Много их здесь, молодых и задорных. В Веймаре, в этой резиденции муз, не без иронии устроен огромный питомник новой трезвости.

Однако город мстит — мстит холмами и небом, особняками, липами, домом Гете. Утром я беседовал с одним из молодых конструктивистов. Он не цитировал моей книжки «А все-таки она вертится» и не проклинал отступников. Он даже не расхваливал голландских ватерклозетов, которые воочию доказывают, что искусство это организованный прогресс разумной жизни Он меланхолично спросил меня мы глядели с холма на город:

  А мы вот, оставим ли мы после себя такой Веймар?

Нет у нас ни душевного покоя, ни мудрости, ни высокого равновесия. Мы оставим после себя вот этот виадук, мосты, вокзалы, фабрику Цейса, красоту, вдоволь сухую и эгоистичную, современного Фауста с его стандартизованной, а следовательно, и удешевленной душой (много ли дадут за такую?), да еще несколько могил, где похоронены наши Шиллеры — левые и не левые..

1922—1923

Пять лет спустя

ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ

Вечером, бродя по чрезмерно длинным проспектам Берлина, где много света и мало улыбок, где свет заморожен, где, завороженные красными дисками, как в детской сказке, замирают степенные автомобили и автоматизированные пешеходы, где богатство, порядок и пустота,— бродя по этим проспектам, чья длина томит меня подобно математической проблеме или безнадежной любви, я беру за руку моего друга, я тихо признаюсь ему:

— Ты видишь, мы в двадцатом веке. Это замечательно, и это беспощадно. Мы можем на радостях отстукивать чарльстон или, зайдя в уличную уборную, трагически плакать. От этого ничего не изменится. Время вяжет наши ноги крепче, нежели земля. Можно уехать из Берлина, нельзя уехать от своего времени. Оно, по всей вероятности, во мне: ведь я презираю этот механический комфорт —и я волочусь за ним, как за невестой с приданым: мне противны неуверенность, дрожь сердец и дуговых ламп, пафос древесной трухи, именуемой «мировым репортажем»,— и я не могу жить без этого, как не может жить алкоголик без двух-трех тривиальных рюмочек. Дезертировать в прошлое могут только археологи или старые девы. Пробраться в будущее? Милый друг, мы ведь пробовали это! Для этого нужно безумие истории, или паспорт на имя гения, или, по меньшей мере, чья-нибудь шарлатанская виза. Увы, безумие стало историей! Притом мы не гении и не старые девы. Нам остается бродить по этим длинным проспектам. Когда остановит нас сигнальный диск, мы можем помечтать о кокосовых орехах «сына солнца Моана», потерянных, как гласит надпись кино, для Германии недавно,— потерянных для всех нас, как заверяет сердце, давно,—

примерно когда был потерян так называемый «рай». Нам остается, опустившись в глубокие кресла одной из бесчисленных кондитерских, этих душевных гаражей, где отдыхают моторы сердец, где взбитые сливки стоят столько-то пфеннигов, а женское снисхождение столько-то марок,— взять одну из многолистных газет, энциклопедию переворотов, скандалов, еврейских помолвок и дешевых пылесосов, чтобы задуматься над грядущей катастрофой.

Маленьким мальчиком я подъезжал впервые к Берлину. Раскрыв толстую непонятную книгу, похожую не то на Библию, не то на учебник тригонометрии, мать сказала мне:

— Мы приедем в Берлин в девять часов двенадцать минут.

Я не поверил ей. Я ведь знал тогда только русские вокзалы, с тремя звонками, с неторопливыми пассажирами, попивающими чай, с флиртующими телеграфистами и с душистой черемухой. Я знал, что если побежать сорвать ветку черемухи, поезд не уедет — поезд поймет, что нельзя без черемухи. Помолчав, я переспросил:

— Ну, а часов в десять или в одиннадцать мы все же приедем?

Тогда мать, усмехнувшись, ответила:

— Здесь поезда никогда не опаздывают.

Помнится, когда поезд действительно подошел к вокзалу Фридрихштрассе и я, взглянув на часы, увидел девять часов двенадцать минут, я не обрадовался — нет, я испугался. Ничто в тот день не могло исцелить меня от испуга перед непостижимой точностью: ни ореховые торты, ни базары, где за одну марку можно было купить сказочный пенал.

Теперь я знаю: здесь ничто не опаздывает. Прийти до срока? Но это ведь пахнет катастрофой, а здесь не любят катастроф. Здесь все вовремя, и если на дворе двадцатый век, то он и в городах, и в домах, и в глазах.

Когда подъезжаешь к Берлину, он светится издали, как гигантский циферблат. Он равномерно вздыхает, как образцовый хронометр. Это сердце старой Европы. Мысль может спешить, ноги могут отставать, сердце знает свой счет, свою меру.

В России в первые годы революции мы жили в двадцать первом столетии. Этому не мешали ни дымные печурки, ни темные, как будто средневековые, улицы,

ни чересчур живописные делегаты Башкирии или Мордовии. Потом, в Париже, где еще теплится, как иллюминационные плошки, прошлый век, я заказывал стакан кофе герою Мопассана и покупал фиалки у неудачливой Нана Здесь я познакомился с нашей эпохой Она представилась мне запросто, не в декларациях ораторов, не в футуристических поэмах, нет в сигаретных коробках, в походке Потсдамерплац, в последней системе газовой кухни, в трех тарифах автомобилей и в тридцати тарифах женщин, в голизне города, в его угрюмой нищете и ненужном богатстве, во всем

Героические эпохи посылали вперед отчаянных разведчиков. Так, Икар превратился в мясо и в миф. Мы ищем не истину, но комфорт. Продвижение происходит методически, от одного патента до другого, от автомобильной выставки до авиационной. Мы шлем вперед не гениев, не головорезов, но аккуратных квартирмейстеров.

Сказать, что меня в Берлине поразили хорошие стихи? Нет, стихи пишут и в других городах, к тому же стихи писали люди всегда· это как дождь. Другое дело —пылесосы или передвижные кресла, которые превращают третий класс во второй, или фосфорические круги вокруг выключателей: помилуйте, сколько секунд мы теряем ежедневно, разыскивая в темноте выключатель?.. Жизнь в Берлине продумана, как железнодорожное расписание: в ней нет ни катастроф, ни простых несогласованностей. Десятки тысяч голов заняты усовершенствованием быта. Один придумывает, как бы рассадить поэкономней пассажиров самолета, другой ограничивается тем, что изготовляет зажигалку, дающую огонь при одном, к тому же небрежном движении: это для снобов. Ведь экономить время, экономить человеческие усилия, экономить что бы то ни было сделалось новым снобизмом.

В Берлине слишком мало автомобилей Может быть, их и много, но их слишком мало для той сложной системы регулирования движения, которая продиктована впрок манией порядка. Кажутся смешными два или три автомобиля, старательно вальсирующие по площади или цепенеющие по указанию полицейского среди идеально пустого пространства Это, если хотите, символ: здесь слишком много организующего начала и слишком мало того, что нужно организовать Кажется, элементы беспорядка необходимы нам: за их

отсутствие мы расплачиваемся девичьей анемией и мировой тоской.

Я был у Максимилиана Гардена. Он живет далеко за городом, среди книг, голубого фаянсового неба и иронии. Во всем своя правда, — видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции и о берлинских улицах. Не русский мальчик, испугавшийся того, что поезд пришел ровно в девять часов двенадцать минут, — нет, человек, видавший различные крушения, сказал мне:

Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...

Что же мне сказать о себе? Я здесь слегка Канитферштан, который смеялся на похоронах и плакал на свадьбах. Я еще не изучил значения всех этих стрелок и дисков. В одном из помпезных кинематографов Курфюрстендама я глядел американский фильм «Город Львов». На мой вкус — это дурной фильм, и мне было смешно в трагические минуты. Мне было смешно, и я смеялся. Соседи испуганно поглядывали на меня. Они не цыкали, не протестовали: это были хорошо воспитанные люди Вестена. Они ждали вмешательства провидения, полиции или психиатра. Они не могли понять, что человеку может быть смешно не вовремя.

В уличных уборных Берлина (там, где я предлагал моему другу трагически поплакать) висит надпись: «Не позже чем через два часа после сношения с женщиной поспеши в ближайший санитарный пункт», — и адрес. Я не возражаю. Я только слегка боюсь людей, которые не пропустят этих двух часов, которые обо всем вспомнят вовремя: подыскать женщину, съесть шницель, предаться любви и забежать в ближайший санитарный пункт. Для них уже не нужны никакие стрелки: они, кажется, рождаются с огромным сигнальным диском в груди.

О, разумеется, такие люди существуют и в других городах Европы. Они так же бегают в санитарные пункты. Если же нет нигде подобных надписей, то только потому, что люди — скопидомы и ханжи. Вместо того чтобы заказать себе новый костюм, они предпочитают перелицевать старый; они все еще щеголяют в романтических сюртуках. В парижской уборной можно прочесть сентиментальный романс или патетическую полемику между двумя депутатами. Берлин

слишком быстро рос, чтобы сохранить штанишки неуравновешенного подростка. В нем ничего не осталось от недавнего прошлого, кроме разве цилиндров десятка-другого трагикомических кучеров и сизого тумана над каналами. Берлин нов до великолепия, до бесстыдства — он нов, как газетный лист или как гидропатическое заведение. Здесь все серьезно, даже юмор носильщиков. Здесь все откровенно, даже сны, разоблаченные учениками Фрейда.

В одном из маленьких театров я видел обозрение «USA». Кажется, Соединенные Штаты требовали запрещения этой пьесы, и пародия чарльстона, где идеально идиотичны, до умиления, до чисто христианской жалости граждане «великой республики», чуть было не вошла в дипломатическую ноту. Я не вижу в этом ничего удивительного: слишком долго европейцы обожествляли Америку; производители чикагских свиней наконец-то уверовали, что они впрямь полубоги. Американизм стал религией, и жевательная резинка приобрела мистическое значение евхаристии. Берлинская публика смеялась, глядя «USA», но это не было смехом вчуже. Не над смешными повадками непонятных дикарей смеялись берлинцы — над своей собственной верой:

— Мистер из Чикаго оказался погрешимым, как папа!

Берлин — апостол американизма, и зажигалки здесь — не просто зажигалки, это — предметы особого культа. Ведь рационализм и утилитарность здесь восприняты со всем наивным жаром немецкого сердца. Но Берлин — не Америка. У Берлина нет патентованной улыбки американца, довольного и миром и собой, — улыбки, которая рекламирует одновременно и политику Кулиджа, и наилучшую зубную пасту. Получив и фосфорические выключатели, и твердую валюту, и «клубные кресла», Берлин все же не улыбается. Он остается классическим немецким фантазером. Вся ревность в деле насаждения материальной культуры здесь диктуется не жаждой удобно жить, а маниакальными наклонностями самодура, фантаста, метафизика. Это самый удобный город в Европе, и в то же время — самый угрюмый, самый не удовлетворенный жизнью город. Нужно только найти второй план, понять, что «клубные кресла» — не мебель, а абстрактные формулы, части воображаемого уравнения, тогда откроется

вам душа этого сумасшедшего города, где проспекты длиннее жизни, где много камня и нет архитектуры, где все — уют и где жизнь так неуютна, так сиротлива, так гола, что хочется думать о жестокой судьбе древних завоевателей, о египетских пирамидах или же об остановленном красным диском бедном Агасфере, который стоя идет, который не может идти, ибо он — уже не человек, а камень, город.

ДЕМОНЫ И ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

Несовместимость рабочего Нордена и буржуазного Вестена сбивается на нравоучительную картинку или на агитплакат. Дело не в нищете — по сравнению с еврейским или китайским кварталами Лондона, по сравнению с бытом английских безработных берлинский Норден — пример сдержанности, если не благополучия. Норден теперь беден до заплат, но не до лохмотьев, до голодной анемии, но не до спазм. Он молчалив, сух и стыдлив, с его хозяйками, педантично моющими меланхоличные стекла, и с кружкой пива главы семьи, на которую без зависти благоговейно смотрят прочие домочадцы.

Но нигде, кажется, нет такой крикливой, такой наивной и вызывающей роскоши, как в берлинском Вестене. Глядя на этих дам, вывалянных в золоте, как котлеты в сухарях, на эти рестораны, таинственные, как молельни, на эти притоны, построенные некой новой разновидностью царя Соломона, забываешь, что находишься в самом центре вдоволь старой Европы. Такие сны должны сниться золотоискателю где-нибудь на Аляске или же нашему злосчастному нэпману, который не знает, как промотать тысчонку-другую среди глубоко идейных кабаре и заплеванных пивнушек.

Роскошь Вестена не прихоть отдельных мотов и снобов, не антикварные уникумы, не патология Монте-Карло,— нет, это быт целого класса. Ананасы или икра в окнах гастрономических лавок должны грудиться, подаваться оптом. Любая кондитерская обязана щеголять необычайными лампами или особой моделью кресел. Здесь нет места ни дешевым вещам, ни дешевым женщинам. Десятки тысяч людей здесь отдаются роскоши аккуратно и настойчиво, как ремеслу.

Приезжий должен посетить кафе «Шоттенгамль» в Тиргартене. Это не вульгарное питейное заведение, это памятник эпохи. Если целая полоса германской истории становится понятной, когда видишь угрюмый камень Аллеи победы, наши дни оставят после себя это помпезное кафе. В нем несколько этажей и много залов, на любой вкус; со старинным фарфором и с кубистическими фресками, с романтическими уголками и с американской деловитостью. Стены одного из залов сделаны из тонкого мрамора, пропускающего свет, они нежно розовеют, как заря или как ладонь, поднесенная к огню; в других имеются журчащие фонтаны, люстры, похожие на Млечный Путь. Вместо карточек на столах пухлые фолианты. Список напитков и яств напоминает энциклопедический словарь. На «А» значатся: «Ананас мельба», «Ананасовая бомба», «Арак», «Аквавита», «Адвокат», «Анготура», «Априкот-бренди», «Анизет», «Аллаш» и еще много иного. Здесь представлены все нации, как в Женеве, а чтобы нам, русским, не было обидно, кроме банальной водки предлагается некий таинственный «Николашка».

Однако всего примечательней в «Шоттенгамле» уборные. Это загадочный и полный значимости храм. Здесь можно взвеситься и покрыть лаком ногти. Для духовных потребностей здесь продаются газеты и книги. Романы Вассермана беседуют с душами посетителей. Юноши томно пудрятся и подводят брови. Здесь же рекламируются улыбками олеографических красавиц наилучшие марки гигиенических принадлежностей. Отсюда можно выйти снаряженным для эстетических разговоров и для любовных проказ. По патетичности и универсальности кафе «Шоттенгамль» напоминает средневековый собор. Грядущие археологи будут ломать голову над раскопками, стараясь определить характер культа,— чему же поклонялись обитатели берлинского Вестена в эпоху, последовавшую за мировой войной?..

В кафе помещается человек триста, и оно всегда полно. Глядя на танцы, дивишься уродству ног, а также высокому качеству чулок. Еще выразительней — руки: они напоминают наивных зародышей и каменных валькирий. Пальцы едва-едва намечены; эти короткие отростки, однако, массивны и прочны, как замки сейфа. Когда такие пальцы присасываются к весьма добротной спине — это полно физиологической ми-

стики, и это в то же время тривиальная банковская операция. Что сказать о геометрии черепов, о жирах, о бритых затылках и мельчайшем бисере глаз?.. Мне трудно представить себе, что эти люди способны выдумывать, мастерить, создавать. Невеселое веселье как бы выходит за пределы кафе «Шоттенгамль», может быть, даже за пределы своего класса, рождая исконное недоумение: умница Марфа, почему же твой смех — только вращение граммофонного диска?

Я где-то видел эти лица, эти пальцы, даже это кафе — давно, когда оно еще не было выстроено. Я вспоминаю неторопливые вздохи дорогого альбома и юркий треск газетных листов, годы, когда все было внове: и костыли инвалидов, и расстрелы, и едва круглеющие животы богачей, переживавших тогда самое начало беременности, мир, раскрывшийся предо мной, жестокий и органичный, грандиозная демонология или плевок, подвергнутый микроскопическому анализу,— рисунки Гросса. С тех пор прошло несколько лет, мы разучились недоумевать и возмущаться. Гросс перестал быть злободневным. Он остался, однако, художником своего времени, и конечно же кафе «Шоттенгамль» создано им.

Мы не можем жить без известной мифологии. Требуются мифы, требуются оптом, срочно, в любом виде. Человечество теряет голову от невыносимой голизны. Нельзя же удовольствоваться заездами Рабиндраната Тагора или амулетами в автомобилях. Что же, одни занялись изготовлением новых ангелов всех мастей и покроев, другие предпочитают выдумывать новых чертей, и так как я сам причастен к этой невеселой профессии, я встретился с Гроссом не только как с прекрасным художником, но и как со своим товарищем по цеху.

Я не ошибся — у него светлые глаза ребенка, застенчивая улыбка и повадки мечтателя. Это поймут и школьники: человек, который вырабатывает лица и зады «Шоттенгамля», должен быть в жизни нежным младенцем, он должен любить чистое искусство, говорить задумчиво, задушевно, слегка рассеянно, как визионер, пить не пиво, но легкое веселое вино.

Творчество Гросса помогает нам разгадать глубокую значимость кафе в Тиргартене. Наивно было бы воспринимать его рисунки исключительно как политическую или даже социальную сатиру. Конечно, Гросс

заклеймил правящие классы Германии; конечно, он искренне ненавидит убийц Либкнехта и Розы Люксембург. Однако сущность его демонологии глубже и постоянней. Его дьяволы имеют родословную. Они не только социальный показатель. Они твердят о спертости воздуха и о тяжести сердец. Они рождены в темных закромах немецкой души. В этом их сила и их оправдание. Не только калеки, но даже таксы Гросса живут одной подпольной жизнью с таинственными банкирами, с семейственными проститутками и с маститыми убийцами.

Мир Гросса фантастичен и, скажу прямо, полон романтики. Неожиданно оголенные люди на улицах или в канцеляриях, с их бредовыми мясами сродни Венерам Кранаха, деревянным Адонисам или Ледам Хильдесгейма, цветным стеклам, типографским гномам готического алфавита, узким уличкам, приземистым пивным, запаху солода и горя. Все это, конечно, уродство, но уродство, доведенное до совершенства, до того условного климата, где теряют силу наши вульгарные меры. Клиенты «Шоттенгамля» должны радоваться,— пусть этически они ошельмованы, эстетически они вознесены: им даны в прошлом портреты предков, а в будущем — дрожь внуков.

Можно, говоря о немецкой романтике и о немецкой любви, ссылаться на верхние этажи сердца, на светлость помыслов и на северную ясность глаз, на ставшую хрестоматийной верность, на слезы Вертера и на лен кудрей, на лирику столь неземную, столь абстрагированную, что недоумеваешь, почему же на поэте — штаны, а на девичьих глазах — солоноватые выделения каких-то желез: ведь это не люди, а символы, звуки. Однако, не выходя все из того же «Шоттенгамля», я напомню о других особенностях местной любви, тяжелой и мутной, как теплое пиво.

В кафе «Шоттенгамль», в тысячах других кафе или кондитерских ежедневно с четырех до пяти или с пяти до шести встречаются влюбленные парочки. Они не целуются, не воркуют, не смеются, они не льют нежных слез. Они молчат — угрюмо, настойчиво молчат. Их губы живут врозь, встречаются только пальцы, и пальцы безумствуют, до боли, до судорог сжимая друг друга. При этом влюбленные пьют кофе со сливками. Я сказал бы, что здесь любовь проходит среди легчайшей пены взбитых сливок и многопудового молчания.

Иногда в кафе имеются особые закоулки — сепарэ, похожие на стойла конюшни. Там взбитые сливки стоят на двадцать пфеннигов дороже, но и там дело дальше вывихнутых пальцев не идет. Впрочем, порой все кончается банальным убийством — мужчина душит женщину или перерезает ей бритвой горло. Когда я гляжу на моих соседей, на этих почтенных людей, негоциантов, подрядчиков, биржевиков, у которых апоплексические затылки и белокурые ангелические подруги, я вспоминаю рисунок Гросса: труп женщины и убийца, аккуратно моющий в тазу руки.

Перенесенное в иное место, все это полно пафоса. Здесь, среди анекдотически пышных уборных, это — только тупо и безысходно. Но тусклый огонек, мерцающий в этих зрачках, все же сильнее сверкания люстр. Он опровергает басню о животном довольстве. Если бы история судила посетителей «Шоттенгамля», я мог бы выступить их адвокатом. Я сказал бы: «Да, у этих людей было все: мраморные стены и фонтаны, девять напитков на букву «А» и четырнадцать на букву «Б», у них были текущие счета и готовые на все любовницы. Но они не знали простого человеческого счастья. Они ломали пальцы, неистовствовали, сидя в удобных креслах, и возвращались домой если не с замаранными кровью руками, то с тяжелой, зловещей одышкой». И я верю, что мои подзащитные получили бы «заслуживают снисхождения» истории, как получили его заточники Эскуриала или самоистязатели-персы.

ПЕРЕПЛЕТЫ И ПОД ПЕРЕПЛЕТАМИ

Немецкую визу мне дали не сразу. Пришлось представить в консульство переводы моих романов. Я притащил их, как охапку дров: «Вот!..» Секретарь, видимо, обиделся за достоинство книги — он тщательно перевязал пакет веревочкой. Визу мне дали. Разумеется, не содержимое книг говорило за меня, нет,— их знакомая добротная внешность, коленкоровые аккуратные платьица, золотое тиснение. Я не знаю, уважают ли здесь литературу, но книгу здесь, безусловно, уважают.

В России с книгой обращаются как с проституткой: ее берут на одну ночь. Ее заливают слезами или супом, ее тискают и рвут. Она знает проклятия, нежные

признания, безумствования. Но, прочитанная, она не получает права даже на скромное местечко в деревянной богадельне. Ее оставляют в пустом вагоне вместе с окурками и с яичной скорлупой.

Что касается Парижа, то там любят преимущественно старинные переплеты. Зачем, скажите, книга, если имеется красивый переплет? Поэтому в Париже продаются библиотечные шкафы с вделанными корешками старых книг, только с сафьяновыми корешками, без излишней бумажной трухи. Можно сразу купить в мебельном магазине и шкаф, и сто корешков. У кондитера можно приобрести книгу-бонбоньерку, в магазине чулок — книгу-шкатулку с шестью парами шелковых... На корешке — «Мысли Блеза Паскаля», а внутри шоколад с фисташками.

В Германии с книгой не безумствуют, ею не играют — это неотделимая частица семейной жизни. Из нее выдаивают полезные афоризмы и с нее бережно смахивают пыль. Она укорачивает вечера и повышает духовный кредит ее владельца. Книга без переплета здесь выглядит неприлично, как женщина нагишом; но переплет без книги возмутил бы любого немца: а высокие мысли? а веселые анекдоты? а полезные афоризмы?..

Я решаюсь сказать, что Германия — страна книги, как Франция — страна живописи. Оптические радости здесь не в ходу. За гармоничность ландшафта, за розовость женского тела, за традиционные яблоки натюрморта здесь никто души не продаст. Отсутствие красочности характерно для этих мест, несмотря на всю пестроту реклам кабаре и спортивных фуфаек. Черное, белое, серое. Однообразие формы и свинцовый, тяжелый воздух позволяют говорить о полиграфическом пафосе страны. Люди здесь мнятся мне типографским шрифтом, образцовой работой огромного линотипа. Даже идеологические и политические страсти напоминают перебранку маниакально-исполнительных корректоров.

Я говорю не о литературе, но и не о ремесле типографа. Я говорю о книге. Здесь это не один из видов распространения мысли, это — «вещь в себе». Даже газеты здесь своим обликом, солидным объемом, маленьким форматом, нарочитой серьезностью языка невольно подражают книге. Карточки в кафе, программы кинематографов, любовные письма — все это книги, почтенные тома, труды таинственных «докторов».

Кажется, не писатели здесь определяют книгу, а книга писателей. Это — серьезное, солидное производство. Россия знала писателей — учителей, проповедников, юродивых. Во Франции образ Стендаля, этого гениального дилетанта, как бы затмевает рабочую одышку Бальзака. Литература там — вторая профессия, прихоть, отдых, игра тонкого ума и рафинированных чувств. Я никак не могу понять, где французские писатели пишут свои книги,— ведь письменный стол в Париже такая же роскошь, как, скажем, бухарский ковер. Вероятно, романы молодых французских снобов, колеблющихся между академическим католицизмом и обязательной педерастией, написаны за стойкой американского бара или за туалетным столиком. Здесь же в любой мещанской квартирке — письменный стол, если не два. Здесь писатели пишут; они пишут добросовестно и угрюмо.

В прошлом столетии Париж был средоточием литературной культуры. С тех пор многое изменилось. Народы узнали и нивелировку, и некоторую духовную самостоятельность. Образовался добрый десяток Парижей, и разговоры о духовной гегемонии какой-либо нации стали достоянием веселых «обозрений» или фашистских газет. В тот час, когда Берлин отказался от безумной мечты стать метрополией, когда он удовольствовался ролью огромной узловой станции с ее скоплением разномастных пассажиров и диковинных грузов,— в тот час он, может быть, стал подлинной столицей Европы, если не ее поэтическим сердцем, то органом жизни — печенью.

Немцы первые поняли значение вавилонского воляпюка, и они сумели обуздать свои духовные таможни. Знакомство с иностранной литературой стало здесь почти общим достоянием. Не говоря уже о французских «ведетах»,— неизвестные вне своих стран русский Бабель, ирландец Джойс, чех Гашек здесь переведены и оценены. Для всего мира мы, русские, еще продолжаем оставаться «славянской душой», этим вдоволь гнусным сочетанием дешевого балета с «казачком» вприсядку и дурно переваренной достоевщины. Здесь переведены почти все современные русские авторы. Это не слепая любовь и не преходящая мода, это старательное изучение, работа с колбами, с циркулем, с ломовым потом.

Я встречаюсь здесь со многими немецкими писателями. Я плохо говорю по-немецки, но у меня с ними

общий язык — это язык времени и ремесла. У меня немало друзей среди французских писателей, но я никогда себя не чувствую с ними как равный с равными. Я знаю, что в глубине души они удивлены: как это я говорю с ними о Прусте или о Валери, вместо того чтобы предаваться джигитовке или тренькать на балалайке? В Берлине я не экзотика, не казак, который случайно знает грамоту и даже пишет романы, но современник. Это сделали книги, солидные книги в переплетах,— они уничтожили границы.

Писателей здесь не боготворят и не презирают. Это не пророки, не шуты, а полезные работники, производители книг. Им отведено в жизни строго определенное место, как библиотечному шкафу в квартире. Может ли быть иначе в правильно организованном обществе? Существуют электротехники, и существуют писатели.

Растрепанная книга занимает слишком много места на полке, — ее надлежит переплести. Здесь начинается высшее безумие фанатиков порядка: они хотят переплести души писателей. Они как бы говорят: «Вам дали все: почтенные издательства, литературные газеты, честных критиков, хоть умеренные, но точно выплачиваемые гонорары, вам даже дали литературный кабачок «Шванеке», где вы можете, как и все почтенные буржуа, сидя в удобных креслах, пить рейнское вино,— ну, чуть похуже маркой,— вам дали общественное положение и безупречную технику книг. Работайте! Делайте романы или же новеллы! Обслуживайте нас! Нам мало жонглеров «Скалы» и ликеров Канторовича. Ведь мы народ книги, и мы хотим книг».

Заказчики, однако, ошиблись. Нет сейчас более безуютной литературы, нежели немецкая. Здесь забываются и временные эстетические мерки, здесь забываются и непреложные каноны искусства. Чувство социальной тревоги треплет, как лихорадка, эти страницы. Под коленкоровыми переплетами значатся растрепанные волосы, судорожно сжатые руки, заплаканные глаза. Разрушение книги идет изнутри. На культ порядка писатели отвечают мятежным бредом. Они пишут книги, похожие на ночной выстрел или на женский плач, похожие на все что угодно, только не на книги. Среди рычагов и приводных ремней это защита одного против всех. В стране громкоговорителей и фабричных сирен книги — кирпичи из прессованной бумаги,— они

говорят человеческим языком о человеческом сиротстве и о человеческой тоске. Писатели, если угодно, перехитрили: под видом романов они производят взрывчатые вещества, слова тривиального сострадания, которые опаснее для современной иерархии, нежели все заговоры и все декларации.

Я знаю, что сейсмограф и Петрарка — различные вещи. Я знаю, что за душевную катастрофичность литература неизменно расплачивается недосугом, недохватом, хилостью стиля и архитектурной путаницей. Но наше время падко на ультиматумы. Петру нужно было либо отречься, либо отойти от огня и схватить насморк. Остальное — дело вкуса. Что касается меня, я предпочитаю чихание.

Я беседовал с Альфредом Деблином. Это не политик, не философ, это писатель, писатель прежде всего, писатель во что бы то ни стало. Он любит корни слов, как живописец запах скипидара. Он говорил мне, что не выносит психологических романов, что проза должна быть «легка». Говоря это, он глядел на меня слегка хитрыми и усталыми глазами талмудиста, который ищет тайное значение букв «ламед» или «вов» и сам про себя усмехается, зная, что нет на свете ни «ламеда», ни «вова», ни букв, ни Талмуда, а только исконная горечь узнавания. Я глядел в его глаза и хорошо понимал, что слова о легкости — только переплет, хороший, аккуратный переплет. Нет, это не защитник библиотечной полки!

В книге «Путешествие по Польше» Деблин рассказывает о своей встрече с современной механической цивилизацией, после того как он увидел иной мир: нищету и правдивость украинских сел и польских местечек, пейсатых начетчиков и простодушных пастухов. Встреча произошла в Данциге, у витрины фотографа, где висели фотографии почтенных бюргеров, может быть, читателей того же Деблина, во всяком случае — владельцев библиотек с бережно выстроенными книгами. Одно повторял Деблин у этой витрины, глядя на лица, безжизненные и стойкие, как элеваторы, как динамо, как квартиры с замечательными ваннами, как издания Фишера или другого солидного издательства:

— О, сердечная тоска, о, Herzentod!..

Если бы чужестранцы не ограничивались обозрением окон книжных лавок, если бы они приподымали

иногда аккуратные переплеты, они знали бы, что обманчивы красные щеки и вечная рождественская улыбка германского бурша, они оставили бы тогда вздорный миф о разумности, о ясности, о самоуверенной трезвости немецкой души. Ведь там, под переплетами — человеческий хаос, там проклятья и детские жалобы, там — доподлинная «сердечная тоска». И кто знает, может быть, только предельным безумием продиктован внешний порядок, столь удивляющий наивного чужестранца; может быть, эти книги действительно необходимо переплести, чтобы слова не разбежались по холодным гулким улицам, как наивные повстанцы, как бритые узники сумасшедшего дома или же как первые зябкие жаворонки огромного человеческого перелета?

ОТТО И ТЕНЬ

Трансатлантические пароходы увозят в Новый Свет не только парижские платья и подозрительных Рембрандтов,— нет, в трюмы и в кабины первого класса грузится старенькая европейская душа. Как всякие колонизаторы, американцы вывозят одно, уничтожают другое. Последнее, впрочем, совершается гуманно и бесшумно, как казнь на электрическом стуле: вместо динамита — зелененькие ассигнации.

Немецкая кинематография в последние годы была одним из редких проявлений европейского духа, следовательно, она подлежала вывозу за океан.

Прошло пять-шесть лет. Лучшие кинорежиссеры и актеры Германии узнали дорогу из Берлина в Голливуд. Оставшимся пришлось изучить новое искусство, далекое от съемок и монтажа,— распознавание, когда шуршит доллар и когда он перестает шуршать. Это хоть несложное, но очень горькое искусство! Познавшие его начали изготовлять фильмы с матримониальными концами и с улыбками «made in USA». Героический период немецкой кинематографии закончен.

Принято говорить, что современность не знает национальных отличий, что одни и те же же машины вертятся в Йокогаме и в Дюссельдорфе. Это наивная философия проводника международного экспресса. Разве не могут одни и те же машины вертеться поразному? В чадной Германии индустриальная архитектура бредит готикой, вспоминает судорожные взлеты

вверх и бешенство материала, а в соседней Голландии она мирно дремлет, она нежно белеет, как пуховые сны благонамеренных негоциантов. В радиотелеграммах, отправляемых Эйфелевой башней, нетрудно опознать стиль Расина. Кинематограф интернационален, как телеграфный код, и он национален, как любовь. Физиономия Дугласа Фербенкса самодовольна, глупа и жизнерадостна, как мемуары Форда и как клетчатые штаны. «Мать» Пудовкина немыслима вне кликушества в русской литературе, вне жалостливости деревенских баб, вне нудной зевоты чаепитий.

Когда в Москве или в Париже я глядел немецкие фильмы, мне вспоминались узкие улички с поперечными вывесками, загадочные толпы на картинах Брейгеля, дрожание фонарей и кошмарный мир, рождаемый внезапной встречей чьей-то сутулой спины и дуговой лампы, подозрительное маячение героев Гофмана, романтика глины и хмеля среди шахт, сталелитейных заводов, автоматических закусочных. На стольких-то квадратных метрах полотна мигала, пугала внезапным перемещением света и тени, юродствовала, торжествовала душа народа.

Конечно, немецкие кинорежиссеры изнасиловали объектив. Они заставили ясные и трезвые линзы глядеть на мир воспаленными глазами исконных визионеров. Может быть, с точки зрения киноремесла это преступно. Экран — если не реальность, то ее счастливейший суррогат. В Голливуде строили всамделишный собор Парижской богоматери, Эйзенштейн скромно разводил мясных червей, а вот немцы в это время выдумывали кошмар за кошмаром, стандартизованные кошмары, условную архитектуру, сумасшедших «докторов», паноптикум ужасов, оскал Крауса, театральные эффекты света — словом, мир не столько фотогеничный, сколько органичный для них, полный скорее идей, вибраций и звуков, нежели зримых форм.

Кинематограф был дан человечеству, впавшему в детство, как гениальная соска, с его совмещением экономии времени и нормальной питательности души. Он нес в себе универсальную упрощенность для усталых фантомов, а также для молодых, вполне здоровых кретинов. Поэтому до войны он оставался низкой забавой, воскресными выходами детворы и прислуги, чтобы стать потом основным искусством современности.

Немцы взяли этого невинного розового младенца и надели на него очки, которые должны свидетельствовать не столько солидную начитанность, сколько душевное заболевание, абстрагированность слез, бесцельный закал воли, всю многовековую фантазию народа, живущего обязательным изменением пропорций, конфекционной метафизикой и сухим картофелем.

Немецкие фильмы так же непременно истязают зрителей, как американские ублажают их. Кажется, толпы приходят в эти темные залы ради таинственного самомучительства. Трудно отыскать картину, в которой безумный старик не душил бы несчастной девушки. Как «Прыжок смерти» мюзик-холла, это — обязательная часть программы,— от забытого всеми «Калигари» до новорожденного «Метрополиса». А если не душат, то склонны душить, сомнамбулически бродят по темным коридорам, по узким улицам, братаются с тенями, истерически любят и судорожно заламывают чрезмерно тощие руки. Это не случайный прием того или иного режиссера. Это эмоциональная стихия всей немецкой кинематографии.

Я внимательно слежу за публикой. Вот вспыхнул свет. Как во всех кино мира, здесь много влюбленных пар, которые ценят темноту и немую лирику. Передо мной молоденькая девушка, от волнения нежно-розовая, как ветчина. Она плакала, Она видела, как душили ту, другую, на экране, тоже молоденькую и нежно-розовую. Она в то же время счастлива: ведь он повел ее в кинематограф, он, Отто или Карл. А вот, Отто или Карл, бел и сух. В его зрачках еще безумствуют подозрительные тени. Высокий крахмальный воротничок подпирает трагическую маску приказчика сигарного магазина. Они уходят. Они поворачивают в боковую улицу.

Я пытаюсь успокоить себя — ведь это влюбленные, они сейчас будут есть бутерброды и мирно целоваться; он не преступник, он — только Отто или Карл, приказчик сигарного магазина. Но нет, я не могу успокоить себя. Мне страшно. Я не вижу раздела между тем и этим. Берлинские улицы напоминают экран: они лишены объема и цвета. По ним чинно ходят полные значимости тени, а из завешенных тяжелыми шторами кондитерских доносится тихая музыка. Здесь молчаливы страсти и преступления, как в кино; ночь здесь проходит среди чарльстона под сурдинку и глицериновых слез.

В одном старом фильме Карла Грюне, прикрытый банальностью уголовного анекдота, представлен роман между честным бюргером и тенью. Он ест суп. Тень появляется на потолке. Он выбегает на улицу. У него высокий воротничок и канцелярская раздражительность. Он помахивает палкой. Он волочится за тенью. И, право же, не существенно, если тень становится потом уличной женщиной: ведь он не женщине предан, а тени. Может быть, он читает не «Критику чистого разума», а анекдоты в «Illustrierte Zeitung», но он бел, скрипуч и весь выдуман, как его воротничок. Я видел немало таких чудаков в окрестностях Штеттинского вокзала. Я видел и немало теней, хотя улицы Берлина освещены на славу.

Теперь немецкая кинематография переживает серые деньки. Легко смеяться над Америкой, труднее с ней бороться. Немало дорог пройдено, причем эти дороги (как, впрочем, все дороги) закончились тупиками. Конечно, «Варьете» пользуется за границей большим успехом, но это успех эпигона, умело смягчившего чрезмерно резкие тона. В этой добротной и чистой картине подобраны все находки предшественников. А дальше?.. Трагедия начинает сбиваться на карикатуру.

«Метрополис» сфабрикован с истинно шиберской роскошью. Постановщик аргументирует предпочтительно миллионами затрат. В этой плоскости, однако, трудно перегнать Америку: ведь у них, при всей их тупости, столько нежно шуршащих зелененьких билетов! Для «Метрополиса» построили Вавилонскую башню, но в Голливуде эти башни выпускают сериями, как детские кубики. Анекдот «Метрополиса» розов и глуп, как теория классовых противоречий, изложенная девицей, готовящейся к конфирмации, но, ей-ей, американцы могут придумать что-нибудь еще поглупее,— им это ничего не стоит. Ведь здесь люди ломают себе голову, как бы поглупеть, чтобы угодить заатлантическим дядюшкам, а там глупости еще больше, чем долларов, автомобилей и пасторов.

Правда, остается похвастаться тем, что при съемке «Метрополиса» несколько детей простудилось и умерло. Однако не думаю, что и этим можно кого-либо удивить. Каждый сам понимает, что, затратив пять миллионов, легко погубить не пять, а пять сотен нищих детей.

На рынок выброшены десятки картин со светскими раутами, с проникновенными супружескими поцелуями,

с двумя-тремя мелкими трюками и с быстрым монтажом. Право же, этот товар может быть выдан за голливудский. Но стоило ли родиться с душой Гофмана, чтобы определиться клерком в мелкое отделение «Америкен-экспресса»?

С младенца, может быть, и следует снять очки, однако необходимо отравить его чересчур светлые, щенячьи глазенки толикой наследственного недоумения. Иначе произойдет и здесь, в темных залах, разрыв. Мы как-никак, читавшие разные книжки и видевшие иной мир,— мир вне пулеметов, вне легкой наживы, вне футбола или фокстрота,— мы уйдем. Уйдем в дряхленькие залы театра или в заплеванные пивные. Останутся опасно-веселые ценители Гарольда Ллойда. В новой Европе существует только одна страна опрятных приказчиков и, следовательно, безудержной фантазии. Хорошо, пусть Отто или Карл не душат больше невинных девушек. Я верю, что им надоело это занятие не менее, чем расхваливание посредственных сигар. Но пусть они заменят опостылевшую профессию новым очередным безумием. Ведь что же будут делать их любовницы — несчастные тени берлинских улиц и серых экранов,— если они предадут их ради калифорнийского солнца и калифорнийских долларов?

СУМАСШЕДШЕЕ ВЕДРО

Обитатели Дессау с любопытством оглядывали меня. Я был для них чужестранцем, следовательно, диковиной. Хотя в Дессау и находится «Баугауз», этот каменный авангард Европы, жители города остаются старосветскими провинциалами, способными зевать на любую еще не приглядевшуюся им физиономию. В центральном кафе города оркестр исполняет вальсы, доисторические марши, попурри времени саше и драже. Это, конечно, не относится к делу. Это только справка о том, как долговечен обыкновенный горшок с геранью: ему ничего не стоит преспокойно цвести на одном из абстрактных подоконников давно разрушенного дома.

Впервые я осматривал «Баугауз» года четыре назад. Это было в задушевном, полном лип и особняков Веймаре. Школа нового строительства и художественной промышленности родилась в бурные годы. Судьба ее зависела не от эстетических теорий, но от бюллете-

ней, опускаемых в урну тюрингенскими обывателями. Правый ландтаг подозрительно косился на непонятные чертежи и экспансивные повадки пришельцев. Так настал день, когда «Баугаузу» пришлось подыскать себе новую квартиру.

К счастью, в Германии столько же культурных центров, сколько городов, причем ни один из них не желает зависеть от другого. Правда, Дессау не бог весть какая столица, однако Дессау посмел сделать то, перед чем в нерешительности останавливаются не только Париж, но порой и Москва. Дессау решил поставить столько-то марок и столько-то веры на эту загадочную для него карту.

Говорят, что консерватизм необходимая в жизни вещь, и, говоря так, преклоняются перед человеческой глупостью от семейного кодекса Франции, придуманного еще Наполеоном, до шутовских балахонов английских судей. Степенные немцы порой способны на вполне цирковые номера. Они — скорее чудаки, нежели консерваторы. Причем, если в Германии сохранилась бутафория прежних времен, если Гогенцоллерны украшают и поныне буколические гостиные, если писателей преследуют за оскорбление нравственности, если гамбургские мясники освежевывают девушку, осмелившуюся провести ночь с возлюбленным,— словом, если здесь всего вдоволь — и анекдотических кодексов, и дурацких колпаков,— то это происходит не от идейного консерватизма. Нет, просто люди еще не научились применять электрические пылесосы к своим собственным мозгам.

Быт здесь эластичен, как язык: по-немецки ведь нетрудно придумать новое слово. Поэтому заграничные моды доходят в Берлине до эксцентрики мюзик-холла, пепельницы непосредственно связаны с живописью Пикассо, а дома какого-нибудь Магдебурга, размалеванные героическими истериками, требуют смирительных рубах и холодных душей.

Есть у меня рассказ о трубке некоего почтенного импотента; в Англии никто не решился его напечатать из боязни судебных преследований; напечатанный в Швеции, он вызвал подлинный скандал, так вот этот самый рассказ был помещен в воскресном приложении весьма почтенной берлинской газеты, специально предназначенном для семейного чтения.

Нет, немцы не консерваторы. Они и не революционеры. Они часто врастают в землю и думают, что это

наилучший способ передвижения. Подует ветер, выкорчует человека, и тот начинает проделывать «прыжки смерти». Однако он сам этого не замечает. Ему кажется, что он чинно идет на службу. Гуттаперчевая жизнь!

Все это не мешает назвать бургомистра Дессау доподлинным героем. Не так-то легко было принять в провинциальный дом чудаковатого юношу, изгнанного веймарскими праведниками. «Баугауз» здесь вырос и возмужал. Он больше не проживает на положении студента в наемной комнатке. Строительная школа наконец-то получила право построить дом для себя.

Я подходил к «Баугаузу» в один из первых весенних дней. Окрестный пейзаж одаривал меня всей мыслимой идиллией нашего времени. Нежно дымились чащи фабричных труб, в небе весело реяли юнкерсовские самолеты, воздух пахнул мартом, гарью, известью. Увидев наконец «Баугауз», весь, казалось, отлитый из одной массы, как настойчивая мысль, его стеклянные стены, образующие прозрачный угол, общий с воздухом и отделенный от него точной волей, я невольно остановился. Это не было изумлением перед чьей-то хитроумной выдумкой, нет,— это было простым любованием.

Есть в зодчестве законная последовательность, и специалисту, думается, нетрудно установить родословную этих форм. Я хочу только сказать о торжестве ясности. Это строение как бы враждует и с окрестными домами, и с самой почвой. Впервые земля видит здесь культ обнаженного разума, того светлого и сухого начала, которое захватывает нас в куполе Святой Софии и в математических проблемах, во французской литературе «большого века» и в планировке гигантских трестов. Нет здесь больше места темной стихии чувств, темным закоулкам души, громоздящимся друг на друга снам. Каждый угол, каждая линия, каждая наимельчайшая деталь назидательно повторяют финальные слова забытых со школьного времени теорем: «...что и требовалось доказать».

Да, требовалось доказать, что мы живем арифмометрами и начальной логикой. Это доказано. Требовалось доказать, что такая жизнь имеет свое искусство, свою эстетику, свой высокий стиль. Доказано и это. Доказано также и нечто третье, правда, не входившее в задания архитектуры,— доказано, что новая жизнь и новое искусство требуют новых людей и что мы для этого не годимся.

Последнее становится особенно вразумительным, когда после «Баугауза» глядишь на жилые дома, выстроенные тем же архитектором и в том же стиле, на дома для рабочих и для профессоров школы. Насколько «Баугауз» прекрасен в своем голом пафосе числа и труда, настолько духовно приземисты и безличны эти ультракомфортабельные постройки. Индустриальный стиль, подобающий художественным мастерским, здесь, где вырабатываются только суп, сны, поцелуи и слезы, смешон, как прозодежда в роли халата.

Когда заверяют, что найден стиль для заводов, для вокзалов, для гаражей, для крематориев — для всего, только не для жилых домов,— я усмехаюсь. Он и не будет никогда найден. В новом обществе нет места для уединения, для неги, для обособленных фантазий. Архитектура определила психологию. Дома — чтобы жить? Но люди живут теперь на фабриках, на вокзалах, в банках, в кинематографах. Когда они наконец-то поймут, что никакой другой жизни им не полагается, тогда архитекторы перестанут строить казарменные дома,— их заменят домашние казармы, помещения для сна, очищенного от снов, для универсального мытья, для физкультуры, для некоторых процедур, способствующих увеличению народонаселения.

Мы знали утопии, основанные на благородных заблуждениях и на гиперболической жажде справедливости — рай Франциска Ассизского или коммуну Кампанеллы. Но имеются (странно это выговорить) трезвые утопии.

Романы Уэллса нашим внукам покажутся историческими. В доме архитектора Гропиуса действуют предпочтительно кнопки и рычаги. Белье носится по трубам, как пневматическая почта. Тарелки из кухни перебегают в столовую. Все продумано, вплоть до помойного ведра, которое автоматически раскрывается и закрывается. Это рождает благоговение и легкий испуг.

Вещи начинают опережать желания. Фантазия варваров и детей не знает пределов — она ведь живет хаосом чувств, но фантазия водопроводчика весьма ограниченна. Она может родить новую систему труб, но не новую космогонию. Пройдет еще десять или двадцать лет, ведро будет летать, белье само спадать с тела, пища будет готовиться без всякой потери энергии при помощи электричества или еще чего-нибудь

поновее. Среди всей этой энергичной, хоть и бездушной материи люди будут сидеть в необычайно удобных креслах, сидеть и зевать. Кто выразит великую, неописуемую, разрывающую челюсти и сердце скуку суперусовершенствованного ведра?..

Оно, конечно, не подкидыш, это хитроумное ведрышко. Нет, его родители весьма循 имениты. Впрочем, думали ли они, всевозможные «исты» — кубисты, футуристы, конструктивисты,— проповедуя логику и геометрию, заменяя эмоции циркулем, а старомодное вдохновение формальным методом, что один шаг истории, одно десятилетие отделяют глубоко философские кубы от этого ведра?

Новое сугубо страшно, когда оно подается в виде декларации. Это — эссенция. Это — жестокий огонь аскетов и фанатиков. Люди, однако, живы компромиссами. Мало-помалу организм привыкает к ослабленному раствору.

Дом, занимаемый художником Кандинским, с виду ничем не отличается от соседних домов. (Тождество всех этих построек настолько выдержанно, что пришлось поставить дощечки различных цветов, дабы малые ребята, не привыкшие еще к цифрам, могли бы отличить свой дом от других.) Но вот внутри сказался дух хозяина. Это не молодой варвар, не туповатый пророк воображаемой «Америки»,— нет, это, скорее, римлянин III века, усталый эклектик, человек, преданный разным эпохам, который не сделал себе кумира ни из ведра, ни из всего нашего времени. В его доме можно увидеть индусскую скульптуру и новгородские иконы, пейзажи Руссо и стихи старых романтиков. Он достаточно зорок, чтобы видеть жизненность, а следовательно, и красоту стеклянных углов «Баугауза», но эта зоркость мешает ему предать рай бедного «таможенника» ради рая самовращающихся тарелок. А может быть, и не зоркость это, но только неисправимость человеческой породы, ее исконное пристрастие к лирическим обмолвкам, ко всему бесцельному и аналогичному, благодетельная еретичность?

Ведь грешат не только профессора,— грешат и ученики, которым возраст да и все навыки наших дней должны были бы диктовать нетерпимость. Кандинский рассказал мне, что многие из этих учеников тайком в свободные часы занимаются живописью. После выработки проектов скотобоен или гаражей, после из-

готовления металлических кресел или стеклянных ламп они предаются явно бессмысленному делу — пишут портреты и пейзажи, как будто не существует на свете ни конструктивных принципов, ни первосортных фотографий.

Белые кубы, перекладины, круги, металл, стекло. Хорошо... У меня тоже имеются и глаза, и средней дальновидности ум. Я не хочу отстать от мудрого бургомистра Дессау. Я уважаю этих смелых и прямых людей. Они не хнычут над трухой прошлого. Они героически делают все, вплоть до ведра. Они вполне правы. Сейчас нужно делать не пейзажи, а ведра. Но я все же не верю в смерть искусства. Мне кажется, что сумасшествие всегда останется сумасшествием, и я не могу себе представить жизнь как диктант первого в классе ученика. Когда среди сотни прочих найдется один избранный, он, вероятно, сделает сумасшедшее ведро, и это ведро нельзя будет поставить на кухню, ибо оно будет вызывать слезы и восторги. Следовательно, все в порядке. Можно еще раз благоговейно взглянуть на стеклянный угол и убраться в наши обыкновенные дома, построенные людьми, уже разучившимися думать о прежней красоте и еще не разгадавшими жестокой тайны грядущего комфорта.

СОСЕДСТВУЯ С ЗОНТИКОМ

Без вагонов, как без хвостов в почтовых отделениях, без этих вынужденных часов или минут замирания мы лишились бы даже нашей шустрой газетной пятикопеечной философии. Нет, вагоны — это не только копоть в носу и шуршание пергаментной бумаги, из которой предусмотрительный сосед вынимает извечные и скучные, как пословицы, бутерброды,— это еще вязка ног, отвлеченность мыслей, напряженная работа голов. Так подводятся духовные балансы промотанных где-то за мутными окошками лет!

Господин Мюллер или Шуллер, ваша гениальная маска не обманывает меня! Вы хотите доказать мне, что заняты только бутербродами? Вы непроницаемы: зонтик в чехле, очки в круглой оправе, юмористический журнал, дорожные туфли, дорожная кепка, дорожные бутерброды... Когда вы перестаете жевать, вы смотрите на расписание: поезд в Галле стоит четыре

минуты. Очень приятно! Потом вы вынимаете книжечку с передвижными страницами и, долго глядя на белый листок, выдавливаете из себя несколько невзрачных цифр. Вероятно, это новые цены на мыльный порошок или на подтяжки. Вы — самый нейтральный член нашего вдоволь пестрого общества, вы — коммивояжер. Но я не верю ни зонтику в чехле, ни профессии. Стучат колеса. Мелькают станции с остановками в четыре и даже в пять минут. Ваши мысли становятся все чище, все суше, все голее. Вы уже думаете не о проданных подтяжках, но о своей нелепой жизни. Не стоимость порошка знаменуют эти цифры, но роковые даты. Если вы не выйдете на ближайшей станции, дело дойдет до метафизических глубин, до Шпенглера, до Китая, до искусственного человека. Тогда-то сдержанный ваш смешок над глупой шуткой продымленного журнала наполнится нестерпимым сарказмом. Ах, эти обманчивые бутерброды!

Я тоже занят итогами. Правда, я стараюсь быть скромным — я не думаю ни о прожитой жизни, ни о буддизме. Я только пытаюсь привести в порядок впечатления нескольких недель. Вот я снова увидел Германию после трехлетней разлуки. Все здесь изменилось. Люди отъелись, обставились, обжились. Здесь — новый мост, там — новое кафе. Позади вместо исторической трагедии несколько некрологов и жестокий анекдот. (Не над ним ли, кстати, смеется унылый сосед?) А душа? Душа все та же. Ее не изменили ни бедность, ни принижение, ни труд, ни новое богатство. Зонтик в чехле лежит на полке. Он все тот же. Он может многое объяснить. Но обычно он только все затемняет.

Мы ведь ближайшие соседи этих Мюллеров. Крестьяне в глухих селах и до сих пор всех иностранцев зовут «немцами». Можно забыть наполеоновских гренадеров, но не Карла Карловича, который был пивоваром, продавал анилиновые краски, выделывал колбасы и даже читал лекции о химическом удобрении.

Немцы для нас не отвлеченное понятие, это скорей механическое пианино, это аппарат землемера, это пресловутая луна, сделанная, по нашему твердому убеждению, в Гамбурге: луна не атрибут шиллеровских баллад, а колба, необходимая для выработки красящих веществ или удобрений. Кадриль последней войны дополнила знакомство: мы обменялись хоть непрошенными, но назидательными визитами.

Я не знаю, понимают ли немцы нас, удивились ли они, когда — вместо обычных «кургэстов» Бад-Эмса или Киссингена, вместо Алеши Карамазова, вместо танцоров «Шехеразады» — на сцену выступили 21-й параграф, «Лига времени», тресты и вся фермерская озабоченность вчерашних статистов «Хованщины». Что касается нас, мы немцев вовсе не понимаем. Мы живем сомнительными традициями. Португалец может быть для нас живым человеком. Немец — это только приглядевшаяся аллегория.

Классическая русская литература знала две разновидности немцев: энергичных, душевно приземистых дельцов вроде Штольца из «Обломова» и сентиментальных ротозеев, склонных к музыке или к безобидным чудачествам, вроде тургеневского Лемма. Иногда нас все же охватывало сомнение: как же они уживаются в одной стране, мечтательные Леммы с низменными Штольцами? Мы успокаивались на том, что последние, вероятно, пожирают первых. Больше в Германии нет ни музыки, ни чудачества. Это страна утилитаризма, порядка, зонтиков в чехлах.

Здесь все было ложью. Мы не понимали, что Штольцы отнюдь не трезвые дельцы, а представители нового гигантского сверхчудачества. Мы не понимали также, что Леммы способны работать на славу, способны простоять четыре года у пулемета и сорок лет у станка. Мы не понимали,— и это главное,— что Штольц и Лемм — одно и то же, что душа какого-нибудь инженера из Эльберфельда полна лирического щебета, а что прямой внук Лемма, несмотря на романтический воротник, способен ратовать за новую экономику.

Нас ошеломило все: угрюмое напряжение военных лет, бредовое величие замыслов и судорожная сдержанность мяса, картонный треск, казалось, гранитных цоколей, ноябрь восемнадцатого года, экспрессионизм и гамбургские баррикады, доктор Калигари и систематическое безумие путчей.

Не пора ли нам, забыв о Штольцах и Леммах, взглянуть на немцев не как на соседей, но как на диковинные иноматериковые существа? Тогда, быть может, мы поймем сумбурную душу этого народа, и если суждено нам вернуться к зонтику в чехле, то и зонтик заговорит с нами по-иному.

Курфюрстендам весной 1927 года полон света, золотой чешуи ювелиров и причудливых орхидей. Это

классический аквариум с гадами и цветами. Я видел его осенью 1923 года. Пугливо закрыты были ставни. Как в диких джунглях, рыскали здесь храбрые иностранцы, охотясь на дешевые чемоданы или штиблеты. Никто не подметал этих тротуаров. Неумытые стекла магазинов морщились, как старые фрейлины Кобурга или Ангальта. Чудо? Упорство? Труд?

Да, разумеется. Но весной четырнадцатого года Фридрихштрассе тоже лоснилась избытком воли и сил,— она трепетала от энергии, как мускул циркового атлета. Я дивлюсь этой почве: на ней все слишком быстро растет и слишком быстро вянет. Если детские шарики здесь изготовляются солидно, впрок, с гарантией чуть ли не на пятьдесят лет, то многие институты, идеи, навыки, которые кажутся нам вековыми, незыблемыми, связанными с самой душой Германии, вдруг топорщатся и ломаются. Здесь все осуществимо: в сутки любой пустырь может стать центром мира и любой город обратиться в кучу мусора.

Не вульгарной силой, не бицепсами, не отроческим здоровьем созданы эти города-выставки, эти универсальные идеи, но напряжением нервов, выдержкой, молчанием, за которым чувствуется скрежет зубовный. Мой сосед, тот, что ест бутерброды, не просто объезжает мелкие городишки с гигиеническими цветниками и техническими школами, не просто развозит образцы подтяжек, весь сжатый и сухой,— он воин непонятной армии, крестоносец без креста, еще полный древнего жара.

Мне хочется сказать русским (да и не только русским): забудьте скорее глупую басню об аккуратном немце! Можно ведь стать фанатиком умеренности. Средние века знали таких изуверов: не хуже других они умели разводить костры. Золотая середина требует здесь душевных жертв, и за любым компромиссом слышится такое угрюмое сердцебиение, что, кажется, не выдержит котел — противоречивая воля многих, еле сдерживаемая тонкими стенками, взорвет усовершенствованную машину.

Здесь существует некая цивильная форма. Я ходил по улицам Берлина в кепке, и я не был рабочим, то есть одним из обитателей нижнего города, по фильму «Метрополис». Что же, нашелся преданный идее швейцар, который молча швырнул меня на черную лестницу. Форма все покрывает, и многие не узнают под

фетровыми шляпами полукруглых придатков: легко ли опознать черта, который одет, как все? Безумие здесь ждет своего — тоже вдоволь безумного статистика.

Итальянские фашисты, даже наши полуграмотные черносотенцы пытаются что-то доказывать, аргументировать, кокетничать с логикой. Их немецкие единомышленники настолько цельны, настолько полны голого физиологического пафоса, что сухая, мозговая, книжная страна, гордая железнодорожной сетью и густой порослью школ, превращается порой в чащи пращуров со звериными шкурами и убогой пращой.

Я не знаю, в Гамбурге ли сделана луна, но я знаю, что недалеко от Гамбурга существует островок Боркум, морской курорт, куда «лицам еврейского происхождения рекомендуется не ездить, так как их не пускают ни в одну гостиницу и ни в один частный дом».

(Эта цитата заимствована мной не из средневековой летописи, но из путеводителя, изданного в 1927 году.)

Один из немецких ультралевых журналистов угрюмо заявил мне:

— Я не понимаю, почему в России разрешают печатать такие книги, как ваш «Хуренито»! Критиковать?..

Если после всего этого можно еще говорить о пресловутой аккуратности, то только об аккуратном гриме иных потусторонних существ.

Стучат колеса. С опаской я гляжу на моего соседа и на его зонтик. Оба безмолвствуют. Коммивояжер теперь не ест, не смотрит на расписание, не записывает цифр. Его глаза, бесцветные, жидкие, как небо за окном, как бледное небо над домнами и над феями, ничего не выражают. Он устал. Он устал ехать. Он устал развозить подтяжки. Он устал жить. Конечно, это — только минутная пауза, вызванная обстоятельствами. Сейчас он вылезет на нужной ему станции. Он унесет с собой тусклость взгляда и зонтик. Он будет весь день энергично работать. Однако за этой энергией, как и за энергией всей страны, мне чудится огромное катастрофическое недоумение.

Работать, чтобы работать? Идти, чтобы идти? Но ведь это только инерция. Парижанин жив хорошей погодой, дешевой любовью, букетиком фиалок. Там, на Западе, можно великолепно жить с маленькой рентой и безо всяких идей. Немцы любят думать: цель

здесь не предмет роскоши, не прихоть чудака, это — общественная необходимость. Моему соседу необходимо знать, зачем он должен продавать подтяжки: скромный ужин, кружка пива, даже губы какой-нибудь Эрны — это оплата стольких-то часов равномерного вращения. Но кто оплатит сердечный пыл, расточаемый при постройке всего огромного и пышного здания, именуемого Германской державой?

Прежние идеалы, перелицованные и заплатанные, как довоенные пиджаки, вконец износились. Их продали задешево в музей. А новых никто не сумел скроить, и в стране, богатой всем — индустрией, комфортом, книгами, кондитерскими,— отсутствуют только идеалы. Это очень страшно. Зонтик не знает, зачем ему ходить в чехле, зачем ему раскрываться в дождь и оберегать пророка подтяжек. Зонтик — и тот готов сойти с ума.

Стучат колеса. Мелькают станции. Скоро граница. Этот поезд еще помнит свой путь. Этот поезд еще не сойдет с рельсов. Но кто поручится за дальнейшие?..

1927

Двойная жизнь

Слов нет, Германия сейчас самая занятная страна Европы. Это относится и к размерам ставки, и к темпераменту игрока. Вокруг зеленого сукна столпились зеваки, осторожные джентльмены, время от времени важно швыряющие мелочь на «равные шансы», и просто проходимцы, уже давно продувшиеся, которые не прочь стащить чью-нибудь чужую ставку. Только один игрок здесь ведет серьезную игру. Он весь красен, он вспотел, но он не теряет присутствия духа. С равным отчаянием он и выигрывает и проигрывает. Он не уйдет отсюда до конца.

Иностранец, пересекая эту страну от Рейна до Вислы или от Балтики до Альп, обязательно заметит и батальоны заводских труб, и геометрию новых построек, и непрерывное мелькание встречных поездов. Он, однако, вряд ли вспомнит о липах, о тех старых липах из хрестоматии, которые наперекор всему продолжают шуметь, цвести и одурять в июне все эти суперкубистические тела. Только не примите столь почтенные деревья за необходимость древесных насаждений: мы не в Нью-Йорке. У местных лип длинная родословная. Они умнее всех философов Йены и Марбурга. Их шелест порой явно ямбичен, а их запах, хоть и не котируется на мировой бирже, хоть им и не занимаются члены Контрольной комиссии,— этот запах все же умеет сводить с ума целый народ.

Я отнюдь не хочу сейчас заниматься археологией и в большой, вполне современной стране выискивать Аугсбург или Хильдесгейм. Я знаю, что Гейне и Новалис давно умерли. Я знаю также, что немцы твердо решили не отставать от своего века. Попадая из Вены или из Парижа в Берлин, как-то подтягиваешься: здесь с эпохой не шутят. Никто здесь не хочет казаться

отсталым: ни женщины, караулящие у громкоговорителей детали новейшей моды, ни Гинденбург, готовый на старости лет расцеловать любого социал-демократа, ни дома. Да, даже дома, бесчувственные каменные дома стыдливо преображаются. Я не говорю о новых постройках: этим краснеть не приходится, у них даже кнопки звонков — и те конструктивны. Но что делать двадцатипятилетним домам, столь преждевременно состарившимся? На их фасадах — валькирии или титаны того сентиментально-нахального периода, когда Господь Бог расхаживал в шуцманской каске и когда люди любили исключительно по картинам Франца Штука. Впрочем, выход найден и для них: с фасадов соскребают всех валькирий, как вышедшие из моды буфы или шиньоны, приделывают конструктивные кнопки,— и вот сотни омоложенных домов уже улыбаются современным женщинам, современному Гинденбургу, современному счастью.

Но липы? Липы все-таки еще шумят. Их даже нельзя срубить: во-первых, они полезны для городской гигиены, во-вторых, срубленные, они станут еще опасней. Теперь это наполовину деревья, тогда они станут запахом детства, жестокой памятью, навязчивой аллегорией. Германия продолжает жить двойной жизнью — буколического биржевика и канализационного инженера, знающего на память все элегии мира.

Провинции в Германии и поныне нет. Любое захолустье может претендовать на роль европейской столицы. Мало кому известный Дессау куда современней Брюсселя, Варшавы или Лиона. Штутгарт по числу жителей равен Бордо или нашему Днепропетровску. Здесь дело, однако, не ограничивается винными погребами или тремя партклубами. Это подлинный культурный центр: несколько газет, все объемистые, добротные; около двенадцати книжных лавок, причем некоторые по умелости подбора, по осведомленности продавцов, по искусству составлять витрины могут потягаться с лучшими берлинскими; свои издательства и журналы; много галерей для выставок; театры; великолепные концертные залы. Что касается современной архитектуры, то Штутгарт — Америка. В этом городе больше подлинно современных домов, нежели в Париже. Новый город — на холме: белые клубы, стекло, свет, вся больничная сугубая чистота нашего мнительного века. Здесь работали лучшие архитекторы Ев-

ропы, от Гроппиуса до Ле Корбюзье. Над старенским городом, где уже непременно шумят видавшие виды липы, над бывшей резиденцией захудалого и безобидного короля, над загадочной, как готический алфавит, черепицей всяческих «Золотых львов» и «Благородных оленей» стоят эти бараки будущего. Даже странно как-то, что в них живут живые люди, что это не выставка, а семейный быт стольких-то заурядных бюргеров. Кто знает, естественно ли это противопоставление, какова душевная драма всех максималистов «белого» и «черепичного» городов и что же здесь имело место: законное рождение наследника или преждевременные роды?

Я спускаюсь к липам. Там сегодня не вздохи Шумана, но треск джаза: в городском саду выставка летних мод. Огромное кафе переполнено: мелкие буржуа, приказчики, конторщики, доктора и книжники из двадцати образцовых лавок прокручивают здесь свой дневной заработок, поглощая торты или плохонькое винцо с клубникой. Память о годах инфляции раскрывает кошельки даже заведомых скопидомов. Кто же станет говорить игроку о достоинствах сберегательной кассы? Немцы не то чтобы разбогатели, они просто научились тратить. Сейчас они пьют, едят торты и смотрят на дефилирующие манекены. Новинки парижской моды здесь преувеличены до комизма. Но зрители не смеются, они восторженно вздыхают. Они смотрят на красивую девушку в купальном трико, которая рекламирует большущего резинового дельфина, как на «Сикстинскую мадонну». Невольно ждешь пронзительного сморкания. Да и девушка лишена кукольной легкости ее парижских сотоварок. Она взаправду смущается. Она взаправду краснеет. Ее глаза, мечтательные до анекдотичности, ищут среди кофейных столиков не только богатых покровителей, но и классически бедного воздыхателя, который стриженные бобриком волосы носит, ей-ей, не хуже памятных локонов.

Каждый день в Штутгарте от двенадцати до двух на главной площади военный оркестр исполняет марши и доисторические попурри. Слушают ли их обитатели «белых» домов — не знаю, но вокруг беседки с музыкантами толпится городская молодежь. Студенты-корпоранты держатся строго обособленными группами. Они отличаются друг от друга мастью фуражек: желтые, малиновые, голубые. Они стоят и смотрят на

девушек, которые чинно парочками прогуливаются по площади, сочетая губную помаду с верностью Шиллеру и любовь к шелковым чулкам с любовью к старым липам. Городская площадь в этот час выглядит так же, как и пятьдесят лет назад. Правда, на физиономиях корпорантов меньше благородных зарубин, старожилы могут вздыхать о падении нравов,—дуэли выводятся. Их место заняли спортивные фокусы и политические скандалы. Но остались фуражки, а под фуражками сложнейшая белиберда «чести», «рода», «нации». Что же сказать о млении девушек? Я осмелюсь назвать его музейным.

В пяти минутах от этой ретроспективной площади — вокзал, а вокзал в Штутгарте редкостный. В своей торжественности он похож на храм неизвестного культа. Десятки сверкающих перронов, магазины, рестораны, кафе, газеты, цветы, циферблаты, ряды и ряды касс — все это обдумано, выверено, гармонично. Трудно даже назвать этот строй вульгарным словом «порядок». Нет, здесь нечто большее — здесь религиозный подход к расписанию, к удобству скромного путешественника, к распределению входящих и выходящих толп, причем равно высокими становится и лёт экспрессов, проносящихся из Рима в Амстердам или из Парижа в Константинополь, несколько минут передыхающих здесь, и путь в ближайший пригород корректора типографии, который должен вовремя выпить пиво, прочесть газету, посмотреть на розы и циферблат, а потом понестись (не поплестись) в четвертом классе к очередной фантастике восьмичасового сна.

Этот богомольный подход к очеловеченной машине и к омашиненному человеку можно наблюдать повсюду. Штутгарт славится вокзалом. Лейпциг, как известно,—типографиями. Я осматривал там огромную печатню, и чем больше глядел я на усовершенствованные машины, тем страшнее мне становилось за мое допотопное ремесло. С какой изумительной легкостью вся сложная мучительная вязь слов, которые человек рождает грубо, плотски, по-звериному, как рожают женщины детей, становится здесь фантастическим количеством листов, вздрагиваниями вала или кружевом монотипов! Абстракция мучительной ночи переходит в огромные стволы легкой недолговечной бумаги. Мельчайшая заминка старого наборщика перед кассой

еще как-то сближала его труд с кустарничеством писателя, который, будь то даже самый развязный журналист, все же человек. Но пять томов египтолога, но стихи поэта кажутся в лейпцигской печатне растерянными мамонтами среди автомобилей. Сколько месяцев, лет, порой даже десятилетий нужно, чтобы написать книгу в двести или триста страниц! Чтобы ее и набрать и напечатать, нужны семь человек и четыре часа. Шесть валов выбрасывают сразу полкниги.

Дело не в цифрах. Ту или иную усовершенствованную машину можно найти в Париже, даже в Милане. Дело в том, как пришлась здесь ко двору вся эта заатлантическая фауна. Она оказалась сродни народу. Это уже не кунсткамера для зевак, но повседневная жизнь Германии. Я, однако, не забываю ни на минуту о лицах. Поскольку речь зашла о замечательных печатнях Лейпцига, уместно отметить, что печатаются там не только каталоги машиностроительных фабрик, не только технические руководства и учебники, но также романы, добросовестные толстейшие романы с обязательным уютом лирических отступлений и психологических длиннот. Когда их только успевают читать? Ведь здесь даже пригородные трамваи несутся, как курьерские поезда. Вот во Франции, хотя там походка людей куда медленнее, хотя там живут и поныне с развалкой, длинные книги вывелись. Современные авторы там пишут ровно на двенадцать франков, то есть примерно триста страниц, никак не больше; напишет чуть длиннее — все равно отстригут. Здесь же — тома. Да и характер поглощаемой литературы добротней. Преобладают психологические романы. К юбилею Толстого выпущены дешевые издания его романов. Тираж — сто тысяч. Молодой инженер, работающий над усовершенствованием монотипов, родился как-никак под липами, пусть воображаемыми, и страдания Анны Карениной ему интереснее американских сыщиков. Странная страна: машина в ней окружена куда большим почетом, нежели человек, но Достоевский в ней популярнее, общедоступней и Бенуа, и Лондона, и Синклера.

Да разве не преисполнены традиционной метафизики те ультраамериканские новшества, которыми тешится буржуазный Курфюрстендам? Открыт там недавно ресторан, где в меню проставлено количество калорий каждого блюда. Заказавший бифштекс узнает,

что он получит 450 калорий, а любитель бутерброда с сардинками мирится на цифре 60. Все это весьма далеко от вопросов гигиены. Это чистая поэзия. Недаром в том же ресторане буфетчики, щеголяя шапочками американских матросов и напевая никому не понятные куплеты, взбивают не то освежительные, не то рвотные снадобья из молока, содовой и химических сиропов, обозначенные в каталоге многозначными номерами. А магазин обуви?.. Не подозревая всей зловещести места, я запросто померил ботинки: хорошо, по ноге, беру. Не тут-то было! Продавщица, бесстрастно улыбаясь, заявила:

— Теперь, пожалуйста, к аппарату.

Нажата кнопка, вспыхнули лампочки, мою бедную ногу подвергают радиоскопии: нужно, мол, проверить, действительно ли ботинки по ноге. Гениальное приспособление! Я, правда, не очень-то верю в его практическую необходимость, зато я согласен признать всю его глубокую традиционность: это фантастика из новелл Гофмана, и Курфюрстендам отныне тесно связан с туманами Брокена или даже со средневековым фонарем, хранящимся в каждом приличном музее.

Действительно, по вечерам на берлинских улицах, слишком просторных и нарочитых, из которых, кажется, выкачан весь воздух, можно услышать такие любовные вздохи, такие классические признания, такие поцелуи и такие жалобы, что невольно берет сомнение: неужто эти тени поглощают под видом калорий бифштексы и нуждаются в вульгарной обуви?..

В Берлине идешь уже не на вокзал, а на аэродром. Множество линий. Расписание — минута в минуту. Кассы. Буфет. Газетные киоски. Подходит аккуратный путешественник с портфелем. Он должен сегодня побеседовать с некой тенью, обитающей в Мюнхене, касательно продажи химических удобрений, а к вечеру он должен быть снова в Берлине, чтобы пойти со своей дражайшей на вечер памяти Шуберта. Самолет отбывает весьма прозаично, как самый жалкий автобус, даже без просьб писать открытки. Каждые пять минут кто-нибудь прилетает или улетает: из Голландии, из Праги, из Москвы. Путешествие здесь окончательно скомпрометировано, у него отняли последнюю легкую томность длинных железнодорожных пролетов. Европа начинает походить на сеть городских трамваев.

Выводы вы, конечно, угадываете, не мои — немца. В первое же воскресенье он спешит за город. Он хочет

обязательно идти пешком. Он судорожно дышит так называемым «чистым воздухом» вдоволь прокопченных предместий, и его любовь к природе воистину страшна. Засучив штаны, он лезет в каждую лужицу. Увидав несколько травинок, он в неге падает на пыльную землю. Среди щебня, указательных столбов, плакатов и загородных пивных он упорно ищет воображаемые незабудки. Если он весит свыше восьмидесяти кило, он, конечно же, ловит мотыльков. Он захлебывается от счастья. Эти часы полны такого напряжения, такой страсти, что грех их назвать отдыхом,— это воскресная голгофа.

Противоречия?.. Да только ими и живут добродетельные, честные немцы. На Кельнской выставке, подходя к замечательным машинам, парочки переходили на шепот, нежные спутницы теснее прижимались к своим любовникам, забывались даже жара и бутерброды. Но с не меньшим восторгом смотрели посетители на печатню Гутенберга или на бумажную мельницу. С жадностью приобретали они почтовую бумагу, сделанную «под старинную» на этой игрушечной мельнице. Желтоватые неровные листочки — на них фабрикант химических удобрений будет писать своей возлюбленной послания, полные заумных слов и устарелого синтаксиса. Не беда, если несколько цифр на полях выдадут его двойную жизнь: среди вздохов нашлась минута и для трезвой оценки мюнхенского свидания.

На той же Кельнской выставке была выстроена архисовременная церковь, не только с «последним комфортом», но и с кубистическими витражами. Христос походил на часть добросовестной машины. После закрытия выставки эту церковь перенесут на другое место, в ней по воскресеньям прихожане будут петь хором псалмы, и смущающаяся невеста, вся зардевшись под винтообразным Христом, произнесет свое твердо заученное «да». Я не знаю, о чем придется тогда вспомнить: об Америке или о липах?

Существует множество карикатур немцев. Этим занимались все: и свои, и чужие, и мировая литература, и парижские кабаре, Мопассан и Гросс, Клемансо и Гейне. Я не знаю ни одного портрета немца, достаточно характерного, чтобы стоять на национальном паспорте, и достаточно беспристрастного, чтобы не сбиваться на легкий шарж. Это происходит,

вероятно, от двойственности, от некоторой призрачности всей немецкой жизни. Легко описать немецкий день, здесь можно даже заменить слова цифрами. Но загадочна глубокая ночь Германии с электрическими рекламами и, однако же, с крупными волосатыми звездами, ночь, под которой зреют революционные ячейки, философские сны, поэмы, а может быть, и аппараты для просвечивания всех мозолей Курфюрстендама.

1928

Германия

АВГУСТ 1930

Оркестр на палубе надрывается. У трубачей густо-лиловые лица. С утра до ночи они трудолюбиво надувают щеки. Они дуют в трубы возле Кельна и возле Майнца, в честь Гинденбурга и в честь Лорелей. После двенадцати неопределенных лет, когда все кончалось тоской и фокстротом, наконец-то приключилась победа: «Мы освободили Рейн!..» Пассажиры мурлычут воинственные гимны; они чокаются и не просто «за ваше», но за здравие горячо любимой родины; увидев встречный пароход, они выстраиваются в ряд и долго машут ручищами или ручками. Проезжая мимо различных достопримечательностей, они впадают в предельный экстаз. Трудно описать, что происходит с ними, когда вдали показываются Лорелея или национальный памятник. Если в водах Рейна, в этих водах, вдоволь отравленных как машинным маслом, так и сентиментальными слезами, еще водятся прославленные лососи, рыбины должны умереть от ужаса, заслышав подобный рев.

Энтузиасты одеты скромно: это служащие, приказчики, студенты. Их восторги бескорыстны. Вздыхая, заказывают они стаканчик вина: стаканчик стоит дорого, притом куда ему до пивной кружки! Но делать нечего: они на Рейне, следовательно, надо пить рейнвейн. Это не каникулы — у хорошего немца не бывает каникул, это каникулярная работа.

Французы ушли. Здесь нет никакой романтики. Трудно выдать соглашение различных трестов за Ватерлоо. Но рейнские патриоты хотят во что бы то ни стало поэзии. Они наспех скроили тысячи флагов. Они даже учинили маленький погром, маленький, но добросовестный. Они отважны и непримиримы.

В Бад-Содене я видал героического лавочника. Еще недавно он успешно сбывал перпиньянским капралам

похабные открытки. Теперь он выставил в витрине карикатуры на французов, а также фотографии немецких красоток. Надо ли говорить о том, что эти красотки, успешно утешавшие французских сержантов и скопившие на этом несколько сотен, превратились теперь в валькирий?.. Наконец-то они смогут отдать сердечный пыл честным немецким солдатам!

В Бад-Крейцнахе своя знаменитость: двенадцать лет тому назад грум Крейцнаха еще ходил в коротких штанишках. Каждое утро он становился во фрунт, завидев издали генерала Гинденбурга. Приехав в освобожденный Крейцнах, президент тотчас же вспомнил об этом героическом вундеркинде. Валькирии сморкались от умиления. Трубачи надували щеки.

Французам удалось нелегкое дело: наконец-то они научили немцев ненавидеть Францию. Так кончилась эта неразделенная страсть, присутствие которой нетрудно проследить и в стихах Гейне, и в грубом басе «берты», громившей Париж. Сколько здесь было утаенных признаний, проглоченных вздохов, предательских слез!.. Любая книга любого немецкого писателя, побывавшего в Париже,—это рассказ о паломничестве в полузапретный Иерусалим. Даже война не могла осилить патологической любви: на войне сто магических метров разделяли врагов. Потом враги оказались рядом, они жили бок о бок; у одних были револьверы и полевые суды, у других оскорбленное самолюбие, тюремная решетка или повестка о штрафе.

Я помню красавца негра, он кричал: «С немецкими паспортами назад!..» У него были белые зубы и власть полубога. Он улыбался, как младенец. Прошло семь лет. Улыбка негра не забыта. На нее ответили рык песен, вой труб и звякание разбитых стекол. Кадриль продолжается. Я был в Нуайоне тотчас же после ухода немцев. Жители шептали: «Командатура», суеверно оглядываясь. Они хотели растерзать злосчастную женщину, которая стирала штаны прусского лейтенанта. Тринадцать лет спустя я увидел другую фигуру того же танца: «Кавалеры меняют дам!..» Мертвые успели истлеть, инвалиды продают на улице спички; что касается прочих граждан, то у них еще имеются ноги — следовательно, они могут танцевать. Трубачи сберегли трубы, и на фасадах бьется проклятое тряпье.

Бал в разгаре. Всех веселей кабатчики; они рекламируют «вино освобождения», холодное рейнское ви-

но с привкусом романтизма и глубокой осени. На террасах Кобленца патриоты пьют «вино освобождения». У них горделивая осанка, бритые затылки и глаза мутные, как воды Рейна. Давненько я их не видел. Конечно, они не прятались, они работали, торговали и при случае стреляли в спартаковцев. Но это было трудное десятилетие: они не могли ни ходить скопом, ни кричать «ура», ни показывать удивленному миру свои неповторимые затылки. Они знали: надо пересидеть, пересидеть истерику вдов, игру в республику, экспрессионизм, социал-демократов, Рур, уличные перестрелки. Теперь они вышли на свет божий. Они кричат «ура», и радио разносит этот священный рык по всем городам Германии.

Вокруг кафе бродят нищие. Всячески стараются они растрогать сердца победителей. Они продают увядшие маргаритки, спички, шнурки для ботинок, портреты Гинденбурга. Но победители раздраженно отмахиваются: в Германии нет места попрошайкам!.. Германия страна работы и долга. Нищие бормочут что-то вовсе непристойное — «работы нет», но официанты их вовремя отгоняют.

Тех, что пьют вино и кричат «ура», не так уж много. Куда больше голодных и молчаливых. «Освобожденный Рейн», видимо, никак не счастливей «Рейна порабощенного». Если американские туристы, которые внимательно изучают и руины, и погреба Рейна, не заметили катастрофы, это не их вина. Немецкая нищета стыдлива. Здесь на славу штопают лохмотья, и голодная судорога здесь никак не допустима в общественном месте. Велика страсть этого народа к видимости. Фабрикант сигарет тратит больше на упаковку, нежели на табак. В кафе подают на серебряном подносе даже не цикорий, но суррогат цикория. У человека может не быть рубашки, но манишка у него обязательно имеется. Нищета хорошо причесана.

Голод, однако, остается голодом. Одни кидаются в поэтические воды Рейна, другие уходят к вербовщикам «иностранного легиона», третьи умирают на месте, так и не всучив никому завядших маргариток. Растет ненависть. Чрезмерность немецкой природы, хаос чувств, древнее безумие ищут выхода. Бритые затылки отнюдь не слепы. Они знают, о чем говорит это молчание. Вино они пьют без надрыва: это не версальские маркизы и не московские купцы. Они

умеют подчиняться. Это ведь не танцмейстеры, это только танцоры. Для высокой политики у них слишком мало денег и слишком много чувств. Они свято верят в звезду тех, что не ездят на дачных пароходах и не кричат до хрипоты «ура». Река может затопить город, но река — это белый уголь. Ненависть?.. Что же, пусть они ненавидят французов, поляков, евреев! В течение четырех лет страсти народа, вскипая на полях Пикардии или Литвы, приносили правителям и славу и дивиденды. Опыт имеется.

Гитлеровцев поддерживают невидимые и неназываемые. В своих листовках гитлеровцы шельмуют богачей и спекулянтов. Они намекают, что русские не прогадали. Но, конечно, Германия не Россия! У нас свои враги: французы; свои предатели: евреи. Мы за революцию, за нашу немецкую революцию! Вы увидите, что ненависть илотов сможет обслуживать тяжелую индустрию, как горный поток, пропущенный сквозь турбину!..

Во Франкфурте десять тысяч горемык приветствовали недавно Гитлера. Это было торжественно и постыдно, как июль 1914 года. В дорогих ресторанах, за бархатом окон шла обычная ночная жизнь: фокстрот, ведерки со льдом, поэзия... Рев толпы здесь никого не испугал. Полки пойдут туда, куда им прикажут. Танцмейстер еще ведет танец...

Танцмейстер отважен и находчив, он не боится ни революционных фраз, ни передовых идей, ни опасных союзов. Давно уж он променял спокойную жизнь на пот игрока. Он вовсе не думает опираться на традиции, аргументировать правом или честностью: Германия не Англия и не Франция. Ни брюшко, ни диплом «доктора философии» не мешают ему жить на трапеции. В его квартире никаких Людовиков, он любит новое искусство и пустоту. Ему тесно и в жизни и в послевоенной Германии. Не он ли аплодировал в театре Пискатора? Может быть, он верит в свое бессмертие, в свой ум и в глупость других; может быть, он настолько свыкся с мыслью о близкой смерти, что она не мешает ему ни работать, ни пить шампанское. Его супруга еще вздыхает при виде рейнских развалин. Он занят другим: он строит Афины из бетона. Правление треста ИГ во Франкфурте — храм нового культа. Американский размах здесь сочетается с немецкой абстрактностью. Производство красок становится метафизи-

кой. Впрочем, танцмейстер снисходителен к людям отсталым, которые обожествляют не сто лошадиных сил, но какую-то женщину с младенцем. Для них он выстроил в том же Франкфурте десяток ультрасовременных церквей. Христос напоминает динамо, а исповедальни оборудованы по последнему слову техники.

Глупость гитлеровцев, говоря откровенно, его смущает. Пока погромщики громят лавки, он прогуливается по Елисейским полям. Он дает деньги на безграмотные листовки, для себя он покупает Пруста и Андре Жида. Наконец — и это самое удивительное — у него обыкновенный затылок. Он националист по убеждению и космополит по вкусам. Бритые затылки состоят при нем как серафимы или как ночные сторожа.

Кто обвинит его в беспечности? Если трещат многоэтажные тресты, если красное полотнище вмешивается в пестроту уличного праздника, если судорога изменяет плавный ход кадрили, это не его вина. Здесь уместней говорить не о тактических ошибках, но о героической трагедии, о тяжелом дыхании фатума.

Германия не может ни жить в мире, который ей навязан, ни воевать; она не может ни отстоять свою куцую свободу, ни сдаться на милость доморощенного Муссолини, она ничего не может. Она связана хищными соседями и своим сумасшедшим благоразумием, своей слабостью и своей силой.

Еще год назад вся Германия зачитывалась романами Ремарка или Ренна. Европа ответила на эту эпидемию высокими тиражами переводов и приятной сонливостью: воскресение на страницах книги или на экране, казалось, уже забытой войны Европа приняла за торжество мира. Но страсти сильней воспоминаний, и никакие эпитеты не в силах изменить волшебной сущности некоторых слов. За чем же стало дело? За сербским гимназистиком? Или за размолвкой двух трестов? Танцмейстер не на шутку озабочен. Он пьет на официальных банкетах за «освобожденный Рейн», но вино оставляет во рту привкус, который дегустаторы называют «привкусом дроби». Это свойство некоторых вин, а также некоторых эпох. Куда пойдут эти толпы? Где их новый Багдад?.. Вряд ли стоит настаивать на Саарском бассейне или на Польском коридоре: это вопрос цены. Остается слепая и жестокая энергия. Они давно уже не могут жить. Они могут только

умирать с голоду и бесноваться. Удастся ли опытному танцмейстеру продиктовать следующую фигуру, или воды Рейна ознакомятся с новой рябью,— от скидываемых за борт тяжелых тел, с той рябью, которая умилила берлинских эстетов на премьере «Потемкина»?..

БЕРЛИН. ЯНВАРЬ 1931

В вагоне где-то между двумя городами, равно деловитыми и бездушными, один попутчик, чопорный, весь фиолетовый, не то от пафоса, не то от высокого накрахмаленного воротничка, говорит другому:

— Это конец...

Говорит и спокойно выдыхает облачко доморощенной «гаваны». Сосед молчит. Сосед вынимает из промасленной бумажки бутерброд, медленно его прожевывает; прожевав, подтверждает:

— Да, конец...

Это не философы и не поэты. Тот, что курит сигару, продает усовершенствованные блоки «Принтатор», тот, что съел бутерброд,— муниципальный ветеринар Бранденбурга. У них разные заботы, и на скорбь у них разные резоны. Но оба повторяют то же слово: «Конец». За мутными стеклами пылают заводы, густеет ночь, и порой сиротливо, как звездное небо, трепещут неуверенные огоньки человеческого жилья. Еще час-другой, еще несколько вздохов или бутербродов, и попутчики вежливо прощаются. Перед ними город, огромный и безразличный, не метафизический «конец», о котором шла речь в пути, но только переменный свет реклам и размеренные вздохи автобусов, город вечный в своем однообразии,— Берлин.

На вокзале — расписание. Такой-то поезд приходит в 11 часов 30 минут 30 секунд. Кому нужны эти секунды? Продавцу блоков «Принтатор»? Ветеринару? Общественному мнению? Философам? Смерти? Это порядок, порядок наперекор кризису, нищете, отчаянию, порядок до самого конца наперекор концу, порядок во что бы то ни стало, жестокий порядок, который мыслим разве что на небе или в убежище для умалишенных. Порядок этот настолько не соответствует подлинному состоянию людей, настолько пренебрегает их голодными спазмами и зловещим тиком, настолько

отрывает страсти от видимости дел и туши от камней, что вчуже страшно: призрачными, отвлеченными скрепами держится этот быт. Что станет в тот, видимо и впрямь недалекий, день, когда страсти одолеют, когда наступит поминаемый всеми «конец», что станет в тот день хотя бы с расписанием поездов? Эта секундная точность не превратится ли в громадный хаос, в столь же маниакальную разруху, не заблудятся ли все поезда среди тысячи путей, перепутанных цифр и перегоревших семафоров?

Пока еще все на месте: и секундная стрелка, и витрины гастрономических лавок, и чинные хвосты возле канцелярий, где зеленоватые чиновники не успевают готическими иероглифами заносить на длинные листы имена безработных. Пока еще выходят газеты различных направлений, члены рейхстага произносят обстоятельные речи, многоэтажные магазины, забыв о разбитых погромщиками стеклах, рекламируют красивые половые тряпки и экономные духи. Однако бранденбургский ветеринар найдет в Берлине несколько миллионов единомышленников: «Конец, конец»,— это говорят газеты и нищие, депутаты и дети, лица и дома. Что ни подъезд, то вывеска: «Сдается»; сдаются магазины и танцульки, конторы и рестораны, склады, подвалы, особняки. Какие-то чудаки еще пробуют пересдать свое место в жизни. Охотников нет. Те, у кого много марок, отбывают в Ниццу. Те, у кого одна марка, идут в кино и смотрят на полотняную Ниццу, оживляемую взаправдашним плеском моря.

Сдаются дансинги «Фар-Вест» или «Джунгли», сдается также демократическая республика. Эта квартира явно не пришлась по вкусу. Еще недавно в ней стояла веселая суматоха новоселья, жильцы прибивали портреты, устанавливали несгораемые шкафы; чистосердечно радовались: все окна выходят на улицу, говоря иначе, на Париж! Удобства, однако, оказались мнимыми; подвели портреты, подвел и Париж. В подвале и на чердаке началось подозрительное ерзанье; жильцы добропорядочных этажей раскрыли сундуки, как гробы. На воротах — корректная дощечка: «Сдается»...

Западные кварталы Берлина еще бодрятся: здесь нет ни биржи, ни банков, ни контор, здесь за почтительными палисадниками барские квартиры, картины на стенах, плюшевые обезьяны в детской, граммофоны, заслуженный отдых. Те, что не уехали ни

в Сицилию, ни на Ривьеру, еще пытаются жить. Они избегают философии — философия в эти годы разорительна, да и опасна. Перед праздниками гастрономические лавки бойко торговали — бывают душевные состояния, когда шампанское, устрицы или икра — это хлеб насущный. Зато в книжных лавках ни души: горемыкам с Курфюрстендама теперь не до книг. Книги, как известно, рождают вздорные мысли, а прочитав телеграммы о рурских событиях, г-н Мюллер предпочитает ни о чем не думать. Он пробует веселиться. Он идет в одно из дурацких кафе, туда, где вместо зала — оранжерея с живыми попугаями, в отчаянии передразнивающими господ Мюллеров: «Herr Ober zahlen»[1], или туда, где вместо зала — палуба с длинными шезлонгами, с мачтами, с бутафорскими кулями кофе. Он ложится на шезлонг, слушает птичьи крики и якобы забывается. Иногда он идет в театр. Несколько лет назад он был бодр и склонен к мировым раздумьям, он тогда аплодировал революционным тирадам Пискатора. Теперь не то: что ни день лопаются банки, вместо биржи — кладбище, вместо дивидендов — обойма револьвера и где-то, далеко, но рядом — томительное молчание пяти миллионов безработных. Теперь он аплодирует забавным французским комедиям. Для парижских авторов это «дух Локарно» и законные отчисления; для Курфюрстендама это только предсмертный бред. Ведь не следует забывать — тот же г-н Мюллер весит 85 кило, в его шкафу сочинения Лессинга. Он не может порхать. Самой природой обречен он на раздумья. Ни пестрая раскраска попугаев, ни шампанское, ни взбитые сливки, ни блистательное остроумие Тристана Бернара не способны отвлечь его от нескольких коротких, но постоянных мыслей. Вот он шевелит губами. Он, кажется, ничего не сказал. Сосед не оглянулся. Дама с аршинным мундштуком, развалившаяся на шезлонге, даже не повела выщипанной бровью. Однако г-н Мюллер сказал нечто, нечто весьма новое и весьма оригинальное. Он сказал:

— Это конец...

Бранденбургский ветеринар и продавец блоков, сокрушенно помолчав, согласились.

Господин Мюллер умирает далеко не охотно. Он хочет жить; с какой-то жестокой нежностью печется он

---

[1] Официант, счет *(нем.)*.

о своем здоровье. Правда, он курит, но в каждую сигару он впрыскивает из карманного шприца несколько капель волшебного эликсира, который, видите ли, лишает сигару ее зловредных свойств. В обувном магазине к нему подходит г-н доктор в больничном халате, и хотя у г-на Мюллера вполне здоровые ноги, г-н доктор подкладывает ему под пятки особые металлические подпорки. На то он г-н доктор. На то г-н Мюллер тоже доктор, он «доктор философии». Надо заботиться о себе! Надо жить, надо жить во что бы то ни стало!

Доктор, придумавший шприц для сигар, наверное, разбогател. Другие «изобретатели» тоже не прогадали; в первую очередь те, что надумали, как обезвредить всеобщее недовольство, как совместить социализм и погромы, ненависть к бирже и высокий курс акций, балансы трестов и достоинство Германии. Прежде немцы на славу организовывали жизнь, они организовывали работу, государство, войну, экспорт, даже скандалы. Теперь требуется организовать отчаяние. Если взрыв неминуем, пусть пострадает чужой дом!.. Эта ставка на патентованный шприц. В листовках нацистов можно прочесть: «Мы заклятые враги крупного капитала». Листовки, как и многое другое, оплачены чеками достаточно крупных капиталистов. Сложная игра? Дипломатия? Марна? Гамбит с отдачей ферзя? Или, может быть, только судорожные движения, утеря инстинкта, маниакальность самоубийцы, канун столь часто поминаемого «конца»?

Конечно, те, что говорят о борьбе с капиталом, готовятся к несколько иной борьбе. Но те, что их слушают, отнюдь не лукавят, они искренне проклинают жидовских банкиров (естественно перенося ударение на прилагательное), они искренне беснуются и искренне веруют в какой-то свой, «национальный социализм» без предателей, без поляков, а главное, без безработицы. Их собрания похожи на радения хлыстов или на пляски хасидов. Это отставные чиновники и вдовы «героев», ремесленники, безработные, фельдфебели на одной ноге и нищие не одним только духом. Они готовы были разгромить если не биржу, то соседнюю булочную. Их мобилизовали и выстроили в шеренги.

Среди жестокой берлинской ночи, наполненной подозрительным шепотом и случайными выстрелами,

перепуганно мечутся те, что еще вчера почитали себя если не вождями, то духовниками или полковыми знаменосцами. Защитники Республики, в свое время немало озабоченные тем, чтобы толпа, сокрушавшая Империю, не вытоптала при этом газонов Тиргартена, продолжают твердить о законности. Трудно назвать этих людей предателями — им давно нечего предавать. Их речи и резолюции — только сокращения мышц, необходимый моцион, гимнастика по системе незабвенного Мюллера. Умирая, они все еще обсуждают — законна ли смерть или незаконна? Это смешно и прекрасно, как последний поезд, который все же придет в 11 часов 30 минут 30 секунд. Чтобы понять это, надо понять Берлин.

Так называемая «интеллигенция» мечется, как крыса, облитая керосином. Издали это похоже на фантастический фейерверк, издали это — трагедия, интересные романы, которые тотчас переводятся на все европейские языки, даже «непримиримость духа». Вблизи это просто запах паленой шерсти и душу раздирающий писк. «Стальная каска», «Красный фронт», «раз-два» гитлеровцев, ячейки коммунистов — что же здесь делать Эмилю Людвигу или Зибургу, которые хорошо понимают все эстетическое превосходство «шато д'икем» над мюнхенским пивом и мистера Болдуина над каким-то Фриком?..

События идут куда быстрее, нежели мысли г-на доктора, редактора почтенного органа и пожизненного демократа. Он садится за передовую, но тут-то секретарь приносит несколько листочков, и г-н доктор начинает статью заново — умнеть приходится по часам. Еще вчера нацисты были «погромщиками и бандитами», сегодня это «здоровое движение германской молодежи». Правда, от этого «движения» у редактора (который, кстати, оделен природой самым неблагонадежным носом) проходят по телу мурашки, но ничего не поделаешь — завтра погромщики станут докторами, советниками, министрами.

Чтобы разогнать белесый томительный сон, не нужно ни пулеметов, ни даже холостых выстрелов. В кино, где показывали фильм «На Западе без перемен», собрались ревнители республиканского знамени. Нацисты дали битву. Они выпустили в зал сотню белых мышей. После чего оставалось только запретить фильм, как явно пагубный: помилуйте, французы на

экране умирают молча, а немцы, те препозорно кричат! Немцы могут кричать при виде белых мышей, но отнюдь не при виде смерти!..

Берлин горд своим чувством времени. Это самая современная столица Европы. С фасадов домов соскоблены отсталые завитушки, и любая проститутка умеет избежать сентиментальных вздохов. Какой-нибудь скромный банковский служащий сидит в металлическом кресле, способном свести с ума всех снобов Парижа. Таков Берлин корректных заработков и разумных досугов. Надо ли говорить о том, что и это — только обманчивая личина, что в кресле сидит юродивый почитатель Шпенглера, он же растлитель девочек или кошкодав, что фасады домов скрывают одинокие безумствования различных «философов» и что проститутки, не вздыхая, умеют до смерти сдавить теплый мякиш врученного им тела или, зевнув невзначай, метнуться в жалкую водицу Шпре?.. Но имеется и другой Берлин, явно нелепый: квартиры с портретами царствующего дома и с уланскими трубами, где сосиски — это атрибут романтического мира, где пьют по двадцати бутылок пива за победу, за скандал, за васильки, за кровоточащий нос, точнее всего — за смерть, Берлин непроветренных комнат, со статуэтками и с рапирами, Берлин Аллеи победы и гнилых кабачков, полуподпольный, вчера еще неприметный, который сегодня рычит, улюлюкает, отрыгивает.

Нацисты, конечно же, склонны к философии,— без этого в Германии и дня не проживешь. Один из философов установил, что у евреев больные ноги. Ноги сразу были возведены на подобающие высоты, заменив чересчур громоздкие генеалогические деревья. В соответствующих кругах можно уничтожить человека коротенькой справкой: «А ноги у него подозрительные...» Поглядите-ка на этого товарища, правда, он прям и неистов, он ненавидит евреев, он предан чистоте германской расы, все это так, но при всем этом он слегка прихрамывает. Кто знает, уж не еврей ли он?

Средневековые сплетни, выстукиваемые монотипами, различные оттенки душевных заболеваний, соблазнившие на выборах шесть миллионов, наконец, романтические куплеты, связанные с пуншем, с изрубленными мордами дуэлянтов, с провинциальной мифологией и с оленьими рогами на стенках, куплеты, наспех превращаемые в партийную программу, даже

в министерские декларации,— таковы сны Берлина в обычные зимние ночи, среди сквозных ветров и гололедицы. В Тюрингии нацисты у власти. Что же, они уничтожили капитал или хотя бы прикончили с десяток банкиров? Нет, они заняты возвышенным миром, поэзией, символами, метафизикой, запретили джаз, а также несколько легкомысленных комедий, предписали школьникам ежедневно повторять витиеватую молитву о полном истреблении евреев. Поработав столь напряженно, они произнесли еще несколько речей и опрокинули еще несколько кружек пива.

Что же скажут шесть миллионов, когда шестьсот посредственных призраков переедут из чадных пивнушек в парадные салоны министерств, когда от обязательных проклятий капиталу они перейдут к его законной охране?

Воинственность иных поз, кивки на карту, где помечены границы былой довоенной Германии, шепоты о секретных изобретениях, о новых газах или о волнах, способных якобы снижать самолеты, парады, мундиры, знамена,— словом, подготовка не только заводов, но и душ к очередной «переделке»,— все это следует объяснить страхом вождей перед своими приверженцами. Голод и отчаяние придают глазам известный блеск. За ленчем в Швейцарии можно добиться уступок, можно выторговать не только Саарский округ, но и знаменитый «коридор». Это, разумеется, и верней и экономней. Но можно ли насытить швейцарским завтраком фанатиков, к тому же рассуждающих натощак?.. Конечно, «никто не хочет войны» — голос оратора вибрирует с неподдельной искренностью. Впрочем, хотели ли войны герои 14-го года?.. Пороховые склады сами притягивают к себе неосторожных курильщиков. Рука на курке — так год, два, три,— наконец раздается выстрел. Трудно обвинить человека: выстрелил не он, выстрелила рука, даже не рука — винтовка. Карл покупает газету: «Маневры польской армии», «Ядовитые газы в Бельгии», «Французы строят новые крейсеры», «Оружейные заводы в Чехо-Словакии успешно борются с кризисом...» Миролюбивый Карл вздыхает — кругом его страны железное кольцо. Карл идет в кино: сначала комедия — довоенная Германия, блестящие мундиры, военные марши, любовь с закрученными лихо усами и с сознанием национального достоинства. Потом — кинохроника: спуск броненосца

в Америке, парад в Риме, Пилсудский у Неизвестного солдата, похороны Жоффра — всюду знамена, винтовки, каре, точный, как время, топот вышколенных ног. Карл смотрит, слушает, и Карл готовится. Он не за войну. Он и не против. Война для него как жизнь — нечто страшное, темное и неизбежное.

На собраниях нацистов темно от дыма. Порой не видно лиц — это едкий жестокий дым немецких сигар. Воевать?.. Но против кого? Одни кричат: против поляков, другие: против французов, третьи: против русских. Вместе с Советами! Вместе с Муссолини! Нет, против Советов, вместе с англичанами!.. У них нет ни прочной ненависти, ни программы хотя бы на год. Отчаяние народа сдается желающему, как дансинг или как контора; тот, кто больше даст, получит сердца вождей и пушечное мясо обманутых. Социал-демократы примут резолюцию: «принимая во внимание» и выстроятся перед воротами воинского начальника. Женевские рестораторы, те, пожалуй, вздохнут об утерянном мире; впрочем, у них останется надежда на удвоенный аппетит шпионов и дезертиров.

Ночью в северном квартале раздаются несколько беглых выстрелов. Из пивной, где заседают «наци», вытекает на улицу пар и гогот. Кто-то хвастается: «Уложил двоих...» Кого же? Поляков? Еврейских банкиров? Нет, охота идет на другого зверя: два трупа — это не поляки, это немцы; и не банкиры, а рабочие: это два коммуниста. Они не сдались ни на ласку, ни на угрозы. Они не признали, что наци — здоровое явление, они не умилились перед святостью избирательных бюллетеней. Их убили ночью при заведомом равнодушии и полиции, и демократии, и закона, и домов. Убили двух... Двадцать... Двести... Но всех не перебить из-за угла. Так растет страх, каждая улица становится засадой, каждый день — картой азартной игры.

Эти выстрелы не только политическая борьба, это также нарастание злобы, это статистика безработицы, это глубокая темь иных улиц и иных душ. Револьверы начинают стрелять сами по себе, людям остается повиноваться. Аккуратный человек, в картонном воротничке, голодный, но бритый, заходит в пивную, в одну из тех сомнительных пивных, где на вывеске невинный младенец среди серебряной пены, а внутри запах солода, пота и собачьей тоски. Человек заходит мирно в пивную, мирно спрашивает он кружку «темного»,

«темного» или «светлого», мирно снимает сухими губами белые хлопья, а потом столь же мирно, аккуратно и глубоко беспредметно стреляет в другого человека. Кто из них за кого и за что? Кто правый, кто левый? Черна и пуста берлинская ночь.

А голод все растет и растет. Недавно одна из берлинских газет сообщила среди других забавных происшествий о фантазии гамбургского безработного. Этот смельчак, оказывается, предложил дирекции цирка свои услуги: он готов вступить в бой со львом. Он просил одного: после его смерти в течение шести месяцев кормить жену и детей. Газета поясняла: «Как рабы в Древнем Риме...» Я не знаю, приняла ли дирекция это заманчивое предложение, и если приняла, то кто победил: лев или гамбургский безработный? Я надеюсь, однако, что, прочитав эту заметку, г-н Мюллер, тот, что еще лежит на шезлонге и аплодирует пьесе Жироду, почувствовал некоторую неловкость: ведь львов в Германии не так уж много. Легко предположить, что другие безработные, которым наплевать на жизнь, как их гамбургскому сотоварищу, выберут себе другую смерть. Они могут, например, вступить в бой с г-ном Мюллером... Дойдя до этого, г-н Мюллер говорит себе, своей вдоволь равнодушной супруге, другим гг. Мюллерам:

— Это конец...

Что понимает он под словом «конец» — свою смерть? Революцию? Распад государства? Хаос? Этого он и сам не знает: он ведь только одна из механических теней, которые бродят по просторным улицам Берлина, которые еще что-то складывают, вычитают, тратят, зарабатывают, но которые заведомо мертвы. Днем неопределенность рождает противоречивые возгласы, ночью она разряжает огнестрельное оружие. Философы — растерявшие идеалы, счетоводы — давно сбившиеся в сложении, народ — без веры, без цели, даже без простенькой общедоступной надежды. Десять лет тому назад еще можно было вскрыть нарыв. Теперь истории придется кромсать на куски прогнившее мясо.

ОКТЯБРЬ 1931

Осенью на Балтийском море шумят бури, и острый ветер врывается в Берлин. Он носится по длинным прямым улицам, подымает воротники, сби-

вает листья: он превращает бесчисленные огни кино и ресторанов в полярные созвездья. Этой осенью падают ценности биржевые и так называемые «духовные». Как ни длинны парадные проспекты Вестена, они где-то обрываются, гаснут огни, встает ночь Нордена. Напрасно тетушки из Армии спасения кричат на перекрестках: «Зима — на помощь! Зима! Зима!..» Против зимы бессильны и скудные пфенниги, и псалмы, и дипломаты. Газеты подробно рассказывают о том, как Лаваль отдал дань немецкой душе, отведав сосисок с капустой. Но и это не спасет Берлина от зимы. Берлин мечется. Никогда не было на Курфюрстендаме столько бездельных и якобы веселящихся людей. Кафе, рестораны, дансинги переполнены, кафе с попугаями или с гавайцами, с юртами эскимосов или с палубами пароходов, с конструктивными креслами и с укромными ложами, с писсуарами, дивными как храмы, и с хриплыми предостережениями громкоговорителя: «В Нейкельне толпа грабит булочные!» От Курфюрстендама не так уж далеко до Нейкельна — столько-то остановок «подземки», но на Курфюрстендаме нет ни толп, ни булочных, только кафе с попугаями, породистые таксы да сугубая дрожь электрических реклам.

Немцы не раз щеголяли в истории своим сомнамбулизмом. Они бегали по карнизам и плакали под намалеванной луной. Надо ли говорить о том, что люди падали на мостовую, а декоративная луна быстро перекрашивалась? Восемь лет тому назад немецкая буржуазия расстреляла последних бунтовщиков. Начался новый сон, заполненный грудами вещей, дивидендами, и, однако же, абстрактный. Марка была признана на веру, как папские индульгенции. Росли фабрики, что ни день устанавливались новые машины, рационализация заменила минутную стрелку секундной. Казалось, дело идет к терциям. Кровати выпадали из стен, кресла диковинной формы отливались на заводах по тысяче штук в час, радиоприемники устанавливались не только в «домах свиданий», но даже в уборных — люди боялись прослушать биржевую котировку или модный танец. В течение четырех-пяти лет сон шел на славу. Немецкий буржуа успел позабыть и о спартаковцах, и об инфляции. Он доходил до того, что аплодировал чужестранным коммунистам, он готов был поверить в свое бессмертие. Он твердо решил обыграть историю. Играл он спокойно и, конечно же,

блефовал. Это была религия покера, а также исконное безумие Германии.

Обыграть историю не удалось. Буржуа больше не аплодирует коммунистам. С боязливой надеждой поглядывает он на рослых шупо. Он хочет надеяться, но, привыкший к крупной игре, суеверный и склонный к фатализму, он понимает, что партия проиграна. В близкое торжество коммунизма здесь твердо верят именно капиталисты. Одни из них переводят деньги за границу, подыскивая в какой-нибудь безобидной стране убежище; другие с жаром доказывают, что они отнюдь не «акулы», но труженики индустрии, им не страшна революция; третьи, стараясь отогнать от себя ночные кошмары, дают деньги ловким проходимцам, которые обещают в два счета справиться с коммунистами, а потом спешат в рестораны или в дансинги, чтобы не думать и не видеть. Страх перед будущим похож на боязнь пространства. У Курфюрстендама кружится голова. Он не смеет взглянуть — что перед ним.

Перед ним зима.

В книжных лавках Вестена, еще недавно заполненных мирными романами, теперь на самом видном месте: «Конец капитализма», «Капитализм или коммунизм», «Красные купцы», «Пятилетка», «Сталин» — это, конечно, не апология революции, это и не любопытство стратега, изучающего силы врага, это попросту головокружение. В одном из самых больших кинематографов Берлина идет советская картина «Путевка в жизнь». Буржуа смотрят и аплодируют: на экране беспризорные становятся рабочими. Буржуа отнюдь не умилен моралью, он не растроган детскими улыбками, нет, он только припоминает северные кварталы Берлина, где дети и не дети учатся вынужденному безделью, где растут уныние и злоба. «Интернационал» в кино куда уютней и спокойней, нежели глухой шепот встречного безработного.

Я говорил с политиками, с журналистами, с фабрикантами. Я не встретил ни одного человека, который верил бы в то, что настоящее положение может продлиться. Путь от самоуверенности к отчаянию проделан быстро. Один из крупных деятелей индустрии сказал мне: «Если бы я думал, что капитализм способен продержаться еще лет двадцать — тридцать, я бы боролся против революции. Но годом раньше, годом

позже... Мы не способны дать людям работу, пусть это сделают другие, а кто — не все ли равно?..»

Берлин еще заботится о своей осанке. Это, если угодно, выдержка, это также привычка к блефу. На Рождество немцы обмениваются подарками. Салфетное кольцо или карандаш они кладут в огромные коробки, они завертывают их в десять различных бумаг. В одном весьма буржуазном доме я видел как-то «бар», с бочками, со старинными бутылями, с гравюрами; в этом баре гостю дают рюмку обыкновенной сивухи — видимость соблюдена. Ночью ротфронтовцы и нацисты разбили стекла в 22 отделениях газетных трестов Ульштейна и Гугенберга. Газеты об этом сообщают корректно и глухо: «несколько инцидентов». Лопается очередной банк, столько-то тысяч разорены, три самоубийства. Еще один инцидент. Одним декретом правительство уничтожает свободу собраний, свободу печати, неприкосновенность жилища. В ответ несколько философических размышлений о свободе духа или о влиянии речи Гувера на судьбы цивилизации. Я был на митинге писателей, художников, киноработников: «Долой цензуру!» Для того чтобы пристыдить интеллигенцию, устроители митинга проставили на афишах: «Цензура — чума. Гете»,— хотя, как известно, Гете относился к цензуре вполне дружелюбно.

Берлин похож на самоубийцу, который, решив перерезать горло бритвой, сначала мылит щеки и тщательно бреется.

Только чрезмерное оживление Вестена да внезапная рассеянность прохожих указывают на наличие драмы. Это напоминает годы инфляции. Как тогда, люди заходят в магазины и, спеша, покупают ненужные им вещи; только теперь ни у кого нет денег, сегодня покупают, завтра — справка о банкротстве, все равно — конец один: рядом Норден, а впереди зима!

Магазины рабочего Нордена пустуют и закрываются. В знаменитой пивнушке, в которой искал моделей любимец берлинцев рисовальщик Цилле, я застал четырех посетителей — и это в субботу вечером. Хозяин другой пивной, которая сдается под собрания, жаловался, что из 600 человек, пришедших на митинг, только трое заказали по кружке пива, остальные боязливо просили «стакан воды». В Нордене никто не блефует.

Нищета Нордена не бросается в глаза — здесь нет ни романтических трущоб, ни живописных лохмотьев: Берлин не Неаполь.

Немки умеют на славу латать и штопать. Надо тщательно разглядеть человека, чтобы увидеть расползающиеся штаны, щели ботинок и тусклый огонь глаз, который объясняется не столько политическими страстями, сколько обыкновенным голодом. Большая «обжорка» возле Александерплац, в окнах выставлены блюда с различной снедью и с пометками — «30 пфеннигов», «40 пфеннигов». На самом внушительном блюде — «колоссальная свиная нога всего 55 пфеннигов»! Люди заходят, хватают блюда, отсчитывают пфенниги и стоя быстро проглатывают колбасу с картошкой, а счастливцы — «колоссальную ногу». Однако не все заходят, многие подолгу стоят у окон; они не в силах оторвать глаз от феерических яств, потом, вздрогнув, они идут дальше.

Не только климат, нравы страны заставляют здесь человека цепко держаться за порог дома. Число бездомных все же растет с каждым днем. Из скудных марок, отпускаемых безработным, надо вносить квартирную плату. Неисправных быстро и аккуратно выселяют. В городском ночлежном доме могут поместиться 4000 человек. За ночлег они должны утром два часа работать. Работа эта отличается бесцельностью, и даже люди, стосковавшиеся по работе, с отвращением выполняют никому не нужное дело.

Городская ночлежка гордится чистотой и техническими усовершенствованиями; однако безработные идут в эту ночлежку, как в тюрьму — здесь строго запрещено курить, приходящие должны раздеться догола, они могут пронести сигарету разве что в волосах — горе лысым!.. Этот жестокий и унизительный регламент как бы продиктован желанием укрепить, выхолить в людях чувство необходимой им ненависти.

Помимо городского ночлежного дома, за последнее время в Берлине открылось свыше 50 частных ночлежек — это верное дело. Цены за койку колеблются между 40 и 75 пфеннигами. В ночлежке Армии спасения берут дорого и заставляют к тому же петь натощак псалмы. Но и 40 пфеннигов для многих непосильная мзда. В глухой части Тиргартена можно увидать тех, у кого этих 40 пфеннигов не оказалось. В центре города под одним из вокзалов каждую ночь

спят около 400 человек. Таких катакомб несколько. Надо ползти на животе — бродяжничество запрещено законом, и полиция не спит.

Пусты и тихи улицы рабочих кварталов; только некоторые из них по утрам заливает толпа людей: здесь проверяют карточки безработных. Иногда раздается голос: «Ищут четырех чернорабочих», — в ответ тотчас же подымаются не четыре, но четыреста рук. Пособия различны — в среднем 9 марок на неделю. Прожиточный минимум равняется 30 маркам без обуви и одежды. Как можно прожить на 9 марок, об этом никогда не пишут экономисты больших газет. Они заняты другим подсчетом — сколько Германия тратит на безработных; непосильное бремя, сократить пособия, спасти страну!.. Так пишут газеты, полные высоких чувств и классического человеколюбия. Что касается безработных, то им остается прожить на 9 марок. Впереди зима. В прошлом году безработные получали толику угля. Теперь уголь будут выдавать только тем, у кого дети. Остальные смогут лежать на площади возле Штеттинского вокзала, где камни несколько согреваются паром...

По дворам Берлина ходят певцы — это бездомные шахтеры или заводские рабочие. Они уныло поют: «У вас дом и в доме лампа, пожалейте тех, кто стоит под окном...» Еще недавно они вырабатывали песнями две-три марки в день. Теперь все реже и реже падает на камни монета: нищета стала бытом, и люди ожесточились. Притом у тех, кто чаще всего бросал вниз пфенниги, теперь нет лишней монеты: это приказчики, модистки, мелкие чиновники. У них, правда, еще имеются и дом и лампа, но им не до чужих песен и не до чужого горя.

Быстро растет преступность: карманники и форточники. По статистике полицей-президиума, 60 процентов краж, обнаруженных за последнее время, совершены не профессиональными преступниками, но изголодавшимися безработными.

Нищета не только убивает человека, она тщательно над ним издевается. Вечером, в пассаже Унтер-ден-Линден, в аллеях Тиргартена, в окрестностях Александерплаца бродят тысячи и тысячи молодых парней. Им от 15 до 25 лет. Многие одеты в короткие штанишки. Они стараются томно улыбаться и кокетливо потуплять голодные глаза. Это не извращение, не мода —

это нужда. Богатые развратники всего мира спешат в Берлин; здесь полиция ловит бездомных и разгоняет коммунистов, зато она вдоволь терпима к любым формам любви. Любители выискивают подростков возле отделений, где проверяются карточки безработных. Новичка соблазняют двумя или тремя марками. Он смущается, негодует, отплевывается, и он идет — с голодом не шутят. Это становится профессией.

Утром они еще ищут работу. Вечером они выходят на улицу и поджидают клиентов. Оплачивается это весьма низко — полторы марки, марка, порой 50 пфеннигов. Я был в одном кабачке, куда сходятся проститутки-мужчины, поджидая «кавалеров». Когда в кабачок случайно заходит женщина, они с жадностью смотрят на нее: это ведь обыкновенные здоровые люди. Но вот пришел «кавалер» — отставной полковник: высокий воротничок, пегие колючие усы. Тотчас же на него налетают десяток парнишек. Они пытаются томно улыбаться. Они так хотят получить одну марку! Среди них немало тех, что еще вчера были обыкновенными безработными, завсегдатаями митингов и демонстраций. Увидав товарища по партии, они стыдливо отворачиваются. Они еще говорят, смеются, даже танцуют, но стыд и отвращение разъели душу. Это уже не люди, но манекены.

Я видал старьевщика-портного, который переделывает костюм новичков для своеобразной профессии: обрезает штаны, вырезывает декольте. Все они мечтают встретить принца. Это один из Гогенцоллернов, сохранивший высокие традиции. Увидев парнишку в уличной уборной, он бьет его хлыстиком, а избив, дает ему десять марок. Около дома, где живет принц, бродят несчастные парни: они ищут счастья. Официальной статистики мужской проституции нет; сведущие люди утверждают, что число безработных, вынужденных заниматься проституцией, измеряется десятками тысяч. У этих людей здоровые руки и молодость. Они хотят работать. Что же сказать о том строе, который их гонит на угол, который отдает их на забаву больным уродам, живым мертвецам?..

В Берлине запрещено совращение малолетних, но полиция ласково смотрит на почтенных развратников, которые охотятся за безработными подростками. В Берлине запрещена «черная биржа», но она собирается открыто под председательством члена Государственного биржевого комитета.

В Берлине запрещены эмблемы наци, однако целые улицы покрыты знаками свастики и надписями: «Бей жидов». Зато с коммунистами полиция не шутит. Бьют их деловито и в тюрьму сажают не на час. В маленьких пивных Нордена собираются по вечерам коммунисты. С виду это обыкновенные берлинские пивные: оленьи рога на стене, протертый бархатный диван, копилки для «членов сберегательных кружков». В таких пивных можно ничего не пить — по теперешним временам это выход. Здесь сидят и разговаривают. Здесь можно видеть, как растет справедливая ненависть Нордена. Здесь можно также видеть, как хитро борется тяжелая индустрия против революции: на соседней улице такая же пивная, тот же протертый диван, те же кепки безработных, но это штаб нацистов.

Одних безработных наци одурачили: «Мы тоже против капитала; когда мы истребим жидовских банкиров, все безработные получат работу!..» Других они подкупили: в их столовках выдают суп с мясом... Подлинные вдохновители, разумеется, никогда не показываются на улицах Нордена. Среди них немало банкиров. Они делают что могут — они спасают свой класс. В рабочую среду они внесли путаницу и разделение. «Тяжелая индустрия» — это почти абстракция, а вот Ганс стоит на том углу, Ганс — свой, рабочий, и он пошел к наци. У Ганса револьвер. У коммуниста Вебера тоже. Поздно ночью на глухой уличке раздается короткий выстрел. Кто-то лежит на мостовой — обманутый Ганс или, может быть, Вебер...

Каждую ночь на севере Берлина раздаются такие выстрелы. По одним улицам никогда не проходят нацисты — это крепости коммунистов. По другим коммунисты проходят только ватагой, не спуская глаз с черных окон. Днем враги еще разговаривают, спорят, пробуют друг друга убедить. Ночью не до слов. Ночью встает вся тяжесть голода, отчаяние долгих лет, безработица, пустота, гнев, воля к жизни, ночью встает смерть, и, на радость далеким «господам докторам» из различных трестов, злоба разряжает револьверы.

Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части его тела. Когда социал-демократические городовые десять лет тому назад расстреляли рабочих-спартаковцев, они этим не спасли буржуазной культуры,

они только оттянули развязку, нанося неисправимый ущерб культуре человеческой.

Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Он выдержал войну и голод. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов без ногтей, с искривленными телами, слепых и слабоумных. Когда он потребовал право на жизнь, его сумели раздробить и снова стиснуть. Ему дали работу, кусок мяса и койку. Женщины снова беременели. Капитализм, блефуя перед Америкой и кичась воображаемой силой, торжествовал. Он строил новые кабаре и даже новые крейсеры. Он играл, и он зарвался. Рабочих снова послали голодать. У них отобрали койки, из мисок вытащили мясо. Их снова приучили к нужде и к безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, их стали вербовать на роли фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело, но и душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет сугубо жестокой — история умеет мстить.

1931

В центре Франции

Когда-то во Франции было много городов, гордых любовью живых людей. Для Луизы Лабе Лион был прекрасен, а Иоахим Белле не знал ничего милее своей Турени. Существовали тогда ярмарки Арраса, задор Авиньона, легкомыслие Нанси. Можно насчитать десятки художественных школ, определяемых различными областями. Романская архитектура Перигора далека от провансальской, и готика Тулузы — не готика Реймса. В маленьких городах печатали ученые трактаты и сборники стихов. Во Франции прежде были провинции. Пришла революция. Вместо провинций разделила она страну на департаменты, и вся Франция, помимо Парижа, стала одной монотонной провинцией.

Революция началась далеко от парижских предместий. Провинция слала в Париж своих депутатов. Три года спустя революционная столица пышно отпраздновала «умерщвление гидры Федерации». И Париж послал в департаменты своих комиссаров.

Конечно, по статистике, Париж и теперь всего-навсего одна пятнадцатая Франции, но не цифрами определяется гегемония. Конечно, большинство парламента состоит из депутатов от департаментов, но провинциал, переночевав одну ночь в парижской гостинице, становится, хотя бы потенциально, парижанином. Когда четыре года спустя он едет домой собирать голоса избирателей, это похоже на воскресную прогулку горожанина за ягодами или за фиалками. Провинция поставляет в Париж молодых фантазеров и вино, хлеб и кормилиц, солдат и цветы. Париж в ответ шлет

газеты, законы, ассигнации, радиоконцерты, модные журналы. Провинция выравнялась и сравнялась. Я говорю, разумеется, не о ландшафте и не о человеческой породе. Горы всегда останутся горами, а марсельский Мариус — героем неистощимых анекдотов. Но вот в Лионе строят точно такие же дома, как в Лилле. В Тулузе и в Нанси читают парижские газеты. Последний афоризм консьержа палаты депутатов повторяется в кафе Бреста и Дижона. Провинциальные журналы напоминают жалкие брошюры. Талантливый юноша торопится, расцеловав родителей, поспеть на ближайший парижский поезд. Бретонские «автономисты» — это плетение кружев для английских туристов и уроки хорового пения. Единственная победа провинции — кухня. Парижские снобы теперь увлекаются локальными блюдами. Здесь даже оживают старые имена провинций, Нормандия или Перигор получают в «Осеннем салоне» первые призы за свои традиционные яства. Впрочем, это ведь никак не противоречит идеалу «единой и неделимой Республики». Наверное, Фуше любил сидр. Что касается Барраса, то он не мог дня прожить без солянки с чесноком.

Чтобы понять душу французской провинции, лучше всего направиться в центр страны. На окраинах слишком сильна природа, она зачастую определяет чувствования и быт. Бретань — это прежде всего океан. Пиренеи или Савойя — горы. Но в Лимузине, в Перигоре, в Пуату нет ни горцев, ни рыбаков. Там живут обыкновенные провинциалы. Этот край далек от границ, в нем немного фабрик, он и не облюбован туристами. Таким образом, здесь не сказались посторонние влияния. В Сент-Этьене много пришлых рабочих, в Ницце — богатых англичан, а в Пуатье или в Перигоре водятся только классические французы прошлого века, не богатые и не бедные, не правые и не левые — словом, самые что ни на есть выдержанные, как хорошее, старое вино.

Как описать скуку, великую, патетическую скуку сих мест?.. Только наши отечественные захолустья, Миргороды или Краснококшайски способны потягаться с этими субпрефектурами. Если даже нет здесь классической лужи, если в каждом городе по десяти памятников и по сто нотариусов,— жизнь от этого, право же, не становится веселее.

Прошлое здесь не кажется юношескими воспоминаниями, биографией, хотя бы родословной. Оно удивляет. Вот город Пуатье. Его жизнь бедна и лаконична, как заборная книжка мелочной лавки. Как-то взбесилась в Пуатье корова и, выбежав на улицу, боднула одного из рантье. Долго местная газетка писала о «гордости города — герое, который застрелил разъяренного быка». Прошли года. У «героя» хранятся в альбоме газетные вырезки. Он всем показывает их. Он ими живет, хоть с тех пор и приключились на свете всякие события, например, война...

В пять все уважаемые граждане за аперитивами обсуждают городские сплетни, а в десять улицы пусты, темно и в окнах,— день, слава богу, прожит! В книжной лавке — молитвенник. В театре — доисторические водевили. Да полно, город ли это?.. Отвечает словарь: главный город департамента, бывшая столица Пуату, 37 000 жителей, областной суд, епископат, университет. Еще три старичка, еще один солдат, еще памятник... Среди лавчонок и среди бабушек в наколках стоят изумительные церкви. Романский собор Пуатье справедливо почитается за один из лучших памятников религиозной архитектуры. Неужели предками этих лавочников созданы подобные вещи?.. Здесь не вырождение, здесь перерождение. Между современными флорентийцами и дворцами Ренессанса связь очевидна, люди те же, они только выдохлись. В Париже 1928 года собор Богоматери вполне уместен: «культ разума», Наполеон, романы Бальзака, Коммуна, Эйфелева башня, любой уличный скандал,— во всем этом сказывается тот же гений. Но романские церкви в теперешнем Пуатье — это музей итальянской живописи в Пензе.

На главных улицах Лиможа рантье, богаделки, лавочники, скопидомы, и в витрине бюро похоронных процессий трогательнейший плакат: «Умирая, не завещайте, как это делают некоторые эгоисты, хоронить вас без венков! Помните, что подобными неуместными просьбами вы лишаете хлеба ваших сограждан». Что еще сказать о Лиможе? Заезжает сюда иногда парижская труппа — это большое событие. В городе 100 000 жителей, но нет ни постоянного театра, ни концертного зала, ни порядочной книготорговли. Ханжеская тишина, а вместо молитвенника — книжка сбе-

регательной кассы. Но знаете, как называется эта сонливая улица? Улица Якобинцев. А вот — улица Бланки. Немного дальше — улица Делеклюза. Эти имена здесь как память о тех временах, когда Франция была душой Европы. Лимож — скучный город, но Лимож все же Франция. Улица Дантона — закрытые ставни, мелочная торговля, густой послеобеденный сон.

О чем говорить?.. Были не только романские церкви или пафос Верньо — были лиможские эмали, баллады, фрески, романы, изобретения, мечты, подвиги. Какими же страстями и какими диковинными жизнями нужно удобрить насмешливую землю, чтобы через много веков на ней наконец-то расцвел гениальный владелец этой похоронной конторы?..

Старые национальные костюмы давно исчезли во Франции, если не считать рыбацких деревушек Финистера. Однако здесь установился свой особый костюм, продиктованный, правда, не эстетикой, а суровой моралью. Иностранец, попав в первый же городок, вздыхает: какое горе обрушилось на этот край? Может быть, свирепствует здесь эпидемия?.. Он ведь видит вокруг себя сотни женщин в трауре. Его можно успокоить. Никаких эпидемий здесь нет, а траурные платья — это только «национальный костюм» французской провинции. Во-первых, родовые традиции крепки здесь, у каждой такой «мадамы» добрая сотня родственников, троюродных дядюшек и внучатых племянников. Всегда приходится по ком-нибудь носить траур. Во-вторых, траур вообще придает достоинство, он определяет душевные высоты. После сорока лет светлые платья заведомо неприличны, но и в тридцать траур куда пристойней разных парижских новшеств. Итак, не удивляйтесь, увидев летом на солнцепеке молодых женщин в черных, наглухо закрытых платьях: не вздумайте искать на их лицах следы слез — нет, они обливаются только потом. Конечно, они страдают от жары, но зато никто их не упрекнет в легкомыслии.

Все здесь застегнуто, завершено, закончено. Обойдите десяток улиц — ни одного раскрытого окна, повсюду плотно прикрытые ставни. Опять-таки не следует печалиться над судьбой обитателей. Они живы. Они даже вполне здоровы. Но кто же раскрывает окна?..

Больше всего на свете, больше большевиков, этих «людей с ножами в зубах», боятся здесь сквозняка. Вдруг продует!.. Ну, а ставни?.. Здесь выступает экономика. Солнце ведь главный враг всех этих траурных дам, от солнца выгорают платья, пуфы, обои, подушки, пыльный чудовищный хлам, которым до отказа набиты почтенные дома. Солнцу туда еще труднее проникнуть, нежели советскому гражданину во Францию. Комнаты никогда не проветриваются, не только пуфы — воздух в них может быть по всей справедливости назван историческим.

Если вы попробуете упомянуть о гигиене, вы услышите немало занимательных вещей. Вы узнаете, что волосы никогда не следует мыть — от мытья они выпадают; купаться чрезвычайно опасно, можно простудиться, как простудилась госпожа такая-то, вздумав, избави бог, выкупаться; от ревматических болей нет лучше шкуры кошек; к доктору вообще ходить незачем, от болезней вернее всего лечиться разными травами, это к тому же дешевле. Ванных в городе куда меньше, нежели древних церквей. Бани — учреждение вовсе неизвестное. Моются в крохотных кукольных тазиках. Что касается уборных, то они — ей-ей — страшнее ада, изображенного в соборе средневековым мастером!

Проникнуть внутрь квартиры нелегко: это крепость, вход чужеземцу закрыт. Только дядюшки и племянники приходят сюда по праздникам. Дверь не открывают, на звонок ее боязливо приоткрывают. Уж не бродяга ли? Бродяга наравне со сквозняком — пугало французской провинции. Причем к бродягам легко причисляется любой незнакомец, поскольку сомнительно его социальное положение: художник с мольбертом, иностранец без автомобиля или парижанин в чересчур дачном костюме. Проникнув хитростью в дом, огражденный всеми замками, задвижками и крючками мира, вы увидите много занятного. Груды дребедени заставляют усомниться: уж не старьевщик ли хозяин?.. Нет, он этого не продает. Вот хотел было один парижский антиквар купить эту кровать Луи-Филиппа — не отдал: жаль расставаться... Вещей столько, что люди не ходят, а пробираются по комнате. Бумажные цветы, бархатные подушки, люстры, медные подсвечники, вазоны, фотографии — культурно-исторический музей семьи Дюранов или Дюпонов.

Подсвечники — иногда реликвии, иногда необходимость. Электричество далеко еще не стало общим достоянием. Даже в больших городах целые кварталы освещаются газом или керосином. О маленьких и говорить нечего: там часто вовсе нет электричества. С заходом солнца кончается жизнь. Редко-редко в окошке мигает огарок. Бережливость определяет здесь длительность сна. А после девяти бодрствуют только приезжие или сумасшедшие.

В Лиможе много рабочих. Живут они в грязных полуразвалившихся домах. Вся семья — в одной комнате. Вонь, сырость, теснота. Это похоже на агитационный плакат, на какую-нибудь постановку «Парижских трущоб». Однако это только жизнь тридцати или сорока тысяч. Вместо отопления — чадные жаровни. За водой приходится снаряжать экспедицию. В конурах даже летом темно. Рядом — большие фабрики с вполне современным оборудованием. Машины из Америки. Но во всем городе нет ни одного мало-мальски комфортабельного дома для рабочих. Это кажется небылицей. Небылицей кажется и преспокойное отношение обитателей этих трущоб к самым примитивным удобствам: зачем, мол?.. Много из крестьян. Они привыкли и к вони и к тесноте. Заработок они тратят на одежду, на развлечения, главным образом на еду.

От культурного богатства былых времен уцелели только гастрономические навыки. Едят, особенно в маленьких городках, много, вкусно, торжественно. Завтрак и обед — главные события дня. Кухня здесь тяжелая, жирная, и чеснок общеобязателен. За едой незаметно выпивают литр вина. После завтрака полощут рот крепкой водкой и постепенно лиловеют. К двум часам весь городок багрово-фиолетовый, как бы ожидает апоплексического удара. Вечером, после обеда, пьют лечебные чаи: ромашку, липу, мяту — смотря по болезни.

В Перигоре крестьяне гонят спирт из виноградных выжимок или из яблок. Это древняя, неотъемлемая привилегия французских крестьян. Самогон не контрабанда, но почитаемый шедевр. Пьют крестьяне главным образом в базарные дни: спрыскивают удачную сделку. Пьют на свадьбах и на поминках. Пить умеют все, так что драки — редкость. Дело ограничивается похабными рассказами и хитрым смешком. Каждый,

выпив, считает, что он надул всех: собутыльников, жену и государство. При таких обстоятельствах алкоголь становится медикаментом наряду с липовым чаем.

Попал я на деревенскую свадьбу. Справляли ее у трактирщика. Гостей пришло человек сорок, все родственники; была здесь женщина с грудным младенцем, несколько престарелых дядюшек, плотные, косолапые фермеры, молодые люди, щеголявшие яркими галстуками. Жених был даже во фраке. За столом просидели не менее трех часов. Возле каждого прибора лежало меню с именем приглашенного. Ели на славу: блюд десять. Над невестой красовался плакат: «Да здравствует молодая!» Жених, однако, сосредоточенно налегал на раков. Грудной немилосердно орал, и тетушки все время давали молодой матери медицинские советы. После обеда завели патефон и до одиннадцати отплясывали фокстрот. Невеста танцевала с молодыми франтами. Жених клевал носом. Потом стали расходиться и разъезжаться. У двух фермеров оказались свои автомобили. Тетушки поспешно засовывали в ридикюли недоеденное печенье. Молодые люди пели: «Париж — моя деревня...» Трактирщик — тот сиял. Он походил на классического жениха. Кто-кто, а он сегодня заработал.

Не менее торжественно справляют поминки. Прямо с кладбища направляются в ресторан. Чем глубже скорбь, тем больше блюд и бутылок. Горе, очевидно, делает людей взыскательными, и на поминках пьют отменные старые вина. Выпив, долго горланят о достоинствах покойника, а также живых.

На свадьбах и на похоронах подрабатывают также деревенские кюре. Не будь этого, они бы вовсе отощали: народ здесь по большей части скептический. Крестьяне ходят в церковь чрезвычайно редко, да и то из приличия. На воскресной мессе одни женщины. Тщетно пытаются кюре воздействовать через жен на мужей, чтобы те голосовали за клерикального кандидата или чтобы приходили в церковь. Мужья в ответ только хитро посмеиваются. Да, не наука, но природная хитрость здесь убила веру: кюре хочет нас перехитрить, а вот мы его перехитрили... В больших городах, как например, в Лиможе, церковь поддерживают крупные буржуа, хоть и далекие от религиозных сантиментов, но хитрые не менее крестьян.

Впрочем, и рабочие не простаки, в церковь их не заманишь.

Зато в маленьких городках, где почтенные рантье и дамы в наколках, там до сих пор не едят по пятницам мяса, крестятся на каждую статую и советуются с кюре обо всех семейных делах. Правда, это скорее правила хорошего тона, нежели христианские чувства, но кюре вполне приспособились к духу времени. Это не фанатики, а добродушные холостяки, крепкие, краснолицые, чуть простоватые, заменяющие плотной едой, нюхательным табаком и городскими сплетнями недоступные им радости семейной жизни. Если в церкви имеются художественные ценности, они подрабатывают и на туристах, постепенно превращаясь в добросовестных служителей провинциального музея. Обычно они культурней своей паствы, знают историю города, читают даже кой-какие книги,— словом, наряду со статуями кажутся живописными останками древнего времени.

Крестьяне Лимузина за последнее десятилетие разбогатели. Многие из них потеряли на войне сыновей — это относится к человеческому горю. Но за хлеб и за скот они получают в восемь раз больше, нежели до войны, а стоимость жизни возросла всего в пять раз. Это относится к крестьянской смекалке: нет худа без добра. Прежде здесь были огромные поместья по пятьсот — восемьсот гектаров. Крестьяне брали землю в аренду. Теперь поместья раздроблены. Земля перешла к крестьянам. Так, сто тридцать лет спустя после Французской революции пугало провинции, знаменитый «аграрный закон» стал наконец-то жизнью.

Исчезли последние следы крестьянского костюма: чепцы или широкие войлочные шляпы. Вместо них — парижский фетр. В деревню стал приезжать мясник. Даже в будни на столе крестьянина теперь не картошка, но рагу или жаркое.

Перигор — бедный край. Здесь нет ни пшеницы, ни виноградников, ни хороших пастбищ. Но Франция недаром зовется гениальной страной. Каждый приказчик способен написать элегию в духе Сюлли-Прюдома. И во Франции не может быть бездарной земли. Там, где не растет даже трава, таятся иные богатства, если не алмазы, то хотя бы трюфели. У крестьян здесь дрессированные свиньи, безошибочно они роют зем-

лю. Удел этих четвероногих гастрономов воистину жесток: всю жизнь переживают они муки Тантала. Ведь они обожают трюфели, но хороший трюфель стоит все десять франков,— ясно, что находку у свиньи вовремя отбирают. Крестьяне — те тоже трюфелей не едят, зато они живут ими.

Деревенские дома не отличаются пышностью. В каждом доме, однако, шкаф, и в каждом шкафу столько-то тысяч отложенных франков. Крестьяне верны себе: они не доверяют ни банкам, ни государственным кассам,— дома вернее! Тратят они мало. Они копят деньги так же естественно и упорно, как копают землю. Это давно перестало быть разумным занятием. Это просто темная потребность. Даже инфляция ничему не научила. Конечно, они предпочитают золото, но золота больше нет, и они откладывают грязные порванные бумажки.

Они живут замкнуто и мало с кем видятся. Ярмарка — вот и все развлечения. Большинство из них, если не считать военной службы, никогда за пределы своего уезда не выезжали. Железных дорог здесь относительно мало, и поезда по крохотным веткам передвигаются степенно. Из Сарлата в Вильфранш около сорока километров, а ехали мы три с половиной часа. Фермеры побогаче начинают обзаводиться «ситроенами», но таких еще мало. Газет крестьяне не выписывают и политикой не интересуются. Книг тоже не читают, хотя все грамотны. Книги — небылицы, а газеты пишут о незнакомых людях и о заведомо неинтересных вещах.

Зато в городах, там каждый лавочник — и стратег, и дипломат, и кандидат в премьеры. Бистро, то есть маленькие кабачки,— законное завершение былых политических клубов. Особенно посещаются эти кабачки перед выборами. Каждый кандидат выбирает тот или иной кабачок. От умелого выбора кабачка часто зависит исход борьбы. Кабатчик уговаривает и, разумеется, угощает: выборы во Франции вещь дорогая, не всякому она по карману. Кандидат, будь то даже впервые приехавший сюда из Парижа профессиональный политик, прежде всего кричит о своем местном патриотизме. Он клянется защищать интересы такого-то департамента. Он сулит избирателям электрические станции, новые шоссе, мосты, автобусное сообщение — словом, все, что только придет ему в голову.

Пока что он оплачивает все рюмочки и стаканы. Он заводит дружбу с влиятельными персонажами: с доктором и с директором коллежа, с кюре и с содержательницей «дома свиданий»,— надо повсюду иметь своих людей. Друг друга кандидаты нещадно кроют. Политическая борьба здесь носит вполне семейный характер. Надо доказать, что сопернику изменила его собственная жена или что он незаконнорожденный. Ни речи, ни афиши, ни названия партий никак не определяют политических воззрений кандидата. Помещик именует себя «земледельцем», а владелец завода — «тружеником от станка». «Либеральный республиканец» — это значит роялист, «независимый радикал» — это значит умеренный консерватор, «свободный социалист» — это уже ровно ничего не значит: может быть — фашист, а может быть — просто неудачник.

Во французской провинции голосуют, скорей всего, по привычке, и часто, чтобы понять вотум того или иного департамента, надо заняться историей. До сих пор Вандея и Бретань голосуют за роялистов, как будто сидит в Париже не г-н Пуанкаре, а Робеспьер. До сих пор, как и при «маленьком Наполеоне», фрондирует юг. Радикалы там проставляют на плакатах фригийскую шапочку и слово «гражданин» произносят с особенным смаком. А центральная Франция голосует за центр. Это совпадение географии с психологией. Кроме того, парижские лозунги доходят сюда с изрядным опозданием. Лимож, например, считается «красным городом». Это значит, что рабочие Лиможа голосуют не за радикал-социалистов, а за социалистов. Трогательные провинциалы, они даже не догадываются, что, хоть и закрыты наглухо ставни их домов, время свое берет: многое на свете успело выгореть.

Зевки туриста, конечно, не довод против государственного строя. Эти города и деревни на свой лад счастливы. Аббаты, черные платья, трюфели и свиньи, даже зловоние лиможских трущоб — все это вполне на месте. Я решаюсь настаивать на известной гармонии. Правда, это скорее сон, нежели жизнь, но не всем и не всегда дано бодрствовать. Нужно большое бедствие или внезапное вдохновение, чтобы пробудить этот край. Вот почему, когда рыжее тревожное зарево врывается в окна вагона, подсказывая путешественникам,

что уже близок Париж, на всех лицах легкое волнение. Это не только административный центр, не только столица, но сердце страны, ее вечная бессонница, запасы фантазии и, если угодно, неосторожности, залог того, что не закончилась на сберегательной кассе история великого народа.

1928

В Польше

«ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ»

Париж. Польское консульство. Барышня:

— Вам придется заполнить эту анкету.

Слов нет, мы, прошедшие десять лет революции, по части анкет спецы. Каких только вопросов не задавали нам! Но все же одно дело, когда в вашу интимную жизнь вмешивается, скажем, деспотическая мамаша, другое — когда то же позволяет себе просто любознательный юноша. Просмотрев лист, я учтиво благодарю.

— Вы, вероятно, ошиблись. Судя по вопросам, эта анкета предназначается для поляков, а я как-никак иностранец.

— О нет! Для поляков у нас анкеты на польском языке, а эта — для русских. Вам придется ее заполнить.

— Помилуйте — третий вопрос: «Религия». А в моем государстве религия дело частное. Значит, я могу вам ответить все что угодно. У вас, например, существуют «поляки Моисеева закона». Так я могу написать: «Моисей советского закона». Потом — вопрос седьмой: «Ваше отношение к воинской повинности?» Это как будто касается только того государства, гражданином которого я состою. С вашей стороны — это загадочное любопытство.

Барышня вздыхает и скрывается за бархатными портьерами.

— Вас просит к себе господин генеральный консул.

Теперь пришла очередь вздыхать мне: прощай, виза!.. Однако консул чрезвычайно любезен. Он начинает не с анкеты, но с «Тринадцати трубок». Он читал. Ему нравится. Я не успеваю улыбаться и благодарить.

— Анкеты? Видите ли, это старая формула. Смешанная. Для некоторых иностранцев и для поляков, которые еще не понимают по-польски... Вопрос о ре-

лигии сохранился с прежних времен. Это старое русское законодательство. Это все — тяжелое наследие царской России.

Господин консул так приветлив, что я решаюсь продлить наглядное обучение дипломатии.

— А карта? Большущая карта Польши, которая висит в приемной? Вы не помните? Я ждал около часа, и у меня было достаточно времени, чтобы ее изучить. Со стороны Германии и Чехии указаны просто границы. А на востоке — загадка. Огромный кусище СССР отхвачен, и на нем значится: «Польские земли с такого-то года по такой-то». Как вы думаете, уместна ли подобная карта в консульстве, куда приходят и граждане СССР?

Господин консул на одну минуту перестает улыбаться.

— Это, вероятно, историческая карта.

— Как вам сказать?.. Граница проходит в окрестностях Москвы, и там-то сказано: «Советская Россия». Если это и история, то не столь давняя.

— Право, не знаю... Я не могу просматривать все, что вешают в приемной. Там, например, висят прекрасные фотографии Кракова. Не правда ли?

Я охотно соглашаюсь. Мы еще раз обмениваемся любезностями. Господин консул не без гордости говорит, что он был одним из дипломатов, подписавших Рижский мир. Я не знаю: следует ли мне здесь сказать «очарован» (“enchanté” — разговариваем ведь по-французски)? На всякий случай я улыбаюсь. Господин консул — за мир. А некоторые недоразумения — это ведь только пережитки.

— Да, да, наследие царской России.

В Варшаве, прописывая паспорт, меня допрашивали о многом, даже об отчестве матери. В свое время «отчество» обижало поляков. Они видели в нем выходку русификаторов. Но все полицейские правила старой России сохранены здесь с благоговением. Наш околоточный, попав в польский участок, заплакал бы от умиления.

С первого же дня ко мне приставили сыщика. Я не слишком дивился: ведь подобные «попутчики» попадаются даже в самых передовых государствах. Сыщиков было два. Они через день менялись. Один — поляк, мечтательный и растяпа. Другой — еврей. Этот был нахален. На улице он подбегал вплотную, желая

подслушать разговор. Может быть, он просто интересовался (как все его сверстники и соплеменники) русской литературой?..

К сыщикам я быстро привык, и мне они никак не мешали. Платил я за визу и за право пребывания примерно 8 злотых в день. Меня заверили, что сыщик получает не больше. Я мог, таким образом, радоваться, что не ввожу Польское государство в расходы.

Когда я рассказал о сыщиках польским писателям, они не поверили: «Что вы, у нас это немыслимо!» Когда же, гуляя со мной, они убедились в правоте моих слов, один из них, вздохнув, объяснил:

— Вот вам остатки полицейской России!..

Как-то, взяв газету, я увидал набранный петитом отчет об одном, видимо, тривиальном, процессе. Некий юноша собирал пожертвования в пользу политических заключенных. На нем нашли квитанционную книжку МОПРа. Он получил четыре года. Взволновало меня не содержание заметки (этим в наши дни никого не удивишь), но цифра: сто вторая статья Уголовного уложения. Ровно двадцать лет тому назад я был привлечен в Москве по той же статье, карающей участие в «тайном сообществе». Вот она, старая знакомая!..

Польский юрист повторяет уже знакомое мне назубок:

— Это от старой России. У нас нет общих законов. Галиция управляется по старым австрийским. Познань — по вильгельмовским, «конгресувка» — по царским. Мы еще не успели составить новое законодательство.

Ах, шутники! Они успели уничтожить не только русский собор, но и русские школы, русские библиотеки, зачастую даже память о русской речи. Только вот методы расправы с политическими врагами — этого они не успели изменить. Они, видимо, не торопятся, и законы громадного государства — исторический паноптикум, коллекция анахронизмов, реликвии трех рухнувших империй.

Я прохожу с польским литератором мимо знаменитой тюрьмы Павиак.

Он негодующе отряхивается:

— Вот что нам оставила Россия! Тюрьмы и тюрьмы, слишком много тюрем...

Сказать ему, что я читаю не только «La Pologne Litteraire», но и обыкновенные газеты? Что в одной из

этих газет я недавно прочел заявление польского вице-министра юстиции, сделанное им после ревизии мест заключения: «Все тюрьмы переполнены, и нам необходимо в кратчайший срок построить двести новых»? Или только вежливо улыбнуться: «Да, да, проклятое наследие! Ведь вам эти тюрьмы совсем не нужны?..»

Так на каждом шагу слышишь вздохи о «наследии». Я оставляю в стороне лицемерие и дипломатию. Я хочу сказать только о воздухе, которым мы дышим. Судьбы России и Польши долго были связаны одна с другой. То, что мои галантные собеседники называют «тяжелым наследием», было нашей общей болезнью. Потом цепь распалась. Народы СССР не остановились ни перед кровью, ни перед нищетой, ни перед голодом. Они узнали весь ужас и благодеяние революции. Что касается Польши, то Польша предпочла новый герб и затхлый воздух.

Я знаю, что поляки запротестуют. Разве у них не было «революции» Пилсудского и так называемого «морального оздоровления»? Проходя по улицам Варшавы, они то и дело вспоминают: «Вот здесь началась революция», «Здесь весь день стреляли», «Здесь мы победили». Остается усмехнуться: так во французских учебниках географии маленькие ручейки, которые летом начисто высыхают, гордо именуются «реками». Им дарят не только имена, но даже притоки.

ЗА СТОЛБЦАМИ

Я прочел пять лекций — три в Варшаве, две в Лодзи. Народу было немало. Читал я, разумеется, по-русски. Должен был я читать и в Вильне. Однако импресарио после разговора в одном из учреждений спросил меня, не могу ли я читать в Вильне по... французски? Очевидно, в Вильне по-русски не понимают.

В борьбе с русским языком и русской культурой правящая Польша проявляет редкостное усердие. Здесь все смешивается: жажда скорее полонизировать кресы, наследственная ненависть к москалям, политические резоны, ревность, страх, страх. Из школ русский язык изгнан, даже как необязательный предмет, и молодежь по-русски впрямь не понимает. Что же, если назначение Польши — воевать с Россией ради прекрас-

ных глаз английских тори, это вполне разумно. Непонимание языка углубляет пограничные рвы. Но, вспомнив о своих собственных интересах, поляки могли бы благосклонней взглянуть на русскую грамматику. Кое-кто в Польше это понял. Правда, не поляки — немцы: единственные школы, где теперь изучают русский язык, это немецкие гимназии в Лодзи. Конечно, лодзинские немцы делают это вовсе не из-за сентиментальной любви к нашему языку. Нет, просто они понимают, что народ большой, под боком, и ничем его не заменишь.

Как-то я сказал писателю Каден-Бандровскому, человеку умному и талантливому:

— Жаль, что у вас теперь не изучают в гимназиях русский язык. Пригодится ведь...

— Это вполне естественная реакция. Русские слишком угнетали нас.

Я не думаю вступаться за политику царской России. Но разве в былом угнетении дело? Разве немцы в Познани были мягче русских? Однако во всех познанских гимназиях оставлен немецкий язык. Нет, воспоминания о прошлом — это только фразы. Польские шовинисты хотят искусственно уничтожить духовное свойство Польши и России.

Столбцы — рядом. Но о России здесь знают куда меньше, чем хотя бы в Берлине. Редактор одной лодзинской газеты жаловался мне:

— Никак не можем добиться разрешения получать для редакционной работы «Известия»; приходится выписывать тайком, через Германию. Иногда проскальзывают...

Самое забавное, что это была газета правительственного направления.

Новых русских писателей только теперь начинают переводить. Это связано почти что с гражданским мужеством. Чтобы преподнести польской публике перевод Зощенко, надо в предисловии патетически поговорить об «озверении России» и о тому подобных вещах.

Итак, ни русского языка, ни газет, ни книг, ни радиоконцертов, ни фильмов. Польша как бы закрыта сейчас для русской культуры. И вот, несмотря на это (а может быть, именно поэтому), никогда еще тяготение поляков к нашей полузапретной стране не было столь сильно, как теперь. На этом сходятся фабрикан-

ты и рабочие, поэты и инженеры, спортсмены и мечтатели.

Я не говорю о крайне левых. Глядя на эти радикальные кружки, литературные или художественные, мыслишь Варшаву русской провинцией, куда эстетические моды доходят, благодаря рвению пограничников, с большим запозданием, нежели, скажем, в Пензу. Живописцы здесь еще исповедуют супрематизм, заставляя вспоминать Москву 1918 года; здесь новы и, следовательно, еще полны задора конструктивисты. Для группы «Дзвигня» каждый номер «ЛЕФа» — папская энциклика: что можно и чего нельзя.

Но влияние России значительно шире. Недавно варшавская газета «Литературные ведомости» устроила анкету об отношении польских писателей к мировой литературе. Большинство ответило откровенно, ставя впереди русские имена. Да и трудно себе представить современную польскую поэзию вне русской. Здесь нити наглядны: от Блока, от Есенина, от Маяковского. Несколько молодых поэтов назвали в анкете имя Пастернака, как самого большого из всех современных поэтов. Вот вам еще одна, последняя нить: от Пастернака.

Политическая независимость Польши придала русской культуре в глазах просвещенных поляков и мощь и обаяние. Страну перестали насильно русифицировать, более того, из нее начали выгонять русский дух. И вот поляки с гордостью говорят: «Да, да, мы понимаем по-русски».

Педагоги рьяно изучают материалы нашей «трудовой школы».

Киноработники мечтают, как бы попасть на закрытый просмотр «Потемкина», и счастливцы, которым это удается, уходят не с деловым отчетом, но с подлинной легендой о таинственном корабле.

Молодые критики увлечены формализмом. Они изучают труды Шкловского, Эйхенбаума, Виноградова.

Наших старых писателей заново переводят и заново влюбляются в них. Так, может быть, впервые здесь теперь понят и оценен Гоголь.

Один из лучших польских поэтов Тувим перевел недавно «Слово о полку Игореве».

Россия перестала быть упрощенным сочетанием самовара, исправника и нагайки, от которого было одно спасение — парижские бульвары. Открылась общность крови, языка, душевного склада. Никогда еще не было

у нас столько друзей в Польше, как теперь, когда все российское запретно, гонимо, чуть ли не уголовно наказуемо.

В Париже меня предупреждали: «Знаете, в Польше лучше говорите по-французски. С русским языком у вас там будут неприятности». Не знаю, может быть, пять лет тому назад настроения были другие. Но теперь среди населения нет к нам никакой вражды. Я говорил всюду по-русски, и нигде я не наталкивался ни на грубость, ни хотя бы на неприязнь. Одно дело — политика правительства, другое — душа народа.

В Лодзи фабриканты сокрушенно вздыхали:

— Эх, Россия!.. Что же нам прикажете делать без русского рынка? Приезжал сюда какой-нибудь Митрофанов или Власов: «Давай все!..» А теперь приедет румынский купец, пощупает, понюхает, весь дрожит и: «Ну, отпустите, пожалуй, пятнадцать метров...»

А лодзинские рабочие показывали мне памятные по пятому году места: здесь! Они вспоминали Россию, русских товарищей и общность великих страстей.

Конечно, фабриканты и рабочие думают о разном. Но глаза у них направлены в одну и ту же сторону. Глухо заколочена граница. Ни лица, ни голоса. Но уже всем ясно, что там, за Столбцами,— великая, скрытая ложью и запретом, страшная и все же, среди всех семейных дрязг и драм, любимая страна.

ПО ЭТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ

Политические страсти глубже и загадочней, чем это кажется. Они способны доводить до отрицания Мицкевича или Пушкина, бигоса или щей. Образы народов и отношение к ним складываются обычно еще в детские годы, и зрелому человеку нелегко избавиться от этих сызмальства внушенных пристрастий.

Бахвальство португальца или чрезмерная вежливость француза вызывают в нас, в русских, если не любование, то равнодушие. Не то с поляками. Поляки — близкие, почти свои и все же чужие, следовательно, хуже чужих, поляки — рядом. Так складываются несправедливые и поразительные по своей художественной силе «поляки Достоевского». Для многих из нас это первые поляки, которых мы узнали в нашей жизни. По ним мы зачастую судим страну.

Если у поляков нет соответствующих страниц, то только потому, что у них не было Достоевского. Однако многие второразрядные писатели создавали карикатурные типы русских: хамов с душой нараспашку и дикарей за самоваром. Произведения хотя бы Запольской, где немало таких москалей, усиленно в свое время читались, и они делали свое дело.

Самое верное разоружение — это отказ от предвзятых суждений и от унаследованных чувств. Несмотря на поддержку Франции и Англии, несмотря на всю патологическую тучность территории, несмотря на Пилсудского и на пышные банкеты Пен-клуба, Польша беднее, слабее, духовно приземистей нас. Следовательно, начать должны мы.

Говорят, если приехать в Польшу из Москвы, она кажется Европой, пусть и второсортной. Я приехал в Польшу из Парижа и на первый же вопрос: «Ну, как здесь?» — со всей искренностью ответил: «Россия». Это относится к мелочам быта и к духовной структуре, к облику городов и к облику людей.

Немецкий писатель Альфред Деблин года два тому назад побывал в Польше. Его поразил некий непостижимый европейцу мир. Он написал книгу. Это книга о Польше. Но я берусь взять из нее целые главы и, переменив собственные имена, названия мест, малозначащие детали, выдать их за книгу о России. Ведь то, что сугубо изумило и увлекло немца Деблина,— это не польская государственность, но простота, сердечность, глубина, духовная сила вместо механической выучки, словом, все то, что присуще различным племенам от Сибири до Варшавы и от Архангельска до словацких деревень.

Французский писатель Люк Дюртен, рассказывая о своей поездке в Россию, говорит: «Где-то возле Лодзи начался иной мир: это иная Европа».

Я ссылаюсь на иностранцев, потому что им со стороны виднее общие черты, присущие и русским и полякам. Пусть негры ссорятся между собою, но мы-то хорошо знаем, что все негры черные, и, говоря это, мы только опережаем самих негров, которые не сегодня завтра придут к идее паннегризма.

Существует легенда о французском, даже латинском характере Польши. Многим полякам она нравится. Здесь не грех вспомнить замечание писателя Бжозовского: «Целая система иллюзий предохраняет польскую интеллигенцию от столкновения с подлинным миром».

Мы часто слышим о Варшаве: «Это восточный Париж». Правда, то же самое говорят румыны о Бухаресте. Я предлагаю подарить этот ярлычок румынам — при их профессии он им нужнее.

Французского в Польше нет ничего, кроме военных атташе и духов «Коти». Но духи имеются и в Москве, а военные атташе — это вещь прикладная. В Польше боролись влияния двух различных культур — германской и русской. Следы этого соревнования вы найдете и в архитектуре, и в одежде, и в поэзии, и в меню ресторана.

От Варшавы до Кракова десять часов езды, но между ними еще добрые сто лет раздельной жизни, которые не сошли даром. Когда я приехал в Краков, мне показалось, что я попал в другую страну и что только по рассеянности у меня не спросили на границе паспорта. Германская цивилизация, даже в ее ослабленной австрийской форме, видоизменила и город и людей. Древний Краков куда современней «американской» Лодзи. Чистые улицы, скромные, но аккуратные витрины магазинов, чиновничья умеренность гуляющих. Немецкий город. Вот только пышный портал дома — свидетель давней шляхетской широты, да пестрый платочек приехавшей на базар крестьянки напоминают, что это не Нюрнберг.

В Варшаве много кабаков на любой вкус и карман. Там плотно едят, едят соленья, пирожки, поросят, гусей. Пьют водку. Обедают неизвестно когда, когда придется, ужинают поздно ночью. Поздно ночью идут в гости — «посидеть». Друг друга угощают. Живут, словом, бестолково, «с душой», как в Москве. А в Кракове — венские кафе, в них чинно пьют кофе и читают газеты. Каждый платит сам за себя. Едят умеренно и вовремя, вовремя работают, вовремя ложатся спать.

До войны в «конгресувке» и в Галиции были разные грамматики. Теперь грамматика одна, но психологическая и бытовая разность остались. Городское население Галиции вдоволь германизировано. Я уж не говорю о Познани: если даже все обитатели познанских городов научатся говорить по-польски, они еще не перестанут от этого походить на самых исправных немцев.

На западе духовные границы Польши очевидны (они проходят куда восточнее границ политических). На востоке таких границ нет, вместо черты там деградация.

Фольклор Польши тесно связан с украинским и белорусским. Как и у нас, народное искусство в Польше вырождается, но все же кое-где (например, в Ловиче или среди гуцулов) крестьяне еще делают хорошие вещи вышивки, домотканые холсты, глиняные тарелки. Строгости нашего севера здесь не найти, яркий орнамент чрезвычайно близок не только Волыни, но и Полтавщине. То же самое можно сказать о песнях. Мотивы одни, только слегка меняются окончания слов, песня, начатая в Киеве, может быть подхвачена в Кракове.

Дело не в общности крестьянского искусства. Здесь не повторность известных эстетических приемов, присущая разным народам, нет, здесь родственность самих характеров. У нас с поляками много разного. Обычно мы об этой разности и говорим. Но рядом с немцем, с англичанином, тем паче с французом, поляк нам внятен. Он тоже лишен западной расчетливости и эгоизма, он легко увлекается, легко доходит до крайности, он мечтателен и рыхл. Наша исконная беда — леность, беда и Польши, хоть ее изрядно дубасили немецкие гувернеры. Российское гостеприимство, интерес и любовь к чужому, непоседство, бессонные ночи, споры, преданность идее, наивная вера в силу слова — все это легко найти и на берегах Вислы.

Вот в чем разгадка гегемонии русской литературы. Конечно, наших писателей читают, ценят, любят и на Западе. Но там мы потрясаем душевной экзотикой; только количественно разнятся эмоции француза при зрелище папахи и при чтении «Карамазовых». В Польше же приходится переводить слова, а не понятия.

Между русскими и поляками стоят только тени прошлого, которые, увы, порой заседают, ходят в пышных мундирах, командуют армиями. Герцен сказал о своих польских друзьях: «Они ищут воскресенья мертвых, мы же хотим поскорее схоронить своих».

МОСТ ИЛИ РОВ?

Как бы ни были разнообразны вопросы, ответ вы услышите один:

— Почему вы закрываете украинские школы?

— Видите ли, у нас государство молодое, нам всего десять лет...

— Почему у вас евреям в лапсердаках запрещен вход в городской парк?
— Молодое государство, всего десять лет...
— Почему у вас такие слабые фильмы?
— Молодое государство...
— Почему в вашей гостинице в вестибюле сплошная роскошь, а в уборную зайти нельзя?
— Нам всего десять лет...

Право же, другого ответа я не слышал. Любую несуразность здесь оправдывают подозрительной молодостью, как будто Польша — это крестьянское государство, впервые познающее культуру, как будто не Польша это с ее пышной историей, а Белоруссия или Словакия.

Однако шовинизм поляков напоминает не корь десятилетнего мальчика, а запущенный склероз. Он затемняет сознание страны, доводя любовь до фетишизма, жертвенность до злодеяний. Отравление столь сильно, что зачастую пострадавшие даже не отдают себе отчета.

Разговоры с писателями сначала меня просто изумляли. Мы, русские, всегда любим покритиковать наши порядки; поворчать на бюрократизм того или иного учреждения, высмеять — смотря по вкусу — «гитары» или «американизм», «гой ты еси» или «моссельпромщину». О немцах и говорить нечего: это педантичные и неистовые саморугатели. Но даже француз, при всей его самовлюбленности, позволит себе высмеять домоседство рантье, старчество молодежи, отсутствие смелых переворотов и хороших ванн, Клемана Вотеля и свою консьержку. Не то поляки. Я беседовал с писателями самых разных направлений, беседовал не официально, нет, за бутылкой вина, «по душам». Со многими из них я подружился. Но все они считали священным долгом покрывать свое, польское, даже когда речь шла о самом нелепом. Они не останавливались перед защитой антисемитских выходок или плохих папирос. Так, столик в кофейной, где только что цитировали стихи Сандрара или Пастернака, превращался в парту с начинающими дипломатами.

Да, сначала я только изумлялся. Потом меня начала охватывать тревога. Дело ведь не в папиросах. Ну, пусть хорошие!.. Дело совсем в другом: в Англии, в Китае, в нефти, в кресах, в количестве мундиров на Маршалковской и в количестве фунтов на берегах Темзы. Дело — в войне.

В Варшаве имеется литературное кафе — «Мала Земянска», — туда приходят польские поэты и польские офицеры. Они не только соседи по столикам. Они друзья-приятели. Говорят, это началось после победы Пилсудского — галуны вошли тогда в польскую литературу. Национализм в личности Коменданта приобрел романтический флер, он завладел сердцами поэтов. Во многих газетах, упоминая о Пилсудском, пишут «Он» с большой буквы. Я видел в комнате одного очень даровитого и очень левого поэта два портрета Пилсудского. Это были не документы эпохи, но иконы.

Античное слияние лиры и лука настолько вошло в нравы, что даже иностранным писателям здесь оказывают военные почести. Я говорю, конечно, не о себе: мои сыщики были вполне штатскими людьми. Но когда приехали в Варшаву Честертон и Бальмонт, в их честь устроили военные скачки. Госпожа Честертон раздавала ленточки офицерам, госпожа Бальмонт, увы, всего-навсего солдатам. Военный оркестр исполнял гимны и марши.

Как-то сидел я с польскими писателями в ночном дансинге среди космополитической бутафории: среди джаз-банда, коньяка и сутенеров. Говорили мы, кажется, о сюрреалистах. Вдруг кто-то принес вечернюю газету. Интервью с Пилсудским. Пилсудский сказал: «Я всю ночь не спал». Пилсудский ответил Вольдемарасу. Пилсудский... Я посмотрел на лица моих собутыльников: восторг, благоговение, вера. Вот тут-то мне стало страшно. Меняются карты государств и лозунги, флаги и идеи, но жива эта преданность якобы свободомыслящих людей пафосу множества, государственной силе, громким словам и военной музыке.

Несколько раз я заговаривал с польскими писателями о возможности войны. Они в это не верят, точнее, не хотят верить. Мундиры, плакаты о газовой войне, звон шпор стали для них мелочами быта, и они честно не замечают этих мелочей.

Писатель Слонимский искренне ненавидит войну. Изо дня в день он обличает милитаризм. Это не сентиментальный юноша, это скорее едкий и циничный памфлетист. Я спрашиваю его:

— А если война все же будет?..

— Войны не может быть после последних успехов Лиги Наций...

С двенадцати лет польских мальчиков учат военному искусству, с четырнадцати им дают в руки ружье.

Лодзь. Стучат в дверь. «Войдите». Гляжу — не то военные, не то жандармы. Готовлюсь показать паспорт. Оказывается — гимназисты. Пришли спросить, как жить. С этого года в лодзинских гимназиях введена обязательная форма, чрезвычайно напоминающая военную. Нашивки вместо чинов обозначают классы. Мальчики в мундирах маршируют: «Раз-два», «Смирно», «Пли».

Над этими «успехами» Лиги Наций стоит подумать.

Я не хочу ни упрекать, ни высмеивать. Все это: и «нам десять лет», и военная учеба чуть ли не с колыбели, и вера в Женеву — все это диктуется слабостью, нервностью, растерянностью. Несоответствие между поставленной задачей и силами страны рождает общее смятение, превращает и политику государства, и психологию обыкновенных людей в истерический припадок неслыханной длительности.

Польские правители, а за ними столь неспособная к критицизму интеллигенция хотят быть часовыми Запада на неких варварских границах. Это называется: «охранять латинскую (?) культуру». Польша могла быть мостом между Россией и Европой. Она предпочитает стать военным рвом и, видя недоуменные взгляды по обе стороны вырытого раздела, взгляды русских и немцев, она мечется, меняет все свое добро на амуницию и в отчаянии шепчет: «Он не спал всю ночь... Он ответил Вольдемарасу...»

Ров будет, конечно, засыпан. Я предпочитаю верить, что это сделают не саперы, но разум и чувство родства.

О ПОЭЗИИ И О ДИПЛОМАТИИ

Если посмотреть на польских писателей во время очередного парада Пен-клуба, можно подумать, что все это — члены академии, окруженные почетом, признательностью, богатством. На самом деле жизнь писателей здесь не так-то легка. Для того чтобы заниматься литературой, надо обладать либо солидным капиталом, либо второй профессией.

Одни халтурят — в газетах, в кабаре, в театриках. Другие предпочитают службу: кто в министерстве ино-

странных дел, кто просто в конторе. Гонорары в Польше очень низки. Объясняется это не только повадками издателей, но и ограниченностью тиража. Пять тысяч — здесь большой успех. Часто хорошая книга, встреченная восторженными отзывами критиков, расходится в десяти или двадцати экземплярах. Польша обожает своих поэтов и писателей, но она не читает их. Она верит на слово, что они хороши.

Писатели живут в мире изолированном и условном. Они кидают свои книги, как бутылки в море: неизвестно, какой чудак подберет. Они не видят своих читателей. Это углубляет разрыв с реальностью.

Народ поляки талантливый. В них нет ни нашей неуклюжести, ни тяжелодумия немцев. Они много читали и много знают. Почему же польская литература так редко переходит в литературу мировую? Почему даже место Жеромского остается вакантным?

Думается, беда отнюдь не в злостном замалчивании иностранцами польского гения, да и не в молодости Польского государства — она в самом характере страны. Польская литература по-женски восприимчива. Почти все писатели знают два, часто три иностранных языка: русский, немецкий, французский. При внутренней стойкости это могло стать силой. Это стало скорее слабостью. Блок, символисты, Есенин, дадаисты, Маяковский, Маринетти, немецкие экспрессионисты, Пастернак — все найдут здесь пышное потомство. Однако страшнее этой женственной впечатлительности столь же женственный консерватизм. Эта экспансивная литература в то же время не может преодолеть омертвевших традиций, всей наивности условного и героического мира, который был некогда боевым лагерем, а теперь стал кладбищем.

Конечно, болезнь писателей — только вариация общей эпидемии. Что удивляться напыщенности языка Жеромского, которая перешла и к молодым поэтам, если романтичен Пилсудский («не спал всю ночь»), если романтичны коммунисты, если романтичны, условны, преемственны и комплименты, и пончики в цукернях?

Вот почему в Польше гораздо больше поэтов, нежели прозаиков, почему в ней стихи доброкачественней и уместней романов. Вот почему польские читатели предпочитают книги иностранных авторов, которые, несмотря на экзотичность бытовой обстановки, все же ближе к жизни.

Если современной русской литературе необходим пафос, как необходим кофеин при многих отравлениях, если пафос для нее спасение от засасывающего «правдоподобия», польским писателям надо бежать от условности, от лживой романтики — навстречу живой жизни.

Пожалуй, самое обнадеживающее впечатление из всех польских прозаиков производит Гетель. Это человек упорный и прямой. Он был в плену в Туркестане, и от этого соприкосновения с чужим миром родилась его первая книга. В Гетеле очень крепки традиции. Поэтому-то он смело ищет в литературе новых путей. Он хочет выйти из рамок традиционного романа. Его книга «Изо дня в день» задумана интересно (много общего в замысле с «Фальшивомонетчиками» Андре Жида). В ней перемежаются роман и дневник писателя, который этот роман пишет; один и тот же материал показан в условном плане романа и в скупом, психологически черновом плане дневника.

Знаменитее других Каден-Бандровский. Это живой, подвижный, в то же время эгоцентричный человек. Он видел войну и понял ее. Это понимание прекрасно для прошлого и опасно для будущего.

Слонимский пишет и прозу, и стихи, и драмы, и фельетоны. Он много путешествовал (был недавно в Бразилии), много видел. Его ирония чрезвычайно полезна среди лирической температуры здешних литературных салонов. Он враг национализма и завзятый пацифист. Как и у всякого скептика, имеется у него слабое место: он верит в разум, в прогресс, в Лигу Наций. Этим объясняется его любовь к Уэллсу. Статьи его, однако, метки и вызывают в Варшаве бурю. Когда сюда приезжал Дюамель и польские писатели объявили ему за выступления против белого террора бойкот (да, бывает и так, что не банкет, а бойкот), Слонимский к ним не присоединился, он встречался с Дюамелем и печатно протестовал против всей малопристойной выходки.

Самый талантливый поэт — Тувим. Это прежде всего поэт. Он живет стихами. Он может вечера напролет вспоминать стихи Рембо или Пушкина, Мицкевича или Пастернака, радуясь, как дитя, каждой поэтической находке. Он быстро вспыхивает и быстро же гаснет. Тогда он угрюм, рассеян: «Душа вкушает хладный сон». Только ритм, слово, звук способны зажечь его.

Это дело не убеждений, не образа мыслей, даже не веры, но душевной структуры. Рассуждает он по-детски, и спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами. Он из той же человеческой породы, что Толлер и Пастернак. Я здесь говорю не о книгах — я только определяю эту малораспространенную среди современного человечества разновидность.

Весь горит Витлин. Здесь и францисканство, и социальный бунт, и хасидизм, и человечность. Он до того простодушен и прям, что в польской литературе кажется чужестранцем.

В Кракове живет поэт Пейпер. Это как бы посол левой поэзии Запада, вчерашних дада, сегодняшних сюрреалистов. Он редактирует журнал «Звротница». Это человек очень просвещенный и, кажется, очень одинокий. Он хорошо понимает, в чем слабость современной польской литературы. Не знаю, целителен ли сюрреализм, пересаженный на польские поля...

Группа «Дзвигня» тоже сильна в критике. Это местная разновидность «ЛЕФа». Поэты «Дзвигни» обожают Родченко, приводные ремни и плакаты. Среди них имеется настоящий поэт — Броневский. Его наивность вдохновенна и его фанатизм заразителен даже для человека с таким иммунитетом, как я. Революцию он воспринимает как закоренелый романтик, и это сближает его с поэтами «Скамандера», от которых он должен был бы быть весьма далек. Многое зависит от обстановки. Когда за плакат полагается тюрьма, плакат перестает быть плакатом, он становится ценнее любой картины. Впрочем, это уже — вне литературных оценок.

Много имен, немало и талантов. Издательства. Видимость большой и бурной жизни. Однако все вместе это еще не литература большой страны и большого народа, это только великолепные турниры на замкнутом дворе вымышленного замка.

Польское правительство делает все возможное, чтобы представить за границей свою литературу как мировую. Оно субсидирует газету, выходящую на нескольких языках «La Pologne Litteraire», где реклама хоть безвкусна, зато громка. Оно добивается признания литературы, как будто можно дипломатическим путем сделать из своих подданных Горьких, Маннов или Дюамелей. Здесь надежды направлены не

на рождение нового таланта, но на очередное невежество нобелевского жюри, которое должно присудить теперь награду Серошевскому.

Но гениальность не кусок территории — ее не так-то легко аннексировать.

ОЧАРОВАНИЕ ВАРШАВЫ

О Варшаве принято говорить: «красивый город», хоть и это одна из давних иллюзий, рожденная героизмом повстанцев и уродством русского городового. Архитектурой Варшаве нечего хвастать. Это не Краков. Она стала столицей в то время, когда Польское государство уже было на ущербе и художественный гений народа иссякал. Это польский Мадрид. Если каждый дом Кракова — напоминание о великолепных снах, некогда снившихся этой земле, то дома Варшавы только петитная летопись двух веков жизни и борьбы.

Говорили: красоте города мешает русский собор. Собор срыли. Осталась большая площадь. Сейчас она покрыта льдом, так что прохожие скользят, падают... С одной стороны деревянный забор, с другой — памятник Неизвестному солдату, помпезный и ничтожный, как эпоха, выдумавшая подобные паломничества.

Бельведер, Лазенки, несколько барских особняков теряются среди анонимного довольства обыкновенных доходных домов прошлого века. Они не слиты с городом и никак его не представляют.

Висла могла бы, пожалуй, заменить недостающие Варшаве перспективы, эта широкая, быстрая, добротная река, сейчас вся взъерошенная — трещит лед, река, которой позавидует любая столица. Но Висла — вне Варшавы, она не входит в ее архитектурный план. Она на полях города. Можно прожить в Варшаве несколько месяцев и ни разу ее не увидеть.

Новая архитектура? Да, в Варшаве много строят. Архитекторы здесь без дела не сидят. Но новые постройки не придают городу нового облика. О строгости и наготе современности следует забыть. Страсть к легкому украшению, еще живая любовь к вычурности довоенного Мюнхена облепляют каркасы новых домов всякой нечистью. Много я видел на своем веку

уродливых памятников: памятник Витторио-Эммануилу в Риме, памятник рабочим и крестьянам в Тифлисе, памятники жертвам войны во всех городишках Франции, но, кажется, ничего страшнее нового памятника Шопену в Лазенках не придумаешь. Эта зеленая пакость, кретин под сумасшедшим деревом вызывает даже у невзыскательных нянюшек, прогуливающих здесь ребят, спазмы тошноты.

Нет, не в дворцах, не в проспектах, не в домах, не в зримом и, следовательно, понятном очарование Варшавы, оно вне сознания, оно может быть в толпе, может быть в воздухе, может быть в двух-трех мимолетных репликах или в мелькнувших взглядах. В Варшаве как бы сконцентрирована душа Польши: женственная, легкомысленная, вдоволь отважная и вдоволь суетная, падкая на славу, на стихи и на пирожные, окруженная влюбленным шелестом разноязычных книг. Кто же скажет, что у этой женщины мало поклонников?..

В Варшаве женщины заметней, занятней, важнее мужчин. Последние нейтральны и в облике и в разговорах. Что касается знаменитых польских усов, то это уникумы, чудаки, преданные традициям, или же слегка растерянные провинциалы. Варшавянки, слов нет, хороши. У них красивые ноги и умеренная спесь. Они задают тон, если не диссертациями и полноправием, то родством своих экспансивных пород с породой самого города.

Толпа здесь жива, доверчива, впечатлительна, так что дивишься, глядя на разгар зрачков и на сжимающуюся ртуть Реомюра... Мы не привыкли к таким громким словам и к таким порывистым движениям среди косности сугробов. Это разлад между климатом и темпераментом.

В прошом году русский пианист Оборин получил здесь на музыкальном конкурсе первый приз. Дипломатии пришлось стушеваться, и полякам признать, что лучше всех исполняет Шопена москаль. А Варшава? Варшава исправно восторгалась. Оборин чуть не погиб, удушенный толпами сумасбродных поклонниц. Сколько здесь цветов за заиндевевшими окнами магазинов! Сколько улыбок среди канонизированного литературой польского высокомерия!

Говорят в Варшаве обо всем и всем увлекаются: неграми, Гарольдом Ллойдом, Муссолини, артисткой

Зулей, Фрейдом, «Европейской кофейной», литовскими эмигрантами, заграничными паспортами, даже польской академией. Газеты с большими восклицательными знаками, которые оттиснуты красной краской, трижды в день обещают неслыханные сенсации. Вольдемарас при мне несколько раз умирал. Рекламы кино изобилуют мистикой, и самый серьезный театр Варшавы — это кабаре под названием «Квипрокво». Литературная жизнь бурлит. Правда, книг выходит не так уж много. Зато в Варшаву приезжают гости: Томас Манн или Честертон. Чествования, банкеты, тосты. Потом — обратные визиты. В Берлин выезжает Каден-Бандровский. И так далее. Все это не сухо, не по обязанности, но от всего сердца.

Мужчины (а их в Варшаве все же, вероятно, около пятидесяти процентов) интересуются также политикой. Это вызывает почти абстрактные, но горячие споры, на верхах — дуэли, в низах — вульгарные драки. Понять, почему спорщики волнуются, весьма трудно. Я спросил одного правого (эндека), почему он так ругает Пилсудского, ведь все, что он говорит, Пилсудский делает. Тогда эндек завопил уже совершенно невразумительно:

— Да, да, Пилсудский нас обобрал! Он отнял у нас наши принципы, нашу программу, наших избирателей. Это ловкий предвыборный прием. Мы остались штабом без армии.

В конечном счете разногласия носят столь несущественный и зачастую личный характер, что для приезжего они попросту таинственны. Мне, например, трудно определить, где кончается пэпээсовец (социалист) и где начинается эндек, хоть это два полюса легализованной общественности. Я брал несколько тем: отношение к Советской России, вопрос о национальных школах, антисемитизм, и от всех собеседников слышал примерно одно и то же, хоть все они были приверженцами различных партий и друг друга искренне ненавидели.

Самый известный из польских публицистов Новачинский отметил мой приезд боевой статьей. Он, конечно, ругал меня, я ведь: 1) русский, 2) советский, 3) еврей. Но все же интересовало его нечто совсем другое. Статья называлась «Эренбург в городе Эренберга», и в ней он, воспользовавшись сходством фамилий, сводил свои счеты с другим варшавским пуб-

лицистом — Эренбергом. Так политика здесь легко переходит в хронику событий, в пощечины и в семейные сцены.

В Варшаве множество цукерен. Это не европейские кафе. Там не подают крепких напитков. Там не читают газет, не пишут писем, не целуются. Там главным образом едят пирожные с кремом, жирные пончики, огромные торты. Загадочные места! Все в них странно приезжему: обязательные поцелуи руки, горы сластей, смешение резких гортанных звуков, как бы созданное для бранных криков, но выражающее только очередной комплимент, всего страннее, что посетители приходят в эти цукерни ровно за один час до обеда и поглощают горы пончиков и пирожных.

Потом — обед. Водка, превосходная водка. Десятки ее вариаций: «чистая», «старка», «яженбяк», «зубровка», «вишнювка», «ангельска», «перлувка». В ресторанах подороже: офицерские формы, смокинги, полуголые красавицы из Вены или из Бухареста, несколько знаменитостей, несколько шулеров. В тех, что поскромнее,— только пиво, графинчики с «чистой», граммофон и наглядно широкоплечий вышибала. Повсюду содовая. Ее здесь пьют много: после пончиков, после поросенка, после водки, после комплиментов, словесных страстей и взаимных похвал. Вероятно, изжога не только в желудке. С трудом даются Варшаве легкость и восторги, весь иллюзорный полуигрушечный мир.

Вот уже спит Варшава. Только на Театральной площади еще какой-то запоздалый призрак целует руку вымышленной пани да нищенка повторяет в последний раз древнее, как жизнь: «На хлеб! На хлеб!» Там дальше — темнота. Там дальше — Налевки и Воля с их запахом лука, тряпья, нищеты. Еще дальше — голые поля. Окрестности Варшавы на редкость неприглядны и мрачны. Вот развалины: это еще воспоминания войны. Вот лагерь — напоминание о будущей. Унылые и молчаливые крестьяне, с их длящимся поныне столетним дымным сном. Изредка славянская песня — как ветер с берегов чужой, проклятой, страшной Волги. Борода старого еврея-хасида: испуг и отъединение — снова чужой восток, у себя, под боком, рядом с джазбандом. И Варшава тревожно спит. У изголовья — бутылка содовой. Дыхание хрупко, легко переходит оно в стон.

Лодзь — не Варшава, Лодзь не знает ее комплиментов, ни цукерен, ни поэтов. Вместо косметики здесь лицо, и такое лицо, что, раз увидав, никогда его не забудешь. Любители легкой экзотичной поживы, скупщики очаровательной наивности, международные Поли Мораны, не торопитесь в Лодзь. Объезжайте этот город! У здешних женщин ощеренная тоска, их волосы пахнут фабричным дымом. Авантюра здесь лаконична и черства. Это — или злоты или кровь. Скупой на слова город.

Что делать — все здесь торопятся. На улице, толкая вас, не успевают даже бросить: «Пшепрашам»,— нет, только: «Пшепра». Короткое имя: «Лодзь». Короткие фразы: «Пять ящиков», «Три вагона», «Порцию гуся», «Врача», «Полицию», «Похоронное бюро». Мысли еще короче: «Доллар — восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту», «Арестовать». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски.

Я видел Рур, Сент-Этьен, Лилль, Шарлеруа, все это — идиллия. На Западе как-никак существуют духовные тормоза: книги, воспоминания, манеры, наконец, возраст. Лодзь бегает нагишом, как уличная девчонка. Если новое — чисто, ей тысячи лет, но ведь перепачкаться можно и в пять минут. А здесь не до кокетства. В этом богатейшем городе до сих пор нет канализации и шестьсот тысяч жителей обходятся выгребными ямами. Улицы настолько узки, что встает мысль об их старине. Но нет, у Лодзи позади — ничего. Просто люди, строившие маленькое местечко, не предвидели золотых гор, а перекраивать некогда, да и не к чему. Узкие? Можно ходить и по узким, лишь бы скорее, лишь бы — «три вагона», лишь бы «чек на Нью-Йорк».

Но ходить по узким улицам трудно, так же трудно, как передвигаться в автомобиле по Парижу. Собственно говоря, улица, по которой ходят — одна: это длиннущая Петроковская. По ней несутся толпы безумцев: польские офицеры, белобрысые немцы, расторопные «панны» («Днем стучу на машинке, ночью танцую в дансинге»), длиннобородые евреи в лапсердаках и в крохотных картузиках. Особенно неистовствуют последние. На их лицах библейский экстаз. Куда они

торопятся? В синагогу? Молиться? Бить себя в грудь? Нет, Лодзь не Стена Плача. Несутся они вот к тому окошку, где вывешены биржевые бюллетени. Глаза, привыкшие справа налево читать высокие слова о добре и о пальмах, слева направо читают названия подлых и заманчивых бумаг. Они останавливаются. По дороге они еще что-то наспех друг другу перепродают. Но улица узка, узки тротуары. Надо спешить! Подходит полицейский: останавливаться на углах запрещено. Штраф. Стон. Злоты. И снова несется жадная орава людей.

Ни одна вещь в Лодзи не лежит спокойно: все подчинено этому вращению — вагоны, материя, накладные, машины, ассигнации, платочки, галстуки и даже моченые яблоки. Никто ничего не держит. Купить? Да, купить, чтобы продать. Летучие люди, летучие вещи, изготовляемые не для радости обладания, но для оборота, вещи-фантомы, нереальная жизнь, с одышкой, с ее непременным концом в виде иллюзорного богатства и вполне реальной могилы.

Я видел в Лодзи еврейские похороны. На катафалке лежал гроб, и родные руками держались за катафалк. Они завывали. Но даже завывая, они торопились, и торопилась кляча. Они спешили на кладбище. Это — правда города, и от нее не уйти.

Лодзь любит контрасты. Здесь нет богатых домов, только «дворцы» — не иначе. Так называют местные жители пышные и пошлые особняки текстильных тузов. На узких улицах среди чада и вони торчат грандиозные каменные туши с завешенными окнами, где, среди бронзовых канделябров и романов Декобры, изнывают куцые семьи лодзинских фабрикантов. Это первое поколение. Они умеют наживаться. Тратить они еще не научились. Здесь нет ни выдумки, ни скандалов, ни быта. Здесь только цифры, и жирная еда, и жирная женщина в шелковом платье, которая, сложив на животе украшенные бриллиантами короткие обрубки, с утра до вечера громко зевает, а с вечера до утра не менее громко храпит.

Рядом — квартал бедноты: Балуты. Нищета здесь не считается с ходом веков. Двадцатый или пятнадцатый? Вот улица еврейских ткачей. Они стоят с утра до ночи над ручными станками. Они вырабатывают в неделю 20 злотых. Это 5 рублей. На это можно купить хлеб и селедку. Чай? Нет, на чай не хватает. А если

после хлеба и селедки хочется пить — можно пить воду. Так — год, пять лет, десять лет, всю жизнь. Торопливо кружатся станки, торопятся ткачи, чтобы выработать 20 злотых, чтобы, откладывая из этих злотых мелкие гроши, скопить себе на саван (как же честному еврею умереть без савана?), торопятся ткачи: скорее, скорее!..

А это? Это улица старьевщиков. Они роются в мусоре. Домик. Мы заходим. Тесная, чадная конура. Одна кровать. Сколько вас здесь? Девять человек. На одной кровати?.. Что поделаешь — у бедных евреев большие семьи и большое терпение. На обед?.. Селедка. Здесь селедка все: суп, сладкое, радость, слезы. Процент чахоточных детей? Спросите в школах — пятьдесят, шестьдесят. Остальные? У остальных только рахит или анемия. На кладбищах тоже тесно. Детские могилы занимают мало места. Сумасшедшие! Зачем же они рожают? Улыбка непонимания. Рожают, рожали, будут рожать. Вы забыли о том, что они торопятся, что они хотят жить, жить во что бы то ни стало, жить в проклятых вонючих дворах Балут, рядом с дворцами Познанских, все равно, жить!

Сверху Лодзь — трубы, парад фабричных труб. Некоторые из них не дымятся. Кризис военных лет перешел в хроническое заболевание. Много крупных фабрик работают всего три дня в неделю. Польша, конечно, стала чуть-чуть великой державой, но Лодзь тем временем потеряла русский рынок. Кому теперь продавать эти набойки, скатерти, платки? Тщетно надеются лодзинские фабриканты, что румыны заполнят пустое место. Одно дело, однако, заключать военные союзы, другое — покупать за наличные товар.

Впрочем, туго приходится не всем. Вот Видзевская мануфактура. Огромные корпуса на месте сгоревших лет пять назад. Великолепное, вполне современное оборудование. Десять тысяч рабочих. Работа в три смены — круглые сутки. Англичане предоставили широкие кредиты, и Видзевская мануфактура забила всех. Она работает на внутренний рынок, на Балканы, на французские колонии. Благодаря низкой оплате труда лодзинские товары дешевле европейских.

Замечательная фабрика — здесь можно изучить все последние достижения американской техники и амери-

канской эксплуатации. Конвейер. Все, вплоть до сложных машин, изготовляется на месте. Покупают только сырье. Прекрасные машины, связывающие нити и обрубающие здесь же узелки (на старых фабриках это делалось ручным способом и требовало немало времени). Поразительна чуткость станков: разрыв нитки останавливает сразу всю машину, так что одна работница обслуживает шесть станков. В просторных корпусах светло, чисто: пылесосы беспрерывно ползают по машинам, впитывая бумажную труху. Устанавливают новые воздушные насосы, которые будут доставлять свежий воздух из леса, что в четырех километрах от фабрики.

Фабрику мне показывал один из владельцев. Он каждый год ездит в Америку и о Форде говорит так, как хасиды о цадике. Он еврей, но евреев на фабрику не берет: это слишком беспокойные люди. С поляками — легче, особенно с семейными, и рабочие почти все семейные. Они живут здесь же, в рабочем городке, не в казармах, нет, в отдельных домиках. Если отец семьи отличается преданностью, его детей принимают в «чистое» отделение — например, в упаковочную. Для рабочих устраивают концерты. Словом, это не просто ад, но ад с комфортом. Плата — сдельная, рабочие вырабатывают в неделю 32—40 злотых (8—10 рублей). Это, правда, ниже прожиточного минимума. Но имеются кооперативы. Кроме кооперативов имеются пожарные в великолепной форме, которой могут позавидовать даже испанские офицеры. Эти пожарные не только тушат пожары, они также смотрят за порядком. Это скорей всего псевдоним внутренней полиции. Когда бывают беспорядки, они прекрасно дерутся. На других фабриках существуют «рабочие делегаты». Здесь их нет. Рабочие здесь не могут входить в профсоюзы. Они должны довольствоваться усовершенствованными машинами, надеждой на выслугу и очередным концертом: «Музыка смягчает нравы».

Хозяин. Маленький, вежливый, деловитый, в рабочей куртке. Он не на словах только «американец». У него действительно одна цель: расширить. «К весне думаем поставить льняное отделение...» С раннего утра до ночи он работает. У него тусклый и нежилой дом: зачем-то картины, на которые никто не смотрит, и книги, которых никто не читает. Он не любит тратить деньги. Вот он выпил стакан минеральной воды

и спешит: планы новой мастерской. Он ездит вдохновляться в Чикаго, а отдыхать на немецкие курорты, где три часа в день гуляет ради моциона. Таков один из самых богатых людей Польши, лодзинский текстильный король.

Да и трудно веселиться в Лодзи. Вечером темны и хмуры улицы. Усталые люди торопятся. Теперь они торопятся спать. В немецкой пивной — пенная кружка, берлинская газета, анекдот, сон. В Балутах кого-то деловито режут. Там все дешево, в том числе кровь. А богачи сидят, запершись в своих «дворцах», вернее, в крепостях. Они не хотят смешиваться с чернью. Их отцы еще бегали в лапсердаках по Петроковской. Но они не помнят об этом. Они — знать. Если они и кутят, то не здесь — за границей, хотя бы в польском Монте-Карло, в Сопоте, среди пухлых немок, щеголяющих полосатыми трико.

В лодзинском дансинге, в так называемом «Малиновом зале» перепродавцы, мелкие фабриканты, жулики слушают негритянские песни и пьют подозрительный шартрез. Иногда один из них напивается, тогда он прерывает немцев, которые дуют в саксофоны. Он хочет нежных слов. Он хочет сантиментов. Он хочет «того края, где цветут лимоны». Он швыряет сто злотых. И немцы начинают музыкально плакать среди пустого зала, среди темного города, где миллиарды, селедки, тоска.

А возле огромного тюремного корпуса всю ночь ходят часовые. В тюрьме сидят бородатые поляки и вихлястые еврейские мальчики. О чем они думают по ночам? Им ведь некуда торопиться...

Без их снов нельзя понять Лодзь, нельзя понять, в чем оправдание всей безысходной суеты этих шестисот тысяч кустарей, рабочих, миллионеров, старьевщиков. Тюрьма знает многое. Ей ясен бред анонимных домишек. На что способен этот грязный и страшный город? Поглядите на тюремные окна. В Лодзи ведь нет поэтов. Ее ямбы — здесь.

Несколько лет тому назад семнадцатилетний мальчик убил на улице провокатора. Его звали Энгель. Он был сыном бедного ткача в лапсердаке и в картузике. Его избили, кинули в тюрьму, судили, расстреляли. Все время в камере, ожидая расстрела, он писал. Родным записки эти не передали. Они остались в архивах суда, и теперь один молодой следователь нашел их. Он говорит мне:

— Вот что писал Энгель: «Когда дантист должен был мне вырвать зуб, я очень боялся. А теперь я совсем не боюсь. Я записываю — каждый час. Я жду. И мне хорошо, мне даже весело».

Следователь говорит мне об улыбке мальчика среди толкающихся картузов и биржевых бюллетеней. И тогда я, кажется, начинаю понимать душу этого сумасшедшего города.

ЯЗЫК ВАВЕЛЯ

У Лодзи все впереди, глядя на ее сажу и пот, старый Краков вправе усмехнуться. Он ведь на себе изучил «суету сует». Он может к тому же добавить, что его слава слишком трудна для лодзинских магнатов, что на хлопчатобумажные злоты нельзя выстроить подлинных дворцов Флорианской, скромных и торжественных, с вестибюлями просторными, как вход в жизнь, и с причудливыми порталами. Для столицы нужен больший размах, утеря расчетливости, полузабытье летнего полдня. Краков это хорошо знает.

Я говорю не о провинциальном захолустье, с его аккуратным населением отставных чиновников и в меру дебоширящих студентов, не об австрийском городке, для которого ясны пределы страстей, политических или любовных, для которого мир ограничен месячным бюджетом и газетной полемикой. Этот Краков мало занятен. Чиновники пьют кофе и спорят. Они или «за Пилсудского» или «против». Большинство «за» и большинство дуется на Познань. Студенты учатся. Иногда пьют водку. Иногда бьют еврейских студентов. Евреи победнее крутят бороду, побогаче жертвуют, жертвуют сразу на два фронта: на Палестину и на воздушный флот Польши. Патриотизм здесь корректен и даже драки опрятны. Если бы в Кракове было только положенное ему число жителей, о нем не стоило бы говорить. Но в Кракове существуют еще камни. Они красноречивей людей, и у них лучше память.

Глядя на краковский кремль — на Вавель, кроме наслаждения, я испытываю знакомое мне чувство тревоги. Я уже знаю, что история опровергает многие мечты, и я все-таки не хочу ей верить. Каждый раз, когда я вижу прекрасные образцы великодержавного искусства, я пугаюсь. Дело не в том, прекрасен ли

Вавель. Это ясно, прекрасен,—дело в том, почему он прекрасен? Могут ли бедность, незаинтересованность, опрощение создавать подлинное искусство? Или для этого нужны внешний расцвет, твердость, государственная мощь?

Один мой приятель, советский дипломат и не советский гастроном, как-то доказывал мне, что хорошая кухня существует только у великодержавных народов: она вбирает в себя все местные блюда, все яства и плоды различных климатов. Однако — я говорю уже не о кухне, об архитектуре — не в простом объединении разгадка. Великодержавное искусство не только богаче, шире по размаху, не только сильнее искусства провинциального, оно проще, строже, мудрее его. Это происходит от некой зрелости, от ощущения всемерной гегемонии, которая превращает ученика в мастера. Стоит взглянуть на Вавель, на углы его стен, на королевскую башню Кужастопку, на гробницу Вита Ствоша, чтобы понять: да, это столица большого и мощного государства. Она не только привлекала к себе окраинных и заграничных мастеров, немцев, итальянцев, французов, наших иконописцев (часовня вавельского собора), она развивала дерзания своих художников, ширила их зрение, заставляла их подняться над городом, над областью, большáя, она требовала большого. И начало распада великой Польши — это начало измельчения, утончения, немощи краковского зодчества: строили не меньше, даже не беднее, нет, просто хуже, зависимей от других, провинциальней.

Повторяю — это не мой язык. Это язык Вавеля и, если б я мог спорить с камнями, я бы спорил с ними до хрипоты. Но тихо падает пушистый снег, и он глушит голоса. Он наводит порядок, любование, тишину. И я не спорю, я только влюбляюсь в эту вторую Италию, с внутренними дворами, с колоннами, с дворами для турниров и для жонглеров, с поэзией Юга и Запада, которая много веков владела смутными племенами от Балтики до Черного моря, среди послушного снега и послушных халуп.

Прекрасна и главная площадь Кракова — Рынок. Ее план, размещение выходящих на нее улиц поражает ясностью. Так, за пять веков до Корбюзье-Сонье вдохновение умело мириться с математикой и вместо бредового хаоса, нагромождения камней и страстей воплощать сухую поэзию разума.

Собор Кракова замечателен не только своими памятниками, но удивительной сгущенностью атмосферы. Все здесь соединилось — пропорции, расположение витражей, внутренняя окраска, чтобы передать настороженность, спертость, духоту католицизма. Здесь, именно здесь, не в языке, не в нравах и тем паче не в государственности, сконцентрировано все, отделявшее Польшу от России. Может быть, границы распространения российской культуры были в свое время только конфессиональными. Русские не знали латыни — этого эсперанто долгих веков, и на латыни Польша перекликалась с Францией и с Италией. Польшу трудно понять вне ее католической традиции не только потому, что еще и поныне ксендзы правят польской деревней, но потому, что польский католицизм был величав, культурен и вездесущ. Он чуть ли не до вчерашних дней представлял все цветение страны.

Как таинственны и как обжиты закоулки краковского собора! Вот вам вся последующая история Польши, ее литература, ее психология, ее политика. Тень страны, как женщина чувственная и экзальтированная, бродит по этим затемненным часовням. Нельзя же упрекать ее за то, что она — женщина, за то, что, прекрасная в двадцать лет, с живыми страстями, она в сорок — только призрак над шифоньеркой или, ведь дело происходит в церкви — над сокровищами ризницы, среди статуй мертвых королей, среди выцветших боевых знамен, среди могил Мицкевича и Словацкого, среди былой роскоши и былой жизни?

А на площади перед собором — базар. Ничего не изменилось за три века — ни гуси, ни масло, ни лапсердаки евреев, ни пестрые платочки галицийских баб, ни ниши собора, ни небо. Все на своем месте. Только место это в мире теперь не то. То, что было жизнью, стало археологией, столица — провинцией, а страсти — открытками для невзыскательных туристов.

МОКРЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ

Боксеры проламывают друг другу носы и вышибают зубы. Это — спорт. Апаши пускают в ход кастет, шведский нож или револьвер. Это — вульгарная профессия. Парижские полицейские избивают арестованных мокрыми полотенцами, так что на теле не

остается никаких следов, а смерть следует «от неизвестных причин». Это — высокое искусство.

Когда поляки говорят мне: «Помилуйте, какой же у нас антисемитизм, загляните в законодательство, там нет никаких ограничений»,— я вспоминаю мокрое полотенце. Конечно, в Америке — богатые евреи, и раздражать их зря нечего. Зачем заносить на бумагу ограничительные нормы, когда и так все всем ясно?

Ни на государственной службе, ни среди командного состава евреев нет. Но еврей может быть хоть президентом республики. Четырнадцать процентов всего населения Польши и свыше тридцати процентов ее городского населения никак не участвует в управлении страной. Правда, имеются исключения: вот вам еврей-консул, вот еврей-полковник. Может быть, десяток подозрительно звучащих имен. Но ведь любые погромщики держат у себя дома друга-жида, одни ради денег, другие ради забавных анекдотов. Несколько послушных выкрестов дают возможность отвечать иностранцам: «Какой же тут антисемитизм, когда у нас однажды еврей был министром!..»

Евреев берут в дефензиву — сыщиками, чтобы вылавливать пресловутых агитаторов. Если равноправие в этом, то Польша — страна равноправия. Но вот в университетах фактически проводится пятипроцентная норма. Зачем евреям наука? Пусть лучше торгуют тухлыми селедками.

Говорят, что Пилсудский любит евреев и что недаром его личный секретарь ходит в еврейский ресторан кушать знаменитую фаршированную щуку. Я своими глазами видел, как восприняли рядовые погромщики любовь Коменданта к «жидэкам». На воротах одного из краковских монастырей значилось: «Вход евреям и собакам запрещен». После переворота Пилсудского решили текст смягчить, все-таки «моральное оздоровление», и вот адъютант любит «фиш», кто знает, что они придумали в Бельведере?.. Одно слово зачеркнули. Вы думаете, «евреям»? Нет, это уж слишком потакать. Зачеркнули «собакам». Надпись теперь гласит: «Вход евреям запрещен», а собаки после майской революции получили, видимо, право свободно входить в монастырь.

Эндекская печать, богатая и влиятельная, продолжает травить евреев открыто. Там все вопросы ставятся так: «Жид или не жид». Аргументируют там и по-

ныне «жидомасонством», «сионскими протоколами», «лапсердачным интернационалом». Литературные критики не отстают от фельетонистов. Статьи обо мне, например, ясны по заглавиям: «Хаим Невинный и Симка Блютфертиг», «Скептический чеснок», просто — «Жидэк».

Что касается левой, то есть правительственной печати, она предпочитает на эти темы не распространяться, во-первых, чтобы «не раздражать естественных чувств населения», во-вторых, чтобы не выдать еврейского происхождения того или иного левого журналиста, о котором он сам жаждет как можно скорее забыть.

Однако никакие уловки не обманут опытного носа. В Варшаве выходит газета «Литературные ведомости». Ее поддерживает правительство, и она славится благонравием. В ней сотрудничает даже польский Пуришкевич — господин Новачинский. Но в «Литературных ведомостях» пишут также поэты Слонимский и Тувим. Что же, у газетчиков появляется точная копия газеты. Название — звуковая имитация, вместо «Вядомосци» — «Ядон Мошки» («Едут Мойши»). Дальше: «Чеснок», «Ермолка», «Лапсердак». В познанском городском театре была поставлена пьеса, где писатели-поляки с подозрительными фамилиями были выведены в самом гнусном виде. Слова — «гешефт», «чеснок», «совдепия». Так обращаются националисты с людьми, которые служат польской культуре, которые, правда, пишут книги, а не заборные афоризмы в стиле краковского, но все же, как Витлин, впервые перевели на польский язык Гомера или, как Тувим, Пушкина. Да, да, книги... А не обрезанные ли они?..

Один в меру циничный поляк сказал мне: «Еврей может быть либо хасидом, либо коммунистом. Пусть будет лучше хасидом». Религиозный фанатизм хасидов пользуется благосклонностью польских властей. Пусть не смешиваются с жизнью! Пусть ходят, длиннополые и бородатые, как призраки былого, пусть прозябают в своем гетто! И гетто живо. На его границах нет часовых. Однако наивно думать, что выход оттуда свободен. Оттуда нет выхода, кроме кладбищенских ворот.

Конституция? Но кто же читает подобные документы, кроме студентов-юристов, да и то перед самыми экзаменами? Один сановитый погромщик, когда ему

указали на конституцию, преспокойно усмехнулся: «Она нас будет обязывать только тогда, когда ее расклеют на улицах, как распоряжение варшавской полиции». Что касается местной полиции, то я ее и не мыслю без лапсердачников. Духовно и физически она живет за счет евреев. На ком отводит полицейский свою душу? Конечно, на «жидэке». На чьи деньги куплена парижская шляпка его супруги? Это знает вот тот пейсатый пан старозаконный. Он кряхтел, кряхтел, но все же выложил сотенную... Над Налевками царят библейские патриархи и шподовник. Он гуляет по грязным улицам, как по пышным аллеям сада, то и дело срывая сочные плоды.

Если еврей-счастливчик попадет в университет, если он кончит все три факультета и захочет после этого стать учителем гимназии, ему превежливо ответят: «Это место занято». Место, конечно, будет оставаться свободным, еврей тоже.

Если еврей попросит разрешения на открытие аптеки, он получит лаконический отказ.

Если еврей пойдет наниматься рабочим на фабрику, его прогонят: «Иди, иди, большевик!..» Все это не единичные случаи. Это система. В Лодзи, где сосредоточены крупнейшие фабрики Польши и где евреи — сорок процентов населения, нет ни одного большого предприятия, которое брало бы евреев в качестве рабочих. Ответ циничен: они слишком умны для черной работы.

Но евреи служат только в пехоте. В артиллерию их не берут. Очевидно, они слишком умны и для сложной службы...

Повторяю, это не законы. Это «мокрое полотенце» среди абсолютной веротерпимости. Погромный вой идет под сурдинку. Даже надписи теперь дипломатичны — на пансионах: «Только для христиан», на воротах городских парков: «Вход разрешен только в европейском платье».

Деньги Польше дает Америка, и, как всякие деньги, американские доллары даются полякам с трудом. Приходится идти на многое. Приходится, например, время от времени объясняться в любви к евреям. Антисемитизм? Никакого антисемитизма! В пятнадцатом веке у поляка Казимира была любовница Эстерка. Казимир был королем, а Эстерка еврейкой, и что же — они спали вместе! Это торжественное событие

произошло лет пятьсот тому назад. Но вот недавно один из министров Польши выступил с речью о еврейском вопросе. Он, конечно, не говорил ни о процентной норме, ни о полицейских навыках, нет, он говорил о самых высоких чувствах: «Как могут нас, поляков, упрекать в антисемитизме, когда наш король Казимир любил не кого-нибудь, но Эстерку?..»

Так лирика приятно перебивает грубую политику. Я не сомневаюсь в пылкости чувств покойного короля Казимира. Я даже могу заверить, что в варшавских кабаках немало живых Эстерок и что польские офицеры тратят на них свои кровные злоты. А адъютант?.. Разве адъютант не любит «щуку по-жидовски»?.. Какой же тут антисемитизм?..

Евреи задыхаются в гетто? Они сами виноваты: они лентяи, предатели, большевики. Вот этот якобы падает в обморок от голода. Он, конечно, прикидывается. Он вчера здесь продал одну селедку другому еврею. Это же спекулянты, гешефтмахеры, ростовщики! Вы не верите? Вы говорите, что он не упал в обморок, что он попросту умер? Гмм... Может быть... Во всяком случае, мы работаем не кулаками, а мокрым полотенцем, и если смерть следует, то от «неизвестных причин».

В СВЯЗИ С ШВЕЙЦАРИЕЙ

Слово «швейцар» происходит от имени одного народа, который проявил в истории непонятное рвение к охране чужих подъездов. Это было задолго до отелей и до туристов. Вершины Альп тогда не приносили еще доходов, и швейцарцы нанимались в разных странах охранять королевские или герцогские дворцы. Они рисковали своей жизнью, они выказывали верность и отвагу, часто они умирали на своих постах, у закрытых наглухо ворот. Однако в памяти других народов вместо вдохновенной легенды «о мужестве горных львов» остались только досадные ассоциации.

Надо надеяться, что слово «русский» ни на одном языке не постигнет такая судьба. Как-никак русские показали умение скидывать чужеземных «гуманистов», орудовавших предпочтительно танками, в Черное или в Белое море. Но русская эмиграция занимается воистину «швейцарским» делом. Так гибнут наемники в испанском легионе или в рядах маньчжурских банд.

Ничего нет, однако, трагичнее и жалче русской эмиграции в Польше. Видимо, здесь сложен моральный отбор, не всякий способен сторожить такой подъезд, а тот, кто на это пошел, уже ни перед чем не останавливается.

О духовных босяках, которые простаивают часы в передних, выклянчивая злоты, поляки пишут в лирическом стиле: «Ласточки воскресшей России». Эти ласточки в ответ приятно щебечут, обещая сколько угодно губерний при «воскресении» за те же потрепанные ассигнации.

В Варшаве выходит газета, девиз ее: «За родину и свободу». Чтение этого органа весьма поучительно. Я говорю, разумеется, не о «свободе»,— свобода вещь условная. Один себя чувствует свободным в Варшаве, другой — в Москве, а третий — нигде. Но вот «родина» — понятие более точное. Как будто родина русских — Россия. Однако у «швейцарцев» своя логика, и «За свободу» рьяно защищает польскую «родину» от русских. Расторопность способна тронуть даже самое черствое сердце. Я был в Варшаве как раз в те дни, когда военная суматоха поляков и советская нота заставили всех говорить о Вильне. Русские из «За свободу» волновались куда больше, чем поляки. Какая Литва? При чем тут Литва? Какое право у большевиков вмешиваться?.. Но маршал поставит на своем. Он отстоит суверенитет Польши!..

О, как горек «швейцарский» хлеб. Как трудно на новый лад цитировать: «Что возмутило вас? Волнения Литвы?..» «Швейцарцы», те просто умирали у ворот, а здесь, здесь нужно писать ежедневно триста строчек. Притом в Ковно имеются свои «швейцарцы». У них тоже газетка, и они тоже волнуются за свою «родину». Они кричат, что Вильно — литовский город. Они — родные братья сотрудников «За свободу». Но между ними — непроходимый ров, это разница ассигнаций. Одни получают в литах, другие в злотых.

Конечно, русская эмиграция в Польше не имеет ни своего облика, ни своих суждений. Прикажут учинить скандал — учинят с удовольствием. Прикажут сидеть спокойно — будут сидеть, есть борщок и ждать, когда же антракт кончится. Это послушание сказывается во всем — от огнестрельного оружия до литературной критики. Если меня ругали, значит, увидели легкое движение соответствующего мизинца: «Можно, рвите штаны!..»

Рвали всласть. Писали, что я: 1) лыс и 2) космат, что я живу: 1) в роскошном отеле и 2) в полпредстве, в том самом помещении, где был убит поляк Трайкович, что на моих лекциях были: 1) несколько человек, да и то чекисты, 2) огромные толпы «неинтеллигентных дегенератов».

Желание угодить польским покровителям заставляет вчерашних либералов, завсегдатаев Религиозно-философского общества разучивать погромные арии. Вот из статьи о литературе: «Эренбурги, Пастернаки, Мандельштамы отрицают право у Арцыбашевых и Куприных называться русскими писателями...» Газету редактирует не анонимный охотнорядец, но господин Философов. Видимо, в Польше можно многому научиться!

Я рассказываю обо всем этом не ради характеристики русской эмиграции: в ней на десятый год «швейцарского» ремесла она вряд ли нуждается. Но отношение поляков к этим людям заслуживает внимания. Печать цитирует статьи «За свободу», как будто это самостоятельные суждения русского органа, а не переводы польских статей. Польские литераторы и общественные деятели дружат с сотрудниками «За свободу», они искренне радуются, когда те говорят: «Как замечательно у вас в Польше!.. Это не Россия...» Такова жажда иллюзий. Они не только кричат швейцару: «Эй, ты, дай тому москалю в морду»,— они еще умиляются: «Представьте себе — какая духовная близость, ведь наш швейцар бьет морду москаля, а не нас. Какой же он симпатичный, этот швейцар, и какие мы симпатичные!..»

РЕБЕ ИОСЕЛЕ И БРАЦЛАВСКИЕ ХАСИДЫ

Хасидизм был вначале мистически-революционным взрывом. Он превратился в оплот ханжества. Первые хасиды восстали против буквы закона, ей противопоставляли они живую радость, любовь, человечность. Но вот прошло три века, и теперь хасиды самые нетерпимые законники. Если б великий Бешт увидел своих последователей, которые способны убить человека за малейшее отступление от канона!..

Родина хасидизма — Холм. Он родился в семнадцатом веке от традиций Каббалы, от Книги Зогар и в то же время от пресыщения книжностью, от жажды

живой жизни, от необходимости сбросить с себя непрерывные посты, обряды, бормотания. Люди умирали среди книжной пыли, среди диких выкладок Талмуда, среди роковых вопросов, например, можно ли в субботу раздавить блоху или нельзя? Этот оскопленный и в то же время деспотичный закон объединял евреев Салоник и Вильны, Кракова и Амстердама. От светской науки евреев ограждали добротные стены гетто. Иудаизм погибал не от соприкосновения с точным знанием, но от одряхления тканей. Он заживо гнил. И тогда, в маленьком польском городишке, среди простецких дебошей захолустной шляхты, среди сна темных крестьян, среди нищеты и снега родилась блистательная и высокая философия Баал-шемта (Бешта). В переводе на язык местечковой бедноты она звучала: «Да здравствует жизнь!..» И сотни тысяч сердец в ответ взволнованно забились. Против этого были бессильны все анафемы правоверных миснагдим (талмудистов).

Хасидизм был во многом близок и францисканскому движению среди католиков, и «старчеству» православия (Зосима Достоевского). Общ, прежде всего, пантеизм. О Беште говорили, что он знал тридцать шесть языков. Но это были не обыкновенные языки — не польский или немецкий, нет, он понимал язык собак, язык птиц, язык камней. Согласно хасидизму все вещи имеют свою мелодию, и чем человек лучше, добрее, тем больше мелодий он слышит. Хасидизм и зло считает частью божественного начала. Он не отвергает греха, а к обязательной святости относится с предубеждением. Миснагдим стояли за точное выполнение закона, хасиды объявили это несущественным. Важнее обрядности — чистота чувства. Можно молиться не в синагоге, а в лесу. Нечего горевать, бить себя в грудь, поститься. Надо радоваться: в детской радости человек ближе всего к Богу. Таков в упрощенном виде хасидизм. Легко себе представить, какую ненависть вызвал он среди ортодоксального еврейства. Зато он сразу покорил всех бедняков, всех местечковых мечтателей, поэтов и сумасшедших. Он был бунтом, и бунт победил.

Однако именно то, что способствовало победе хасидизма, предопределило его быстрое падение. Евреи-миснагдим просиживали всю жизнь над загадочными притчами вавилонских талмудистов: «Как понять та-

кое-то слово?..» Хасиды заменили книги опытом. Пусть толкуют, пусть ведут и судят не буквы, но люди, праведные люди — цадики. Это было просто и человечно. Это было также вдохновенно, пока хасидизм переживал свою молодость, пока сами цадики еще были бунтарями, провидцами, поэтами. Но хасидизм, подчиняясь родовому началу, установил «престолонаследие» — после смерти отца сын цадика сам становится цадиком. Это было большим безумием, нежели наследственная монархия; вопреки всем законам природы предписывалась обязательная гениальность. У великих отцов оказывались скудоумные, ничтожные или даже подлые дети. Хасидизм быстро стал вырождаться.

Правда, можно и теперь встретить цадиков, которые еще помнят о мятежной сущности раннего хасидизма. Но их мало, и они в стороне. Почитаемые, влиятельные, богатые цадики — это либо тупые законники, либо ловкие мошенники. Одни из них занимаются политикой и продают перед выборами голоса своих приверженцев. Другие устраивают в свою пользу лотереи, всучая верующим билеты. Третьи входят в соглашение с докторами, и, когда больные с трепетом спрашивают своего цадика: «Что делать, ребе?» — они получают адрес врача (гонорар пополам).

С трудом разыскал я настоящего цадика, вероятно, одного из последних. Зовут его ребе Иоселе из Скерновиц. Он живет в Варшаве, в квартале еврейской бедноты. Маленькая нетопленая комната. Мне напоминают: «Не забудьте надеть на голову шапку...» Это, пожалуй, единственная условность. Цадик — крепкий, красивый еврей лет пятидесяти пяти, с традиционной бородой и с ласковыми печальными глазами местечковых чудаков. Одет он бедно, да и во всем бедность: просиженные стулья, рваные обои. Этот цадик похож на замечательного поэта, которого читают десять или двадцать человек. Его приверженцы — бедные ремесленники из Налевок. Они не дают, но просят.

Цадик угощает меня папиросой. Он и сам закуривает. По тому, как неловко он это делает, видно — не курильщик. Вот, верно, закурил, чтобы сделать мне приятное, чтобы смягчить натянутость диковинного свидания. Впрочем, всякая неловкость исчезает, когда он начинает отвечать на мои вопросы. Говорит он легко, ни на минуту не задумываясь, иногда иронически

ки усмехаясь, иногда вдохновенно, как и подобает поэту.

— Миснагдим выше всего ставят закон. Но ведь солдат учат по-разному. Английских учат не так, как польских. Впрочем, всех солдат мира учат: «Раз-два». Когда же начинается война, плох тот солдат, который помнит «раз-два». Хороший солдат забывает все, чему его учили.

Цадик гладит бороду, он прищуривается. Видимо, не уверен, что я его понял. Он добавляет:

— А ведь вся жизнь — война.

— Вы спрашиваете, что такое «рай» и «ад»? После смерти человек переживает всю свою жизнь. Радость от расточенной им любви — это и есть рай. А ад? Ад — это стыд.

— Да, для того, чтобы человеку подняться, надо падать. Не падая, нельзя подняться. Это закон жизни, и это также закон сердца.

— Бедность — путь к Богу. Еще в Книге Зогар сказано, что у Бога множество одежд, но одевается он только в молитву бедняка.

Последний мой вопрос:

— Что важнее — отношение человека к Богу или же к людям?

Цадик ласково улыбается:

— С первого взгляда, конечно, к Богу. Ведь Бог — все, а человек — пылинка. Но когда много думаешь и, главное, когда много живешь, понимаешь — важней всего люди. Если человек оскорбляет Бога, он оскорбляет только Бога, а если человек оскорбляет человека, он оскорбляет и Бога и человека.

У ребе Иоселе несколько десятков приверженцев. Они приходят к нему советоваться: «Что делать, у дочки грыжа?», или: «Соловейчик не отдает десяти злотых...» Мудрость остается среди четырех стен, под картузом, над старой книгой. Цадик похож на старого мастера, который помнит секрет древнего ремесла, но не знает, куда его применить. Ребе Иоселе еще понимает слова Бешта, но его слов уже никто не понимает. Он лечит сердца не унаследованной мудростью, но только своим званием «цадик» да бесхитростной улыбкой.

Богачи идут к цадикам погромче, познатней — там они могут и сами рассчитывать на почет, на право заседать за одним столом с цадиком, на его авторитетное содействие в разных коммерческих сделках. У них

выхоленные бороды, шелковые лапсердаки, а в субботу шапки, отороченные рыжим мехом. Они зовут себя «хасидами», но, если вы спросите их об учении Бешта, они не смогут вам ничего ответить. Для них всего важнее: кто будет сегодня сидеть рядом с цадиком — Арон Шмулевич или Хаим Розенберг?..

Есть еще место, где жив хасидизм. Это не седая голова ребе Иоселе. Это нищая молельня так называемых «брацлавских хасидов». У них вовсе нет цадика. Их цадик умер. Он умер давно, лет полтораста тому назад. Его звали ребе Нахман из Брацлава. Он был философом и поэтом. Его изречения, легенды и стихи вышли недавно в немецком переводе. Этот первый выход исторического хасидизма из пределов гетто был полон запоздалой славы и классического изумления потомков. Когда ребе умер, хасиды не захотели поставить на его место другого — они выбрали себе в советчики только память о цадике-поэте.

Среди брацлавских хасидов нет ни богатых, ни спесивых, ни лицемерных — им здесь нечего делать. Их место за столом живого цадика. А здесь? Здесь — голь Налевок или Балут: старьевщики, портные, сапожники.

Я захожу в молельню. Это обыкновенная квартирка в рабочем доме. Вонючая лестница. Небольшая комната. Голубенькие в полоску обои. Тусклая электрическая лампочка. Тесно, трудно пробраться внутрь. С виду — собрание профсоюза. Но нет: здесь иной век, не то летоисчисление. Может быть, это даже вне понятия времени. Бородатые нищие в засаленных картузах. Целую неделю корпят они над тряпьем, над селедкой, над нудной вшивой жизнью. Но сегодня канун субботы. Они пришли сюда радоваться. Они радуются. Не потому, что предписано радоваться. Нет, в них еще жива мертвая, вне этой тесной комнатки, вера. Они встречают царицу-Субботу. Они бьют в ладоши и поют. Сначала это слова молитвы. Но ни язык, ни разум не поспевают. Вот уж больше нет слов — только мелодия, радостная, широкая, захватывающая. Они больше не могут стоять. Они подпрыгивают. Они танцуют, танцуют в этой жалкой, темной молельне: радость! жизнь!

Я гляжу на лица, и я не могу оторваться. Кто их преобразил? Кто снял память об обидах, о голоде,

о злотых?.. Можно, конечно, здесь поговорить о радении хлыстов или о католической эротике, о Фрейде, о массовом гипнозе, еще о чем-нибудь. Но стоит ли?.. Это ведь и так всем известно из солидных книг. Не лучше ли воспринять улыбку брацлавских хасидов как изумительное счастье, пусть чужое, пусть недоступное, но человеческое до конца, счастье потери себя в большом и в большем, счастье бескорыстия, самозабвения, счастье простых ребячливых сердец: возвеселись!..

СВЯТАЯ ЩУКА

Теперь очнемся. Вспомним о датах, о морали, даже о курсе доллара. Мы больше не в стране простодушного веселья. Мы в Польше. Кругом нас не красноречивые травы Бешта, но американский заем, залежавшаяся мануфактура, предвыборные махинации. Забудем же скорей о хасидизме: ведь нам предстоит посетить главную святыню современных хасидов. Это очень далеко от поэзии ребе Нахмана, и это по соседству с обыкновенной биржей.

Наиболее почитаемого из живущих ныне в Польше цадиков зовут Абрамом-Мордохом-Альтером или «герским цадиком». У него пятьдесят тысяч последователей, готовых отдать жизнь за святого. Ему принадлежит один из крупнейших банков Лодзи. В иом-кипур к нему прибывают тысяч десять паломников. Когда герский цадик выезжает, хасиды ломают его вагон: если нельзя прикоснуться к самому цадику, надо прикоснуться к какой-либо вещи, которой он, может быть, касался. Это божество, удельный князь, повелитель пятидесяти тысяч евреев, разбросанных по всей Польше.

Резиденция герского цадика — местечко Гура-Кальвария (по-еврейски — Гер) верстах в сорока от Варшавы. Там его дом и синагога — бет-мидраш, то есть высшая духовная школа, куда приезжают на несколько недель для завершения образования молодые хасиды «герского толка». Все местечко (а в нем шесть тысяч жителей) живет, разумеется, паломниками. В пятницу цадик принимает просителей. Каждый подает записочку, где изложена нужда: болезнь печени, замужество дочери, неоплаченный вексель. Многосло-

вием цадик не отличается. Это скорее дипломат: вместо философских поучений или практических советов он подает каждому два пальца и бормочет: «Да поможет вам Бог». Говорят, помогает и при больной печени, и при опротестованном векселе. Что касается дочек, то дочки все равно выходят замуж. Итак, паломники приезжают в пятницу. Уезжают они, конечно, в воскресенье. Они ночуют и столуются у местных жителей. Корчмари процветают. Правда, в субботу все «бесплатно», заходи, ешь, пей, только не вздумай вытаскивать кошелька: изобьют — ведь в субботу платить запрещено. Зато в воскресенье утром корчмари ходят по улицам и кричат: «Кто у меня брал водку с закуской, плати!»

У меня было мало времени, и я решился на настоящее злодеяние: в субботу утром, вместе с польским поэтом Витлином и журналистом Флаксером (переводчик моих книг на еврейский язык) поехали мы в автомобиле к герскому цадику. Правда, мы вылезли из машины за версту до местечка, но все же предприятие было достаточно дерзким: приехать к цадику в субботу!..

Маленькие деревянные домишки, косые заборы, паршивая собака, которая всю жизнь только и знает, что чесаться, ушастый мальчик, снег, ведра, тоска, словом — одна из картин Шагала. Но вот несколько каменных построек, отгороженная забором усадьба. В этом доме синагога. А в этом с кокетливыми занавесками? В этом живет сам цадик и его обширнейшая семья: царствующий дом — дети, внуки, зятья, шурины, невестки, троюродные племянники. Родня у цадика большая. От первой жены у него целый взвод. А год тому назад он женился вторично — на тридцатипятилетней женщине. Ему шестьдесят один год, недавно у него родился сын: хасиды — народ крепкий. Молодая жена цадика говорит по-французски и читает романы Декобры. Это в порядке вещей. Хасиды на воспитание девочек, к счастью, не обращают никакого внимания. Девочки учатся по-польски и читают светские романы. Потом им бреют головы и выдают их замуж. Они должны рожать сыновей. Зато мужчины блюдут себя — они не знают ни слова по-польски. В прошлом году один из сыновей цадика ездил лечиться в немецкий курорт Нордерней. Что же, каждый день ему посылали из Берлина воздушной почтой строго кошер-

ный обед. Конечно, вряд ли стоило для этого изобретать аэроплан, но герский «престолонаследник» не прикоснулся ни к одной «нечистой» тарелке. Что касается самого цадика, то он путешествует со своим поваром, со своим резником, со своими кастрюльками и даже со своей судомойкой.

Мы заходим в синагогу. Натоплено. Душно. Несколько евреев, прикрытые талесами, еще бормочут в углах. Но уже идут приготовления к главному событию субботнего дня, к «шираим». Шираим — значит «остатки». А какие остатки — это вы сейчас увидите. Вокруг длинного стола сидят хасиды, богатые и красивые, в шелковых кафтанах, в меховых шапках, как бы сошедшие со старой немецкой гравюры. Не верится даже, что у них третье измерение. Сзади толпятся менее богатые или менее знатные. Они толкают один другого, стараясь пробраться ближе к столу, как дети возле ярмарочного балагана. По столу бегает красавец паренек лет пятнадцати, с длинными курчавыми пейсами, которые он завивает в часы учебы указательным пальцем. На нем высокие сапоги, ярко навощенные. У него мечтательные и порочные глаза. Это один из внуков цадика. Он следит, чтобы сидели за столом только имеющие на то право — «тишзицеры». Один хасид оттирает другого: «Я!» — «Нет, я!» А за решеткой стоят бедняки, неучи, чернь. Эти не пробуют даже подойти к столу. Они хорошо знают свое место: хоть бы издали посмотреть на святого!..

Мы держимся скромно, совсем как нищие. Мы стараемся врасти в стенку. Но это не так-то легко. Бритые! В пальто! В каскетках! Сначала на нас не глядят: некогда, идет бой за места. Но потом оставшиеся в задних рядах, потеряв надежду пробраться к столу, слегка обиженные судьбой, начинают поглядывать на подозрительных пришельцев. В их глазах не любопытство — злоба. Они только ждут повода, чтобы накинуться на нас. Мы стоим кротко, молча, как вкопанные. Тогда к нам подходит мальчик лет десяти, в картузе, из-под которого торчат непомерные уши. Его отец, наверное, сидит у стола. Его сестры играют сейчас дома. А он — мужчина. Он должен быть здесь. Но ему скучно. Его здесь занимает только одно — бритые люди в пальто. Мы для него такая же экзотика, как эти пейсатые призраки — для нас. Но не только любопытство в мальчишке — сочувствие. Наверное, он

мечтает о Варшаве, о кино, о пиджаке. Мы — сообщники и скандалисты. Он тихо шепчет нам:

— Если вас спросят, откуда вы, скажите, что вы родственники дантиста и что вы приехали вчера днем...

Э! Это уже дипломат! Он хочет спасти нас. Он знает, что дантист, хоть дантист бреется, личность вполне уважаемая — у хасидов ведь тоже болят зубы. Да, мальчик дает нам прекрасный совет. Но вот подходит один из хасидов. Его глаза зеленеют от злобы. Как смеет мальчишка разговаривать с безбожниками? Нас он боится тронуть. За нас получает мальчик: звонкая, увесистая пощечина. У Витлина вообще большие глаза. Теперь они — во все лицо. Наверное, он вспоминает книгу Бубера о хасидизме... А мальчишка — тот только отмахнулся и шмыгнул прочь.

Я начинаю прикидывать — дело дрянь: оказывается, бить в субботу можно. Флаксер в утешение мне шепчет:

— Здесь недавно избили одного еврейского писателя... Помните, в очках?.. Наш Марк Твен... Его затолкали — он несколько дней пролежал...

Кажется, после таких воспоминаний, а особенно после расправы с мальчиком, следует попытаться врасти в стену еще глубже. Но Флаксер — удивительный человек. У него отвага завзятого журналиста. Я, признаться, удивляюсь, как это он не сел за стол. Преспокойно подходит он к «престолонаследнику», то есть к сыну цадика. Это рыжебородый великан с совиными глазами.

— Здесь — русский писатель... Вы, наверное, читали в газетах?.. Так он хочет поговорить с ребе...

Птичьи глаза разверзаются. Борода горит и мечется. С «престолонаследником» нечто вроде пляски св. Витта. Он бегает по синагоге и с отвращением подвывает:

— Приехал!.. Читали!.. Еще бы!.. В субботу!..

А Флаксер как ни в чем не бывало заявляет мне:

— Нет, он, кажется, не станет разговаривать...

На нас смотрят все чаще и все злее. Подходит другой мальчишка, приносит скамеечку — все стоят на скамеечках, чтобы увидеть цадика. Второй мальчик получает тоже затрещину. Ясно, что на ребятах они вымещают злобу. Выручает нас общее волнение: близится выход «самого».

Уже паренек слез со стола. Вот распахнулась форточка в стене: оттуда высовываются руки. Скатерть, тарелки, хлеб, вино, рыба. Наконец открываются двери, и выходит цадик. С виду он ничем не отличается от других хасидов: седой, благообразный. Другие, пожалуй, красивей и представительней. Но другие — люди. А это — Бог. Цадик чуть касается пищи (он уже пообедал перед этим), кусочки с его тарелки расхватываются верующими. Они тоже только что отобедали. Они спорят из-за кусочка рыбы или говядины с его тарелки. Это и есть шираим — остатки. И те, что стоят сзади, тяжело дыша от нетерпения, выхватывают кусочки. Теперь они всем расскажут: «Мы обедали с цадиком. Мы ели с его тарелки и пили из его стакана!»

Можно по-разному относиться к вере: с завистью, с жалостью или с равнодушием. Но одно дело пляски брацлавских хасидов, другое — эти сальные пальцы суеверных купцов, которые стараются выловить «святой» кусочек фаршированной щуки. Кажется, еще душнее стало в темной комнате. Еще злее и алчней глаза хасидов. На воздух!..

За нами бегут мальчики. Им, видимо, к пощечинам не привыкать. Они подмигивают нам, как опытные заговорщики. Они ведут нас к библиотекарю. Библиотека, разумеется, штаб местных вольнодумцев. Здесь нас встречают радушно, как своих. Собирается вся молодежь. Бритые лица, папиросы в субботу. Среди них — один из внуков герского цадика, отщепенец, проклятый дедом. Он знает польский язык. Он ходит в пиджаке. Он говорит со мной о... «Хуренито».

Здесь можно изучить ход времени. Отец теперешнего цадика был праведником и мудрецом. Богатым хасидам он рассылал лаконические цидулки: «Немедленно раздай пятьдесят тысяч рублей бедным и представь мне отчет». Он много читал, после него осталась прекрасная библиотека на древнееврейском и арабском языках. Его сын, «царствующий» ныне,— человек мелкий и лицемерный. Он копит деньгу. Время от времени он устраивает лотереи. Будь это не герский цадик, а обыкновенный смертный, он давно бы познакомился со статьями закона, карающими вульгарное мошенничество. Но цадика власти не трогают. Ведь цадик — союзник. Раздав идолопоклонникам кусочки рыбы, он моет руки и проходит к себе домой. Там он

занимается делами, вполне светскими и современными. Сейчас у него немало хлопот: скоро выборы. У герского цадика пятьдесят тысяч голосов. Это не перышко, это весит. Евреи-ортодоксы должны были примкнуть к блоку национальных меньшинств, но блок против Пилсудского и Пилсудский против блока. Что же, герский цадик старается: он должен воспрепятствовать вхождению евреев в блок. Он ведь за любое правительство. После Столыпина и эндеков ему уже ничего не стоит поддерживать Пилсудского. Его слово — закон. Оближут «святые» тарелки и пойдут голосовать хоть за самого черта. Таков цадик. Его дети будут продолжать проделки отца, разве что немного реже молиться и немного чаще устраивать лотереи. А внуки?.. Одни из них завивают пейсы, сидя за Талмудом, другие ездят в Варшаву на лекции о русской литературе. Первых, правда, больше, но у них нет ни страсти, ни воли, ни упрямства. А вторых уже ничто не удержит — ни пощечины, ни анафемы.

СТОРОЖА ГЕТТО

У ворот гетто двойная стража: снаружи — польские антисемиты, внутри — хасидские изуверы. Часовые хорошо понимают друг друга. В Польше имеется закон об обязательном обучении. Про то, как полонизируют ребят на кресах, как выбивают из них дух семьи и дух народности, нечего рассказывать. Но вот одновременно в Польше существуют сотни якобы «тайных» хедеров, где еврейские мальчики с утра до ночи изучают Талмуд, где они не изучают вовсе ни польского языка, ни арифметики, ни географии. Я побывал в таких хедерах. Тесная темная комната. Вонь. Духота. Грязный, невежественный ребе (учитель). В его руке — линейка. Ею наводит он румянец на чересчур бледные лица детей.

Пятилетние мальчики приходят сюда в семь часов утра, и «учатся» до шести вечера. Они зубрят наизусть Библию и Талмуд: в этом вся наука. Они должны познать тонкости талмудического трактата о семейном праве или библейских правил убоя скота.

Официально мальчики обязаны ежедневно в течение двух часов заниматься польским языком и арифметикой. Но ребе этого не любит. Вдруг ребенок

прочтет, что Земля вертится?.. За несколько злотых полиция покрывает тайну хедера. Комиссар хорошо знает, сколько таких застенков в его околотке: ведь он получает «с головы». Конечно, и для министра народного просвещения тайна пана комиссара отнюдь не тайна. Но линейка в руке ему на руку: пусть эти дети ремесленников и рабочих будут отъединены от их польских сотоварищей стеной непонимания.

Вся жизнь еврейских кварталов Варшавы, Лодзи, Кракова, не говоря уж о мелких местечках, до сих пор проходит под надзором цадиков, раввинов или добровольных ревнителей иудейского закона. Воинствующие хасиды, правда, теперь не смеют побивать отступников камнями. Они довольствуются меньшим: например, отлупят богохульника, который в субботу покажется на улице с папиросой. Я видел многих рабочих, активных деятелей профсоюзов, которые не смеют расстаться с бородами и лапсердаками. Они боятся насмешек соседей, бойкота, отвержения. Он коммунист. Следовательно, тюрьма ему не страшна. Над адом он смеется. Но лапсердак... Что делать, когда живешь во дворе, окруженный хасидами, когда отступнику не продадут ни хлеба, ни дров, когда от него станут убегать все, вплоть до карапузов из хедера, как от прокаженного?..

Жестокие дворы! Кучи мусора. Рахитичные дети. Тряпье. И непременно хасидская синагога. Может быть, две или три во дворе. Ведь у каждого цадика свои последователи, а у каждой секты своя молельня. Эта вот — герского цадика, эта — александровского, а эта — сохачевского. Потом синагоги миснагдим, общие и специальные. Так, в Варшаве существует синагога, куда собираются самоистязатели. Среди них много интеллигентов. Я видел одного, который прежде был в России коммунистом. Они замаливают грехи. Они читают в темноте, чтобы скорей испортить зрение. Пост у них следует за постом.

Кроме синагог по сектам, существуют синагоги по цехам: ткачей, маклеров, рыночных торговцев, кожевников. Для приезжих или для тех, кто не поспел в синагогу, имеются «уличные» синагоги — это вроде ресторана, туда каждый может зайти и помолиться.

Изобилие моленен объясняется не столько страстностью религиозного чувства, сколько бытовыми на-

выками. Разные ребе, шамесы (дьячки), плакальщики и просто нищие на этом зарабатывают. Быт окаменел. Все тут смешалось: религия стала бытом, быт — религией. Ревниво оберегают евреи не веру, даже не канон, но манеру есть или одеваться. Так позорный костюм, созданный некогда, чтобы отличить заточников гетто от свободных граждан, этот арестантский халат становится символом благочестия.

Евреи до сих пор живут в особых кварталах. В краковском Казимиреце вы не найдете христиан. Поражает упорство: Нюрнберг, Брюгге, Ассизи — все эти города уступали, если не сдавались на милость новому веку, очищали за домом дом, замыкались в музеи, в воспоминания, в искусственно создаваемую атмосферу; но тот же Казимирец никак не поддался. Древняя синагога, вросшая в землю. Перед ней — наглухо запертое кладбище. Какой-то праведный раввин здесь некогда проклял свадьбу, загулявшую слишком поздно в канун субботы. Молодожены и все гости тотчас же провалились, а сердобольный ребе стал духовным вождем Казимиреца. От площади — узкие улицы. Пятница. Темнеет. Вот в окнах загорается свет. Доносится пение. Что ни дом — синагога. Пение сливается, и сливается блеск свечек. А час спустя, скрипя по снегу, важно шествуют хасиды в широкополых атласных шляпах. На некоторых туфли с пряжками и белые чулки. Они беседуют на духовные темы, и сопровождающие их подростки важно прислушиваются: «Ребе сказал...», завивая тем временем пейсы.

Еврейские буржуа, которые ходят в кабаре «Квипрокво» и ездят отдыхать в Сопот, конечно, расстались с лапсердаками. Но с мацой они боятся расстаться. Они трусливы и суеверны. Они стыдятся говорить по-еврейски, и они распинаются на всех перекрестках: «Мы самые что ни на есть польские патриоты». Это они удостоились высокого звания «поляков Моисеева закона». У них несколько газет на польском языке, защищающих якобы еврейские интересы. Кажется, на всем свете нет более деликатных газет. Ах, они так боятся кого-либо обидеть! Они ведь не то непрошеные гости, не то военнопленные, не то просто «паны-оберы». Их главная цель — доказать полякам, что не все евреи, мол, большевики, нет, имеются среди них и порядочные люди. По примеру франкфуртских биржевиков они учинили небольшую «реформацию». Их сина-

гоги называются «темплями». Там, как в каждой пристойной кирхе — орган и проповедь на польском языке. Читатели «Нашего пшеглонда» раз в неделю надевают на головы цилиндры и отправляются в темпль помолиться воинственному Яхве древнего племени о повышении доллара и о драгоценном здоровье дедушки Пилсудского.

Да, это не мистика, это только дипломатия, вежливость побитой собаки, страх перед вонючими дворами Налевок, где сегодня рабочие еще качаются, нацепив на голову ремешки и покрывшись полосатым талесом, но где завтра они могут взять в руки винтовки. Лучше хватайте кусочки рыбы! Лучше растите ваши пейсы! А умные люди? Умные люди вывернутся, ведь не зря у них на плечах голова.

Еврейский ресторан. «Строго кошерный стол под наблюдением господина раввина». На эстраде — толстая, пухлая полька. Она поет скабрезные песенки. Рядом со мной почтенный еврей, по всей вероятности, маклер. Он ест фаршированную щуку. Перед едой он пробормотал молитву. Он не снимает картуза, как и подобает богобоязненному еврею (хасиды даже спят в ермолках). На певичку он все же поглядывает с явным наслаждением. Религия религией, а удовольствие удовольствием. Поев, поглядев, послушав, он вынимает из кармана обмусоленный карандашик и книжечку. Он начинает помножать какие-то пятизначные цифры. Удовольствие удовольствием, дела делами. Певичку он увел бы с собой, если б не так дорого... Но, конечно же, он правоверный еврей, он ненавидит вольнодумцев и голосует за ортодоксальный список. Он метит с кошерной щукой, с цифрами и с певичкой прямо в рай.

ТОЖЕ ПОД ТАЛЕСОМ

Это самая обыкновенная синагога — таких тысячи. Своеобразен лишь состав молящихся: их объединяет профессия. Все эти почтенные евреи в шелковых талесах — либо содержатели публичных домов, либо воры, либо «коты». Так называемым «порядочным людям» вход сюда запрещен. Набожно бормочут сутенеры: «Слушай, Израиль!..» Вот этот рыжий даже вспотел от усердия. А помолившись, он отправится

выжидать, пока его черненькая Сурка не выжмет из очередного клиента пять злотых.

Они все отличаются редкостной набожностью: и толстые хозяйки, и мордастые «коты», и вышибалы, и поставщики, и шулера, и громилы. Как они исступленно воют, когда в Судный день готова захлопнуться Книга Судеб! Как лирически плачут, молясь за упокой «незабвенных мамочек»! Они не жалеют денег на Бога. Так злоты, вырабатываемые разными Сурками и Эстерками, обращаются в роскошный свиток. «Разве у нас не шикарная синагога?..»

Я сидел в кабачке, где подготовляются разные дела — «сухие» и «мокрые». С виду он похож на бистро Бельвиля или на чайные возле Смоленского рынка. Но замечательна одна деталь: кошерная еда. Да, да, строго кошерная! Об этом кричат все надписи. Ведь взломщики не хотят обижать Бога. Они берегут свою чистоту.

Поспорив, воры различных шаек обращаются в еврейский суд, к какому-нибудь ребе. Суд этот называется «дин тойра». Традиция настолько сильна, что с ней считается даже польская полиция. В официальных протоколах можно прочесть: «Конфликт между Хишиным и Брайтманом был решен дин тойрой в пользу последнего».

Поляки часто входят в еврейские шайки, они подчиняются еврейским атаманам, говорят по-еврейски, а в случае обиды прибегают к дин тойре. Что касается агентов уголовного розыска, то это, конечно же, все евреи (по большей части приятели воров). Они существуют не столько на казенное жалованье, сколько на проценты с «работы». После удачного налета все направляются в синагогу, воры и сыщики покрываются талесами, молятся, благодарят. Это отнюдь не цинизм. Это просто уверенность в почтенности любого ремесла и в достаточной широте Господа Бога.

Евреи-громилы не похожи на злосчастных обитателей Балут. Бог им прощает короткое платье: ведь «работать» в лапсердаках невозможно. Это здоровые крепкие парни. Широкие плечи. Солидный кулак. Мастерски плюется. Насвистывает чарльстон. Утром молится в синагоге. Вечером дует восьмидесятиградусную водку. Не боится ни «пшодовника», ни погромщиков, ни самого Пилсудского. Он? Он — «пан злодей».

Конечно, как и во всех уголовных шайках, здесь свято охраняется понятие «чести». Если где-нибудь еще сохранились романтические жесты (помимо речей Коменданта), то, конечно же, здесь. Вот — вор: восемь пудов и младенческая улыбка. Как-то позвал он журналиста на воровскую вечеринку. Тот пришел. Пили. Танцевали. Но когда восьмипудовое дитя удалилось на улицу полюбезничать с барышней, один из кавалеров, столь же легкого веса, не зная в лицо журналиста, обидел его. Скандал: кроме гостеприимства здесь оскорблена литература — ведь все эти опасные младенцы уважают газету, как Тору.

Несколько дней спустя журналист встречает своего приятеля и рассказывает ему шутя: «Меня-то у вас обидели». Но тому не до шуток. Он слушает молча. Потом говорит лаконично, веско, как древний судия:

— Прольется кровь.

Вечером он сам идет к журналисту. И опять всего два слова:

— Кровь пролилась.

Это — любитель короткого диалога и быстрых жестов трагедии. А вот другой: Диккенс Балут, самое уважаемое лицо, почти цадик. Он карточный шулер, нет опытнее его в крапе, в передергивании, в подметывании, в замене колод. Он «работает» в лучших клубах. У него крахмальная манишка. Но живет он в Балутах, и душой он с Балутами. Он «работает» много лет, и ни разу он еще не сидел в тюрьме: его все покрывают. Это не просто шулер, это сентиментальная новелла.

Вот он обыграл какого-нибудь приехавшего из Петрокова или из Ченстоховы купца, начисто обыграл: пятьсот злотых в кармане. Он не пьет, не кутит. Правда, имеется у него подруга с пудрой поверх синяков, но это бытовая мелочь. Не на нее «работает» Диккенс. Удалось?.. Значит, все ждут приглашения. Скоро свадьба...

Чувствительный шулер занят в жизни одним: он выдает бедных девушек замуж. Он дает приданое. Он смотрит, чтобы девушки были честные — без прошлого, не кокетливые, не ветреные, хорошие хозяйки. Он находит и женихов. О, не шулеров, нет, ни в коем случае — честных ремесленников: скорняков, сапожников, портняжек. Это единственная страсть в его жизни.

Девушка получает приданое: 400 злотых. На 100 остальных — свадьба с закуской, с музыкой, с ребе и с фокстротом. За свадебным ужином Диккенс сияет, как самый счастливый отец: это уж двадцать девятая свадьба. Он пьет за стопочкой стопку. Он танцует не то хасидский танец, не то чарльстон. Он действительно счастлив. Выходя рано утром на улицу, он одаряет нищих последней мелочью — от 500 злотых не осталось ни гроша,— и, слушая их поздравления, он важно кивает головой: «Да, чтобы много сыновей и чтобы сто двадцать лет...» Потом — уже время — заходит в синагогу и вместе с сутенерами, которые жалуются: «Ночь была пустая», соболезнуя им: «Таки маленькая ночь»,— истово молится.

ВЫЛАЗКА

На фабрики евреев не берут. Остается ремесло и торговля. Ткачи, кожевники, столяры вырабатывают 80—120 злотых в месяц: «селедочный» бюджет. Не лучше живется и мелким торговцам. О, это далеко не буржуазия! Это попросту откровенное нищенство. Хорошо, если после дня торговли у «буржуя» останется пять злотых. По рукам ходят «еврейские деньги» — анекдотические векселя на 5 или 10 злотых, испещренные подписями поручителей. Никто по ним платить не будет — ни у кого этих злотых нет. Векселя — абстракция. Ведь надо как-нибудь жить, и вот в итоге после десяти подписей у Шнеерсона — булка, а у Ройтмана — даже полфунта колбасы.

Сколько здесь чудовищных профессий! В Балутах отдают детей полицейским за 40 грошей в день. Вот улица шарманщиков. Это профессия наследственная и почтенная. Шарманщики ходят со скворцами, которые вытягивают «счастье». Нищие, те, что без скворцов, делятся на цехи. Одни умеют хорошо плакать. Они знают назубок, где какой еврей болен. «Кажется, Мойзер скоро умрет...» И они караулят возле дома Мойзера. Они воют на похоронах, и за это получают угощение, даже подарки — старые сапоги, платье, картуз. Другие нищие облюбовали свадьбы. Они умеют красноречиво поздравлять: «Чтобы все сыновья, и чтобы каждый дожил до ста двадцати лет, и чтоб у каждого были сыновья, и чтоб эти сыновья...»

В еврейских домах на косяке двери висит священный свиток. Если он не в порядке, с обитателями может стрястись беда. Вот вам еще профессия: обходить дома и глядеть, в порядке ли свитки? Такой спец приходит раз в неделю, как служащий электрического общества, он получает 20—30 грошей «за наблюдение».

Возле каждого праздника живут люди. Один разносит в пурим подарки. Другой продает перед иом-кипуром маленькие флакончики с нашатырем, чтобы предохранить постящихся от обморока. Третий под Пасху собирает остатки хлеба (хомец)— жечь. Велика изворотливость этих людей. Наверное, здесь гибнут сотни никому не ведомых изобретателей. Цель одна—наскрести два злотых. Это некая условность: те же селедки делятся между теми же ртами. Один еврей берет сегодня у другого злотый, а завтра ему этот злотый отдает. Нехитрое занятие усложняется жестами, разговорами, видимостью профессий и той еврейской надеждой, которая ежеминутно создает среди мусора дворов «американские миллионы».

Положение евреев в Польше донельзя просто—это голодная смерть осажденных. Ждать помощи со стороны наивно. Только вылазка может спасти население зачумленной крепости. Но для вылазки нужна иная воля.

Там, где шумят страсти, нет ни гармонии, ни чувства меры, ни простого равновесия. Евреи не французы, и нелепо приравнивать улыбку Гейне к улыбке Вольтера. Евреи живут контрастами. Среди них реже всего попадаются корректные лица и умеренное счастье. В Польше немало обыкновенных, вполне нормальных поляков, но все польские евреи полны преувеличений. Это богачи или голь Налевок, хасиды, хватающие шираим, или фанатики современности, «поляки Моисеева закона», или отчаянные постояльцы густо населенных тюрем. Середина отсутствует.

Варшава—крупнейший центр еврейской культуры. По статистике здесь триста пятьдесят тысяч евреев— больше, чем в каком-либо другом городе Европы. Конечно, в Нью-Йорке евреев еще больше, но ведь нью-йоркские евреи—американцы. Книг они не чита-

ют. Зачем книги, когда существуют газеты? Раз в неделю «Форвертс» выходит на шестидесяти четырех страницах: там и романы, и научные открытия, и стихи. Польские евреи любят книгу.

Можно спорить о том, соответствует ли современная еврейская литература уровню народа. Конечно, существует ряд прекрасных писателей, которые пишут по-еврейски. Но трагизм положения очевиден: он создан не скептицизмом иноязычного автора, а ходом истории. Еврейская литература чрезвычайно молода. Молод язык — идиш. Здесь понятны и детская неловкость, и преувеличения, и ограниченность поля зрения. Для ребенка — это вундеркинд. Но беда в том, что евреи не словенцы, не фламандцы и не татары. Они не дети, и при всей их темпераментности ребяческие игры им не к лицу. Еврейский народ несравненно старше, выше, богаче, многосторонней еврейской литературы.

Читатели начинают это понимать. Здесь объяснение успеха переводных книг. Еврейская литература, как всякая молодая литература, локальна. Редко-редко писатель выползает из быта местечка. Он националист не по идеологии, а по масштабу. Изображая людей, которые жаждут выйти из гетто, «новых», если хотите, людей, он сам остается в гетто, и «новые» люди сплошь да рядом предпочитают книги русских или французских авторов. Читатель невольно идет впереди писателя. Список книг, выходящих в Польше, поучителен. Он отражает не только кочевые инстинкты читателей, но действительную широту зрения. Захудалые местечки стали очагами мировой культуры. Нет, кажется, ни одной значительной книги, появившейся в Европе после войны, которая не была бы переведена на еврейский язык, которая не обсуждалась бы в дымных и тесных клубах со всей страстностью профессиональных искателей правды.

Кто ходит в Варшаве или в Лодзи на лекции, на литературные вечера, на концерты? В залах и аудиториях нет пятипроцентной нормы. Поглядите на лица: девять десятых евреи. Евреи слушают Клода Фаррера и поэтов «Скамандра», Оборина и Честертона, Томаса Манна и польских футуристов. Кто-то из иностранцев объявил концерт в иом-кипур. Хасидские традиции еще сильны. На концерт пришли восемь человек — и то евреи, только вольнодумцы.

Здесь следует остановиться на одном явлении, вызывающем столько споров и нареканий, на традиционной привязанности польских евреев к русской культуре, в частности к русской литературе. Поляки издавна обвиняют евреев в русификаторских тенденциях. В свое время они ссылались на выгоду: русские в Польше — господа, и евреям, конечно, выгодно ориентироваться на Россию. Но вот все переменилось. Русские в Польше — парии, их преследуют совсем как евреев. Куда выгоднее — обожать польское. Однако любовь еврейского читателя к русской литературе ничуть не ослабла. Поляки приводят другой довод — евреи любят Россию, потому что там, мол, они, евреи, теперь у власти. Остается спросить: ну, а прежде?.. Ведь евреев угнетали в России еще почище, чем в Польше... И потом, честно ли объяснять необычайные тиражи Достоевского или Толстого еврейским засильем?

Если бы поляки обладали хоть некоторым чувством критицизма, они легко бы поняли, почему евреи читают русских писателей, а не польских. Евреи доросли до действительного ощущения всечеловеческой культуры. Это не космополитизм снобов и не интернационализм политических деятелей. Это расширение эмоциональной структуры человека, потеря интереса к частному, к местному, к национально-ограниченному. От польской литературы евреев отталкивает ее узость, ее подлинная местечковость. Эти большие страсти столь интимны, что за пределами тесного семейного круга они становятся попросту скучными, как влюбленность Икса или серебряная свадьба Игрека. Польский мессионизм был обкорнан географическими линиями.

Русская литература — это прежде всего литература всечеловеческая. Таков ее национальный склад, ее традиции и пафос, смысл ее существования. Медикаменты (пусть зачастую никчемные), которые вырабатываются в ее лабораториях, предусматривают неизменно спасение всех. Мечтатели еврейских местечек находят в этой российской широте надежду и опору. Наша литература в библиотеках Белостока, Радома или варшавских Налевок — это клочок лазури арестанту.

НА ПРОЩАНЬЕ

Ночь. За окнами вагона снег, узкая белая полоса, вычерчиваемая поездом. Дальше — темнота. Что мы видим, колеся по свету: два-три аршина, узкую полоску, сугроб, стол да еще тупые физиономии попутчиков, которые, сопя и качаясь, стряхивают с себя теплый, животный сон...

Через час граница. Итак, досказаны все приветственные речи. Проглочены все тосты, справедливо оплачиваемые двойными рюмками рябиновки. Расточены все дипломатические улыбки. Часть официальная закончена. Теперь время задуматься, под меру колес подогнать мысли, найти счет чувствам, встречам, городам. Но думать не хочется: круглый фонарь, полоса снега, пара глаз — все это способно довести человека до благодушия, до позевывания, до сна, теплого, псиного сна на плече какого-нибудь сердобольного пана.

Чтобы не уснуть, я просматриваю газеты, ворох, всученный мне на прощание одним остроумным поклонником. Это тоже напутственные речи, не на банкетах, без рябиновки.

«Эренбург бил поклоны цадику» («Курьер заходни»).

«Большевистский писатель Эли Эренбург обрадовал всю иудейскую Варшаву» («Слово», Радом).

«Большевистский писатель ребе Эли Эренбург сказал, что Бабеля зовут не «Иван», но «Исак»! («Слово поморске», Торн).

«Издание собрания сочинений этого российско-семитского наплевательства крайне вредно» («Курьер познанский»).

«Плюгавый певец чрезвычайки» («Курьер лудзский»).

«У нас нет цензуры. Но распространению таких книг, возбуждающих классовую ненависть, должен быть положен конец. Спекуляция издательства имеет свои границы. При настоящих условиях издание книг Эренбурга дело ненужное и опасное» («Слово», Варшава).

«Эренбург может забирать свои пожитки и возвращаться восвояси. Мы хорошо знаем, как вредят

жидэки России... Мы знаем, чему служат все эти спецы: Эренбурги, Бабели, Пастернаки, Мандельштамы» («Слово польске», Львов).

Милые люди — они начинают разговаривать по душам! Они, видимо, боятся, что я плохо пойму душу Польши, что я поверю в тосты и в улыбки. Они спешат высказаться. Ведь они все время молчали. Те же, что говорили тосты, будут молчать теперь. Никто из них не запечатлеет своих «горячих чувств» на бумаге. Они ждут: что я скажу о Польше?.. Буду ругать или хвалить?

Правда, что я скажу о Польше?.. Узкая белая полоска. Темнота. Ругать?.. Но легкость задания заранее сводит скулы. О, как хочется спать на плече пана!.. Кто же из русских писателей не ругал Польши? Это путевая обрядность: из окна вагона, как несколько восторженных слов по поводу Кельнского собора.

Хвалить? Но скажите, без всякой дипломатии, мои польские друзья, те, что искренне, а не только в порядке вежливости, жали мне на вокзале руку, что можно хвалить в сегодняшней Польше, кроме краковских древностей, кроме вашей дружбы и кроме десяти сортов водки?..

Темнота. Позади легенды, позади романтика, мессионизм, героические жесты повстанцев, все, все позади. И победа: военщина, чужие территории, бестолочь, решетчатые окна Павиака, страх, сон. Узкая полоска снега.

Если Пилсудский и впрямь «не спит всю ночь», он должен много думать. Это все же человек большой воли и большого размаха. Он не может думать только о Вольдемарасе — этим нельзя заполнить настоящей бессонницы. Он должен думать и о своей стране, об этой легкомысленной, но жестокой стране, у которой достаточно храбрости, чтобы героически умереть, но которая боится заменить пышный портрет семнадцатого века обыкновенным зеркалом.

Вот полустанок, баба в тулупе, пес. И снова — полоска снега. Так и у нас. Если ехать на восток — это может повторяться много дней, тысячи верст: тулуп, сугробы, тишина. Я еду не на восток, и сейчас это кончится: скоро граница. Да, здесь еще наше. Но без десяти лет революции, без жертв и без самозабвения.

Я вспоминаю глаза одной девушки, которая пришла ко мне в Варшаве после лекции. Это не была профессиональная истеричка, из тех, что охотятся за знаменитостями, назначая рандеву или выпрашивая автографы. Нет, у нее были угрюмые, даже грозные глаза. Ее слова были до того наивны, что, не будь этих глаз, я подумал бы: из дефензивы. Она рассказала мне о своей жизни: легкой, сытой, пустой и ненавистной. Ей предстоит муж с положением, цукерни, Сопот, «Квипрокво». Она требовала у меня ответа: правда ли то, о чем я пишу в книгах, или выдумка: жизнь Курбова, любовь Жанны?.. Если правда — она откажется от всего. И прямо, в упор, не спуская с меня сердитых глаз:

— Можете ли вы меня свести здесь с людьми, как Курбов?..

Вот такие когда-то у нас становились террористками. Чем станет она в Варшаве?.. У нее нет логики. Но у нее — задыхание рыбы на песке, решимость агонии.

Колеса требуют счета. Польша... Что станет с Польшей?.. Впрочем, я забыл сказать: девушка, которая не хотела цукерен, была еврейкой. Я не знаю, хватит ли у нее сил переменить уют Маршалковской на снег, на нищету, на нары Павиака? Да и нужно ли это? Пускай выходит замуж!.. Ее глаза здесь ни к чему. Это — исступление далекого востока. «Чеснок»... «Жидэки»... «Вход запрещен»...

А Польша, а тысячи верст снег — какое отторжение, какая тоска, какое бессилие! Я не хочу ругать, и мне нечего хвалить. Я только пытаюсь вглядеться в темноту, найти человеческие глаза, живые, теплые руки. Больных манией величия следует жалеть, тем паче когда поражен мозг не человека — народа.

Впрочем, народа ли? Народ ли пишет в газетах, ходит в цукерни, устраивает перевороты, толчется по улицам Варшавы — народ ли или только призраки, герои старинных романов, традиции в новеньких пиджаках? Что касается народа, то он сродни русскому. Он тоже полон снега и темноты. Он тоже «безмолвствует» во всех классических трагедиях. Вероятно, он тоже не глухонемой. Вероятно, он тоже сумеет заговорить. Может быть, пулеметами. Но тщетно вглядываться в темь. Глаз ничего не различит.

Завтрашний день Польши жесток своей непонятностью.

Граница. Начинается разумный и ясный мир. Вагоны отоплены. Станции освещены. Пассажиры подбираются, они аккуратно дремлют, взяв напрокат подвесные подушечки. Здесь все понятно, и быстро, быстро снег уступает, слабеет, сходит на нет.

Позади осталось темное и в темноте своей родное.

1928

1928 в Словакии

УРОКИ КРИНКИ

«Вы едете в Словакию? Но зачем? Что там хорошего?» Это я слышал не только от парижан, убежденных твердо, что за Фонтенбло кончается обитаемый мир, но и от пражских снобов. «В Словакию?..» Теперь позади — сотня деревень, речки, умилительный для нас, русских, язык, ухабы дорог, новая дружба, если угодно — новая страсть. Словакия позади. «Что же вы там увидели?» Сколько иронии в вопросе! Действительно, что можно увидеть в столь неисправимой провинции? Ясно все: СССР — Волга или Урал плюс строительство новой жизни. Германия — замечательная техника, комфорт, небоскребы, пылесосы, почтенные близнецы на перочинных ножиках; в Италии — сразу и треченто и фашизм; во Франции — что ни шаг, то фасад Людовика или новая марка вина. Любопытство путника здесь простительно и пристойно. Для любителей за морями — Америка, негры, буддизм... Но Словакия? Ведь это даже не государство, это деталь школьного атласа, скучный, затянувшийся уезд... Что же там можно увидеть?

Я не стану перечислять всех оставленных щедрот, не стану твердить об изумительной живописности Гронской долины, о татранских озерах, о песнях пастухов, об осанке баб, о старых деревянных церквах, о вышивках или о фресках. Все это прекрасно, причудливо и, однако, спорно, как любая страсть. Я отвечу прямо: в Словакии я увидел людей. Разве это не достопримечательность, не находка, не больший раритет, нежели все фасады, пылесосы и музеи? Разве ради этого не стоит покрыть тысячи и тысячи километров? Причем следует помнить, что Словакия — не Конго, нет, она в самом центре Европы. Географически это даже не окраина, а сердце. И вот здесь, под боком

у чешских пивоваров, где-то между кафе венского Ринга и нарами польских тюрем, среди Малой Антанты, нот Бенеша, среди расторопного изуверства Хорти или неоримлян из сигуранцы, под спудом законов Франца-Иосифа, пришлых освободителей и пришлых жандармов, под спудом тысячелетнего рабства, на земле, рождающей только чертополох и благородство, живут настоящие живые люди, без зависти, без корыстолюбия, без деспотизма,— люди, сохранившие весь жар, всю доверчивость, всю взыскательность детства. Не к художественным вкусам относится это, но к возрасту человечества.

Душевное чудо — его можно объяснить по-разному — можно говорить о стене Карпат, о традиционном отсутствии государственности, о скудости каменистой почвы. «Крестьяне»? Да, разумеется. Но кто же лучше нас знает всю растяжимость этого не то слишком поэтического, не то слишком политического термина! Как-то один московский журнал напечатал отрывок из моего романа «Лето 1925 года». Герой просит, и притом тщетно, французских крестьян дать ему лошадь, чтобы привезти из города доктора к больной девочке. Редактор журнала решил дополнить текст эпитетом: «Я обошел всех богатых крестьян...» Оказывается, руководили им самые нравственные побуждения: он не хотел часом обидеть французских середняков! О, гражданин редактор, французские — да и не одни французские — середняки хорошо знают цену франка, марки или кроны. Только уголовное уложение здесь порой авторитетнее денежных знаков.

В самом начале нашего путешествия попали мы в глухую деревушку. Это было на севере, в Оравском округе, который даже в нищей Словакии славится заведомой своей нищетой. Косая избенка. О достатке словацких крестьян обычно говорят тарелки на стенах и горы подушек. Здесь не было ни подушек, ни тарелок — только дым, докучные мухи, настороженность летнего полдня и грустный грудной голос хозяйки: «Нех са вам пачи!» («Пожалуйста!») — угощала она нас кислым молоком. Мы хотели заплатить если не за ласку, то за кринку; ведь мы твердо помнили, что такое денежное обращение, что такое крестьяне, что такое наш высокий век. Баба обиженно усмехнулась: «Не нужно». Голая изба, пустой хлев... Кто знает, до чего нужны были ей даже эти кроны,— и нет, не нуж-

ны, не нужны до обиды, до пренебрежения. В этот день, среди дыма и зноя, я встретился по-настоящему со Словакией. Потом я видел много изб, много баб и много превосходства. Оравская кринка не осталась чудаковатым эпизодом: она открыла весь внеевропейский строй словацкой жизни.

СТРАНА БЕЗ ГОРОДОВ

Страна без городов! Сознание никак не мирится с этой чуть ли не снобистической беднотой, националисты не могут надумать, из какого бы села сделать им столицу, а курьерские поезда (по-чешски, как это ни чудно, «рыхлики»), разлетевшись из Праги, не знают, возле какого плетня им приличней остановиться. Правда, тщательно исколесив Словакию, можно найти несколько хотя и крохотных, но вполне породистых городов вроде Кремницы или Левочи. Однако они выстроены и заселены немцами. Это знатные иностранцы. Если они остаются на территории Словакии, то только потому, что города не путешествуют.

Столица Словакии — Братислава. Слов нет, это почти европейский город, с театром, с ночными барами и с десятком высокополитических газет. Но словацкий он если не по насилию, то по вольному найму; столицу наняли; наняли немецких фабрикантов, еврейских биржевиков и венгерских журналистов. От Братиславы до Вены полтора часа — трамвай ходит,— это почти Пратер, и до войны в Братиславу приезжали сентиментальные парочки повздыхать или выпить «под вехами» кувшин молодого вина. Новые границы причинили немало бед. Десять тысяч словацких крестьян, уходивших на заработки в Венгрию, подвязали туже животы. А вот сентиментальные парочки — те вздыхают теперь в Шенбрунне,— любовь стала экономней, домовитей. Отель «Карльтон» в Братиславе давно не ремонтировали, он опустился, оброс подозрительной щетиной — чем не венгерский магнат после земельной реформы? Прогорели увеселительные заведения. Зато открылись министерства. Так была устроена дачная столица. Словаки в ней, конечно, водятся, но их немного, и ведут они себя скромно. Словацкие газеты быстро увозят из печатни на вокзал, а газетчик, войдя в «приличный» ресторан, помахивает немецкими или

венгерскими листками. С таким же успехом столицей Словакии могла бы стать любая международная выставка, палуба трансатлантического парохода или кафе Монпарнаса. Даже окрестности Братиславы экзотичны: здесь словацкая деревня, там мадьярская; проедешь еще десять километров — немцы; еще — уже вовсе неизвестно откуда взявшиеся хорваты; а там вот вместо овина — синагога, и вокруг нее стрекочущие на всех наречиях бывшей империи евреи, они чинят часы или перед высокомерными гусями расхваливают наилучшие швейные машины.

Крайние националисты устроили себе другую «столицу» в городе, который именуется «Турчанский Святый Мартин». Название сложное, но жителей в этой столице всего тысяч пять. Там выходит непримиримая газета «Народни новины». Читают ее несколько евангелических пасторов в окрестных селах. Среди огородов высится добротный каменный дом «Словенской матицы». Сидят в нем блюстители национальной культуры. Они еще пытаются оградить словацкие головы от чешских идей, язык — от чешских слов и животы — от чешского пива. Пастухи их ученых трудов не читают, а братиславские журналисты, по обязанности проглядывая за кружкой пльзенского «Народни новины», посмеиваются,— эти-то навеки распрощались с гусями и с огородами: они предпочитают «гуманизм» Масарика, не говоря уж об американских барах Братиславы. Славные рыцари из «Матицы» сокрушенно вздыхают: «Как быстро несется жизнь! Как быстро меняются идеи!» Они, например, высоко ценят русскую литературу, причем, Тургенев для них — современник, Чехов — модернист, а Есенин, о существовании которого они случайно услыхали,— катастрофа. Вокруг каменного дома солидно гогочут гуси, и старосветский сон длится.

Есть еще в Словакии большой город — Кошицы, но он далеко на востоке, а о своих восточных окраинах словаки говорят не то перепуганно, не то пренебрежительно. С виду Кошицы — заурядный губернский город средней России. Душа его, разумеется, базар, где грудятся сита и горшки, где божатся, набавляя крону на лук, и где торгуют до хрипоты иконами или жареной колбасой. Особняки с палисадниками. Ларьки с фруктовой водой. По городскому саду бродят разморенные жарой, страстью и военным оркестром

местные Психеи без подмышников. Пыль и заунывный романс влюбленного счетовода. Вот только собор не к месту,— вместо луковок готические шпицы. Но и Кошицы, если присмотреться поближе, не Словакия. Снова мадьяры, немцы, евреи. Кончится базарный день, разъедутся по домам крестьяне, и вечерний ветер начисто смоет словацкую речь,— ведь романсы счетовода заумны, а этикетки фруктовой воды — на эсперанто.

Словацкие города: Святый Мартин, Святый Микулаш, Брезно, Зволен, Ружомберок — вовсе и не города, это попросту разросшиеся села. Одна длиннущая улица, базарная площадь, номера для приезжих, бильярд для чиновников, кожемятня или сыроварня, огороды, чтобы не переплачивать на укропе, две-три церкви, две-три школы, староста, а в кабаке портреты Масарика, какой-нибудь кинодивы и уж непременно легендарного разбойника Яношика, который грабил богатых и награбленное раздавал беднякам. Картинку с изображением подвигов Яношика я видел даже в захолустном отделении банка, рядом с массивными сейфами.

Если б мне довелось подыскивать столицу для Словакии, я облюбовал бы какой-нибудь «салаш» в Ораве или над Вагом. Салаш, правда, уж никак не город,— это всего-навсего деревянная лачуга высоко в горах, где живет пастух — бача, где коптит он на очаге овечий сыр — ощеп, где он играет на дуде, где он считает бараньи зады и звезды. Вот там хорошо бы — не в барах Братиславы, не в пародийных ее полуминистерствах — обосновать столицу государства, которое издавна не было государством, которое сохранило свой облик, язык, душу вне торжества, вне державности, даже вне простой свободы, в то время как народы-победители изменили и себе, и своему назначению. О, салаш далеко не Святый Мартин! Пастухи не страшатся современности. Конечно, круты склоны гор, и редко доходят до салаша человеческие вести. Но вот обитатели иных салашей уже мечтают об антеннах. Не все, что шлет пражская радиостанция, дойдет до сердца бачи. Чистый и трудный воздух пропускает только чистое и трудное,— биржевые курсы или парламентские сплетни тонут в белесоватой глухоте долин. Так еще раз поддаешься высокому соблазну: может быть, мыслимо детским сердцам взять автомобиль без обязательного его маршрута, самолет без военных штабов и то же радио без шамкания Келлога?

Столица Словакии, убогий салаш возле Тисовца, с какой нежностью вспоминаю я тебя! Далеко видны долины, речки, луга. На склонах холмов все незатейливое богатство этой земли: барашки, похожие на летние облака (не все же облакам походить на барашков!). В салаше — старый бача. Ему уже за семьдесят. Не сразу достиг он своего высокого чина. Много лет, как простой валах, он стерег овец. Теперь уж не может он бегать по холмам. Он только варит сыр. Он угостил нас жаренным на лучине ощепом и дал хлебнуть из деревянного черпака холодной житницы. Он «запек» для гостей свою старую трубку — запекачку. Узнав, что мы русские, он заиграл на дуде старые пастушеские песни. Слова этих песен мудры и грустны, как стихи того замечательного поэта, который живет где-то рядом с нами, гениального анонима, нет, не поэта — жизни. Да и все здесь в диковину. Разве не просится в музей этот резной черпак? Там будут наставлять экскурсантов: глядите, мол, какая простота, какое благородство формы!.. Бача очень стар. Он, наверное, скоро умрет. Сколько же может быть морщин на лице человека!.. И салаш ветх: кажется, подует ветер с Карпат — слетит крыша. И все же здесь, именно здесь — столица этой земли, достойной и любви и любования!

НАРЯДНАЯ НИЩЕТА

Иностранец, который вздумал бы судить о Словакии по окрестностям Братиславы или Комарна с палубы дунайского парохода, наверное, удивился бы богатству этой страны: какие хлеба! Какие виноградники! Сколько племенного скота вокруг этих белых домов с колоннадами! И впрямь, на юге Словакии много плодородной земли, выхоленных женщин, отложенных бережливо крон, но в кокетливых домах с колоннами живут венгры.

Деревянные хаты на востоке крыты соломой, плохие дороги, тощие колосья, несколько овец, несколько гусей, которых пасут патетично, как будто это не гуси, а коровы,— вот словацкая деревня. До войны уходили на заработки в Венгрию, уезжали в Соединенные Штаты; теперь туда не пускают — что ж, едут дальше, и, кажется, не видел я деревни, где бы не вздыхали озабоченно бабы: «Мой-то далеко, в Ка-на-де!» Курные

избы здесь не редкость. Чтоб их увидеть, вовсе не нужно забираться в глушь Оравы. Нет, вот село Важец; это станция большой железнодорожной линии Прага — Кошицы — Бухарест; большое село, три тысячи жителей; и в Важеце, зайдя в иную избу, жмуришься: от дыма бело.

Бедность в Словакии, однако, умилительно нарядна, и та же печь, еще не дождавшаяся трубы, вся расписана местным затейником. Кажется, одна страсть преследует словацкого крестьянина: принарядить жизнь. Пустую похлебку он хлебает раскрашенной ложкой из пестрой миски. Избы ярко-голубые или же покрыты сложным орнаментом. Здесь человек не останавливается ни перед чем: уж на что, кажется, смерть далека от кокетства,— все равно, словаки обряжают самое смерть. Могильные кресты в Детве размалеваны, как будто это детские игрушки, поярче, повеселей,— цветочки, розанчики, пичуги. Протестантству пришлось примириться: кто ходил бы в голую церковь?.. Отступили от канонов и стены покрыли росписью.

Почти повсеместно сохранился национальный костюм, хоть он громоздок, да и куда дороже городского. Здесь страсть побеждает бедность, здесь, перед шкафами или сундуками с десятками чепцов, жилетов, юбок, фартуков, лент, вышивок, со всем цветистым и, видимо, необходимым, как солнечный свет, тряпьем. В каждом селе свой покрой, он твердо установлен, это — форма, причем не только отличается молодуха от девушки, но и женатый от холостого: в Важеце парни после свадьбы снимают с шляп обязательные дотоле петушиные перья, а в Детве они расстаются с черными, расшитыми шелком передниками — фертушками.

Барокко, ветреное и вкрадчивое, запало в душу народа. Как житейски нелепы и широчайшие юбки, под которыми неожиданно блестят наваксенные голенища, и крохотные фартучки на здоровенных мужичищах, и многоэтажные шляпы, и вороха лент, развеваемых ветром! Все это не только в праздник,— нет, в будни, в полях, с косами или с подойником. Глаз европейца никак не хочет уверовать в подлинность подобных картин: полно! Неужто это жнецы и пастухи, а не загулявшие статисты братиславской оперы? Здесь не косность привычки, здесь врожденная

театральность народа, обожающего ежедневное зрелище — от пестрой колыбели до столь же пестрого могильного креста.

Воскресную службу надлежит рассматривать как самый необычайный бал-маскарад. В церковь идут все, включая заведомых безбожников,— кому же охота отказаться от празднества? (А праздники здесь, включая и самые неподходящие,— это прежде всего празднества.) Воскресный наряд еще сложнее и богаче будничного: не счесть лент, бус, расшитых поясков или фартуков. Все это сверкает, мечется на резкой белизне домотканого холста. Женщины идут отдельно от мужчин, в одной руке — золотое тиснение молитвенника, а в другой — непременно цветок, и держат они этот цветок совсем как на сцене — за кончик стебля. Грудных младенцев несут на спине в полотенцах. Перед распятием бабы становятся на колени — каждая по очереди. В сторонке кокетливо посмеиваются парни.

Каждая деревня живет своей отдельною жизнью. Это не то остров, не то крепость. В селе Важец, например, не выдают девок замуж за «чужих», то есть за парней из других деревень,— на чужих не женятся. Так традиции переходят в кровосмесительство. Отъединению способствует религиозная пестрядь: католическая деревня окружена протестантскими или наоборот. Тихо, глухо в таких деревнях. В праздник не только фарар (священник) удовлетворенно улыбается — его успех разделяет корчмарь. Чем тише, чем глуше, тем больше опрокидывается литров крепкой паленки. Выпив — когда поют, а когда дерутся чуть ли не насмерть. Ведь детскость и душевная чистота легко сочетаются с заправской жестокостью. В селе Палудза учитель сказал нам:

— Сегодня у нас два события, вот крестьяне и взволновались. Утром один парень поругался с другим и снес ему косой голову. А второе событие? Второе — приехали вы, то есть автомобиль...

Вся словацкая интеллигенция вышла из этих деревень, если и не из курных изб. Оттого в словацкой литературе столько свежести, неуклюжести, отчаянной прямоты. В деревне Ясенова зашел я в избу: подушки, тарелки, большущая печь, конечно же — средоточие всей жизни. Вот в этой избе родился и рос один из самых крупных писателей Словакии, величаемый «словацким Гоголем», Мартин Кукучин. Не увидев этой

избы, не увидев этих деревень, их живописности и нищеты, получеловеческого-полузвериного быта, трудно понять книги Кукучина, да и всю словацкую литературу.

Жизнь настолько здесь пропитана добросовестным запахом можжевельника, сена, навоза, что немыслимой кажется ни одна пядь, ни один час без привычных забот. В фешенебельном курорте Штрбске-Плесо, во вполне современной гостинице, которая содержится государством, в салоне с мебелью в стиле модерн прочел я среди правил, для удобства иностранцев переведенных на французский язык: «Запрещается в комнате сушить грибы». А вдруг турист-домовод вздумает сушить опята или мариновать рыжики!..

Избы, мосточки через речку, черный, как земля, ковач (кузнец), супротив него весь белый млынарь (мельник), рослая смешливая и конфузливая детвора, старики, много чистеньких, свежевыбритых высохших старичков, чьи лица, как пергамент архива, хранят историю такой-то деревни, четыре чужих человека: фарар, учитель, корчмарь, жандарм — в европейском платье,— не сегодня это родилось, не завтра умрет, прочное, косное, верное себе до жертвы. Какая только дичь не таится на этих холмах! Здесь живут старики с длинными косами, здесь живут люди в землянках, и уж знахарствуют-то они вовсю.

Если парень и девушка нравятся друг другу — что же, пусть «гуляют»: ночь с субботы на воскресенье парень может оставаться в доме родителей девушки. Проходит несколько месяцев — справляют свадьбу или премирно расходятся: не подошли. Девушка ничуть не обесчещена. Ребенок? В таких случаях старые бабки сокрушенно бормочут: «Переспали». Парню приходится платить алименты. Невеста в выигрыше — она теперь с приданым. Запрет касается только чужих: учителя, почтальона, нотариуса. Если с ними загуляет девушка,— кончено, никогда уж ей не выйти замуж, одна дорога — в отсутствующий город.

До войны словацкая деревня была почти поголовно неграмотна. Теперь национальные ограничения отпали. Молодежь теперь умеет читать, но это, конечно, не значит, что она читает. Песни и сказки здесь еще заменяют романы. Тираж ходкой газеты: несколько тысяч на всю страну. В большом селе два подписчика: фарар и учитель. Крестьяне плохо

разбираются в политике, то есть в парижских поездках Бенеша или в отношении немцев к правительственному блоку. На выборах голосуют дружно и втемную — как заведено. Одна деревня вся за аграриев, другая — за клерикалов, третья — за коммунистов. Чтобы понять социальную философию словацкого народа, не стоит изучать итоги избирательной кампании. Песни о разбойнике Яношике — и те куда назидательней. В Лужной прошел коммунистический список, а в Тисовце аграрный, но и там и здесь вам скажут, что справедливей всех министров был Яношик: «Бо кривда велика. Неправость у панов, правда у збойника». Это не только те слова, которых из песни не выкинешь, это и та вера, которой не выкинешь из сердца словацкого крестьянина.

ФАРАР

Фарар в деревне человек хотя чужой, но необходимый. Девушку с ним, конечно, гулять не пустят, но почет при случае окажут, а когда и повиновение. Сплошь да рядом это фарар определяет, за кого должна деревня голосовать. Он — посредник между крестьянами и предполагаемой «столицей», то есть ближайшим жупным (губернским) захолустьем. Учителю приходится с фараром ладить, ведь в Словакии до сих пор почти нет светских школ. Закон Божий не только обязательный предмет — это зачастую педагогическая база, определяющая, несмотря на все братиславские инструкции, что можно, а что грех. Нередки случаи, когда даже в протестантских школах начатки естествознания смягчаются патетической формулой: «Не от обезьяны пошел человек, как утверждают безбожники, но по подобью божьему он создан».

За пастырство над словацкими пастухами издавна воюют две церкви: римско-католическая и евангелическая. До создания Чехо-Словакии католическое духовенство отнюдь не брезгало мадьярской дубинкой. Католицизм покрывал не только правящий класс, но и правящую нацию. Наравне с латынью венгерский язык был языком духовных семинарий и приходских школ. К моменту переворота во всей Словакии насчитывалось что-то около пятисот словаков с образовательным цензом выше среднего, которые говорили на

родном языке. Это были почти поголовно протестанты. Католическая интеллигенция оказалась начисто мадьяризованной. Что же, кесарю кесарево: католические фарары не только заговорили по-словацки, они стали ярыми националистами.

С виду Словакия — огромный приход. 6 июля — национальный праздник: день Гуса. Однако для католиков Гус и поныне мерзкий еретик; так вот, чтобы не обидеть католиков, установлен 5 июля второй национальный праздник канонизированных Римом Кирилла и Мефодия. Вся Словакия делится на тех, кто пьет в день Гуса, и на тех, кто уже перепился накануне в честь Кирилла и Мефодия.

Присмотревшись поближе, видишь, сколь театральна религиозность словаков. Это не благочестие, но пестрый ворох лент да еще столь же пестрый ворох суеверий. В душе крестьянина жив языческий дух. Зря старался католицизм привить ему культ смерти. Смерть для него проста и лаконична, как срубленное дерево или пересохший ручей. Шумны, веселы поминки на радость и корчмарю и цыганам, которые до поздней ночи терзают скрипки. Вокруг кладбища часто нет ограды: дети там резвятся, пасется скот. В Новоградских Горах на детских могилах вместо крестов какие-то каменные пряники, а в деревне Валковцы я видел на кладбище деревянные столбы одной формы — для мужчин, другой — для женщин, с зарубками по числу прожитых десятилетий. Семь зарубок,— значит, к семидесяти стукнула смерть. Между столбиками — трава, овцы.

Не только простота и ребячливая веселость отделяют словацкого крестьянина от угрюмой утонченности католицизма,— церковь здесь была слишком наглядно связана с государственностью, с ее иноязычным гнетом, с ее непонятной сложностью и отталкивающим великолепием. Фарар прежде всего пан, более того — он, конечно же, с панами. Он вне мира овец, гусей, огородов. Он приносит с собой натянутость заморского Пешта. Деревянные костелы Оравы естественны, как елки и как избы, но вот роскошный Ясовский монастырь близ Кошиц, с храмом, похожим на театр, с жеманными святыми и привередливыми ангелами, с изумительной библиотекой, где собрано все, от инкунабул до последних парижских новинок, с оранжереей, где диковинная коллекция кактусов и пальм,— этот

монастырь как бы знаменует весь панский характер так называемой «соборной и апостольской». Угощали нас в монастыре венгерским вином. Слов нет, хорошо живут восемнадцать монахов среди инкунабул и пальм! Правда, после переворота у них отобрали огромные поместья, но и того, что осталось, за глаза хватает на сибаритство высокообразованных и отнюдь не фанатичных отшельников. Пожалуй, нигде в Словакии не встречал я такой непринужденной барской роскоши. Зато и слышна здесь не словацкая, а мадьярская речь. Это — магнат среди соломенных чумазых холопов.

Один из давних своих эпитетов католическая церковь продолжает носить без иронии: она и поныне «воинствующая». Невзрачные села она щедро обсыпает листками, брошюрами, газетами. В местечке Спишский Четверток я видел другой монастырь — без пальм и без барочных херувимов. Там решетки на окнах и засовы на дверях. В кельях, точнее — в камерах, сидят провинившиеся фарары: ослушники, критиковавшие распоряжения старших, ротозеи, не сумевшие замести вовремя следы, наплодившие чересчур много ребят или опившиеся на глазах у неподходящих свидетелей, еретики, наконец, попросту неудачники. Их судит епископский суд, и получают они столько-то месяцев или лет одиночного заключения. Вот оно, государство, которому дела нет до государственных судов, до уголовного уложения или до параграфов конституций!

Конечно, не в один человеческий век распадаются подобные армии. На богомолье в Кошицы сходится чуть ли не вся губерния, и десятки тысяч крестьян часами простаивают на коленях вокруг холма, увенчанного почитаемой часовенкой. Но сколько здесь торговцев лентами или сластями, сколько цыган со скрипками, сколько любовных встреч, сколько сплетен и пересудов, сколько здесь от митинга, от балагана, от огромного клуба! Трудно судить о религиозности народа по количеству церквей или даже по частоте крестных знамений. Вспомним образа-амулеты на груди вольтерьянствовавших французских солдат или внезапную богомольность наших отечественных вольнодумцев на следующий день после вскрытия сейфов. Словацкие крестьяне превратили католицизм в карнавальные поминки с фараром, но и с цыганами, а го-

лое рассудочное лютеранство — в одну из народных сказок, где что ни слово, то небылица. Не грамота, не газета, не «агитка» здесь главные враги церкви, но душа народа, может быть, его близость к физиологической жизни земли, детский смех, мудрость старых бачей, прямота — да, прежде всего прямота.

ВНУКИ ЯНОШИКА

Пока песни о добром разбойнике еще не стали статутом политической партии, депутаты, приезжающие набирать голоса, как грибы, кажутся крестьянину диковинными городскими фокусниками, газетная война для него — панское дело. Фабричные трубы, тресты, крупные банки, даже редакторы — не строй здешней жизни, это, скорее, утварь случайно наехавших колонизаторов. Законы жесткого полдня, установленные экономистами хотя бы соседней Чехии, застали Словакию всю розовую в рассветном тумане.

Слов нет — имеются в Словакии настоящие коммунисты и рабочие, и батраки, и крестьяне. Нельзя сказать, чтобы их гладили по головке. Нет, любой номер местной «Правды» с белыми прогалинами похож на овчарку, попавшую в хорошую переделку. Немало здесь коммунистов, вдоволь знакомых с хоть патриархальным, но далеко не идиллическим бытом отечественных тюрем. Патриархальность приводит к отсутствию понятия «политический»: острог — так острог. Одного коммуниста посадили вместе со знаменитыми цыганами из Молдавы, обвинявшимися в людоедстве. Опыт, впрочем, не удался: на коммуниста цыгане не позарились. И все же по сравнению с Польшей, даже с Германией, эти преследования напоминают скорей семейное самодурство, нежели осознанный классовый террор. К политической борьбе здесь еще не примешалась естественная, страстная до личного отталкивания, заведомая, хоть и анонимная ненависть, которая после войны стала социальным воздухом Европы. Коммунисты здесь еще могут танцевать, петь или просто мирно калякать с «аграриями».

Приехали мы в один довольно большой город. Староста (городской голова) пригласил нас провести с ним вечер. Место действия — людный ресторан.

Действующие лица: староста — член крайне правой партии, его помощник — народный социалист, далее молодой словацкий коммунист. Староста угощает нас отменным токайским. Он восхищается вполне искренне героизмом «Красина». Он рад гостям и всячески старается их развлечь. Вот он встает, подвязывается салфеткой, берет из рук очередного цыгана скрипку. Публика?.. Что же, это все словаки — они поймут... Сейчас он исполнит перед нами народные песни, среди других — песню о Яношике. Токайское здесь ни при чем. Это просто от добрых чувств. Политическая вражда еще не стала здесь интимным делом каждого.

В одном из сел возле Брезна податной инспектор, человек воззрений более чем умеренных, привел нас в избу крестьянина-коммуниста, где на стене между Яношиком и разряженной Богородицей висел большой портрет Ленина: вот, мол, радуйтесь! Он показывал нам коммуниста, как самовар,— надо же русских порадовать,— показывал без досады, скорее с гордостью: смотрите, у нас и это имеется...

Крестьяне-коммунисты — те бы поняли старосту. В Тисовце оркестр коммунистической ячейки принял участие в церковном празднике: дули в трубы. Городские стыдили их:

— Как же вы так?..

Крестьяне удивленно отвечали:

— Праздник — народный, трубы — тоже народные, ну и дули...

Я отнюдь не хочу создавать буколическую легенду для усталого европейца. Трубы трубами, токайское токайским, а все-таки портрет Ленина висел в нищей избе, а не в квартире податного инспектора. Буржуазия в Словакии малочисленна и хила, однако она существует, притом она растет. Следовательно, неизбежен час, когда трубы тисовцев станут выводить иные мелодии. Но детскость — еще меньше порок, нежели бедность, у той и другой есть чему поучиться.

ВЕНГРЫ И НЕМЦЫ

Каждая национальность в Словакии занимает определенное социальное положение: венгры — это полуразоренные помещики или кулаки, евреи — городская буржуазия, чехи — чиновничество, цыгане — люм-

пен-пролетариат, словаки — крестьяне. Разумеется, немало исключений. Вы найдете и венгров-рабочих, и евреев-нищих, и словаков-буржуа, но общей картины это не меняет. Пафос правящей ныне нации — прежде всего пафос крестьянства, противопоставление его и городской цивилизации, и феодальной пышности мадьяр.

Назидательны те положения, когда социальные интересы сталкиваются со столь ходким здесь патриотизмом. Конечно, мадьярские буржуа обожают свою родину и немало скорбят над жестоким концом «короны Святого Стефана». Когда Красная Армия подходила к Кошицам, они, а за ними и еврейские буржуа в качестве хорошо вышколенных мадьярофилов, еще плохо разбираясь в событиях, поспешили украсить дома национальными флагами — бело-зелено-красными: «Наши возвращаются!» Вступив в город, красноармейцы обкорнали полотнища. Что же, при виде красных флагов патриотизм тотчас же исчез. «Освободителями» оказались чешские батальоны!

С тех пор многое переменилось. В Будапеште, как известно, хозяйничает Хорти, и вся зажиточная часть мадьярского населения теперь охвачена преискренним ирредентизмом. Вчерашние владетели необъятных угодий, виноградников, копей, конных заводов, они пьют асу из уцелевших погребов за здоровье великодушного лорда Ротзермера, который взял сторону обиженных венгров. Они даже шлют этому заступнику несколько сугубо заплесневевших бутылок. Щедро оплачивают они труды независимых журналистов и сентиментальных политиков. Что касается рабочих-венгров, то эти молчат, угрюмо, решительно молчат. Видимо, им вовсе неохота попасть в число облагодетельствованных подданных Хорти. Однако изменись положение — сегодняшние ирредентисты станут вполне лояльными гражданами, а пересмотра границы будут требовать рабочие.

Немцев в Словакии сравнительно немного, и большая часть их живет в городах Спишской жупы, которые сохранили немецкий характер, несмотря на мадьяризацию, проводившуюся во второй половине прошлого века. Вопрос о присоединении к отечеству немцев интересует чрезвычайно мало. Они предпочитают классическую стойкость колонистов. Ревниво хранят они свой язык и свои школы. Они читают немецкие

газеты и журналы, причем скорей журналы, нежели газеты. В каждом крохотном местечке — библиотека.

Конечно, известное отчуждение, если и не высокомерие, присуще словацким немцам. Немудрено — они представляют здесь иной мир: это прежде всего горожане, то есть люди камня и закона, среди леса, соломы, растяпства и благодушия. Венгры не более словаков понимали, что такое город. Их города росли в длину, а немецкие города росли вверх: их надо было защищать. Они строились добросовестно и надолго. Теперь это тихие захолустья, но любой дом твердит о былой мощи и о былой пышности. Левоча, Баньска-Быстрица, Кежмарок — богатейшие музеи, где что ни здание, то памятник старины. Находись они в другой стране, не было бы здесь прохода от англичанок с Бедекерами. Среди обывателей принято воспринимать немцев, уходивших за пределы своей страны, как носителей грубой силы, которая начисто уничтожала ростки туземной культуры. Каску бисмаркского солдата надевают и на его прадеда, философа и заправского гуманиста, и на его внука, ловкого коммивояжера. Глядя на скульптуру Левочского собора или на порталы эпохи высокого Возрождения, догадываешься, какой свет разносили по дебрям и болотам авантюристы и аскеты старой Германии. Те же руки строили и Нюрнберг, и Краков, и Левочу. Все это теперь сухие даты и имена, известные только историку искусств, но тогда это было живой жизнью. И может быть, провинциальные спишские немцы с их фарфоровыми трубками и переплетенными классиками, выписывающие препошлую «Ди вохе», обзаводящиеся понемногу автомобилями и граммофонами, только продолжают дело своих предков? Может быть, одна цепь вяжет нюрнбергского мастера, который, на диво окрестным крестьянам, еще не знавшим, что такое настоящий фундамент, построил этот замечательный собор, и пронырливого агента машинной фабрики, демонстрирующего сегодня электрическую маслобойку?

БРАК ПО РАСЧЕТУ

Историческую роль немцев исполняют теперь в Словакии чехи. Порой кажется, что они, став учителями, повторяют зады, услышанные ими в младен-

честве от немецких гувернеров. Ученики ведут себя вполне пристойно. Нельзя сказать, чтоб они очень любили учителей,— нет, о любви только принято говорить на торжественных заседаниях в актовых залах. Но они их в меру уважают и, главное,— не ропщут. Остальное — сантименты, малоинтересные для чехов, которые — люди государственные, следовательно — деловые.

Чехи в Словакии — служилое сословие: урядные начальники, следователи, финансовые инспекторы, жандармы. После переворота ринулись они на готовые места. Винить их не приходится: словаки сами никак управиться не могли. Остряки заверяют, что в канцеляриях тогда было больше стульев, нежели во всей Словакии хорошо грамотных людей. Теперь положение, разумеется, изменилось: словаки подучились, да и новое поколение подросло. Но легче, кажется, устроить переворот, нежели оторвать соответствующую часть тела от кресла или хотя бы от вульгарного стула. С насиженных мест чехи не уходят и вряд ли так скоро уйдут. Это не «империализм», это и не «братская услуга» — это только правильно организованная опека, при которой равно соблюдаются и самолюбие опекаемого, и интересы опекуна.

Чешский и словацкий языки очень схожи друг с другом, но русский гораздо скорее начинает понимать словацкую речь. Дело в выговоре. Это относится не только к языку — у словаков во всем сохранился славянский выговор. Они ведь не знали систематической и высокопробной германизации, которая почти стерла психологическую границу между Саксонией и Богемией. Словацкий рабочий хорошо понимает чешского: завод — то место, где чех — дома, где он законно верховодит. Чех не только покажет, как надо обращаться с машиной,— он научит и как устроить забастовку. В словацком рабочем движении чехи играли, да отчасти и продолжают играть роль руководителей. Здесь нет места национальному отталкиванию. Другое дело — крестьяне. Чешская и словацкая деревни разделены не сотнями километров, даже не веками — это два несовместимых мира.

Один зволенский крестьянин сказал мне:

— Чудной народ эти чехи: они и судьи, и чиновники, и комедианты в балаганах, и жандармы. А я вот готов об заклад биться, что нет среди них ни одного обыкновенного крестьянина.

Трудно было бы выиграть у этого философа пари. Если показать ему чешскую деревню, где крестьяне ездят на велосипедах, где носят они крахмальные воротнички и отплясывают фокстрот, где тракторы, кооперативы, довольство и скупость,— он ответит, что это вовсе не деревня, а какая-то хитроумная панская затея. Дело не только в усовершенствованных формах земледелия — дело в национальном складе. Здесь становится очевидным, что два народа, живущих рядом, говорящих чуть ли не на одном языке, разделены границей куда более ощутимой, нежели десятки государственных границ, вычерченных перьями дипломатов.

В одном из словацких городов видел я курьезную свадьбу: невеста — крестьянка в национальном костюме, очень молодая и очень красивая, все время вспыхивающая под неодобрительными взглядами жениха. Он тоже из крестьян (достаточно посмотреть на его руки), но об этом он старается забыть. Он как бы кричит о своем высоком положении крахмальной манишкой, булавкой в галстуке, топорной галантностью захолустного лавочника. Все время он читает своей девушке нотации: «Вот это можно, а этого нельзя... Эх ты, деревенщина!..» Он получает приличный оклад. Красотой он, правда, не отличается, зато у него самопишущее перо. Девушка готова заплакать. От смущения? От радости? Или, может быть, от обиды?

Эту парочку я неизменно вспоминаю, думая об одном супружеском сожительстве, именуемом Чехо-Словакией. Ведь они счастливы, не правда ли? А брак по любви — послушайте, что говорят резонеры,— это только хлопоты, слезы, порой и серная кислота. Муж трогательно заботится о своей деревенской половине. Говорю я это без всякой иронии: число школ возросло, кооперация развивается, дороги улучшились, пьянство сократилось — страна становится на ноги. Если при всем этом несколько пострадала душевная структура деревенской красавицы, то на весах 1928 года хорошее шоссе важнее благородных чувств.

В турчанском Святом Мартине видел я экскурсию чешских «соколов», «Экскурсия» по-чешски — «вылет». Здесь был, вернее, налет. На тихий словацкий городок налетели лавочники и фермеры в оперных костюмах, неся, как новое Евангелие, мелочную честность и шведскую гимнастику. Они устроили крикливый па-

рад, поговорили всласть о своем «сокольском» суперпатриотизме, а потом начали дуть пиво. Кстати сказать, до «замужества» Словакия вовсе не знала этого пойла, увеличивающего животы и усыпляющего воображение. Выпив каждый несколько литров, «соколы» пошли танцевать фокстрот. А вокруг, разинув рты, стояла словацкая детвора. Что касается «непримиримых», то они сидели дома, закрыв поплотнее ставни. Они, разумеется, не правы: понятие «чехизация» здесь уже органически связано с понятием «современность». Эти ребята вместе с грамотой, с устройством трактора или мотора усвоят несколько сотен чешских слов и несколько десятков чешских привычек. Они будут, вероятно, пить пиво, ведь пиво веселее воды и дешевле вина, а экономными-то они обязательно будут. Зачем же корить чехов? Они только люди своего времени. Может быть, азы современности и звучали бы несколько иначе в иных устах, но ведь, скажем это прямо, у деревенской красавицы вовсе не было богатого выбора, так что привередничать ей не приходилось.

КОРЧМА И РЕБЕ АКИБА

В каждой словацкой деревне имеется обязательно хотя бы один еврей-корчмарь. Легче, кажется, прожить без фарара, нежели без такого еврея. Если лавочка отдельно от корчмы,— значит, в деревне два еврея. Если в деревне несколько лавочек, будьте уверены — где-нибудь между овином и хлевом притаилась синагога. В западной и центральной Словакии евреи «цивилизованные»: на них пиджаки, говорят они по-мадьярски или по-немецки, а из десяти талмудских запретов выполняют один, притом наименее обременительный. Они хотят быть просвещенными лавочниками и либеральными корчмарями. Отсюда-то все беды. Сын, например, плохо понимает отца. Каждый корчмарь, верный национальным традициям, убежден в гениальности своих детей: «Они, наверное, выйдут в люди», то есть станут министрами или, на худой конец, маклерами. Для этого необходимо знание государственного языка. Сначала все евреи говорили по-немецки, но здесь-то началась мадьяризация. Будапешт — большой город, столица. Делать нечего: отцы,

говорившие по-немецки, стали посылать своих детей в мадьярские школы. Мадьярский язык — трудный язык, но карьера — святое дело. Так выросло поколение, говорившее по-мадьярски. Кажется, на этом можно было бы успокоиться, но началась война, а в итоге появилась какая-то «Чехо-Словакия». Вначале евреи недоверчиво усмехались: «Посмотрим, насколько это...» Выяснилось, что надолго. Тогда встал вопрос — какому же языку теперь учиться? Прага — столица, большой город. Где только возможно, будь то Словакия или Подкарпатская Русь, евреи посылают своих детей в чешские школы.

Крестьянам это было на руку. Приходила бумага из города: кто же мог ее прочитать, кроме корчмаря? Корчмарь — местный полиглот. Он умеет написать адрес в Америку. И притом с ним нечего церемониться, как с фараром или с учителем, он все-таки наполовину «свой», деревенский. Среди словаков корчмарей нет, мало и докторов или дантистов. А вот корчмарь отпускает паленку в долг. За дочкой его — так уже положено — волочатся деревенские ловеласы. Набожные старики уважают корчмаря: «Он свой закон блюдет». Сын его читает газету, знает уйму всяческих новостей. В Восточной Словакии и в Подкарпатской Руси сохранился древний обычай: крестьянин на Новый год должен накормить какого-нибудь еврея до отвала, не то стрясется беда. Евреи не едят трефного, выход, однако, найден: им дают натурой — муку, крупу, масло. Но горе, если нет еврея или если не придет он, рассорившись с хозяином!

В Восточной Словакии евреи иные. Они носят длинные лапсердаки, а в субботу — меховые шляпы, туфли, белые чулки. Говорят они на идиш и газет вовсе не читают. Это мрачные изуверы, из жизнерадостного некогда хасидизма создавшие религию запретов, фанатизма и суеверия. В Мукачеве недавно два цадика принялись проклинать друг друга всеми библейскими проклятиями, а их приверженцы — те взялись за палки и за камни, так что в религиозный диспут пришлось вмешаться полиции.

Не знаю, чего больше в этих религиозных отправлениях — наивности или лицемерия. Приехали мы в глухую деревушку возле польской границы. Нет папирос. Где здесь трафик? Зайдя в корчму, я увидел седого пейсатого еврея, склоненного над огромной

книжищей в кожаном переплете. Подсвечники... Вот что — оказывается, сегодня суббота! Табачная лавка — учреждение государственное, она должна быть открыта и в субботу. Крестьяне — те знают и запасаются всем заранее. А мы нагрянули!

— Обождите немного.

Посылают в деревню за шабес-гоем, то есть за словаком. Но время горячее — все на работе в полях.

— Возьмите сами папиросы, вот в том углу.

Я спрашиваю:

— Сколько стоит?

— Вы ведь сами знаете.

— Нет, я не знаю,— папиросы другой марки.

Тогда — шепотом, на ухо, чтобы Господь Бог не услышал:

— Семь геллеров.

И снова трясется борода над старой книгой, замаливая свеженький грех.

О чем говорить тут — деньги корчмари любят. Молодой этнограф Богатырев обошел пешком чуть ли не всю Подкарпатскую Русь. Повсюду крестьяне его потчевали кислым молоком или хлебом, отказываясь от денег. Человек забыл совершенно все законы капиталистического общества. Вот и попал он как-то к еврею-корчмарю. Выпил стакан чаю, благодарит:

— Данке.

Но тот, весь перепуганный, как закричит:

— Кайн данке! Эйне кроне!

На севере Словакии находится городишко Бардиев, словаков там мало — русские, цыгане и евреи. Евреев около тысячи душ, из них восемьсот — лавочники или ремесленники с достатком, а двести — нищие, причем эти нищие живут тем, что ходят побираться к восьмистам из дома в дом. Все они, разумеется, хасиды. Я попал туда в пятницу вечером. Из всех окон раздается заунывное пение: что ни дом, то молельня. В главной синагоге хасиды приплясывают. Даже в нищих домах сверкают обязательные свечи. Эти евреи неприступны. Они продадут вам мыло или булку, разговаривать с вами они не станут. Пройдите мимо них с фотографическим аппаратом, они на всякий случай закроют руками лицо. В городе четырнадцать отщепенцев, еретиков, безумцев. С ними никто не разговаривает. Кто же такие эти страшные «революционеры»? Сио-

нисты. На выборах бардиевские евреи голосуют за самую правую партию — за католических клерикалов. Это похоже на анекдот, но это сущая правда. Во-первых — чтобы был «порядок», во-вторых — чтобы угодить своим самым непримиримым врагам, в третьих — чтобы никто не подумал, что они сочувствуют каким-то сумасшедшим коммунистам, как это сделали преступные евреи в Будапеште и в Москве.

Недалеко от города целебные источники. Туда приезжают лечиться хасиды из Подкарпатской Руси. Едут они не в автобусах, но на телегах — это, оказывается, более соответствует Моисееву закону. Тощая лошаденка: в такт качаются пять выхоленных бород. В целительность минеральных вод евреи верят свято, как в Талмуд. Приезжают сюда даже прославленные цадики; они ходят с кружками воды, окруженные богомольными взглядами последователей, которые ждут, какое золотое слово проронит учитель между двумя глотками на редкость тухлой воды. Однако здесь цадики не работают, они в отпуске, они предпочитают вместо исцеления хасидов своей мудростью сами лечиться от застарелых катаров.

Отъединенность от мира, верность уже не закону, но полупонятным словам, почти значкам алфавита, этому черному пятнистому сну, особенно разительны здесь, среди незатейливых полей, среди простой деревенской жизни. Возле Попрада я видел маленькое село, где помещается высшая раввинская школа. Туда присылают бледнолицых пейсатых подростков, и там изучают они Талмуд, окруженные гусями и сострадательными взглядами словацких баб. Годы и годы проходят. Юноша все накручивает на палец пейс, обдумывая: «Что хотел сказать этим словом мудрый ребе Акиба?» Не видит он ни гусей, ни баб, ни неба, ни жизни. Он заведомо мертв, и не этой ли добровольной смертью окупается вся баснословная живучесть его народа?

СВОБОДА

Отъединенностью и живучестью евреям родственны другие постояльцы словацких деревень — цыгане. Но здесь нет ни мечтаний о государственной карьере, ни раздумий над притчами мудрого Акибы.

Самый большой чин, до которого может дорваться цыган,— это «первая скрипка» кошицкого кафешантана, а к религии он чрезвычайно равнодушен. Правда, он числится католиком, но этим и ограничивается дело. В церковь цыгане никогда не ходят, предпочитая валяться на солнце, резаться в карты или, при наличии лирического настроения, петь. Большинство словацких цыган ведет оседлый образ жизни, следовательно, среди них немало избирателей. За какую же партию могут голосовать эти беспокойные фантасты? Выбором они себя не утруждают. Еще никто, кажется, не видал цыгана с избирательным бюллетенем. Что касается кочевых цыган, то для тех безразличны не только политические партии, но и государственные границы. С беспечностью иных столетий переходят они в Венгрию или в Румынию. Что им Трианонский мир, консульства и визы?..

На окраине любой деревни имеется несколько грязных полуразвалившихся хижин: там ютятся цыгане. В словацких избах тьма-тьмущая всякой бережно расставленной или развешанной дребедени: блюдечки, открытки, пасхальные яйца, олеографии, подушки. Здесь — хоть шаром покати. Когда стоят руины кровати, а когда и того нет: спят на земле вповалку. Вместо сложных фертушков и чепчиков несколько ярких тряпок: или рубашка, или штаны (то и другое, видимо, почитается излишеством). Ребята зачастую вовсе голые. У старух — наружу дряблые груди: скрывать больше незачем. Так рядом с деревянными церквами, с этими сестрами нашего далекого севера, рядом с белобрысыми словацкими детьми, рядом со всей славянской тишиной и медлительностью расположились подлинные негритянские деревни; голые тела, темнобронзовые, гортанная, резкая речь, музыка, по трагизму веселости схожая с джазом, избы без дверей, двери без запоров, без запоров жизнь — все наружу: и котелок старухи-ведьмы, где варится какой-то преехидный гуляш, и парень, облапивший красавицу лет этак двенадцати, и почтенный вайда — вождь племени, с коренастой дубиной, наводящий свой цыганский порядок, а пока что выискивающий на волосатой груди вшей.

Чем живут они помимо солнца и веселья? Трудно ответить на этот вопрос: всем или, если угодно, ничем. Дали им землю, пробовали пристрастить к земледе-

лию. Ничего из этого, конечно, не вышло. Ко всякому постоянному труду цыгане чувствуют непреодолимое отвращение. Порой мужчины нанимаются на самые тяжелые и неблагодарные работы: дробят камень или таскают лес, хотя силой они никак не отличаются,— эта работа на время, на несколько дней; отработав, можно месяц валяться на солнцепеке. Занимаются они также своими традиционными цыганскими ремеслами, которые повсюду одни — и в Испании и в России: лудят посуду, обжигают кирпичи, гадают, крадут лошадей, нищенствуют и, конечно, музыкантствуют. Словаки куда хуже знают свои народные песни, нежели цыгане, и без цыган не обходится ни одна свадьба, ни одни поминки. Вот у этого красавца рубахи нет, но скрипка у него непременно имеется. Здесь-то открывается единственная возможность выдвижения: попасть в город! В Словакии повсюду музыка, даже в самой дрянной харчевне: за музыкантов — цыгане. Слух у них изумительный, и сыграют они все: и словацкие старые песни, и фокстрот, и Вагнера, причем даже знаменитейшие виртуозы, все осыпанные брелоками, безграмотны и нот не читают. Свои песни цыгане исполняют неохотно, как будто даже стыдятся их. Но когда начинают — загораются, старики подпевают, а детвора — голая, грязная, отчаянная детвора в экстазе танцует не то чардаш, не то доморощенный чарльстон.

Середины нет ни в цыганской судьбе, ни в цыганском костюме: вчера он гулял без рубахи, а сегодня попал в какой-нибудь городской оркестр и сразу напяливает на себя фрак. Бывают падения: «первая скрипка», спившись, возвращается назад в лачугу, где фрак уже донашивается без рубахи, прямо на теле, вызывая загадочными своими фалдами богомольный трепет детей.

Обучение в Словакии обязательное, и цыганских детей берут в школы. Все учителя в один голос говорили мне, что ученики они на редкость способные, но и на редкость ленивые. Вдруг пропадает мальчонок на месяц-другой.

— Болен был?

— Нет.

— Почему же ты в школу не ходил?

— Не хотелось.

Это без всякого вызова, вполне естественно: «Не хотелось», как его отцу не хотелось работать,— оба

лежали на пригорке. Возле Ужгорода я видал цыганскую школу, учат там и по-цыгански и по-словацки. Опять-таки дети все мигом схватывают: в двенадцать лет он чуть ли не ученый, а в шестнадцать уже не помнит, чему его учили и зачем.

Сходясь с женщиной, цыган ее холит и ревнует, крадет для нее, что подвернется под руку, покупает на толкучке тряпье поярче. Когда надоест жить вместе, супруги премирно расходятся. Между двумя такими «браками», краткими, но отменными по силе страстей и по сугубой верности, женщина подрабатывает: цыганские шалаши — это публичные дома словацких деревень. Понравится снова цыгану — и снова будет примерной женой. Свадьбу справляют с восточной пышностью. Собираются цыгане со всего уезда и приносят обязательно подарки: кто тряпку, кто бусы, кто старую кастрюлю, а кто четверть дохлой лошади. Ничего не поделаешь, в выборе съестных продуктов цыганам не приходится привередничать, они едят и дохлятину. Власти приказали обливать павшую скотину керосином, но даже и это не помогло. И впрямь, чем запах керосина хуже запаха падали?

Обвиняют их сейчас в пристрастии к другому харчу. Я был в цыганской деревушке Молдава — там тихо, уныло, не кричат ребята, скрипачей не видно, сам вайда повесил голову. Сорок молдавцев сидят в тюрьме по обвинению в людоедстве. Предварительное следствие якобы установило, что они съели шесть человек. Дело это темное, и как-то не верится, чтобы цыгане стали есть людей; уж больно это изысканно и хлопотно, а они прежде всего неприхотливы. Разве не могли бы они жить, как словаки? Но нет, они предпочитают лохмотья, землянки, дохлятину, заботясь об одном: сберечь свою свободу.

Да, вот он пафос всей пестрой, нищей и загадочной для европейца жизни: свобода! Глядя на танцы цыганских детей в Важце или на бардиевскую слободку, понимаешь, что поэма Пушкина не только литературный памятник эпохи, не только профессиональная романтика поэта,— это еще достоверность, точная, как отчет этнографа. В Тисовце среди смуглых цыган можно увидеть одного русого, с светло-синими глазами. Это словак. Он был крестьянином, вел хозяйство, работал, а потом что-то понял или что-то перестал понимать. Вот он здесь, уже в лохмотьях.

Он счастлив. Крестьяне, говоря о нем, сумрачно машут рукой: «Ушел человек к цыганам!» Это не перемена местожительства или профессии — это иное, что пугает флегматичных домоседов, пугает, может быть, своей высокой притягательностью, как безумие или как сон.

ПРЯШЕВСКАЯ РУСЬ

О существовании Подкарпатской (или Угорской) Руси в России хоть смутно, да знают, но вот уж, наверное, никто не подозревает, что существует какая-то Пряшевская Русь, которая упорно отстаивает свои права на русский язык. Это горная область восточной Словакии, узкая полоска скудной земли, на которую мало кто зарится. Русских давно уже вытеснили с равнины, остались они только в верховине, то есть в горах. Подъезжая к Карпатам, замечаешь, как постепенно меняются деревни, исчезают пестрые одежды, вместо костелов — деревянные церкви с круглыми куполами, еще беднее глядят крытые соломой хаты. Разговаривая с чужестранцем, то есть с «паном», крестьяне стараются объясниться по-словацки. Да, как ни чудно это, здесь словацкий — панский язык. На вопрос, кто они, крестьяне, однако, отвечают без обиняков: «Мы русские». Друг с другом говорят они на карпато-русском наречии. Оно кажется смесью русского, украинского, белорусского языков со многими «мадьяризмами» и «словакизмами». Как бы ни был причудлив этот язык, мы хорошо понимаем их, они — нас. Не знаю, чье удивление сильнее: крестьян деревни Никловой, к которым приехали «люди из Москвы», или наше, при виде этих соплеменников, сберегших среди вековых гонений и нищеты родной русский язык.

По официальным данным, в Пряшевской Руси живет восемьдесят пять тысяч русских. Цифра эта много ниже действительности. Она основана на переписи, произведенной вскоре после войны. Крестьяне, еще вдоволь запуганные и плохо разбиравшиеся, к чему клонят дело, на вопрос о национальности сплошь да рядом отвечали: «Словаки». Во многих деревнях нам говорили:

— Вот теперь переписывать будут — все объявимся русскими. Подаем прошение, чтобы в школе учили по-нашему, по-русски.

Вопрос о Пряшевской Руси уж по своему масштабу никак не может стать вопросом «высокой политики». Но психологу небезынтересно будет отметить еще одно приложение старой басни о зайце и о лягушке. Кто же лучше словаков знает, что такое национальный гнет? Их давили и немцы и мадьяры. Теперь они узнали вежливый, если угодно, задушевный «прижим» чехов. Все это, разумеется, оправдывалось и оправдывается «культурным превосходством». Что же оказывается? При случае и словаки не прочь заняться тем же. У людей, привыкших к жалобам или причитаниям, находятся ноты высокомерия. Что касается аргументации — таковая перемене не подлежит. Словацкий администратор пожимает плечами:

— Русские? Здесь нет никаких русских. Это просто словаки греко-католического вероисповедания, которые говорят на местном говоре.

Как быстро усваивают дети все повадки старших!

В Пряшеве — центр «русской интеллигенции», то есть там живет человек сто русских со средним образованием. Там — учительская семинария, типография с кириллицей, книжная лавка. Пряшев — богатый городок; торговля почти целиком в руках евреев. Пышен католический собор, пышны фасады ренессансных домов, есть здесь осанка и чванство немецких зодчих, венгерских администраторов, еврейских буржуа. С окрестными селами город связан только базаром. А помимо Пряшева и вовсе нет городов. Не считать же за таковые хасидско-цыганский Бардиев или разрушенный в годы войны, так и не отстроившийся Зборов? В прошлом столетии Пряшев был духовной столицей Подкарпатской Руси. Здесь назначались тайные совещания, печатались русские книги и журналы. Теперь новая, произвольная граница отделила словацкий Пряшев от якобы автономной Подкарпатской Руси.

На юге от Пряшева до Кошиц и дальше желтеют тучные нивы. Русских там нет. Русские прижаты вплотную к Карпатам, где только леса, принадлежащие государству, да овцы эти, крестьянские, они — все их богатство. Кулаки здесь не водятся. Одежда женщин много проще словацкой, расшиты только обшлага ру-

каков, «чтобы не трепались». О цветистости словацких костюмов русские бабы говорят с легким пренебрежением. Это не отсутствие умения, но иной художественный строй. Старинные церкви Никловой или Мирошова необычайно хороши. Мало кто о них знает, и никто о них не заботится. Они тихо гниют и вскоре сгниют, если не сожгут их до того крестьяне, рассуждающие так: «Деревянная церковь — срам для села, надо поставить каменную».

Приверженность крестьян к религии здесь в сильной степени продиктована национальным вопросом. Православное, да и униатское духовенство отстаивало русский язык. В противовес судье, жандарму, зачастую и учителю — поп был «своим», «русским человеком».

Что станет с пряшевчанами? Сохранят ли они свой язык до того часа, когда Подкарпатская Русь получит возможность распоряжаться своей судьбой? Или словакам удастся то, что не удалось немцам и мадьярам?.. В полях возле Зборова тысячи и тысячи крестов. Это — русские, русские не из Пряшевской Руси, нет — из Калужской или Пермской губернии, пригнанные сюда на верную смерть. Они, наверное, немало удивились, после долгих переходов попав к «землякам». Они остались здесь, среди этих нечаянных и неведомых соплеменников. Еще кладбище, еще... Это братские могилы как бы предостерегают: дело ведь не только в империализме Санкт-Петербурга или Вены. «Москва», «Россия», «СССР» — эти слова определяют и акафисты, и избирательные бюллетени, и шепот молодых парней в летние грозные вечера. Великое дело — родной язык, но, может быть, человеческая жизнь еще выше?..

ЛЮБОВЬ НЕ ВЧУЖЕ

Побывал я снова и в Польше; правда, это мое посещение было весьма кратким и для поляков никак не обременительным: в Татрах польские пограничники, приняв нас за чехов, милостиво разрешили освежиться в польской корчме. В избе, где, конечно, красовался «маршал», мы разговаривали друг с другом по-словацки или по-французски, боясь обронить русское слово как нелегальную прокламацию. Если бы

только знали эти симпатичные жандармы, что у нас за паспорта в кармане! А вернувшись час спустя назад в Словакию, мы почувствовали себя чуть ли не дома: ведь здесь слово «русский» открывает все двери и все сердца. Да, кажется, Словакия — единственная теперь в Европе страна, где русский путешественник — это нечто вроде американца в Париже, хотя он и не обладает долларами.

Немецкие рабочие любят Москву за то, что революция разразилась именно здесь, на таком-то градусе долготы и широты. Французские рантье — те тоже любили Россию... до революции. А крестьянская Словакия верна в любви. Для нее наша революция не случай — приключилось здесь, а могло бы приключиться и в Копенгагене,— нет, то, что словаки любили в нашей великой литературе и в нашей грубоватой, приземистой истории, они опознали и в нетвердой поступи «земляков» семнадцатого года, которая была поступью очередных гегемонов Европы.

На культе России воспиталась вся словацкая интеллигенция прошлого века. Об этом говорят и могильные надписи в Святом Мартине, составленные на русском языке, и названия улиц: улица Толстого, улица Пушкина, улица Гоголя, и каталоги библиотек, где русские писатели — на первом месте, и все романтическое, слегка наивное, слегка подслеповатое русофильство стариков, безотносительно от развития и положения: старых политиков, старых учителей, старых бачей.

Дети этих мечтателей узнали Россию. Многие побывали в плену. Вернувшись домой, они заполнили глухие деревушки рассказами о Сибири и Волге, о русской широте, о революции. Нет деревни, где бы не нашлось хоть одного крестьянина, побывавшего в России и знающего русский язык. Наши пленные, находившиеся в Словакии, дополнили это знакомство. Для молодежи Москва после революции стала вдвойне милой. Новый смысл, влагаемый в это дорогое сызмальства имя, преобразил словацкое русофильство, сделал его снова действенным, связал любовь к России с любовью к современности.

Любовь молодой Словакии к сегодняшней России отнюдь не слепа. В школах вводят теперь русский язык. Словаки жадно читают советских писателей. Местные газеты переполнены известиями о жизни СССР. Это не

страсть вчуже, это духовный оплот. Словаки твердо помнят, что мы — их естественные соседи. Всякому ясно, что Закарпатская Украина рано или поздно отойдет туда, куда она хочет и должна отойти. Тогда то государство, о котором деды слагали песни, похожие на сон, и о котором теперь пишут в газетных передовицах как о баснословном Яношике, окажется рядом. Так будут уравновешены различные влияния, и Словакия сможет идти своим путем: ведь дерево, обдуваемое встречными ветрами, не гнется к земле, но растет вверх.

1928

Север

ШВЕДСКИЙ ВАРИАНТ

Нет ничего патетичней воды и камня — осанка столицы просто далась Стокгольму. Давно уже окаменели удила королевских коней на вечно влажных цоколях, но по-прежнему пышен и горд город. Его призрачное величие, его холод и благородство сродни городу Петра. Можно, конечно, сказать, что здесь естественное подражание, что город, заложенный «назло надменному соседу», невольно примерял его нежную спесь, наконец, что были у них общие учителя, которые привезли из Голландии поэзию строгих фасадов, отображенных в воде, огромных окон и взволнованного тумана. Но убедительней истории здесь география: обе северные столицы воплощают не только торжество, зачастую призрачное, над соседями, военные трофеи, парады, казну,— нет, их набережные и дворцы полны иного вдохновения,— это торжество над злой косностью природы. Стокгольм сделан из скал и воды; построить дом здесь — все равно что взять крепость; на вновь проложенных улицах среди магазинов готового платья еще торчат неприязненные камни; здесь нет просто жилья: это обдуманный план, почти абстракция, навязчивый бред, справедливо дополняемый белыми ночами, металлическим посвечиванием воды и сиренами пароходов.

Стоя на набережной против королевского дворца, где ни праздные завсегдатаи кафе «Гранд-отеля», ни копошение грузчиков, ни истерика чаек не способны потревожить идеального равновесия камня, неба, воды, удивительных пропорций строений и, главное, окаменения, твердости, величественности мира, забываешь вовсе о цифрах. Не все ли равно, что Польша во столько-то раз больше Швеции? Народ, создавший Стокгольм, народ, сумевший, несмотря на повадки

картежницы-истории, до сих пор сохранить не только его памятники, но и его великодержавный дух,—этот народ лишь статистиками или муравьями может быть назван малым.

Новый Стокгольм не отрекается от своего прошлого, но и не довольствуется мизерными плагиатами. Здесь впервые доказана возможность сочетать принципы новой архитектуры, безличной и сугубо универсальной, которая, как фокстрот, одна и та же в Нью-Йорке и в Вене, в Амстердаме и в Москве, с традициями страны, с требованиями местного материала, наконец, с неповторимым окружением. Ни рейсы цеппелина, ни кино, ни пиджаки не означают обязательного обесцвечения. Равенство — не уравнение. Приняв технику Америки, Швеция восстала против ее непременного обожествления. Это либо начало бунта, либо последние спазмы Европы, сопротивление по инерции полуокоченевшей конечности.

Духовная самостоятельность предполагает не только ум и характер, но также множество странных повадок, если угодно — известное юродство. Жизнь Швеции для чужестранца порой завидна, порой смешна. Мелочность этикета, погоня за титулами, ханжество и подозрительное целомудрие, которые вполне бы пристали стране выскочек и тунеядцев, особенно нелепы здесь, рядом с набережными или заводами.

Шведская индустрия сильна не столько своей продуктивностью, сколько высоким качеством фабрикатов. Швеция не захотела или не смогла равняться на конвейер. Ее заводы превосходно оборудованы, в них и усовершенствованные машины, и современные методы работы, но в них жива также некоторая инициатива рабочего. Заработная плата, на европейский масштаб высокая, определяется не только скоростью, но и мастерством. Поэтому даже заводы отмечены здесь известным идеализмом, сделана — пусть робкая, пусть продиктованная, скорее, особенностями шведского экспорта, нежели гуманностью владельцев заводов — попытка примирить человека с машиной. Возникновение многих предприятий еще связано с романтикой изобретения: это не очередная эксплуатация чужого гения путем финансовых комбинаций или же рекламы, но бессонные ночи над чертежами, борьба, творчество, а порой и героизм, тусклый героизм наших современников — в лаборатории или у маховика.

Заводы «Газаккумулятора» — огромное предприятие. Они изготовляют маяки. Ежегодно десятки тысяч воспаленных глаз ласково подмигивают промокшим вахтенным, нищим иммигрантам, дремлющим на палубе, мечтательному спекулянту, который на сон грядущий тянет виски, рыбакам в клеенчатых штанах, спорящим с бурей. Редок теперь пафос простой человечности; даже небо — это только лист картона: на нем предприимчивый фабрикант расхваливает свой товар. Как же волнуют проезжего эти сострадательные глаза скалистых мысов и необитаемых островков!

Швед Густав Дален построил маяк с запасами газа на шесть месяцев. Теперь маяки светят там, где нет людей. Дален достиг экономии газа: солнечный свет автоматически заряжает маяк. Экономия денег в наши суровые дни означает спасение стольких-то жизней. Маяки системы Далена светят повсюду: в Мурманске и в Панамском канале. Густав Дален, однако, не видит их сияния: во время одной из демонстраций произошел взрыв, и Дален лишился зрения.

Я не спорю — работа всюду работа, на оружейном заводе работают не убийцы, а самые обыкновенные рабочие. Но, наперекор формалистам, содержание решает все. Именами Максима или Лебеля названы смертоносные орудия. Базиль Захаров создал свои миллиарды из чужой ненависти и из чужой крови. Рабочие, изготовляющие танки или пушки, вдвойне несчастны, ибо ничто в жизни не сходит даром, даже простое соседство. «Газаккумулятор» не филантропическая затея, это труд одних, дивиденды других. Но ни слепота Далена, ни глаза маяков, которые сейчас где-нибудь возле Лофотенских островов спасают рыбацкую шхуну, не могут быть стерты. Они меняют глаза рабочих.

В Швеции немало таких заводов. Что это — счастливая случайность или строй шведской души? Впрочем, надеяться и здесь не на что: это может очистить совесть отдельных людей, это никак не может создать совесть государства. Имеются два Крейгера: человек, которого зовут Иваром, и директор треста «Крейгер и Толь». Для человека Густав Дален — герой, справедливо удостоившийся Нобелевской премии; для директора треста нет никакого Далена, есть «Газаккумулятор» — патенты, доходы, биржевая котировка.

«Газаккумулятор», король спичек, знаменитые сепараторы, телефоны Эриксона, кирунская руда, шарико-

подшипники СКФ, машиностроительные заводы, эскильстонская сталь, прекрасные школы и лаборатории, ученые с мировым именем, открытия, патенты, электричество в свином хлеве, автобусы среди тундры, вокзалы, похожие на храмы, небоскребы, серийные дома, передовое социальное законодательство,— это не мода, не снобизм, не демонстрация принципов — это повседневный быт Швеции.

Однако я затрудняюсь сказать, что здесь перевешивает — акции или ученая степень, и кого здесь больше — инженеров или теологов. Богословские отделения университета всегда заполнены, хотя в Бога мало кто верит. Нет в Швеции, кажется, гостиницы, где в каждой комнате не лежала бы рядом с телефонным справочником Библия. Справочник зачитан и ветх, а Библия свежа, невинна, ее держат, но не читают. Она подарена Союзом коммивояжеров города Обреро. Так коммивояжеры, развозя бритвы и удобрения, не забывают о своей бессмертной душе. Что касается пасторов, то они любят светское общество и французские романы. В церковь шведы ходят редко, предпочитая футбольные матчи, но даже заведомые безбожники и социалисты готовят своих детей к конфирмации.

Трудно говорить о консерватизме: одни условности легко заменяются другими. Можно, например, жить с девушкой, не венчаясь, следует только называть ее «невестой»; можно с такой «невестой» прижить хоть двойню, но надобно для приличия снимать у квартирной хозяйки две комнаты.

Порнографические новеллы здесь возвышенны и сентиментальны, как проповедь Армии спасения, и, не прислушиваясь к речам ораторов, легко принять коммунистический митинг за академическое заседание. Я сказал уже, что у шведов, кроме характера, много маниакальных привычек.

Газетная полемика напоминает теологический диспут. Это полуабстрактные оттенки, деликатные увещевания, вечерняя дремота над огромными листами. Один и тот же стокгольмский издатель выпускает две враждующие между собой газеты: либеральную и консервативную. Подобные курьезы приключаются и в других странах, но там они означают ловкий ход, желание обезоружить противника, там это тайная комбинация с подставными лицами и с «независимостью»

редакторских полудев. Здесь же все ясно: почему бы не издавать две газеты одному издателю?

Коммунистические депутаты здесь могут дружески беседовать с директорами трестов и с епископами. Существуют ли два враждующих класса? Разумеется, существуют. Но кроме них существуют также: человеческий язык, хорошая погода — снег и солнце за окнами, лыжи, Сельма Лагерлеф, новая ратуша, закусочный стол, наконец, высшая из северных добродетелей — терпимость. За окнами не только солнце и снег — спичечный трест проектирует снижение заработной платы, английский посланник о чем-то долго разговаривает с министром иностранных дел, шведский король отбывает в Прибалтику, рудокопы третий месяц бастуют, бравые полковники с опаской поглядывают на восток, в крепости Буден солдаты старательно маршируют,— словом, за окнами жизнь, которая и здесь вдоволь жестка. Но сказать про врага, что он «подкуплен»,— это значит прежде всего унизить себя; такие догадки устраняются климатом, а может быть, и душевной традицией.

Как удалось Швеции сохранить столь старомодное благородство? Ведь это не Словакия! Фабричные трубы и статистика экспорта свидетельствует о вполне современном характере страны. Не выручает ли шведов их близость к природе? К этой полузабытой приятельнице младенческих лет кинулась в отчаянии вся послевоенная Европа. Пригородные лужайки стали последним прибежищем людей, потерявших не только веру, но и куцый покой. Лужайки покрылись яичной скорлупой и томительными вздохами. Отчаявшись услышать истину от недавних трибунов, истребив, как редкую дичь, последних поэтов и возненавидев политиков, ничего не смысля ни в планах Крейгера, ни в суровости новых свободолюбцев, восстающих ныне против свободы, измученные шестью днями конвейера, мюзик-холлом, автобусами, газетной суетой,— европейцы пробуют теперь заговорить с обшмыганными липами какой-нибудь буколической молочной, где продают им парное молоко, разбавленное водой и подогретое на газе. Но липы молчат. На их коре инициалы похотливой парочки и призывы голосовать за список номер такой-то. О чем они могут рассказать, эти липы? О дневной выручке хозяина молочной или о семейной неурядице вот того

веснушчатого конторщика?.. Европа кинулась к природе, которой уже нет, природа давно сожрана ею. Остается бродить по вытоптанным полям, по начисто вырубленным рощам, вдоль речек, покрытых рябью нефти, мимо гор, унизанных трактирами и фортами.

В Швеции природа огромна и страшна. Леса здесь все еще смеются над копошением дровосеков, и никакие лесопилки не могут встревожить бесчисленных озер. Человеку не приходится нянчиться с предполагаемой стихией: он должен быть начеку, как его прадед. Даже ближайшие окрестности Стокгольма — это лес и вода. Можно уехать на воскресенье в самую заправскую чащу, где ни патефона, ни избушки, ни просто живой души.

Летом Швеция валяется на душистом мху, плавает по озерам, она ночует в палатках, и, белобрысая, восторженно выгорает под лучами неутомимого солнца. Зимой, зажмурив глаза, она мчится на лыжах. Ее шерстяной свитер пахнет тогда елкой и псиной. Пятидесятилетний господин консул ставит рекорды прыжка, а его внучата управляют настоящим парусником. Чопорные стокгольмцы снимают воротнички, девушки бегают в штанишках, и пасторы, забыв о первородном грехе, загорают на солнце рядом с блудницами. Это не просто каникулы, не отдых на час,— это приступы неизлечимой страсти. Я даже не могу сказать, что шведы любят природу,— они еще живут с ней запросто, несмотря на все свои титулы, живут изо дня в день. Скорее всего, они ее и не любят,— какой чудак осмелится утверждать, что он, мол, очень любит воздух? Они только не могут без нее жить. От истории у них чванливость и вежливость, а от природы — скрытность и сердечность.

Спорт, как и повсюду, начинается здесь с простого движения, с замлевших ног, с раскрытого утром окна. Он превращается в организованное помешательство. Так история сменяет природу. Ведь не могут же отставные капитаны, те самые, что пьют за «победу шведского оружия», удовольствоваться беспредметными тостами? Водки не хватит: в Швеции полагается на особь мужского пола всего два литра в месяц. Можно, конечно, прибавить, что норвежцы, которые выкинули двадцать пять лет тому назад столь неприличный пассаж,— грубые мужики, не понимающие ни высокой политики, ни хороших манер. Можно поворчать на

столь же мужиковатых финнов: как они смеют изгонять из своих школ благородный шведский язык? Можно, наконец,— ведь время не водка, его у капитанов вдоволь,— пошуметь насчет исконных интриг России: большевики, оказывается, вполне достойные преемники разбойника Петра, они пробираются через Швецию к Нарвику и под видом коммунистической пропаганды снимают планы крепостей! Но всех этих сетований мало для огромного самолюбия. Ясна судьба: один из штатов Европы. Нет под рукой ни гениального дипломата, ни композитора с мировой славой. Ремарк, на горе,— немец; даже Гамсун, хоть это и близко,— норвежец. Ивар Крейгер — тот не желает выйти на сцену: видимо, ему хорошо и за кулисами. Остается спорт. Может быть, здесь удастся прославиться? В дни международных состязаний оживает Швеция Карла XII. Победа шведских футболистов на долгие месяцы затмевает все: и Крейгера, и большевиков, и даже простую радость — походить на лыжах или поиграть в тот же футбол.

Принято думать, что шведы — народ размеренный, аккуратный. Их зачастую называют «северными пруссаками». Что же, я и прусского фельдфебеля, того, что ныне в досрочной отставке, считаю скорее фанатиком и чудаком, нежели исправным служакой. О шведах и говорить нечего — недаром они живут возле Полярного круга,— это заведомые максималисты. Хорошо обработанные поля или складочки на брюках не могут опровергнуть ни крайностей, ни жизни «на авось». Правда, шведы умеют лицемерить, вежливо улыбаться, соблюдать, когда нужно, десять заповедей, голосовать за умеренные списки,— словом, ладить и с Богом и с Америкой, но все это только на людях. Мечты и сны каждого добропорядочного шведа прежде всего необузданны. Отсюда — тоска и водка. Пьют шведы много, хоть и в этом они теперь себя связали, перепугавшись, как бы не спиться целому народу. С грустью вспоминают они блаженные времена — до «закона Братта», когда на закусочном столе стояли пузатые графинчики и когда можно было, не считая, пропустить десяток-другой рюмок. Теперь водка выдается, как микстура,— по дозам. Остается недозированная тоска.

Суровые шведы чрезвычайно легкомысленны: вся страна живет в долг. Это французская система наобо-

рот. До сорока лет француз, как известно, не живет, а мытарится. Он урезывает себя во всем. Каждый месяц относит он в сберегательную кассу живые клочки своей горемычной жизни: проглоченные слюнки, слезы жены и тысячу красноречивых вздохов. Утешение одно: рано или поздно стукнет пятьдесят лет, тогда-то он отыграется. К пятидесяти годам у француза рента, дюжина болезней и усмешка наследственного мизантропа. Покушать вволю он уж не может, так как у него катар желудка, и сидит он на картофельном пюре, путешествовать ему неохота,— зачем же он купил ночные туфли и халат? К девушкам тоже сходить нельзя: года не те. Остается удить рыбу и резаться в карты с соседом — по два су очко. Таков финал жизни прославленного своей ветреностью Пьера или Поля. Швед в молодости никак себя не ограничивает. Студент получает кредит в банке: он выплатит долги, когда станет инженером. Инженер, однако, выплатив долги студента, делает новые: он их выплатит в старости. Годам к пятидесяти человек начинает уставать. Швед тогда переезжает в маленькую комнату, ходит в перелицованном костюме, никуда не выезжает, не пьет, не курит, он занят одним: выплачивает долги. В богадельнях можно видеть благообразных и действительно аккуратных стариков; они получают солидную пенсию, но живут в богадельне: долги! Впрочем, кроме выплаты долгов, они могут предаваться воспоминаниям или же самым развязным мечтам, а с подобными поблажками лет в семьдесят нетрудно и умереть.

Шведские города благообразны, как лютеранская кирка. Даже в Мальме или в Норчепинге после одиннадцати закрыты все кафе, на улице только звезды и полицейские. Что же там: за шторами, за ставнями, за стенами?.. В Европе богема — это воспоминание да еще приманка для американских туристов. Быт упсальских студентов или стокгольмских художников классически сумбурен, даже разбоен. А на улицах — ни души: мораль, тишина, редкие протоколы. Стоит, однако, шведу сесть на заграничный пароход, как он начинает безумствовать уже вслух. Ничего нет отчаянней шведских кабачков в Париже. Они плотно прикрыты, ставни Упсалы и Лунда...

Стокгольмские музеи справедливо прославлены. Если новое искусство здесь вдоволь консервативно, то

археологи Швеции свободны от рутины. В Нординск-музее собрано народное искусство. Много там хорошего: и крестьянская живопись на холсте, и пестрые шкафы фермеров Далекарлии. Все же самые лучшие вещи в норвежском отделе. Норвегия здесь еще представлена как часть королевства, однако это не только другое государство — это и другой народ. Я не отказываюсь от похвал. В Швеции превосходные музеи. А телефон? А сепараторы? Что касается высокого искусства, то его в Швеции сейчас мало. Шведские писатели никак не могут перешагнуть через границы своей страны. Самый достопочтенный из шведских критиков господин Беек недавно дал интервью одному русскому журналисту. Господин Беек — сотрудник консервативной газеты, и не удивительно, что он всячески поносил молодых русских писателей. Им он противопоставлял нынешний расцвет шведской литературы. Для точности он даже назвал одно имя — Сигрид Унсет. Я не стану спорить с господином Беeком касательно художественных достоинств Унсет, отмечу только одно: как-никак Сигрид Унсет не шведка, это самая доподлинная норвежка.

Все сказанное — не в укор. Почему же в стране обязательно должна быть хорошая живопись? В Швеции, например, замечательные витрины. Крупа, фрукты, чашки, лапша — все это разложено с поразительным мастерством, скажу больше — с вдохновением. Любое окно кооператива — классический натюрморт. Вот в этой идеализации материи сказывается ныне эстетический гений шведского народа. Из искусств здесь процветают именно те, которые непосредственно связаны с ощутимым миром: архитектура, графика, кинематограф.

Так за маниями проступает характер. Это уж не случайно сохранившиеся патриархальные повадки — это вдоволь дерзкое задание: внести в нашу цивилизацию ряд существенных поправок.

Еще яснее это сказывается в глубине Швеции, где нет ни развратного соседа под боком, ни иностранных пароходов, ни привычки к нечаянности бурь. Сердце Швеции — Далекарлия. До сих пор там сохранились народные костюмы, как в глуши Карпат. Невольно сочетаешь это пестрое тряпье позапрошлого столетия если не с курными избами, то, уж во всяком случае, с керосином и с сомнительной грамотностью. Однако

крестьянки Далекарлии, в ярких широчайших юбках, похожих на кринолины, повязанные трогательными платочками, ездят не иначе как на велосипедах. В их избах много старой мебели. Комоды и двери расписаны пунцовыми розами, но на комоде — электрическая лампочка, и живописная дверца ведет в ультрасовременную уборную.

Я был в селе Лександ на крестьянских похоронах. Хоронили степенно, торжественно. Гроб на лентах медленно опустили в землю, как тяжелое зерно. Потом поодиночке подходили проститься. Ни вдова, ни сироты не плакали. Обряд был преисполнен языческой, звериной мудрости. Церковь в Лександе — с деревянной луковкой, она могла бы стоять где-нибудь в Вологодской губернии. Кругом березы, сирень, светло-зеленая мурава. Все это предрасполагает к молчанию и к простоте. Похоронив, тихо разошлись по домам. Вечером же все село было на гуляньях. Электрические карусели вдохновляли детвору. Старики хохотали над прыжками Гарольда Ллойда. На улице толпились маленькие крепкие лошадки — «шведки» и «форды», девушки в барочных чепчиках и стокгольмцы с теннисными ракетками. Здесь не было ни разности жизни, ни враждебности двух веков. Крестьянские девушки умеют играть в теннис, и давно они оценили все достоинства «форда». Это не принуждает их расстаться с «шведками» или же со старомодными чепцами.

Если поглядеть на Швецию из окна вагона, поглядеть на красные деревянные избенки, на безлюдность озер, на всю скромность природы,— можно подумать: бедная страна, давнее прошлое, окраина Европы. Но это — оптический обман. В избенках — двадцатый век, и избенки сами вправе поглядывать на Париж, как на музей Гревен, с ужасами и с джазом. Достаточно поглядеть на тот же вагон,— во Франции его обязательно назвали бы «пульмановским вагоном-салоном», и ездили бы в нем только министры или американцы. Здесь же, несмотря на кресла и на альбомы, несмотря на графинчик с водой и на особую кладовую для ручного багажа, это обыкновенный вагон третьего класса. В нем ездят крестьянки Далекарлии с пестрыми фартуками и даже с курами. А ночные поезда состоят из спальных вагонов тоже третьего класса. Это совсем не гениально. Это очень просто: стоит только догадаться, что если комфорт нужен, то нужен он всем, не

одним миллионерам, а и крестьянам. Для Европы это остается социальной утопией, для Швеции это скучные будни, о которых вряд ли стоит долго говорить. Говорить вообще не стоит. Молчать куда интересней, да и приятней. Поскольку же приходится говорить, вопрос ясен: нужен ли весь этот комфорт и какая ему цена, следует ли ради него расстаться с платочками и с флегматичной отъединенностью, с благородством, с теплой древесной тишиной?.. Сказать «нет» Швеция не в силах, но она еще достаточно сильна, чтобы поторговаться с современностью, чтобы, взяв одно, отказаться от другого, чтобы в то время, когда вся Европа, как психопатка перед тенором, только и делает, что перенимает механическую судорогу нью-йоркского бизнесмена, привередничать, выбирать, даже порой сурово отказываться. Вероятно, и это ненадолго: в Швеции всего семь миллионов душ, остальное — лес. Лес вырубят, а людей перевоспитают.

НОЧЬ В ЛЮЛЕО

Швеция узка и длинна, как белобрысый долговязый мечтатель ее захолустий. Она начинается обыкновенными ландшафтами, умеренным климатом и солидными делами. Ее ноги обуты в германскую обувь. Дома Мальме — это Гамбург или Любек, только со сливочным маслом на бутербродах и с довоенной степенностью. В деревнях Скании хрюкают датские свиньи, золоты пшеничные поля, солнце здесь светит и в январе, маяки, следовательно, работают круглый год, много фабрик, много туристов, морские купанья — словом, зажиточная благообразная страна. Это — ноги. Они почти что упираются в какой-то из Мекленбургов: паромы одолевают Балтику в несколько часов.

Голова Швеции покрыта сосновым лесом и тоской. Деревянные города приземисты и теплы живым благодушным теплом. Человеку они дарят уют и отчаянье. Они горят, как спички. Если их и отстроили вчера, после очередного пожара, они все же древнее собора Упсалы: их древность не в истории, а в самом естестве, в связанности с окрестными лесами, со смолой и с сугробами, в неотрывности от природы, в том, что Питео или Люлео не только торговый центр и губернское управление, но также звериная нора, берлога, дупло.

В Германии или во Франции любая деревушка прикидывается городом, здесь же, напротив, города свято хранят деревенскую стать: дощатые особняки далеко один от другого, между ними — сады, старые, заросшие, задушевные. В этих садах — карликовая сирень; цветет она поздно, в июле, мелкими застенчивыми гроздьями. Зато как ее умеют здесь нюхать! Кто же, кроме северян, сходит с ума? Еще заморозки по утрам, еще голы деревья, но в самом гаме земли, в звоне капели, в чавкании луж, в скрипе дерева, в сотнях различных шумов, таинственных, как зачатие, в этой настройке инструментов — уже начало праздности, разгула, трехмесячного пиршества. А все-таки хорошо, что есть на свете и люди и страны, вовсе не знающие меры! Кажется, даже солнце здесь теряет память, оно отдаривает за зимние обиды, до августа не сходит оно с неба. Окна особняков раскрываются, как глаза — впервые, да, да, каждый год впервые, среди ослепительной светлости берез, под гомон детворы.

Чем дальше на север, тем строже и нежнее блюдется культ юга. В крохотных городишках — цветочные магазины, их больше, нежели банков или кафе. За стеклами цветут тюльпаны, розы, бегонии. В каждом садике своя клумба; ее отгораживают досками от ветра, на ночь покрывают рогожей; это холеное дитя. В Кируне — «ботанический сад», там несколько березок и оранжерея. Под стеклом, окруженные благоговейными взглядами посетителей, медленно зреют огурцы и цветут яркие петуньи. Эти огурцы куда прекрасней всех пальм Ривьеры. Впрочем, даже пальмы на открытках (а здесь они в любом доме), эти ядовито-изумрудные пальмы на ляпис-лазури, куда прекраснее настоящих! Они ведь прикрашены шестимесячной ночью и восторгом сосредоточенных альбиносов. Здесь и вино не просто напиток, а ритуал — раз или два в год, на Рождество или на свадьбу,— бутылка, встающая из-под земли, как солнце.

Юг на юге туп и докучен, здесь же это — полузапретное свидание, со всей дрожью сборов и с черной памятью, в зиму, у печи, среди книг и еловых шишек — навсегда!

Если приехать в северный город среди белых ночей, он кажется околдованным. У него нет ни имени, ни примет. О том, что это ночь, говорят только часы,— на небе солнце. О том, что это город, говорят только

дома,— людей нет. На площадях стоят автомобили — их оставили здесь до утра, а на пристани — чемоданы и сундуки, без присмотра. Где же люди? Вымерли? Уехали? Уснули? Кого боятся они: пастора, Бога или своей усталости?.. В садах отвлеченно чирикают воробьи, они чирикают тихо, считаясь с вежливостью и с этнографией. Это — в два часа полуночи. В двенадцать город еще жив, он еще бредит и корчится.

О свете северных ночей немало написано. Их последние слабые оттиски — бело-серые ночи нашей недавней столицы, это свой мир, это биография Невского проспекта и синтаксис Гоголя, это мелкие чинуши, доведенные до подлинных прозрений, это Достоевский и бред, которому сдуру пожаловали обыкновенные брюки, это вся северная романтика, детская хворь государства, а также основной экспорт «русской души». На севере Швеции ночи в июне не белы, но розовы. Свет, теплый и взволнованный, предполагает загадочный пожар: горят города, горят охваченные бессонницей люди, дочки аптекаря, отставные архивариусы, не говоря уже о вульгарных ревнивцах или о пасторе; горят автоматы с плитками шоколада; горит небо, горит и высокий крахмальный воротничок господина консула, горит и не сгорает, от одного полымя кидаясь в другое.

Дочки аптекаря и господин консул пишут тогда стихи. Это диктуется скорее освещением, нежели амбицией. После долгих ожиданий, сердцебиения, разорванных листов и даже кругов под глазами — стихи эти будут напечатаны в одном из воскресных номеров местной газеты, газеты ведь созданы для семейного потребления, их читают даже подростки, в газетах никто не имеет права целоваться — ни дочки аптекаря, ни господин консул. Стихи, слов нет, плохие, но здесь уж ничего не поделаешь: в Швеции слишком хорошие сепараторы, а масло — какое масло! На стихи у нее нет никаких резонов, кроме этого сумасбродного света. И вот в полночь, забыв об электричестве, весь розовый и иллюзорный, господин консул пишет: «Щека ангела, трепетная, как летняя ночь...» Неужели вы станете настаивать на внешности фру Петерсон, у которой щеки — как два помидора, и которая хоть и угощает господина консула домашним печеньем, но во всем Люлео известна своей сварливостью, уж никак не ангелоподобной? Но тогда вы ничего не понимаете в северном свете!

Впрочем, не все пишут стихи. На широкой террасе единственной гостиницы — она же ресторан, кафе, бар, выставка коммивояжеров, салон, дансинг и место свиданий — под полночным солнцем покачиваются в качалках долговязые мечтатели. Они не смеются и не куролесят, они качаются молча. Перед ними широчайшая река, пароходы, баржи, плоты, дальше поля, приниженные и стыдливые,— все розовое, пламенное, готовое разрыдаться или испепелиться. Перед ними также рюмки паечного коньяка и в стеклянных кружечках приторный пунш. В Швеции строгие законы: каждому посетителю ресторана выдают только твердо установленную порцию,— правда, ее достаточно, чтобы споить наивного иностранца, но швед от нее только слегка грустнеет и грустно покачивается под розовым солнцем. Впрочем, можно пойти ужинать со строгим трезвенником, который пьет только лимонад: тогда удваивается паек, и удваивается грусть. Что касается трезвенника, то он пьян от света, от ненормированного света, который даже шведа сводит с ума.

Так качается в полночь общество Люлео. Иногда слышатся короткие фразы. О чем говорят они? О дочках аптекаря? О любви? О цвете неба?.. Кто знает... Они торгуют лесом, служат в конторах Крейгера, проверяют сплав бревен и немецкие векселя. Но сейчас они пусты и встревоженны, как вот эти поля. Если бы продлить такую ночь на года, на десятилетия, может быть, они преодолели бы и сепараторы и телефоны, может быть, вот этот любитель пунша, с поджатыми губами и с дегенеративным галстуком — главный клиент аптеки, не вследствие ревматизма, нет,— дочка одна из неудачливых поэтесс,— может быть, он стал бы злосчастным героем «Невского проспекта»... Впрочем, оставим эти догадки: непристойно, получив визу и удостоившись гостеприимства, соблазнять соседа своей бедой.

Иностранца зовут на обед: еще одна демонстрация шведской культуры! Поговорим хотя бы о селедках. Что такое селедка? Студенческий ужин, то, подо что пьют с горя водку, после полтинника, взятого взаймы, и перед неизбежным мордобоем. Что такое селедка? Да это и завтрак и обед бедняка-еврея, вместо мяса, вместо чая — «манна наоборот» избранного племени. Здесь, однако, даже селедка — это культурное достижение: десять различных сортов, двадцать способов приготовления, гастрономия, эстетика...

Далее начинается обряд. Места строго обдуманны: по положению, по возрасту, по достоинствам и по достаткам. Нет страны, более влюбленной в иерархию, нежели демократическая Швеция. Члены королевской семьи ездят здесь в третьем классе, но даже злополучный босяк, подметающий улицы захолустья, горд своим титулом: он — «господин сотрудник коммунального управления». Пить просто нельзя. Иностранец хлебнул вина, как будто он не на званом обеде, а на вокзале. Он забыл, что вино — это не напиток, а лирическая поэма. Хозяева и гости стыдливо потупили глаза: они ничего не видели. Надобно, дорогой иностранец, сказать «сколь», поднести сперва бокал к жилету, под которым, как известно, сердце, а потом уже к губам, надо проделать это все, не сводя глаз с того, за здоровье кого вы пьете. Если вы скажете один раз «сколь» хозяйке, ангелоподобной фру Петерсон,— той, что с помидоровыми щеками, а три раза — дочке аптекаря, то вы попросту хам. Не вздумайте также, обращаясь к господину Якобсону, к тому, что по ночам строчит стихи, а днем на лесопилке проверяет добротность фанеры, сказать «господин Якобсон». Разве вас не предупредили, что он здесь представитель Персии? Это не шутка, это чин. Правда, персов в Люлео нет, никогда не было и, скорей всего, не будет, но персидское правительство ценит шведские кроны, а господин Якобсон — уважение своих соотечественников.

Но вот кончен обед, выпита водка, выпито и вино, на столе — пунш. Мало-помалу гости забывают об иерархии. Они слишком часто чокаются с дочками аптекаря, они неожиданно улыбаются, они даже гладят пыльный рукав иностранца. Они оттаивают. Этот процесс загадочен и неизбежен, как таяние снегов. При первом знакомстве любой швед холоден, чопорен, даже надменен. Неясно, станет ли он с тобой разговаривать или вежливо откланяется. Час спустя он может оказаться сердечным малым, хорошим приятелем, чуть ли не другом. Ну, а если окажется другом, то это уж навсегда,— нет вернее дружбы, чем на шестьдесят шестом градусе северной широты. Во время обеда хронологически процесс оттаивания совпадает с появлением на столе пунша. Дальше иностранцу остается показать, что и он умеет выпить, выпив — поговорить, а главное — помолчать, словом, что он не самозванец,

а настоящий собутыльник и вполне достоин шведской дружбы.

А потом?.. Потом — лирическая прогулка по светлым и пустым улицам, река, лес, пожар зари. Наутро крепкое рукопожатие и работа: бревна, фанера, банковские книги, телефонный разговор со Стокгольмом — ровно тысяча километров, целлюлоза, усовершенствованные машины, автомобиль, столько-то тысяч крон оборота — и в итоге снова подозрительное полыхание на небе. Такова здесь жизнь. Нагромождение природы: река — не видно другого берега, шхеры, комары тучами, лес патетичный, как крейгеровский капитал, солнце ночью, зимою снег, готовый сожрать даже шпицы церквей. Среди этого неистовства — новые патенты, растущий экспорт, электрические ванны, из леса — бумага, из хаоса — балансы и комфорт. Говорят, что такова биография Калифорнии и Канады. Но посмотрите на господина консула Персии или, если он не по душе вам, на молодого служащего банка — разве похожи они, с их архаической тоской, на американцев? Они ничего не предали: ни своей истории, ни северных ночей, ни того колдовства, которое одно позволяет претворить фру Петерсон в ангела, а будничную жизнь в легкую взволнованность, в мечты кирунских рудокопов о всеобщем счастье, в стихи и белиберду, в пожар на небе, в страсть, равно необходимую и для революции, и для археологии, и для короткой человеческой ночи.

КРАЙ СВЕТА

В стокгольмских газетах можно, разумеется, отыскать биржевой бюллетень. Правда, не бросается он в глаза, как на грубом континенте,— нет, обрамленный и философией маститого Беека по поводу Сельмы Лагерлеф, и фотографиями гениальных лыжников, и похоронными анонсами, он покоится, подобно бумажнику почтенного господина консула, где-то между пошлой материей и нежнейшим сердцем. В бюллетене среди прочих мировых или же своих домашних имен можно, разумеется, отыскать и сугубо загадочное: «Луосаваара-Кируноваара», рядом — цифра, вполне ясная.

Что ж это за Луосаваара и Кируноваара? Да просто — две невысокие и неказистые горки, далеко от

Стокгольма, на самом севере Лапландии. Снег, болота, мох, жалкие юрты лопарей, заведомая нищета и природы и человека,— говоря цифрами — шестьдесят восьмой градус северной широты. Впрочем, господина консула, того, что просматривает бюллетень, интересуют другие цифры.

Еще недавно здесь и впрямь были только топь, камни, колченогие лопари да вот эта крохотная деревушка, Юкасьерви. Весной сюда приходят лопари со стадами; они варят олений сыр и точат роговые рукоятки тяжелых, угрюмых ножей. В Пасху полным-полна старая бревенчатая церковь: лопари со всем скарбом и, уж конечно, со своими пушистыми, как снег, лайками. Пастор (по-фински) вещает о безусловном бессмертии души, и псы, разморенные теплом, деликатно тявкают. Потом лопари уходят в горы. Деревушка замирает. Старухи молча курят едкие трубки, а пастор читает «Братьев Карамазовых»; весь день, взволнованный, бродит он с кочки на кочку, отмахиваясь не то от подозрительных острот Ивана, не то попросту от комаров. Пусто в церкви. На стене дощечка с французским текстом. Давно, когда еще никто не справлялся о котировке «Луосаваары-Кируноваары», когда не было здесь окрест никакого жилья, три предприимчивых французика расписались на этой стенке со всем умилительным бахвальством Нима или Бордо: «Мы побывали повсюду, мы пили воду Ганга, и Африка видала нас. Теперь пришли мы сюда, на этот край света».

Да, тогда здесь был край света, край безызвестный и никчемный: большое пятно географической карты и героический миссионер с сосулькой под носом.

Потом... Потом две невысокие горки вдруг отделились от прочих гор. Они стали приманкой, гибелью, счастьем, биржевым бюллетенем, опорой шведского бюджета, любовью Нью-Йорка и Гамбурга. Так среди топи и небытия вырос город Кируна,— нет, он еще не вырос, он только-только подрос, он растет на глазах, его строят день и ночь, строят, не переводя дыхания, не успевая даже дать имя новой улице, для краткости запросто нумеруя дома.

Вот готова площадь, даже сквер разбит со скамейками для лирических пауз, только дома вокруг еще не выстроены. А вот шеренги готовых домов с ваннами и с серебряными сахарницами, но нет еще ни мостовой, ни тротуаров: кочки посередине. Так Европа,

молодясь, где-то на полях своего романа, подальше от чрезмерно исторических мест, прикидывается иным материком. Болота сострадательно молчат.

Город-подросток уже мнит себя стариком. Он кичится своей историей. В парке приезжим показывают музей — это жалкая деревянная лачуга. О зодчестве думать не приходится, пафос в ином: здесь жил первый рудокоп Кируны, здесь — начало руды, богатства, серебряных сахарниц и золотых дивидендов.

Две горы, посредине — город. Одни работают на одной горе, другие — на другой. Работают все. Звенит трамвай, рейс его непреложен: на рудники, с рудников. Поезда, длинные, как тундра, отходят на запад или на восток, в Нарвик или в Люлео. Долго несутся они по северным пустырям. Облака и морошка. Они увозят не людей, но руду, только руду, всегда руду. Дыхание Кируны — это взрывы, дыхание горячее и частое. Серые на горах дымки. Орава мужчин в котелках и с тростями — это смена: на работу или с работы, днем или ночью. Впрочем, как понять здесь — день ли это, ночь ли? Три месяца не сходит с неба солнце, в его нежно-персиковом свете томительно засыпает та смена, что условно зовут «дневной»: ночная же работает. А зимой вовсе не показывается солнце, его провожают в конце ноября, как молодость, тупо и патетично, по-бычьи. Электрическая пурга, пылают две горы, пылает город, белый свет, белый снег, сорок два ниже нуля, люди в звериных шкурах буравят камень — день это или ночь?.. Нет здесь ни обычной жизни, ни положенных человеку суток — только полярная лихорадка, сердцебиение, взрывы, тысячи вагонов, сотни тысяч тонн, руда, руда, руда...

Остальное доскажут счастливые держатели акций. Они-то хорошо знают, что нет в мире лучшей руды, что в ней свыше семидесяти процентов железа, что вывозят ее на 80 миллионов крон в год, что руды этой хватит на всю их почтенную, библейскую жизнь — не иссякнет жила. О, серенький бюллетень и сердцебиение господина консула, того, что обожает «нашу Сельму» и весь светел, духовен, абстрактен, как северный свет: курсы «Луосаваара-Кируноваара» все растут и растут!

Шестьдесят восемь градусов северной широты. Трехмесячный день. Трехмесячная ночь. Вот строят еще один кинематограф. Его выстроят в две недели. Там будут мигать и улыбаться парафиновые дивы

Голливуда, а в ответ — подозрительно покашливать господа рудокопы: на коленях котелки. Владелец кино раздувается, как воздушный шар, потом он уедет на юг, и не в Мальме — прямо в Италию, там он обязательно сопьется, а киношка сгорит — здесь часто горят дома, дерево ведь должно гореть. Руда же не дерево. Стоят две горы, и растут цифры добычи.

В доме № 568 сегодня гости: хозяин Свен Ольсон спрыскивает обновку. «Форд», говоря откровенно, препошлая машина. Давно уж Свен Ольсон мечтал о корректном «шевроле». Зачем ему автомобиль? Ведь кругом болота, кочки, снег... Глупые вопросы! Как же может человек в 1929 году жить без машины?.. А лето? Три светлых месяца? Он может поехать хотя бы в Юкасьерви, где старухи с трубками и философический пастор. Он может наконец, когда дойдет дело до отпуска, съездить и в Люлео. Вот светится «шевроле», весь розовый от полночного солнца и от своей вящей невинности. Гости выпили кофе. Напрасно хозяйка улыбается деловито и призрачно, напрасно пахнет тропиками пузатый кофейник,— отодвинут стол, в комнату вбегает разбойный патефон, это чарльстон за чарльстоном. Все улыбаются призрачно, деловито: Карл — своей невесте, Густав — невесте Ларсона, Свен же — и гостям, и жене, и черным горлодерам из нью-йоркского Гарлема, и розоватому автомобилю.

Окрик телефона среди танго.

— Алло! В одиннадцать? Хорошо.

У Свена Ольсона не только «шевроле» и жена с призрачной улыбкой — у него и телефон, и портативный «ундервуд», и даже картины на стенах: развалины и кипарисы. Свен, однако, не акционер «Луосаваара-Кируноваара», он даже не владелец кино. Среди двух бронзовых рам, среди развалин и кипарисов стоит большущий Ленин, тот, что в кепке, и говорит, говорит... Слова, несомненно, русские, а Свен по-русски знает только два слова: «правда» и «ничего», но он, вероятно, догадывается, о чем это так внушительно говорит человек в кепке: ведь Свен Ольсон — обыкновенный рудокоп.

Потом Свен идет среди кочек и строек, мимо гигантской школы — ну, чем не Стокгольм? — в другой дом. Здесь ни патефона, ни развалин. Кресла. Кипы газет. Котелки на вешалке. Ленин, впрочем, и здесь.

Он продолжает свою речь, и тень его на чужой земле. четкая тень в кепке, вытягивается, покрывая топи, шестьдесят восьмой градус северной широты... Это кирунское отделение коммунистической газеты «Северное сияние». Редакторы, фельетонисты, хроникеры — все, разумеется, рудокопы. Одни работают на одной горе, другие — на другой.

Тяжелый климат? Конечно. Летом комары и бредовой свет. Зимой — сорок градусов мороза, сорокапудовая ночь. Работают на горе под звездами. Сыро. Три аптеки только и торгуют что салицилкой и мазью от ревматизма. Да, слов нет, это не Италия: ни развалин, ни кипарисов. Зато — «шевроле». У товарища Ландскрона, правда, только «форд». У некоторых всего-навсего мотоциклетки. Но жаловаться не приходится, зарабатываем неплохо: пять-шесть тысяч крон в год, кое-кто и девять. Неплохо. Совсем неплохо! Почти полярный рай. Обогнали Америку.

А вот в муниципалитете коммунистическое большинство, как будто не «шевроле» здесь, но безработица и чечевица. Почему же?.. Глупые вопросы! Разве Свен Ольсон не рабочий? «Шевроле» — хорошая штучка, но у него к тому же голова на плечах. Он может подумать. В прошлом году рудокопы Кируны выдержали долгую забастовку. Они не требовали надбавки. Бастовали они из солидарности. Ни одного «желтого»: на севере эта порода не водится. Все — руки в карманы. Да, они — рабочие. Как другие. Телефоны и развалины не в счет. А традиции?.. Газета «Северное сияние» выходит уже двадцать с лишним лет. Потом — мир. Конечно, Кируна — это край света, хвастливые французики не ошиблись. Но тень человека в кепке — длинная тень.

Хватит! Надо еще выправить статью: опасность войны. Где? В Лапландии?.. Нет, в Маньчжурии. «Смотрите в оба!» Вот уже все товарищи редакторы надевают котелки. Пора!.. Кочки. Солнце. Час пополуночи. Одни отправляются спать, другие на горы — в рудники. Внизу по долине несутся длинные поезда.

Рядом с редакцией газеты «Северное сияние» — огромная церковь. Это не нищая церквушка Юкасьерви, куда ходят лопари с собаками и где растерянный пастор мечтает о «русской душе»,— нет, это гордость всего благомыслящего населения, это даже достопримечательность, отмеченная в путеводителе:

на нее потрачено столько-то десятков тысяч. Какие люстры! Какой комфорт! Суровое лютеранство здесь щедро на улыбки: скульптура, живопись — все что угодно, причем не вышедшие из моды персонажи пастушеской Библии,— нет, в ногу с веком. Америка так Америка, философия так философия. Золотые статуи представляют различные духовные свойства человека. Двадцатый век! Стиль модерн! Лучшая руда в мире! Ясно, что правление общества «Луосаваара-Кируноваара» не поскупилось. Да здравствует конструктивное капище! Вместо алтаря — «чистое искусство», притом с высочайшей маркой: картина принца Эйгеня, королевского племянника. Это купа деревьев, окруженная весьма сомнительным нимбом. Есть здесь над чем задуматься — и действительно, владелец шляпного магазина господин Томсон, сидя в церкви, неизменно вздыхает. Дело отнюдь не в товаре: они идут на славу, и котелки, и ошеломляюще яркие кепки для юных спортсменов. Капитал господина Томсона растет, как Кируна. Нет, все начинается с географии, точнее — с детских воспоминаний. Господин Томсон, видите ли, родом из Скании, где чудесные дубы, буки, клены. Вот уже двадцать четыре года, как он осел на кирунской кочке. Низкие крючковатые березки, ни шелеста, ни тени, ни необходимой кой-когда лирики. Кочки, капитал, котелки... Но ведь господин Томсон не американец. Он жаждет другого, даже не этих роскошных деревьев, нарисованных самим принцем, но сияния вокруг них, словом, просто сияния и не космографии, то есть опостылевшего зимнего полыхания, тем паче не сумасбродной газетки — абстрактного сияния. Он швед, он духовен и нежен. Он вздыхает. Золоченые добродетели препротивно пыжатся. Бурав впивается в неистощимую жилу. На горе взрывы. Это вздыхает Кируна. Господин Томсон идет в магазин, где ждет его новая партия наимоднейших котелков.

На едва намеченной площади, на скамье, заготовленной для 1930 или даже 1935 года, под уродливой тенью лапландской березки, крючковатой и узловатой, как рука местного ревматика, сидит парочка. Они не смеются, не целуются, не вздыхают. Они молчат. Впрочем, в северном молчании столько же оттенков, сколько в мимике южанина. Это жених и невеста. У невесты от жениха годовалый ребенок, но это никого

не удивляет. Даже пастор давно примирился с условностью бытия. Иногда жених поглядывает на невесту. Его глаза светлы и ирреальны, как небо Лапландии: ни огня, ни нежности, ни укора. Возможно, что завтра он убьет эту белесую фрекен. В Швеции ведь изготовляют прославленные на весь мир ножи, к тому же в Швеции еще жива всамделишная страсть, под снегом, под мхами, под угрюмой хвоей, не серенадная, та, что с проклятьями д'Аннунцио и с твердым бюджетом сутенера,— нет, другая: сорок два ниже нуля, стесненное дыхание, искры в глазах, легендарная тишина. Может быть, и убьет... А может быть, все дело закончится партией футбола. Вот он встает и медленно взбирается на гору. Убьет или не убьет — сейчас он идет на работу.

И столь же тихо сейчас в Стокгольме, в опрятной пуританской бирже, как бы нехотя и вскользь господа консулы, господа магистры, господа советники и господа прохвосты, Нильсоны, Петерсоны, Якобсоны или Ларсоны говорят друг другу:

— «Луосаваара-Кируноваара» сегодня снова в повышении.

Спичечный король господин Ивар Крейгер, один из хозяев «Луосаваара-Кируноваара», просматривает цифры блокнота. Этот маленький блокнот — как голова вездесущего, он вмещает миры: заем для Германии, телефоны Бразилии, японские спички, французские выборы, последнюю речь Сталина, налоги в Югославии и вот эту руду, поезда в Нарвик или Люлео, столько-то тысяч, столько-то миллионов, цифры, обязательно цифры. Господин Крейгер раскрыл истину — он умеет заменить теплый хаос дней и чувств непогрешимыми цифрами.

На одной из кочек, как аист, цепенеет долговязый унылый детина. Равнодушно выкрикивает он таинственные слова. Вот остановились два рудокопа в котелках, старуха, наконец, господин Томсон, владелец шляпного магазина. Равнодушно они прислушиваются.

— Где Содом и Гоморра? Не в иной стране — в сердце. Кто десять праведников? Добродетели в Содоме. Кем пощажен был город? Совестью...

Рудокопы лениво закуривают сигареты «Карпатос». Господин Томсон вздыхает. Старуха, с минуту поморгав, плетется в сияющий, как феерия, кооператив. Тогда проповедник начинает петь:

— Возвеселимся, праведники, возвеселимся...

Мотив тягуч и печален: это заупокойная молитва. Рабочие, бросив окурки, подпевают. Господин Томсон тоже старательно шевелит губами. Он, безусловно, праведник, но тщетно хочет он возвеселиться. А проповедник, что ни минута, сморкается. Ведь он не золоченая статуя! Он просто неудачник из Гетеборга. Правда, он назубок знает, где именно находится Содом, но у него маленький оклад и хронический насморк.

Кочек в Кируне немало, и вот на другой кочке — другой говорун, такой же высокий и флегматичный. Вежливо говорит он:

— Мы заставим опомниться международных империалистов...

Он очень спокоен, он даже деликатен. Зачем выходить из себя? Разве эти товарищи в котелках сами не знают, что им надобно делать? У газеты прекрасный тираж. В домах библиотечные шкафы. Рудокопы Кируны не предадут революции. Ведь это спор не о стольких-то кронах, но о справедливости. Кстати, среди статуй капища этой неуживчивой богини нет. Она теперь квартирует в редакции безбожной газеты.

— Консолидация... Стабилизация... Чан Кайши...

С кочки на кочку, мимо золоченых добродетелей, мимо оратора и красных значков в петлицах, мимо котелков и «консолидации» плетется лопарь. Алый хохол на шапке. Кривой нож. Скулы. Древнее недоумение. Зачем только припер он сюда из своей дымной юрты? Может быть, расспросить хитроумных кирунцев о Содоме и о Чан Кайши? Или продать в лавочку олений окорок?.. Он проходит по нелепому городу как напоминание: я здесь, я — тундра, снег, комары, солнце, смерть... Да, я, я — рядом, вокруг вас. Что перед этим две горки, тысячи тонн, акции, статьи «Северного сияния» и королевская живопись? Наваждение, легкий взбалмошный сон.

Снова взрывы. Снова гул поезда. Басит в Пориусе горная река. Ее предательски ловят, как ловят в силки птицу. Это восемьдесят тысяч лошадиных сил. Это сотни поездов: налево и направо. В Люлео грузят шведы, а Нарвике — норвежцы. Впрочем, к чему этнография? Руда всюду руда. Скрипят железные жирафы с шеями, сложными, как сама жизнь. Пароходы сначала игриво покачиваются, потом, объев-

шись грузом, тяжелеют и пыхтят. Нехотя выползают они из гаваней навстречу северным штормам. Вот в этих черных трюмах счастье Рура, возрождение Германии, если угодно — локарнская идиллия, завтрашний день заводчиков, биржевиков, коммивояжеров, дипломатов, не говоря уже о господине консуле, который сейчас, закусывая тминную водку копченой олениной, скосил мечтательный глаз на вечерний бюллетень.

Так на краю света бьется эта необычайная жила. Пульс наполнен и част. Ведь даже два крикуна — и те ушли с кочек на копи.

Вторая смена! Пора! Пора!

Пройдет месяц, другой, солнце наконец-то ослабеет, оно уступит, провалится в рыжую темь. Снова восторжествует первоначальная темнота. Как она здесь понятна любому котелку! Она исключает историю, сплетни, всю арифметику человеческого недоброжелательства. Есть в ней столь необходимое этим мечтателям с тростями жестокое постоянство. Медленнее тогда движется кровь, «шевроле» спят в гаражах, воет вьюга, а сугробы шутя сглатывают газеты, статуи, даже витрину с котелками, даже вздохи почтенного господина Томсона.

Потом — это бывает всегда в конце февраля — один из рудокопов, работая на самой макушке горы Кируноваары или Луосаваары, рудокоп с инеем вместо предполагаемых слез тихо, вежливо говорит другому:

— Ага, вот и оно!

Это в полдень на юге, возле горизонта серое, болезненное пятно, это резь глаз полуслепого человека, это языческий праздник, и это, скорей всего, ничто — не символ, не надежда, не толчок сердца, только календарь: после огромной ночи огромный день. Таких суток в жизни человека здесь сорок или пятьдесят. А потом?.. Потом — промерзлая земля, которую приходится взрывать, как руду, или же слякоть заведомого болота. Так мстит природа. Но человек — тот, что, как известно, издавна зовет себя ее «царем», человек настаивает, задается, презрительно щурится, он молчит до самой смерти. Одни на одной горе, другие — на другой. А третьи?..

У третьих порою озноб среди сна, а в несгораемых шкафах, в железных и вечных, легонькие пачки воистину дивных акций.

Аксель Ландстрем работает на геливарских рудниках. Он зарабатывает в месяц шестьсот крон; на это можно жить, хорошо жить — с идеями и с третьим блюдом. Когда он гуляет, на его руках лайковые перчатки. А под ними обыкновенные мозоли. Аксель — коммунист. В свободные часы он пишет статьи, например: «Национальный вопрос на Балканах и задачи пролетариата». Статьи эти он сам переписывает на машинке: у него чудесная «корона». Я у него пил кофе и даже потолковал с ним о разности многих вещей: о разности партийных фракций и о разности автомобильных марок. Аксель не согласен с доводами шведской оппозиции. Что касается автомобилей, то особенно нравится ему «бьюик», недавно приобретенный секретарем местной ячейки. Мне не пришлось с ним удовольствоваться красноречивыми улыбками: Аксель немного говорит по-немецки. Он славный малый,— крутой лоб, мохнатые, как мох, брови, а под ними явно младенческие глаза. Много читал, голова на плечах,— словом, потолковать с ним стоит. Все же я не стал бы настаивать ни на статье о Балканах, ни на мохнатых бровях. В Швеции много рудокопов, у всех перчатки, все они доки по части автомобилей и все преданны коммунизму. Если я сейчас говорю об Акселе, то только потому, что имеется у него дома одна подлинная достопримечательность,— не электрическая плита — этим здесь никого не удивишь, не двадцать томов энциклопедического словаря в переплетах с тиснением — это тоже в порядке вещей,— нет, совсем другое: русская жена, пухленькая Нюша из самой что ни на есть Тулы, ну а это в Геливаре — действительно уникум.

Началось все с идеологии. В Советский Союз направилась делегация шведских рабочих. Аксель очутился в России. Это было не путешествие, но паломничество. Поль Моран в Москве увидел рваные тулупы извозчиков и экзотическую страсть полуазиатской коммунистки, искупавшую отсутствие шелковых чулок. Английские промышленники подозрительно косились на довоенные машины, на хвосты возле булочных, на горячечные зрачки беспризорных. Аксель видел одно — революцию. Он знал у себя дома довольство, и это, видимо, помогло ему не презирать нищету.

Он ведь хорошо понимал, что даже автомобили «бьюик» не обозначают счастья. Из перчаток и мозолей дорожил он мозолями. По Москве ходил этот чудной богомолец в куцем заграничном пальто. Даже сомнительную колбасу глотал он с вдохновением, ни на минуту не забывая, что это не просто колбаса, а «советская». Так глотают верующие кусочек просфоры. Аксель Ландстрем причащался нашей гордости и нашей беде.

Потом он поехал на юг, в Донбасс. Там он схватил воспаление легких. Его отправили в дом отдыха на поправку. Он пил молоко и думал о революции. Молоко приносила в комнату молодая сиделка. Акселю было двадцать восемь лет. Он писал статьи и никогда не думал о женщинах. В Геливаре были только рудники и автомобили. Здесь он увидел девушку. Так родилась любовь, о которой можно написать роман в духе Диккенса, смешная любовь косолапого северянина, неспособного даже в ней признаться: он ведь знал по-русски только два слова: «чай» и «ничего». Были ли столь убедительны младенческие глаза или Нюша отличалась догадливостью, только несколько раз рука сиделки подолгу задерживалась на лбу больного. Я не знаю, что в точности было потом: целовались ли они или дело ограничилось вздохами; так или иначе, выздоровев, Аксель уехал к себе, в Геливар.

Стояла обычная лапландская зима. Полыхало на небе северное сияние. От сияния электрических ампулек, от снега и от глаз Нюши Аксель часто жмурил глаза: он никак не мог забыть молодую сиделку. Ведь это была не просто девушка, не фрекен из Люлео, которая только и думала что о хорошей партии и о квартире с удобствами, не голливудская «стар», которая по субботам плачет перед рудокопами поддельными слезами оттого, что ее проклял отец-банкир, или оттого, что у ее возлюбленного еще нет твердого положения,— нет, Нюша была русской. Если Аксель обожествлял даже советскую колбасу, легко догадаться, как думал он о советской девушке. Любовь не отрицала пишущей машинки с начатой заново статьей,— нет, она ее осеняла. Что касается двадцати восьми лет, то они бесновались, они отрывали руки от клавиш, они гудели, как комары, они требовали по праву своего: Нюшу! В апреле Аксель написал советскому консулу, а к началу мая, добившись от дирекции

двухнедельного отпуска, оказался в столь знакомом ему доме отдыха перед живой и ничуть не изменившейся Нюшей.

О радостях разделенной любви и о формальностях загса рассказывать нечего: то и другое хорошо известно. С тех пор прошел год. Знакомя меня с женой, Аксель сказал:

— Если бы вы знали, как я счастлив! Жалею я только об одном: Нюша до сих пор не научилась говорить по-шведски, это мешает ей принять участие в нашей работе.

Нюша действительно по-шведски знает только несколько слов, и все это — названия продуктов, которые она забирает в соседнем кооперативе. Может быть, знает она также ласковые эпитеты, но ведь это не относится к делу. С Акселем она разговаривает, как и год тому назад,— руками и улыбкой. Я оказался первым человеком, с которым она могла после долгого молчания поговорить всласть. Что же, она отвела душу!.. Но прежде всего — несколько слов о ее внешности. Это полная русая женщина с заметной грудью и с глазами обиженной коровы, которой не дали спокойно дожевать жвачку. У нее хорошая улыбка, но голос неприятный, сварливый. Таких женщин у нас много. Сознательные — предпочтительно кондукторши трамвая, а несознательные торгуют на улице лифчиками. Впрочем, при случае из них делают тургеневских героинь.

Первым делом Нюша спросила меня с какой-то атавистической опаской:

— Вы что же, партийный будете?

Услыхав, что я беспартийный, она досадливо пожала плечами:

— А эти-то тут... С жиру бесятся!

Аксель рядом улыбался. Он, наверное, в эту минуту думал о том, что Нюша его жена и что Нюша — душа революции.

Нюша хвасталась:

— Не знаю, как у вас там, в Париже, то есть с материалом, а здесь сколько хочешь, и в клеточку и в полоску... Потом, с платьями очень здесь организованно: возьмешь в магазине, поносишь неделю, а потом назад — «передумала»,— деньги отдают крона в крону. О хозяйстве и говорить нечего: даже прачечная в доме своя и на электричестве работает, только выключатель повернуть, честное мое вам слово...

О начале романа рассказал мне Аксель. Нюша об этом промолчала. Зато восторженно, хоть и малость фривольно, описала она свой приезд в Швецию:

— Сели мы, значит, в спальное купе, а там уже застелено, и, вы меня простите, но даже горшочек — ходить далеко незачем... Тут-то я поняла, что такое настоящая жизнь!

От смущения она покраснела. Она улыбалась милой, задушевной улыбкой. Я не стал ее допрашивать, откуда она такая взялась: может быть, я ее уже видел в Москве или в Ростове, а если не она это была, так ее сестра... Зощенко очень талантливый писатель, но своих героев он все-таки не выдумал, они живут-поживают в тысячах расейских городов. Уж не так плоха Нюша. Ее можно, пожалуй, расшевелить; тогда она поплачет над стихами Есенина и пожалуется на свою судьбу:

— Муж-то чужой — языка нет, кругом все шведы да шведы...

Мужа она любит настоящей, хорошей любовью, но в то же время она его ненавидит. Она не может простить ему одного: вот этого равнодушия к вещам и вещицам, к выключателям и к спальному вагону, к коверкоту и к кофе, к теплой квартире, к сытому обеду: «Черти, с жиру бесятся!..»

Аксель думает, что она коммунистка, а она — просто Нюша из Тулы. В девятнадцатом году белые пристрелили ее брата. Мать ее умерла от сыпняка. Она сама переболела двумя тифами. Она видела трупы на улице, голод и лопнувшие трубы водопровода. Замуж она вышла не за подлого банкира с плаката, а за самого обыкновенного рабочего. Она увидела «настоящую жизнь». Она могла бы быть вполне счастлива. Но вот приходят товарищи, забирают мужа на какую-то сходку. Мало ли что может приключиться? Нюша злобно поджимает губы.

А муж ее все улыбается — он ведь не понимает по-русски:

— Времени мало. Так хотелось бы научиться, чтобы русские газеты читать, и потом с Нюшей...

На столе — два толстущих словаря: шведско-русский, русско-шведский. Когда становится невтерпеж, они раскрывают словари, но в словарях столько слов, а человеческий день так короток!.. Аксель работает на рудниках... Статья еще не дописана... Нюше пора в магазин... Словари закрываются.

Они считают свою немоту проклятием. Нюша плачет, и Аксель хмурит мохнатые брови. Они не понимают, что это их единственное спасение, не пощада, но все же отсрочка, выданная жизнью. Если бы он знал, о чем она думает! Он, конечно, не понял бы ни трупов на улице, ни сыпняка, ни всего лихорадочного детства, жизни впроголодь, среди двух пуль. Он понял бы только одно: «материал», «горшочек», жестокий обман. Он стал бы вдовцом среди снегов Геливара, преследуемый в ночи доверчивой улыбкой и коровьими глазами, полными древнего недоумения: за что полюбил и за что отверг?

КОРОЛЬ СПИЧЕК

За границей Швецию представляет Сельма Лагерлеф. Это, разумеется, весьма лестно для изящной словесности. Так рождается образ страны, вдоволь романтичной: старинные поместья, трогательные сумасброды, любовь, не то слишком бесплотная, не то слишком уютная, но обязательно любовь. Это Швеция возле камина, не страна, а столько-то прочитанных, предпочтительно в юности, книжек.

Кроме официального представительства, существует и другое. Все столицы мира хорошо знают одного шведа. Это не Йеста Берлинг. Это самый что ни на есть живой человек. Ему всего сорок девять лет от роду. Он может спасти Грецию или даже Польшу. Он может выручить из беды и победительницу Францию. Как у себя дома, распоряжается он в Чили и в Египте. О нем мечтают в часы бессонницы министры финансов больших и малых держав. Может быть, некоторые и забывают, что он швед: ведь в Швеции всего-навсего шесть миллионов душ. Зато все хорошо помнят, что он король спичек: основной капитал его треста равен 892 миллионам крон. Однако он не только блистательный финансист, который хорошо разбирается в русском дереве и в американской морали, он также швед, самый доподлинный швед из Кольмара, сын небольшого спичечного фабриканта и, конечно же, господина консула.

От мечтаний Карла XII остались статуя на одной из площадей Стокгольма, главы учебника — мытарство шведской детворы, да, пожалуй, воинственные бра-

вады капитанов в отставке за бутылкой паечного пунша. Новый век кичится не военными трофеями, но цифрами годовых балансов. Дело короля-романтика осуществляет ныне чрезвычайно скромный человек, в обыкновенном пиджаке, без шпаги, даже без одописца. Он беседовал с Пуанкаре о спасении франка и о блеске латинской культуры, представителям немецких рабочих он объяснял, как надлежит им бороться с безработицей, в Москве он упоминал о кредитах, которые смогут помочь индустриализации Советского Союза. Этот человек торгует самым дешевым и самым вздорным товаром: коробками спичек. Год за годом страна за страною он умело прикарманивает мир. Зовут его коротко и прозаично: Ивар Крейгер.

О связи вполне личных дел господина Крейгера с сущностью Швеции догадаться нетрудно: стоит только понюхать страну. Если Дания пахнет свиным хлевом и снятым молоком, а Норвегия — обязательной своей треской, то в Швеции преследует приезжего неотвязный запах гниющего дерева. Это не лирическая галлюцинация, а бюджет государства. В Европе деревья — стихи, притом стихи с гонораром построчно, все наперечет, основа пригородного кабака, приманка для туриста или же награда честному рантье за сорок лет мелкого грабительства. О, сколько раз вы описаны наилучшими авторами, липы или каштаны, под которыми беззаботно завтракают в так называемых беседках внуки Дантона и Сен-Жюста, обитатели тысячи Фонтене-су-Буа! В Швеции деревья эти прежде всего хлеб. Больше половины страны покрыто лесом. Одни вырубают лес, другие сплавляют его по значительным и меланхоличным рекам серого севера. Деревья то мечтательно плывут, то в отчаянии несутся навстречу смерти. Порой бревна затирают проход. Тогда далеко окрест раздается смутный гул: дерево взрывают динамитом. Длинным железным пальцем вылавливает человек за стволом ствол. Цепь подхватывает еще полные воды и сока деревья. Они пахнут напоследок тепло и приторно: они как бы пробуют естественно умереть. Но в дело вмешиваются усовершенствованные машины. Это тысячи лесопилок, это бумажные или спичечные фабрики. Так смешиваются поэзия и отменные барыши, так в один сливаются два голоса: тот, что от Сельмы Лагерлеф,— задушевный шепот живого леса, и другой — скрежет, невыносимый скрежет всех лесо-

пилок, скрежет нервический и ожесточенный, где что ни писк, то кроны, скрежет на весь мир, покрывающий идиллические шелесты хрестоматий, не скрежет, точнее — сухой, деловитый голос господина Ивара Крейгера.

Лес Швеции определяет мир: телеграфные столбы на дорогах Вестфалии, лодка, с которой удит предполагаемых пескарей господин премьер-министр республики, бумага, огромные валы серой паскудной бумаги, готовой сразу истлеть. Недаром в суровой Швеции столько заповедных чащ; завтра они разнесутся по миру, миллионы неопрятных листов с парламентскими прениями, с проказами Ландрю, с портретами боксеров и с неизменными курсами крейгеровского треста.

Леса Швеции — это спички, крохотные кокетливые коробочки, желтые, синие или красные, с пароходами, с гербами, с пламенем, с именами самыми возвышенными: «Соло», «Гелиос», «Аврора». Во всех подворотнях мира беспризорные дети, инвалиды, слепые, хромые, жалкий брак природы, или же герои отечества с проблематической пенсией в дождливые жестокие вечера жалобно выкрикивают: «Спички, шведские спички!» Это сказка Андерсена, а также будни человечества. Спички, как им и полагается, вспыхивают: итальянка зажигает нищую жаровню, варшавские евреи — субботние свечи, истопник отеля «Виктория» — гигантскую печь, а господин Ивар Крейгер — египетскую папиросу. Спичка горит несколько секунд. Об ее краткой жизни любят взволнованно говорить лирические поэты. Что касается господина Ивара Крейгера, то он, избегая символическую поэзию, дает миру спички, а мир — мир берет себе.

Родиться в маленькой стране — какое образцовое несчастье для гениального поэта! Стихи не биржевые курсы, с трудом переползают они через границу. Поэзия умирает вместе с национальными костюмами, с той мудростью своих едва объяснимых деталей, которыми справедливо гордился любой карликовый народ. Зато универсальна и всечеловечна новая романтика биржи, контрольных пакетов, заводов, консорциумов. Нет для нее племенных или языковых рубежей. Здесь первые роли сплошь да рядом выпадают провинциалам, уроженцам тех стран, которые только в угоду демократическому райку приглашаются на парады Лиги Наций. Что означает греческий посланник в Париже

или в Лондоне? Один дипломатический завтрак и опостылевшие просьбы об очередном займе. Но не только по речам Ллойд Джорджа или по резолюциям французских радикалов будут историки изучать бурную жизнь Европы первой четверти нашего века,— не раз натолкнутся они на массивную фигуру грека Базиля Захарова. Роль Питта русской революции с правом сможет оспаривать у Чемберлена голландец Детердинг, хоть он не дипломат, а торговец нефтью. Американские легионеры положили на могилу солдата венок в сто долларов, а нью-йоркский муниципалитет попотчевал Макдональда первосортным харчем. Но вряд ли кому-нибудь из европейцев с большей легкостью удалось приучить к себе дикий, как бизон в прерии или как губернатор Фуллер, Уолл-стрит, нежели полуанонимному шведу.

У немца, у англичанина, у француза свои поместительные дома, не так-то просто им управиться с хозяйством: хватит на целый век. Самые просвещенные заглядывают в щелку к соседу: кое-что высмеять, кое-что перенять. Но, скажите, что же делать дома голландцу или шведу? Их первый разумный шаг — это открыть дверь. Тогда уже нет удержу — не менять же маленькое государство на большее! Они растут в пренебрежении к границам. Происходит отбор: те, что приземистей, остаются у себя дома,— это захолустные пасторы, нотариусы или лавочники; смельчаки же, порвав однажды с идеей пространства, становятся воистину гражданами времени.

До воцарения Крейгера финансовая знать Швеции жила жизнью замкнутой, уютной и подозрительной. Она жаждала выродиться как можно скорее, чтобы и в этом не отстать от подлинной аристократии. Здесь были ужины при свечах и коллекции старых монет, геральдические деревья, заказываемые изысканному жулику с дипломом, тосты за победу шведского оружия, погоня за титулами, вист с раздражительным королем и даже охота на воображаемых фазанов. Богатство сопровождалось не только подагрой, но настоящим душевным надрывом. Один из самых крупных банкиров Стокгольма недавно приобрел склеп для погребения. Каждое утро ходит он на кладбище, чтобы всласть налюбоваться на последнюю свою недвижимость. Это не случайная прихоть самодура, но справка о возрасте Швеции.

Крейгер, однако, молод и прост, как его время. Он не аскет и не мот. Вместо идеологии у него жизнерадостность. Он может беседовать о живописи или о Фрейде, но вдохновляет его лишь одно: цифры. Как поэт в полубреду нападает на внезапные ассоциации, так Крейгер между глотками вина, между двумя обязательными улыбками рождает какое-нибудь новое общество: трест в Боливии или же подставной синдикат для закупки швейцарских фабрик. Он приверженец ультрасовременной дипломатии: для дела, как и прежде, секретные договоры, для общественного мнения — карты на стол, дешевые спички, всеобщее благоденствие — словом, не спичечная империя, но очередная услуга измученному человечеству. Однако филистерством он не грешит. Это не Форд. Сын народа, давно пресыщенного и культурой и богатством, он не допускает ни религиозного шутовства заатлантических мормонов, ни их филантропического скопидомства. Правда, он склонен верить в свою миссию, но у него это не самовозвеличение, а фатализм: «Я, Ивар Крейгер, мечтаю об одном — о расширении моих дел. Сейчас в руках треста восемьдесят процентов мировой продукции, я хочу, чтобы были все сто. Мое честолюбие, моя алчба совпадают с благом человечества. Я застал спичечную промышленность в хаосе, я привел ее в порядок. Я, разумеется, эгоист, но мой эгоизм — подлинное служение человечеству».

Крейгер верит в одно: в капитал, в его универсальную и мистическую сущность. Тактика его неизменна: во всех странах год за годом скупает он спичечные фабрики. Он отнюдь не настаивает на шведском импорте. Пусть спички изготовляют в Японии или в Бельгии, пусть называют их не «шведскими», а «чешскими» или «финляндскими»,— деньги идут ему, шведу Крейгеру. Он караулит чужую беду. Если у конкурента дела идут плохо, доверенный Крейгера тут как тут: вот за фабрику, вот за инвентарь, вот отступные, все в хорошей валюте и наличными, не скупясь. Если противники сопротивляются, Крейгер берет их измором: он спускает цены на товар. Его трест может ждать год, два, пять лет, фабриканты ждать не могут. Они волнуются, работают в убыток, пробуют шумно протестовать, чтобы, вскоре разорившись, вежливо подать свои визитные карточки агенту всесильного треста.

«Но ведь это только семейные раздоры, дележка барышей, право сильного, дополненное издание Золя или нормальное биржевое безумие: еще один рвач, способный малый, сглотнувший разную мелкоту»,— скажет, пожалуй, раздосадованный читатель. «При чем же тут шпага Карла XII и тирада о завоевании мира? Один торгует спичками вразнос, другой оптом — и все тут». Да, конечно, современные Карлы избегают эффектных жестов. Трест Крейгера тщательно скрывает свои трофеи. Подставные лица, вымышленные названия, чужая дощечка на двери и возвышенные монологи о поддержке национальной промышленности. За коробку спичек покупатель платит столько-то центов, пфеннигов, сантимов, он платит их лавочнику на углу или же босой девчонке: разве он знает, кому он платит? Только изредка, выпуская новые акции, трест как бы вскользь упоминает о своих очередных победах: Мексика или Дания, Португалия, Югославия, Латвия...

Впрочем, даже скептический читатель — и тот, наверное, усмехнется, увидав, как спокойно, лаконично, по-хозяйски разговаривает господин Крейгер не только с фабрикантами спичек, но и с министрами: ведь до сих пор еще принято думать, что государство как-никак не просто акционерное общество с таким-то капиталом и с такой-то задолженностью. Когда надо, Крейгер умеет быть классическим либералом: он, видите ли, сторонник свободной торговли и враг всяческих монополий. В Швейцарии правительство долго поддерживало местных фабрикантов. Господин Крейгер негодовал: да здравствует честная конкуренция! Это, однако, не догмат веры. Одновременно в Перу Крейгер домогался монополии, выложив правителям сей поэтичной и достаточно продувной республики двести тысяч фунтов чистоганом.

Разоряться свойственно не только спичечным фабрикантам. На помощь Крейгеру пришли война, версальская бестолочь, кризисы, инфляция. Газеты восторженно писали о хозяйственном возрождении Польши: ведь атташе польских миссий потчевали журналистов не падавшими злотыми, но самой наишикарной валютой. Прочитав должное количество сообщений о возрождении Речи Посполитой, Крейгер понял, что его час настал. «Шесть миллионов долларов...» Надо ли добавлять, что польская панна не устояла? Сглотнув

Польшу, господин Крейгер начал обхаживать французов. Он уже было столковался с господином Пуанкаре, но его подвели избирательные бюллетени, смена кабинетов и якобинские тирады упоенных нежданной победой радикалов. Эррио не хотел разговаривать с Крейгером. Что же, Крейгер мог подождать. Упал франк. Упал и Эррио. Господин Пуанкаре снова возобновил прерванную на полуслове беседу со столь симпатичным шведом.

Победа за победой! Все здесь предусмотрено, даже борьба с зажигалками: их надобно облагать высокими налогами. Трест Крейгера дает большим и малым державам деньги в рост. Хорошие, разумеется, проценты. Эти деньги Крейгер берет у Уолл-стрита на куда лучших условиях. Его ли вина, если американцы доверяют ему, а не каким-то польским министрам?

Но почему же хмурится лоб господина Крейгера? Говорят, будто бы одна страна никак не хочет сдаться на его милость. Уж не Аргентина ли это? Нет, господин Крейгер презирает Аргентину: танцоры танго и скупщики женщин не признают шведских спичек: им, оказывается, по вкусу только восковые спички. Что же, не будем вовсе говорить об Аргентине! Крейгера раздражает другая страна, близкая соседка Швеции. Правда, у нее мало денег, фабрики ее плохо оборудованы, куда ей соперничать с крейгеровским трестом! Но у этой страны строптивый характер — и к тому же осина.

О характере этой страны писали немало. Здесь Ивару Крейгеру легко отвести душу: он может поговорить хотя бы с сэром Генри Детердингом. Но при чем тут осина? Наши бабы — те хорошо знают, что на осине, именно на осине, не на березе и не на липе, повесился Иуда. Крейгера занимают, однако, не бабьи сказки. Он знает другое: для спичек нужна осина, а в самой Швеции осины мало. Поискав, нашли малость в Финляндии, в Прибалтике, в Польше. Но подлинное осиновое царство — это Советский Союз. Правда, во Фландрии растут превосходные тополя; хотя тополь — не осина, но это правильное дерево. Правда, Крейгер надумал особую обработку шведского леса, которую держит он в секрете, нечто вроде поддельной осины, однако все это на худой конец, с горя, выждать, пересидеть, — для спичек нужна осина, осина на востоке, и осина никак не дается в руки господину Крейгеру.

Борьба строптивой страны с подлинными хозяевами пяти шестых света — это современный эпос, это история, и это также образцовый водевиль: интриги, переодевания, внезапные появления соперника, ссоры, поцелуи, все под хлопушки или под пробки шампанского — в предвидении артиллерийских залпов. Рядом с этой жестокой и сложной войной какими детскими забавами мнятся походы интервентов, пытавшихся задавить исторический пафос штыками сенегальцев! Сэр Генри вел войну за бакинскую нефть. Господин Ивар Крейгер теперь воюет за осину. Он бывал в Москве, толковал там и с дипломатами и со спецами, ел в «Савое» расстегаи. Наступал мир, который неизменно оказывался коротеньким перемирием. Выстрелы раздавались где-нибудь подальше и от Кремля, и от стокгольмской конторы Крейгера: в Греции или в Персии. На мировой рынок кинуты советские спички, не аллегория, не зажигательные прокламации Коминтерна — нет, обыкновенные спички из самой настоящей осины! В Москве они называются грозно «Ультиматум», и на коробке изображен патетический кулак. Для экспорта их одаривают более деликатными именами: «Феникс» или «Прометей». Суть, впрочем, не в именах, а в цене: эти спички куда дешевле крейгеровских. Вот она, козырная карта! Легко Крейгеру забить какого-нибудь швейцарского или бельгийского фабриканта, но здесь перед ним государство, пусть ослабленное войной и разрухой, пусть со сведенным животом и в перелицованной косоворотке, зато с упорством, с упорством и с осиной.

Одна из первых битв дана была в Греции. Во дворце сидел знаменитый Пангалос, охраняемый опереточными часовыми. Греки в своих «кофейонах» жевали тягучий рахат-лукум и горячились не иначе как из-за мировой политики. В это время агенты Крейгера — их вернее назвать трогательными миссионерами — просвещали душу Пангалоса. Они показывали ему, сколь горька да и мимолетна греческая коринка по сравнению хотя бы со шведскими кронами... Советские спички стоили дешевле; несмотря на все козни треста, они выдержали соответствующие испытания. Но миссионеры трудились недаром: Пангалос закурил одну из своих последних диктаторских папиросок крейгеровской спичкой. Вскоре его перевели из дворца в тюрьму. Договор, однако, был подписан.

Враги все же не угомонились. Они пробрались в Англию. Они пробуют вытеснить Крейгера из Дании. Они прокрадываются даже в Швецию, да, да, эти озорники с осиной пытаются подсунуть чистокровным шведам, землякам Ивара Крейгера, свои советские спички! Дальше идти некуда! Впрочем, не эти сентиментальные проказы волнуют господина Крейгера. Пусть тешатся. Он сейчас занят другим: настало время завершить покорение Германии. Еще в годы инфляции за бесценок скупил он две трети немецких фабрик. Все бы шло хорошо, если б не эти сумасброды... Россия должна продавать Крейгеру осину. Вместо этого она продает немцам спички. Она хочет завоевать рынок. Она хочет раздобыть валюту. Здесь-то господин Крейгер выходит из себя. Он грозится: «Я сумею ответить. Ваша спичечная колония — это Персия. Что же, я вас выживу из Персии. Я не пропустил вас в Тунис. Вы пробовали пробраться и в Египет. Но вы даже не знаете, что эти кокетливые архаики признают только крохотные коробочки. Я знаю. Я все знаю. Шутя я выбью вас из Египта. Вы все еще настаиваете? Вы хотите разбить меня в Германии? Не лучше ли потолковать на досуге?.. Главное — это калькуляция!»

Господин Крейгер любит считать. Он считает хорошо и быстро. Никогда не откладывает он решения. Столько-то миллионов крон, столько-то лет, такие-то льготы. Не прошло и четверти часа, как он отвечает: «Пункт А — согласен, пункт Б — ни в коем случае, пункт В — понизить на одиннадцать миллионов». Почему не на десять и не на двенадцать? Господин Крейгер уже все взвесил, все подсчитал до мельчайшей детали. В быстроте и в точности его сила.

Он предлагает: «Откажитесь от конкуренции в Германии. Мне — осину. Вам — заем. Мне — проценты. Мне — держава. Вам — жизнь». Строптивая страна упирается. Тогда Крейгер начинает обхаживать Германию, точь-в-точь как классическую Маргариту. Он заговаривает министров, заводчиков, политиков, даже рабочих. Социал-демократы в благородном негодовании пишут: «Только высокие пошлины могут спасти нашу спичечную промышленность и предотвратить рост безработицы». Разве вы не знаете, что господин Крейгер — это традиционный защитник пролетариата? Ликвидируя убыточные предприятия, он выдает работницам, даже престарелым, приличное приданое.

Конечно, Ганс Мюллер социалист, и он против нападок Китая на Советский Союз, но он также против безработицы. Ничего не поделаешь — он за Крейгера. Говорят, что спички подорожают. Но ведь все дорого, а спички — это мелочь, тем паче розничные цены почти не меняются: разница застревает в карманах посредников. А Венгрия? Там после победы Крейгера спички вздорожали втрое. Что же, посмотрим... Как-никак национальная промышленность. Борьба с безработицей — долг каждого честного бюргера. Журналисты трудятся вовсю: ведь это совестливые немецкие журналисты. Они не отдаются, подобно их латинским собратьям, на час или на два кому только вздумается: румынскому шулеру, опереточной диве или же фабриканту «крема молодости» за несколько сотенных, за отменный завтрак, за один лаконический жест, за руку, поднесенную к чековой книжке. Нет, немецкие журналисты — это порука добродетели; они идут на содержание только к вполне солидным людям. Крейгер никогда не подкупает: он покупает. Так целые страны превращаются в домашнее хозяйство, а независимая пресса — в очаровательный птичий двор.

Крейгер отнюдь не тщеславен. Ни интервью, ни фотографий. Подготовка закончена. Так называемое «общественное мнение» уже проставлено крупной цифрой в графе расходов. Господин Крейгер теперь разговаривает с министром финансов: «Пункт А — монополия мне, пункт Б — пятьсот миллионов вам». Дыхание в такие минуты теряет привычный свой ритм. Сигара господина министра, немецкая национальная сигара погасла. Погасшая сигара, как известно, пахнет никотином и смертью. Собеседник деликатно подносит господину министру национальную немецкую спичку, изготовляемую на одной из фабрик шведа Ивара Крейгера.

Для русских Полтавская битва — это гениальная поэма Пушкина, а также полузапамятованная страница учебника. Они забыли о Полтаве: ведь после Полтавы у них было два века шумной жизни, десятки войн, победы, поражения, революция, иные цели, иной пульс. Для шведов Полтава — свежее воспоминание, вчерашний проигрыш, живое похмелье. На Полтаве кончилась история великой державы. После — только захолустное счастье европейской окраины, зажиточные

фермеры, кроткие короли, образцовые заводы, первоклассные сепараторы, борьба с детской смертностью, Нобелевская премия раз в год и миролюбивые речи старого Брантинга. Карл XII — статуя на площади.

Ивар Крейгер не боится Полтавы. Его сотрудники молоды и отважны. У них американские широкие подошвы и шестое чувство — времени. Это наполеоновские генералы. Европеец Крейгер знает Европу. Он не бьет ее старомодным оружием, нет, он ее вяжет американским капиталом.

Шумят леса Сельмы Лагерлеф. Это сказка для туристов, и это воскресный отдых каждого шведского рабочего. Если прилечь в лесу — высоко небо, пахнет тупо и мудро сырая земля, и вечен, непреложен гуд верхушек: этот органист никогда не меняет нот — рождаемся, цветем, отмираем, переходим в дым, в гниль, в прах, в новый лес, в новую смерть. Обождите, господа деревья! Здесь требуется другой вариант все той же темы. Вы переходите в спички, в цифры, в огромную бессонницу господина Ивара Крейгера.

По рекам плывут бревна, скрежещут лесопилки, пыхтят суда. Что остановит его? Осина?.. Нет, он превратил себя, обыкновенного провинциала, сына господина консула,— в короля спичек, он сможет превратить любое дерево в заповедную осину. А вдруг пропадут спички, вдруг науке надоест довольствоваться одними усовершенствованиями, вдруг преподнесет она новое изобретение — хватит, мол, допотопных коробочек? Ведь искра Прометея не обязательно шведские спички. Вдруг трест Крейгера станет смешным, как трут и огниво? Что же, изобретателя можно купить, можно объявить его буйнопомешанным, можно, наконец, прибегнуть к калькуляции: новый патент столько-то лет, столько-то миллионов... Крейгер ведь только начал со спичек. Это его юность и его титул. Но у него заводы, у него рудники, он выделывает телефоны и шарикоподшипники, он хозяин кирунской руды и древесной бумаги, у него копи в Алжире, у него банки повсюду: в Париже, в Варшаве, в Бостоне. Со спичек он начал. Чем он закончит?.. Журналисты отвечают: организацией производства, победой, империей разума. А деревья, те, что шумят день и ночь, еще не срубленные деревья угрюмых шведских лесов, деревья знают свое: рождаемся, цветем, отмираем — дым, гниль, прах...

Когда человек идет по тундре, идет час, два, пять часов, постепенно отмирает его громоздкая биография. О том, что он приехал сюда с любопытством суетливого европейца, говорят только часы на руке да, может быть, белые листы записной книжки. Человека больше нет, точнее — его еще нет: тундра — это мир начерно, задолго и до часов, и до простого любопытства. Серое небо, серая земля, кочки или валуны, глина, камень, мастерская спившегося скульптора, материал, из которого можно было сделать самый обыкновенный мир, вплоть до коров и до биржи, из которого ничего не сделано: ни человека, ни природы. Таково классическое небытие. Отсутствуют все привычные глазу цвета: синь наверху, зелень листвы, чернота почвы. Человек давно позабыл о домах или о деревьях. Они, вероятно, только приснились ему, как томительное предчувствие. Ноги то увязают в топи, то отскакивают от земли, легкой и упругой, как будто не земля это, а резина. Крикнуть? Но нет эха. Пожалеть себя? Но кого прикажете жалеть: человека нет, есть серая тень, шатающаяся между кочками, лишенная и глаз и памяти. Кроме того, для жалости необходима передышка, а здесь нельзя остановиться, остановка здесь — это смерть. В пустыне путника задирают тигры, в тундре его убивают комары. Это не назойливые насекомые, не легкий кошмар наших летних вечеров, не мошкара, которая жужжит, как совесть, которая сулит бессонницу и волдыри. Они забивают глаза, рот, нос, уши. Если дотронуться рукой до лица — ладонь в крови. Среди первоначальной тишины их шум громок и требователен. Они напоминают о своих правах. Они ведь созданы до человека, они не могут потерпеть ни записной книжки, ни простого движения; кроме того, они хотят есть. Человек не испытывает боли. Он просто повинуется резине, той, что под ногами: он подпрыгивает. Еще час, два...

На минуту возвращается память: где ж он видел это? Ведь у прыгающего человека была биография, обыкновенная биография человека двадцатых годов двадцатого века. Не так ли выглядела земля возле фортов Дуомон или Морт-Ом в годы верденских боев? Может быть, это и есть правда, жизнь без прикрас, то, что внутри, под пашнями и под вежливостью, то, что

было и что будет? Может быть... Думать, шагая по кочкам, трудно. Человек больше не думает. Еще час, еще два...

Вдруг одна из кочек невольно привлекает его внимание. Вспомнив о своих маниакальных повадках, сердце начинает усиленно биться. Да полно, кочка ли это? Откуда же срубленные деревья? А вот на тех бревнах звериные шкуры, вот сушатся огромные рога оленя... Тогда вместо «земля» человек кричит: «Люди!» Эха нет, и никто ему не отвечает. Он стоит перед обыкновенной лопарской «котой». Дверь коты никогда не запирается, и человек входит внутрь. На корточках возле дымного огня сидят хозяева. Старик ковыряет кривым ножом деревянный ковш. Женщина варит похлебку. Дети и собаки спокойно дышат, как боги или как кочки.

Пришелец говорит приветственное «пурис». Тогда-то раздается эхо, тихое и протяжное. Даже лохматые лайки подхватывают «пурис». Это не слово, а вздох. Никто, однако, не смотрит на чужеземца, никто не спрашивает его, откуда он и зачем, как он прыгал по кочкам, как отбивался от комаров: спрашивать невежливо, да и глупо. Хозяин продолжает ковырять дерево, хоть ему и не нужен этот корявый ковш. Дымится похлебка. Дети не играют, дети как бы дремлют с раскрытыми глазами, глядя упрямо на желтый огонь. Они сидят так час, день, жизнь. Можно бросить ковш, можно снять с огня котелок. Тогда-то наступит самое доподлинное: тишина и отсутствие, только заумно будут тявкать пушистые псы. Который теперь час и который год?.. «Калевала» написана очень давно, до Крейгера, до всех Карлов, до учебника истории, но уже в «Калевале» сказано об этих неподвижных, неморгающих, как бы стеклянных глазах: «Лопари не пекутся ни о богах, ни о людях, так достигли они самого трудного: они живут вне желаний».

На лопарских шапчонках, как пламя, пылают багровые хохолки, пимы обшиты ярко-синей каемкой, даже кисеты из оленьей шкуры и те принаряжены: желтые или же малиновые кисточки. Это вместо южного неба и васильков, вместо маков, вместо пшеницы и жизни. Это также некоторое самоутверждение, справка — «человек», чтобы не затеряться среди тусклой анонимной тундры: хохолок, шнурочек, кисточка, мертвые цветы, уступка веселью, щегольству, слабости.

Зато суровы и голы их коты: это чум, покрытый берестой или же, к зиме, оленьими шкурами. В котах побогаче — чугунная печь с трубой; в тех, что победнее,— по старинке: внизу костер, а над ним дыра и звезды. Во всех котах, в бедных и в богатых, огонь — это единственное убранство, гордость, даже развлечение. Возле огня сидят лопари на корточках, сидят часами, глядя на языки пламени и медленно гладя одним пальцем другой. Гость скромно садится у двери, учтиво его сажают поближе к костру. Путь от порога к огню — это столько-то тысяч голов оленей или, на худой конец, почтение к знатному роду, все то, что на юге, не в дымной юрте, но в салоне Стокгольма определяется цифрами годового дохода или пафосом визитной карточки. Вот лопарь, кривоногий, бурый, косоглазый, весь скрюченный, как лапландская березка,— это, бесспорно, местный господин консул: он ведь в тесном родстве с самыми именитыми семьями. А другой, рябой и сонливый, с засаленным хохолком и с глазами тусклыми, как болото,— это лопарский Крейгер: в его стаде три тысячи голов, он сидит, разумеется, у костра.

Так и здесь, среди снега, среди ночи отдана дань той абстрактной пирамиде, которая, наперекор и кресту и ватерпасу каменщика, остается сокровенной фигурой нашего злосчастного человечества. Но, слов нет, место у огня, скорее, поэзия, нежели грубая сила. Богатство здешнего Крейгера вдоволь условно. Оно кончается там, где начинается богатство оседлого человека: ни земли, ни дома, ни утвари. Все имущество лопаря богатого, как и бедного, помещается в небольшом сундучке, непременно расписанном яркими розанами. Кто знает, как скромен был бы господин Ивар Крейгер, если бы пришлось ему таскать на спине все свое достояние... Один нож или пять, один ковш или два, пузатая фляга с солью, эмалированный кофейник, сахар, трубка, табак...

Под ножами в кисете деньги. Даже владелец трех тысяч оленей не вздумает положить их в банк — в какой? Ведь из Финляндии сундучок тащится в Швецию, из Швеции в Норвегию, повинуясь только таянию снегов и аппетиту оленей. Здесь разгадка того баснословного счастья, о котором с завистью говорит певец «Калевалы»,— лопари не знают привязанности. Это сама свобода в неуклюжих пимах. Это цыгане без

жадности и без музыки. Топкой земле здесь не удалось засосать человека. Он прыгает с кочки на кочку, с года на год; прыгая, он умирает. Тогда родичи вместе с сундучками тащат его труп, чтобы похоронить отца или брата на лопарском кладбище. Мертвому дано еще месяц-другой постранствовать, прежде нежели впервые осядет он на единственной территории лопарей, на угрюмом, как тундра, кладбище.

Правительства различных государств подписывают конвенции о свободном пропуске кочевников с их стадами. Это дело дипломатов. Что лопарям договоры и границы? Среди тундры нет ни столбов, ни часовых, эта поэма не допускает цезур, ее следует произносить не переводя дыхания. Мох повсюду мох — шведский или норвежский. Когда снег тает, олени идут на север, они поднимаются на горы, в августе они спускаются вниз. Так маленькому племени на окраине Европы среди трестов и туристов еще удается следовать мудрости птиц, не считаясь ни с визами, ни с обязательным патриотизмом, ни с настойчивостью любого корня, который равно вяжет и репу и дуб — здесь расти, здесь, не у черта и не у соседа...

Вместе с лопарями и с оленями путешествуют косматые лайки. Трудно их назвать собаками — это прежде всего члены семьи. Никто их не бьет палкой, и они не умеют подобострастно поджимать хвост,— нет, с гордо поднятым хвостом входят они в коту и ложатся на самое почетное место возле огня. Они спят с людьми, с ними ходят в церковь, они умеют не только загонять стада оленей, но и благообразно хоронить своих хозяев. Лайки — оплот бродячего хозяйства. Они уводят весной стадо в горы, осенью они приводят его назад. «У меня триста оленей и четыре собаки» — так определяет лопарь свой достаток. Приравненные в правах к человеку, лайки любят свободу и путь. В их благородстве, в их нежности и неподкупности живой пример того, что делает из собаки цепь, обыкновенная цепь, которой привязана она к вонючей конуре, как ее хозяин, преследуемый кошмарами и ворами, привязан к своему жалкому добру.

Не следует думать, будто бы лопарям никто не протягивает анекдотического яблока. Нет, об их просвещении немало заботятся столь гордые своей культурой шведы. Лопари, если угодно, лингвисты: друг с другом говорят они по-лопарски и по-фински, но они

знают также шведский, а зачастую и норвежский языки. Шведы устраивают бродячие школы: там лопарских детей обучают шведской письменности и шведской истории. Учитель, сидя на корточках, рассказывает о Густаве Ваза или о Карле XII. Дети внимательно слушают: они ведь не умеют быть рассеянными.

Старые лопари чуждаются шведов. Они молчат, когда приходит в коту чужестранец. Они не любят заглядывать в города; оленье мясо, меха, рога отдают они странствующим скупщикам. Пуще всего боятся они фотографического аппарата: стоит снять с человека изображение, как он попадает во власть хитроумного ловца. У них немало языческих поверий, хоть все они лютеране. По праздникам к ним наезжает пастор с витиеватой проповедью. Они слушают его молча, сидя на корточках, внимательно слушают; они говорят пастору: «Пурис», а потом расходятся по своим котам. Пастор выпивает из дорожной фляжки рюмку запретной здесь водки, чихает от сырости, проклинает в такой-то раз ужасную епархию и уезжает назад в городок.

Молодые лопари охотно беседуют с пришлыми. Они даже читают газеты. Там пишут о немецких платежах, об осложнениях в Маньчжурии, о последних интригах либералов или консерваторов. Лопари читают газету внимательно, от доски до доски. Иногда, попав в город, они заходят в кинематограф. Американские бандиты богатеют, целуют чужих девушек и ловко стреляют в полицейских. Лопари смотрят на экран не моргая, смотрят восторженно и, по существу, равнодушно, как на огонь своей коты. Они видят жизнь, и их трудно чем-нибудь соблазнить. Даже самые способные, пренебрегая советами учителя, остаются в котах, они не становятся ни инженерами, ни почтовыми чиновниками. Даже самым богатым не придет в голову променять оленей на дом, на фабрику или на пакет акций. Они не участвуют в этой игре.

Они многое видят. В Тромсе причаливает роскошная яхта «Стелла-Поларис». Нью-йоркские маклеры и колбасники из Чикаго лениво покачиваются на шезлонгах. Они едут в Нордкап, чтобы выпить там в романтическом киоске бутылку шампанского среди полночного света и воображаемых пингвинов. Миссис швыряют экзотичным кочевникам монеты и втихомолку щелкают кодаками. Лопари для них обещанный «Куком и сыном» полярный мюзик-холл. Лопари смо-

трят в сторону и вежливо улыбаются. Если турист входит в коту, они тихо говорят ему: «Пурис». В Кируне лопари видят руду, деревянные дворцы, золотые статуи, церкви, магнолии и ананасы за стеклами, котелки рабочих. Лопари тихо проходят мимо Кируны. Что же еще?.. Абиску — этот Сан-Мориц среди тундры, чемоданы с наклейками, пестрыми как атлас, немцы с многотомными исследованиями о флоре Лапландии и с каникулярным аппетитом, шведы-молодожены, набравшие в рот воды, англичанки, требующие у меланхоличного метрдотеля белых медведей или же полярного сияния этак в июне?.. Киркенес с норвежской рудой? Фабрики целлюлозы? Электрические станции — сотни тысяч лошадиных сил,— тишина, турбины, стрелки, энергия, равная смерти? Свет, богатство, культура?..

Да, они видят все это, их веки не моргают, они живут сосредоточенно, они все, все видят. Они знают ходы игры, блеск золота, чужую дрожь. И все же они уклоняются, не пытаясь даже протестовать, не почитая тундру за свою, не говоря о национальном меньшинстве, они уклоняются от этой игры молча, медленно гладя одним пальцем другой.

Рядом с ними люди ищут счастья. Они стараются превозмочь природу. Они уже раздобыли руду, белый уголь, центральное отопление, автомобили и радиоконцерты. Они ищут теперь справедливости, универсального довольства, автомобиля для каждого русского, радиоконцертов в Китае. Они предлагают лопарям железо, труд и счастье. Что же, это один путь, здесь они — учителя, кто лучше их умеет бороться? Эти голубоглазые и угрюмые шведы не умеют уступать. А другой?.. Другой путь хорошо известен кривоногим лопарям. Ноги у них кривые от лыж, но здесь дело не в ногах. На этом пути счастье не в каком-то задуманном конце — оно здесь же, сразу, в начале. Стоит ли вправду заботиться о богах? Это мечты кирунских рудокопов, лекомысленный шелест газет или попросту месячное жалованье пастора. А о себе... Но разве не высшая забота о себе — это отсутствие всякой заботы?

БЛИЗОСТЬ ПОЛЮСА

О прелести Швеции мало кто догадывается, она скрыта и требует душевного подъема, она не дается сразу, как трехцветный плакат бюро путешествий.

Норвегия же издавна облюбована всеми ловеласами, которые волочатся за так называемыми красотами природы. Только сдержанность термометра и океан, сулящий морскую болезнь, предохраняют ее от участи Швейцарии. Не будем же говорить о фиордах! Ей-ей, это не морские заливы, это только мириады открыток и вздохи растроганных англичан. После Швеции не снежными вершинами поражает путника эта страна, но наличием людей, хотя она еще малолюдней Швеции, хотя между двумя домами здесь или гора, или все тот же фиорд. Однако людей здесь больше, вернее, они больше смахивают на людей. Они не цепенеют, как готовые памятники, не живут электрическими ваннами и доисторическими родословными, они не грешат ни домовитой метафизичностью, ни честолюбием, чересчур громоздким для нашего века,— нет, это люди как люди, хоть и с угрюмыми физиономиями, но с нравом простым и почти что веселым.

Самое большее, на что вы можете рассчитывать, беседуя со шведом,— это улыбка. Если он вас презирает, он улыбается неподвижно и вежливо, если вы ему понравились, улыбка становится загадочной, едва уловимой. Норвежцы — те даже смеются. Кроме того, они бедны, а бедность — все ведь вдоволь условно — нам кажется куда человечнее ванн или сепараторов.

Разумеется, Тромсе не Севилья, это все те же градусы широты, и не в Гольфстриме дело. Норвегия — доподлинная северянка, без лохмотьев и без кастаньет. Несмотря на фиорды и на Гамсуна, фру и фрекен никогда не пропустят дыры на штанах. А щелкать пальцами норвежцы не любят. Часами простаивают они на площади или на молу, засунув кончики пальцев в карманы: это национальная поза, даже мальчуган не вытрет вовремя носа,— как может отступить он от национальных традиций?

Когда ловкачи с дирижабля «Италия» увидали норвежских рыбаков, которые стояли на пристани, они не на шутку струсили: что замышляют эти молчаливые люди? Никто не двинулся с места, чтобы поднять брошенную веревку: норвежцы живут среди штормов и льдов, проворность синьора Нобиле не пришлась им по вкусу. Впрочем, этой неподнятой веревкой дело и ограничилось: ни криков, ни смешков. Итальянцы же с перепугу вызвали полицию: где им было понять, что в точности означают эти руки и эти карманы?

Те же итальянцы или испанцы полны в общежитии пафоса. Часто в траттории или в фондас, услышав рев, увидев разъяренные лица, я думал: дело плохо, сейчас покажется револьвер, если не попросту нож! Но всякий раз оказывалось, что просто люди разговорились: хороша ли, например, малютка Беппа или правильно ли воткнул бандерильеро Рамон седьмое копье в позавчерашнего быка. Здесь же — тихо, очень тихо, даже кротко говорит один парень другому: «В таком случае я тебя убью...» Редко это говорят здесь, но когда говорят, то действительно убивают, без шума, тихо и кротко.

Норвегия — это океан и ледники, каждая пядь земли может рассматриваться как нечаянный материк, как военные трофеи, как чудо. Плавучие льды грудятся вокруг последних мысов. Так совпадают здесь конец Европы и конец жизни. Я думаю, что каждый норвежец, глядя на неприязненный разбег волн, на извилистость географической карты, наконец, на зрачки, неточные, как и все окрест, любимой девушки, чувствует близость полюса. Шпицберген снабжает Норвегию не только углем, но и некоторой чрезмерностью, напряженностью чувств, постоянным сознанием, что европейская цивилизация: «Театральное кафе» в Осло, шоколад «Фрея», переводы Ремарка, смена министерств, что все это — только спорная участь, показатель широт и лет, не жизнь, а нагромождение происшествий; что любой тюлень, не говоря уже о льдах и ночи, может поспорить с турбинами, с мосье Беделем или с резолюциями такого-то конгресса.

В европейской игре трудно не отчаяться, нужно про запас иметь хотя бы иллюзорные богатства. Герцен любил говорить: «У меня есть в России народ». Это не было ни текущим счетом, ни картой в колоде: как мог он противопоставить лондонскому безверию пятидесятых годов абстрактную величину: «Записки охотника» или молчание стольких-то податных душ? Это было, однако, правдой. Есть такой резерв и у норвежцев, он отделяет их от Европы. Я не знаю, как его назвать — полюсом, океаном или ощущением конца, но вы найдете его и в романах Гамсуна, и в нежном фатализме любого рыбака, занятого, казалось бы, только вялением трески.

В Гарстате или в Тромсе множество морских карт. Они заменяют и виды Сорренто, и неизбежные портреты королевы мод. Континент на этих картах мелок

и никчемен, зато огромны, многозначительны острова — Шпицберген или Земля Франца-Иосифа. Так соблюдается иной масштаб: исследователей полюса, рыбаков и молчаливых, чрезмерно застенчивых мечтателей.

Как же не мечтать здесь?.. Занятие диктуется хотя бы географией, не говоря уже о челнах викингов. Мечтают действительно все, несмотря на спорт и на экспорт. Это не особенность характера, не блажь сотни-другой неудачливых стихотворцев: мы вправе назвать это основным занятием народонаселения. Но тщетно пытаться свести к одному различные мечтания чуждых друг другу людей, тщетно даже искать их точного отображения в распорядке жизни или в философских системах; это, скорей всего, только зрачки — неотвязные, однако же неуловимые.

Пространства в Норвегии много, земли — так, как обычно мы это понимаем,— вовсе нет. Города, за редкими исключениями,— это только крохотные поселки, продолжение удобного причала, сваи среди камня и воды. На главной улице губернского города Буде — игрушечные домики с крылечками, розовые или голубые; в одном из них управление губернией, в другом — «парижская парикмахерская». Все это вдоволь случайно, так что возле каменного здания банка невольно задумываешься: уж не забыт ли трехэтажный дом каким-нибудь рассеянным туристом? Даже деревень нет: дома разбрелись кто куда, объединяет их только административная кличка да еще, пожалуй, школа, в которую дети ходят на лыжах. Зачем им читать «Робинзона»? Каждый человек здесь знает полную меру одиночества. Вероятно, поэтому столь добры и снисходительны норвежцы: человек для них редчайшее существо, они еще способны сострадательно выслушивать его тривиальную исповедь, не догадываясь с первого слова о конце каждого предложения.

Человеческий голос, который доходит до этих заброшенных поселений, деформирован пространством. Он хрипл и чуден, к нему примешан таинственный гул: это очередная выдача радиостанции. Антенны — на всех домах. Незнакомый собеседник не нуждается в репликах: он то поет, то хохочет, то, прерывая свою речь загадочными паузами, говорит о каких-то «курсах». Фокстрот может легко стать жалобами злосчастной девушки, а биржевой бюллетень, все эти «Стан-

дард ойлы» и «Рио-Тинто» — прекраснейшей литургией.

Кроме гула в ушных раковинах, имеется рябь алфавита, которая также потворствует непоправимой мечтательности. Статистика показывает, что только исландцы читают больше норвежцев, но это уж и вне Европы, и вне простого правдоподобия. Тираж книг в Норвегии непомерно высок, причем сотни романов поглощаются не только скучающими барыньками, как, скажем, во Франции, но вполне деловыми людьми, с бородой и с доходами: скупщиком рыбы или лоцманом. Толстые тома не отпугивают: им скорее радуются, как зимней ночи или затяжной любви. Вряд ли жизнь норвежца длиннее жизни француза, но относительность времени здесь куда ощутимей, нежели его быстрота; и если не хватает досуга на сложную сделку с перепродажей десяти бочек тюленьего жира английскому барышнику, то его уж обязательно хватит и на лёт лыж, и на заносчивые сны, рождаемые любой строчкой длиннейшего романа.

Норвегия в течение долгого времени была вотчиной соседних народов. У нее нет своей аристократии. У нее нет и потомственной буржуазии. Здесь часто встречается хаос мельчайших островков, как бы только что отделившихся от воды, подвластных каждому приливу, еще не нашедших своего оформления. Эти острова встают перед глазами, когда заводишь речь о социальной жизни страны. Вместо буржуазии как класса мелькают то трубка разбогатевшего во время войны судовладельца, то засаленный картуз перепродавца трески. Рыбаки разводят в чахлых огородиках бледный, как сон, лук, а крестьяне нанимаются матросами. Все это еще не имеет своего имени. Можно, однако, назвать Норвегию крестьянской страной, примирившись с тем, что на камне пшеницы не посеешь и что, когда околевает корова, приходится менять хлев на навощенную палубу. Отсюда известная «косолапость», отсутствие и манерности и манер. Никакие курсы для персонала гостиниц, организуемые с целью привлечения долларов и фунтов, не сделают норвежцев изысканными: карьера дипломатов или лакеев им не по силам, да и не по душе.

Мужицкий строй страны определяет ее демократичность. Говорю я не только о конституции, но и о быте. Достаточно сравнить трех королей: вот — шведский,

как и подобает аристократу, он раздражителен, своеволен, он пытается, пусть с посредственными результатами, вмешиваться в управление государством; датский — поскромнее, но и он убежден в высоте возложенной на него миссии — он, дескать, призван быть над партиями и мирить все партии; что касается норвежского короля, то он хоть и председательствует в совете министров, но права голоса лишен, он давно понял, что здесь он только скромное украшение, зеркальный шкаф или фикус государства, нечто среднее между флагштоком и метродотелем, он довольствуется выданным ему дворцом, похожим скорее на солидную ферму, да еще коровами; о своей миссии он не говорит, но скромно отправляет на рынок в Осло «королевское масло», чтобы выручкой пополнить цивильный лист.

Доктора и агрономы, писатели и министры — все это сыновья рыбаков или крестьян. Студенческая богема в Упсале занята, как ни странно это, вопросами чести. Пьют там вовсю, но, даже выпив, не забывают о предках. Студенчество Норвегии сильно смахивает на чудаковатых полуголодных квартирантов наших дореволюционных Бронных и Козих. Правда, эпоха и спорт начисто отстригли радикальные космы, но остались и фантазии и своеволие. Университеты в Европе — это либо фабрики карьеристов, либо романтические крепости, где с редкостной рьяностью отстаиваются не только древние истины, но и древние привилегии. Молодежь Латинского квартала развлекается метанием тухлых яиц в неблагонадежных профессоров, сопровождая столь грациозную забаву вдоволь эффектными возгласами, например: «Да здравствует король!» Я отнюдь не хочу утверждать, что все норвежские студенты — социалисты, но вот баррасовскому королю или кайзеру расистов они, пожалуй, предпочтут советского буку, тем паче что их король здравствует и даже торгует маслом.

Иностранцу трудно разобраться в языковом споре, раздирающем теперь Норвегию. Ясно одно: это не только увлечение национальным пафосом, захватившее после войны все народы и полународы Европы,— это также утверждение своего мужицкого характера. Слов нет, национализм здесь хоть и безобиден, но силен. До сих пор норвежцы продолжают тешиться своей независимостью. Четверть века еще не остудили

пыла: они не уменьшили числа флагштоков — что ни хлев, то флаг; они и не очистили парламентских спичей от столь рискованного ударения на слове «мы». Но стремление заменить литературный язык, общий с датчанами, своим собственным, наполовину сохранившимся среди рыбаков, наполовину извлеченным из словарей, продиктовано бунтом против, в основе чуждой народу, датской цивилизации. Это, разумеется, не на пользу ни литературе, ни науке, ни чувству международной солидарности, но в этом своя правда; притом жизнь, видимо, никак не хочет считаться с логическими доводами доктора Заменгофа...

Масло короля покупают местные богатеи, обыкновенные люди довольствуются маргарином. Объясняется это не вкусовыми навыками, не скупостью, как в соседней Дании, но бедностью. Быт здесь весьма прост, и роскошь сводится к десятку-другому магазинов на центральных улицах Осло. Маргарин, пожалуй, удостаивается самой пышной рекламы: проспекты одной из фабрик украшены портретом хозяина работы Матисса. Норвежцы ведь любят хорошую живопись... В этом сопоставлении маргарина и Матисса — вся норвежская жизнь.

Дома фермеров и рыбаков опрятны, но нет в них ни электрических пылесосов, ни сундуков с заветным добром. На столе треска, серый хлеб и, конечно же, маргарин. Едят редко и мало, довольствуясь чашкой кофе или мечтаниями. В самом шикарном ресторане легко обнаружить и протертую скатерть, и студента, отвлеченно жующего крохотный бутерброд. Богатство стеснено здесь не только высоким обложением, но и всей скромностью страны: не раскутишься; следовательно, богатство здесь не водится с патриотизмом. Самый богатый человек Норвегии был недавно ошельмован во всех газетах и во всех портерных: это крупнейший судовладелец; чтобы не платить налогов, он пустил свои суда под флагом Панамской республики. Норвежцы не на шутку обиделись и за флаг и за казну. Что же остается этому норвежскому Крейгеру, явно не понятому своей страной? Стать бразильцем или абиссинцем, а барыши пропивать где-нибудь подальше от бездарной родины — в Париже или, на худой конец, в Копенгагене? Правда, он может также заказать свой портрет Матиссу: тут его все одобрят. Норвежцы не сластены, они курят трубки и пьют, когда водится

монета, виски, но этой слабостью они и вправду грешат: они обожают искусство.

Казалось бы, что Швеция должна и здесь первенствовать: ведь искусство в наших глазах тесно связано с досугом, следовательно, с достатком, с переизбытком сил и ценностей. Швеция куда зажиточней, благоустроенней, крепче своей соседки; притом ее утонченность и вкус накоплены поколениями; у нее наследственная аристократия, просвещенная буржуазия, высококвалифицированный пролетариат. При всем этом шведские писатели и художники, обладая лестными талантами, никак не превосходят масштаба своей страны. Урок Норвегии значителен: здесь мы сталкиваемся не столько с бедностью, сколько с некоторым пренебрежением к материальной культуре. Ибсен или Гамсун оплачены простоватостью столицы, редизно́й железнодорожной сети и тем же маргарином. Кажется, только большие народы могут одновременно изготовлять автомобили и строчить сумасбродные стихи. Швеция или Голландия выбрали завидную участь Марфы. За Норвегией остались слава Марии, невнятность зрачков и вареная треска на ужин.

Можно, описывая Норвегию, настаивать на сомнительном комфорте ее гостиниц или на отсутствии новой архитектуры, можно указать, что путь из Осло в Тромсе длится чуть ли не неделю, так как добрая половина страны вовсе лишена железнодорожного сообщения. Это будет, однако, при всей точности, ложью. Что сказали бы мы об иностранце, который, попав в Москву первых лет революции, заметил бы лишь отсутствие трамвая?.. Железную дорогу на север уже начали строить, рабочие кварталы Осло скоро изменят облик этой посредственной столицы, да и гостиницы, наверное, тоже станут комфортабельней, ведь чему-нибудь да учатся метрдотели на своих курсах... Гораздо занятней отметить, что государство здесь поддерживает молодых художников, как будто не тишайшая Норвегия это, но Мексика Обрегона или, того хуже, Советский Союз. Я гляжу на фрески — в Париже это до сих пор называется «авангардом», хотя позади нет никакой армии, кроме обязательного обоза плагиаторов. Там и поныне молодые художники существуют снобизмом коллекционеров или прозорливостью перекупщиков. Здесь же им выдают и стены

и кроны. Клиника, телеграф, школа судоходства, ремесленная палата, много других зданий расписаны молодыми художниками. Это не только добротная живопись, это также справка о душевном строе страны, которая приправляет треску старательными галлюцинациями.

Рост: один метр восемьдесят — этим никого здесь не удивишь. Норвежцы народ крепкий. К стойкости обязывает профессия: море ведь ни на минуту не оставляет человека, оно не только подрывает прибрежные скалы, оно буравит сушу, узкими, но глубокими фиордами пробирается в глубь страны. Одни рыбачат, другие уходят на суда. Норвегия — возчик мира: она перевозит из года в год чужие грузы и чужое богатство. Барыш ее невелик: он сводится к скромному окладу, а также к мужеству. Йод и соль начисто вытравляют малодушие. Рослость сочетается с героикой. О рыбаках и говорить нечего, это ведь не дачные забавы с пескарями, это среди зимней ночи, среди штормов и льда ловля трески — столько-то шхун, столько-то тонн, столько-то новых вдов. А китоловы, которые каждую осень уплывают к Южному полюсу, через мир и через жизнь,— можно ли назвать это «заработком»? Если прибавить сюда историю и легенды, вывеску кабачка «У викингов», романы Бойера, открытки с касками отважных витязей, а также непосредственно каски, точнее — капюшоны залитых волной рыбаков, суровых и бородатых,— возникнет образ хотя правдивый, но чересчур доступный, тот, что наравне с лазоревыми пятнами фиордов привлекает сюда чувствительных англосаксов.

Необходима существенная поправка: несмотря на метр восемьдесят и на гарпуны китоловов, норвежцы полны женственности. Сказывается это и в картинах Пер Крога, и в тоне зрачков, и во всей ветреной, однако трогательной жизни. Они прежде всего фантасты, эта примета важнее роста. Здесь нет расхождения с традициями: история викингов насыщена удалью и черствой силой, но поглядите на орнамент их судов — как он причудлив и сложен, как далек он и от разбойничьих налетов, и от дерзких коммерческих операций! Звери и цветы настолько ирреальны, что это уже сон, иней, дыхание на стекле, немота человека, который объехал весь свет и который дорожит теперь не землей, а только вот этой легкой дымкой... Непояс-

нимая тоска досталась норвежцам по наследству вместо державы или богатств, она заставляет нас произносить имя Норвегии с едва ли осознаваемым волнением.

Все это может показаться домыслом, литературными реминисценциями, особенностями не страны, а глаз. Против этого как будто восстают румянец на щеках и тысячи спортивных обществ. В воскресный день города Норвегии пусты, даже хромые и те резвятся: они наставляют паруса или скатываются с гор. Но все то, что может быть нормальной гимнастикой, становится романтическими выходками. Поцелуи на морозе сугубо строги. А прыжок вниз — уж не репетиция ли это смерти? А безрассудство крохотного парусника среди растущих волн?..

Блюстители морали (таковые имеются и в Норвегии) очень возмущались романом Беделя, в котором возвышенной любви приезжего француза противопоставлена животная примитивность норвежской фрекен. Они всячески заверяли, что это, мол, клевета на их сестер и дочерей, что норвежские девушки вдоволь целомудренны и что французскому автору следовало бы поглядеть на своих парижанок. Все сказанное относится, конечно, к наивности провинциалов. Герой вызвавшего такой переполох романа в решительную минуту испугался согласия девушки: что поделаешь, по всей видимости, он был французом, то есть человеком достаточно утомленным. Норвежские девушки, разумеется, и ходят на лыжах, и целуются, целуются не хуже других. При всем этом жива в них северная исключительность, молчаливая фантастика любого жеста, которая, несмотря на выдержку и простоту, на отсутствие потупленных глаз, на сохраняемый до конца аппетит, обращает в бегство иностранца, ходульного, худосочного, привыкшего к пышным словам и к мелким похождениям.

Этой потайной суровой страстью равно проникнуты дела викингов и ловля трески, любовь гамсуновской Виктории и последний отъезд Амундсена.

Взгляните на Осло днем — какое захолустье! Модные журналы из Парижа. Курсы лондонской биржи. Десяток гостиниц различных миссионерских обществ, где псалмы и закуски. Десяток кабаков с мадерой, которую здесь можно пить в любой час. На главной улице несколько денди, на боковых — маргарин и при-

земистые домишки. Ни единого плана, ни древних соборов, ни небоскребов, ни осанки. Город вытянут наугад, как карта из колоды. Но вот свалилась ночь, звездная ночь ранней осени. Маргарина больше нет. Франтики оказались добрыми малыми, даже исполнительными фантазерами. Они пьют виски и молча тоскуют. Перед ними Осло. Проступает вода, в нее ручьями текут с гор огни. Электричества здесь вдоволь, как рыбы, и от сияния тот высокий — метр восемьдесят — щурит глаза. Он может завтра уехать на полюс. Он может и мизерно умереть от неразделенной любви к одной из девушек. Кстати, уж не героиня ли это Беделя?.. Она, правда, улыбается, но ее улыбка внятна лишь наполовину, как текст книги на знакомом по школе языке. Сейчас город величествен и прекрасен. Он достоин своей земли. А язык, знакомый по школе?.. Что же, одно я усвоил: на этом языке важна превосходная степень; не на норвежском,— я его вовсе не знаю,— на языке Норвегии, на немом языке ее глаз и дел. Это, конечно же, чрезмерность. Это, может быть, и близость полюса.

РЕСТ

Три сотни крохотных островков, а вокруг океан,— это и есть Рест. Попасть сюда не так-то просто. Путь от Трондхьема до Лофотенских островов длится дня два или три: там надобно пересесть на маленький пароходик, который дважды в неделю направляется к Ресту. Храбро перепрыгивает он с волны на волну. Через сутки наконец-то показываются скалы. Домов сначала не видно. Перебивая гул волн, доносится до палубы нестройное пение. Это похоже не то на настройку инструментов перед началом спектакля, не то на последние часы студенческой попойки, впрочем, это только один из главных заработков местного населения. Кроме островов, заселенных людьми, имеются и другие — птичьи, вовсе свободные от сожительства с человеком, самостоятельные республики морских попугаев, гаг, уток и чаек. Заранее предупреждаю: в птичьих породах я мало что смыслю, а ни одно из прозвищ, сообщенных мне рыбаками, в словаре не значится. Во всяком случае, здесь множество разновид-

ностей — от тривиальных гусей до стилизованных пингвинов. Кричат они все, и так как, по заверениям здешних птицеловов, или, если угодно, птицеводов, на одном только острове этих птиц свыше трех миллионов, легко себе представить оглушительный рев, по сравнению с которым кажется нежным лепетом непрестанное беснование Северного океана. Когда, испуганные приближением моторной лодки, птицы снимаются со скал, небо сразу темнеет, как перед грозой.

Люди здесь, разумеется, не живут, они только производят разбойничьи налеты. У одной породы берут пух, у другой — яйца. Некоторые породы пришлись по вкусу местным гастрономам — из морских уток приготовляют рагу. Но это скорее спорт и лакомство. Основное занятие жителей Реста — поиски яиц, занятие прежде всего рискованное. Даже иные куры несутся с дурцой, попугаи же (кстати, они отнюдь не похожи на попугаев) кладут яйца на уступах отвесных скал. Человек спускается на веревке. Над ним — птичьи стаи, плотные, как туман, под ним — море. Этим летом трое расшиблись насмерть.

Собирать яйца надобно с толком, даже с деликатностью. Животный мир всячески обучает человека государственной мудрости. Я уже не говорю о надоевших всем пчелах или муравьях. Но вот в Чехии я видел, как разводят карпов. В пруды пускают щук: на столько-то карпов столько-то щук. Оказывается, что карпы, если не грозит им никакая опасность, мельчают и вырождаются. Для нежности мяса и для приличного веса необходима известная героика. Это, вероятно, довод в пользу щук. Что касается птиц Реста, то они вносят существенную поправку — и в разбое надо знать меру. Если бы пустить румынских министров на этот птичий заработок, они, наверное, наделали бы немало бед. Ведь не следует забывать, что у птиц — крылья, в случае чего они могут эмигрировать. Нельзя их лишать радости материнства. Каждая самка сносит одно яйцо; если его забрать, она снесет второе, если забрать и второе, она снесет третье. Это третье яйцо необходимо оставить, ибо даже птичьему терпению приходит предел, и четвертого яйца никто никогда не видел.

В хорошие дни человек собирает до ста яиц. Пароходик увозит их на континент. За сотню скупщик

платит шесть или семь крон. Жители Реста бедны, и никакое головокружение не может переспорить вот этих семи крон. Тем паче что к смерти им не привыкать: если летом они карабкаются по скалам и падают вниз, то зимой они ловят треску, а с перевернутой шхуны путь все тот же: на морское дно.

В городе — рабочий день, пусть восьмичасовой, но обязательный; там говорят: «Изо дня в день», и жизнь там зависит от черных цифр календаря. Те, что живут в тесном соседстве с природой, работают залпом, приступами. Труд их жесток и внезапен, как период звериной течки или как классическое вдохновение поэта. Не круглый год вызревает пшеница, быстра жизнь луговых трав, сардинки и сельдь проворно проходят мимо берега, знают свой срок и мечущие икру осетры и токующие глухари. Вместо расписания человек здесь связан с темным бытом земли. Это, конечно, тоже рабство, но оно понятней, достойней, ближе человеческому естеству, как биение сердца понятнее хода часов.

Ловля трески продолжается около трех месяцев. В январе, когда здесь и в полдень — ночь, среди метели, среди электрических лампочек начинается обычная суматоха: в воды Реста и в его жизнь входит огромная неуклюжая треска. Исхода игры никто не знает; треска несет деньги, она несет порой смерть. Рест оживает. С континента и с других островов приезжают сюда рыбаки. Они ночуют возле самой воды, в игрушечных домах на высоких сваях. Год не похож на год, и загадочны дороги трески. Она может пройти стороной. Радиостанция передает не фокстрот, не политические новости,— нет, назначение ее ясно, она бросает: «Здесь», или: «Возле Свольвера», или: «В Вэрей»... Ее гудение — это повторный ход рыбищ. Если вздумается треске подойти вплотную к острову, надрываются тысячи рупоров, и среди высоких, как скалы, волн мечутся огни сбегающихся отовсюду лодок. Как чайки, они несутся к рыбному месту. Был год, когда сюда понаехало сорок тысяч рыбаков. Они спали в амбарах, в подвалах, спали и просто в лодках, тесно прижавшись один к другому — холодно, да и тесно. Они гудели, как гудят птицы на своих птичьих островах.

Лихорадка спадает в апреле: тогда уезжают чужие рыбаки, скупщики рыбы, лавочники. Пересчитав кре-

дитки, рыбаки Реста начинают просто жить: глядеть, как стареют старики и как растут дети. Женщины тогда могут тихо вздыхать — те, что напрасно прождали памятную им ночь возле причала: море близ Реста славится злым нравом, оно размыло уж немало рыбачьих семей.

В Ресте имеется мэр: он — рыбак и социалист. В Норвегии имеются король и парламент. Правят Рестом, однако, не мэр и не король. Все дома здесь на сваях, но иные из них кичатся двумя этажами, великолепными аркадами, даже цветами за окнами: это дома подлинных повелителей Реста. У них нет ни титулов, ни административных чинов, но будь король рыбаком, он узнал бы, что значит повелевать. В нарядных домах живут скупщики рыбы. Они берут у рыбаков улов. Они сушат рыбу, выделывают рыбий жир, запаивают жестянки с консервами, варят из рыбьих отбросов клей. Трудно назвать их предприятия заводами: клей варят здесь же, во дворе, закрыв плотно окно, чтобы не задохнуться от вони. Нижний этаж — это склад трески, в верхнем, кроме цветов — библиотека с Библией и с Ибсеном, пианино, на котором дочка скупщика старательно разучивает Грига. Цену на рыбу устанавливают скупщики, они же устанавливают и цену на рабочие руки. У них не только приспособления для варки клея или жира, не только капиталы, чтобы скупить весь улов,— у них к тому же лавочка, где рыбаки покупают хлеб, табак и ботинки, им принадлежат дома, в которых останавливаются приезжие, они местные банкиры, ростовщики и барышники, они сдают шхуны, они участвуют в страховке; вся жизнь Реста, включая пастора и морских попугаев, подвластна им.

Все это могло бы остаться грубой эксплуатацией, разбоем, кабалой; однако алчность местных кулаков ограничена климатом, островной отъединенностью, жизнью вповалку. Никакие занавесочки не скроют скупщика от рыбаков: они живут вместе, вместе волнуются за пути неисповедимые трески, вместе пьют, вместе хоронят. На крохотной скале приходится потесниться и богатству. Даже могилы на кладбище жмутся одна к другой. В этой ограниченности достатка, в огромности океана, в голосах зимних бурь — объяснение если не идиллии, то человеческого достоинства.

Вот островок Скомвер. На нем только маяк. Почта приходит сюда два раза в месяц, а зимой во время больших штормов — и того реже. Смотритель маяка прежде был капитаном дальнего плавания. У него лицо, сделанное по Джеку Лондону. Он небрит и запущен, курит (конечно же, трубку) и часами смотрит на океан. Двадцать лет он плавал. Потом в дело вмешались и болезнь — у капитана ослабело зрение,— и жена, опрятная бледно-розовая фру. Капитан получил место смотрителя на острове возле Реста. Дочка вышила ему бисером футляр для очков, а жена варит пахучий кофе. Старый смотритель с ложечкой в руке думает, скорей всего, о Бразилии.

Когда я подъехал на лодке к острову, смотритель, схватив картуз, побежал к пристани. Он соблазнял меня и кофе, и тоской зеленоватых зрачков. Он говорил со мной об Архангельске, о крикливых птицах Реста, о мире и о старости. Он даже поехал меня провожать. Ему, видимо, трудно было расстаться с человеком, как и мне было трудно расстаться с пустынным островом, где только чайки и ветер. Это равно понятно и равно безнадежно: и величие одиночества, и бегство в любой кабак к реву сомнительных собутыльников. Жители Реста похожи на бедного капитана. Они отделены от мира, но они — это мир в себе.

Между островками — проливы, порой бурные. Жители прямо из дому выходят в покачивающуюся лодку. На лодках дети спешат в школу. На лодке едет молодой рыбак со своей возлюбленной. На лодке везут гроб. Это не венецианские каналы, вода здесь не зловонная романтика, вода — это рыба, это также шторм. Стоит подняться непогоде — и нет школы, нет милой, нет даже горстки земли сдуру умершему у себя дома старому рыбаку.

Головы женщин повязаны черными платками. У них русые волосы и светлые глаза. Сурова одежда, суров ход дней, сурово жилье — дом на сваях, древний, как хаос, может быть, не дом даже, а случайно остановившийся ковчег. Под половицами не скребутся мыши, там плещет море, а в нем ходят рыбины. Это — с колыбели и до смерти.

Рыбачья Бретань — прежде всего экзотика. Французы ездят туда на летние каникулы не только ради

морских купаний или ради лангустов: они там отдыхают и от своего времени, и от своей страны.

Какому норвежцу придет в голову искать отдыха на Ресте? Он предпочитает парижские бульвары, ведь вся Норвегия — это тот же Рест.

Только то, что на северных островах сгущено, как ночь или как мороз, в Осло разбавлено переводными романами и центральным отоплением. Изучение норвежской души лучше всего начать с севера, с нелепых островов, где миллионы птиц и триста рыбаков, где маяк — это подвиг, а треска — канон.

Приезжий на Ресте внимательно и недоверчиво озирается. Он сразу привыкает и к сваям и к воде. Одно несколько смущает его: он ведь приехал сюда из стран, гордых своей цивилизацией. Потом он догадывается: ага, здесь нет машин! Оттого здесь еще так значителен человеческий труд, оттого глаза смотрят прямо и протянутая рука полна доверия. Прежде мне казалось, что это путешествие в прошлые века, что человек, сталкиваясь со своим прошлым, невольно улыбается той невзыскательной улыбкой, которой мы одариваем детские игрушки, раздражая тем самым детей. Теперь же я начинаю сомневаться: в этом отсутствии механических жестов минутами я вижу и будущее. Может быть, это просто оптимизм человека, подышавшего морским воздухом? Может быть, это также надежда отнюдь не одинокого чудака, надежда, которая рождается в миллионах сердец, уставших согласовывать свой звериный ритм с чуждым им ритмом машин. Я ведь не говорю ни о скупщиках, ни о суеверии, ни о сваях: все это детали климата или местная разновидность человеческой иерархии. Но связь человека с природой, его труд, героический и вдохновенный, кажутся мне более значительными, нежели железный визг конвейера.

Люди Французской революции все свои мечты выразили в триединой формуле. Свобода опозорила себя в наших глазах. У нее оказалась душа проститутки и повадки официанта, который, унижаясь перед одним столиком, отыгрывается на другом. Равенство несет нам не одно лишь моральное успокоение, оно несет также суету машин, ничтожество арифметики, отказ от творчества — следовательно, и от свободы. Формула трещит: она разделяет своих недавних адептов. Тогда-то приходит самое непонятное, с виду пустое и ни

к чему не обязывающее, однако действительно высокое слово «братство». Видимо, без него нет ни равенства, ни свободы. И вот порой здесь, на этих скудных островках, мне начинает казаться, что к героической борьбе нашего поколения за равенство против лживой свободы в жизни простых норвежских рыбаков может быть найден высокий корректив. Впрочем, вероятно, это только летние фантазии: скупщики рыбы скоро установят здесь хорошие машины, а рыбаки, дойдя до равенства, забудут о своем примитивном братстве. Опасно шляться по окраинам земли — так легко спутать прошлое с будущим, а свои мечты с этнографией!

НОЧНОЙ РАЗГОВОР В МОССЕ

Радиостанция Реста ежедневно рассылает метеорологический бюллетень. Ее слушают не только норвежские рыбаки: капитаны крейсирующих по Средиземному морю судов внимательно прислушиваются к голосу Реста. Перед ними — оливковые рощи Сицилии или ослепительная белизна Пирея. Это далеко, очень далеко от Реста. На Ресте сейчас ночь и снег. Что им какая-то справка об атмосферном давлении? Но вот несколько значков заставляют осторожного капитана повертывать к ближайшему порту: у циклонов и антициклонов свои права.

Тихо сейчас на востоке Европы. Там строят электрические станции, превосходные станции. Там также пишут посредственные повести. Ни то, ни другое никак не может заинтересовать вдоволь разочарованных снобов. Однако справка о циклоне в свое время была добросовестно выдана курносым телеграфистом. Остальное касается времени и капитанов.

В Норвегии, помимо фиордов и трески, немало романтики. В Гарстате я видел молоденькую девушку. У нее были большие зрачки. Она могла бы писать стихи о любви, беспредметной и безответной. Она ходила по горбатым улицам северного поселка с ведерком в руке: она расклеивала афиши. На афише был Ленин в кепке и множество восклицательных знаков. Афиш было, кажется, больше, нежели жителей. Впрочем, говоря так, я забываю о морских птицах и о ветре.

В Трондхьеме живет один русский. У него табачная лавка. У него также высокие идеи. Из России уехал он лет тридцать тому назад. В Норвегии была тогда свобода, а дома, в Ливнах, только околоточный. Владелец табачной лавки не забыл прошлого. Революция для него и поныне — это брошюра «Пауки и мухи» в издании «Донской речи», это, прежде всего, серая шинель околоточного. Он торгует вполне приличными сигарами. У него свой дом. Он мог бы не только отпустить бороду, он мог бы и весь порасти густым захолустным сном. Но он не унимается. Он, конечно, коммунист, и, вспоминая серую шинель, он весь вспыхивает. Как же, он и теперь занят важным делом: он устраивает спортивную площадку для рабочих. Простите, господин Фугт, вот замечательные сигареты. В России больше нет никаких околоточных — не правда ли? Там только брошюры и спортивные площадки. Браво, Ливны!.. У владельца табачной лавки очень грустные глаза: две страны в них смешали свою столь разную тоску.

Заходит иногда в магазин Кнуд Вигланд. Ему всего девятнадцать лет, и он никак не может найти работы, следовательно, в лавке он ищет не табак. Он, кроме того, подозрительно кашляет — ему и не до спирта. Он спрашивает хозяина:

— Что нового у вас в России?

Не говорите, будто романтика связана с историческими датами! Вот вам край, где и поныне «зреют лимоны», хотя там ничуть не теплее, нежели в Трондхьеме. Вигланд говорит:

— Здесь стояло русское судно «Сорока». Я водил товарищей по городу. Я показал им все: и Народный дом, и вид с горы на старую крепость. Они много рассказывали. Я, конечно, не понимал их, но когда «Сорока» ушла, стало так пусто...

Он говорит и кашляет; вряд ли поможет ему площадка ливенского фантазера. Впрочем, о чем тужить? Он счастлив, он счастлив, как был когда-то счастлив в богоспасаемых Ливнах вихрастый подросток, вовсе не знавший, что такое гаванские сигары.

В Моссе, как и во всех норвежских городках, существует кружок «Кларте» — ясность. Так называется, кстати, роман Анри Барбюса. Во Франции воздух душен и глух, зато в сердцах там заведомая ясность: все обдумано, выверено, все заранее известно. Здесь

прозрачна даль; кажется, из Мосса можно увидеть Тромсе, но туманности душ здесь загадочны, как карта неба. «Все или ничего»,— упрямо повторял ибсеновский пастор. Молодые коммунисты Мосса по вечерам толкуют о рационализации и об Индии. Я узнаю если не слова, то интонации: я ведь их знаю с юных лет по зачитанным книжкам московской библиотеки, всех этих Брандов и Штокманов. Многих я видел сначала на сцене Художественного театра, потом — на баррикадах и в мертвецких. Здесь они до сих пор ищут истину. Им мало половины или восьмушки. Их не пристроили ни новые фабрики, ни гибкость резолюций, ни открытие Эйнштейна. Они только переменили терминологию. Требователен север: ему нужны жертвы. А в Моссе нет даже чванливого околоточного! Город горит выдуманным и в то же время справедливым огнем, как июньская ночь, чтобы оставить после себя среди пароходных контор или консервных фабрик толику росы на каком-нибудь престранном романе с фрекен, с хорошими идеями и с плохим концом.

Возьмите Мосс, благо в нем нет ни музеев, ни старых церквей, ни живописных фиордов,— словом, никаких достопримечательностей. Английские туристы сюда не заедут — они ведь путешествуют культурно,— а заехать стоит: это местные Ливны. Десять тысяч жителей. Маленький порт. Верфи. Бумажная фабрика. Таможня. Три гостиницы. Сквер, в нем скамейки, на одной стороне серые, на другой — густо-красные. Как-то задумал муниципальный совет, подчиняясь своей революционной совести, перекрасить все скамейки, но его тогда свергли. Осталась пестрота или, если угодно, веротерпимость: можно выбрать скамейку в согласии с убеждениями.

В гостинице приезжего ошеломляют белые полати: любая комната смахивает не то на операционный зал, не то на закусочную. Это, однако, только столы для товаров: в гостинице останавливаются исключительно коммивояжеры; они соблазняют местных лавочников материями или парфюмерией. Получив заказ, они спускаются вниз, в так называемые салоны, там они пьют датскую водку или пиво. Пьют в Моссе много, иногда дерутся, иногда пускают в ход ножи, иногда просто расходятся по домам. Ругаться не ругаются: это утомительно и неинтересно.

Имеется в Моссе одна достопримечательность, хоть и не на английский вкус: некто Якобсен, курчавый, белобрысый, в детской шапочке. Он жил в Америке, работал у Форда, написал книгу полусоциологическую-полуфилософическую, а потом очутился в Моссе, в пароходной конторе. По ночам мимо Мосса проходят большие пароходы. Они идут из Осло в Ставангер или в Берген, Якобсен сидит в пустой конторе, где на стенах негритянские копья, афиши с Дугласом Фербенксом и старые флаги. Якобсен сидит и молча пьет виски. Когда раздается гудок, он выходит на пристань: это относится к его службе. Он, конечно же, весел, умеет посмеяться, он ведь не швед и не пастор. Он крупно ставил; я не знаю в точности, что хотел он выиграть, знаю одно: карта не вышла, вышел Мосс. Тогда остались длинные ночи и гудки пароходов. Пароходы уходят дальше, Якобсен сидит в конторе и пьет виски. Он не скажет, о чем он думает: это выпадает из всех правил норвежской игры. Но ни восьмушки истины, ни просто порядочной жизни он не принял, и спирт у него терпкий, даже злой.

На пристань вместе с Якобсеном выходит таможенный чиновник. Он никогда не занимался философией, и в Моссе он по праву, без всякого надрыва. Но таможенный чиновник влюблен, влюблен изнуряюще и томно, не в одну, а во множество фрекен. В будни он не бреется, угрюмо слушает шутки Якобсена и с недоверием глотает его виски, а в воскресенье — моторная лодка. Все тот же дачный поселок и девушки из Осло. Они купаются, они смеются, они говорят одна с другой, а также со своими кавалерами. Несмотря на ветер, таможенный чиновник бледен и томен. Как жаль, что Гамсун пишет теперь не о любви и не о рыбаках! Таможенный чиновник, кажется, ищет автора. Он не найдет ни его, ни хотя бы семейного счастья. А девушки тем временем смеются...

Нигде не видал я таких красивых девушек. Я говорю это не в защиту таможенного чиновника: он ведь все равно слеп и безумен. Но в Норвегии ни помада Коти, ни фокстрот еще не успели исказить того очарования, которое бог весть почему заставляет приезжего вздрогнуть, остановиться, сразу все вспомнить и обо всем пожалеть, очарования красоты, ненужной и чужой. Как нелепый чиновник, влюбляешься во всех этих

посторонних невест, одариваешь их своими фантазиями, толкуешь подолгу каждый жест,— словом, глупеешь или умнеешь, обретая все то, что давно вычеркнуто и своим собственным возрастом, и возрастом человечества.

Странно видеть в наши дни, когда ясность стала лозунгом даже завзятых путаников, когда любовь свелась к вопросу об удачной поездке в автомобиле, к вовремя выпитому коктейлю или, в лучшем случае, к двум-трем находчивым репликам,— всю ту мучительную и сложную игру отталкиваний, недомолвок, самолюбия, мнительности, наконец, пугающего сердце самозабвения, которые мы знаем по нашему отрочеству. Я даже не берусь сказать, вправду ли мы все это переживали или только верили тем романам, которых теперь никто не читает, так как в них нет ни занятной фабулы, ни психологического анализа, ни правдоподобия, но только длительные отступления и от действия, и от здравого смысла.

Здесь вы можете еще наблюдать всю власть никчемных догадок: «Почему она не посмотрела?..», «Почему он так ответил?..» Я дохожу до абсурда: столь естественное свойство человека, как влюбчивость, я склонен теперь приписать какой-то одной стране с ее крохотным населением. Однако я настаиваю. Это, вероятно, особенность характера: там, где люди научились довольствоваться одной восьмушкой истины, они уже, конечно, довольствуются свиданиями с пяти до семи — полчаса на коктейль, полчаса на любовь, остальное — на завязывание галстука и на накладку румян. Здесь же даже таможенный чиновник — это не просто Дон Жуан с воскресными выходами, нет, это один из последних открывателей любви в те времена, когда уж обследован полюс и занесены на карту все мельчайшие созвездия.

Если, прочитав эти строки, вы снисходительно улыбнетесь, это будет только новым доводом за исключительность норвежских чувств. Да, да, я не слеп, как мой друг из таможни, я знаю, что фрекен выходят замуж, что им не чужды ни мысли о достатке поклонника, ни несложное искусство дачного флирта, но важна поправка, которую вносит одиночество после купаний, после прогулок, наедине с белой ночью. Тогда норвежские девушки умеют быть суровыми от любви. Они не уступают ни жизни, ни доводам листвы, ни

своей слабости. Они требуют всего, и так как этого «всего» нет, нет нигде, даже в сумасбродном поселке, среди сосен и таможенных чиновников, они, милые голубоглазые девушки, которым бы только плавать и смеяться, не раз угрюмо осуждают свою любовь.

Я брожу по длинным набережным Мосса. Рядом со мной долговязый мечтатель из кружка «Кларте». То и дело гудят пароходы. Где-то Якобсен, жмурясь, как кот, лениво допивает виски. Девушки давно спят, и таможенный чиновник пишет: «Вы сегодня так холодно посмотрели на меня, но я сейчас беседую о вас с совами и с одиночеством...» Вот только кому отошлет он это письмо: Иоганне Иенсен или Эдде Люнд? Или, может быть, Эмс?.. Ну, бог с ним, пусть пишет! Говорю я это, правда, с легкой досадой. Почему бы и мне не вздыхать? Разве не могла тут быть хотя бы Эдда?.. Вместо нее — длинная тень и длинный спор. Что делать, мы все отравлены историей, мы уже не умеем просто путешествовать, любоваться фиордами или Эддой, залпом выпивать северный озон и виски Якобсена,— нет, повсюду мы ищем новых доводов, мы хотим убедиться, что не зря мы сожгли в студеную московскую зиму деревянные заборы особнячков. Кажется, даже к этим чайкам готовы мы пристать с расспросами: «Как вам здесь живется? Не склонны ли вы, часом, забыв о рыбах и об идиллии, превратиться в «буревестников»?..»

— Нельзя же быть скептиком!

Тень длинна и непоколебима: такой она, кажется, уже значилась в ремарках Ибсена. Здесь необходимо охладить пафос хотя бы невзыскательной иронией.

— Давайте переменим тему! Поговорим о шоколаде. У вас чудесный шоколад, ничуть не хуже швейцарского. Я, знаете ли, побывал на фабрике «Фрея». Прекрасная фабрика! Прежде всего вы — эстеты: в столовой для работниц — живопись Мунка, в саду — статуи Вигланда. Прямо музей! А сколько сладости в воздухе! Я уж не говорю о запахе шоколада, но, например, инженер — с дрожью в голосе он говорил мне: «Вот это деревцо посажено самим королем, и оно зацветает раньше всех других деревьев...» Потом — салон красоты: каждой работнице делают маникюр. Это ли не рай?.. Кстати, в раю при утряске шоколада такой

грохот, что работницы медленно, но верно глохнут. Им, этим обитательницам рая, делают маникюр, им показывают ежедневно Мунка, их даже допускают до королевского деревца, но платят им весьма мало — меньше, чем на других фабриках. Они должны есть треску и маргарин. Да, я еще забыл сказать вам, что директор «Фреи» не терпит никакого вмешательства профсоюзов. Он хочет быть шоколадным Фордом. Он по-своему прав. Если же вы гордитесь своим бытом, то только потому, что у вас вместо автомобилей — шоколад, да и шоколад «домашний»: главным образом для фрекен таможенного чиновника. На необитаемом острове легко спасти свою душу,— конечно, до первого американского парохода...

Снова — сирены, туман, сосны... Я сам дивлюсь своему голосу. Что мне шоколадная фабрика и захолустный конвейер? Злюсь я на себя. Здесь я свожу старые счеты с нашими русскими снами. Тень еще более удлиняется:

— Нет, мы не об этом говорили. Шоколад здесь ни при чем. Скоро, наверное, и у нас построят автомобильные заводы. Даже на Шпицбергене теперь — трест. Дело в другом: что этому противопоставить? Сказать ли о директоре «Фреи»: «Он — зверь, ату его!»? Или воззвать к зависти: «У него чудесная квартира, он кушает птицу и сливочное масло с королевской фермы»? Или поставить на другое: «У него все есть, но он несчастен, он несчастен, как вы. Его жизнь основана на неправде. Он работает ради денег, но чем больше у него этих бумажек, тем скуднее и суше его жизнь. Не только за ваше счастье мы боремся, но и за его...»

Я хочу прервать мечтателя: довольно! Разве не знакомы мы с многотомными трудами утопистов прошлого столетия? Все это давно и опровергнуто и высмеяно. Но рядом со мной никого нет. Видимо, мы уже расстались с милым товарищем. Это влияние воздуха и света: я начинаю беседовать сам с собой. Так легко дойти и до писем таможенного чиновника! Или, может быть, ночной разговор в Моссе — это только последнее объяснение с Норвегией? Ведь завтра я отсюда уезжаю. Пароход идет в Копенгаген, а это уже по соседству с обыкновенной Европой. Там вряд ли придется спорить с камнями и с утопистами. Я не скажу, чтобы Норвегия меня переубедила,— она встревожила

меня. Я вспомнил все то, что человек по праву забывает, когда минет ему тридцать лет: я вспомнил об истине без делений и о страсти без уступок, а вспомнив это, трудно жить, трудно по утрам разворачивать газеты с их одной четвертой или одной восьмой...

А вот и контора чудесного Якобсена. Можно выпить — «сколь» — за нашу давнюю молодость; от нее ведь остались только несколько выцветших фотографий да еще эта нелепая страна, которая никак не хочет примириться со временем.

1929

Англия

1. ГОРОД — ПРИТЧА

Города — это те же книги: пыль и бессонница. Кому не известно, что Венеция — сказка для влюбленных или для англосаксов; что Вена — томик новелл, невзыскательных и старомодных; что Париж сложен и запутан, как классический роман,— тянется, тянется через узкие улицы паутина корысти, ревности, скупости. Нетрудно определить и жанр Берлина: это, скорей всего, философское изыскание, переплетенное совместно со справочником — так угрюмые парадоксы, справки о конце мира, словесная эротика и тысячи различных «измов» перемежаются с колонками сигарных лавок, пансионов или пивных. Что же сказать о Лондоне, который столь велик, что человеку мало одного дня, чтобы перейти его от заставы до заставы, который столь мощен, что к его дыханию прислушиваются и Париж и Берлин, в котором традиции, монументы, Макдональд, золотые джунгли Сити и который все же прост, как новорожденный или как выживший из ума старик; что сказать об этом средоточии, в котором свыше семи миллионов душ и содержание которого может уместиться на одной коротенькой страничке? Это не роман, не трактат, не фельетон, это самый устаревший и в то же время самый неотвязный из всех литературных жанров, это не город, а притча.

Лондон все вмещает: рядом с небоскребами маршируют часовые в своих опереточных мундирах, парик спикера колышется в такт дебатам о социализме, вокруг дворцов, вознесенных банками или трестами, копошится миллион нищих, он все вмещает, этот огромный город, и он ничего не совмещает, раздельной жизнью живут в нем несхожие века и враждующие классы. Это просто, как мораль: вот жизнь и вот смерть, вот рай и вот ад. Если выйти рано утром из квартала Доков,

где верещат голодные китайцы, где рахитичные дети валяются на мостовой, как невыметенный сор, можно к вечеру добраться до Гольд-Грина, до одинаковых улиц с одинаковыми домами, где горничные в белых наколках, камины, чай, все благообразие пуританского Эдема с Адамами в халатах и со змием, давно позабывшим о своих начальных обязанностях, ставшим вместо сводника и соблазнителя рупором семейного радио или коробкой патефона,— словом, зрелым змием тысячелетнего уныния. Длинен путь, и длинен город, однако не милями надлежит измерять его: ведь проходите вы через круги ада, через чистилище, через райские кущи, через средневековье, через Америку, через всю человеческую жизнь, а что длиннее ее? Вся беда в том, что если говорить о ней без должной фантазии и без смягчающих дело рифм, то получается короткая назойливая притча.

В июньский вечер Пикадилли-серкус кажется не городской площадью, но проповедью нового Савонаролы или, если угодно, очередной постановкой советского режиссера. Из театров, кино, ресторанов, клубов выходят леди в длинных бальных платьях с голыми, густо напудренными спинами. На джентльменах фраки и цилиндры. Это не бал, это даже не премьера, это обыкновенный вечер. Капитал джентльменов измеряется фунтами, как все мужественное и героическое, как нефть или каучук. Что касается туалетов леди, то они измеряются гинеями, как все высокое, я сказал бы, возвышенное, как жемчуг, картины, трубки Донхиля и породистые кобели. Светел северный вечер, в его белом свете особенно зловещи цилиндры, мучнистые спины, шлейфы, бриллианты, справки о гинеях и справки о фунтах. Среди леди и джентльменов снуют босяки в лохмотьях; они дуют в дудочки, открывают дверцы автомобилей, предлагают спички — это вечерняя мошкара, налетающая на прославленный свет Пикадилли. Это также беглая справка о пособиях безработным, о стоимости не фунта стерлингов, но фунта хлеба, о тяжелых грубых пенсах. Я сказал, что это напоминает постановку советского режиссера, я забыл добавить — захолустного. В Москве постарались бы смягчить контрасты, чтобы сохранить некоторую правдоподобность. Но Пикадилли не подмостки, это просто площадь, ей незачем бояться рецензентов, она вправе показать себя лицом: фраки, шлейфы, вонючее тряпье.

Потом?.. Потом джентльмены направляются в западные кварталы: они меняют фраки на халаты и чинно лакают чай. Что касается нищих, то нищие плетутся в Трафальгар-сквер или под мосты Темзы,— ведь у них нет ни халатов, ни даже тривиальной крыши.

Лондонские улицы прежде всего дидактичны. Вот Бонд-стрит — витрины портных, ювелиров, парфюмеров. Витрины здесь устанавливают на славу. Дешевая вещь берется отдельно, ей придают индивидуальный блеск, она становится уникумом. Зато дорогие товары: шотландское сукно, шелковые пижамы, колье, меха — все это наваливают грудой, ошеломляя не редкостностью, но изобилием. Окно, заваленное черно-бурыми лисицами. Окно, заваленное сумками из кожи страуса. Окно, заваленное воистину небесными подштанниками. Табачный магазин «Абдулла» — окно, заваленное дорогими сигарами. Ящик на ящике, сотни, тысячи, десятки тысяч сигар. Благословим же богатство правящего класса! Помилуйте, они платят обременительные налоги, говоря иначе, они «содержат миллионы лодырей», но, отдавая свои капиталы за границу, они все же получают достаточные барыши, чтобы, например, вечером выкурить вот такую сигару, благообразно, у камина, без позы, буднично — обыкновенная сигара, конечно, хороший табак, отборные листья, особо искусные мулатки тщательно скатывают их на голых бедрах, потом сигары держат в кладовых, похожих не то на инкубаторы, не то на храмы, где зоркий глаз надсмотрщика, что ни минута, проверяет ртуть Фаренгейта и стрелку гигрометра, их сушат и их увлажняют, их холят, их лелеют, но все же это обыкновенные сигары, и в конце концов их выкуривают.

Авторы авантюрных романов, любители легкой экзотики издавна облюбовали восточные кварталы Лондона. Какая пожива! Сначала Уайт-Чепль: голодные евреи с таинственными обрядами и с не менее таинственными бородами. Еще несколько миль на восток — китайцы, преступления, будды, раскосость, опиум, загадка. Рядом квартал ирландцев: бумажные розы вокруг глупеньких мадонн, хоругви, песни, поножовщина. Здесь же негры, грузчики, индийцы, сутенеры... Не стоит даже совершать кругосветное путешествие: все увлекательное несчастье нашей планеты оказывается рядом — полчаса «подземкой».

Однако, взглянув на Поплар просто, забыв о проклятой живописности, видишь лишь нищету, обыкновенную нищету большого города, нищету северных кварталов Берлина или же парижского Бельвилля, нищету сдержанную и угрюмую. Если и поражает она чем-нибудь, то только своими размерами: это нищета оптом, нищета, которая распространяется на много миль и на много веков, добротная нищета, без демонстраций и без выхода. На мостовой — голодный котенок и голодный мальчишка, оба обгладывают кости трески. Между ними и сигарами «Абдуллы» столько-то остановок автобусом. Между ними также вся человеческая жизнь.

Лондон не боится контрастов, только ими и живет он. В других городах имеются свои цензоры: стыд или страх. Здесь все — наружу. Ах, я знаю, англичане на редкость стыдливы! Они не выносят ни собачьих свадеб, ни даже некоторых библейских текстов. В стране, которая кичится своей свободой, могут, например, конфисковать роман Джойса. Лондонские проститутки на вид вполне благонамеренны, они могли бы состоять в Армии спасения. Фиговый листок, пожалованный Купидону, сделан явно на рост. Одна богиня здесь вправе ходить голышом, ее не остановит добродушный полицейский, и даже самый рьяный квакер не попрекнет ее в сердцах. Это Фортуна. Она непогрешима. Из ее рога сыплются и фунты и гинеи. Ее ведет под руку сэр Меркурий. Как бог он может быть и без штанов — зачем богу штаны, но он завсегдай Сити, следовательно, его украшают и цилиндр, и титул баронета.

Только в Лондоне можно понять Диккенса. Извне он кажется сентиментальным, да и слегка простоватым; снова злодеи и обиженные злодеями добряки!.. Прогулка по лондонским улицам убеждает, что это просто быт. Ни автобусы, заменившие омнибусы, ни несколько великодушных биллей, принятых за очередное столетье парламентом, ни американские замашки клерков, ни небоскребы не меняют картины. Лондон остается все той же нравоучительной трущобой, где горевал маленький Копперфилд, где в сочельник бедняки едят плюмпудинг и где в прочие дни года они ничего не едят, где много традиций, уюта и человечности, но где человек так несчастен, так гол и одинок, что остается только плакать над романами того же

Диккенса или дуть черный, как смерть, портер. Правда, там, где томилась крошка Доррит, теперь в ее честь устроена детская площадка — куча песка среди черных глухих стен. На песке — детвора, большеголовая, кривоногая, золотушная детвора рабочего квартала. Лондон — город святок, пушистых игрушек, сказок, детский рай, но где вы найдете столько злосчастных ребят, заброшенных и ожесточенных, играющих жестянкой или осколками бутылки, осыпаемых пылью и пинками, ангелочков на побегушках, херувимов среди заводской вони, среди зеленоватой плесени не раз уже описанных контор?.. Здесь что ни двор, то томик Диккенса. Какие дворы! Закоулки, проходы, черно, повсюду черно, черный город, черные дни. Вот Грез-Ини — квартал адвокатов, должников, виновато сморкающихся в большие фуляры, и неисправимых сутяг. Вместо скрипа гусиных перьев — цоканье «ундервудов». Но проветрить дома так и не успели: затхлая жизнь, закорючки толкований закона такого-то века, параграфы и паутина, паутина паука, в которой гибнет муха, и паутина закона, в которой жужжит, погибая, вот этот мистер с фуляром. Сити — держава мира, главная квартира «единого фронта», золото земли и ее мудрость. Кого же хоронят эти субъекты в цилиндрах? Нет, это только маклеры, они подымают каучуковые акции. В полдень — зеленые лампочки и розовые глаза сгорбленных клерков: ни солнца, ни жизни. Туман. Цифры. Биржа, в ней бюст Линкольна (так порой кончаются биографии: тиражами Людвига и бронзой среди маклеров!). Снова — чернь и резерв отчаявшихся — Темза. Самоубийц ищут баграми. Потом — доки, дым, лохмотья, портер, горе на столько-то часов ходьбы. Все вместе это — Лондон, Лондон Диккенса и Лондон 1930 года, вечный Лондон, город, о котором сказал Казанова: «Здесь бы я хотел умереть, чтобы не грустя расстаться с жизнью...»

Здесь свои меры, сложные денежные единицы, своя манера ездить и есть. Календарь здесь, наверное, тоже особенный, и чужестранцу трудно определить даты. Бутафория средних веков мирно уживается с механической выправкой, навязанной Лондону Новым Светом. Превосходные автобусы и комические такси — эти прадеды наших автомобилей — едут рядом по той же мостовой, никак друг друга не стесняясь. Маленькие домики с отдельным входом: англичане ведь любят

уединение, еще вчера они были либералами, они никак не могут жить стадом. Многоэтажные домищи — обжорки «Лайнса», где в каждом зале созвучно жуют тысячи людей. На письменном столе — стихи, годные разве что для недоразвившихся барышень, и биржевой бюллетень. Презрение к Америке и американизация всего быта; американские фильмы, американская архитектура, американские магазины, даже походка американская, не говоря уже о жевательной резинке. Сеть нелепейших условностей. В ресторане посетитель заказывает бутылку пива. Служанка просит деньги вперед: они, дескать, не имеют права держать пиво у себя, но они могут послать за ним в соседнюю лавочку. Бутылка оказывается здесь же, за стойкой,— кому охота бегать под дождем?.. Закон соблюден, и все довольны. Это не борьба с алкоголизмом, это просто условность, как молитвы в воскресенье или как целомудрие до замужества. Протестовать? Но зачем?.. Это ведь значит беспокойство, крик, ряд излишних движений. Лучше, вытянув ноги, вздремнуть...

Лондонские улицы, слов нет, оживленны, но оживление это механическое: столько-то миллионов передвигаются на работу или же домой, иногда в церковь, иногда в театр, иногда на матч крикета. Улица — это неприятность, которую надлежит возможно скорее миновать. Никому не придет в голову, что на улице можно жить. Этим летом один иностранный ресторатор устроил перед своим заведением веранду: четыре столика на тротуаре. Столики тотчас же сфотографировали, на них приходят глазеть туристы, но никто за них не садится. Вероятно, скоро их перенесут в музей.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома как один. Можно идти часами — все то же и то же. Войдите в такой дом ночью, и, не чиркая спичкой, вы определите: здесь камин, здесь вот кипа иллюстрированных журналов, здесь ситечко для чая, здесь спит супруг, а рядом его супруга. Англичане любят все индивидуальное, однако эта идиллическая казарма никак не смущает их. Ведь каждый заведомо равнодушен к тому, что происходит в соседнем доме, и каждый убежден, что он-то скучает по-своему.

Приторен отдых Лондона, он как те нежно-розовые или лазурные пирожные, которые выставлены в окнах кондитерских. Их лучше не пробовать: это даже не пирожные, это грезы мистера, миссис и мисс. Внутри:

чай, нежнейшее звяканье ложечек, тишина. Забава? Богослужение? Или еще одна разновидность унылого сна?

В восточных кварталах пьют не чай, но пиво, крепкое горькое пиво. В пивнушках — стойка и десяток схематичных самоубийц, которые стараются от 6 до 10, пока разрешена продажа крепких напитков, опорожнить возможно больше кружек. Может быть, это спорт, а может быть, и профилактика — трудно ведь взять и броситься в Темзу. Вдоль стены — скамья, на ней сидят столь же унылые пропойцы, они сидят молча, как в приемной департамента или на узловой станции. А у входа — женщины; за их юбки цепляются малыши, перепуганные ревом шарманки или редкой отрывистой бранью. Женщинам пиво выносят наружу, они сладострастно тянут темную жижицу, отрыгивая и мечтая. 10 часов. Хозяин сипло выкрикивает: «Джентльмены, пора!..» Какой-то из джентльменов напоследок спешно выхлестывает еще одну кружку. Гаснет последний огонек. О том, что происходит дальше, знают только черные дома, тщательно сторонящиеся друг друга, дома-святыни и дома-тюрьмы. Иногда об этом узнаёт и бурая вода Темзы.

Какой же нестерпимо яркой, какой нежной кажется трава лондонских парков! Нигде нет травы зеленее. Ее можно топтать, на ней можно валяться, на ней можно даже умереть, она не поблекнет, не поникнет, не сдастся. За нее и островной климат и традиции; она ведь призвана врачевать болезненные души, эта изумрудная непорочная трава.

Иностранцу, конечно, не преминут показать рядом с легендарной зеленью всю, не менее легендарную, фауну Гайд-парка — наглядный урок английской терпимости и английской свободы. Вот красноносый пьяница (что делать — по утрам пивные закрыты) хрипло поет псалмы и, покрикивая, как Держиморда, спасает души прохожих. Вот длинношеяя уродка хлопочет о свободе разводов. Вот индиец в чалме настаивает на полной независимости Индии. Вот, наконец, безработный: красный флаг, сжатые кулаки, «Советы»... Все они говорят что хотят и о чем хотят. Их слушают или не слушают. За шиворот никто их не хватает. Умиленный иностранец готов упасть на единственную в мире траву и заплакать. Урок дан. Стоит ли спорить? Стоит ли при виде того же индийца припомнить, что, вздумай

он проповедовать не в лондонском парке, но, скажем, на базаре Калькутты, он узнал бы, вместо шелковистой травы, обыкновенные тюремные нары? Стоит ли усомниться в кулаке безработного?.. Или просто выслушать, умилиться, поблагодарить?.. Ведь свобода такая же условность, как любовь или как свежий воздух. Не будем придирчивыми, прославим свободу этой горькой и абстрактной проповеди среди зеленой, как сон, травы!.

Свобода, человечность, человеческая гордость и человеческая тоска — столько-то миль, столько-то миллионов, коттеджи, трущобы, туман, старина, Темза. За всем этим ощущение нереальности, никчемности, тщеты. Дивен Лондон, и тот, кто однажды прошел по его набережным, никогда не забудет этого испуга и отрешенности. Откуда он взялся, город-титан, на острове хмеля и вереска, в стороне от жизни, среди сырости и постоянной печали? Как властвовал и как угнетал? Как поколебался, дрогнул, смутился, заполнив собою шкафы с мирными трактатами и с увлекательными романами? Как живет он, еще храня парики, огни Пикадилли, великодержавность дипломатических нот, сигары, еще путая карты, блефуя, улыбаясь, но уже томясь неожиданностью любого рассвета? Как познакомился он с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработными и с самоубийствами?

Ни спортивные штаны, ни утренний порридж, ни розовые щеки, ни книги Уэллса не обманут чужестранца: Лондон призрачен, вымышлен и неточен, как сон. Другим столицам можно завидовать, можно их также презирать. Лондон вызывает к себе высокую человеческую жалость, жалость к любому рахитику, к изумрудной траве, к раненой индустрии и к надуманной богеме, к воскресным проповедникам, с их спасенной душой или же бескровной революцией, жалость ко всей жизни, которая еще кажется кипучей, помпезной, жизнью-моделью для других стран и которая завтра может легко оборваться, как бы завершая должным образом простую жестокую притчу.

2. ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ

Еда в Англии пресна и томительна, как воскресенье. Английские стряпухи ухитряются обезвкусить любую снедь. Вареная рыба — без соли, без масла, без

лимона. Чтобы проглотить ее, надо прибегнуть к одному из соусов в банке. Действительно, нигде не потребляют столько приправ: перца, сои, горчицы, имбиря. Это не только кулинарная справка, это разгадка английского быта: соус здесь никак не связан с самим блюдом, соус живет своей жизнью. Соус — это хотя бы остроты Бернарда Шоу. Что касается обыкновенных человеческих идей, то они водянисты и призрачны, как та детская кашица, которую потребляет каждый англичанин, вне зависимости от его возраста и профессии.

Глаза англичанина, будь то даже директор треста или биржевой шулер, поражают своей непередаваемой наивностью. Это, конечно, не отражается ни на дивидендах, ни на сделках, но это способствует невзыскательному юмору, а также лирической поэзии. Если где-нибудь еще сохранились детская доверчивость и способность к первоначальному удивлению, то только здесь, на этом острове черствых дельцов, лукавых торгашей и беспощадных колонизаторов. С помощью «плана Стевенсона» они в борьбе за каучук перехитрили вдоволь хитрых янки, но, наверное, тот же сэр Джон Стевенсон восхищенно раскрывает рот, когда в клубе какой-нибудь другой сэр показывает ему школьный фокус. В Афганистане они ловко науськивают одно племя на другое, они подымают восстание в Сирии и подавляют восстание в Месопотамии, они ссорят евреев с арабами и мирят австралийцев с японцами, они вешают, подкупают и методично сдирают с других народов, казалось бы, несуществующую, восьмую шкуру. Но поглядите, как трогательно они влюбляются, как краснеют при виде избранного предмета, как в перерыве между двумя заседаниями или между двумя экзекуциями они вздыхают, вянут и сохнут!..

Всем известно, что англичане храбрые мореплаватели и превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Они открыли немало земель и островов. Но перед всем новым, неожиданным они робеют. Если их мощь основана на детском любопытстве, то их консерватизм следует объяснить не принципами, да и не тупостью, но только робостью. Можно сказать, что теперь вся Англия стоит сконфуженная перед Америкой. Старые приемы износились. Отчаянные головы, авантюристы, смельчаки, открыватели нового — давно разбежались по белому свету. Они создали ту же Америку. В Англии остались не

только шутовские церемонии и королевская гвардия, но все навыки верноподданных бабушки Виктории. Молодые англичане до сих пор пишут пятиактные комедии, а молодые англичанки рисуют цветы в вазонах. Все новое здесь прозябает. Лондонские небоскребы — это жалкая попытка соединить индустриальную технику с томиком истории искусства. Речи коммунистических агитаторов смахивают на воскресные проповеди, а старик Форд, построивший в Манчестере автомобильный завод, получает оттуда весьма неутешительные сведения: английские рабочие никак не могут приспособиться к конвейеру. На пути, до сих пор именуемом чудаками «путем прогресса», Англия явно замешкалась. Здесь начало ее экономического падения. Здесь может быть также начало ее человеческого подъема. Принято англичанина подавать как образец мужественности. Это бульдог с ощеренной пастью или, на худой конец, мистер Черчилль. На самом деле англичанин чрезвычайно женствен, и вернее его представить в виде мисс, хотя рослой и не стыдящейся гусиной кожи на руках, но полной девического смущения.

Англичане боятся женщин, поэтому они их избегают. В университетах студенты тщательно обходят студенток. Существуют тысячи убежищ — клубов, куда вход женщинам заказан. В каждой средней руки гостинице имеется комната «только для джентльменов», там англичане дремлют или мечтают, убежденные в своей полной безопасности. Эти заповедники рождены исключительно мужским страхом и тем ореолом непонятности, который украшает вдоволь прозаических женщин. Ясно, что, напав на какую-нибудь костлявую мисс, способную играть в теннис и варить яйца всмятку, молодой англичанин, привыкший к покою интерната, стремительно влюбляется.

Англичанину ничего не стоит уехать на Соломоновы острова, исколесить весь свет, пойти с револьвером на тигра, наконец, положить свою жизнь во имя любой идеи, во имя верности королю или во имя хорошего отношения к чистокровным терьерам; он готов всегда и на все. При этом он способен прожить свою жизнь неудобно, пусто или даже позорно, подчиняясь заведенным кем-то обычаям. Никогда не придет ему в голову, что можно протестовать. Подайте ему к утреннему завтраку тухлую треску, он вздохнет и съест. Преподнесите ему какой-нибудь идиотический закон

1687 года, которому он обязан подчиняться, он снова вздохнет и подчинится.

С детских лет нас немало морочили разговорами о чувстве человеческого достоинства, присущем исключительно англичанам. Здесь все мешалось: историческая справка о Хартии вольности, рассказы о неприкосновенности жилища, наконец, заверения, что англичанина никак нельзя ударить — он, дескать, этого не переживет. Я слушал эти рассказы в стране городовых и мордобоев, слушал и завидовал: детям нужны сказки!

Англия, кажется, единственная в Европе страна, где до сих пор существуют телесные наказания. Воришку могут присудить к стольким-то ударам плетьми. Это, наверное, несколько шокирует англичан, исполненных чувства человеческого достоинства и возмущенных «принудительными работами» в Советской России. Они читают об экзекуции за утренней кашицей, читают и вздыхают. Недавно присудили к телесному наказанию мальчонку, уличенного в мелкой краже. Так как преступнику не было и десяти лет, один из вздыхавших, а именно член парламента, не выдержал. В Англии теперь правительство «рабочей партии». Кому же, как не ему, заняться отменой столь зверского пережитка? Начался водевильный диалог: «Известно ли достоуважаемому?..» ...Оказалось, что известно. Оказалось также, что «достоуважаемый» ничего поделать не может. Существует закон. Судья, присудивший мальчика к наказанию розгами, руководствовался законом. Следовательно, мальчик должен быть выпорот. Говорить не о чем. Можно зато протестовать против религиозных преследований в России. Можно также вздыхать, дремать и томиться.

Английский парламент издавна вызывал уважение чужестранцев. Слов нет, он куда приятней других парламентов. Я говорю не только об архитектуре, но и о повадках. В нем нет ни грубой муштры рейхстага, ни дешевой живописности палаты депутатов: это клуб для спортивных дельцов или для деловых спортсменов. К пяти часам зал пустеет: на веранде сервируют чай с тостами. Во всем нечто семейное, да и состав парламента как бы подтверждает это. Вот сын Макдональда, а это дочка Ллойд Джорджа. Здесь не только фракции, но роды. Это твердость семейного начала, это также цеховой характер заведения: сын биржевика

становится биржевиком, сын углекопа — углекопом, сын депутата — депутатом. Говорят в парламенте без излишнего красноречия, сидят запросто, развалившись и закинув ноги куда-нибудь повыше. При мне один из тори преспокойно положил свои ноги на стол, причем это был не просто стол, но особенный; помимо ног «достоуважаемого», на нем лежал еще один предмет, самый достоуважаемый, а именно — жезл спикера. Об этой палке стоит поговорить. На «процессию спикера» ежедневно собираются зеваки, как на бесплатное представление. Какие-то угрюмые молодцы несут золотую палку. Потом проходит степенный шут с облезшим париком на макушке. Глядя на это, креститься никто не обязан, желающие могут даже улыбаться. Палка остается, однако, священной. Недавно вся Англия содрогнулась, узнав о неслыханном кощунстве: один из крайне левых депутатов, возмущенный преследованием индийцев, а также лицемерием правящей партии, схватил палку и вынес ее из зала заседания. Здесь все опешили. Святотатец же объяснил, что, вынося палку, он хотил этим прервать заседание, так как без палки парламент — не парламент. Очевидно, и он свято верил в магические свойства указанного предмета.

Просвещенные англичане тяготятся зависимостью от мертвых вещей, от образов, от слов, от нескончаемого этикета, который поглощает всю человеческую жизнь, они тяготятся этим, но они этим и дорожат, они как бы боятся, что без этого распадется великая империя, исчезнет хорошо налаженная и в то же время призрачная, вымышленная жизнь. Ничто не связывает одного англичанина с другим, кроме знания истории и природной вежливости, то есть кроме тех же условностей. Таково оправдание золотой палки. Надо ли говорить о том, что и эта палка, как все палки мира, о двух концах?

Англичанин обожает отъединение. На улице он тщательно избегает задеть локтем встречного. В автобусе или в вагоне его место должно быть отделено от соседнего ручкой. Прикосновение чужого тела для него мучительно. Он живет в отдельном коттедже, предпочитая дрянной домик на окраине Лондона прекрасной квартире со всеми удобствами в большом многоэтажном доме: ему мало даже самых толстых стен. Он знает только своих друзей, остальные люди для него прежде всего неинтересны: он вежлив и равнодушен.

Понятие «общественность» для него метафизика. В Лондоне нет городских садов. Имеются королевские парки, в которых могут гулять все: это вежливость короля. Имеются также скверы; ворота в них заперты, в этих скверах могут гулять только обитатели домов, выходящих на скверы, у них ключи, прочим смертным остается любоваться сквозь решетку на тенистые деревья. Вот предел коллективного: десять домов — один сквер, сто джентльменов — один клуб, тысяча рабочих — один тред-юнион. Все остальное, то есть призывы к единству нации или трактаты о единстве класса, остается вне сердца и вне жизни; это только ветер с континента.

«Континент» для каждого англичанина не просто «заграница», а мир чуждый, страшный и привлекательный. Конечно, живут там люди низменные: их могут лишить политических свобод, они горячатся и ругаются, вместо матчей крикета у них происходят скандалы, землетрясения, даже революции, но там нет бремени вековых условностей. Туда можно убежать, хотя бы на время, убежать из заведомо свободной Англии на порабощенный континент, причем это будет бегством каторжника, мечтающего о свободе. Даже «уик-энд», то есть короткий воскресный отдых, англичанин стремится провести на континенте. Летом пароходы, покидающие остров, переполнены туристами, чтобы не сказать беглецами. Переплыв пролив, англичанин тотчас забывает о своей национальной сущности, легко расстается с вежливостью, не вспоминает об обязательных традициях, на один день он становится континентальным варваром, живет ничего не боясь, в полное свое удовольствие.

Но бегство на континент — это только передышка, только каникулы или пикник. Настает час возвращения. Завидев в тумане родимые берега, англичанин снова становится вежливым и замкнутым. Он принимается за овсяную кашу. Все континентальное остается на палубе парохода, за исключением разве что открыток, назначение которых — в зимние вечера волновать на минуту сердце. На континенте англичанин наслаждался, он там и не думал учиться. Зорко следит он за собой: не заразился ли он какими-нибудь недопустимыми повадками?.. Континентальное хорошо на континенте, в Англии ему не место! Вам нравится этот роман?.. Собеседник помолчит, вежливо улыбнется

и ответит: «Разумеется, но это для континентального вкуса...» Вы полагаете, что рабочей партии не пристало посадить в тюрьму 5000 индийцев? Снова — вежливая улыбка: «У вас континентальная точка зрения...»

Хранить островную психологию — это значит работать и зарабатывать, это значит торговать, морализировать и управлять государством. Но вот проходят годы, десятилетия, века, и спасительная отъединенность становится проклятием, за нее Англия теперь расплачивается не только промышленным кризисом и безработицей, но и бесплодием, окоченением, тоской, которая, выходя из рамок традиционного сплина, готова превратиться в новую эпидемию, в разлад жизни, в распад империи. Если рыба тухнет с головы, естественно, что страна начинает разлагаться с ее умственной верхушки. Так, вместо полезных специалистов, вместо врачей, адвокатов, романистов, скрипачей появляются неопределенные неврастеники, которых можно окрестить на русский манер «интеллигенцией». Это и есть голова рыбы, а также первый предвестник многих катастроф. Английская интеллигенция напоминает русскую конца прошлого столетия. Она страстно увлекается Чеховым, и вполне корректный инженер, увидав на сцене трех сестер, которые скулят: «В Москву! В Москву!», не только не изумляется и не зевает, но отвечает на стенания сочувственными вздохами; причем «Москва» лишена здесь географического значения; это просто нытье ради нытья, это поэзия скуки, с сознанием, что зевать стыдно, что надо стремиться к «небу в алмазах», но с твердым в то же время сознанием, что небо над островом неизменно серо, а алмазы добываются неграми в английской колонии. Климат изменить невозможно, освободить кафров невыгодно, да и глупо. Остается вздыхать. Наиболее решительные отвечают самоубийством. Другие, поскромнее, зачитываются романами о самоубийцах, нюхают якобы кокаин, увлекаются, впрочем вполне абстрактно, сексуальными извращениями и пробуют между кашей и сном выдумать нечто напоминающее богему. Им и невдомек, что богемы больше нет нигде, даже на соблазнительном континенте, что жизнь повсюду стала жесткой и сухой, что теперь можно только работать, ни о чем не думая, или же кинуться в одну из паршивых, давно обмелевших рек Европы. У них еще все в порядке: и законы, и колонии, и заработок. Они

могли бы жить спокойно, как их деды, смеяться над фокусами, пить портвейн и кичиться своим либерализмом, но нет, они томятся и вздыхают. Они куда совестливей их французских или немецких собратьев. Очевидно, россказни о человеческом достоинстве лживы не до конца, очевидно, в этом народе еще жив первичный миф — «человека». Он мешает стране продолжать богатеть, он мешает ей также бесславно погибнуть. Он требует выхода. Но здесь-то встает страх — это снова подул на Англию ветер с континента. Повернемся к материку спиной! Усилим в портах полицейский контроль! Сожжем на костре неподобающие сочинения! Узенький пролив, который каждое лето переплывают предприимчивые спортсменки, превращается в непроходимую бездну. А вздохи?.. Вздохи растут. Бедная Англия!..

3. ДЕНЬ ДЖЕНТЛЬМЕНА

В Англии много безработных, следовательно, в Англии много и бездомных. Для бездомных существуют ночлежные дома. Там можно получить койку на ночь. Но вспомним — мы в стране «человеческого достоинства», милостыня оскорбительна для гордого бритта. Следовательно, бездомный должен оплатить свой ночлег. Ему предлагают перетаскивать камни из одного угла двора на другой. Так находится работа для безработных, так охраняется облик человека. Попрошайничать стыдно, попрошайничают только на континенте!.. Здоровые парни, шахтеры, ткачи, выходят на улицу с букетиком одуванчиков или с детской дудочкой, чтобы набрать несколько пенсов. Приличия соблюдены. Он жив, этот добрый английский народ, который обожает короля, который круглый год готовится к святкам, который горд тем, что он живет на том же острове, на котором живут все достойные уважения джентльмены!..

Итак, забудем о черных тенях, которые ночью бродят возле Темзы, забудем о горе и гнили Поплара, забудем о шахтах, о прядильных станках, о дебатах в парламенте, о хронике самоубийств, посмотрим на узаконенную достопримечательность острова, на давнюю его гордость, на образцового джентльмена. Не ему ли рабски подражали наши русские либералы,

мечтая о конституции и о дерби, презирая «мещанскую Францию» и убаюкивая друг друга рассказами о прекрасном островитянине, который совмещает короля и свободу, торговлю и лирику, культ бокса и культ Толстого, доходы с Индии и теософию? Вы примете по ошибке немца за англичанина — немец самодовольно улыбается: ну да, он джентльмен, на нем костюм из мохнатого шотландского сукна, он предпочитает гольф дурацкой рапире, он, наконец, гуманист: конечно, он за уничтожение коммунистов, но он еще против еврейских погромов. Поглядите на французского сноба — недаром он перед зеркалом часами упрятывал под зубы язык,— он научился произносить французские слова с английским акцентом, он старается курить трубку, хоть его и подташнивает, он старается даже, несмотря на прирожденную свою крикливость, говорить тихо и нехотя, он, видите ли, вовсе не сын марсельского лавочника, он джентльмен. Можно без натяжки сказать, что любой цилиндр Пикадилли продолжает оставаться идеалом для среднего класса Европы. Деньги — в Нью-Йорке, бордели — в Париже, но идеалы — идеалы только в Лондоне.

Слов нет, английский джентльмен достоин изучения: это особая порода, с загадочными нравами, с таинственным культом, со множеством мифов и суеверий. Почему только английские этнографы облюбовали глубь Африки или дебри Индостана, когда рядом с ними проживает столь любопытное и своеобразное племя? В нашей старой Европе немало курьезов: я видел в глуши Словакии стариков с длинными косами, я видел в Польше шарлатанов-цадиков, окруженных фанатичными приверженцами, я видел своими глазами немцев, преданных республике, и французов, преисполненных уважения к другим народам. Но не скрою, английский джентльмен глубоко поразил меня. Я жалел, что со мной нет научной экспедиции. Мне хотелось заснять его, когда он прогуливается в визитке по улицам Лондона. Мне хотелось записать его странные и лаконичные изречения, когда изредка, выходя из дремоты, он снисходит до общения с другим джентльменом. Мне даже хотелось измерить его череп и положить в банку со спиртом его, наверное поразительный, мозг. Ведь не следует забывать всей важности рассматриваемого экземпляра: это не евреи в лапсердаках, не полудикие горцы, нет, это идеал Европы, ее голова.

Значительность особы можно понять хотя бы за утренним завтраком. Не будем говорить о Цейлоне, который самим Господом создан, чтобы поставлять крепкий душистый чай, на то Цейлон, колония. Но каково назначение Норвегии? Вот тарелка; перед джентльменом вареная треска; каждое утро он ест треску. Вся Норвегия только и живет что этими традициями тресколюбивого острова. После трески — яичница со свиным салом. От Норвегии недалеко до Дании. Государственный бюджет этой вполне корректной страны, как и семейное счастье любого датчанина, построены на священной потребности джентльмена после трески приступить к свиному салу. Можно было бы продлить географический и гастрономический экскурс. Но стоит ли?.. И так всем известно, что вне вкусов джентльмена нет в мире счастья.

Не следует думать, что джентльмен — это аристократ. Нет, титул «сэра» обеспечивается скорее хорошим достатком, нежели голубой кровью. Грек Базиль Захаров, в свое время ознакомившийся с английской тюрьмой,— «сэр». Голландский клерк Детердинг также «сэр». Это относится к простой арифметике. Но племя джентльменов много шире. Владелец портерной или скупщик хмеля тоже джентльмены. Правда, о туалетах их супруг ничего не сообщается в светской хронике газет, правда, развлекаться они ходят не в «Савой», но в место подешевле. Однако в точности они копируют все повадки образцовых джентльменов, и мы вправе говорить об ассимиляции. Их лица уже лишены выражения, и они могут породисто молчать. Не будем придирчивы, это — джентльмены.

Образцы, разумеется, наверху. На широкой веранде парламента мне удалось наблюдать за одним из самых выразительных джентльменов, а именно за Чемберленом. При нем были все его неотъемлемые атрибуты: цилиндр, монокль и явное презрение к рабочим-депутатам, которые бесцеремонно пили чай здесь же, рядом с ним (увы, в ресторане парламента оппозиция его величества никак не отделена от правительства его величества). Нет, кажется, на свете захудалого карикатуриста, который не нарисовал бы хоть раз Чемберлена. Однако это неблагодарная тема — карикатура здесь немыслима. Чемберлен настолько закончен, настолько типичен, настолько показателен, что никакая фантазия не сможет утрировать его черт. В течение

добрых десяти минут Чемберлен глядел на Темзу. Я знаю, что и Бриан любит подолгу глядеть на воду, но Бриан, тот удит рыбу, это спорт и это буколика. Что касается Чемберлена, то Чемберлен глядел на воду разочарованно и праздно. Можно было приписать ему любые мысли: о ничтожестве лейбористов, о распаде великой империи или даже о тщете всей джентльменской жизни, но честнее назвать этот взгляд глубоко беспредметным, так что, забывая о дебатах, о монокле и о многом другом, невольно я себя спрашивал — уж не Байрон ли предо мной?.. Наконец, вдоволь помолчав, Чемберлен прошел в зал заседаний. Там он столь же благородно и разочарованно положил на стол свои, бесспорно джентльменские, ноги.

Легче всего опознать джентльмена по ногам. Люди попроще и победней как-то стыдятся своих ног; они то поджимают их, то с натянутой развязностью вытягивают. Джентльмен сразу находит для своих ног какую-нибудь наиболее высокую точку. Если он сидит в кресле, с неподражаемой легкостью он перекидывает ногу за ручку (ручки кресел здесь предназначены именно для этого). Если перед ним стол, он находит и на столе не оскорбительное для своей ноги место. Он умеет распоряжаться своими ногами, это дается не только воспитанием, но и наследственной культурой.

Обработка джентльменов требует большого искусства. Если Манчестер славится текстильными фабриками, то Кембридж или Оксфорд могут быть также причислены к индустриальным центрам: в этих городах изготовляют особенно породистых джентльменов. Лекции по философии наравне с готикой, сказывающейся здесь даже в любой уборной, приучают джентльмена к ощущению известной нереальности. Он может стать впоследствии директором треста или биржевиком, но глаза его навсегда сохранят некоторое недоумение. В свободное от занятий время юные джентльмены занимаются греблей, гольфом или крикетом. Это освобождает их от чересчур абстрактных мыслей. В десять часов ворота запираются. Это монастыри без религии, школы без назначения. Каждый, прошедший через подобный искус, приобретает двойную ценность. Это видно не только по его кисету, украшенному цветами такого-то колледжа, но также по особой меланхоличности глаз, которую мы совершенно напрасно связываем с лирической поэзией.

Храмы джентльменов — это клубы, храмы поместительные и комфортабельные, с заменой крещения или обрезания обыкновенными членскими взносами. Клубы эти донельзя похожи один на другой: клуб квакеров, клуб автомобилистов, клуб консерваторов или клуб владельцев шотландских терьеров. Женщинам вход в клубы строго запрещен. Имеются, правда, исключения вроде Клуба 1917 или Клуба рабочей партии, но туда ходят не джентльмены, а неврастенические интеллигенты с континентальными замашками. В клубе либеральной партии, прикинувшись наивным чужестранцем, я спросил: нет ли среди членов клуба женщин, например, депутаток парламента? Один из дремавших либералов, услышав столь кощунственный вопрос, очнулся, переложил ногу со столика на этажерку и презрительно ответил мне:

— Мы могли впустить женщин в парламент, но не в клуб!

В политических клубах имеются большие залы, где джентльмены курят и обсуждают политические вопросы. Англичане предупреждали меня, что в этих залах сидеть неприятно ввиду сильного шума. Я, однако, не услышал ничего, кроме подозрительно равномерного дыхания и звякания кофейных ложечек. Святыня клуба — библиотека. Дело не в почтенных томах на полках, не в газетах на столах, но в надписях «Соблюдайте тишину!», а также в креслах, в кушетках, в диванах особой мягкости и поместительности. Призыв к тишине соблюдается относительно, так как после ленча в библиотеке стоит густой храп. Это злая шутка природы — многие джентльмены, известные своей стопроцентной молчаливостью, спят громко, чавкая или подсапывая. Клубы существуют ради библиотек, библиотеки ради сна, но почему надо спать на людях и в кресле, а не дома и не лежа — понять невозможно. Это относится к мистике джентльмена.

Столь же трудно разгадать любимую игру джентльменов — крикет. Игра эта долгая, томительная и бессюжетная. Она похожа на овсяную кашу и на добрые английские романы. Футбол считается занятием грубым, простонародным; он чересчур возбуждает зрителей, которые доходят даже до криков одобрения. На матчи крикета собираются все джентльмены. Они сидят часами молча и смотрят. Иногда их одолевает дремота, но через минуту они про-

сыпаются и продолжают смотреть. Играют в крикет только англичане и австралийцы. Один год побеждает Англия, другой Австралия. Это событие первостепенной важности, которое позволяет забыть о каких-то невоспитанных индийцах, занятых низменной солью.

Джентльмен любит путешествовать, но, путешествуя, он, конечно, продолжает оставаться джентльменом. Будь то Сахара, в половине пятого пополудни он начинает испытывать беспокойство, даже глаза его приобретают тоскливый оттенок: приближается час послеобеденного чая. Различные страны зазывают англичан. «Лето в Австралии — лучший в мире гольф!»; «Канада — матч тенниса». Джентльмен едет в Австралию и там тотчас отправляется на работу: он идет важно по полю, а сзади бежит австралийский мальчонок, нагруженный орудиями труда. Джентльмен отважно переплыл океан, но Австралия его никак не интересует. Он приехал играть в гольф.

Тяжелые физические упражнения не мешают джентльмену быть изысканным в своем туалете. Конечно, в Лондоне много банков, портерных и миссионерских обществ, но больше всего в Лондоне магазинов мужского белья. Глядя на выставленные в окнах шелковые кальсоны, на пижамы с хитроумными разводами, на носки, строго согласованные не только с рубашкой, но и с галстуком, можно подумать, что в Лондоне много мужчин, занятых неблаговидной профессией. Но это не так. Люди нефти или хлопка, биржевые маклеры, инженеры, химики, банкиры — все они без исключения увлечены цветом своих подштанников. Женщины могут одеваться проще, скромней. На то они женщины. Правда, у них избирательные права, но в клуб-то их не пускают. Это низшая каста, им далеко до джентльменов.

Поскольку джентльмену приходится все же прибегать к услугам указанной касты, он отменно вежлив. Он пропускает даму вперед к кровати и платит ей гинеями. Вместо грубых борделей для джентльменов Лондона устроены салоны, полные задушевного благообразия. Леди в бальных платьях подносят джентльменам (которые, разумеется, все во фраках или, на худой конец, в смокингах) благоуханный чай. Потом леди и джентльмен проходят в комнату за гардинами. Там медленно джентльмен снимает фрак. Как хороши его подтяжки! Как нежна его любовь!

Образцового джентльмена можно узнать также по трубке. Если на мундштуке белый кружок, следовательно, перед вами чистый образец: настоящий джентльмен курит трубки Донхиля. Это куда больше вопрос этикета, нежели вкуса. Белое пятнышко влетает в копейку, но без него не прожить — разве вы не слыхали, что принц Уэльский курит маленькую носогрейку номер 305, которую он носит в жилетном кармане?.. В магазине Донхиля можно увидеть трубки ценой в десять гиней; это дерево с особенно правильными вертикальными жилками. Мне показали там одну трубку:

— Эта трубка абсолютно безупречна. Все жилки идут вверх. Один раз ее выкурил мистер Альфред Донхиль...

Богомольно взглянул я на непогрешимую трубку. Что же мне теперь делать — зарезать богатую старуху или, став на колени, благословить священный предмет и верховного жреца, мистера Донхиля, который однажды коснулся ее губами?..

Вечерами джентльмены курят в клубах безупречные трубки. Иногда они танцуют; танцуют так же бесстрастно и отвлеченно, как и курят. Иногда они идут в театр или в кино. Вот картина по роману Ремарка. Люди падают, сбитые пулеметным огнем, корчатся, умирают. Зловещее мяуканье снарядов и грубый американский акцент. Джентльмены и леди в бальных платьях смотрят на экран. Многие из джентльменов в свое время побывали на берегах Соммы. Многие леди тогда плакали над отцами, женихами или братьями. Бесстрастно смотрят они на экран. Кто знает, что сильнее смущает их: воспоминания или скверное произношение актеров? Вспыхивает свет. Оркестр исполняет гимн. Леди и джентльмены торжественно встают. Потом оркестр переходит на фокстрот. Леди и джентльмены отправляются спать.

По четвергам зоологический сад Лондона открыт до полуночи. В Лондоне мало развлечений, и джентльмены едут к зверям, чтобы несколько развеселиться. Клетка шимпанзе. Насмешливо поглядывает обезьяна на посетителей. Перед ней джентльмен во фраке и в цилиндре. Невольно теряешься — почему не он за решеткой?.. Вся беда обезьяны в отсутствии фрака и в густой растительности, но, право же, она куда человечней джентльмена. Она понимает, что посетителю скучно,

что ему надоели и библиотека клуба, и модные лавки; она пробует развлечь его великолепными ужимками шекспировского актера. Но он выдерживает тон, он не улыбается, не морщится, он стоит, неподвижный и немой, богоподобный джентльмен перед всего-навсего человекоподобной обезьяной.

Молодые джентльмены возят декольтированных красавиц в креслах на колесиках. Сад пахнет хищниками, пометом и духами. Вот леди подвезли к клетке с тигром. Зверь уныло машет хвостом. Электрический свет его слепит. Духи его оскорбляют. Леди бесстрастно смотрит на тигра. Потом она слегка наклоняет голову: джентльмен тотчас везет ее дальше — к носорогу или к крокодилу. Играет оркестр, и все зверье большущего сада мечется, пытаясь развлечь тех, кто не может по своему чину развлекаться.

Такова жизнь, полная условности и ритуала. В нее входит, конечно, и работа: сделки, договоры, колонии, экспорт, кабели, курсы, но работа эта традиционна и пуста. Джентльмен ничего не может выдумать, он отступает перед предприимчивыми янки, отступает даже перед настойчивыми немцами. Он еще живет хорошо, несмотря на кризис, вернее — он не живет, а доживает. Если при этом его сердце незнакомо с изменениями ритма, это надлежит объяснить не только его прирожденным спокойствием, не только высоким умением оксфордских профессоров, но и отъединенностью от подлинной жизни. Нельзя говорить о слепоте: джентльмен все видит и все знает. Он изучил статистику безработицы и хорошо знаком с историей континентальных революций. Но между ним и действительностью прозрачная стеклянная стенка. Я видел на английских кладбищах фарфоровые цветы под стеклянными колпаками. Под такими колпаками у нас держат сыр. Фарфоровые цветы не боятся солнца, засохнуть они не могут, но колпаки предохраняют их от града. Впрочем, и колпаки бьются, так что это вопрос о силе атмосферного давления. Душа живого джентльмена — под таким же стеклянным колпаком. Хрупкая душа и хрупкая защита! Рядом растет и входит в силу смерть, недобрым огнем горят глаза других обитателей острова, отнюдь не джентльменов, тех, что открывают дверцы автомобилей или дуют в дурацкие дудочки. Кто знает, когда падет град?.. Одно знают все: этот град будет тяжелым и беспощадным, как библейская кара.

4. ОБЕД В ПЕН-КЛУБЕ

Литература в Англии на положении палаты лордов: ее уважают, но она никому не нужна. Тираж книг весьма ограничен, и все издатели — маклеры: их главный заработок — перепродажа авторских прав в Америку. Произведения самого значительного из современных английских авторов Джойса продаются из-под полы, как кокаин. Куда разумней в Англии быть стряпчим или даже псарем, нежели писателем.

Писателей, однако, на острове немало; еще больше людей, пописывающих, почитающих и обожающих литературу. Легко догадаться, что основное их занятие — это посещение десяти литературных клубов. Один из наиболее известных — Пен-клуб. Это благонравная английская мечта, нечто вроде объединения «чистых» на Ноевом ковчеге, интернационал профессионалов, якобы отрешенных от своей профессии, занятых исключительно взаимным сближением, а также пропагандой универсального мира. В секретариате лондонского Пен-клуба висит карта Европы с воткнутыми флажками. Оказывается, нет на континенте злосчастного захолустья, где бы не было своего Пен-клуба. Лондон и здесь остается диктатором: наряду с трубками и с низкорослыми терьерами народы Европы спешно обзаводятся Пен-клубами.

Какова цель этих почтенных учреждений? Услышав подобный вопрос, любой журналист Варшавы мигом превратится в Льва Толстого: он начнет говорить о всех преимуществах мира над войной. Пережив четыре затруднительных года, европейские писатели решили предаться пацифизму. Эти разговоры, как известно, ни к чему не обязывают и заканчиваются они в день мобилизации. Писатели, в свое время взывавшие к «священной ненависти», могут подымать тосты за «всеобщее братство». В этом году они избрали для буколических воздыханий самое подходящее место, а именно Варшаву. Правительство Пилсудского их нежно приветствовало. Они пили вволю и старку

и рябиновку, вволю говорили о мире. В их оправдание можно добавить, что другой международный съезд литераторов заседал недавно в стране, также прославленной своим миролюбием: в Румынии.

По уставу, все Пен-клубы обязуются никак не касаться политики. Это, конечно, придумано англичанами. Жизнь на острове достаточно абстрактна, работа писателей никому не нужна, следовательно, им нипочем и безработица. Болдуин или Макдональд — не все ли равно? Они любят мир и красоту. Они против грубой политики. Стараясь угодить этим чистоплюям, польские «пилсудчики» на полчаса забыли о своих прямых обязанностях. Лондонский Пен-клуб радуется: как же, он показал всем, что писателей объединяет нечто высшее, вот даже на съезде в Варшаве речь шла не об арестованных украинцах, но исключительно об умиротворяющей роли литературы...

Занятия Пен-клуба хоть и возвышенны, но несколько однообразны: раз в месяц Пен-клуб устраивает обед в честь какого-нибудь иностранного писателя. Речь идет не о гастрономических восторгах: кормят на этих обедах весьма посредственно, но только о взаимном сближении.

Этой весной я получил от лондонского Пен-клуба любезное приглашение. В повестке, которая рассылалась всем членам, было указано, что такого-то числа состоится очередной обед, под председательством Голсуорси. Вслед за этим весьма обстоятельно описывалось, какой костюм наиболее приличествует трапезе. Горячо рекомендовался смокинг. После трактата о костюме шла короткая справка о том, чем примечателен приглашенный гость.

В салоне, примыкающем к обеденному залу, был выставлен большой план — где кому сесть. Имелись столы: A, B, C, D. Размещение приглашенных согласно их рангу и возрасту требует, видимо, немалых усилий. Члены клуба взволнованно изучали план. В качестве «почетного гостя» я был посажен за стол A, рядом с вполне маститыми членами. Самому молодому из них было лет за шестьдесят. О том, кто их очередной гость, члены имели самое смутное представление. Некоторые полагали, что я французский поэт, другие уверяли, что я немецкий философ. Один, впрочем, твердо усвоил, что я русский, и поспешил меня порадовать:

— Я был представителем великобританского командования при штабе генерала Деникина.

Обед проходил вполне благообразно, классический английский обед, посвященный предпочтительно перемене ножей и вилок и перестановке официантами стаканов с одного места на другое. Рядом с председателем лежал большущий деревянный молоток. Постучав им, он начал задушевный спич. Прежде всего он меня представил членам клуба: «Создатель замечательного фильма «Любовь Жанны Ней», потом он рассказал, как чудесно кормили и поили милые поляки английскую делегацию. Соседи также занимали меня разговорами, причем я мог убедиться, что устав клуба соблюдается только в части, касающейся костюма: разговор шел предпочтительно на политические темы. Члены Пен-клуба сокрушенно вздыхали над судьбами восточных варваров. Одна леди, достаточно пожилая и, следовательно, достаточно обнаженная, к концу обеда наконец выяснив, что я не французский поэт и не немецкий философ, с подлинным соболезнованием сказала мне:

— Но что же сделали большевики с вашим маленьким бедным генералом?..

Я вежливо подсказал ей:

— Наверное, съели.

Леди побледнела, из ее руки выпал десертный ножик. К счастью, час был, на лондонский взгляд, поздний, «взаимное сближение» кончалось, и ее вскоре отвезли домой.

Конечно, и среди членов Пен-клуба имеются настоящие писатели, конечно, и помимо Пен-клуба, существует английская литература. Я встречался в Лондоне с молодыми писателями, которые достаточно непочтительно отзывались о столах A, B, C, D. Однако обеды Пен-клуба не просто водевиль, это, скорее, клинические данные, это старческий лепет, это агония. На континенте жизнь куда грубее; там люди толкаются, влезая в трамваи, там в ходу цензура, доносы и тюремная баланда. Писатели там быстро усвоили навыки времени. Если они и устраивают идиллические спевки Пен-клубов, это лицемерие и мода. Не то в Англии: даже леди, допрашивавшая меня о «маленьком генерале», и та отнюдь не кривила душой. Подслеповатость здесь еще обязательна для человека, имеющего дело не с издателями,— какая пошлость! — но с музами. Для

писателей нет места в жизни, зато они уютно и в то же время пристойно устроились над нею.

— Куда вы едете из Лондона? — спрашивали меня затворники Пен-клуба.

Я отвечал: в Манчестер. Тогда по лицам, нежным и отвлеченным, как бы сделанным одним из прерафаэлитов, проходила легкая тень недоумения. Что интересного в Манчестере? Это грязный и скучный город: там нет ни древностей, ни музеев, ни изысканного общества, ни морских закатов. Затворники никогда не бывали ни в Манчестере, ни в Глазго. Они не бывали даже в восточных кварталах Лондона. Они ездят на озера в Уиндермир или, еще охотней, во Флоренцию. Они изучают Европу в монастырях Умбрии или на пляжах Нормандии. Потом они возвращаются домой, в маленький коттедж под Лондоном, где ярко-зеленая трава, камин и томики стихов в замшевых переплетах. Там они пишут романы, элегии, пьесы, философские или моральные, о прелести осени, об отваге изобретателя или о душевном конфликте мистера такого-то. Этот мистер живет рядом в таком же воображаемом коттедже, и этого мистера нет нигде. Под ними глухо трясется земля, двадцатый век, несколько запоздав, вступает наконец-то на остров. Они не слышат гула и досадливо отряхиваются, когда новая жизнь сыплется на них с серых листов газет. Этот разрыв воистину патетичен, он заставляет отнестись с должным соболезнованием даже к смокингам и молоточку, он превращает каждую из месячных трапез со столами A, B, C, D в тайную вечерю, за которой — гик толпы и уксус, но без правды и без воскресения.

5. МАНЧЕСТЕР

В других городах люди смотрят порой с опаской на небо, они изучают стрелку барометра, они колеблются — стоит ли взять зонтик, они жалуются на погоду — снова дождь!.. В Манчестере барометры не в ходу, и никто в Манчестере не говорит о погоде. Дождь здесь не досадное происшествие, не сезонный гость, не «столько-то дней в году», дождь входит в само понятие «Манчестер»: не будь дождя, не было бы и города; дождь здесь идет каждый день, летом и зимой, утром и вечером; его монолога не заглушают ни гул

биржи, ни грохот станков, ни писк новорожденного, ни агония миллионов; этот дождь вечен. Он — Святой города, нечто вроде Георгия или Михаила, он его основатель и защитник, холодный угрюмый дождь: ведь только изумительной сырости климата обязана вырабатываемая в Манчестере нитка своей тонкостью и прочностью.

Как грибы, выросли под дождем сотни и сотни труб. Дождь обеспечивает акционерам высокие дивиденды, либералам «манчестерскую школу», рабочим гороховый суп. Смешиваясь с гарью, дождь становится черным, и грязная вода беспрестанно льется на грязные камни. Люди никогда не снимают с себя прорезиненных плащей; даже летом местные красавицы, рыжеватые, грустные, обуты в высокие сапоги. Пальцы обитателей этого благословенного города, инженеров или актрис, ткачей или спекулянтов,— узловаты, скрючены, как древние сучья. Люди сморкаются и во сне, концерты сопровождаются взрывами чихания, аптеки с утра до ночи бойко торгуют салицилкой. Дождь все льет и льет. Тротуары обведены траурной каймой.

На главной улице по утрам толпятся промокшие джентльмены. Они пахнут псиной и дымом. Иногда из раскрытого окошка на них сыплются белые хлопья. Уж не сменится ли опостылевший дождь сострадательным снегом?.. Но эти хлопья не снег, эти хлопья — хлопок; там, наверху, на восьмом или на девятом этаже огромного корпуса, в комнате под номером 468 или 723 один ревматик продает другому воистину непорочное счастье черного города: легкий белый хлопок.

Англичане не любят говорить о Манчестере: это слишком интимная тема; кто же станет водить гостя на кухню, кто станет докучать ему рассказами о своих доходах?.. Англичане говорят о старых домах Честера, о красотах озерного края или об оксфордской идиллии. Однако вне Манчестера нет Англии: здесь ее мощь, здесь также ее свежая язва. Манчестер — это означает экспорт и кризис, текстиль и безработица.

Двести лет тому назад английский парламент после длительных и, наверное, весьма глубоких дебатов разрешил подданным короля носить бумажную ткань: до этого постановления женщина, осмелившаяся по-

казаться в ситцевом платье, уплачивала 5 фунтов штрафа: такова была верность прадедам, а также находчивость фабрикантов шерсти. В 1736 году Англия, изменив традициям, нашла новый способ обогащения. Манчестер быстро рос и крепнул; забыв о дожде и о гари, можно сказать, что он хорошел: на «бумажные» деньги он обзавелся церквами, театрами, музеями. Он поставлял ткань на весь мир, тонкой и крепкой паутиной он вязал другие страны. Если теперь паук приуныл, если не дымят столько-то труб, если по мокрым улицам бродят голодные ткачи, как затонувшее золото, разыскивая невозможную работу, во всем этом ничуть не повинна тонкая нитка, она попрежнему на славу крепка. Она, кажется, крепче и Великобританской империи, и всего «мирового хозяйства».

В Манчестере с прилегающими к нему поселками 2 761 000 жителей. В Манчестере 31 процент безработных. Но стоит ли заглядывать в справочник? Не достаточно ли красноречивы эти заброшенные корпуса фабрик, эти лишившиеся дыхания трубы, наконец, эта впалость щек, непривычный на севере жар глаз, эта откровенная нищета, которая теперь, как дождь, неотделима от жизни Манчестера?

Лондонские джентльмены еще пробавляются анекдотами. «Как, вы не знаете?.. Следственная комиссия установила, что один безработный, получая от государства пособие, тем временем работал в порту. Он живет припеваючи! О чем же думает правительство? На что идут деньги налогоплательщиков? Пора обуздать лодырей!..» Тем временем по улицам Манчестера все бродят и бродят смутные тени. Тщетно останавливаются они у досок «Спрос»: доски пусты, на труд нет спроса. Счастливцы работают два-три дня в неделю. Вот у этой тени из штиблет торчат пальцы, а у той вместо рубашки — газета. Манчестер одевает мир, но тени, которые бродят по улицам Манчестера, довольствуются библейскими рубищами.

Нить тонка и крепка, однако не на станках Манчестера решается его судьба. В Германии свои станки. В Японии свои станки. В Австралии тоже свои станки. Где-то далеко от Манчестера, под другим небом, под солнцем, столь же злым и нещадным, как манчестерский дождь, идут худые, голодные, загнанные люди. Газеты с усмешкой описывают «соляной поход». Ка-

кое дело Манчестеру до сумасшедших фанатиков?.. Но вот останавливаются новые фабрики, виснет нить, растут толпы теней, растет голод: Индия доконала Манчестер...

Безработные требуют хлеба. Либералы агитируют против консерваторов, консерваторы агитируют против Макдональда: у всех свой секрет спасения. Притихает сосед Манчестера — кичливый Ливерпуль с конторами пароходств, похожими на античные храмы: заморские страны не хотят больше даров Манчестера, ни белых ниток, ни пестрых материй. Тишина. Одинокий вздох. Это трещит не бумажная ткань, это трещит великая империя.

Завсегдатаи клубов много говорят о хитрости «лодырей»; они вовсе не говорят о хитрости джентльменов, которые дают свои капиталы за границу. Куда выгодней изготовлять текстиль в той же Индии, нежели в Манчестере! С точки зрения патриотов эти джентльмены — предатели. Но вряд ли их можно осудить: они верны и своему классу, и своему времени. Будем надеяться, что и они проявят должную широту, что, когда придет час их смерти, они не станут привередничать: не все ли равно, от чьей руки погибнуть — манчестерского безработного или желтого кули?

Впрочем, они еще живы, еще работают две трети фабрик Манчестера. Оставим диагноз и мораль, вернемся к хлопку. Вот его высыпают из мешков, он сбился и как бы поблек, он кажется грубым мартовским снегом. Трудно себе представить, что он превратится в тонкую белую нить. Над ним работают не только тысячи рук, но и сотни голов. Каждый год приносит новую усовершенствованную машину. Хлопок подвергается десяткам самых сложных манипуляций. Новорожденную нитку холят, обучают, укрепляют. Вот он, единственный пафос нашего времени: машины, машины, машины! Среди их рева невольно приходит в голову простая и праздная мысль: каким прекрасным был бы человек, если бы над ним столько же трудились, сколько здесь трудятся над обыкновенной ниткой!..

Англичане еще дорожат традициями: старыми портретами в конторах фабрики и старыми повадками среди машин 1930 года. Они еще уважают воскресенье и притчу о последней рубашке. Они даже ходят в цер-

ковь. Это, конечно, непоследовательно и тупо. Древние египтяне поклонялись Изиде: они верили, что Изида изобрела прялку. Почему же англичане не поклоняются некоему Эркурейту, цирюльнику и бродяге, который изобрел ткацкий станок?.. Почему они до сих пор дивятся воскресению из мертвых столь ненужной вещи, как человек, вместо того чтобы дивиться превращению египетского хлопка в очаровательные пижамы?

В мастерских скрежет, треск, грохот, гул. Рабочие не слышат своего собственного голоса. Они угадывают слова по движению губ, как глухонемые. Так высокое искусство вносит корректив в человеческую природу. В шахтах Уэльса рабочие смотрят руками, глаз им не нужно, они живут как слепые. На фабриках Манчестера не нужно ни языка, ни ушей. Нигде не нужно ни мыслей, ни чувств: машины знают свое дело.

Кроме текстильных фабрик, в Манчестере много крупных заводов. Этот город дождя и долготерпения облюбовал старик Форд. Здесь он одарил бестолковых европейцев своей знаменитой «лентой». В Манчестере находятся заводы Виккерса. Это имя для человека, пережившего годы войны, связано с грохотом снарядов, а также с унылым шушуканием о зловещем герое нашего века, о сэре Базиле Захарове. Входя в огромную сборочную завода, однако, забываешь о прошлом: перед глазами не история войны, но география государства, у которого все в будущем. У Виккерса нет безработных, у Виккерса теперь хороший клиент: это СССР. В парадной приемной завода можно было бы повесить, рядом со списками убитых на войне рабочих, над новеньким, как бы игрушечным снарядом, над этой реликвией и памятью о былых дивидендах, слова Ленина: «Социализм — это советская власть плюс электрификация». Над созданием советской власти заводы Виккерса никак не работали, зато они работают теперь над электрификацией. Дощечки: «Иваново», «Челябинск», «Верхнеднепровск»... Здесь можно дать себе отчет в горе и в мужестве, в подведенных животах, в заплатах, в карточках, в тяжелых грубых годах и в непримиримой мечте, давно уже переведенной на трезвый язык многозначных цифр. В Англии раздаются голоса о необходимости перейти хотя бы частично на земледелие: индустриальная страна, с машинами и с безработными, мечется, томится, ищет лазейки.

Карта мира меняется вне международных конференций. Чадный Манчестер снаряжает молодую мужицкую страну на железный век. Нравоучительная картинка?.. Нет, попросту хорошие заказы — столько-то генераторов. Остальное доскажет история.

Что же делать в этом городе, если не философствовать? Лучше не глядеть по сторонам: черные стены, сырость, гарь. На лучшей площади города чахлые деревья в кадках. Это не Лондон: здесь незачем играть в уют, здесь нет ни парков с изумрудной травой, ни уютных кондитерских. В большей гостинице — грязь и гул узловой станции. На рукавах джентльменов подозрительные белые пушинки. Почем сегодня хлопок?.. В ванной — черная лужа. В баре — толкотня, с ватерпруфов текут струи, маклеры и репортеры, отталкивая друг друга, кидаются к стаканам. Озябли они или стосковались по обыкновенной опрятной жизни, по сухим улицам, по спокойным дням? Они пьют много, пьют молча. В 11 вечера бары закрываются. Под дождем одинокие чудаки, затравленные бессонницей, еще разглядывают освещенные витрины, но даже витрины в этом городе лишены сентиментальности: вместо восковых красоток — непромокаемые пальто и несгораемые шкафы. Вот у этого окна постоянно толпятся зеваки: какой-то сапожник выставил целую сцену — починка обуви с помощью конвейера. Дырявый башмак подхватывают, сдирают с него кожу, одна рука вбивает один гвоздь, другая — другой, третья наводит лоск, все вертится, блистает и спешит, а гипсовый несчастливец, доверчиво сдавший судьбе дырявый башмак, стоит, как аист, на одной ноге и меланхолично качает головой в такт заводной машинке.

Один из глазевших выругался, другой громко зевнул, потом они толкнули друг друга, здесь уже оба выругались, выругались и разошлись, вползли в сырые дома, чтобы натереть перед сном распухшие пальцы шарлатанской мазью. Да, в Манчестере вы не найдете знаменитой английской вежливости, здесь все спешат и все стараются друг друга обогнать; входя в автобус, здесь знакомишься со многими локтями. Зачем притворяться?.. Джентльмен, говоривший в Лондоне чуть ли не шепотом, приезжая в Манчестер, с удивлением узнает, что у него вполне развитой голос, он может, например, великолепно

ругаться. Лицемерит ли старая Англия? Или просто умирает, уступая место манчестерской Америке? У черного города много грехов на душе, но в одном он безупречен — он никогда не лжет. Он знает наживу, убытки, богатство, голод. Все здесь досказано до конца, среди скрежета станков, под дождем или у вонючей стойки бара. Вероятно, когда настанет черед Англии ответить за все, за Индию и за Поплар, за изысканность ее джентльменов и за звериный быт ее белых, желтых и черных рабов, вероятно, в этот день в Лондоне еще будут вежливо разговаривать, какой-нибудь депутат еще будет осторожно допрашивать министра — известно ли министру, что настал день так называемой расплаты?.. В Манчестере тогда не будут ни извиняться, ни оправдываться.

6. УГОЛЬ

В северном Уэльсе — водопады и фольклор. Англичане туда ездят на летние каникулы. Овцы на зелени отлогих гор, пустынные печальные озера, вереск, редкие домики, тишина. Англичане любят природу; задыхаясь среди копоти городов, они умеют ценить и озон, и траву, и одиночество. Они не стараются превратить лес в увеселительный сад с киосками, не стригут деревьев на манер пуделей, вместо игрушечных клумб они засевают цветы, как газоны. Жизнь их жестка, зато глубоко идилличны их каникулы и их кладбища. Северный Уэльс для них благословенная страна.

Любовь эта лишена взаимности: жители северного Уэльса не очень-то обожают летних гостей и зимних распорядителей. Ревниво отстаивают они свой язык и свои нравы. Опыт близкой Ирландии кажется им соблазнительным. Правда, крестьяне и пастухи услаждают зимние досуги вполне безобидным брюзжанием, но их сыновья, добравшиеся до скамей Бангорского университета, не довольствуются одними осуждениями. Новенький национализм всегда соблазнителен, особенно среди холмов и овец. Студенты Бангора, в отличие от их английских коллег, увлекаются не спортом, а высокой политикой. Они мечтают о независимости Уэльса. Это — игра, как всякая другая, не

лучше и не хуже футбольных матчей или парламентских дебатов.

Одно только обстоятельство смущает бангорских патриотов на севере Уэльса — овцы и национальные идеи, на юге — люди и уголь, без юга Уэльс не Уэльс, но углекопы Кардиффа или Суонси не проявляют никакого интереса к независимости. У них свое дело — уголь, свое горе — безработица.

В южный Уэльс туристы не выезжают, здесь листва покрыта черной пылью, а на портовых водах — радужная пелена нефти. Ночью этот край кажется сказочным: бесятся громадные печи, среди оранжевого тумана проступают леса труб, кричат сирены пароходов. Но скучно здесь днем: длиннущие, многоверстные улицы с маленькими серыми домишками, глухие стены фабрик, горы угля. Жизнь на земле случайна и малоприметна, подлинная жизнь проходит под землей.

В начале прошлого века Суонси был небольшим, но весьма аристократическим городком: щелкали бичи кучеров, леди улыбались миру, а джентльмены в уединении изучали карту звездного мира или новые карточные фокусы. Жизнь под землей только-только начиналась. Первые горемыки, спускаясь на 30 метров вниз, вытаскивали из-под земли драгоценные черные глыбы.

Теперь в Суонси около 170 000 жителей. Десяток церквей, парк (конечно, Виктории), высшая техническая школа, несколько универсальных магазинов, несколько дансингов с лондонскими красавицами,— словом, город как город. Бродя по его улицам, трудно догадаться, что под ними идет ожесточенная жизнь, что эти тротуары и витрины только покрывало над подлинным городом. Вся земля окрест изрыта, уголь ищут под замком, под дансингом, под домами и под рекой, его ищут повсюду.

Давно уже иссякли верхние пласты; все глубже и глубже уходят под землю люди. Теперь уголь добывают на глубине 300—400 метров. Оборудованы шахты по старинке. Кроме батарей, которые зажигают погасшие лампочки, похвастаться нечем. Статистика несчастных случаев и та не в силах подогнать людей — обвалы воспринимаются с завидным фатализмом: таково ремесло!..

Каждое утро происходит то темное и непонятное, с чем можно сравнить только миф о Прозерпине.

Столько-то тысяч людей уходят во тьму. У каждого шахтера своя лампочка под номером; ее мизерный свет — это то, что он уносит под землю как воспоминание о светлом надземном мире и как поруку возвращения. Лифт-площадка, раскачиваясь и содрогаясь, падает вниз. Льется на голову грязная холодная жижа. Сначала коридоры широки и освещены лампочками. Потом начинается крутой спуск к четвертому или пятому пласту. Темь. Скользкая липкая земля. Своды все ниже и ниже. Рабочие идут согнувшись, они идут долго, иногда два или три километра. Этот путь не входит в число рабочих часов, это еще не работа, только путь к работе... Подпоры из железа, но не всегда и железо выдерживает: вот здесь произошел недавно обвал — четырех задавило. Среди рабочих — дети, это не средневековье, даже не Диккенс, это 1930 год, это мирное осуществление универсальной гармонии. Не улыбайтесь скептически — самому маленькому четырнадцать лет, человечество недаром вдохновлялось благородными идеями, два года отвоеваны — прежде под землей работали и двенадцатилетние. Мальчуган ползет по черной глине. Когда он спустился вниз, еще не рассветало, когда он подымется наверх, будет темно. Он сегодня не увидит света, что поделаешь — зимние дни коротки. Он будет расти, расти под землей, расти и работать, он станет взрослым, он приведет сюда своего сына, потом он состарится и умрет,— это не протест, это только справка о человеческой жизни, которая не длиннее зимнего дня.

Чем глубже, тем жарче и душней. Если поднести лампочку к лицу, можно разглядеть струи пота; пот этот, разумеется, черный. Несмотря на клочья холодного острого воздуха, которые вылетают из труб, дышать сложно и трудно. Глаз скоро привыкает к темноте, но никогда он с ней не примиряется: человек переходит на положение полуслепого, обостряется слух, обязанности рук усложняются.

Тележки с углем тащат лошади, особо низкорослые и особо терпеливые,— лошадь не человек, она больше привередничает и легче подыхает. У лошадей благородные имена: «Капитан», «Виктория», «Нельсон». Проработав несколько лет, Виктория рассталась с ненужным ей зрением. Рабочие, конечно, не слепы — они

должны видеть уголь, но глаза их отучены от солнечного света.

В этом своя правда: на фабриках духов работницы теряют обоняние, бесшумные моторы изготовляются в мастерских, полных невыносимого скрежета, и рабочие, их изготовляющие, становятся наполовину глухими, чтобы добыть свет, шахтеры уходят в тьму, зрачки их перерождаются.

Почему люди идут сюда? Почему, попав сюда, они не бегут прочь? Что приковывает их к этим тачкам, которые не зря рождают в памяти образы каторги? Легко ответить: «Не все ли равно где...» Нет, это не просто работа, не станок, не кули грузчика, не коса, это уход от жизни, проклятье, обет. Работа шахтера оплачивается не выше иной; токарь или слесарь зарабатывает даже больше. Почему же углекоп ведет своего сына вниз? Почему четвертое или пятое поколение с трогательной верностью предает жизнь углю?.. Есть ли выход из этих катакомб?..

Рядом со мной член парламента: больше двадцати лет проработал он в этих шахтах. Его лицо и руки покрыты татуировкой: траурные чернильные жилки; это, однако, не татуировка, это уголь, уголь, которого не отмыть, который вошел в кровь; человек переменил профессию, стал политическим деятелем, но стигматы остались, в здание парламента он принес черный дух Суонси.

В душной яме, где, кажется, нечем больше дышать, где тридцать пять по Цельсию, человек с татуировкой говорит мне:

— Я люблю этот запах...

Так уголь оставил следы еще более глубокие, нежели черные пятна: любовь к окаянной работе. С любовью ползет он по коридорам, с любовью лелеет чахлый огонек лампы, с любовью рассматривает в конторе чертежи. Это его дело и его жизнь. Я не знаю, что здесь уместней: благоговение или отчаяние? О бескорыстной привязанности рабочего к своей работе уже написаны толстые романы. Следует добавить, что если еще держится наш мир, в основе своей лицемерный и жестокий, то только этой слепой непреодолимой привязанностью.

Когда площадка с такими же унылыми содроганиями выкидывает человека наверх, чахоточный свет английского дня кажется волшебным. Глаза благодарят

за все: за грязную вату облаков, за припудренную черной пылью лужайку и за прыжки на ней растяпого щенка. Да, жизнь на земле воистину чудесна!.. На земле живет владелец шахт. Он изучает большие карты с жилками зелеными, розовыми и голубыми: это различные пласты угля. Его дом стоит над одной из жилок, над розовой или над голубой, под ним перекликаются лампочки номер 218 и 427, под ним меланхолично ржет слепая Виктория, под ним идет таинственная жизнь. Иногда и он опускается вниз, это, конечно, не пикник, но пробег хозяйского ока. В его доме большие окна, под окнами жасмин, розы. Фокстерьер играет с кокетливой девочкой. Кто-то разучивает гаммы. Хозяин улыбается. Я знаю, что он далеко не счастлив, что он страдает не только от одышки, но и от кризиса. Он сегодня попросил у своего бывшего рабочего, который стал теперь членом парламента, не может ли тот ему посодействовать — долги, неоплаченные векселя, банкротство, опись... И все же трудно его пожалеть: перед глазами огоньки ламп, недоброе поблескивание стен, черный пот. Эти два мира несовместимы. Не только разной морали подчинены они, но и разным физическим законам. Сумерки одного — это полдень другого, слезы наверху — это счастье под землей.

От кризиса страдают не одни хозяева. У дверей маленьких лачуг сидят углекопы, угрюмо подсапывая трубками. Некоторые работают по три дня в неделю, другие не работают вовсе. Голод куда горче тьмы, и спуск вниз кажется им вознесением. Привыкшие к жизни глухой и пещерной, с трудом вглядываются они в посторонний мир; слова о мировом кризисе и о борьбе пролетариата их как бы пугают: это чересчур резкий свет, они невольно щурятся. Они согласны продолжать свою повинность. Дрогнула другая сторона, дрогнул мир надземный. Слепая Виктория еще плетется и тихо ржет, но ее уж никто не подгоняет...

Вы можете теперь сесть в автобус и направиться к парадному центру Суонси, уголь вас больше не оставит. Напротив вас окажется шахтер в рабочей одежде, который возвращается домой. Он еще полон удушьем подземелья. Черную пыль вы заметите и в соборе и в дансинге: она — это воздух Суонси. В порту грузятся толстые астматические пароходы. Тысячи вагонов

уносят черное золото. Заводы, получив свой корм, сладострастно кричат. У камина сидит джентльмен и тихо мечтает. Вне угля нет жизни.

Можно, конечно, убрать толстяка с его одышкой и фоксом, но два мира останутся: верхний и нижний. Для того чтобы это уничтожить, мало социальных сдвигов и простой справедливости. Здесь нужны или дерзость нового Прометея, или же великодушный жест дикаря.

1930

В джунглях Европы

1

Я сидел в Праге, не зная, как мне добраться до Парижа. Сначала я еще пробовал смотреть на карту Европы. Но вскоре я понял, что это праздное занятие. К тому же пестрота раскраски раздражала меня: Европа смахивала на лоскутное одеяло.

В бюро путешествий мне сказали:

— Если вы не можете проехать по Германии, почему бы вам не пролететь над ней?

Я почувствовал себя окрыленным: как прекрасно пролететь над господином Герингом, который теперь, позабыв о небе, занят сугубо земными заботами! Из кабинки самолета можно рассматривать звезды третьей величины и Третью империю как равно далекие видения. Я сидел в пражской каварне, пил кофе со сливками, или, выражаясь по-местному, со шлягачкой, и блаженно улыбался: я нагло хотел вступить в «хоры стройные светил».

Час спустя я понял, что рожденный ползать летать не может: самолеты, обслуживающие линию Прага — Париж, вежливо снижаются в Нюрнберге. Я хорошо знаю Нюрнберг. Это очень красивый город. Там замечательные полотна Дюрера. А какие там пряники! Однако нечего было думать о столь сладких отступлениях. Один германский дипломат, националист, бесспорный ариец и наперсник господина Папена, почувствовал ко мне приступ жалости. Дело в том, что этот дипломат обожает литературу. В его библиотеке имеется полная коллекция всех сожженных фашистами книг. Дипломат дипломатически улыбнулся и сказал:

— Сейчас нехорошая погода для перелетов. Вас укачает.

Забыв о том, что дипломаты — это дипломаты, я горячо запротестовал:

— Что вы! Меня вообще не укачивает. Вот когда я плыл...

Поглядев на улыбку дипломата, я сразу осекся. Я забыл о всех переплытых мною морях. Я только робко спросил:

— Не дадут визы?

Дипломат заговорил о литературе и о погоде: как хорошо ранней весной в Праге! Впрочем, еще лучше в Татрах...

— Но мне необходимо проехать в Париж.

Тогда дипломат окончательно понял, что писатели — это писатели. Он пренебрежительно поглядел на мои руки. Я тотчас же спрятал руки. Он перевел взгляд на ноги. Мне стало страшно: ноги некуда было спрятать. Пауза становилась катастрофичной. Я подумал: если он скажет, что в Татрах цветут подснежники, я встану, откланяюсь и молча выйду. Но дипломат наконец-то сжалился надо мной:

— В Нюрнберге двадцать минут остановки. Двадцать минут — это немало. Может, например, подойти человек. Он с вами заговорит. Вы не ответите. Он прикоснется к вашему лицу. Тогда вам придется ответить. Вы скажете: «Это, собственно говоря, мое лицо». Он усомнится. Для выяснения этого спорного вопроса вас поведут в участок. Ну, а дальнейшее более или менее ясно. Вы меня все еще не понимаете? Может быть, вы не читали наших статей о Германии?.. Да, а в Татрах теперь действительно хорошо...

Я понял, что дело идет к подснежникам, и поспешил удалиться.

2

Я был тогда еще весел и неопытен. Я думал, что легко разыскать лазейку. Путь через Австрию мне был заказан. В этом нет ничего удивительного: я давно заметил, что люди очень маленького роста самолюбивы, обидчивы и мстительны. При въезде в Австрию мне поднесли брошюрку. На ее обложке значилось: «Австрия — жемчужина Европы». Что же, я не вполне согласился с автором этого афоризма. Я нашел, что Австрия господина Дольфуса никак не украшает нашего старого материка. Надо быть специальным корреспондентом газеты «Матен», способным сотворить легенду из куска

грубой жизни, чтобы принять господина Фея за жемчужину. Я, к сожалению, лишен поэтического воображения, и я принял господина Фея за господина Фея. Я даже написал об этом несколько статей. Статьи перевели на различные языки, и о пути через Австрию мне пришлось тотчас же забыть.

По ассоциации, оставшейся еще с гимназических лет, слово «Австрия» в моем сознании мгновенно пополняется другим словом — «Венгрия». Я посмотрел на карту. Венгрия и впрямь находилась по соседству. С удовлетворением я подумал: «Вот как раз вовремя Венгрия вступила в дипломатические отношения с СССР. Только куда мне податься из этой Венгрии?.. Там — Югославия, а с Югославией у нас как будто никаких отношений». Я теперь вспоминал не стихи Лермонтова, но сказку о волке, козе и капусте.

Подумав, я решил действовать постепенно. Нельзя сразу осаждать все посольства и все консульства мира. Начнем с Венгрии!

Венгры оказались народом легкомысленным. Они взяли деньги на телеграмму и сказали:

— Будапешт — очень красивый город.

Ответной телеграммы не было. Тогда венгры взяли деньги на вторую телеграмму и, будучи людьми, отнюдь не лишенными христианских чувств, они сказали:

— В общем, Прага куда красивей Будапешта.

Наконец-то они сообщили мне, что транзитная виза для меня получена. На радостях я позабыл о стратегии. Я стал разбрасываться. Как ветреный мальчишка, я отправился на свидание с югославами.

Прошло три дня. Я брился, думая: «Сегодня надо получить венгерскую визу...» Но за это время произошли некоторые события: мои статьи о венском восстании дошли до Будапешта. Венгры не стали дожидаться моего визита. Отличаясь редкостной вежливостью, они сами позвонили мне по телефону:

— Алло. Это говорят из венгерского посольства. Дело в том, что вам не стоит беспокоиться. Мы...

Я взволновался.

— Ну что вы! Я с удовольствием забеспокоюсь. Я сейчас же приду за визой.

— Вы меня не поняли. Дело в том, что разрешение аннулировано. Мы не можем вам выдать транзитную визу.

Тогда я задал преглупый вопрос. Я забыл о высокой политике. С наивностью ребенка я крикнул:

— Но почему?

Венгерский дипломат улыбнулся — я чувствовал, как его усы расползаются над черной глоткой телефона, и сладко, очень сладко, слаще самого сладкого токайского он мне сказал:

— Потому что вы должны ехать через Австрию.

Я сразу все понял и как можно сердечней я промолвил:

— Мерси!

3

Югославы оказались куда приятней. С изумлением они посмотрели на красный паспорт, помялись, поулыбались, а потом поставили хорошую жирную визу. Над визой значилось: «Без задржавания». Я предусмотрительно спросил:

— Это чтобы меня не задержали?

— Нет, это чтобы вы не задерживались.

Желая подчеркнуть всю широту своего жеста, югославский дипломат сказал:

— Не думайте, что мы даем визы всем советским гражданам. Нет, мы никому не даем виз. Это, так сказать, исключение.

Я улыбнулся, как счастливый филателист, который раздобыл редчайшую марку: на моем паспорте среди доброй сотни различных виз значилась теперь новая, да еще какая — «исключение», уникум! До этой минуты я гордился испанской визой, но теперь я понял, что испанская виза — вульгарный ширпотреб. То ли дело Югославия! Я ведь еще не знал, какие меня ждут испытания.

Чехо-Словакия и Югославия, как известно, живут друг с другом в мире и в любви. Чехи пьют босняцкое вино, а сербы щеголяют в чешских ботинках. «Славянские ручьи», как им и полагается, сливаются в одном море. Но, на мою беду, море это только предполагаемое, и общей границы между двумя столь симпатичными государствами вовсе не имеется. Славяне селились вполне по-славянски, то есть вразброд. Между ними затесались сладкоголосые венгры. Я снова вспомнил о небе: сами события меня как-то возвыша-

ли. Я направился в хорошо знакомое мне бюро путешествий.

— Нельзя ли воздушным путем добраться до Югославии? Хотя бы до Загреба — ведь Загреб рядышком с Братиславой.

Служащий бюро, который уже знал меня как человека оригинального и пренебрегающего обычными заезженными путями, сокрушенно вздохнул:

— Нет, до Загреба сейчас нельзя долететь. Вот если вы хотите подождать до июня...

Я хотел было уйти, но он остановил меня:

— Может быть, вы хотите проехать в Белград? С Белградом имеется воздушное сообщение.

Воспрянув духом, я схватил его за рукав:

— Говорите скорей! В Белград так в Белград! Хоть в Цетине! Все равно куда — лишь бы в Югославию!

Служащий, довольный тем, что наконец-то он нашел путь для мрачного оригинала, достал папку и стал проверять десяток расписаний.

— Так, так... Вот и нашли... Вы вылетаете из Праги ровно в четыре пополудни. Вы прилетаете в Вену ровно в шесть пополудни. Оттуда вы вылетаете ровно...

Я безжалостно прервал его плавную речь:

— Спасибо. Довольно. Я не вылетаю из Вены. И вообще я даже не прилетаю в Вену. Жемчужина Европы не для меня.

В дверях я услышал его крик. Я вернулся к опостылевшему мне прилавку, покрытому картами недоступных стран.

— Я забыл вам сказать, что вы можете доплыть до Белграда по Дунаю.

Зная, что я не люблю шуток, он поспешил добавить:

— Причем не требуется никаких виз. Вы можете пить на палубе венгерское вино и глядеть при этом на венгерских жандармов.

Не смея поверить счастью, я тихо спросил:

— Когда же отходит пароход? Завтра? В субботу? В воскресенье?

Служащий достал другую папку и начал изучать расписания. Наконец, потупив глаза, глухо, как на панихиде, он пробасил:

— Ближайший пароход отходит пятнадцатого июня. Но, может быть, в ожидании открытия навигации...

Я дополнил его мысль:

— Татры и подснежники. Всего вам хорошего! Не смею сказать: прощайте, скорей всего — до свидания!

4

Слух о том, что я не могу выбраться из Праги, распространился по городу. Чехи мне искренне сочувствовали: глядя на меня, они размышляли о международной политике и о своей никак не великолепной изоляции. Они думали прежде, что их государство находится в центре Европы. Оказалось, что они живут на плавучей льдине. Незнакомые люди подходили ко мне со словами соболезнования. Я спрашивал швейцара гостиницы, нет ли чего-нибудь для меня? Швейцар сокрушенно отвечал:

— Ничего для вас нет, пан списователь.

(Он никак не хотел меня обидеть: «списователь» по-чешски означает писатель.) Швейцар думал, что я справляюсь о визах. На самом деле я опасался, как бы один из неведомых плакальщиков не прислал бы надгробного венка.

Шли дни. Я по-прежнему пил кофе со шлягачкой и старался не думать о будущем.

Меня не обходили советами, причем выяснилось, что никто не знает, как скроена послевоенная Европа. Один приятель предлагал мне ехать через Пирей. Другой уверял, что скорей всего поехать на Ленинград. Третий всерьез доказывал, что можно проникнуть из Чехо-Словакии прямо в Швейцарию или, на худой конец, в некий Лихтенштейн. Сначала я пробовал спорить. В двадцати каварнях я давал уроки географии. Потом я устал и на все советы отвечал безразлично:

— Спасибо. Обязательно поеду. Через Пирей. Через Лихтенштейн. Через Владивосток.

Один из советов мне показался разумным: почему бы не доехать до Гдыни, а оттуда пароходом махнуть в Бельгию или во Францию? Я направился к представителю польского пароходства. Это был молодой и жизнерадостный мужчина. Он показал мне на стены, залепленные обворожительными плакатами, и быстро затараторил:

— Гдыня — роскошный порт! Огромный порт! Последнее слово техники! Из Гдыни можно уехать куда

угодно. Не только в Бельгию, но даже в Америку. В Нью-Йорк. В Буэнос-Айрес. В Либаву.

Я быстро поддаюсь чужим восторгам. Я начал взволнованно шагать по комнате и умиляться перед плакатами.

— Как хорошо, что я попал именно к вам! Ну и порт! Что за порт! Какое пароходное общество! А какой представитель! Я, наверное, когда-нибудь поеду из Гдыни в Буэнос-Айрес. Но пока что мне необходимо попасть в Антверпен.

Молодой человек пренебрежительно поглядел на меня: стоит ли много разговаривать о таких пустяках?

— В Антверпен сколько угодно пароходов. По средам. По пятницам. Выбирайте.

Сказав это, он отвернулся и начал уныло сморкаться. Страшное подозрение овладело мной. Я поглядел на него в упор и сказал:

— Я выбираю среду. Когда отходит пароход? Утром? Вечером?

Он ответил мне раздраженно:

— Сначала надо выяснить вопрос о дате...

— Но вы ведь мне сказали — по средам...

Молодой человек не стал спорить. Он просто умолк. Я вдруг увидел, что он не жизнерадостен, да и не молод: глубокие морщины бороздили его лицо. Он помолчал с минуту, а потом встал. Я тоже встал. Мы молча простились. А на стенах сотни нарисованных пароходов весело гудели, снимаясь с якоря.

Швейцар поглядел на меня и сказал:

— Пан списователь, наверное, у нас еще поживет...

Я послал в Гдыню телеграмму: имеются ли пароходы на Бельгию или на Францию? Мне ответили бодро, назвав сразу четыре парохода. Я послал вторую телеграмму с просьбой задержать место на ближайшем. Тогда телеграфный бланк сразу помрачнел, как лицо пароходного агента. Оказалось, что один пароход идет не в Антверпен, но в Гельсингфорс, другой идет действительно в Антверпен, но не берет пассажиров, третий застрял в доках для починки, а четвертого вообще не существует.

5

Безвыходное положение толкает человека на героические поступки. Мутными глазами оглядев приятелей, которые сидели в каварне, дожидаясь

результатов моих переговоров с польскими навигаторами, в состоянии мрачного вдохновения я воскликнул:

— Остается одно!..

Приятели решили, что я заболел неврастенией. Они начали доказывать мне, что жизнь не так-то плоха. Кроме нюрнбергских пряников, австрийской жемчужины и прекрасного Будапешта, на свете существует еще немало других приятных вещей. Но я быстро прервал их неуместные рассуждения:

— Вы меня не поняли. Остается одно... не самоубийство — Румыния.

Тогда все примолкли и начали соболезнующе заглядывать в мои глаза. Кто-то сказал соседу:

— Бедняга переработался!..

Я твердо стоял на своем. Я говорил о Малой Антанте, об определении агрессора и о насущных интересах Чехо-Словакии. Я говорил по меньшей мере как сенатор, и официант, залюбовавшись мной, вместо трех стаканов воды, подаваемых каждому посетителю, принес сразу шесть: есть слова, которые сушат горло.

К сожалению, я не видел лица первого румына, которому рассказали о моем желании проехать через его малоприступную страну. Наверное, у этого румына были глаза, полные начального изумления перед разнообразием мира, глаза Адама. Однако мне ничего не рассказали о румынских глазах. Мне только сообщили, что телеграмма в Бухарест отослана.

Чешский юмор нашел свое гениальное воплощение в Швейке. Этот юмор хорош тем, что он вовсе не является юмором. Человек вас не смешит. Ваша воля смеяться, если только вам смешно. Вот, к примеру, бреет вас цирюльник. Он заметил маленький прыщик. Тотчас же он начинает комментировать это событие:

— Маленький прыщик. Ерундовый. А не скажите! У меня был клиент. Стряпчий. Восемь лет он ко мне ходил. Не пропустил ни одного дня. Вот я и говорю ему: «Маленький прыщик у вас. Ерундовый». А через четыре дня меня зовут на похороны. Очень красиво его хоронили. Или вспомнить пана Дворачека. Какой был мужчина! У него выскочил маленький прыщик. Кто бы подумал?.. Два дня спустя, как говорят, ушел к предкам. Или еще такой случай...

Я повторяю: вы можете смеяться или не смеяться — выбор предоставлен вам. Что касается меня, то

меня не занимали прыщики. Я думал о других, более высоких вопросах. Я сидел в кафе и подсчитывал, когда же придет ответ из Бухареста. Ко мне подошли два чеха. Я решил, что они начнут высказывать соболезнование, и заранее приготовил благодарственный спич. Чехи, однако, спросили:

— Как же вы собираетесь ехать? Через Пирей? Или через Ригу?

Я стыдливо ответил:

— Нет, через Румынию.

Тогда один из чехов, благодушный толстяк, судорожно зевнул. Я сразу почувствовал — это он неспроста зевает. Толстяк сказал:

— Кстати, о румынах. Французский профессор Баш должен вскоре отправиться в Бухарест. Мы выясним, можно ли ему ехать. С румынами ведь не шутят...

Я деликатно осведомился:

— Бывают недоразумения? Арестовывают?

Толстяк ответил:

— Нет, недоразумений не бывает. Но вот уехал человек в Румынию — и ни слуху о нем, ни духу. Не то чтобы арестовывали, нет, просто человек пропадает...

Второй чех, добродушно улыбаясь, сказал:

— Кстати, о событиях. По нашим сведениям, в Румынии не сегодня завтра выступит «Железная гвардия». Они обещали перебить всех евреев и либералов.

Я улыбнулся чехам и сказал:

— Кстати, о юморе: бывает еще такой случай — прыщик, ерундовый, а потом — к праотцам, ну, и так далее, как говорил незабвенный Швейк.

Чехи решили, что ожидание виз печально отразилось на моем душевном равновесии, и поспешили удалиться.

Одно утро сменялось другим. В витринах бюро путешествий по-прежнему красовались карты Европы. Проходя мимо них, я заблаговременно отворачивался. Мне опротивело кофе со шлягачкой, и, входя в кафе, я мрачно шептал: «Без». Так настало одно утро, серое и туманное, как все предшествующие. Увидав меня, швейцар иронически промолвил:

— Пана списователя просят в румынское посольство.

Я знал, что румыны — эстеты. Я выбрал прекрасный галстук. Раз десять я провел жестчайшей щеткой по моим недисциплинированным волосам.

Румыны меня встретили задушевно. Всем хотелось поглядеть на своеобразного посетителя — и дипломатам и курьерам. Минута как-никак была исторической: впервые румыны ставили на советский паспорт свою румынскую визу. Как будто все паспорта мира с виду похожи друг на друга, но румынам мой паспорт показался глубоко загадочным. Скажу больше — они просто не знали, как с ним следует обращаться. Они его вертели, листали и недоуменно посматривали друг на друга. Они даже устроили небольшое совещание, чтобы выяснить, как именно кладут на столь необыкновенный паспорт самую обыкновенную визу. Особенно смущал их маршрут: я сразу заявил, что мой путь лежит через город Орадеа-Маре и что в оном городе я намереваюсь переночевать, отнюдь не потому, что мне нравятся города с поэтическими названиями, но только потому, что поезда по Румынии ходят не слишком часто. Секретарь посольства сострадательно вздохнул:

— Это действительно маленькая линия.

Консул вписал в мой паспорт, что я имею право остановиться в Румынии на двадцать четыре часа. Подумав, он выписал «двадцать четыре» буквами, как на банковском чеке. Видимо, он опасался, что я могу приписать нуль и остаться в Румынии двести сорок часов. После чего, как и полагается во всех приличных посольствах, мы поговорили о литературе и о погоде. На прощание каждый из присутствовавших дипломатов сказал мне:

— Я надеюсь, что ваша поездка сойдет вполне благополучно.

Первого дипломата я спросил, почему он применяет столь осторожную формулу. Дипломат дипломатично пояснил, что посольство пошлет телеграмму на границу. После такого разъяснения я уже не допрашивал остальных дипломатов, почему они скромно «надеются» на счастливый исход столь отчаянной экспедиции. Я поблагодарил их за обнадеживающие речи и пошел покупать билет.

Время от времени я вынимал из кармана паспорт и любовался румынской визой. Все на свете относительно, и я уже относился с глубоким пренебрежением к югославской кириллице. Теперь моя коллекция обогатилась действительно редчайшим экземпляром.

Служащий в бюро путешествий, завидев меня, сразу достал из шкафа все воздушные, морские и речные

расписания. Но я скромно сообщил ему, что я решил остановиться на железной дороге. Я попросил его приготовить билет Прага — Париж. Он спросил:

— Через Нюрнберг?

Это был человек, ничего не понимающий ни в международной политике, ни в поэзии. Я тихо ему ответил:

— Нет, через Орадеа-Маре.

Тогда он сразу присмирел. Он был подавлен необузданностью моих желаний. Три часа спустя я застал его за картами и расписаниями: он все еще составлял билет. Это была сложная математическая задача. Но в конце концов он справился с ней. Я подбежал к швейцару гостиницы, и, нежно улыбаясь, я сказал:

— Знаете что? Пан списователь сегодня уезжает.

Швейцар мне ничего не ответил. По всей вероятности, он мне попросту не поверил. Но вечером, увидав коридорного с моим чемоданом, он понял, что человеческая воля побеждает все препятствия, и он сказал дежурному сыщику:

— Пан списователь действительно уезжает.

6

Чехо-Словакия — остров. Я говорю теперь не о себе, но о чехах. Дело в том, что они еще ходят в обыкновенных рубашках. Правда, рубашки на них не столь бесспорной свежести, как лет десять тому назад: кризис не знает границ. Но все же это самые обыкновенные рубашки — розовые в крапинку или голубые в полоску. Эти рубашки ничего не обозначают, кроме исторического развития фигового листка. А вот вокруг Чехо-Словакии — стрáны, в которых рубашка — это символ веры. Немецкие фашисты уверяют, что Прага — это исконно немецкий город. Венгерские фашисты клянутся, что Словакия — это венгерская провинция. Австрийские фашисты, не желая ни в чем отстать от своих старших братьев, заверяют, что Братислава — это предместье Вены. А польские фашисты, прикинув, что с немцами не так-то легко справиться, разыскивают теперь каких-то поляков, «порабощенных чехами». При таких условиях жизнь на острове вряд ли можно назвать спокойной.

— Польша вступила в немецкую орбиту...

— Аншлюс все же лучше Габсбургов...
— Поляки едут в Будапешт...
— Муссолини стоит за Австро-Венгрию...

Это говорят не дипломаты и не журналисты, но служащие Бати, продавцы сосисок, стряпчие, фельдшера и приказчики. Они тоже отворачиваются, завидев карту Европы, хотя им и не нужно никаких виз. О войне они говорят запросто, как о завтрашнем дне. Остается только гадать, где именно выскочит тот ерундовый прыщик, который свел в могилу покойного пана Дворачека.

Мой друг Томас Батя вовремя умер. Этот гениальный сапожник свято верил в капитализм. Он искал босых негров, чтобы обуть их в чешские сапоги. Прошло несколько лет. Кому теперь придет в голову говорить о каких-то неграх? Босые люди завелись по соседству с фабриками Бати. «Всему свое время»,—сказал старик Екклесиаст: капитализм сначала обувал людей, потом он начал их разувать. А Батя, тот свалился наземь—последний фанатик капитализма покинул юдоль скорби и слез. Еще недавно в окнах батевского дворца значились горделивые афоризмы: «Я несу вам радость жизни!» Теперь надписи много скромнее: «Ботинки по неслыханно низким ценам—мы готовы на все жертвы!»

7

Я был в Подкарпатской Руси лет пять тому назад. Мало что изменилось за это время. Те же пестрые рукава баб. Те же курные избы. Только еще туже затянули свои пояса злосчастные крестьяне Верховины.

В Подкарпатской Руси грамотных людей мало, и эти грамотные люди заняты главным образом спорами о языке: по-каковски они грамотны—по-русски, по-украински или по-«местняцки». Газета «Карпаторусский голос» выходит на русском языке. Нелегко понять, чего именно хотят сотрудники этой газеты. Передовая статья называется «С нами Бог». Вслед за нею следуют перепечатки советских писателей. Некий ужгородский дипломат пишет в этой веселой газете: «Москва и московские колокола будут иметь решающее значение в европейской проблеме, в строительст-

ве нового мира: Литвинов в Америке, в Риме, в Варшаве. К нему прислушиваются. Всюду изучают русский язык. Наша судьба — карпато-россов — неразрывно связана с Москвой. И в то время, когда перед русской мощью в наши дни заискивает весь мир, несчастный карпато-русский народ вынужден прозябать на вымышленном диалекте. В Карпатах теперь голод. Но у нас так же горит елка, у нас так же колядуют, как в России. Мир ждет от Москвы и от СССР мира».

8

В Подкарпатской Руси живут евреи. Среди них имеются богатые и бедные. Бедные голодают и голосуют за коммунистов. Богатые держат корчмы и молятся Богу. Эти молельщики по своим убеждениям хасиды. Отрезанные от всего мира, они свято сберегли средневековые обычаи. Лет пять тому назад я спрашивал себя: на кого похожи хасиды? На инквизиторов или на готтентотов? Теперь я твердо знаю: хасиды похожи на немецких фашистов. Они тоже стоят за расовую чистоту. Беда нечестивцу, который пройдет по улице с карпато-русской девушкой. Его осыплют оскорблениями. Булочник не продаст ему хлеба. Корчмарь не отпустит ему вина. Он должен будет покинуть город.

У хасидов имеются также свои «рубашки»: позорный лапсердак, придуманный когда-то католическими изуверами, они превратили в почтенное одеяние, свидетельствующее о чистоте идей.

Наконец, у хасидов имеется и свой «фюрер». Зовут его Спиро, и проживает он в городе Мукачеве. Правда, это не канцлер, но цадик, однако когда он выезжает из своего пышного дома, тысячи беснующихся хасидов давят друг друга, чтобы дотронуться рукой хотя бы до его кареты.

Цадик человек богатый и неглупый. Запретив своим верноподданным читать «нечистые» книги, он сам набрал библиотеку, насчитывающую десятки тысяч томов. На досуге цадик читает различные подозрительные опусы. Я не знаю, знаком ли он с «Капиталом» Карла Маркса, но я убежден, что он хорошо изучил «Мою борьбу» Адольфа Гитлера. Великие умы еще раз сошлись.

В Праге я узнал, что германское правительство продает на вывоз сочинения Бабеля, Федина и Эренбурга. Эти книги запрещены для внутреннего употребления, но господин Геббельс продает их по сходной цене чехам или швейцарцам. Он сразу и разлагает другие народы, и обзаводится валютой. Цадик Спиро, однако, не уступит ему в смекалке. Цадик, как и подобает цадику, осудил кинематограф. Но недавно из Америки приехали люди с мерзким аппаратом и с приятными долларами. Они предложили цадику заснять свадьбу цадиковой дочки, причем сам цадик должен был произнести перед микрофоном соответствующий спич. Спиро справедливо решил, что доллары, несмотря на все эксперименты Рузвельта, остаются долларами, и он согласился. Как хороший министр, он произнес речь о торжестве идеи над грубой материей. Своим верноподданным он объявил, что иногда кинематограф бывает полезен: все зависит от того, кто кого снимает и кто на этих съемках зарабатывает.

Цадик даже завел одного расторопного хасида, который должен вперед вести переговоры с представителями кино и прессы. Этот «министр пропаганды» вполне справляется со своей задачей. Он раздает субсидии благонамеренным газетам, он описывает труды цадика, наконец, он регулярно составляет списки книг, особенно вредных для представителей «избранного народа».

После некоторых разговоров с хасидами я пришел к мысли, которая может показаться парадоксальной, но которая вполне логична. Последние месяцы принесли размолвку между германскими и итальянскими фашистами. Как бы ни были духовно сильны ребята из штурмовых отрядов, они все же нуждаются в идейных союзниках. Почему бы господину Гитлеру не пригласить мукачевского цадика господина Спиро для совместного утверждения великих и бесспорных принципов расовой чистоты? Кроме того, эти мудрые единомышленники смогут заняться объединенным сбытом различной недозволенной литературы, что повысит доходы двух держав — германской и мукачевской.

После разговора с сострадательным дипломатом я убедился, что германские власти внимательно следят за моей литературной деятельностью. Я надеюсь, что и этот скромный проект дойдет до их просвещенного внимания. Может быть, растрогавшись, они мне при-

шлют впрок две-три транзитные визы, оговорив, конечно, что никакие разговорчивые люди не будут вступать со мной в задушевные беседы ни в Нюрнберге, ни в других лежащих по пути городах.

9

На границе меня встретили румынские полицейские. Они были настолько изысканно одеты, что я сначала их принял за аргентинских актеров: пиджачки с искрой, стянутые в талии. Полицейские обыскивали вагоны, проявляя исключительный интерес к печатному слову. У моих соседей они отобрали чешские газеты, «Ветеринарный вестник» на немецком языке и роман Пьера Бенуа. Осторожно, как бомбу, они понесли добычу в полицейское управление. Таким образом я мог убедиться, что ни немецкие фашисты, ни мукачевские хасиды не одиноки: у них на свете немало единомышленников.

Предвидя, с каким уважением румыны относятся к письменности, я отправил из Праги почтой не только мои рукописи, но даже любовные стихи на словацком языке, подаренные мне одним чувствительным автором. Единственным печатным словом, которое я вез с собой, был мой паспорт, и, надо сказать, что это произведение пользовалось еще большим успехом, нежели роман Пьера Бенуа.

Среди элегантных полицейских сновали крестьяне, одетые никак не элегантно. Их облачения вернее всего назвать лохмотьями. Хотя до лета еще было далеко, некоторые из них ходили босиком. Мне оставалось еще раз вздохнуть над развеянными мечтами моего покойного друга Томаса Бати.

Разменом иностранной валюты в Румынии должен заниматься исключительно государственный банк. На самом деле этим занимаются все, кому только выпадет столь редкостное счастье. Один румын простодушно мне поведал:

— Удивительно, каким доверием у нас пользуются чешские кроны! Вот, например, в Чехо-Словакии крона теперь пала, а у нас, наоборот, она даже поднялась в цене.

Говоря это, румын не упомянул о главных виновниках столь таинственного происшествия — о леях.

Лей много, и стоят они мало. Они не могут похвастаться своей внешностью, как полицейские: это жетоны из весьма подозрительного металла.

В вагон-ресторане изысканный адвокат пьет бенедиктин. Он лениво смотрит в окно: развалившиеся избы, крестьяне в козьих шкурах, повылезших от времени, и в дырявых лаптях, босая детвора.

Орадеа-Маре в переводе на русский язык означает Великая Орадеа. Однако ничего великого в этом городе я не заметил. Сотня пышных домов, построенных в начале нашего века. Они успели запачкаться и обноситься. Евреи продают друг другу бумаги каких-то несуществующих нефтяных приисков. Венгерские магнаты, разорившись и очерствев душой, пьют в кабаках исключительно дешевые рюмки. Дамы катаются на извозчиках. Вечером по главной улице прогуливаются барышни. Офицеры в необычайно затейливых мундирах стоят вдоль стен и обжигают проходящих барышень неистовым огнем своих румынских глаз.

Огромная базарная площадь испещрена эпическими лужами. Крестьяне побогаче продают ягнят и покупают глиняные кувшины. Крестьяне победнее продают кто десять картофелин, а кто три яйца. Покупают они предпочтительно рваную обувь. Я видел ботинки без подошвы, без носа и без задка. Они гордо красовались в качестве товара, и босые люди к ним благоговейно прицениваются.

Впрочем, крестьяне, которые иногда приходят сюда из Венгрии, говорят, что Румыния неслыханно богатая страна и что базар в Орадеа-Маре — это библейское изобилие.

В гостиницу я приехал с каким-то почтенным чехом. Чех сразу начал буянить, требуя, чтобы ему отвели «приличную комнату». Очевидно, он кое-что знал о местных порядках. Швейцар попросил паспорта. Чех недоверчиво на него покосился.

— Вы что же, дадите паспорт в полицию?

Швейцар поспешил его успокоить:

— Что вы! Да ни в коем случае...

Я сперва подумал, что этот чех — фальшивомонетчик или загримированный Инсул. Но чех оказался вполне добродетельным коммерсантом. Просто у него были свои соображения о нравах румынской полиции.

Надо сказать, что и сами румыны относятся к своей полиции несколько своеобразно. Как раз когда я был

в Орадеа-Маре, я прочел в газете о странном происшествии. Какой-то рабочий на улице поцеловался с девушкой. Полицейский, озабоченный поддержанием нравственности, потребовал у рабочего документы. Тогда рабочий побежал прочь. Полицейский выстрелил и убил беглеца. Сообщая об этом, газета наивно сокрушалась: «Трудно понять, почему добропорядочный столяр, который прогуливался со своей постоянной сожительницей, настолько испугался полицейского». Я, конечно, как человек проезжий, затрудняюсь высказаться. Но вот чешский коммерсант, тот, наверное, смог бы объяснить журналисту, почему злосчастный столяр бросился наутек, услышав ласковые оклики полицейского.

Со мной полицейские вовсе не общались, и я преисполнен к ним чувства признательности. Сознаюсь — вначале я принимал граждан самых различных профессий за полицейских. Не то чтобы они были одеты с отмеченной мною элегантностью, нет, меня смущало другое обстоятельство: куда бы я ни приходил, все со мной начинали разговаривать по-русски. Хозяин ресторана ласково шепнул: «Угодно будет цыпленочка?» В кафе официант сразу обратился ко мне по-русски: «Кофе или чаю?» За соседними столиками завсегдатаи играли в домино. Увидев меня, они тотчас же перешли на русский язык. Надо ли после этого говорить о том, что швейцар у вешалки сказал, как в Москве: «Пожалуйста, номерок». Я готов был предположить, что любезность румынских властей не знает предела: они старательно окружают меня людьми, владеющими русским языком. Однако разгадка таинственного происшествия скрывалась не в лингвистических широтах румынской полиции, а в закоренелом пацифизме бывшей австро-венгерской армии. Добрая половина мужского населения Орадеа-Маре провела годика два, если не три, в России в качестве военнопленных. Об этих годах обитатели Орадеа-Маре рассказывают исключительно трогательно, как о лучших годах своей жизни, причем один из них договорился даже до того, что нет на свете климата лучше, нежели в Омске.

Нравы в Орадеа-Маре патриархальные. Я не знаю, отправился ли швейцар гостиницы с моим паспортом в полицию, но вот в редакцию местной газеты он побежал немедленно. Явились журналисты. Это были венгры. Они очень обрадовались, узнав, что меня не

пропустили через Венгрию, но пропустили через Румынию. Орадеа-Маре в их глазах сразу возвысилась над Будапештом. Кроме того, я заметил, что, когда в город приезжает впервые человек с советским паспортом, жители ему умиляются, как ласточке: в воздухе начинает пахнуть весной. Слов нет, это иллюзия, но трудно прожить без иллюзии в этакой Орадеа-Маре, среди базарных луж, босых крестьян и блистательных офицеров.

Из Орадеа-Маре я направился в город Тимишоара. Вокзал в Тимишоаре был роскошно декорирован, но относилось это не ко мне, а к румынскому министру народного просвещения господину Ангелеску. Господин Ангелеску посетил тимишоарскую гимназию и присутствовал на уроках. Директор гимназии ему представил лучшего ученика гимназии — Петру Капатиану. Министр начал задавать Капатиану труднейшие вопросы. Он, например, спросил:

— В какое море впадает Волга?

Петру Капатиану, подумав, ответил:

— В Черное.

Министр оказался не придирчивым, и он горячо поблагодарил директора гимназии.

К сожалению, я не присутствовал при этом торжественном событии, а диалог между господином Ангелеску и умным Петру Капатиану я разыскал в тимишоарской газете «Банатер Дейче цайтунг».

Тимишоара — город, построенный и заселенный немецкими колонистами. Немцы уже обзавелись своим «фюрером»: судьей Фабрициусом. Это фюрер как фюрер, ничуть не хуже капитана Рема или цадика Спиро. Под благородным руководством судьи Фабрициуса тимишоарские штурмовики готовятся малость погромить евреев и либералов.

Трудно сказать, когда у румынских полицейских больше хлопот: когда иностранец приезжает в Румынию или когда он из нее уезжает? Правда, при выезде никто не интересуется ни книгами, ни газетами: это не румынская специальность. Зато пограничники тщательно ищут другие печатные произведения, именно — кредитные ассигнации.

Почтенный старый англичанин. Приходят румыны. Роются в чемоданах. Потом самый прыткий из таможенников говорит:

— А теперь снимайте ботинки!

Англичанин меняется в лице: никогда в жизни он не слыхал ничего подобного. Он пробует воздействовать на совесть таможенника:

— Но ведь это старые ношеные ботинки.

Таможенник неумолим. У него свои мысли: уж не спрятал ли этот джентльмен в ботинки несколько фунтов или, на худой конец, лей?..

Начали и меня обыскивать. Какой-то шустрый мужчина быстро залез в мой карман и сразу натолкнулся на два самопишущих пера. Тогда он неожиданно смутился:

— Ваша профессия?

— Писатель.

Бедняга даже отскочил от меня, рассыпаясь в извинениях. Это была бесспорно гипертрофия уважения к печатному слову: вот возьмет писатель и пропишет, а потом тебе пропишут, да такое!.. Я никогда не слыхал о румынском Гоголе. Но почему бы нам не послать в Румынию Зощенко?..

Один из пограничников говорил по-русски. Я никак не мог понять, кто это: русский эмигрант, слегка разучившийся изъясняться на родном языке, или венгр, побывавший в плену и научившийся говорить по-русски? Пограничник, однако, оказался просто-напросто бессарабом. Зрелище советского паспорта привело его в полное умиление. Он улыбался, размахивал руками и ласково пришептывал:

— Надеюсь, что это только почин и что теперь много советских будут ездить через Румынию.

Он настолько походил на содержателя ресторана, что я невольно ему ответил:

— Как же, как же!.. Не премину рекомендовать всем приятелям. Чтобы, значит, обязательно через Румынию...

10

На румыно-югославской границе полицейские обеих стран изучают паспорта совместно, как и подобает питомцам Малой Антанты. Изучение это происходит в вагоне-ресторане. Заглянув туда, я увидел человек десять, столпившихся вокруг стола. На столе лежал мой паспорт. Особенный восторг проявлял повар. Увидев меня, он даже потерял свой колпак. Официант сказал мне:

— Повар просит передать вам, что он ваш поклонник. Он читал ваши книги.

Не скрою: я умилился. Приятно все-таки думать, что твои мысли доходят до югославского пролетария!.. Я подошел к повару, чтобы поблагодарить его. Повар скромно представился:

— Бывший морской офицер императорского российского флота.

Так постыдно оборвались мои горделивые фантазии.

Повар оказался словоохотливым. Убеждений у него не было, зато на отсутствие смекалки он никак не мог пожаловаться. Он рассказал мне, как, совместно с другим русским аристократом, который ныне служит официантом Общества спальных вагонов, они разочаровались в человеческом благородстве. В вагоне-ресторане обедали два англичанина. Один из них обронил тетрадку. Аристократ-официант поднял тетрадь и отнес ее повару. Тетрадь оказалась далеко не ученической: в ней был список членов тайной македонской организации. Повар сразу прикинул, что на македонцах можно подработать. Он не отдал тетрадки рассеянному англичанину. Он отдал ее сербам, и тут-то его ожидало горькое разочарование: двести динаров на двоих аристократов! Стоит ли после этого жить?.. Может быть, именно вследствие подобных испытаний повар прельстился «мировым пессимизмом» покойного Хуренито.

Вслед за поваром пришел таможенник. Надо ли говорить, что он оказался русским офицером? Вслед за таможенником заявился жандарм. Я уже не стал спрашивать, кто он,— сразу было видно: или марковец, или дроздовец. Охрану своих границ сербы почему-то доверили русским белым. Видимо, у них не требуется аттестата с последнего места. Надо отметить, что на красный паспорт белые поглядывали с должным почтением.

Ночью я разговорился с одним железнодорожником. Говорили мы на несуществующем языке, составленном из шести различных языков. Я пускал в ход слова русские, украинские и словацкие, железнодорожник — сербские, словенские и болгарские. Но в конце концов мы поняли друг друга. Он рассказал мне, что хочет уехать в Союз, но сербские власти не дают ему паспорта. У него в Москве отец. Письма из Москвы не

доходят. Он жаловался, что в Югославии много «ненастоящих русских», которые ругают Россию.

— Вот вы руски из Руски...

Поезд сопровождала вооруженная охрана. Оказалось, это в порядке вещей: то и дело происходят взрывы. Повар, как человек бывалый, разъяснил мне, что о причинах этих взрывов существуют самые различные мнения: полиция говорит, что поезда взрывают хорваты, а хорваты говорят, что поезда взрывает полиция.

Солдаты и разговоры о динамите только дополняют общую картину. Проезжему кажется, что в Европе — война. Кто с кем воюет — сказать трудно. По всей вероятности, все и со всеми. Страны отрезаны одна от другой колючей проволокой. Часовые. Обыски. Ищут в дамской сумочке бомбу. Ищут в бонбоньерке прокламаций. Ищут в кочегарке «Крем красоты Симон».

Когда я проезжал по Югославии, в Белграде судили террористов, и прокурор клялся, что злодеи вооружены не то итальянцами, не то венграми. Когда я переехал границу и взял итальянскую газету, я прочел о процессе террористов в Риме. Прокурор доказывал, что террористов подослали не то югославы, не то французы.

За окном поля, виноградники, гуси, дети. Но это иллюзия: за окном черные непроходимые джунгли. Тигры разрывают антилоп. Кричат расфуфыренные обезьяны, и протяжно воют волки, слепо повинуясь своим волчьим дуче и фюрерам.

Вот и граница — еще одна. Выходят югославские солдаты. На их место садятся итальянские чернорубашечники. Снова ищут: бомбы, газеты, «Ветеринарный вестник», «Крем красоты».

Я гляжу на мой паспорт: югославы поставили выездную отметку — кириллицей пропечатано: «Ушло».

11

Для обывателей различных стран у фашистов имеется один неотразимый довод: итальянские поезда.

— Вот видите, до фашизма все поезда в Италии опаздывали, а теперь они приходят минута в минуту...

Даже в фильме, который сделан для пропаганды итальянского фашизма, мировые проблемы сводятся главным образом к вопросу о поездах.

Я немало ездил по дофашистской Италии, и я могу подтвердить, что поезда тогда изрядно опаздывали. Жизнь была в то время ленивой и беспечной. На станции люди толпились, плевались, шутили. Потом начальник станции отчаянно кричал:

— Пронто!

Это означало: готово! Но поезд все же не двигался.

Теперь никто на станции не толпится, не плюется, не шутит. Фашистские милиционеры недоверчиво оглядывают пассажиров. Начальник станции стоит, вытянувшись в струнку, как прусский фельдфебель. А поезд?...

О, я отнюдь не придаю такого значения железнодорожному расписанию, как фашистские агитаторы! Притом я был в Италии всего два дня. Однако я должен отметить, что дважды в течение этих двух дней особо скорые, курьерские, «молнии», словом, поезда, требующие особой доплаты, не «рапидо», но «рапидиссимо», опаздывали точь-в-точь, как жалкие демократические поездишки дофашистской эпохи.

Когда я приехал в Венецию, вокзальный перрон был устлан ковриками в честь высокого гостя: судьба захотела, чтобы я столкнулся с одной из «жемчужин Европы», а именно с господином Дольфусом. Великий канцлер Австрии, разгромив пушками рабочие дома, отправился в Италию, чтобы представить рапорт своему начальству. Начальство милостиво выслушало великого канцлера и даже устроило в его честь парадный обед.

Увидев развалины Древнего Рима, австрийский карлик почувствовал в своей груди античные добродетели. Он приветствовал своего нового хозяина благородным жестом легионера, который только что покорил мятежную провинцию. Карлику было необходимо отдохнуть душой от виселиц и других государственных забот: он решил съездить в Помпею. Кто знает, почему ему вздумалось отдыхать душой именно в Помпее? Может быть, этот христианин и образцовый семьянин пожелал посмотреть на фривольные фрески, а может быть, зрелище разгромленного его гаубицами Флоридсдорфа пробудило в нем вкус к мертвым городам. Так или иначе он соединил приятное с полезным. Он любо-

вался помпейской живописью, и он подписывал договоры. Заботливость итальянцев не знала предела, и, чтобы ножки карлика не коснулись вульгарного асфальта, они не пожалели даже протертых ковриков.

Помимо господина Дольфуса, в Венеции я застал несметное количество немцев абсолютно арийского происхождения. Молодожены из Потсдама сначала снялись с классическими голубями, потом, увидев черную рубашку, благоговейно замерли, причем самец поднял руку вверх, а самка даже прослезилась. Последователи бога Вотана кутили в роскошных ресторанах, покрикивали на итальянскую прислугу и, развалившись в гондолах, читали «Фелькишер беобахтер». Трудно было сказать, кто это: пилигримы, приехавшие в Мекку фашизма, или древние тевтоны, в такой-то раз запрудившие благодатные пастбища юга.

Поучительно проследить результаты фашистского строя или, как говорит Бабель, выяснить, «зачем бабы трудаются». Правда, я не увидел ни осушенных болот, ни стеклянных цилиндров академика Маринетти. Зато мне привелось ознакомиться с одним из крупнейших достижений фашизма: я увидел мост для автомобилей, соединяющий Венецию с континентом. До начала фашистской эры имелся всего один мост — железнодорожный. Автомобили тогда оставались в гараже на континенте. Теперь автомобили гордо доезжают до вокзала. Там для них выстроен большой гараж. Мост построен. Остается гадать, стоило ли его строить: в автомобиле по Венеции все равно нельзя передвигаться. Впрочем, я не хочу моей низменной критикой осквернять некоторые бесспорные святыни.

По площади Святого Марка ходит человек с ящиком. Стоит какому-нибудь арийцу из Нюрнберга бросить наземь окурок, как человек подбегает и аккуратно засовывает окурок в ящик. Что касается рабочих окраин, то там все те же грязь и нищета. Каналы обдают приезжего зловонием, напоминая, что есть на свете красота, тесно связанная с разложением. Прелесть венецианских каналов, тысячи новелл и тысячи открыток, копии Лонги и вздохи влюбленных,— все это вряд ли мыслимо без той откровенной вони, которая приближает самый прекрасный город мира к вульгарным сточным канавам.

В воскресенье утром я присутствовал при изъявлении народных восторгов. Происходило это так: по всему городу были расклеены афиши. Жителям Венеции горячо рекомендовалось явиться на площадь Святого Марка для заслушания речи дуче. В назначенный час пришли три отряда фашистской молодежи. Юные чернорубашечники выстроились по-военному и начали слушать. Слушали они тоже по-военному: их лица при этом были настолько бессмысленны, что немецкие туристы должны были преисполниться умиления.

Кроме юных фашистов в форме, пришли также любопытные в пиджаках. Они шепотом разговаривали о своих делах: о ценах на прованское масло, о приезде американских туристов и о том, что какой-то синьор Джузеппо застрелился, не выплатив долгов. На площади сидели различные иностранцы, среди которых, наверное, было немало нахальных франкмасонов. Иностранцы преспокойно пили кофе. Мне стало обидно за оратора: я по опыту знаю, как неприятно читать восторженные стихи среди всеобщего равнодушия. Даже тучные голуби никак не реагировали на рык громкоговорителя. Они решили, что речь быстро кончится и что улетать под крыши не стоит: скоро иностранцы будут снова выдавать зерно. Задыхаясь от жира, голуби переваливались, как утки, между ногами юных фашистов. По словам верующих итальянцев, эти ноги символизируют святой дух. Надо сказать, что святой дух успел основательно разжиреть.

В своей речи господин Муссолини, обращаясь предпочтительно к иностранцам (конечно, не к тем, которые на площади Святого Марка нахально пили кофе), заявил, что фашисты обожают мир. На стенах старых венецианских домов я не раз видал воинственные надписи. Это молодая Италия, та, что томится в строю, мечтает об авантюре. Не все ли равно, с кем воевать? Лишь бы скорее!

Недавно в Италии были устроены празднества по поводу чрезвычайно актуального события: фашисты вспомнили, что Юлий Цезарь перешел речушку, именовавшуюся когда-то Рубиконом. Мы, грешные, думали, что это скучный урок латыни, а это оказалось интимным воспоминанием живого народа. Остальное понятно: после Юлия Цезаря появляется юный футболист в черной рубашке, который ничего в жизни не

читал, кроме отчетов о матчах и одиннадцати заповедей фашистского милиционера. На старой стене, которая еще помнит и пышность дожей, и шутки Гольдони, этот неистовый Митрофанушка спешит написать мелом свою фашистскую сентенцию.

В витринах магазинов выставлены черные рубашки. Для фашистов побогаче, у которых изысканный вкус и чувствительная кожа, эти рубашки сделаны из тончайшего шелка. Даже в выборе материала на форменные рубашки мудрые фашисты соблюдают иерархию.

В глазах итальянцев 1934 года чувствуется благородная пресыщенность древних патрициев: всем все надоело. Гордый жест легионеров превратился в мелкую взятку. Я заметил, что подымают руку люди, собирающиеся совершить какой-нибудь не вполне законный поступок, например, войти в почту, когда почта уже закрыта, или прошмыгнуть на перрон без перронного билета.

Владелец крупной книготорговли в Милане рассказал мне, что итальянцы постепенно перестают читать. Имеются, впрочем, некоторые фанатики, которые продолжают проявлять подозрительный интерес к печатному слову, но эти несчастные покупают исключительно переводы иностранных авторов. Свою фашистскую литературу итальянцы читают на стенах.

Когда я приехал в Милан, весь город был залеплен огромными афишами — этак метра в два. Каждая афиша представляла отзыв о господине Муссолини, взятый из какой-нибудь иностранной газеты. Например: «Муссолини — воплощение античной добродетели и римской храбрости, упорства и благородства». Выходит в городе Осло фашистская газетка «Тиденс тегн». В этом почтенном органе какой-то норвежский недоросль, по имени Шаухе Иогассен, написал, что господин Муссолини гений. Теперь мудрые слова оного Шаухе Иогассена, напечатанные аршинными буквами, красуются на всех стенах Милана. Я прежде думал, что в подобной рекламе нуждаются только начинающие теноры, у которых голос небольшой, но денег вдоволь. Оказалось, что к тем же приемам должны прибегать горячо любимые своим народом дуче на тринадцатом году безмятежного диктаторства.

Помимо афиш с цитатами из иностранной прессы, на стенах Милана имеются и другие афиши. Знаменитый Пассаж покрыт большущими афишами, на которых значится всего одно слово: «Дуче!» Четыре буквы и восклицательный знак. Шесть раз одно и то же на каждой афише. Десять афиш одна под другой. Дуче! Дуче! Дуче! Дуче! Дуче! Дуче! Ну, и так далее. Особенного разнообразия в этом нет, зато, как говорят, хорошо запоминается.

Сам дуче вполне своевременно сообщил одному парижскому журналисту, что итальянский народ лишен чувства иронии. Я сомневаюсь, что господин Муссолини был прав по отношению к своему народу. Можно напомнить ему имена Боккаччо и Аретино, Гоцци и Гольдони. Можно также привести в пример далеко не безобидные шутки рыбаков Неаполя или Венеции. Но слов нет, имеются и среди итальянцев люди, явно лишенные чувства иронии.

Зато в пафосе нет недостатка. Солидная газета «Корьере де ла сера» изъясняется чрезвычайно восторженно: «Толпа рычала, выражая свой беспредельный энтузиазм перед новыми высотами того, что мы вправе назвать муссолинианской цивилизацией». Остается добавить, что это описание того воскресного утра, когда венецианские голуби астматически сопели на площади Святого Марка.

12

Французская граница. Приученный фашистскими странами к гражданской дисциплине, я жду великолепных жандармов. Сейчас они придут и начнут всесторонне изучать мой многострадальный паспорт. Но вместо великолепных жандармов в вагон входит плюгавый человек. Он зевает, и на его нижней губе дрожит давно погасший окурок. Лениво он раскрывает мой паспорт и тычет печатью.

Я недаром был в Австрии и в Румынии, в Югославии и в Италии. Я кричу:

— Опомнитесь! Виза совсем не там... Вы даже не поглядели, есть ли у меня французская виза... Я столько трудился, получая ее, а вы... Вы хотите пройти мимо...

Но он снова зевает и преспокойно говорит:

— Здесь их столько, этих виз... Спокойной ночи.

Я хотел пожать руку последнему демократу Европы. Но он быстро скрылся. Наверное, он хотел на сон грядущий опрокинуть еще один стаканчик белого вина.

Я сильно опасаюсь, как бы этот последний демократ Европы не оказался замешанным в афере Ставиского.

1934

Испания

Испания. 1931—1932

1. ОСЕЛ, ИДИ!

Камни, рыжая пустыня, нищие деревушки, отделенные одна от другой жестокими перевалами, редкие дороги, сбивающиеся на тропинки, ни леса, ни воды. Как могла эта страна в течение веков править четвертью мира, заполняя Европу и Америку то яростью своих конквистадоров, то унылым бредом своих изуверов? Большое безлюдное плоскогорье, ветер, одиночество. Пустая страница, только на полях ее, на узких склонах, ведущих к морям, вписала природа зеленые пастбища Галисии или сады Валенсии. Страна, о которой мечтают уроженцы севера, как о потерянном рае,— неприютная и жестокая страна. Ее красота заведомо трагична, а простое довольство становится в ней историческим преступлением.

Люди жадные и неусидчивые давно покинули Испанию. От былой жизни они сохранили только язык, и вот на кастильском языке беседуют друг с другом короли висмута или нитрата, нефтяники Венесуэлы и старатели Колумбии, продувные президенты и блистательные сутенеры.

Те, что остались, любят эту землю тупой и величавой любовью. Крестьяне Кастилии или Галисии, ошалев с голоду, взбираются на палубы огромных пароходов, но из пестрой и шумной Америки неизменно они возвращаются назад. Они едят там мясо, они щеголяют в желтых ботинках, но ничего не поделаешь — они возвращаются назад в глухие деревушки, где длинны вечера без светильника, где длинны годы без праздника, годы натощак. Из Нового Света они не привозят ни любви, ни сбережений. Их жизнь — здесь, на печальной и сонной земле, там была поденщина, сутолока, ложь.

Где только не живут здесь люди! На верхушке горы, среди ветров и буранов, дрожит злосчастная

хижина: малое человеческое тепло борется с суровой зимой Леона. В Альмерии или возле Лорки иногда несколько лет сряду не бывает дождя — растрескавшаяся злая земля, рыжий туман, зной, голод, а среди трещин — кто знает зачем? — ютятся люди, они все ждут и ждут дождя. В Гуадисе люди живут не в домах, но в пещерах, это кажется справкой об иной эре, но это только обыкновенный уездный город, тихий и нищий, где вместо домов — пещеры, где надо платить пещеровладельцу — помесячно. В долинах Урдеса земля ничего не производит, это заведомо гиблый край, века он был отрезан от Испании. Недавно провели дорогу, люди могут уйти оттуда, но нет, они не уходят. Цепок человек в Испании, и трудно его выкорчевать.

Да, конечно, в Валенсии золотятся знаменитые апельсины, в Аликанте вызревают финики, прекрасны ставшие поговоркой сады Аранхуэса и академичны достоуважаемые виноградники Хереса. Но все это только описки, только богатые предместья большого и нищего города.

Горы, перевалы, камни, пустая дорога. Вот показалась смутная тень — крестьянин верхом на осле. Я не знаю ничего суровей и величественней, нежели пейзаж Кастилии. По сравнению с ним даже Кавказ кажется достроенным и законченным. Кастилия — это стройка природы, торчат стропила, разбросаны камни — мир здесь еще не доделан. Можно только угадать горделивый замысел зодчего. Человеческое жилье, редкое и непонятное, входит в землю. Оно прячется, как насекомое, от любопытного взора, оно одного цвета с камнями, оно пугливо к ним жмется. Так называемого «царя природы» здесь нет, и в самих камнях — безначалие. Все желто-серое, серое, порой рыжее.

Крестьянин верхом на осле. Он выехал рано утром. На его плече волосатое одеяло. Сейчас из ущелий налетит ледяной ветер: близка ночь. Осторожно перебирает ногами терпеливый ослик, у него крохотные ноги, но они давно привыкли к непостижимым пространствам. Далеко до стойла. Все холодней и холодней. Человек говорит: «Burro, arre!» Это звучит воинственно и громко, это потрясает своими «ррр». В переводе это значит: «Осел, иди!» Это не окрик и не приказание — осел послушно идет. Но скучно, сиротливо человеку в этакой пустыне, он едет час, два, три, он едет весь день, и вот он говорит с ослом — человеку

надо с кем-нибудь поговорить. Долго и неотвязно он повторяет: «Осел, иди!» Осел, тот не отвечает, он только исправно переставляет ножки. Холодно! Человек развернул одеяло и закутался в него, как в саван. Стемнело. Только силуэт виден — причудливая тень, рыцарь в плаще на маленьком ослике. Горная тишина и все то же причитание: «Осел, иди», как справка о судьбе — и осла, и своей, может быть, о судьбе всей Испании.

Появление Мадрида кажется дурным театральным эффектом. Откуда взялись эти небоскребы среди пустыни?.. Здесь нет даже великолепной нелепости северной столицы, которая заполнила столько томов русской литературы, здесь просто нелепость: среди пустыни сидят изысканные кабальеро и, попивая вермут, обсуждают, кто витиеватей говорил вчера в кортесах — дон Мигуэль или дон Алесандро?.. Они окружены ночью и камнями. По камням движутся тени, и, как пароль, звучит: «Осел, иди!»...

2. НЕБОСКРЕБ И ОКРЕСТНОСТИ

Испанцы любят утверждать, что в их стране можно увидать различные эпохи — они отлегли пластами, не уничтожив одна другую. Это верно для историка искусств, однако, если интересоваться в Испании не только соборами, но и жизнью живых людей, встает хаос, путаница, выставка противоречий. Прекрасное шоссе, по нему едет «испано-суиза» — самые роскошные автомобили Европы, мечта парижских содержанок, изготовляются в Испании. Навстречу «испано-суизе» — осел, на нем баба в платочке. Осел не ее, ей принадлежит только четверть осла — это приданое, осел достояние четырех семейств, и сегодня ее день. Вокруг чахлое поле, девка тащит деревянный плуг. Приезжему это может показаться постановкой для киносъемки, археологической реконструкцией, но красавец кабальеро, который развалился в «испано-суизе», не удостаивает девку взглядом: он знает — это попросту быт.

Кабальеро отдыхал в Сан-Себастьяне, там прелестные актрисы из Парижа и баккара. Теперь пора за работу! Сегодня акции «Сальтос Альберче» котировались 76... Вот и Мадрид! Гран-Виа. Небоскребы. Нью-

Йорк. Здания банков этажей по пятнадцати каждое, на крышах статуи: голые мужчины, вздыбленные кони. Электрические буквы носятся по фасадам. Освещенные ярко таблицы гласят: «Рио-Плата 96... Альтос-Орнос 87...» Внизу под таблицами копошится фауна Мадрида: все безногие, слепые, безносые, паралитики и уроды Испании. Те, у кого осталась рука, сидят часами не двигаясь, с раскрытой ладонью, безрукие протягивают ногу, слепые стонут, немые трясутся. Вместо лица порой проступает череп. Развернуты тряпки, товар показан лицом: струпья, язвы, гнилое мясо. А наверху гранитные мужчины гордо придерживают бронзовых жеребцов.

На Гран-Виа светло и шумно. Сотни продавцов выкрикивают названия газет, названия высоко поэтические: «Свобода» или «Солнце». В газетах передовые перья пишут о философии Кайзерлинга, о стихах Валери, об американском кризисе и о советских фильмах. Кто знает, сколько среди этих продавцов вовсе неграмотных?.. Сколько полуграмотных среди блистательной публики? Одеты кабальеро, слов нет, на славу. Какие платочки! Какие ботинки! Нигде я не видал таких франтоватых мужчин. Надо здесь же добавить, что нигде я не видал столько босых детей, как в Испании. В деревнях Кастилии или Эстремадуры дети ходят босиком — в дождь, в холод. Но на Гран-Виа нет босых, Гран-Виа — Нью-Йорк. Это широкая, большая улица. Направо и налево от нее — глухие щели, темные дворы, протяжные крики котов и ребят.

В каждом маленьком городишке Испании целая армия чистильщиков сапог — блеск неописуемый. Бань, однако, нет. Это не от любви к грязи, испанцы народ чистоплотный, нет, это от путаницы: старый быт разложился, новый не придуман. Какие-то ловкачи успели построить, неизвестно зачем, дюжину небоскребов, но в обыкновенных жилых домах ванн не имеется, об этом никто не позаботился.

В путеводителе потрясает богатство поездов: кроме скорых и курьерских, имеются «роскошные», даже «сверхроскошные». Но вот проехать из Гранады в Мурсию не так-то просто. Это два губернских города, между ними примерно 300 километров, один поезд в день, дорога длится 15 часов, поезд отнюдь не «сверхроскошный» — темные вагончики, готовые развалиться. Бадахос и Касерес — главные города Эстремадуры, 100 километров, один поезд в день, 8 часов пути.

Возле Саморы строят электрическую станцию «Сальтос дель Дуэро». Это будет «самая мощная сганция Европы». На скалистых берегах Дуэро вырос американский город: доллары, немецкие инженеры, гражданская гвардия, забастовки, чертежи, цифры, полтора миллиона кубических метров, энергия за границу, выпуск новых акций, огни, грохот, цементные заводы, диковинные мосты, не двадцатый, но двадцать первый век. В ста километрах от электрической станции можно найти деревни, где люди не только никогда не видали электрической лампочки, но где они не имеют представления об обыкновенном дымоходе, они копошатся в чаду столь древнем, что легко вообще забыть о ходе времени.

В каждом городе — государственное бюро для туристов. На стенах пестрые афиши, в шкафах солидные папки, проводники одеты в затейливые мундиры с флажками. «У нас превосходные гостиницы, у нас дивный климат, у нас художественные ценности!» Всем известно — Испания страна искусств: что ни дом, то музей. Показывая туристам старые церкви, проводники не довольствуются эстетическими восторгами, они знают, как ошеломить пивовара из Нюрнберга или «французика из Бордо»: посмотрите на эту епитрахиль, драгоценные камни, миллион песет! Золотые сосуды в Бургосе — полтора миллиона!.. На Богоматери Валенсии ожерелья и безделки — два миллиона, сантим в сантим!.. Туристы богомольно вздыхают. В Саморе туристам показывают романскую часовню. Надо пройти через большую сборную: детский приют. Час обеда. 200 ребят. Командуют монашки. При виде господ перепуганные дети встают. Это дети нищеты. Это также дети деревенских кюре, которые плодотворно утешали своих злосчастных служанок. Одеты дети в какие-то нелепые рваные власяницы. Из ржавых мисок хлебают они баланду — вода и горох. Если возмутиться, проводник объяснит: бедная страна, нет средств... Вот сюда... Направо... Статуя Богоматери, шкатулка с изумрудами, коллекция ковров, четыреста тысяч!..

В кортесах обсуждают вопрос о разводе. Радикалы и социалисты стараются затмить друг друга. На пюпитре советское законодательство о браке. Цитаты из Уэллса, даже из Маркса. Дома отважных депутатов ждут их законные супруги. Они по-прежнему послушно

беременеют и нянчатся с детьми. По-прежнему они проводят дни в гареме. Мужья перед ними не цитируют Маркса. Между двумя ночными заседаниями мужья наспех выполняют свои супружеские обязанности, а потом уходят пить кофе и пугать далеко не пугливых товарищей редкостной дерзостью мыслей.

В Бадахосе, когда в казино входит дама, почтенные посетители встают: это «народ рыцарей». В Бадахосе, как и в других городах Испании, «рыцари» дома от поры до времени лупят своих дам: и галантность и побои равно входят в быт.

Никогда в Испании не следует доверять вывескам. «Религиозная книготорговля» — в окне «Капитал», повести Коллонтай, «Дневник Кости Рябцева». Лавка социалистического кооператива — в окне гипсовые статуэтки: Святая Тереза и пасхальный барашек. «День всех мертвых» в деревушке Санабрии. Толпа стоит на морозе несколько часов. Свечи. Молитвы. Средневековье. Помолившись вдоволь, крестьянин садится на осла. Осел упрямится. Тогда молельщик кричит: «Начхать мне на деву Марию!» (Собственно говоря, он кричит не «начхать», но точный перевод его изречения неудобен для печати.) Он не очень-то верит в воскресение мертвых. Зато он твердо верит, что, если хорошенько обругать деву Марию, осел пойдет дальше. В Севилье во время крестного хода набожные прихожане ссорятся — чья Богоматерь лучше? Один кричит другому: «Моя Богоматерь действительно Богоматерь, а твоя попросту шлюха!..» В мае этого года испанцы, несколько развеселившись, сожгли сотню церквей. Остались десятки тысяч несожженных. Педро Гонсалес в пятницу был с теми, что подожгли церковь Святого Доминика, в воскресенье по привычке, а может быть, и со скуки он побрел в уцелевшую церковь Святого Бенедикта.

Я знаю одного художника-испанца; в своем ремесле он произвел доподлинную революцию. Его имя с равным трепетом повторяли и московские футуристы, и коллекционеры Филадельфии. Это человек не только высокоодаренный, но и смелый. Однако стоит произнести при нем слово «змея», как тотчас же, стыдясь собеседника, тихонько под столом он начинает водить двумя пальцами. Профессор психологии, который ездил в советскую Москву, смертельно боится кривых старух: «Они приносят несчастье!»

В Испании сколько угодно передовых умов. Они знают все: и программу Харьковского конгресса, и парижских популистов, и последнюю картину Эйзенштейна. Они не знают одного: своей страны. Они не знают, что у них под боком не сюрреализм, не пролетарская литература, не парижские моды, но дикая и темная пустыня, деревни, где крестьяне с голодухи воруют желуди, целые уезды, заселенные дегенератами, тиф, малярия, черные ночи, расстрелы, тюрьмы, похожие на древние застенки, вся легендарная трагедия терпеливого и вдвойне грозного в своем терпении народа.

3. «ИНДИВИДУАЛИСТЫ»

Мадрид встает поздно. В десять утра заспанные приказчики, позевывая, раскладывают товары. Утреннюю почту приносят в одиннадцать. В министерствах и в одиннадцать ни души: разве что курьеры да просители из провинции. Исправные чиновники приходят часам к двенадцати; а так как Мадрид — это город чиновников, то можно сказать без натяжки, что жизнь Мадрида начинается в полдень.

Каждый испанец с высшим образованием презирает дисциплину и государство: «У нас коммунизм немыслим, мы не русские, мы индивидуалисты!..» Так говорит сеньор Леррус, так говорит и любой начинающий адвокат. Следовательно, все они за свободу творчества и против государства. Это никак не мешает им мечтать об одном — как бы скорее попасть на государственную службу. Все кабальеро либо чиновники, либо неудачники, которые спят и во сне видят кресло канцелярии.

Для иностранца Испания экзотика, он ухитрился сделать из обыкновенной работницы табачной фабрики мечту всех бабников, не только парижских, но даже харбинских. Он может и мадридского чиновника изобразить безумцем в плаще. На самом деле мадридский чиновник отличается от лондонского только тем, что он проводит в канцелярии не восемь часов, а два часа и что в эти два часа он занят не нуждами государства, а либо вздохами по поводу дуро, проигранного вчера в карты, либо смелыми планами — как бы извлечь дуро из кармана робкого провинциала, который ходатайствует о пенсии.

После апрельского переворота нельзя было проникнуть ни в одно министерство: толпа осаждала министров. Это были не революционеры с грозными ультиматумами, но вежливые просители: они рассчитывали получить место. Все те, что мечтали о кресле канцелярий, стали тотчас же яростными республиканцами. Они, видите ли, не служили прежде только ввиду непримиримых убеждений! Но теперь они согласны послужить республике!.. Узнав, что прежние чиновники не увольняются и что, следовательно, вакансий нет, просители искренне возмутились: разве это революция?..

Кроме чиновников, в Мадриде немало адвокатов. По статистике, их несколько тысяч. Адвокаты, конечно, занимаются всем, чем угодно, кроме адвокатуры, но адвокатом стать легко, это ни к чему не обязывает и «abogado» на визитной карточке звучит если не гордо, то вполне пристойно.

Как чиновники, так и адвокаты в своем большинстве люди блистательные, но с познаниями весьма ограниченными. Они знают назубок подвиги того или иного торреро, они умеют при виде встречной сеньориты сказать что-нибудь поэтичное, например: «Красотка, я умираю от страсти»,— они, наконец, разбираются в политических тонкостях — они понимают, что с карточкой от сеньора Марча нельзя пойти к сеньору Прието. Этим их познания ограничиваются. Один адвокат, чиновник министерства юстиции, искренне изумился, узнав, что существует страна Голландия, он, оказывается, слышал такое слово, но думал, что это горная цепь. Другой адвокат далеко не тверд в таблице умножения. Третий (он теперь состоит государственным адвокатом в Касересе) спрашивал меня, все ли правит Россией Ленин, и никак не хотел поверить, что Ленин умер семь лет назад.

Зарабатывают чиновники и адвокаты немного, но жизнь в Мадриде устроена так, что можно жить даже впроголодь с шиком. Вот этот кабальеро сидит весь день в кафе. Сначала он пьет вермут — предполагается, что он готовится к сытному обеду, вермут ведь пьют для аппетита, но к вермуту дают в придачу разную дребедень: маслины, креветки, картошку. Кабальеро старательно поглощает все приложения. После чего он гордо перекочевывает в кафе напротив, там он пьет якобы послеобеденный кофе, разумеется с молоком — кабальеро не вполне сыт. Но кое-что он пере-

хватил и доволен жизнью. Иногда вместо кофе с молоком он пьет просто молоко — еще разумней. Так и сидят они, страстные и нарядные, на террасах кафе, ожидая, не покажется ли из-за угла революция, и попивая теплое молочко...

Одеты все изысканно. По улицам бродят продавцы галстуков: песета за штуку. Что за раскраска!.. Кабальеро ежедневно меняет галстук, это для него важней обеда. Кроме того, не следует забывать о блеске ботинок: как только у кабальеро оказывается несколько медяшек, он гордо подзывает чистильщика сапог. От неги он даже щурится. Он способен провести так весь день. Разбогатев, он чистит ботинки чуть ли не каждый час. Под утро можно увидеть беспечного кабальеро, который, направляясь домой, останавливается, чтобы еще разок протянуть свою ногу чистильщику. Англичане, те бреются по два раза в день. Кабальеро к лицу относится вполне равнодушно, он может и три дня не бриться, синь щек еще не пугает, но вот ноги — здесь он неумолим, ноги должны блистать!

Если кабальеро женат, у него, разумеется, квартира и куча ребят. Иногда он бывает дома: жена варит косидо и штопает носки. Но кто его жена и где его дом — об этом не знают даже близкие друзья. Семейная квартира нечто совершенно интимное, и ее не показывают, как не показывают в других странах незастеленной кровати. Кабальеро встречается с друзьями в кафе или в клубе.

Испанские клубы никак не похожи на клубы английские. Англичане приходят в клуб, чтобы помолчать. Там клубы — это полутемные залы, затоны, заповедники. Испанские клубы — это магазины с большими витринами; только в витринах выставлены не шляпы и не окорока, а живые кабальеро — они сидят в креслах и смотрят на улицу. Это, если угодно, выставка буржуев. Иногда кресла расставлены просто на улице перед зданием клуба — сидят в ряд и смотрят. Медитация не препятствует разговору, и в испанском клубе стоит гул, как на рынке. В первые дни революции кресла на улице пустовали: кабальеро еще не были уверены в точном значении слова «республика», но вскоре они успокоились и продолжают заседать, в дождь за стеклом, в хорошую погоду на дворе.

Кроме обозрения мира, посетители клубов занимаются карточной игрой. Испанцы народ честный, здесь

редко кто с голоду украдет хотя бы яблоко. Но у клубменов свои нравы. В большом мадридском клубе, чтобы перенести после закрытия игральную кассу из одного зала в другой, назначаются дежурства почетных членов, конечно же маркизов, графов и герцогов. Несмотря на громкие имена, из кассы неизменно исчезают несколько сот песет.

Чем благородней кровь в жилах кабальеро, тем менее он склонен работать. Даже канцелярия его пугает. Он приближается к подлинному «индивидуализму». В газете «Эль либераль» имеется рубрика аристократических объявлений: «Молодой благородный человек ищет покровительницу любого возраста с добрым сердцем, 150 песет ежемесячно...», «Брюнет 24 лет ждет признания. Он ищет немолодую, но нежную подругу. Он скромен, и ему необходимо срочно 125 песет...»

Пять часов утра. Кафе. Изысканные кабальеро. Это люди из самых приличных семейств. Они любят красоту жизни и презирают низкий труд. В кафе приходят девицы и сдают изысканным кабальеро звонкие дуро. В других европейских столицах сутенеры — замкнутая каста, здесь это завсегдатаи кафе, члены клубов; помимо профессиональных вопросов, они говорят о политике, даже о литературе...

Если в карты проиграл чиновник — он старается разложить проигрыш на столько-то посетителей, он требует взяток, шантажирует, грозит протоколом, процессом, тюрьмой. Хорошо полицейским,— например, столкнулись два автомобиля, тот, кто заплатит больше, будет помечен невинно пострадавшим. Кроме автомобилей — санитарный надзор, наконец, политика — оскорбление республики, даже заговор... Неплохо и муниципальным деятелям. В Мадриде у всех на глазах разбогател чиновник, которому была поручена установка городских писсуаров: он объявлял то одному, то другому владельцу приятного особнячка — писсуар, увы, будет поставлен возле вашего забора... Если в карты проиграл чиновник, он выкрутится. Но вот как быть кандидату в чиновники? Сцена в мадридском клубе. Маркиз X. и граф У. Маркиз: не можешь ли ты ссудить меня десятью дуро?.. Молчание. Недоумение. Граф — «индивидуалист», притом он знает, что маркиз тоже «индивидуалист» и что денег он не вернет. Тогда маркиз предлагает в заклад золотые часы. Кто знает,

что это за часы?.. Может быть, это вовсе и не золото... И вот два сиятельных кабальеро отправляются к соседнему ювелиру: оценить. Помимо подобных объяснений, это закадычные друзья и оба готовы положить жизнь, защищая честь — граф маркизову, маркиз графову.

Ломбард в жизни Мадрида — это церковь, биржа, кладбище. Сегодня выкупают, завтра закладывают — часы, пальто, даже одеяла. Все живут в долг. Маслины, кофе с молоком, новый галстук, блестящие ботинки... Жизнь легка и пуста. Только-только успели открыться канцелярии, как они уже закрываются. Возле театров и кино толпа. Шесть часов вечера — это утренники. Вечерние спектакли начинаются часов в одиннадцать. В два часа утра на улицах народ: кабальеро гуляют, отпускают комплименты красоткам и критикуют сеньора Асанью — «Маура куда умнее...»

В каждом испанском городе имеется одна улица, а зачастую одна сторона улицы, по которой ежедневно с шести до десяти гуляют все кабальеро — это, очевидно, относится к их прославленному «индивидуализму». В Мадриде все толкутся на улице Алькала. Тесно, как на ярмарке, но кабальеро покорно ступают один за другим.

Вот и день прошел, он начался в полдень — теперь кричат петухи. Можно лечь спать. Но кабальеро, как уже было сказано, одержим страстью, комплименты красоткам его насытили еще меньше, нежели два стакана молока. Он подходит к почтенной даме, которая сидит за соседним столиком, и вежливо приподымает шляпу. Может быть, это его тетушка?.. Но ведь он полон страстью... Тогда, может быть, он духовный брат тех, что сдают анонсы в «Эль либераль»? Может быть, он и впрямь обожает только пожилых женщин? Нет, рядом с седой дамой хорошенькая девушка. С девушкой, однако, заговорить нельзя — это очень неприлично, почтенная дама, та глаз не сводит с девицы. Кабальеро беседует с дамой о том и о сем, о погоде, о бое быков, о розыгрыше лотереи. Почтенная дама говорит о девушке: моя дочь. Почтенная дама отличается догадливостью. Она видит, что кабальеро испепелен страстью, и приглашает его в гости. По дороге кабальеро деликатно осведомляется о цене. Нельзя ли несколько подешевле: теперь не те времена, республика, кризис... «Но моя дочь...» Девица, разумеется, не

участвует в столь низменной беседе: она невинна и поэтична. Можно признаться, что почтенная дама ей отнюдь не мать, это даже не тетка, это импресарио. Хорошенькая девица родом из Андалусии, она дочь крестьянина, и она была в Мадриде судомойкой. У нее вдохновенные глаза, но в жизни она простовата, ее легко обсчитать. Кто же не знает, что с таким кабальеро надо быть начеку!.. Дама договаривается. Потом дама уходит в соседнюю комнату, пожелав кабальеро «доброй ночи». На этот раз день окончательно закончен, и кабальеро может уснуть.

Вместо дипломатической беседы с почтенной дамой кабальеро может пойти в один из публичных домов — их немало в Мадриде, и все они охотно посещаются заведомыми «индивидуалистами». Там кабальеро любят, что называется, «на миру».

День закончен, ясный мадридский день, под горным небом, созданным для песни пастуха и для одиночества, день шумный и пустой, один из многих дней, закончен, побежден, уничтожен. Испанцы народ отнюдь не веселый: среди шума и огней кафе, как топь, значится уныньe, оно готово проглотить человека. Кабальеро умеет по-настоящему скучать. Когда он зевает, со стороны становится жутко. Его любимое выражение: «Убить время». Он вовсе не пьет кофе, нет, он занят убийством времени. Это сложное занятие, оно требует многолетнего опыта, более того — наследственной культуры.

Время — вот враг! Причем все эти кабальеро чрезвычайно заняты: они служат в трех министерствах, они пишут в десяти газетах, они работают в пятнадцати политических партиях, они, наконец, влюблены по меньшей мере в пятьдесят красоток. У них нет свободной минуты!.. Если такой кабальеро назначает другому деловое свидание на пять часов, он приходит к семи — раньше прийти он никак не мог: он ведь очень занят! На самом деле он в соседнем кафе убивал время. В Испании начинаются вовремя только бой быков и лотерейные тиражи: это почти религия. Все прочее, как-то: заседания кортесов, спектакли, приход поездов, мессы, митинги, похороны, все это происходит с обязательным запозданием — время враг хитрый, и его убить куда трудней, нежели убить быка,— с ним приходится хитрить.

Столица Испании, дворцы, небоскребы, канцелярии, литературные кафе, редакции двух дюжин газет,

дебаты, красотки, толпа на Алькала, кабальеро, отдыхающие в тени под деревьями Пасео-де-Кастильяно,— это счастье и беда, нега и позор. Надо вспомнить, что кабальеро не просто одна из редких пород, которые достойны внимания этнографа, что это Мадрид, верхушка страны, те, что ею правили, и те, что ею правят поныне. Пока они убивают время, страна вымирает от голода.

В былые времена Испания давала миру блистательных ученых. Сейчас в университетской библиотеке что ни книга, то перевод. На постройках работают немецкие инженеры, в правлениях банков и акционерных обществ сидят англичане или американцы. В Испании были замечательные зодчие, современная архитектура Испании поражает своим убожеством; трудно представить себе нечто более безвкусное, нежели дворцы богачей в Валенсии или в Барселоне. Конквистадоры превратились в героев Рифа, с десятком орденов за каждое поражение. В мадридских кафе сидят молодые писатели, снобы и эстеты, они старательно подражают любой парижской моде, Кокто для них бог. Можно ли признать в них наследников Сервантеса?.. Но к чему вспоминать мертвых?.. Я видел в Андалусии батраков, которые политически куда грамотней доброй половины мадридских адвокатов. Сапожник Валенсии — художник, его выписывают в Париж и в Лондон — тачать дорогую обувь. Можно ли куда-либо вывезти кабальеро?.. Здесь он инженер, боюсь, что в Париже ему придется стать чернорабочим. На собрании барселонского профсоюза можно услышать куда больше дельных мыслей, нежели в кортесах. Кастильские крестьяне создали из скал страну. Что сделали из этой страны мадридские «индивидуалисты»?.. Впрочем, они и не обременяют себя подобными вопросами, они получают кто жалованье, а кто и взятки, они пьют кофе, и они убивают время.

Говорят: «В жизни каждого человека бывают потерянные минуты». В Мадриде я видал одного журналиста. Он получил от отца небольшое наследство. Тотчас же он переехал в пансион, положил на полку шкафа все свои галстуки, сел за стол, взял перо и написал на листе бумаги: «В жизни каждого человека бывают потерянные годы». Это изречение он повесил на стенку, после чего лег на кровать, лег «всерьез и надолго».

«Индивидуалисты» правят Испанией уже много лет, и трудно сказать, когда Испания от них избавится. Теперь они провозгласили «республику трудящихся». Это, вероятно, по рассеянности. Не лучше ли прописать на всех стенах Испании: «В жизни каждой страны бывают потерянные столетья»?..

4. ИСПАНСКИЕ ХЛЕСТАКОВЫ

В Мадрид приехала одна из кинозвезд Голливуда. Репортеру Мигуэлю Гонсалесу удалось получить у звезды интервью. Сегодня замечательный день: в конторе «Эральдо де Мадрид» Гонсалесу выдали два дуро. Гонсалес приобрел новый галстук, превосходно пообедал — жареный спрут и яичница, пошел в кино, после кино в кафе, почистил там ботинки, подал медяк нищенке, купил вечернюю газету — словом, вел себя как миллионер. Когда он бросил на стол дуро, дуро торжественно зазвенело, объявляя всему миру о величии Мигуэля Гонсалеса. Но всему приходит конец, пришел конец и прекрасному дню. Конец дня, кстати, совпал с концом богатства. Кафе закрыли, Гонсалес идет домой, в его кармане два медяка. Завтра с утра придет хозяйка канючить: уже пятый месяц, как Гонсалес ей ничего не платит. Гонсалес будет ей рассказывать о мировом кризисе и о почтовых непорядках. Завтра вместо обеда стакан кофе и ботинки сомнительной девственности. Но сегодня он миллионер!.. Он подходит к дому и звонко ударяет в ладоши: «Серено!» Подбегает ночной сторож со связкой ключей. Гонсалес дает ему последние медяки. У Гонсалеса в кармане ключ, но ключ надо искать, ключ потом надо вставить в скважину, это хлопотно и неинтересно. Куда приятней ударить в ладоши!..

Не поняв ночных безумствований дона Мигуэля Гонсалеса, нельзя понять ни заочного суда над королем, ни позы мадридских нищих, ни повадок мадридских министров. В Испании весьма посредственный театр, зато все испанцы в повседневном быту актеры высокого класса. Каждый нищий — это трагик, сдержанный и величавый. Он умеет протянуть руку так, как будто перед ним не улица с прохожими, но пять ярусов театра. Католицизм понял эту страсть и всячески ей потворствовал. Собор Бургоса — темная часовня,

вдруг вспыхивают огни рампы, в глубине женственный Христос, покрытый риполиновой кровью и бумажными розами. На картинах Сурбарана или Риберы святые репетируют патетические монологи. Процессии Севильи или Малаги в страстную неделю — это, скорей всего, номера кордебалета. В том, как девушка несет кувшин, в том, как любой счетовод или ветеринар кланяется встречной сеньорите, даже в том, как камеро, принимая чаевые, стучит монетой о стол,— чувствуется старая школа.

«Суд над доном Альфонсом» или, говоря точнее, заседание кортесов, посвященное ораторским упражнениям на тему «злой король и добрая республика», могло удивить только людей, с Испанией незнакомых. Испанцы смеялись: «Выпустили, а теперь судят!..» Впрочем, и эти ремарки раздавались не часто: страна отнеслась к «суду» вполне равнодушно. Зато депутаты насладились вовсю: они сыграли в конвент, никого при этом не обидев. Все было известно заранее: и обвинительные речи, и роль защитника, графа Романонеса, и благородство сеньора Саморы. Заранее было условлено, что граф Романонес — это «подлинный гидальго», а республиканцы, которые выслушивают его с пиететом,— гидальго вдвойне. Все были довольны друг другом: республиканцы графом, граф республиканцами. Газеты трогательно расписывали бескорыстие Романонеса: как же, диктатура с него взыскала штраф в размере пятисот тысяч песет, а он защищает короля!.. О том, сколько миллионов граф заработал при короле, газеты не упоминали. «Конвент» под утро принял грозную резолюцию, и депутаты пошли спать, хлопая в ладоши: «Серено!..» На следующий день никто не объявил войны этим неистовым якобинцам, никто не составил против них коалиции. Король, прочитав в Фонтенбло газету, наверное, усмехнулся: какникак он испанец и ничто испанское ему не чуждо. Депутаты и те тотчас же забыли о представлении-гала.

Кортесы — спектакль живописный и своеобразный. Правда, в кортесах не бывает той «французской борьбы», которой вправе гордиться палата депутатов. Благородство столь сильно в этом народе, что оно отражается даже на парламентских нравах: в кортесах не случается драк. Оратор говорит, хорошо говорит — в Испании все умеют хорошо говорить. Другие его не слушают, так как слушать в Испании никто не умеет.

Редко что так утомляет мадридского адвоката, как необходимость выслушать другого. В кафе «индивидуалисты» обыкновенно говорят все в одно и то же время. В кортесах они стараются соблюдать порядок: пока один говорит, другие шепчутся, просматривают газеты, пьют в буфете кофе и ждут своей очереди.

Испанская поэзия всегда совмещала в себе жестокий реализм с абстрактной мистикой. Кортесы оказались у́же: от реализма они вовсе отказались. До выборов агитаторы различных партий — радикалы, республиканские социалисты, просто социалисты — старались перекрыть друг друга. Так как избиратели были крестьянами, притом крестьянами издавна голодными, все агитаторы обещали им в два счета помещичью землю. Это и было жестким реализмом. Вслед за этим настала мистика. Народ сжег монастыри, следовательно, его можно успокоить обличениями бяки-иезуита. Ораторы говорят о торжестве свободного разума, о кознях орденов, о Торквемаде и о Галилее. Потом они переходят к любви: для торжества любви необходима свобода развода! Речи о силе чувства, цитаты из классической литературы. Потом они увлекаются восхвалениями кастильского языка: это язык Сервантеса и Лопе де Веги!.. Потом они шлют приветствия республикам Латинской Америки. Потом на минуту они возвращаются на землю, речь идет, однако, не о земле крестьянам: его высокородие депутат Марч (все депутаты, обращаясь друг к другу, говорят «senorid») во время диктатуры поработал несколько усердней других. В парламентской комиссии оказались документы, компрометирующие Марча. Тогда Марч, не смущаясь, через посредничество его высокородия депутата Иглесиаса предложил комиссии некоторую круглую сумму за молчание. Дело выплыло наружу, и депутаты много говорили на тему: честь и бесчестье. Было устроено секретное заседание — бедняга Иглесиас перестал быть его высокородием. После чего кортесы занялись новой темой: как отобразить пакт Келлога в испанской конституции, принимая во внимание и поведение японцев, и заведомое миролюбие испанских генералов?.. Со дня открытия кортесов прошло полгода. Многие находят, что для кортесов это нормальный срок — время их распустить. О земле депутаты поговорить так и не удосужились.

Три четверти депутатов вполне искренне думают, что, разговаривая ночи напролет, они спасают Испа-

нию. Один из них сказал мне: «На наших плечах историческая ответственность — мы создаем Испанию для наших детей». Можно было подумать, что это советский инженер, занятый пятилеткой. Но нет, это был испанский депутат, то есть актер, настолько увлеченный игрой, что зрительный зал для него не люди, а только темнота, хорошая акустика и гул рукоплесканий.

В России Хлестаков всегда сбивался на трагизм, ложь там почиталась моральным преступлением, и красноречивые ораторы наталкивались на неизбежную подозрительность аудитории. Испания из лжи сделала вдохновение, она доказала ее бескорыстность, она превратила ложь в благодеяние, даже в жертвенность. «Курьеры» Хлестакова ничтожны и омерзительны. Превращение Альдонсы в Дульцинею граничит с мифом.

Чиновник министерства юстиции. Жалованье шестьсот песет в месяц. Восемь дочерей. Жена все время работает, чтобы выкроить из скромного бюджета «кабальерскую» жизнь. К чиновнику приезжают по делу два иностранца. Чиновник (он, разумеется с благородным именем, назовем его здесь для скромности доном Хасинто) хочет принять как следует гостей: «Увы, мой замок сейчас ремонтируют, и я лишен возможности пригласить вас к себе...» Гости успокаивают дона Хасинто и приглашают его пообедать с ними в ресторане. «Я соглашусь принять ваше предложение только в том случае, если вы обещаете мне, что, когда вы снова приедете в Испанию, вы будете моими гостями. Мой дом — ваш дом». В указанный час к отелю подъезжает престарелый «форд», весь перевязанный бечевочками, вместо сиденья клочья пакли, мотор жалобно кашляет. Дон Хасинто произносит монолог: «Я воистину несчастен! Моя «испано-суиза» в починке, на моем «роллс-ройсе» жена уехала в Сан-Себастьян, и вот мне пришлось приехать за вами на этой старой машине, на ней обыкновенно моя кухарка ездит за покупками...» Жена дона Хасинто в это время сидит, конечно же, дома, возможно, что и без обеда, так как дон Хасинто отобрал у нее последнее дуро, чтобы раздать гардеробщикам и швейцарам великолепные чаевые. Однако дон Хасинто сейчас сам верит, что его супруга наслаждается морской прохладой, что у него три автомобиля и что рабочие день и ночь чинят мраморные лестницы его наследственного замка.

В провинции чиновники, получая двести пятьдесят песет в месяц, держат прислугу. Прислуге они платят песет двадцать. Вся семья, включая, разумеется, прислугу, голодает. Стиль, однако, соблюден.

Мурсия — город небольшой и тихий, он сливается с апельсиновыми садами, можно сказать — село, но в Мурсии имеется свой небоскреб. Он недостроен, и вскоре его начнут сносить, так как достроить его некому и незачем. Он родился не как дом, не как доходное предприятие, но как поэма. Об одном из купцов Мурсии стали поговаривать: «Разорится, обязательно разорится!..» Купец и не думал разоряться. Купец был смел и безрассуден: купец был испанцем. Он решил заткнуть рот клеветникам: пусть все увидят, сколь он богат!.. Он начал строить в Мурсии небоскреб, точь-в-точь как на мадридской Гран-Виа. Небоскреб вещь громоздкая, кроме вдохновения, он требует солидных капиталов. Купец строил и разорялся. Когда дело дошло до крыши, купец и вправду разорился. Небоскреб бессмысленно торчит среди садов. Жители, впрочем, не удивляются — все они строят в мечтах столь же величественные и столь же нелепые небоскребы.

Зажиточный крестьянин провинции Гранада тратит на свою одежду тридцать — сорок песет. У него имеется, конечно, осел. Здесь начинается поэзия: осел такого крестьянина одет как на картинке. На осле домотканая покрышка с занятными разводами, на осле бусы, ноги осла одеты в превосходные гамаши. Чтобы обрядить осла, чудак истратит и все сто песет. Он не купит себе новой шляпы, зато с гордостью он скажет соседу: «Посмотри на моего осла, как он прилично одет!..» Действительно, осел одет куда лучше и хозяина, и жены хозяина. Это не любовь к животным: разодетого осла бьют ничуть не меньше, нежели осла в лохмотьях. Нет, это необходимость отойти от логичного, страсть к отвлеченным монологам и к мнимому великолепию.

Все это можно воспринимать по-разному — и ослиную элегантность, и небоскреб, и замок дона Хасинто, и красноречие кортесов. Можно издеваться, можно и расчувствоваться. Когда-то я видал в Москве балет «Дон Кихот». Бедный рыцарь был попросту смешон среди классических пуантов и пируэтов. Дон Кихота били, и публика, по большей части гимназисты и гимназистки, весело смеялась: дети любят логику, и они не

сентиментальны. Лет двадцать пять спустя я увидал «Ревизора» в постановке Мейерхольда. Хлестаков врал, но никто не смеялся, зрители пугливо ежились. Очевидно, можно сделать трагедию даже из «лабардана». Надо ли говорить о том, что дон Хасинто отнюдь не смешон, что он скорее страшен, что миллион донов Хасинто — это безумие, что «суд над доном Альфонсом» не только водевиль, но и жестокая гримаса, на которые столь щедра история этого великолепного и несчастного народа?..

5. ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТ

На фасадах дворцов тряпье, под тряпьем корона. На почтовых марках портрет короля снабжен штемпелем «республика». Вывеска «Отель Королевы Виктории» — слово «королева» замазано, Виктория стала героиней Гамсуна или орхидеей. Другой отель «Альфонс XII», выломали цифру — Альфонс как таковой.

У себя дома республиканцы куда терпимей. Херес. Виноторговля «Гонсалес и Биас». Портреты короля. Королевские автографы. Королевская признательность. Королевская улыбка. Конечно, для виноторговца легко найти оправдание: десертное вино и дегенеративная монархия прекрасно уживались друг с другом. Труднее понять красу Барселоны сеньора Пландьюру. Экспорт-импорт, кофе, тонны, валюта, отель «Колумб», каталонский патриотизм, наконец, особняк, а в особняке редкостная коллекция: романская скульптура и живопись. Сеньор Пландьюра человек со вкусом, его особняк куда любопытней городского музея, он не боится и новшеств, рядом со статуей двенадцатого века — картины Пикассо. Однако кто знает, чем больше гордится этот эстет — своей коллекцией или королевским кивком? При входе дощечка: посетил Альфонс. Среди картин письмецо в раме: Альфонс благодарит. Возле Пикассо огромная фотография: все тот же Альфонс, на этот раз он жмет руку сеньора Пландьюры.

Испанский Кобленц обосновался в Биаррице. Если он ведет себя тише Кобленца российского, то это следует объяснить не скромностью роялистов, а скорее известным своеобразием Испанской республики. Она столь мила, столь воспитанна, что, право же, трудно

с ней рассориться. При благосклонном попустительстве республиканских властей роялисты вывезли за границу все свое добро. Они устраивают «чудеса» для суеверных крестьян Наварры. Они торгуются с отнюдь не суеверными капиталистами Бильбао. Те, что помоложе и поглупей, еще толкуют о заговорах, те, что поопытней, предпочитают любовные свидания с «умеренными республиканцами».

Старая испанская песня рассказывает о грустном конце короля Родриго: когда дон Родриго потерял Испанию, он побрел в горы. Он съел ломоть хлеба, посолив его своими слезами. Потом он лег в могилу и положил себе на грудь змею. Трое суток ждал он, наконец змея сжалилась: она ужалила короля. Так умер дон Родриго. Это был жалкий отсталый король. Он жил в восьмом веке, и он не знал всех преимуществ эмиграции. Дон Альфонс — человек двадцатого века. Он не солит хлеба своими слезами и не ждет, пока змея его укусит. Он живет в Фонтенбло, окруженный почетом республиканской Франции. Он вывез все свои капиталы. Представители хаимистов беседуют с легитимистами. Республиканцы не брезгуют монархистами. Англичане ничего не имеют против сеньора Камбо, сеньор Камбо ничего не имеет против сеньора Лерруса... Это очень длинная песня. Если змея ужалит кого-нибудь, то уж никак не дона Альфонса.

Республика закрыла короны тряпьем, она переименовала улицы, она переменила бутафорию. Актеры те же. Им даже незачем разучивать новые роли. Правда, ввиду экономии некоторым офицерам пришлось выйти в отставку, но отнюдь не монархистам,— нет, чересчур беспокойным «мечтателям». Старые королевские полицейские охраняют республиканский порядок. Что ни день, они арестовывают рабочих. Как встарь, они убивают «смутьянов».

Несколько лет тому назад в Барселоне полицейский по имени Падилья явился к председателю синдиката булочников. Он пришел переодетый, якобы от имени одного товарища. Он уговорил рабочего выйти на улицу. Там он его убил. Обыскав убитого, он нашел на нем адрес другого «смутьяна». Рьяный сеньор Падилья тотчас же пошел по найденному адресу. Он застрелил и второго преступника. О подвигах Падильи знала вся Барселона. Полковник Масия — тогда революционер и изгнанник — говорил: «Падилью следует застре-

лить!» Теперь полковник Масия сидит во дворце, он глава областного правительства. Что касается сеньора Падильи, то его не убили, не арестовали, даже не сместили, он занимает видный пост в барселонской полиции.

В свое время при аресте Масии полицейский Рубио показал себя особенно грубым. Недавно полицейский Рубио был убит при перестрелке с анархистами на улице Уржель. На его похороны явился растроганный Масия: выказать сожаление. Не следует думать, что Масия толстовец, нет, он только глава хоть и бутафорского, но все же правительства: полицейский Рубио защищал его от рабочих.

В Валенсии в декабре прошлого года один из полицейских убил на улице вождя синдикалистов. В госпитале он показал вместо удостоверения револьвер. Никаких протоколов! Возмущение в городе было столь велико, что храброго полицейского убрали. Ему выдали наградные, и он исчез. Сейчас он опора полиции в городе Куэнка. Один наивный журналист, увидав его, возмутился. Он написал об этом главе всей республиканской полиции. Глава прочел. Полицейский продолжает служить республике. Если журналист начнет скандалить, полицейского переведут, конечно с повышением, в Касерес или в Хихон.

Я дожидался испанской визы четыре месяца. Наконец министерство иностранных дел прислало согласие. Посольство в Париже объявило: пойдите в консульство, там вам положат визу. Но консул не мальчик, он служил королю, у него свои вкусы. Иногда он никак не может согласиться с министром иностранных дел. Увидав советский паспорт, он начал кричать: «Это для меня не паспорт! Это бумажка!.. Вы не получите визы!..» Несколько дней прошло, прежде нежели был улажен конфликт между монархическим консулом и так называемой республикой.

Мадрид. Кафе «Закуска». Слово для испанцев непонятное, но завлекательное. У входа швейцар, он одет под казака. Лакеи в шелковых рубашках с двуглавыми орлами. Это не сиятельные князья в изгнании, но обыкновенные испанские камереро. Подавая пирожные, они наивно приговаривают: «Не угодно ли закуску?» Велико бы было разочарование публики, если бы она узнала, что закуска — это скорее селедка, нежели вафли. Стиль соблюден: орлы радуют глаз, бравый

казак из Арагона кажется верной опорой, мадридская аристократия наслаждается экзотикой. «Закуска» была излюбленным местом придворной челяди. Даже королева любила откушать «закуску» с заварным кремом. Публика после апреля почти не переменилась. Вот этот франтоватый кабальеро — душа газеты «АВС». В свое время он написал восторженный труд о Примо де Ривере. Может быть, вскоре ему придется снова приступить к лирической монографии — кто лучше его сможет расхвалить мужество Мауры или ум Лерруса?.. Пока что он не сидит без работы. Он толкует события. Он пишет статьи. Он составляет корреспонденции. Он ест «закуску». Без таких республиканцев туго пришлось бы новорожденной республике.

Газета монархистов называется «АВС»: ее идеи выдаются за азбучные. В Севилье имеется своя «АВС», причем ее редактор состоит председателем Союза журналистов. В Мадриде еще приходится думать о приличии, в Мадриде почти все газеты зовут себя «республиканскими». Другое дело в провинции. В Касересе социалистический муниципалитет, в Касересе три газеты, все три правые. В провинции газеты делятся примерно так: явно монархические, тайно монархические, католические иезуитов и католические просто, последние — это крайне левое крыло.

Во всем, что касается кличек, революция торжествует. Переименовать улицы куда приятней, нежели отдать барскую землю батракам. Переименовывают вовсю. Нет местечка, где бы не было улицы Галана. Кто знает, что стало бы с Галаном, если бы его не расстреляли своевременно в Хаке... Может быть, он сидел бы теперь в тюрьме по обвинению в заговоре против республики? Но Галан мертв, и храбрые республиканцы не боятся мертвых. Они щедро раздают улицы даже самым опасным мертвецам. Толедо. Собор. Попы, лавки с херувимами, богомолки. На углу дощечка: «Улица Карла Маркса». В Валенсии партия радикал-автономистов предложила назвать одну из улиц именем Ферреро. Никого не смутило, что душа этой свободолюбивой партии Эмилиано Иглесиас сыграл в расстреле Ферреро весьма сомнительную роль.

Так переименованы тысячи улиц. Так переименовано и государство. Феодально-буржуазная монархия, вотчина бездарных бюрократов и роскошных помещиков, дюков и грандов, взяточников и вешателей,

английских наемников и либеральных говорунов, торжественно переименована в «республику трудящихся». Стоит ли спорить об имени?.. Может быть, завтра перепуганные радикалы согласятся снять с корон тряпье. Может быть и наоборот, даже изгнанник Фонтенбло поймет всю прибыльность демократической республики... Апрельская переделка была гордо названа «революцией», но это даже не дворцовый переворот, это только смена кабинетов.

Словом «республика» трудно теперь кого-либо напугать. Достоевский писал о Франции Мак-Магона: «Республика без республиканцев». С тех пор многое переменилось. Республика доказала, что она не шальная девка, но дама из приличного общества. Русская поговорка гласит: было бы болото, черти найдутся. Я не знаю, сколько было в Испании республиканцев до 14 апреля. Теперь в них нет недостатка: республика налицо, следовательно, найдутся и республиканцы.

6. «РЕСПУБЛИКА ТРУДЯЩИХСЯ»

Смесь розового с серым нас всегда волнует. Может быть, это просто прихоть глаза, может быть, это подсознательное толкование так называемой «жизни». Озеро сейчас светло-серое, горы розовые. Этот край кажется созданным для лирики. Испанский язык, мужественный и жесткий, здесь явно мягчает. Здесь уже можно говорить о любви, не пугая твердыми согласными птиц и тишину. Здесь девушки поют грустные и нежные рондас. Вот за теми горами — Галисия с ее зеленью, омытой дождями, и с ее пастухами, склонными к поэзии. Берега озера тихи и безлюдны. С трудом глаз различает на склонах застенчивые хижины. В озере снуют рыбы, над озером кружат птицы. Так художники раннего Возрождения обычно представляли рай — не хватает только кудрявых овец и праведников. Всем ясно, что здесь люди блаженствуют. Здесь побывал Унамуно. Он написал несколько строчек, полных поэтического волнения. Дорога доходит до озера: домик, яичница и форель из озера, книга для посетителей — нечто среднее между курортом и Эдемом.

Дальше нет проезжей дороги. Тропинка, осел. Две деревни: Сан-Мартин-де-Кастаньеда и Риваделаго. Ту-

да никто не ездит, туда незачем ездить — там нечего покупать и некому продавать. Там только живописное расположение и проклятая нищета, но и то и другое в Испании не редкость.

Впрочем, деревня Сан-Мартин-де-Кастаньеда может похвастаться даже художественными богатствами: среди жалких хижин стоят развалины монастыря. Вот романские колонны... Вот ниша... Вот оконце... Сто лет тому назад мудрые монахи оставили монастырь, они поняли, что человеку трудно прожить одной красотой, и они перекочевали в места менее поэтичные, но более доходные.

Крестьянам некуда было уйти, крестьяне остались вместе с романскими развалинами. От монастыря сохранились не только безобидные камни, от монастыря сохранилось проклятье — форо. В былые времена крестьяне платили ежегодно дань монастырю. Когда монахи решили переселиться, они перепродали право на дань какому-то вполне светскому кабальеро. Так, переезжая, продают мебель. Они продали форо, то есть право ежегодно грабить крестьян. Это было в 1845 году. Прошло почти сто лет. Где-то далеко отсюда, в Мадриде менялись власти и флаги. Была первая республика. Были либералы и консерваторы. На выборах торжествовали различные партии. Смельчаки кидали бомбы. Смельчаков подвергали «казни через удавление». Король давал концессии американцам. Король ездил в Сан-Себастьян. Король развлекался. Потом короля свергли. Сеньор Алкала Самора сидел в тюрьме. Сеньор Алкала Самора стал главой правительства. Все это было далеко отсюда — в Мадриде. Из Мадрида нужно сначала ехать в скором поезде до Медины-дель-Кампо. Потом почтовым до Саморы. Потом в автобусе до Пуэбло-де-Санабрия. Потом лошадьми до озера. Потом на осле, если таковой имеется. Далеко от Мадрида до этакой деревушки! Здесь ничего не переменилось. Так же серела, что ни день, вода озера и к вечеру розовели горы. Так же пели девушки грустные песни. Так же каждый год посылали крестьяне неведомому кудеснику форо или, говоря проще, 2500 песет.

У крестьян мало земли, да и та не земля, но землица: чего от нее дождешься? В деревне триста тридцать жителей. Как во всякой испанской деревне, тьма-тьмущая детей: беднота здесь рожает детей с упорством

завзятых фаталистов. Голодные дети. Вместо изб черные дымные хлевы. Не верится, что люди могут так жить постоянно — беженцы? погорельцы?.. Нет, просто податные души. Им никто не приходит на помощь, но ежегодно они посылают все, что им удается отвоевать у скаредной земли — две тысячи пятьсот песет, пятьсот сказочных дуро,— могущественному кабальеро, который получил от папаши, помимо прочего наследства, право на древнее форо. Очередного кабальеро зовут Хосе Сан Рамон де Бобилья. Это адвокат. У него прекрасный дом в Пуэбло-де-Санабрия рядом с замком. У него много клиентов. Человек не нуждается, но, как адвокат, он хорошо знает законы — крестьяне деревни Сан-Мартин-де-Кастаньеда должны ему платить пятьсот дуро ежегодно. Богатые люди от денег не отказываются, и крестьяне получают ежегодно повестку. Они шлют деньги. Сеньор Хосе Сан Рамон де Бобилья расписывается.

В апреле 1931 года свободолюбцы провозгласили в Мадриде республику. Они пошли дальше — они объявили в конституции, что «Испания — республика трудящихся». Во избежание кривотолков они пояснили: «Республика трудящихся всех классов». В 1931 году, как и в прежние годы, нищие крестьяне деревни Сан-Мартин заплатили дону Хосе две тысячи пятьсот песет. Они трудились круглый год, ковыряя бесплодную землю. Дон Хосе тоже трудился: он послал повестку и расписался на квитанции.

На другом конце озера находится вторая деревня: Риваделаго. Крестьяне Риваделаго не платят форо, но голодают они с тем же рвением. Еще меньше земли. Крохотные поля картошки, похожие на кукольные огороды. Едят картошку и горох, едят осторожно, чтобы не зарваться. Курные избы — темные бараки без окон. Светильники, зажигают их редко — масло не по карману. В такой норе шесть, восемь, десять человек, больные старики, дети, все вперемешку. Была школа, потом учителя перевели, нового не прислали. Да и какая же учеба натощак?..

Во всей деревне один только хороший дом с трубой, с окнами, даже с занавесками на окнах. В нем живет уполномоченный сеньоры Викторианы Вильячики. Об этой сеньоре можно сложить эпические песни. В старину поэт сказал бы: «Прекрасна она, сильна и богата». Я не знаю, прекрасна ли сеньора

Викториана Вильячика, но слов нет, она и богата, и сильна. Ей принадлежат несколько домов на мадридской Гран-Виа. Ей принадлежит также вода озера Сан-Мартин, вода нежно-серого тона, дарящая лирические чувства и к тому же изобилующая рыбой. Земля не принадлежит сеньоре Вильячике, ей принадлежит только вода. Когда вода подымается, ее владения растут. Это юридическая головоломка, но, наверное, адвокат Сан Рамон, тот, которому соседние крестьяне платят дань, легко разберется и не в таких тонкостях. Сеньоре Вильячике принадлежит вода со всей рыбой. Рыба в озере хорошая — форели. Но ничего с этой рыбой сеньора Вильячика сделать не может — слишком сложна и длинна дорога отсюда в Мадрид. Впрочем, сеньора Вильячика проживет и без рыбы — один этаж одного из ее мадридских небоскребов приносит ей куда больше, нежели все поэтическое озеро.

Уполномоченный диковинной сеньоры ловит форелей. Иногда он продает толику в Самору или в Пуэбло-де-Санабрия. Он продает форелей адвокату. Он и сам ест форелей. Но рыбы в озере много, и рыба плавает, ничего не страшась. Уполномоченный отстроил себе хорошенький дом. Он стал владыкой деревни. Он был даже ее алькальдом. Он живет припеваючи. Его права охраняются стражниками. У стражников винтовки. Если изголодавшийся крестьянин ночью попытается словить рыбку, ему грозит штраф или тюрьма: в Испании иногда умеют соблюдать законы. Голодные люди должны глядеть на прекрасное озеро, на голубых и розоватых форелей, глядеть и умиляться. Так художники раннего Возрождения изображали ад; здесь уж ничего не пропущено: грешники корчатся, а черт сидит в домике за занавесками.

Сегодня в деревню Риваделаго приехал доктор из Саморы. Это человек добрый и наивный. Он лечит бесплатно крестьян; как может, он им помогает. Прежде он здесь агитировал за республику: он верил, что республика не только переселит сеньора Самору из тюрьмы в королевский дворец, но что она также накормит крестьян Риваделаго. Его останавливает высокая женщина, окруженная роем ребят. Ее лицо заострено голодом и горем. Она спрашивает доктора:

— Что же, дон Франсиско, республика еще сюда не доехала?..

Испанская ирония всегда серьезна: это ирония письменности, от протоиерея из Ита до Сервантеса, это ирония любой крестьянки.

Доктор молчит. Что ему ответить? Сказать, что республика домоседка, что ее пугает путь верхом на осле? Или признаться, что республика давно доехала до этих мест, что она остановилась в домике уполномоченного сеньоры Вильячики, что она на «ты» с адвокатом из Пуэбло-де-Санабрия, что она знает толк и в форо и в форелях, что это не просто республика, но «республика трудящихся всех классов».

7. ГЕНЕАЛОГИЯ МАЛАГСКИХ ГОЛОВЕШЕК

В испанском пейзаже нетрудно различить жестокость, фанатизм — в пустынности, в нагромождении камней, в том, как бьет ветер то чахлый кустарник, то белье бедняков, развешенное на веревках, в реве одинокого осла, во всем, что делает эту страну запущенной, забытой, даже не пустыней, но пустырем, огромным пустырем где-то на окраине мира. В этом пейзаже находила себе поддержку испанская поэзия. Насколько в соседней Франции чувства подвергались контролю то эстетической линейки, то пробирной палаты так называемого «разума», настолько здесь им давали свободу, их натаскивали на душевный скандал, сызмальства их приучали к чрезмерности. Любимой темой испанской поэзии была смерть: роман начинался с эпилога. Хорхе Манрике в своих знаменитых «Строфах на смерть отца» заверял: «Наши жизни — реки, смерть — это море». Он жил в стране маленьких рек, которые зачастую летом вовсе высыхают, и в стране, окруженной морями. Смерть подносилась всячески: то как философическая загадка, то как заманчивое событие, со всем присущим испанцам реализмом, с гниением, с червями, с трупным смрадом. Смерти предшествовало страдание, и на этом построено религиозное искусство Испании. О воскресении из мертвых бормотали на латыни, зато муки и смерть выдавались безграмотным в виде тысячи статуй Христа, который корчится, извивается, на теле которого, как в паноптикуме, язвы, сгустки крови, все это всерьез, так, чтобы взял страх, чтобы помнили: се жизнь!

В других странах католицизм пробовал уговаривать, он соблазнял райскими кущами ребячливых

итальянцев, он доходил до логики и до отвлеченности во Франции, здесь он знал одно — пугать, как букой, пугать болезнью, агонией, наконец, томительным холодом ада, суля злосчастным крестьянам Кастилии после смерти такую же страшную загробную Кастилию. С равным успехом он запугивал и пастухов и королей. Эскуриал — его трофеи.

Директор севильского музея, человек всячески просвещенный, с негодованием сказал мне: «В Малаге вы увидите, что сделали с прекрасными церквами тамошние дикари...» Он говорил о церквах, сожженных в мае. Это археолог, и его не приходится судить. Ему следует только напомнить об Эскуриале. Никто не сжег Эскуриал, и, надо надеяться, никто его не сожжет: от таких «сувениров» человечество не вправе отвязаться. Но без Эскуриала трудно понять страстность малагских поджигателей.

Людовик XIV любия хорошо покушать, побаловаться с придворной дамой, Петр Великий любил поскандалить на ассамблее — государи развлекались поразному. Карл V на досуге ложился в гроб — он репетировал смерть. Огромная казарма среди диких скал, казарма, созданная для духовной шагистики, для религиозных трапеций, для предсмертных маневров. Кругом не было людей, но в горах рыскали голодные волки. Иногда короли, между двумя мессами, отправлялись на охоту: они гонялись за волками и, кто знает, может быть, при этом они выли протяжно, дико, как преследуемые ими звери. Слова молитв — «раз-два», а внизу уже дожидается приготовленная старательно могила. Вместо сада — погреб, в погребе пышные полки, на полках гробы, на гробах клички королей. Сторож, показывая приезжему это великолепие, исправно читает имена. Внизу один гроб без имени, сторож поясняет: «Свободный». Это не ирония, но просто справка: Альфонса XIII рассчитали до времени — его гроб пуст, и если он умрет в изгнании, комплект гробов в этой чудовищной библиотеке может показаться разрозненным.

Короли в порядке духовной гимнастики преждевременно обживали роскошные гробы, крестьяне, те в темном суеверном ужасе ждали часа, когда им доведется лечь в могилу,— если не удобрить, то задобрить злую землю. Нигде католицизм не был столь противочеловеческим. Романские церкви с их трогательной простотой, с толкованием храма как избы или

как амбара, полного зерном, церкви Сеговии или Авилы по духу предшествуют испанской истории. Их сменили соборы золота и смрада, Христосы с настоящими человеческими волосами, кровь в три ручья, куклы святых в парчовых юбочках, театральные корчи барокко, неуместная нега мавританщины,— все это с надрывом, с угрозами, с застенками исповедален, с пытками инквизиции и с порочной изощренностью искусства.

Большие художники никогда не становятся явлениями, равно приемлемыми для всех. Номенклатура «классиков» с их обязательностью заведомо лжива. Греко — великий художник испанского католицизма, и на его полотна трудно глядеть без ненависти. Он страстно изобразил тот пышный и жестокий мир, который в мае этого года пытались поджечь обыкновенными спичками грузчики и рыбаки Малаги. Христос, апостолы, святые на картинах Греко — это утонченные мазохисты, это изнеженные снобы, которые церемонно подставляют свою грудь под копья. Его герои, одаренные именами угодников, похожи на педерастов из парижского кафе. Это извивание тел, эта болезненная пестрота красок, эта геометрия пейзажа недаром соблазнили европейских художников и литераторов в начале нашего века: разложение культуры началось с Испании, здесь завелись первые декаденты. Картины Греко или стихи Гонгоры предсказывают ту пустоту, в которую скатилось европейское искусство, чтобы сдаться на милость нью-йоркских небоскребов и романов-каблограмм.

Греко писал не только святых, он писал также портреты духовных пастырей. Это не мазохисты, но садисты. Это те, что веками мучили Испанию. В их тусклых глазах нет ни радости, ни веры, но только желание повелевать, темное и легко переходящее в похоть.

В Малаге было 37 церквей и монастырей. 36 сожжены весной этого года. Остался один собор, большой, светлый и просторный, похожий на танцевальный зал. В этом соборе я видал настоящих изуверок. Они вправе потягаться с персами, которые, крича: «Шахсей-вахсей»,— наносят себе удары кинжалом, или с польскими хасидами, которые хватают куски рыбы с тарелки чудесного цадика. Это не старухи, не грешницы в рубищах, не изможденные постницы. Это

обыкновенные «сеньориты» с густо накрашенными лицами, в модных платьях и в изысканных туфельках. Под вечер они гуляют по главной улице, стараясь обольстить холостых коммерсантов. Утром они молятся. Они молятся теперь с особым усердием, никогда они еще так не молились: ведь безбожники сожгли в Малаге 36 церквей!.. Входя в собор, они падают на колени. Они смотрят ввысь часами, не двигаясь с места. Они простирают руки, может быть дожидаясь стигматов. Они ползают по плитам. Они извиваются ничуть не хуже всех барочных святых. Огонь выгнал их из других церквей. Они собрались в это последнее логово. Их охраняют гвардейцы с ружьями. Они тащат сюда падающие песеты и свой страх перед готовым адом. Это внучки Филиппа II, и веселая Малага, белая над синим морем, Малага сладкого вина и ленивых парусников, для них темна и жестока, как двор Эскуриала.

От собора всего несколько шагов до домишек тех бедняков, которые сожгли 36 церквей. От изуверок всего несколько шагов до головни и керосина. Это один мир и один день. Он еще длится.

8. ЧУДЕСА

Путешественник, приехавший из другой части света и обследующий Европу так, как европейские миссионеры обследуют Африку, может отметить: «Испания заселена двумя породами людей. Одни, худые, изможденные, с явными признаками различных телесных и духовных лишений, называются «кампесинос», что означает «крестьяне». Они одеты по-разному: на севере они носят береты или платки, завязанные на голове, на юге широкополые шляпы, но повсюду их одеяние отличается изъянами и может быть приравнено к рубищам. Другая порода людей, заселяющих Испанию, напротив, отличается здоровьем. Это краснощекие дородные люди, всегда веселые и жизнерадостные. Они пьют в кабачках вино, они курят сигары и ласкают хорошеньких служанок. Эти люди одеты повсюду одинаково в широкие черные балахоны, и зовут их «курас», что означает «священники».

В кортесах сеньор Асанья провозгласил: «Испания перестала быть католической!» В дипломатической ло-

же сидел папский нунций. Он внимательно слушал. Он мог бы вздохнуть — ведь это смертный приговор!.. Но, повернувшись к соседу, он благодушно улыбнулся. Может быть, он вспомнил историю соседней республики Комба и «пожирателей кюре», бранные крики, закончившиеся комплиментами, старушку Марианну, вновь ставшую христолюбивой? Может быть, он улыбнулся и не думая вовсе об истории, просто потому, что он духовное лицо, а как уже было сказано, духовные лица в Испании отличаются веселым нравом?..

Во Франции кюре стараются на людях вести себя пристойно, даже в трамваях они неизменно читают все тот же зачитанный молитвенник. В Испании курас не стесняются. Они заходят в кабачки, курят большие вонючие сигары, в просторечье именуемые «смерть собакам», балагурят, заигрывают с девушками. В деревне кура тотчас же находит красивую девушку, красивую и к тому же бедную — таких немало в Испании. Избранная становится служанкой. Днем она работает на куру, ночью также. Когда куре она надоест, он возьмет другую. Возле Ла-Альберки у одного куры целый гарем; здоровый, красномордый, он работает день и ночь — то девка, то месса, здесь же огород, здесь же взыскать за требы, здесь же апостол Павел. Когда приключается неприятность, девушка спешно уезжает в Бехар или в Пласенсию. Байстрюка берут в воспитательный дом. Мать никуда не берут — ни на ферму, ни на фабрику. Впрочем, в каждом испанском городке имеется публичный дом, и женщина без работы не остается. Что касается куры, то он уже успел присмотреть другую.

Гениальный сатирик протоиерей из Ита рассказывает, что произошло с духовными особами в Талавере после того, как один чересчур суровый епископ запретил им пользоваться женскими услугами. «Обратимся к королю Кастилии. Он знает, что мы все из плоти...» Один стонал: «Я оставлю Талаверу, перееду в Опоресу...» Санчо Муньес хитрил: «Откуда епископ может знать, кто моя служанка? Может быть, она моя родственница? Может быть, я ее держу из милосердия?» Третий клялся, что ни за что он не оставит своей любимой Орабуены. Это написано шестьсот лет тому назад, но в Испании многое живо вне истории — тем же плугом пашет землю крестьянин, так же осел тащит глиняные кувшины с водой, так же веселые

курас развлекаются со своими служанками. Только епископы стали осторожней, они не отдают опрометчивых приказов.

Да, слов нет, хорошо живут куры в Испании! Однако еще лучше живут фрайлес, то есть монахи. Монастыри в Испании никак не похожи на скромные скиты, и созданы они отнюдь не для умерщвления грешной плоти. С виду они похожи то на дворцы, то на прекрасные усадьбы. В Саламанке имеется монастырь-небоскреб, нечто вроде правления нью-йоркского банка. Чем богаче край, тем больше монастырей: монахи умеют выбрать места не только живописные, но и хлебные. Бедному человеку попасть в монастырь столь же трудно, как евангельскому верблюду пролезть сквозь ушко. Монахи дают землю в аренду, а деньги в рост, они участвуют в акционерных обществах, и настоятель хорошего монастыря, раскрывая «Эль дебате», интересуется не только телеграммами из Ватикана, но также биржевыми курсами. Много заводов и копей на севере Испании находятся под финансовым контролем иезуитов.

Иезуитский монастырь близ Мурсии. На воротах крепкие запоры: май может повториться. В монастыре было сорок монахов, теперь трое, остальные предпочитают временно светский костюм и частные квартиры — они боятся не столько речей сеньора Асаньи, сколько анонимной толпы, керосина и коробки спичек. Трое остались, чтобы вести дела. Один продолжает обучать детей слову Христову. Другой присматривает за рабочими, которые работают в монастыре. Третий договаривается с крестьянами: ведь в этом году, несмотря на все пламенные речи депутатов, монастырь сдал крестьянам в аренду столько-то таулий и получил за это столько-то тысяч песет.

В Мадриде сожгли двадцать монастырей, некоторые монахи отбыли за границу для высокой дипломатической работы, но большинство продолжает трудиться на месте: увещевают, обучают, подрабатывают. В Малаге монахи из сожженных монастырей сняли новые помещения и открыли школы. Они вовсе не склонны расстаться с вековой сытой и привольной жизнью.

Для людей с жизненным опытом монастырь — санаторий. Я видал одного монаха из Сеговии, он был богатым адвокатом, славился кутежами и любовными

проказами. Потом он устал. Екклесиаст говорит: «Всему свое время». Бывший адвокат гуляет по монастырскому саду, нюхает цветы, изучает романские барельефы, читает книжки. К столу у него прекрасная снедь, старое вино. Никаких мирских забот, человек отдыхает, к тому же он, разумеется, молится и своими молитвами спасает весь христианский мир.

Спасти Испанию не так-то просто. Мало для этого и благодушия нунция, и трудолюбия курас, и молитв фрайлес. Против поджигателей можно выставить пикеты гражданской гвардии, но кто спасет католическую Испанию от безверия?.. Пока государство содержало всю веселую братию, крестьяне ходили в церковь, любовались парчовыми платьями раскрашенных кукол,— словом, делали все, что должны делать исправные прихожане. Но вот поговаривают, будто крестьянам придется содержать этих весельчаков. Крестьяне угрюмо почесываются. Говоря откровенно, они смогут прожить и без кукол... Месса не гвозди и не соль, за мессу не платят! Нунций улыбается, но в душе нунций несколько встревожен. Так начинаются чудеса.

Осенью этого года некая девица, по имени Рамона Оласабаль, вполне своевременно удостоилась посещения Святой Марии. Последняя дружественно с ней побеседовала, а потом небесным мечом пометила ладони счастливой Рамоны. У Рамоны тотчас же нашлись последователи: девочка Мария Асурменди объявила, что она тоже видела Богородицу, которая рук ей не царапала, но только улыбалась и, улыбаясь, подарила ладанку. Иоахим Мучатеги девяти лет от роду также видел Богоматерь, она рассказала ему что-то по секрету, что именно, он рассказать не может. Может быть, о речи сеньора Асаньи?.. Или об аренде монастырских земель?.. Кто знает!.. Хуана Мурабель видела Богородицу с семью мечами, а Хуана Ларос видела Богородицу среди звезд. Словом, удостоившихся было немало, однако забить Рамону Оласабаль никто не мог: как-никак у Рамоны поцарапанные ладони. Правда, врачи, осмотревшие девицу, заявили, что ее ладони порезаны обыкновенным ножом и что Рамона страдает гемофилией, но врачи, как известно, заведомые безбожники. В деревню Эскиога стали стекаться десятки тысяч паломников.

В других местах Испании весельчаки тоже не дремлют. Бесспорно, Испания вступает в эру чудес, причем

не только видений, но чудес вполне реальных: автомобиль останавливается на краю бездны, умирающий лихо вскакивает с одра, пуля ударяется об ладанку. Чудеса в Испании всегда отличались реализмом. Поэт Гонсало де Берсео записал в свое время множество таких чудес. Например, монахиня согрешила. Она беременна. Ей грозит строгое наказание. В монастырь приезжает епископ. Монахиня просит Богоматерь: вступись! Та тотчас же является. Она не царапает ладоней, нет, она занята вполне серьезным делом: она принимает у монахини ребенка, как хорошая повивальная бабка; после чего уносит младенца в лес к некоему Педро — на воспитание. Епископ приказывает опытным повитухам осмотреть монахиню. Повитухи заверяют, что подсудимая отнюдь не беременна. Тогда епископ, осерчав, хочет наказать игуменью, оклеветавшую монахиню. Желая спасти игуменью, монахиня падает на колени и рассказывает епископу о том, как Богоматерь у нее приняла младенца. Все умилены, все идут в лес к Педро и, увидев в колыбели новорожденного, прославляют Богоматерь. Таково классическое чудо тринадцатого века. Чудеса двадцатого века отличаются только меньшей фантазией и большей последовательностью: они должны не столько утешить, сколько напугать — Богоматерь призывает добрых католиков вступиться за права апостольской церкви.

В Бискае и в Наварре католики открыто призывают к борьбе с богопротивной республикой. В Андалусии и в Эстремадуре они еще прячутся среди сетований, молитв и бабьих шепотов. Повсюду в темноте исповедален они говорят теперь не только о заветах апостола Павла и о святости поста, но также о дьявольских происках безбожников и смутьянов. Они куда толковей и серьезней испанских журналистов, те ведь получают только скудные построчные, а фрайлес и курас защищают свои акции, свою землю, свои дома и свою власть.

Недавно полиция «нашла» в одной из церквей склад огнестрельного оружия. Очевидно, сеньор Асанья не вполне доволен улыбкой нунция. Он хочет сделать нунция сговорчивей. Полиция находит только то, что она должна найти. Кто знает, сколько в Испании подобных арсеналов?.. Найдено несколько револьверов — это относится к дипломатии. В монастырях и церквах по-прежнему работают представители воин-

ствующей церкви: они подготовляют чудеса и выборы, они закрывают заводы и оставляют землю необработанной, они науськивают темных женщин и сторговываются с гражданской гвардией. Они знают, что судьбы страны теперь решаются не десятком смельчаков с револьверами. У них другое оружие и другие арсеналы.

9. ЛАС-УРДЕС

Саламанка — город пышный и шумный. На главной площади под аркадами с утра до ночи прогуливаются студенты, солдаты и барышни. Они пьют вермут, закусывая его маслинами, обсуждают министерские декларации, влюбляются, томно млеют, пока чистильщики бархатом натирают их невыносимо блистательные ботинки, они строят глазки, ходят взад и вперед, живут на площади и на ней же старятся. Вечером вспыхивают старинные фонари, аркады становятся таинственными, как альковы, прекрасная площадь забивает всех местных красоток, и в нее, не в ту или иную сеньориту, но именно в площадь, в аркады, в фонари, в старые дома, в длинную, как жизнь, прогулку влюблены все жители Саламанки. Шумен и пышен город. Кастильские «ххх», «ррр», «ссс» звучат как ратные крики. Гудят автомобили, а им отвечают неизбежные старожилы испанских городов — многострадальные ослы. Из кафе доносится гуд громкоговорителя: не то севильское фламенко, не то речь сеньора Прието. Шумен город и пышен. Дворцы Возрождения на каждом шагу, как мелочные лавки, они сходят за простые дома, о них забывает даже бюро для туристов, в них живут обыкновенные люди, в дворцах с колоннами, в дворцах, облепленных мраморными раковинами, в дворцах с нимфами и с фонтанами, живут просто, когда нужно — глотают касторку, когда нужно — кричат на прислугу: «Почем сегодня телятина?» Университет Саламанки столь великолепен, что трудно понять: как же в нем люди изучают патологию или гражданское право? Он создан для любования. Да, Саламанка — город поэтов!..

В «Гранд-отеле» выставка старинных безделушек, обед из десяти блюд, изысканные лакеи и чарльстон. Кто после этого скажет, что Испания отсталая страна?

Это край довольства и неги. Большая площадь все шумит, кружится, поет...

Любители гор могут поехать в Пенья-де-Франсия — это под боком. Прекрасное шоссе. Сто километров. Вот и перевал!.. Перед глазами ад, попытка природы передать все то жестокое и злое, что мучит иногда человека в бессонницу. Крутой спуск в голое пустое ущелье. Кругом горы — ни деревьев, ни травы. Человека здесь никто не услышит. Куда же идет эта широкая дорога?.. Может быть, в убежище для снобических туристов, которые ищут уединения?.. Может быть, попросту в преисподнюю?.. Еще несколько километров. Лачуги. Здесь кто-то живет...

Дорога идет в край, именуемый «Лас-Урдес». Испанцы нехотя, с явным замешательством произносят это имя. Очевидно, Лас-Урдес никак не вяжется ни с небоскребами на Гран-Виа, ни с тирадами кортесов. Но из песни слова не выкинешь: Лас-Урдес — Испания. Это восемнадцать деревень провинции Касерес, на границе с провинцией Саламанка. Еще несколько лет тому назад мало кто знал о существовании Лас-Урдес — не было ни одной проезжей дороги, которая соединяла бы этот край с Испанией. Исследователи отправлялись туда, как в Центральную Африку. Люди в Лас-Урдес тихо умирали от голода и от болезней. Их стоны не доходили до соседней Саламанки. Это хилые и нищие люди, следовательно, ими не интересовались ни сборщики податей, ни воинские начальники. На беду, король в поисках «народной любви» решил посетить Лас-Урдес: так подают копейку калеке. Лошадь короля, перевалив горы, печально заржала. Когда король увидал неведомых верноподданных, он тоже печально вздохнул: предстояла ночь в аду. Королю негде было переночевать, как бездомному бродяге. Он не решился зайти в вонючие темные норы. Для него разбили палатку на кладбище — кладбище показалось королю самым жилым местом в Лас-Урдес. Вероятно, он был прав.

После королевского визита в Мадриде заговорили о Лас-Урдес. Образовалось Общество покровительства Лас-Урдесу, со статутом столь же благородным, как и Общество покровительства животным. Провели дорогу. Над деревнями, немного в стороне от них, предпочтительно на вышке, чтобы избежать чересчур зловещего соседства, построили красивые белые домики: для учителя, для священника, для доктора. Крестьяне

ютятся по-прежнему в темных землянках, спят вповалку, один согревая другого, без тепла, без воздуха, без света. Но над ними — несколько вполне европейских домов и вывеска «Общество покровительства Лас-Урдесу». Так, наверное, ведут себя белые в захолустьях Африки.

Две трети населения Лас-Урдес отмечены признаками дегенерации. Среди них много зобастых. Они отличаются малым ростом и слабостью. Дети развиваются медленно: десятилетним никак нельзя дать больше четырех-пяти лет. Половая зрелость у женщин наступает часто лишь в двадцать лет. Потом они сразу старятся. Здесь нет ни юношей, ни людей среднего возраста — дети и старики. Детей очень много, босые, полураздетые на холоде. Вот девочка тащит новорожденного со скрюченными полиловевшими ногами. Умрет?.. Через год будет новый...

Наверху в белом домике доктор. Он может изучать здесь все виды дегенерации. Помочь он не может: как лечить голодных?.. Тайна Лас-Урдес весьма проста: люди здесь голодают из поколения в поколение. Земля лишена извести. Удобрения нет. Редкие деревья, оливы и каштаны принадлежат кулакам из села по ту сторону гор, из Ла-Альберки. Крестьяне Лас-Урдес едят горсть бобов, иногда ломоть хлеба, иногда желуди. Так как лекарство от голода еще не придумано, доктор ведет статистику и наблюдает.

Столь же трудна работа учителя. Дети любят школу: в школе светло и тепло. Они приходят босиком из соседних деревушек: 5—8 километров. Учитель проверяет умственное развитие детей, у него таблицы, диаграммы, цифры. «Расскажи, что изображено на этой картинке?..» Учитель ставит цифры, выводит среднюю, разводит руками: двенадцатилетний по цифрам соответствует трехлетнему. Дети стараются прилежно учиться, среди них много способных. Но в дело вмешиваются желудочная резь, пот, озноб, спазмы, все признаки вульгарного голода. Незачем звать доктора: болезнь ясна.

— Среди моих учеников вряд ли найдется один, который хотя бы раз в жизни поел досыта...

Тетрадки, обыкновенные тетрадки, как во всех школах мира. В тетрадках сначала: «Его величество король, наш благодетель»... Потом несколько страниц спустя: «Наша благодетельница, Испанская республика». Тетрадки те же. В Мадриде произошла

революция. Исполнительный учитель переменил тексты для чистописания. Больше ничего не переменилось: босиком домой по холодным камням, дымная берлога, мать корчится, рожая, две картофелины, несколько своровавнных каштанов и сон на земле.

Девочка все тащит младенца. Он еще не умер. Бессмысленно глядит он на враждебный мир. Он не знает, что он дитя про́клятого края. Вот этот старик знает: он вводит нас в свой дом — ничего не видно, трудно дышать, но это лучшая изба деревни. Даже запасы — корзина с желудями. Старик спокоен: его дело кончено, он съест желуди, а потом умрет. Кюре в беленьком домике не сидит без дела. Кюре может быть доволен приходом; он не учит и не лечит, он отпевает.

Несчастные люди с ужасом и надеждой смотрят на автомобиль. Им не привезли ни хлеба, ни спасения. Они забираются назад в свои норы. Только девочка еще не может успокоиться. Она не сводит глаз с приезжих. Сколько ей лет? Десять? Или, может быть, восемнадцать?.. Новорожденный закрыл голубые глаза. Вокруг величественные горы. Природа здесь издевается над ничтожеством человека. Она показывает свое превосходство: какие вершины, какие пропасти, какое головокружение! Она ничего не дает человеку, она еще свободна от него. Люди пугливо залезают в землянки. Они знают: никто им не поможет. По ту сторону гор живут счастливцы: у них оливы, хлеб, песеты, король и республика. Они любят развлекаться. Они провели дорогу. Они приезжают, чтобы посмотреть на жителей Лас-Урдес. Они приезжают и уезжают. Но никуда не уехать жителям Лас-Урдес. По-прежнему самое жилое место края — кладбище.

Девочка с синим младенцем осталась позади. Может быть, он уже умер? Автомобиль пыхтя рвется вверх. Саламанка. Веселая площадь. «Гранд-отель». Музыка. Где вы были?.. В Лас-Урдес?.. Нет, об этом не принято говорить в приличном обществе! Сегодня в кино идет новая американская картина...

10. ЧТО ТАКОЕ ДОСТОИНСТВО

Терраса большого кафе на мадридской Гран-Виа. Час ночи — театры кончились, публика начинает собираться, публика, что называется, «чистая» — ком-

мерсанты, «сеньоритос» (так зовут здесь золотую молодежь), адвокаты, журналисты. Вокруг столиков бродят продавцы газет, чистильщики сапог, нищие. Деловито они ищут пропитания. Смуглая крупная баба продает лотерейные билеты: «Завтра розыгрыш!..» Другая баба ей приносит грудного младенца. Тогда женщина спокойно придвигает к себе кресло, расстегивает кофту и начинает кормить ребенка. Это нищенка. За столиками шикарные кабальеро. Гарсоны парижского кафе сворой ринулись бы на нищенку, в Берлине поступок показался бы столь необъяснимым, что преступницу, чего доброго, подвергли бы психиатрической экспертизе. Здесь это кажется вполне естественным. Откормив младенца, женщина принимается снова за работу: «Завтра розыгрыш!..»

Не следует думать, что демократизм быта создан испанской буржуазией, он создан наперекор ей. Испанский буржуа ничуть не менее своих иностранных братьев обожает иерархию. Он твердо знает, что дуро в пять раз больше песеты, и его религия тесно связана с начальной арифметикой. Он рад бы провести раздел между собой и «народом», остановка не за ним. Остановка и не за государством: хитрая сеть древних законов, паутина толкований, все здесь сделано для того, чтобы окрутить безграмотных крестьян. Остановка только за так называемым «народом». Его закабалили, но не принизили.

Сеньор Санчес, «государственный адвокат» и наследственный шулер, едет сегодня из Сеговии в Мадрид. Носильщик тащит его чемоданы, украшенные подозрительными гербами. Сеньор Санчес вчера обыграл в карты сеньора Гарсию — он дает носильщику целую песету. Тот вместо благодарственного пришептывания, улыбнувшись, протягивает сеньору Санчесу руку: «Счастливой дороги!» Адвокату ничего не остается, как принять это рукопожатие. В Мадриде к Санчесу подходит нищий; Санчес отмахивается: «Ничего нет!» Нищий вежливо приподымает драную шляпу: «Простите, что потревожил». Санчес в городском парке читает «Эль соль». Рядом с ним чернорабочий жует гороховую колбасу. Санчес косится — что за соседство!.. Тогда рабочий вежливо предлагает: не хочет ли сеньор попробовать?.. В душе сеньор Санчес отнюдь не одобряет подобной фамильярности, но он родился и вырос в Испании, следовательно, он с ней легко

мирится. Перед ним никто не станет унижаться. У него могут попросить медяк. При случае его могут и зарезать, но ползать перед ним на коленях никто не станет. Бедность здесь еще не стала позором. Французский буржуа сумел привить свою мораль даже заклятым врагам: бедняк во Франции стыдится дыр на штанах, голодного блеска глаз, ночевки на скамейке бульвара. Бедняк в Испании преисполнен достоинства. Он голоден, но он горд. Это он заставил испанского буржуа уважать лохмотья.

У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и о живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные песни, о бедняках, которые пляшут в Каталонии стройное сердано, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в острогах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания — это не Кармен и не тореадоры, не Альфонс и не Камбо, не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибаньеса, не все то, что вывозится за границу, вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания — это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл, несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных сутенеров!

Испанские крестьяне и рабочие душевно куда тоньше изысканных обитателей европейских столиц. Паноптикум или человеческая выставка — обязательная низость современной жизни — претит им. Они не расспрашивают и не разглядывают. Они приходят на помощь просто, как бы невзначай. В Испании нет государственного пособия безработным. Социалистический министр труда занят статистикой и проектами.

Число безработных тем временем растет. Как живут эти люди?.. Только помощью товарищей, которые из мизерного заработка уделяют толику еще более обездоленным. В Барселоне квартиры большие, а заработная плата низкая, в каждой квартире живут по нескольку семейств. Те, что работают, делятся с безработными. В деревнях Эстремадуры батрак режет хлеб пополам и отдает половину безработному. Это делается незаметно, и мало кто об этом знает. В Мадриде удивленно спрашивают: «Почему безработные еще не умерли от голода?..» Чтобы получить с берлинского бюргера пять марок на «суп для несчастных», надо процитировать и Библию, и Брюнинга, надо польстить: «У вас благородное сердце», надо пообещать: «Мы напечатаем о вашем поступке в газете», надо пофилософствовать: «Если у них не будет хотя бы постного супа, они начнут громить лавки...» Странно, что этакое существо и батрак из деревни Оливенса, который содержит семью безработного товарища, скрывая свою жертву даже от соседей,—что оба они могут называться одним архаическим словом «человек».

«Дуро»—это заставляет усиленно биться сердца всех чиновников Мадрида, всех коммивояжеров Барселоны. Крестьяне и рабочие равнодушны к деньгам. Большие дороги здесь не уничтожили гостеприимства. Французский крестьянин никогда не впустит чужого в свой дом. Если он даст стакан вина, следовательно, это «бистро», и за вино он взыщет столько же, сколько стоит стакан в соседнем городке. Если он угостит сыром, следовательно, он уже вычитал в местной газетке, что этот вот сыр «локальная специальность» и что парижане падки на него. Приезжий может зайти в любую испанскую хижину от Галисии до Альмерии—его всюду примут с радушной улыбкой. Ему дадут все, что имеется: хлеб, овощи, фрукты. Если он предложит деньги, он увидит смущение, а порой и обиду. Мы хотели заплатить за яблоки одному крестьянину в нищей деревне Санабрии; песета для него большие деньги. Ему не на что купить ни соли, ни деревянного масла. Он поглядел на монету и возмущенно отвернулся. Звон серебра еще не заглушил в его ушах человеческого голоса. Другой крестьянин возле Мурсии принес в автомобиль груду апельсинов, причем это был не один из местных кулаков, но бедный

старик, у которого всего несколько деревьев и который нанимается к соседу, чтобы выработать три песеты в день. От денег он отказался просто и величественно. Нищенка в Гранаде мне предложила кусок луковой колбасы. Чистильщик сапог в Альхесирасе мне подарил папиросу. Босой мальчонок в Мадриде, улыбаясь, угостил меня карамелькой. Все эти люди знают, что улыбка куда важнее человеку, нежели песета.

Мадридские лежебоки, сидя в одном из кафе, любят рассуждать о горькой судьбе Испании. От них вы услышите, что страна гибнет потому, что крестьяне и рабочие не хотят работать—это, мол, наследственные лентяи! Опровергать не приходится, опровергает хотя бы тот же Мадрид, та же жизнь лежебок, те же кафе, банки и дворцы. Чем создано это, если не упорством крестьян, которые добывают из камня хлеб, без удобрения и без машин, если не искусством рабочих, которые на архаических фабриках, среди безграмотных инженеров и жуликоватых управляющих, ухитряются делать вещи на вывоз?.. Непонятно, как может работать батрак Эстремадуры, который ест куда меньше того, что прописывают врачи толстякам в виде голодной диеты, запрещая при этом малейшее движение!

Испанцы работают прилежно, но вне американской горячки: и в труде они соблюдают достоинство. Форд построил в Барселоне сборочные мастерские. Он установил там свою знаменитую «ленту». Рабочие не пошли к Форду. Квалифицированный рабочий Барселоны получает семь-восемь песет в день, Форд платит пятнадцать, но на его заводе нет ни одного рабочего из профсоюза, только злосчастный сброд, набранный в Китайском квартале. Испанские рабочие любят свое дело, это прекрасные токари, сапожники, столяры. В труде они ищут творчества. Несколько лишних песет их соблазняют куда меньше, нежели свобода.

Право на досуг здесь кажется столь же необходимым и естественным, как право на воздух. Вот сапожник, он отработал столько-то часов, он сидит на пороге и слушает, слушает, как поет девушка с кувшином, как ревет осел, как перекликаются дети. Приходит заказчик: набить подметки... Сапожник спрашивает жену: «Mujer[1], у нас есть сегодня на обед?» Узнав, что

---

[1] Женщина *(исп.)*.

на обед есть хлеб и горох, сапожник отсылает клиента к другому сапожнику: он отдыхает. Носильщик в Севилье отнес сундук, получил песету. «Отнеси другой, получишь еще песету...» Носильщик отказывается: с него на сегодня хватит, теперь пусть заработает товарищ... Для мистера Форда это либо сумасшедшие, либо преступники: они не хотят работать до одури, они не понимают, что правда в сбережениях, они не думают о завтрашнем дне. Для испанского рабочего это обыкновенные люди — не лентяи, но и не стяжатели, люди, которые умеют, даже голодая, жить. Батраки Андалусии старательно оговаривают свое право на несколько «сигар», это, конечно, не сигары — у них и на папиросы не хватает, нет, это пятнадцать минут отдыха, столько, сколько предположительно курят сигару, это право несколько раз в день не только работать на процветание графа или маркиза, но лежать на земле, глядеть вдаль или просто дышать.

Храбрость, эта историческая добродетель испанского народа, сохранилась только среди рабочих и крестьян. Король при первой опасности отбыл за границу. Генералы, герои марокканской войны, умирают от старости на семейных кроватях. Каталонские патриоты клянутся, что они готовы умереть за отечество, на самом деле они зарабатывают деньги и торгуются с Мадридом, торговались с Примо де Риверой, торгуются теперь с республикой. Журналисты, устраивая в кафе безобидные заговоры, заручались хорошими связями. Умирали рабочие и крестьяне. Их расстреливали гвардейцы при короле, их расстреливают гвардейцы при республике. Они умеют идти против винтовок с голыми руками.

Мадрид. Сентябрь. Демонстрация. Коммунист произносит речь на выступе дома. Это рабочий. Слушают его обитатели квартала Куатро Каминос: рабочие и ремесленники. «Стреляют!» Оратор продолжает говорить. Толпа продолжает слушать.

Каждый день газеты сообщают: в Хихоне рабочие отказались разойтись, один убит, два ранены. В провинции Гранада столкновение крестьян с гвардией, трое убиты. В Севилье два... В Бильбао четыре... В Бадахосе один...

Стреляют, рабочий продолжает говорить, рабочие продолжают слушать... Старая испанская песня восхваляла мужество. Это было давно, в ту пору, когда

удаль, прославляемая певцами — «жонглерами», еще не свелась к турнирам ради той или иной дамы или к реверансам перед королем. «Мое украшение — оружье, мой отдых — сражаться, моя кровать — жесткие камни, мой сон — всегда бодрствовать». Эту песню теперь вправе петь не мародеры марокканской войны и не герои республики, которые вели переговоры с Альфонсом о его путешествии из Мадрида в Париж, но только батраки и рабочие, синдикалисты или коммунисты. Правда, у них еще нет оружия и, следовательно, им нечем себя украсить, зато уже давно их кровать это жесткие камни, и, любя отдых, они теперь показывают, что этот «отдых» может быть весьма опасен для изнеженного сна республики.

11. ЭСТРЕМАДУРА

Трудно сказать, какая провинция в Испании беднее других. Там, где земля плодородна, у крестьян нет земли, там, где у крестьян земля,— это не земля, но камни. Бедна суровая Кастилия, с ее скалами, голыми, как судьба, с ее крохотными деревушками, забытыми всеми, с ее громким именем и с ее миской гороха. Бедна Андалусия, несмотря на солнце и на маслины, на виноградники и на море, бедна, как страна, по которой прошли завоеватели, как изба, из которой выволокли все до последней лоханки; вместо кастильского гороха здесь «гаспачьо» — вода, в воду подлили малость деревянного масла, накидали корки хлеба — это обед и это ужин. Бедны и Арагон, и Ла-Манча. Трудно потягаться с ними, и все же особенно бедной кажется мне широкая и печальная Эстремадура. Это заброшенная окраина. Туда еще не заезжают ни караваны туристов, ни агитаторы барселонской «Конфедерации труда». Там до сих пор думают, что у русских боярские бороды и что социалисты — это доподлинные революционеры. Эстремадура — это так далеко от мира, грустное имя, грустная страна!

В Касересе роскошные дворцы помещиков: флорентийские ворота, мавританские фонтаны, венецианские фонари. У владельца вот этого особняка десять тысяч гектаров. Это изысканный кабальеро и к тому же страстный охотник, он приезжал сюда каждую осень, чтобы стрелять куропаток. После апрельского перево-

рота он уехал из Мадрида в Париж. Теперь время охоты, но темно во дворце, наглухо закрыты окна, не журчит фонтан — кабальеро в отлучке, кабальеро во Франции. Он вывез туда вдоволь песет, а за деньги даже во Франции можно найти настоящих живых куропаток. Опустели дворцы Касереса; помещики получают деньги от управляющих. Что касается климата, то кабальеро люди не столь прихотливые — они могут перезимовать и в Биаррице. Рядом с дворцами монастыри, один за другим, целый город монастырей. Монахи знают, что Эстремадура отнюдь не бедна. Зачем гневить Бога?.. В Эстремадуре пробковые рощи, в Эстремадуре прекрасные нивы, в Эстремадуре прославленное свиноводство: местные окорока — «jamon serrano» — признаны обжорами всего мира. Монахи в Испании водятся не где придется, но только рядом с богатством, как воробьи рядом с конюшней, — они клюют золото. Монахи из Касереса не уехали. Они проверили запоры на воротах, они ласково пошептались с капитаном гражданской гвардии, они пережили несколько тревожных ночей. Они успели отоспаться.

Город, слов нет, пышный. Можно прибавить художественные ценности: собор, дома Ренессанса, древние укрепления. Стоит ли говорить об остальном?.. Хотя бы о воде?.. В Касересе нет водопровода. Утром и вечером женщины, девушки, девочки спускаются вниз с кувшинами. Город на горе, вода внизу. Женщины носят кувшины на голове. Это очень живописно, и это очень тяжело. Конечно, супруга сеньора Торреса не ходит с кувшином — у нее прислуга; сеньор Торрес твердо убежден, что единственное, на что может пригодиться голова его прислуги,— это быть подпоркой для кувшина. Вода в Касересе не только за тридевять земель, вода премерзкая. Здесь никогда не прекращается эпидемия тифа. Сеньоры почище пьют минеральную воду или вино, что касается «народа», то не все ли равно, от чего этот народ умирает?.. Мало ли в Эстремадуре умирают от малярии?.. Тиф ничуть не хуже. Притом в Эстремадуре чересчур много людей, в том же Касересе на тридцать пять тысяч жителей тысяча безработных, и эти безработные умирают не от тифа и не от малярии, а просто от голода.

Туристы ездят в Севилью и в Гранаду, никто не забирается в Касерес, а между тем вряд ли найдется

в Испании другой город столь фантастичный. Если взглянуть на него снизу, это театральная декорация: громоздятся ярусами дома, по крутым улицам карабкаются стройные девушки с кувшинами, люди в широкополых шляпах лежат на камнях — не жизнь, но балет. Если взглянуть на Касерес снизу... Надо ли взбираться наверх, где прекрасные кувшины оказываются наполненными микробами, где в столь живописных домах видишь черную нужду, где благородные статисты, которые лежат на камнях, становятся безработными без пособий, без надежды, осужденными на верную смерть?..

Как щедра Испания на подобные разоблачения! Каждая эпоха смотрит человеческую комедию по-своему — в разных местах раздаются аплодисменты или свистки. Путешественники прошлого века замечали нищету, но, поданная в столь эстетическом окружении, она их умиляла. Они стыдливо отворачивались от трущоб Лондона, они знали, что Диккенс — это мораль. В Испании они отдыхали от морали, они воспринимали картины Мурильо как живую жизнь, а лохмотья нищего — как музейную ценность. Там, где они умилялись, нам хочется свистеть в два пальца. Чем прекрасней земля, чем больше в ней внутренней гармонии, чем стройней ее женщины, чем богаче она и архитектурными перспективами, и маслиновыми рощами, тем больше возмущает нас ее нестерпимая нищета. Кабальеро, увидев женщину на улице, по привычке кричит ей: «Я в тебя влюблен, красотка»,— и равнодушно проходит мимо. Стыдно отделаться от красоты Эстремадуры таким комплиментом. Здесь есть что полюбить и что возненавидеть.

Путь от Касереса в Бадахос длится долго, поезд останавливается где-то в поле. Пересадка — надо ждать два часа. Вместо станции лачуга. Возле лачуги огромный кактус, как болезненная опухоль, два осла, заколоченная фабрика. На перроне босые дети и сумасшедший старик. Над всем этим плотная серая скука. Подрались два кобеля, их облили водой. Сумасшедший покричал петухом. Ребята нашли гнилое яблоко и обрадовались. Я не помню имени этой станции, это просто лачуга и это Эстремадура.

Бадахос — граница Португалии, но Бадахос — это то гоголевское захолустье, от которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». В Бада-

хосе выходят несколько газет. Самая передовая «Ла Вос Эстременья». В этой газете боевой фельетон: «Двадцать лет спустя» Александра Дюма. В этой газете обстоятельные отчеты о мировых событиях: «Супруга уважаемого коммерсанта дона Сесилио Алкала Беррокала донья Серванта Флеча Родригес разрешилась вчера от бремени красавцем сыном... Уважаемый коммерсант дон Луис Перес Альварес отбыл вчера в Сафру... Вчера захворал легкой формой гриппа заведующий Банко Эспаньол де Кредито уважаемый дон Хуан Ретамаль... Прибыл наш дорогой друг дон Лауреана Кальсадо Луис, начальник тюрьмы в Алькосере. Мы желаем ему также, как и его прекрасной супруге донье Авелине, приятного пребывания»... Донов и доний много: они хворают, выздоравливают, женятся — вот и газета заполнена. Можно прибавить литературный отдел — после романа Дюма критический разбор «Бедных людей» Достоевского: «Эта книга позволяет нам легче понять азиатский характер Советской России...»

Депутат Бадахоса человек просвещенный, он живет не в Бадахосе, но в Мадриде. Однако он мог бы сойти за бадахосского старожила. Он побывал, например, в Москве и написал об этом книгу. Его книгу читали не только в Бадахосе, но и во всей Испании. В этой книге он описывает разные чудеса. Он, например, видел в Москве попов. У них длинные бороды. Наблюдательный путешественник пишет: «Попы в России евреи». Да, далеко от Бадахоса до Москвы!..

Эстремадура — это не Касерес и не Бадахос, Эстремадура — это деревня. Следует только забыть о привычном значении некоторых слов: приехав в деревню Эстремадуры, никак нельзя догадаться, что это деревня. В деревне Оливенса двенадцать тысяч жителей, в деревне Дон Бенито за сорок. В таких деревнях имеется все, вплоть до казино для местных чиновников и лавочников. Все, кроме земли: ни огорода, ни палисадника. Это города, заселенные батраками. Земля вокруг принадлежит разным маркизам и графам, они живут в Мадриде или за границей. Поместья величиной в уезды. Вот, например, у герцога де Орначуелоса 56 000 гектаров вполне девственной земли: герцог любит охоту. У крестьян нет даже хижин. Они снимают комнаты. Они платят за комнату по

двадцать, по сорок песет в месяц. Когда небо начинает светлеть, они выходят из деревни, чтобы поспеть к восходу солнца на работу. Иногда поле в десяти километрах от деревни. Так можно было бы, обладая соответствующей фантазией, организовать каторгу. Так в Эстремадуре организован быт деревни.

Оливенса. На улицах толпа. Люди в широких шляпах — сомбреро, в розовых или голубых рубашках. Они стоят на углах и ждут. Приезжий может подумать, что это праздник. На самом деле это забастовка. Хозяева хотят, чтобы батраки работали не «от солнца до солнца», как раньше, но от «зари до зари». Между рассветом и восходом солнца проходит час, столько же между заходом и ночью. Формула поэтична: «от зари до зари», в переводе на грубый язык это значит: два лишних часа. Забастовщики угрюмо стоят на углах улиц и ждут. Трудно понять, чего именно они ждут. Они уныло ковыряют во рту зубочистками, есть они давно не ели. У хозяев тоже зубочистки, но перед зубочистками у них сытный обед, и хозяевам ждать куда как легче.

В Оливенсе восемьсот безработных. Этим людям помогали товарищи. Теперь товарищи бастуют. Голодают забастовщики, голодают и безработные. Алькальд Оливенсы социалист, это не мадридский политик, это свой человек. Помочь он, однако, не может. Губернатор не отпускает никаких пособий. Губернатор запретил обложить коммерсантов налогом в пользу безработных. Губернатор шлет алькальду телеграммы: забастовка должна кончиться! Это не совет хозяевам, это приказ батракам. В Оливенсе всего-навсего восемь гвардейцев, но крестьяне Эстремадуры фаталисты: они стоят и ждут. В соседней Андалусии люди умеют хвастаться, привирать, шутить, это актеры и юмористы Испании. Эстремадура молчалива и скудна на жесты. Здесь иногда поют грустные песни, чаще всего здесь молчат. Восемь гвардейцев с зверскими мордами, как мифологические чудовища, стерегут пленников Оливенсы. В школе монах, он одет в штатское, сладко улыбаясь, он говорит мне: «Здесь людям не на что жаловаться, здесь люди живут хорошо...»

Маргарита Нелькен представляет в кортесах Эстремадуру. Это передовая писательница и социалистка.

Она призналась мне: «Нам приходится делать все, чтобы удержать крестьян от бунта...» В Бадахосе я беседовал с одним из местных социалистов. Это мелкий служащий, живет он плохо и по ночам изучает то эсперанто, то «Капитал» в популярном изложении. Он сказал мне: «Если бы не Мадрид, мы давно бы выступили...»

В одной из деревень Эстремадуры крестьяне недавно подписали договор с управляющим огромного поместья. Они добились уступок: до забастовки они получали четыре песеты в день, теперь в договоре сказано: «Четыре песеты и еда». Договор был скреплен алькальдом. Управляющий негодовал — «Лодыри!» Управляющий слал хозяину горестные послания. Но делать было нечего — договор подписан, управляющий распорядился, чтобы батракам выдавали еду, а именно похлебку без мяса, без рыбы, без овощей — немного воды с деревянным маслом. Рабочие против харча не возражали: они сызмальства знают, что такое гаспачьо. Но управляющий распорядился не только выдавать рабочим еду, он распорядился также запечатать колодец: «В договоре сказано, что я обязан вас кормить, но не поить». Вода хозяйская, ничего не поделаешь. Палит южное солнце, рабочих мучит жажда, воды нет. Они не распечатали колодца, они не бросили в этот колодец управляющего, они только послали депутату ходатайство — нельзя ли распечатать колодец? Без воды в такой зной трудно работать!..

В Эстремадуре нет еще ни синдикалистов, ни коммунистов. В Эстремадуре социалисты; это крайняя партия. Социалисты, конечно, бывают разные. Те, что работают в деревнях, думают, будто они подготовляют революцию. Те, что сидят в Мадриде, делают все, лишь бы удержать рабочих от революции. Испанская песня говорит: «Одни поют, что знают, другие знают, что они поют...»

Я не знаю, чем кончилась забастовка в Оливенсе, работают ли там теперь «от солнца до солнца» или «от зари до зари». Я знаю, что люди там работают от рождения до смерти. Иногда они поют о горькой судьбе, иногда они бросают лопаты и замирают на углах улиц, суровые и немые. Это прекрасно, как старая испанская живопись, и это страшно, как запечатанный колодец.

12. ПЯТЬ ВСТРЕЧ

1

Хулиану Пересу двадцать три года. Он настроен очень радикально, он издевается на Испанской республикой, он жаждет подлинной революции: «Вот как в России: все должны трудиться...» Основной принцип Хулиана Переса ничего не делать. Один раз в месяц скрепя сердце пишет он статейку для вечерней газеты. В этот день он мрачен и жалуется на переутомление. В другие дни он голоден, но счастлив. Особенно он счастлив, когда он спит, а спит он до двух часов пополудни.

Не всегда Хулиан Перес жил припеваючи. Он сын богатого крестьянина из Галисии. Мать Хулиана женщина богобоязненная, и мальчика решили посвятить Богу. Его отдали в монастырь. Хулиан с нежностью вспоминает о монастырском харче. Зато регламент монастыря он скорее осуждает. Раз в неделю мальчики присутствовали на трапезе монахов. Здесь Хулиан оживляется: «Закуска, форель, яичница с салом, баранина, птица!» По шее Хулиана прокатывается подозрительный шарик. Но вот перед трапезой мальчики должны были, ползая под столом, целовать ноги монахов. Это плохой аперитив, Хулиан предпочитает вермут! Монахи покультурней вовремя отстраняли ноги. Но были и педанты... Нет, нечего жалеть о харче! В монастыре приходилось рано вставать и повторять молитвы. Не прошло и года, как Хулиан стал исправным безбожником. Но уйти из монастыря не так-то легко. Пришлось хитрить: Хулиан начал жаловаться на глаза — совершенно очевидно, что он вскоре ослепнет, а слепой монах для монастыря обуза... Когда Хулиану исполнилось семнадцать лет, он наконец-то сменил подрясник на жилетку.

Хулиан поселился в Мадриде, вместо молитв он начал бормотать комплименты встречным красоткам. Это было связано с некоторыми расходами. Из Галисии прибыл разгневанный отец. Хулиан объявил ему, что он твердо решил уехать в Париж и там «начать новую жизнь».

Хулиану дали тысячу песет, сказав, что это последний опыт и что больше ему рассчитывать не на что. Песета тогда стоила пять франков. В меняльной лавке

Хулиану выдали кипу бумажек. Он разменял одну из них, бумажек стало еще больше. Тогда Хулиан понял, что жизнь воистину прекрасна. Он умудрился протратить все деньги в две недели, после чего он начал голодать. Хулиан на редкость прожорлив, но, как всякий испанец, он умеет голодать весело и с осанкой. Однако хозяйки парижских гостиниц ничего не понимали в испанской гордости. Хулиану пришлось многое испытать: иногда его просто выкидывали, иногда тащили в участок. На его счастье, в Париж начали прибывать политические эмигранты. Бывший послушник стал секретарем одного видного социалиста. К социалистическим тезисам Хулиан относился примерно так же, как к катехизису, полагая, что если письмо, адресованное дону Нисето, отослать дону Фернандо, ничего от этого не изменится. Кроме того, переписывая проект аграрной реформы, он вставлял в него несколько абзацев из статьи дона Лопеса о высоком искусстве танцовщицы Аргентины. Видный социалист начал выдавать Хулиану по нескольку франков отступных, только чтобы Хулиан не занимался его делами.

Кстати подошла революция. Хулиан в качестве секретаря видного социалиста отбыл в Мадрид вместе с политическими эмигрантами. По дороге он пил шампанское за процветание республики. В Мадриде, однако, никто не процветал: ни республика, ни Хулиан. Видный социалист стал министром, а к министру не так-то легко пробраться — по дороге десять курьеров. Кончились отступные. Хулиан приуныл. Но здесь-то он узнал, что его отец болен. Это было воистину нечаянной радостью. Хулиан стал мечтать о наследстве. Он даже приглядывал красоток, с которыми он сможет переночевать, получив наконец-то отрадное сообщение. Но крестьяне народ живучий, и отец Хулиана поправился. Хулиан вздохнул и примирился — в общем, Хулиан добрый малый.

Когда у него нет ни реала, он обходит все мадридские кафе, отчаянно гипнотизируя стаканы с кофе. Когда у него заводится дуро, он щедро угощает друзей. Хозяйке он не платит с приезда, то есть с начала революции — ждет второй, социальной. В Париже он патетически распрощался со своей последней хозяйкой, объяснив ей, что если прогнали короля, то где же ему рассчитывать на получение почетной стипендии... Хулиан говорит, что революции прекрасно действуют на

квартирных хозяек. Но вот теперешняя его хозяйка никак не согласна дожидаться социальной революции. Она написала чувствительное письмо отцу Хулиана, тот не ответил. Она ходила и в полицию, там только сердито отмахнулись: мало ли в Мадриде таких Пересов!.. Полицейские, в общем, правы — можно отделаться от короля, но не от Хулиана. Он простодушен и хитер, это певчая птичка с вполне человеческим аппетитом. Без птички стало бы скучно людям. А птичка эта не одна, птичек в Мадриде ох как много!..

2

Кончите Гомес 25 лет. Это пышная и знойная сеньорита. Она ходит в мантилье и обмахивается веером. Если ее вывезти за границу, она покажется не живой девушкой, но одной из картинок, которыми оклеивают в Бремене или в Роттердаме сигарные коробки. В своем городке это обыкновенная сеньорита из хорошего семейства. Подозрительные сеньориты носят шляпы — это весьма аристократично, но это не внушает доверия, сеньорита в шляпе может, например, пройтись по главной улице с женихом, без матери, даже без прислуги! Сеньорит в шляпе следует остерегаться. Некоторые модницы ходят и без шляпы и без мантильи, но это легкомысленно. Когда такая сеньорита заходит в церковь, ей приходится покрывать голову носовым платком, что вряд ли соответствует величию места. Нет, самые добродетельные сеньориты ходят в мантильях.

Сеньорита Кончита живет в церкви, но это не экстаз, а просто адрес: дядюшка Кончиты лет тридцать тому назад купил великолепную романскую церковь и устроил в ней ткацкую мастерскую для «обновления народного искусства». В церкви сохранились замечательные ангелы двенадцатого века. Возле ангелов сидит сеньорита и читает новеллы Пантелеймона Романова. Россия необыкновенная страна — там все сеньориты могут одни гулять по улицам днем и даже вечером!.. Сеньорита Кончита грустно вздыхает. Ангелы двенадцатого века умильно улыбаются.

Дядюшка Кончиты дон Сесар Гомес человек передовой: любя древнее искусство, он не пренебрегает и комфортом. В церкви имеются могилы средневеко-

вых епископов, в церкви имеется также ванная и даже биде. Одно никак не мешает другому. На ковриках, которые изготовляют в мастерской, точно воспроизводятся сны средневековых кустарей: рыцарь, у которого ноги растут из рук и ослик с головой левиафана. Коврики отсылают в Америку, и сеньорита Кончита изучила английский язык. Она смотрит на ослов-левиафанов, и она бойко стучит на машинке: «Ковры по мотивам четырнадцатого столетия, два метра на четыре, по 36 долларов, включая транспорт...»

Дон Сесар болен, и мастерской теперь управляет сеньорита. Переписка и счетоводство в порядке — редко какая испанская женщина знакома с физикой или космографией, зато у них хозяйственный ум. Святая Тереза говорила: «В каждом печном горшке Бог!..» Мистическая поэзия не помешала ей устроить образцовый по хозяйству монастырь. Сеньорита Кончита тоже обожает поэзию, но она знает счет коврам и долларам.

Сеньорита Кончита недолюбливает монахов. Она даже одобряет народ, который поджег монастыри. Она смеется над подругами, которые в исповедальне поверяют кюре свои тайны. Однако, входя в собор, сеньорита Кончита богомольно преклоняет колени — по ее словам, она это делает не ради «мошенников кюре», но ради вполне бескорыстного Бога, который, если он существует, бесспорно честен и достоин уважения.

Закончив работу, Кончита садится в церкви где-то между могилой епископа и биде и начинает мечтать. Она мечтает иногда о женихе, иногда о революции. Она говорит: «Я коммунистка». Что такое коммунизм, она в точности не знает, но ее раз и навсегда потрясло одно обстоятельство: в Москве сеньориты выходят вечером на улицу без провожатых! Хотя дядюшка, почтенный дон Сесар, и говорит, что в Москве едят с голоду крыс, сеньорита Кончита упорствует. В конечном счете крысы — это деталь, а вот сеньориты там вольны делать все, что им вздумается. «Когда же настанет в Испании этот самый коммунизм?..»

Сеньорите двадцать пять лет, у нее пышная фигура и не менее пышная фантазия. Ей хочется если не в Москву, то, по крайней мере, в Мадрид. Однако тетушка не может оставить больного дядюшку, а без тетушки поехать в Мадрид неприлично. Сеньорита

иногда ходит с тетушкой в кино. На экране какие-то американцы откровенно целуются. Тетушка скромно потупляет глаза. Что касается Кончиты, то Кончита вздыхает, она вздыхает столь громко и выразительно, что ее вздохи могут сойти за аккомпанемент «настоящей поющей и звуковой картины».

Из кино — домой. Улыбаются романские ангелочки. Сеньорита Кончита читает «Анну Каренину» и терзается: как они хорошо живут в этой коммунистической Москве!.. Хоть бы скорее революция!..

3

Испания часто напоминает дореволюционную Россию: бестолочью и мечтательностью, широтой и скукой. В Испании много чеховских захолустий; там угрюмо режутся в карты, иногда стонут: «Хорошо бы застрелиться»,— но стреляться не стреляются, едят жареного поросенка, ходят в бордели и аккуратно каждый год с помощью исполнительных жен увеличивают народонаселение полуострова. В одном из таких захолустий живет дон Педро Хименес, по профессии дантист, по душевному складу скептик. Впрочем, это связано: дантисты почти всегда бывают скептиками, это невеселые люди. Дон Педро особенно мрачен: он устал от гнилых зубов и от испанской истории. Он больше ни во что не верит.

Скучно в таком городе!.. К сеньоритам женатому человеку нет подхода: сеньориты с утра до ночи заняты одним — они подыскивают жениха. Замужние сеньоры сидят дома и вынашивают потомство. Что здесь делать дону Педро, который любит поэзию?.. Как истый испанец, собственную жену он перестал даже замечать. Он удивленно вздрагивает, когда его жена, рожая, стонет — он как бы спрашивает себя: откуда это берется?.. Другие кабальеро ходят в публичные дома, но у дона Педро нежная душа, он не видит связи между двумя дуро и любовью. Имеется в городе кабачок с заманчивой надписью: «Здесь подают сеньориты». Но и там нет простора для лирических чувств дона Педро; сеньорит две: одна, дородная, с тщательно налакированными ногтями, подает кофе, берет чаевые, но держит себя неприступно, все знают, что она на содержании у адвоката Томаса и что ад-

вокат Томас чертовски ревнив, другая, та вполне доступна, она гуляет с солдатами, но у нее бельмо на глазу и кривые ноги, она никак не соответствует эстетическому идеалу дона Педро.

Дон Педро рвет зубы и по вечерам говорит дону Рамону Эспина, финансовому инспектору, тоже скептику и неудачнику: «В жизни меня привлекает только красота, но красоты нет, тоска и пошлость...» Это происходит в лучшем кафе города, отделанном в строго китайском стиле. Почему где-то в испанском захолустье людям понадобились мандарины с косами, непонятно, но вот эта непонятность и прельстила дона Педро — каждый вечер приходит он сюда. Правда, называется кафе несколько оскорбительно: «Cafe Comercio», но ради бумажных фонариков и райских птиц дон Педро простил грубое имя. В кафе играет симфонический оркестр: четыре чернявых вьюна исполняют попурри из «Пророка». Слыша нежные звуки, дон Педро на минуту забывает и о пломбах, и о городских сплетнях, и о вечности пошлости, он даже чуть улыбается — это его отдых. Так проходят годы, жена рожает шестого или седьмого ребенка, умирают люди со свежевставленными дорогими челюстями, происходят революции, неудачные или удачные, а дон Педро в «Cafe Comercio» слушает попурри и осуждает прозу жизни.

После революции в город приехал новый губернатор — республиканец. Дон Педро запломбировал ему два зуба. Он сказал губернатору: «Политика пошлость, здесь люди умирают от скотской жизни, во всем городе имеется только одно место, где можно забыться, это «Cafe Comercio»...» Губернатор в ответ блеснул золотыми коронками и гордо заявил: «Теперь все переменится, теперь у нас республика...» Тогда дон Педро попробовал заняться политикой. Он, конечно, понимал под этим не местные передряги, не предвыборные воззвания радикалов, не рассуждения дона Рамона о том, что необходимо повысить налоги, но политику сложную и таинственную. Он отправился в книжный магазин, заполненный сотнями ярких обложек. Он купил книгу: «Все политические системы в наглядном изложении: социализм, коммунизм, анархизм, фашизм, индивидуализм, радикализм, синдикализм, марксизм, национализм и федерализм в одном томе» — все это за четыре песеты. Вечером он не

пошел в «Cafe Comercio» — он изучал различные системы. Но «измы» показались ему низкими и темными, как поврежденные зубы. Он подарил книжку дону Рамону, добавив: «Все это пошлость... Сейчас вот исполнят номер шесть — увертюра Гуно...»

Когда я приехал в город, где живет бедный дон Педро, было солнечно и весело. Дон Педро, тоскуя, сказал мне: «Сегодня снова солнце, здесь всегда солнце...» Он сказал это так же, как говорят на севере: «Здесь всегда идет дождь...» Дон Педро повел меня в «Cafe Comercio». Виновато улыбаясь, он зажмурился: номер одиннадцатый, вальс из «Веселой вдовы»... Потом вздохнул: «Вам, наверное, это неинтересно... Но здесь нет ничего интересного... Ни музея, ни дансинга... Странно, зачем вы сюда приехали...» Он не спросил, он только вслух удивился. Потом он начал мечтать: «Хорошо бы поехать в Москву!..» (Это не в Художественном театре, но в «Cafe Comercio».) Дон Педро продолжал: «Там настоящая революция. Не как здесь. Здесь только радикализм, а у вас коммунизм...» Да, дон Педро разбирается в политике, как-никак он осилил половину «Наглядного изложения». Дон Педро также влюблен в русскую литературу, он сказал мне: «Я очень люблю ваших революционных авторов!.. Я, например, прочел всего Распутина, всего, всего...» Здесь он замолк: номер тринадцатый — «Жалоба наяды».

4

Дон Альваро Гонсалес де ла Торре-и-Родригес служит в городском управлении. На него возложено достаточно грязное дело — наблюдать за чистотой воды. В Испании всё — концессии: правительство или город передают на сторону право торговать табаком, ставить телефоны, отпускать воду. Вода в Испании всегда мутная. В Севилье имеются два водопроводных общества, они воюют друг с другом, и одно общество мутит воду другого. В городе, где проживает дон Альваро, у водопроводного общества нет конкурентов и воду там никто не мутит. Никто ее не мутит, но и никто ее не фильтрует — вода, естественно, грязная. Время от времени дон Альваро беседует с представителями водопроводного общества о достоинствах чистой воды. Он делает это только потому, что некогда

Господь Бог проклял Адама: дон Альваро беден, и он должен трудиться. Но представляясь, он говорит: «Альваро Гонсалес де ла Торре-и-Родригес, поэт», ибо на самом деле дон Альваро не чиновник, а вдохновенный лирик, который беседует с музой куда чаще, нежели с представителями водопроводного общества.

Дону Альваро пятьдесят три года, однако душой он молод, он никогда и не состарится: это поэт навеки. Увидев за решеткой дочку седельщика, молоденькую Пепику, дон Альваро бежит в Коммерческий клуб и там спешно пишет пронзительное четверостишие: «Мое сердце рыдает, как небо Сибири, ибо ты не хочешь отдаться мне, о газель, покрытая шелками Дамаска...»

Дон Альваро никогда не состарится, он также никогда не женится: он любит поэзию и свободу. Он не вышел ростом, но его выручает плащ, он ходит в прекрасном плаще на изумрудной подкладке, небрежно драпируя свое щуплое тельце. Он мог бы гордиться пышными усами. Но он предпочитает гордиться ногтем мизинца, во всем городе нет такого второго ногтя! Другими пальцами дон Альваро пренебрегает, но мизинцу он отдает все свои силы, и ноготь на мизинце, длинный, сверкающий, способен потрясти всех красоток. Дон Альваро подымает ноготь к небу и шепчет: «Закат умирает, как мое сердце от страсти к вам...»

В Испании все мельчает: молодые не умеют теперь умирать от страсти, вместо плащей они носят непромокаемые пальто, они стригут все ногти, они не могут написать даже простенькой элегии. Дон Альваро говорит о себе: «Я последний мушкетер». Когда он проходит по узеньким уличкам, за решетками раздаются протяжные вздохи: это вздыхают пленные красавицы, покрытые шелками Дамаска. Так думает дон Альваро. На самом деле молодые девушки, завидев последнего мушкетера, хихикают: они обожают актеров кино, летчиков и широкоплечих наглецов в габардиновых пальто. Они смеются и над ногтем. Вместо стихов они тихонько почитывают романы Бенуа или научные изыскания, как, например, «Руководство к любви без последствий». Они не знают, что на конкурсе лучших стихов города девять лет тому назад дон Альваро получил почетный отзыв. Они не знают, что его сердце рыдает, как небо Сибири. Они знают, что в Сибири водятся волки, а в их городе молодые наглецы. Этого с них хватит.

Дон Альваро одинок. Если не считать музы, с ним беседует только старая служанка, да и та ничего не хочет понять в стонах его сердца: «Вздорожала картошка, пол помыть, пришить пуговицу...» Дон Альваро мог бы взроптать на мир, но нет, он счастлив. Перед ним роскошное море. На нем роскошный плащ. Он легко находит рифмы. Он презирает водопровод. Он пьет чистую воду вдохновения. Пусть никто не хочет напечатать его поэм, даже той, что получила на конкурсе почетный отзыв. Люди грубы, их интересует картошка, песеты, выборы. Дон Альваро много выше их!..

Жалованье дон Альваро получает крохотное — едва-едва хватает на жизнь. Плащу его уже девять лет — он куплен в год почетного отзыва, но плащ чем древнее, тем прекрасней, это как римские развалины. Ни ноготь, ни поэзия ему ничего не стоят. На женщин он также не расходуется, довольствуясь вздохами красавиц в шелках Дамаска. Ест он то, что готовит ему стряпуха, а стряпуха изо дня в день готовит косидо. Вот только под вечер дон Альваро заходит в кафе и заказывает стаканчик мансанильи. Это вино цвета светлого золота, и оно пахнет южной осенью. Прежде чем его выпить, дон Альваро его старательно обнюхивает. Он подносит стаканчик к мясистому носу, и ноздри его поэтически вздуваются. Потом он выпивает вино и пишет элегию. Так живет дон Альваро.

Ничто не может его смутить: ни насмешки, ни бедность, ни старость. Когда произошла революция, его сослуживцы забыли и о сплетнях, и о красавицах. Они начали гадать: какая партия победит на выборах? Выгонят ли монахов? Не захватят ли синдикалисты городское управление?.. Дон Альваро не принимал участия в этих спорах. Узнав, что в Испании республика, он, как всегда, выпил стаканчик мансанильи и написал поэму: «О республика, у тебя красивая грудь и глаза Сивиллы! Я влюблен в тебя, республика, как в утреннюю зарю...» Эти стихи были прочитаны на годичном празднике в школе рукоделий. Дон Альваро нацепил на себя трехцветный бантик, но к вечеру он бантик снял: цвета республиканцев никак не подходили к зеленой подкладке его плаща.

Дон Альваро жаловался мне, что тореро теперь слишком трезво убивают быка, не рискуя при этом своей жизнью, что в местной газете вместо стихов

печатают отчеты о заседаниях кортесов, наконец, что редко можно встретить красотку с высоким гребешком под мантильей. Однако минуту спустя он улыбался: он нашел, что звезды осенью похожи на бриллианты, и он так этому обрадовался, как будто он и впрямь нашел груду бриллиантов. Прощаясь, он сказал мне: «Вспомните когда-нибудь, что в Испании живет последний мушкетер», запахнул полу плаща, блеснул еще раз ногтем мизинца и удалился, низенький, но величественный.

5

Луис Мартинес крепкий мужчина лет сорока. Он одет как спортсмен. У него триста гектаров земли и деревенский румянец. При всем этом Мартинес неврастеник: здесь бессильны и гектары, и природа.

Прежде Мартинес жил в Мадриде и занимался политикой. Он читал «Эрфуртскую программу» и волновался. Товарищи говорили, что социалистам необходимо подождать, пока в Испании не произойдет концентрация капитала. Это было веско, но не заманчиво, никакой концентрации не происходило, капиталисты грабили страну по мелочам, однако упорно, ничуть не хуже придворных и помещиков. Мартинес, наперекор всем книжкам, уверял, что необходимо тотчас же устроить социальную революцию. С ним не спорили: «Это славный малый, но неврастеник...»

Мартинес женился на француженке. Это тоже следует отнести к неврастении. Жена Мартинеса не выносила ни оливкового масла, ни жизни в заточении, а без этих двух принципов в Испании немыслима семейная жизнь. Мартинес страдал, но не жаловался: очевидно, он любил делать все наоборот и семейное счастье казалось ему столь же скучным, как и концентрация капитала.

Мартинес принимал участие в нескольких заговорах. На его след напала полиция. Ему пришлось притаиться. Вовремя он получил известие о смерти отца. Отец оставил Мартинесу триста гектаров земли в провинции Хаэн. Мартинес решил бороться с полицией и с неврастенией сельским уединением. Он поехал в поместье. В испанском поместье редко бывает дом, приспособленный для жизни. Управляющий и рабочие

живут в кортихо. Издали кортихо — это белая крепость, обнесенная высокими глухими стенами. Вблизи это, скорей всего, хлев. Кортихо Мартинеса — классический кортихо. В нем нет не только письменного стола, но и пристойной кровати. Проехать к нему можно только верхом на муле. Француженка нашла, что кортихо еще страшнее, нежели оливковое масло. Пришлось снять квартиру в Хаэне. Каждое утро чуть свет-заря Мартинес отправляется в кортихо, он работает в поле, хлебает гаспачьо и беседует с батраками о социальной революции — деревенский воздух спасовал перед такой неврастенией. Вечером он возвращается домой, пищит граммофон — жена слушает песенки Мориса Шевалье.

Триста гектаров далеко не латифундия, но триста гектаров — это добро. У Мартинеса овцы, пшеница, маслины. Трудно совместить Мориса Шевалье и солому кортихо, еще труднее совместить социальную непримиримость и триста гектаров. От этого даже здоровый человек может заболеть неврастенией. Мартинес, тот совсем запутался. Сначала он предложил рабочим образовать совместно с ним нечто вроде колхоза. Батраки Андалусии наивны и недоверчивы. Что, если будет засуха?.. Может быть, Мартинес хочет их провести?.. Придется проработать весь год задарма... Нет, это не дело! Поденщина верней. Мартинес давал гектары, батраки отказывались. Капитализм торжествовал, и заговорщику волей-неволей пришлось стать капиталистом.

Мартинес, однако, продолжает заниматься политикой. Его партия страдает той же болезнью, что он: перед капиталистами она выкидывает красный флаг, перед рабочими она расхваливает все преимущества белого флага капитулянтов,— Мартинес социалист. Его рабочие — революционеры. Они входят в «Конфедерацию труда». Этой осенью они пришли к хозяину и вежливо ему объяснили: «Товарищ Мартинес, наш профсоюз объявил забастовку. Вам придется самому собирать маслины». Мартинес попробовал затеять дискуссию, но рабочие упирались. Тогда Мартинес рассердился: в этой стране ничего нельзя сделать! Им нужна диктатура!.. Он не стал собирать маслины. Он поехал домой. Жена слушала песенки Мистенгет. В ярости он бросился на граммофон. Он гордо провозгласил: «У нас забастовка!.. Они правы... Пора взяться за настоящую революцию...»

Забастовка кончилась, рабочие снова собирают маслины, Мартинес снова с утра до ночи в кортихо. Он говорит мне: «У нас коммунизм, к сожалению, невозможен... Мы любим беспорядок... Надо постепенно воспитать рабочих... Поэтому-то я социалист...» Разговор происходит в автомобиле — у Мартинеса маленький «форд». У Мартинеса также шофер, его шофер входит в профсоюз реформистов, он заодно с хозяином социалист. Таким образом, Мартинес не лишен единомышленников. Он может сейчас найти поддержку в шофере — это товарищи и друзья. Но Мартинес обращается к шоферу вовсе не за поддержкой: «Вот тебя я не понимаю! Почему ты социалист? Ты ведь должен быть против меня. Ты должен быть синдикалистом или коммунистом...» Мартинес не забыл теории классовой борьбы. У него триста гектаров. У него также болезнь русских свободолюбцев прошлого века — у него больная совесть. Это не Северинг и не Сноуден. Это испанский интеллигент. Вместо рыцарских романов он читал «Эрфуртскую программу». Он думает сразу о Толстом и о тракторе, о революции и о гектарах. Ему некуда деться. Для мировой литературы он запоздал: русские романисты исчерпали тему. Для сбора маслин?.. Но нет, у него неврастения.

13. СЕВИЛЬЯ

Площади, обсаженные пальмами, вывески отелей: «Бристоль», «Мадрид», «Париж», грумы в ливреях, проводники, антиквары с новехонькими древностями, магазины «Кодака», меняльные конторы, кондитерские для англичанок и коктейли для американцев, небо, выкрашенное в густо-синий цвет, и воздух стоячий, как пруд,— это могло быть Ниццей, Лугано или Сорренто, это оказывается Севильей.

Южные курорты смахивают на доисторических кокоток. Прежде мистер, приезжая в такую Севилью, закуривал под пальмой папиросу и умилялся: спичка не гасла... Мистер тотчас же усваивал, что здесь Эдем. Довоенная буржуазия страдала аэрофобией — легчайший ветерок приводил ее в панику: она жаждала зимы без зимы и природы, похожей на оранжерею. Новый буржуа изменил идиллическим традициям. Он любит спекуляцию, воздухоплавание, поездки к Нордкапу

и спорт. Герои Поля Морана, друзья Мосли и Тардье не ищут ни безветрия, ни мимоз. Так выходят из моды Ницца и Меран, Севилья и По. Местные отели кажутся трогательными и глупыми с их пышными вестибюлями, с бархатом алькова, с грациями над буфетом и с уютом вместо комфорта.

Отели пустуют: переменчивость моды, переменчивость и биржевых курсов; мистеры теперь заменяют севильское солнце угольками камина. Курортной Севилье приходится думать не столько о судьбах Испанской республики, сколько о судьбе английского фунта. Впрочем, и республика вдоволь огорчает всю эту братию, от хозяев гостиниц до гидов, которые водили мистеров в классические бордели Андалусии.

При короле было лучше! — у гида теперь мало клиентов. При короле было лучше! — хозяину отеля «Мадрид», весьма почтенному кабальеро (он подработал на телефонной концессии, и, как говорят, у него капиталец в 60 миллионов песет), пришлось отбыть в Париж. При короле было лучше! — густо нарумяненная американка лет пятидесяти негодует. Ах, она так любила Испанию! Каждый год она приезжала сюда, чтобы скупать по дешевке старые картины и статуи — она ведь торгует в Америке древностями. Ее возвышенной профессии куда больше соответствовала монархия. При короле было лучше!..

Гордость города, директор музея и знаток севильских красот возмущенно говорит мне: «Наши крестьяне сошли с ума. Они хотят работать не больше четырех часов в сутки...» Нет нужды, что крестьяне работают «от солнца до солнца» — это вопрос не статистики, но чувств. В Севилье умеют ненавидеть еще не родившуюся революцию. Игра здесь идет в открытую. В Мадриде люди могут философствовать, здесь они уже стреляют. Роскошь здесь особенно порочна, страх заряжает револьверы, и за каждым углом чудится смерть.

Помимо неба с открыток и размалеванных Мадонн, Севилья гордится Алькасаром — это мавританский дворец, подновленный, а следовательно, и вдоволь обезображенный. Ребенком я видел под Москвой ресторан с отдельными кабинетами «Мавритания» — там среди пестрого кафеля и ковров московские купцы резвились. С тех пор в моем сознании кутежи неразрывно связаны с мавританщиной. Это не случайная ассоциация: искусство арабов даже в его гениальных

проявлениях никогда не подымается выше хорошо понятой неги. Это разумное толкование бани или гарема; нет здесь ни пафоса, ни борьбы, ни движения. Такое искусство требует восточного отторжения. Наверное, султан во дворе Алькасара был ничуть не хуже носильщика, который теперь дремлет у одного из фонтанов Трапезунда или Самсуна. Но европейцы не умеют ни так дремать, ни так нежиться. Для них это искусство — антураж кафешантана. Недаром тысячи кабаков, отелей и притонов называются «Алькасарами» или «Альгамбрами». Приезжая в Севилью, туристы — берлинские шиберы или парижские ростовщики, уж не говоря о маклерах из Ливерпуля, спешат облечься в мавританские одеяния и, лениво развалясь, обнимая своих жирных, гнусных супруг, предстать перед фотографом во дворе Алькасара. Это невинная забава, но надо признать, что есть нечто общее между их существом и этим сомнительным искусством: такие туристы не станут сниматься ни у церквей Сеговии, ни у крепостных стен Авилы. Алькасар — это их сны.

Помимо Алькасара, в Севилье имеется Триана. Триана не дворец, но квартал по ту сторону мутного Гвадалквивира, заселенный беднотой: дворы, кишащие полуголыми ребятами, темные берлоги ремесленников, торговки, которые отпускают счастливцу пяток каштанов, смрад среди безветрия, темь под синим небом, гримаса безработных, голод. Сюда не заходят туристы, здесь нет ни дворцов, ни роскошных борделей — вербовщики здесь набирают голодных красавиц и отсылают их в Мадрид или Барселону. Здесь никто не жалеет о рухнувшем королевстве, здесь никто и не радуется республике.

Порой по бедным кварталам Севильи пробегает ветер, как перед грозой: люди кричат, толпятся, негодуют. Тогда показываются другие люди с винтовками. Раздается несколько выстрелов, несколько человек валятся на мостовую, несколько женщин начинают протяжно выть. Здесь, под боком у Алькасара, в самом развращенном и ханжеском городе Испании, среди иностранных хамов и местной челяди, мучительно рождается испанская революция.

На главной улице у магазина патефонов толпа: новая пластинка — «Расстрел Галана». Сначала какой-то актер произносит речь: Галан якобы говорит перед смертью. Он требует справедливости. Он приветствует грядущую рево-

люцию. Залп. Потом, разумеется, республиканский гимн. Толпа слушает глупую пародию на смерть. В это время в одном из предместий полиция, сегуридад, преспокойно расстреливает безработных — без речей и без гимнов.

В клубе печати всю ночь напролет журналисты режутся в карты. На стене портреты республиканских вождей, на столе карты, может быть, в согласии с принципами, крапленые — председатель клуба монархист, это не мешает ему обожать республику. Они играют, проигрывают, выигрывают. Потом они наспех пишут статейки, они требуют от Мадрида крутых мер, они призывают граждан умереть за свободу, вот как умер Галан — последнее, видимо, относится к гражданам полицейским. Но полицейские не умирают, им и незачем умирать, они только убивают. К сожалению, их подвиги не заносятся на пластинки.

В предместье Севильи огромные и безобразные дворцы — это труп Международной выставки. Диктатура любила блефовать, миллионные убытки ее никак не смущали. Павильоны выставки еще одно свидетельство бахвальства и безвкусия испанской буржуазии. Рядом с павильонами отели. Их построили для воображаемых посетителей. Отели прогорели и заколочены. В один из этих отелей попробовали въехать бездомные. Республиканские власти тотчас же призвали гвардейцев, и непрошеные гости были выброшены вон. Они спят теперь где придется, и французский журналист, растроганный, пишет: «В Севилье, конечно, немало бедных, но бедность под таким небом легко переносится. Вместо домов бедняки предпочитают спать на воздухе, любуясь крупными звездами южного неба...»

Из пустой гостиницы бедняков выкинули, однако имеется в Севилье один гостеприимный дом — это тюрьма. В тюрьме сидит немало бедняков — синдикалистов и коммунистов. Они сидят в темных камерах. Во дворе вместо отхожего места ничем не прикрытая яма. Окна камер выходят на яму. Прославленное севильское солнце греет вовсю. Директор тюрьмы говорит о политических заключенных: «Это люди без культуры, с ними нельзя разговаривать. Я жалею об одном — теперь отменены кандалы!..» Впрочем, директор обходится и без кандалов: у сторожей, наверное, хорошие кулаки, а у тюрьмы глухие стены. Из тюрьмы никого не выкидывают, это древняя тюрьма, это памятник старины и это передовой форпост республики.

В Севилье рождается революция, и в Севилье республика готовится эту революцию задушить. Недавно гражданский губернатор Севильи сеньор Висенте Соль протрубил: ату! Это было в Коммерческом клубе — губернатор знает, где его ефрейторы. «Настало время дать решительный отпор рабочим!..» Социалисты в Севилье смутились: губернатор хватил через край, необходимо его отозвать! Социалисты в Мадриде, те, что состоят министрами, смолчали. Сеньор Соль остался на своем посту. Охота началась.

Кафешантан — их немало в Севилье. Голые женщины на эстраде исполняют танец живота, танец зада, танец грудей. Подымая пояски, они показывают публике свои срамные части. Публика взволнованно урчит. В ложе сидит нарядный сеньорито. Он кричит танцовщице: «Красотка». Закончив свой номер, танцовщица подымается в его ложу. Там они пьют коньяк. Сеньорито счастлив. Он сейчас не думает ни о сокровенном смысле Алькасара, ни об обитателях Трианы, ни о речи сеньора Соля. Он думает только о теплом коме мяса, который перед ним — как бифштекс на тарелке... Сосед показывает мне на сеньорито: «Во время последних беспорядков этот человек собственноручно застрелил трех рабочих...»

Вместо раздетых баб на эстраду выходит девка, задрапированная в республиканский флаг. Она поет: «Галан герой, Галан герой, он постоял за нас горой...» Сеньорито, тот, что убил трех рабочих, ухмыляется. Он может хоть сейчас пристрелить десяток Галанов! Стоит ли дожидаться?..

Мадрид несколько удивился прыти сеньора Соля. Может быть, не сегодня-завтра сеньор Соль удивится прыти вот этакого сеньорито. Им, право же, надоело ждать! В этом году не было ни хорошего крестного хода, ни выдающегося боя быков, ни наплыва туристов. Алькасар твердит о неге. Сеньорито требуют покоя и песен. Севилья не хочет больше ждать, ни эта Севилья, ни та — на другом берегу мутного Гвадалквивира.

14. GUARDIA CIVIL

Пятнадцатого апреля многие весьма храбрые испанцы смутились: «Что с нами будет?..» Смутились маркизы и дюки, старшины мадридских клубов,

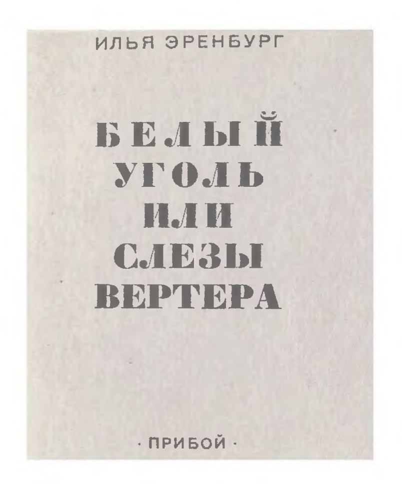
управляющие поместьями в Севилье или в Хаэне, банкиры Бильбао, фабриканты Барселоны, редакторы газет и настоятели монастырей. «Что с нами будет?.. Неужели они решатся?..» Речь шла, конечно, не об отречении короля — королем сразу все перестали интересоваться. Храбрые испанцы тревожились не за королевскую корону, но за дурацкую треуголку, отделанную блестящей клеенкой. Они знали, что вместе с этой треуголкой может свалиться их власть. В тревоге они спрашивали друг друга: «Неужели эти безумцы распустят гражданскую гвардию?..» Они еще не знали, что республика подарена народу командиром гражданской гвардии генералом Санхурхо и что вместо фригийского колпачка эта республика примеряет теперь клеенчатую треуголку.

При короле в Испании было тридцать три тысячи гвардейцев, теперь их сорок тысяч. Республика уменьшила армию, зато она увеличила гвардию. В Испании тридцать шесть тысяч учителей и сорок тысяч жандармов. В гвардейцы берут главным образом фельдфебелей и вахмистров, берут их по найму сроком на пять лет. Гвардеец получает пятьдесят пять дуро в месяц. Года три-четыре он состоит в «подвижной бригаде» — там он получает ежемесячно восемьдесят пять дуро — в четыре раза больше, нежели рабочий, и в два раза больше, нежели бухгалтер с университетским дипломом.

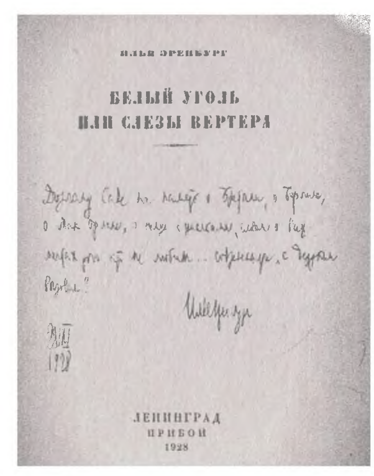
Ремесло гвардейца несложное, он должен убивать. Вместо: «Гвардия умирает, но не сдается», здесь можно сказать: «Гвардия убивает, но не ранит». Когда гвардейцы разгоняют крестьян или рабочих, редко подбирают раненых — гвардейцы целятся в голову или в живот, и они стреляют без промаха.

Человек в дурацкой треуголке не просто жандарм, это страх всей бедной Испании, им пугает мать ребенка, его невольно ищут в темноте, пробираясь ночью по извилистым улицам, он стал легендой, как в средние века смерть, он танцует — я вижу этот танец на рыжих скалах Кастилии, на болотах Эстремадуры, на холмах Андалусии — длинная страшная тень, которая бродит, выискивая партнера, которая караулит зазевавшегося, хватает чудака, которая, извиваясь и раскачиваясь, верхом на коне или ползком, как уж, подбирается, целится, убивает — танец длится. Нет дня, чтобы газеты не сообщали о новом убийстве: гвардейцы должны

И. Г. Эренбург. 1936 г.



Обложка книги «Белый уголь, или Слезы Вертера» (Ленинград, издательство «Прибой», 1928 г.).



Надпись на книге «Белый уголь...» писателю О. Г. Савичу: «Дорогому Саве на память о Бретани, о Берлине, о Мак-Орлане, о немце с фиалками, словом — о всех мечтах того, кто не любит... современности «с дерзким вызовом». Илья Эренбург 28.XI.1928» (Собрание А. Я. Савич).

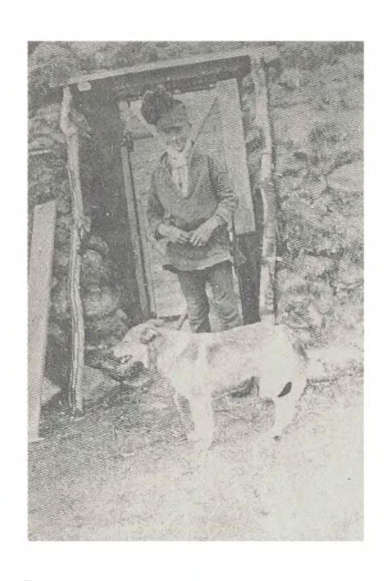
Париж, 1927 г. Слева направо: французский художник Серж Фотинский, Л. М. Козинцева-Эренбург, В. Г. Лидин, И. Г. Эренбург, А. Я. Савич, немецкий актер Фриц Расп, О. Г. Савич.

Обложка книги «Виза времени» (Берлин, издательство «Петрополис», 1930 г.).

Обложка первого советского издания «Визы времени» (Москва, ГИХЛ, 1931 г.).

Надпись на «Визе времени» советскому послу в Париже: «Валериану Савельевичу Довгалевскому с сердечным приветом Илья Эренбург» (Собрание Б. Я. Фрезинского).

Австрийский писатель Йозеф Рот, Л. М. Козинцева-Эренбург, И. Г. Эренбург. Франкфурт, 1927 г. (Собрание И. И. Эренбург).



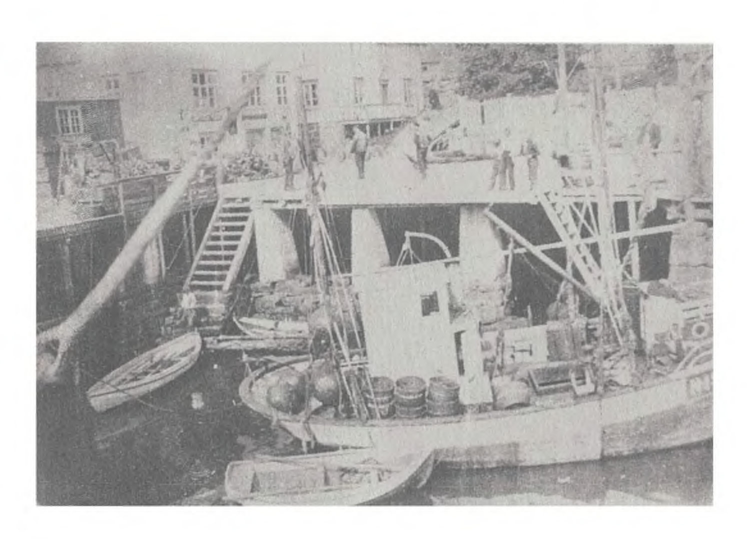
В краю лопарей

Скандинавия, 1929 г. Фотографии
И. Г. Эренбурга (Собрание
А. Я. Савич).

Кируна

Тромсе.

Свольвер.

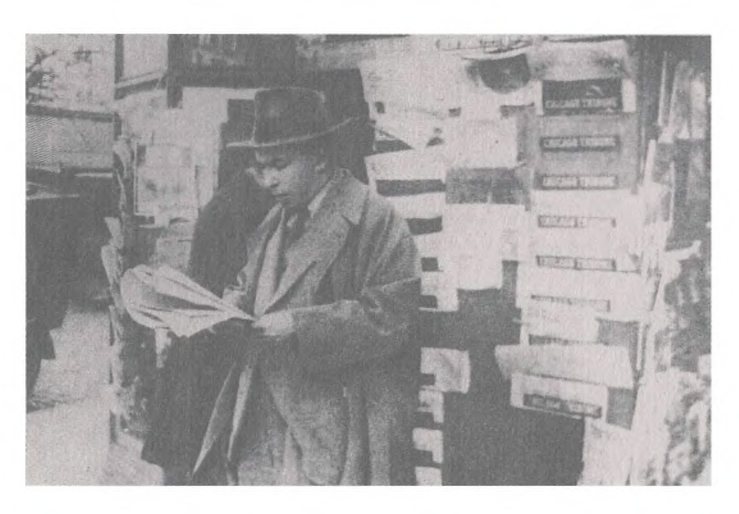


Лофотенские острова.

Французская провинция.
Фотографии И. Г. Эренбурга.

Две кумушки (Риом).

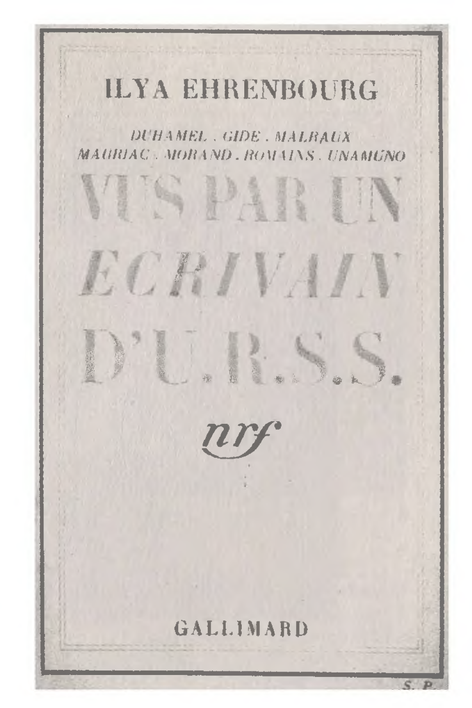
Рынок в Жюльена.



И. Г. Эренбург в Праге (конец 1920-х годов).

Обложка книги «Англия» (Москва, издательство «Федерация», 1931 г.) работы П. Харыбина.

Суперобложка книги «Хлеб наш насущный» (Москва, издательство «Советская литература», 1933 г.).



Обложка французского издания книги «Глазами советского писателя» (Париж, издательство «Галлимар», 1934 г.).

Обложка книги «10 л. с.» (Москва — Ленинград, ГИХЛ, 1931 г.).

Обложка французского издания книги «10 л. с.» (Париж, издательство «Les Revues», 1930 г.).

Суперобложка и обложка книги «Хроника наших дней» (Москва, издательство «Советский писатель», 1935 г.) работы Я. Штеренберга.

Обложка книги «Испания» (Москва, издательство «Федерация», 1932 г.) работы Р. Барто.

Обложка книги «Испания» (Париж, издательство «Геликон», 1933 г.).

Женщины Испании. Фотография И. Г. Эренбурга (1931 г.).

И. Г. Эренбург с собакой Маликом. Франция, начало 1930-х годов (Собрание И. И. Эренбург).

Два Дон Кихота. Кордова, 1936 г. Фотография И. Г. Эренбурга.

Толедо, 1936 г. Фотография И. Г. Эренбурга.

Р. Л. Кармен и И. Г. Эренбург. Барселона, август 1936 г. Фото Б. Макасеева (Собрание И. И. Эренбург).

На Рамбле (Барселона, 1936 г.). Фотография И. Г. Эренбурга.

Обложка альбома «UHP» (Москва, Изогиз, 1937 г.) работы Е. Голяховского.

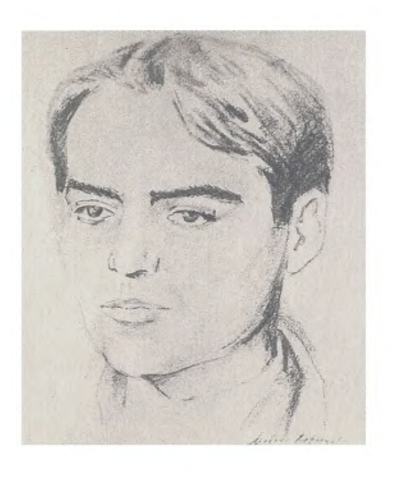
Обложка альбома «No pasaran!» (Москва, Изогиз, 1937 г.) работы С. Х. и Л. М. Лисицких.

Обложка французского издания испанских репортажей Эренбурга, переведенных И. Е. Путерманом (Париж, 1937 г.).

Обложка книги «Испанский закал» (Москва, Гослитиздат, 1938 г.) работы Я. Егорова.

Испания, 1937 г. У штаба XII интербригады. Слева направо: Фернандо Херасси, Мате Залка, Белов.

Группа военных руководителей Испании и советских военных советников (май 1937 г.). Стоят слева направо: Кампесино, переводчица М. Фортус, за ней Р. Я. Малиновский, начальник Генштаба В. Рохо, переводчица А. Шварц, К. А. Мерецков, генерал Миаха, Б. М. Симонов (Собрание А. А. Шварц).

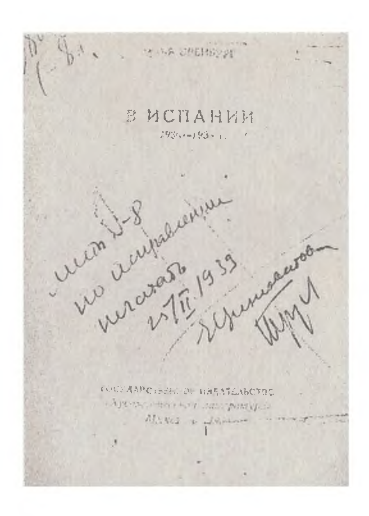


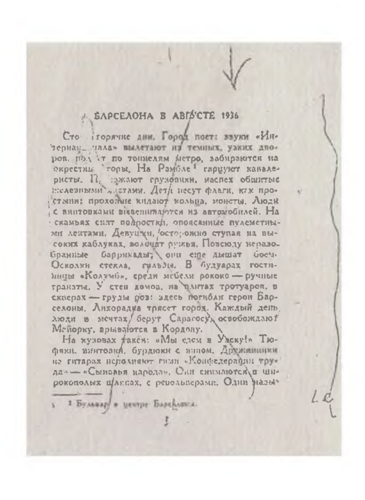
Гарсиа Лорка. Рисунок Л. М. Козинцевой-Эренбург.

И. Г. Эренбург и командир эскадрильи «Красные крылья» Альфонсо Рейес (Испания, 1936 г.).

Художник Элиос Гомес.

Композитор Густаво Дуран.



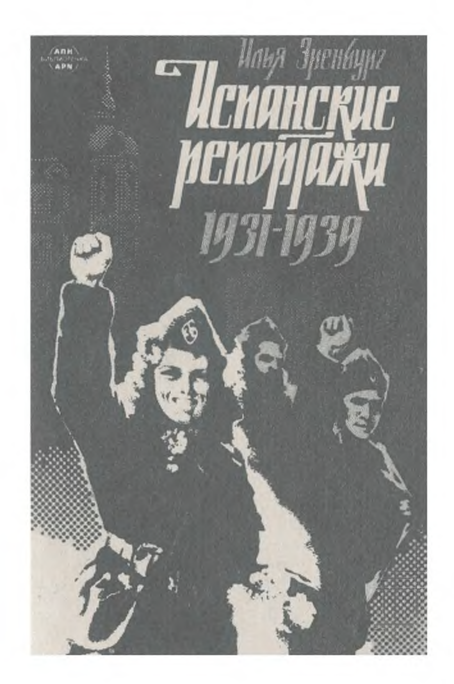

БАРСЕЛОНА В АВГУСТЕ 1936

Сто[illegible] горячие дни. Город поет: звуки «Ин[illegible]терна[illegible]ала» вылетают из темных, узких дворов, [illegible]т по тоннелям метро, забираются на окрестны[illegible] горы. На Рамбле[1] гарцуют кавалеристы. П[illegible]жают грузовики, наспех обшитые железными [illegible]стами. Дети несут флаги, как простыни; прохожие кидают кольца, монеты. Люди с винтовками в[illegible] из автомобилей. На скамьях спят подростки, опоясанные пулеметными лентами. Девушки, осторожно ступая на высоких каблуках, волочат ружья. Повсюду неразобранные баррикады; они еще дышат боем. Осколки стекла, гильзы. В будуарах гостиницы «Колумб», среди мебели рококо — ручные гранаты. У стен домов, на плитах тротуаров, в скверах — груды роз: здесь погибли герои Барселоны. Лихорадка трясет город. Каждый день люди в мечтах берут Сарагосу, освобождают Майорку, врываются в Кордову.

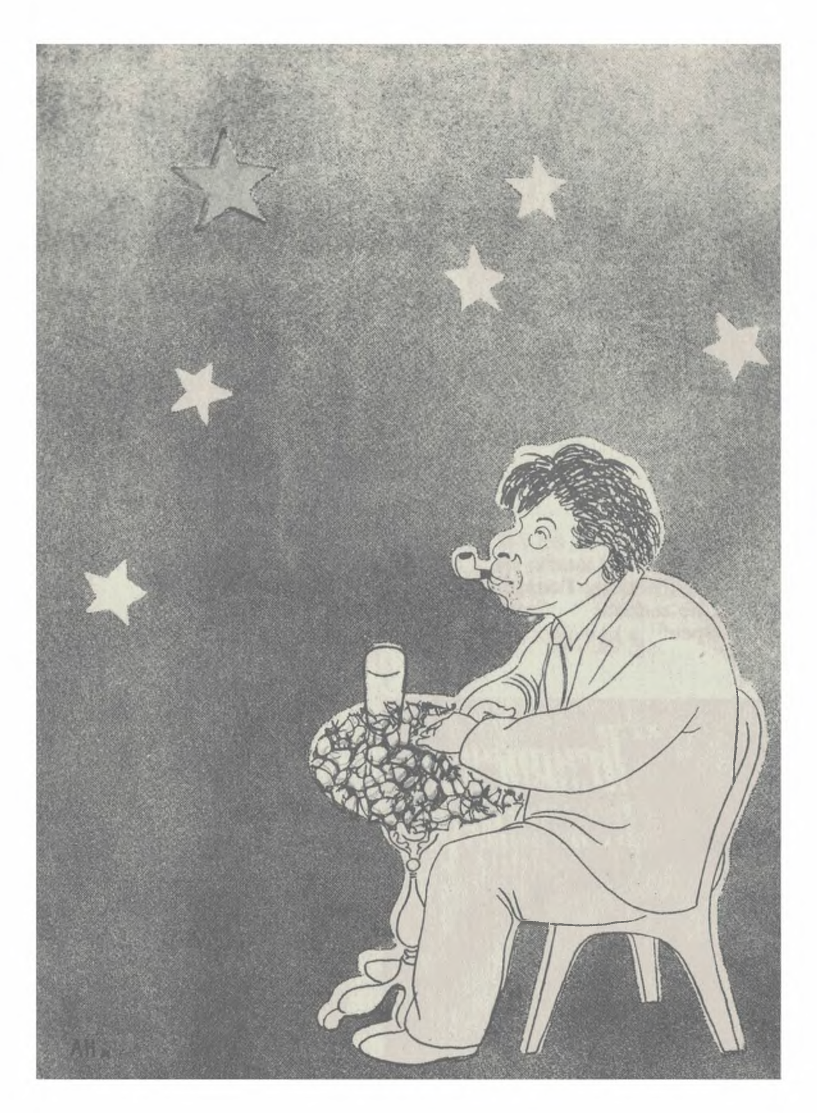
На кузовах такси: «Мы едем в Уэску!» Тюфяки, винтовки, бурдюки с вином. Дружинники на гитарах исполняют гимн «Конфедерации труда» — «Сыновья народа». Они снимаются в широкополых шляпах, с револьверами. Один назы-

[1] Бульвар в центре Барселоны.

Титульный лист и первая страница верстки книги «В Испании» (Москва, Гослитиздат, 1939 г.; не вышла) (Собрание И. И. Эренбург).



Обложка книги «Испанские репортажи» (Москва, АПН, 1986 г.) работы Ф. Элинбаума.



И. Г. Эренбург. Шарж
А. Гоффмейстера (1934 г.).

убивать, это связано с треуголками, с дуро и с традицией. Они рыщут по стране, завидев лохмотья и голодный блеск глаз, они останавливаются: они напали на дичь. Здесь нечего гадать, все ясно заранее: крохотная телеграмма газетного агентства, вой восьми или десяти сирот и шепелявая латынь куры.

В Эстремадуре имеется край, который испанцы зовут по наивности «Сибирью»,— они думают, что Сибирь — это «страна смерти». Сибирь Эстремадуры и впрямь край, где людям жить незачем. Люди там едят желуди. Желудями помещики кормят свиней. Человек ползет ночью по земле; это барская земля. Он голоден, и, как зверь, он ищет корма. Навстречу ему идет другой человек в дурацкой треуголке. Он стосковался по делу, в его руке винтовка. Два часа спустя гвардеец диктует рапорт: «Я трижды окликнул встречного, после чего я выстрелил... Убитый оказался крестьянином Педро Риусом, 38 лет от роду... При нем найдена корзина с желудями...»

В ноябре месяце возле Талаверы гвардеец убил крестьянина, отца девяти малолетних детей. Гвардеец объявил, что убитый якобы хотел на барской земле словить зайца. Возмущенные крестьяне собрались на митинг. Алькальд города, социалист, долго их уговаривал: Мадрид рассудит! Чтобы успокоить крестьян, алькальд послал в Мадрид телеграмму с просьбой наказать виновного, а также сменить офицера гвардии. В Мадриде привыкли к человеческой наивности. Нельзя наказывать гвардейца за то, что он убил крестьянина, как нельзя наказывать социалиста за то, что он шлет сентиментальные депеши: оба делают свое дело.

Иногда люди выходят из себя. Недавно в Мальмодовар-де-Рио забастовщики окружили казарму гражданской гвардии. Гвардейцы не стали выжидать, что будет. Они хорошо поработали: рабочие Рафаэль Ривас, Хосе Гальего, Салюстино Алькарас и Хосе Морено пали замертво. Возле трупов на фотографии стоят убийцы, они опираются на ружья и сосредоточенно смотрят в объектив аппарата. Они не опечалены и не веселы, их лица ничего не выражают — это, скорей всего, призраки, одетые в бутафорские мундиры, они знают одно — убивать.

Республика на словах отменила цензуру, на деле цензура существует. В Барселоне выходит литературно-общественный еженедельник «Лора». Редактор

этого журнала должен посылать гранки на просмотр губернатору. В одном из последних номеров редактор хотел напечатать рисунок: гвардеец верхом на лошади. Под рисунком не было никакого текста. Губернатор, однако, рисунок зачеркнул: «Это слишком мрачно!..» Губернатор ценит гвардейца на улицах Барселоны, на страницах журнала он его пугает: убийца на коне, этот Святой Георгий Испанской республики, не может быть изображаем, как Бог Саваоф.

Гвардейцы работают молча. Молча работает их командир, генерал Санхурхо. 14 апреля генерал Санхурхо изменил королю — он не послал гвардию против республиканцев. Это было последним днем монархии и первым опытом генерала. В кафе политики спорят, кто станет завтра главой правительства — сеньор Кабальеро или сеньор Леррус? Имени Санхурхо никто не поминает — это бог не только с неизображаемым ликом, но и с неизреченным именем. Сорок тысяч людей в треуголках время от времени постреливают, они готовятся к великолепию хорошего повсеместного расстрела.

15. О СЛАДОСТИ

Рамон — андалусец, и никогда нельзя понять, говорит ли он всерьез или смеется. На словах он неизменно несчастен. Он и впрямь несчастен потому, что он голоден. Но ссылается он вовсе не на голод, а на трагическую любовь: крошка Долорес его, видите ли, разлюбила! Он согласен повеситься! Рассказывая это, он улыбается. Возможно, что Долорес его действительно разлюбила и что он улыбается от горя. Возможно, что он выдумал всю историю и что никакой Долорес нет в помине. Он ведь выдумщик и острослов. Андалусия, кроме крепкого вина, издавна поставляет причудливые анекдоты: это Марсель и Одесса Испании. Рамон способен развеселить самого угрюмого кастильца. При этом он очень грустен. Его песни — наследие мавров, они похожи на причитания. Рамон идет на свидание с любимой девушкой, и он поет: «Моя милая уехала в Мадрид с Педро. У Педро много денег, а у меня только слезы...» Рамон помогает матери разжечь жаровню, и он поет: «Моя матушка умерла, на ее могиле кричит по ночам филин...» У батрака

Рамона это усмешка и песни, у его хозяина, дона Рафаэля, это лицемерие.

Кадис бел и сладок, Кадис — город соли, но с виду он кажется сделанным из сахара. Кубы домов, солнце, пальмы. Барокко — это лицемерие в искусстве, и нетрудно догадаться, что церкви Кадиса заполнены барочными статуями и полотнами. Христос прикидывается распятым, он извивается от мнимой боли, извиваясь, он, конечно, строго выдерживает стиль. Воины прикидываются гражданскими гвардейцами, на самом деле они нежно щекочут бок Христа копьем. Мария прикидывается заботливой матерью, а в действительности она кокетничает напропалую с ангелочками, которые, увы, эфебы. Поза, условность, пышность, тоскливая, как пустыня. Иногда паноптикум помазан бутафорской кровью, чаще он посыпан сахаром: Кадис — город Мурильо.

В мае рабочие сожгли четыре монастыря, осталось пять целехоньких; жгли здесь наспех, и без особых затрат фрайлес теперь ремонтируют пострадавшие корпусы. Несколько законченных стен никак не нарушают универсальной белизны. Губернатор закрыл все профсоюзы — так установлено общее довольство. Алькальд Кадиса нежно улыбается. В его кабинете вместо Альфонса голая девка с грудями — это республика. Куда приятней смотреть на девку, нежели на лопоухого короля,— следовательно, все счастливы вдвойне. На столе алькальда палка, не просто палка, но волшебная,— это символ власти. Вероятно, когда алькальд берет палку в руки, все голодные Кадиса чувствуют, что они сытно пообедали. На улицах пальмы, под пальмами трава. Если под пальмой валяется горемыка, можно поговорить о благодетельности климата: здесь всегда тепло, значит, и бездомные счастливы, здесь даже жарко, а жара, как известно, отбивает аппетит, значит, и голодные сыты!.. В Кадисе довольство и порядок. Если порой приключается заминка, блистательный хозяин Рамона, дон Рафаэль покровительственно улыбается: это опять наш Рамон поет про филина на могиле!..

Забастовка рыбаков. Рыбаки говорят, что им надоело жить впроголодь. Они хотят получать на две песеты больше. Секретарь «Союза владельцев рыбных промыслов» преспокойно объясняет мне: «Рыбаки бастуют только потому, что их подговорили агитаторы.

У них нет никаких поводов для забастовки. Они сами не знают, чего хотят...» Разговор происходит в помещении Союза — голые стены и запах рыбы. Жаль — поставить бы сюда барочного Христа и покадить бы вокруг секретаря ладаном!..

Сан-Фернандо — предместье Кадиса. Впрочем, Сан-Фернандо город, и у него свой алькальд. Этот алькальд еще импозантней кадисского. Меня он принял примерно так, как принимает президент республики иностранных послов. Для поддержания авторитета он даже взял в руку магический жезл. Он направил меня к местному аптекарю, который числится человеком европейской культуры, и выдал мне при этом официальную грамоту, где было сказано, что он, алькальд, направляет меня именно к аптекарю. Все это без улыбки, всерьез. Может быть, при этом алькальд думал о том, что крошка Долорес уехала с Педро. Может быть, он задыхался от сдерживаемого с трудом смеха.

В Сан-Фернандо, разумеется, тоже все благоденствуют. В Сан-Фернандо, кроме белых домов, белеют горы соли. Белые дома иногда — дворцы — в них живут солепромышленники. Белые дома иногда — лачуги — в них живут рабочие. На словах андалусская буржуазия ленива и буколична, она тоже любит грустные песни и вымышленные драмы. На деле она превосходно обделывает свои дела. Соль — это большой трест: «Консорисио Салинеро Сан-Фернандо». Во главе треста — дон Сальвадо Гарсиа Суво. Вполне возможно, что дон Сальвадо склонен плакать и над могилой с филином, и над крошкой Долорес. Капитал треста, однако, внушителен, и горы соли с помощью некоторых биржевых операций превращаются в чистейший сахар.

Рабочий Хуан также работает над солью. Он попробовал бастовать, но дон Сальвадо не сдался. Сдался Хуан. Губернатор вовремя закрыл союз. Трест вовремя рассчитал ненадежных рабочих. Хуан работает сдельно. После дня мучительной работы он получает пять песет. Дон Сальвадо уверяет, что Хуан в душе весел, что он только прикидывается несчастным: «Крошка Долорес...» Хуан знает, что соль не крошка Долорес и что пять песет куда хуже филина на могиле. Хуан это знает, но Хуан улыбается. На столе Хуана роман Гладкова и газета «Солидаридад обрера». В тюфяке Хуана револьвер. Хуан поет песню о могиле

матушки. Андалусский маскарад проходит достаточно оживленно: «До двенадцати ночи маски обязательны»...

В Сан-Фернандо находятся государственные верфи. На верфях была забастовка. Министр вызвал рабочих делегатов в Мадрид. Министр вел переговоры: он хотел выиграть время. Губернатор закрыл союз. Силы рабочих иссякли. Забастовка была проиграна. На поверку республика оказалась ничуть не хуже дона Сальвадо. Рабочих сначала рассчитали, потом их снова наняли, наняли не всех — шестьсот человек оказались лишними. Шестьсот безработных бродят среди реальной соли и предполагаемого сахара, среди грустных песен и веселого смеха; они ищут хлеба. В Сан-Фернандо много примечательного: морской музей, Святые барокко, сеньоры солепромышленники, наконец, кафе «Ла Майоркина» с оркестром и с пахучим вином; лишнего хлеба, однако, в Сан-Фернандо нет — только лишние рты.

Хозяин кафе «Ля Майоркина» по совместительству инженер на государственных верфях. Этот, разумеется, не лишний. Днем он работает на верфях, вечером он носится по кафе, наблюдая за пахучестью вина и за улыбками клиентов. Я спросил этого кабальеро, какие требования выставили во время забастовки рабочие. Инженер ухмыльнулся: «Такие глупые, что стыдно их повторять. Они, например, хотели, чтобы для них устроили души...» Инженер был чисто одет и, по всей вероятности, вымыт. Рассказывая о том, что рабочие хотели после работы мыться, он разводил руками. В кафе другие инженеры, солепромышленники, чиновники, коммерсанты, попивая пахучую мансанилью, томно вздыхали: в этот сумеречный час андалусская печаль явно одолевала их.

По улицам бродили безработные. Они весело посмеивались. Кто бы подумал, что они сегодня ничего не ели?.. Что касается Хуана, то Хуан читал диковинный роман о таких-то счастливцах и порой косился на тюфяк — это старый револьвер, но он еще пригодится!..

От Кадиса да Малаги несколько сот километров. Между ними затесался Гибралтар с дикими мартышками и с ультрацивилизованными англичанами, скала, захваченная разбойниками, которые издают на скале газету, едят на скале овсяную кашу и жерлами пушек

проверяют флаги проходящих пароходов. В Кадисе океан, в Малаге Средиземное море. Вода меняется в цвете. Люди те же. Та же сладость. В Малаге она даже усилена вином, прославленной малагой, тягучей, как сироп. Еще больше пальм, еще больше сеньоров, которые, улыбаясь, говорят о всеобщем счастье, еще больше злой откровенной нищеты. Это имя — «Малага» — связано с сушеным виноградом и с напитком, похожим на настойку из винных ягод. О том, что Малага может быть вдоволь горькой, редко кто догадывается.

В Малаге сожжены почти все монастыри и церкви. Нигде огонь не был столь яростен. Иностранцы, приезжая сюда, останавливаются в отеле на берегу моря: лазурь, покой, отменный климат. Они не подымаются по одной из узких улиц, похожих на щели, в квартал туземцев. Там ютится малагская беднота. Там встречают автомобиль бранью, а подчас и камнями. Там голые дети и лачуги. Оттуда пришли майские поджигатели.

В мастерской скульптора — статуя Богоматери. Она запылилась. Скульптор вздыхает: «Эта статуя заказана, но не взята...» Скульптор работает над новой статуей: грудастая республика. Ее заказали для редакции монархической газеты. Другая «республика» заказана дирекцией банка. Скульптор торопится: кто знает, успеют ли заказчики заплатить за этих грудастых девок?..

Кабальеро жалуется: «Они сожгли все церкви, это катастрофа для Малаги! В Гранаде Альгамбра, в Севилье Алькасар, а в Малаге только и было что климат да церкви... К нам теперь не приедут туристы... У нас процессии в страстную неделю ничуть не хуже, чем в Севилье... Необходимо разъяснить иностранцам, что в Малаге народ спокойный и богомольный...» Этот монолог произносится возле развалин епископского дворца: «богомольный народ» поработал неплохо.

Кроме монастырей, рабочие сожгли редакцию газеты «Унион меркантиль». Все газеты Малаги в руках у правых, но «Унион меркантиль» была особенно ненавистна обитателям лачуг. Теперь возле редакции почтенного органа бессменно стоят два рослых гвардейца; они охраняют свободу слова. Чтобы познать всю сладость Малаги, я сперва попробовал приторного вина, а потом направился в редакцию «Унион

меркантиль». Редактор милостиво мне улыбнулся: «Наши социальные идеи изложены в номере таком-то. Экземпляр газеты вам будет выдан. Кроме того, секретарь редакции вам даст все разъяснения...» У редактора вместо пальцев — жирные обрубки, улыбка и глаза, преисполненные традиционной грусти. На мой вопрос: почему народ сжег именно его газету — секретарь редакции, улыбаясь, отвечает: «Происки конкурентов... Толпа состояла из преступников: это было организованным грабежом...» — «Почему же в таком случае «грабители» облюбовали редакцию газеты, а не ювелирный магазин?» Секретарь неопределенно вздыхает. Он жалуется на безрассудство батраков. Оказывается, батраки тоже «преступники». В прежние годы они собирали маслины семьями и получали за это сдельно. Теперь они требуют — вы слышите! — по пяти песет в день... Секретарь иронически улыбается, улыбку его охраняют два зверя с ружьями.

В порту тоже и звери и ружья: сегодня забастовали матросы пароходной компании «Иберия». Надо ли говорить, что их требования «бессмысленны и преступны»?.. Все они, от губернатора до секретаря редакции, убеждены, что только сумасшедшие могут требовать не просто хлеба, но хлеба с ломтиком сала или колбасы. К тому же эти умалишенные мечтают, как бы размять ноги, посидеть, поговорить! Здесь начинаются «происки Москвы» или «интриги роялистов».

Забастовщики стали возле сходней, уговаривая безработных не наниматься. Полиция тотчас же арестовала шестнадцать матросов. Арестованные сидят в темной вонючей тюрьме и вздыхают: они опечалены судьбой крошки Долорес — уехала ли крошка с богатым Педро?..

Над белой Малагой синяя ночь. В клубах пряный запах гаванских сигар: здесь и секретарь губернатора, и редактор «Унион меркантиль», и представитель компании «Иберия». Они играют в карты и лирически вздыхают. В рабочем предместье нет ни клубов, ни пальм. Вот уже сняли с веревок залатанные рубашки и дохлебали жидкий гаспачьо. В некоторых домиках сегодня особенно тесно: жители Малаги — рабочие, грузчики, рыбаки — приютили тех из забастовщиков, у которых семьи в других городах. Матросы не говорят ни о коварстве полиции, ни о революции. Один рассказывает пресмешные истории,

другой поет о могиле матушки, третий уверяет, будто бы он чахнет от несчастной любви. Они смеются. Смеются и жители Малаги, те, что в мае сожгли «Унион меркантиль». Это кажется беззаботной идиллией, и кто догадается, что вот в этой лачуге припрятаны два револьвера и что эта рука судорожно сжата от нетерпения?..

16. ХЕРЕС

Мировой славой Херес обязан не воспоминаниям о битве, не древностям, не пышности, не учености, но только вину, пряному и душистому, вину цвета бледного золота. Визитные карточки Хереса можно найти в любом дворце — это этикетки на самых маститых бутылках. В винных погребах Хереса можно найти визитные карточки всех коронованных особ: английского Георга, старого короля Швеции, который еще попивает херес за бриджем, и принца пьемонтского, который с хереса начал изучение искусства царствовать. Приемные погребов — это «Готский альманах».

Не только игрушечные короли любят херес, он также признан королями взаправдашними — нефти, нитрата, меди. Этот напиток вполне соответствует кабинету г-на директора, он смягчает сухость балансов, им биржевики запивают «черные пятницы» или «черные среды».

Английские джентльмены, переименовав херес в «шерри», разнесли его славу по миру. Хересом подкрепляются плантаторы, наместники, офицеры карательных экспедиций и шпионы. Это вино бывает то сухим и пронзительным «амонтильядо», то густым «олоросо», то темной сладковатой «солерой». Дар окрестных лоз грузят в Кадисе на пароходы — он должен утешить страждущих. Пал фунт, пали кроны, колеблется флорин, но никогда короли и заводчики, министры и биржевики так не нуждались в этой спасительной микстуре!

Херес — небольшой провинциальный город с рядами бочек вместо монументов; однако среди бочек то и дело красуются гербы больших и малых держав: в Хересе имеются консульства не только крохотных республик Центральной Америки, но даже консульство царской России, причем этот высокий и абстрактный пост занимает главный виноторговец города.

Погреба «Гонсалеса и Биасса» — достопримечательность Хереса, наравне с церквами барокко и с памятником Примо де Ривере. Сюда приезжали Бурбоны на винное богомолье. Сеньор Гонсалес гордится «Ротондой» — это погреб, в котором бочки сложены полукругом, одна на другой. Короли расписывались на бочках, здесь можно найти автографы и Альфонса, и его прародителей. Это напоминает погреб Эскуриала: там гробы с трухой, здесь пустые бочки. Таков музей Гонсалеса. На заводе Гонсалеса вместо реликвий машины, машины разливают вино, машины закупоривают бутылки. Возле машин работницы. Сеньор Гонсалес, коллекционер королевских автографов и консул России, член правления мощной фирмы с английскими капиталами и обладатель многих миллионов песет, щедро платит работницам: они получают по две песеты в день — четыре франка, семьдесят пфеннигов, тридцать копеек.

Вокруг Хереса виноградники. Местные республиканцы с гордостью говорят, что крестьяне округа счастливы: здесь нет латифундий, земля разбита между мелкими владельцами. У двадцати трех «мелких владельцев» сорок семь тысяч гектаров. У крестьян вовсе нет земли. Комнаты дороги, сплошь да рядом крестьянин должен платить за помещение пятьсот песет в год. Батраку платят по шести песет в день, в год он работает всего шесть месяцев, следовательно, в год он вырабатывает никак не больше тысячи песет. Половину он уплачивает за комнату. На остальные пятьсот песет он должен прожить с семьей. Мясо он ест два-три раза в год. Он ходит в дырявых ботинках. Казалось бы, это предел нищеты, но нет, шесть песет в день — это победа синдикатов, это вой всех хозяев: «Крестьяне потеряли голову», это революционный призыв, за который многие поплатились, кто месяцами тюрьмы, а кто и жизнью.

Вокруг Хереса сеньоры Вильямарта, Андес, Гарвей: у них огромные поместья. Вокруг Хереса сотни деревень с нищими батраками. В споре между сеньором Андесом и батраком «республика трудящихся» не колеблется: губернатор подписывает приказы, полиция арестовывает «вожаков». Республика, видимо, находит, что на тысячу песет в год человек может хорошо жить. Конечно, не всякий. Та же республика умеет быть щедрой: дон Сальвадор Мадариага получает

в год — как посол триста тысяч песет, как профессор сто тысяч, как представитель в Лиге Наций шестьдесят тысяч, как депутат двенадцать тысяч,— итого четыреста семьдесят две тысячи песет. Дон Хулиан Бестейро, социалист, получает — как председатель кортесов шестьдесят тысяч, как профессор шестнадцать тысяч, как депутат двенадцать тысяч, на автомобильные передвижения пятнадцать тысяч,— итого сто три тысячи. Дон Рамос Перес де Айяла получает как посол двести тысяч, как председатель музейного комитета шестьдесят тысяч, как депутат двенадцать тысяч,— итого двести семьдесят две тысячи песет.

Херес не только вино, миллионы и нищета, Херес также борьба. Я был на митинге сельских рабочих. Сарай. Дым. Широкополые шляпы. Речи. Здесь говорят о том, о чем не пишут в мадридских газетах. Рабочие кортихо рассказывают, как они живут: хозяйская баланда, сон на земле, рядом с коровами. Рабочие погребов рассказывают, как хозяева заменяют взрослых детьми. Одного вчера арестовали: он запел «Интернационал». Другого избили — он призывал к бойкоту фирмы «Коньяк Кабальеро», а сеньор Кабальеро не только хозяин, он к тому же алькальд...

В Хересе выходит крохотная газетка «Вос дель кампесино» — «Голос крестьянина». Ее выпускает Себастьян Олива, батрак, который работает на виноградниках, старый революционер, хорошо знакомый с тюрьмами Испании. Это человек лет сорока пяти, с руками широкими, как корни дерева, и с сухими горячими глазами. Он побывал на Кубе, он и там работал на плантациях, он и там узнал тюремную решетку. Его идеи для политика наивны и темны, его сила только в чувстве, только в этом необычайном горении, в фанатической преданности вдоволь смутной для других и неоспоримой для него «истине». Со стороны его можно назвать полуанархистом, полукоммунистом. В самом Хересе его никак нельзя назвать иначе, нежели крестьянином Андалусии.

В газете «Вос дель кампесино» пишут только крестьяне, это очень нелепая газета, но ее можно читать без того ощущения брезгливости, с которым невольно раскрываешь большие газеты, правые или левые, полные громких имен и благородных деклараций. В этой газете крестьянин Хосе Маркес ссылается на Каина и Авеля, дальше он пишет: «Без крестьянина не могли

бы существовать ни Гутенберг, ни Сервантес, ни Колумб, ни Реклю, ни другие великие мыслители!» Батрак Альфонс Нуньес призывает товарищей не идти на сбор маслин до открытия запечатанного властями профсоюза. Его статья помечена: «Тюрьма Кордовы». Авенир Дамор философствует: «Андалусия — страна зеленых лугов и голубого неба!.. Но мы живем в свином хлеве...» Мауро Бахатьеро сообщает, что в Кордове у тринадцати сеньоров двадцать тысяч четыреста гектаров. Луис Паред назвал хозяев «тиграми». Редакция пишет, что это «оскорбительно для тигров». Здесь стихи, жалобы, рассказы об обидах, мечты о «свободном рае» и призывы к борьбе.

Газету «Вос дель кампесино» читают крестьяне, ее не отсылают во все страны мира вместе с бочками хереса. Консулы больших и малых держав ходят в винные погреба, но не на митинги. Херес для мира попрежнему — бледно-золотое вино. Оно дает легкое и приятное головокружение. Может быть, оно довело бы ценителей до головной боли, если бы они узнали, что есть другой Херес, Херес борьбы.

17. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В КОРДОВЕ

Кордова полна меланхолии, этот город испытал и понял то, что мы называем «историей». Он знал подлинное величие, не только военную мощь, но и духовную гегемонию. Задолго до итальянского Возрождения арабы и евреи открыли здесь клад античной культуры. Рядом с бредовой Европой, охваченной суеверным ужасом, рядом с вшивыми фанатиками и с юродивыми в митрах существовало светское государство — врачи, архитекторы, писатели. Преемственность иногда требует сложной операции. Еврей Маймонид под охраной ислама сумел передать христианам свой восторг перед Элладой. Кордова была завоевана во имя Пророка. Однако торжество полумесяца было торжеством скептицизма. Католицизм задавил любопытство отроческого мира. Несколько веков спустя он расправился и с гуманистами. Безграмотным санкюлотам пришлось снова потребовать права на усмешку. Они победили. Но то, что казалось молодостью мира сто лет спустя, мы

по праву именуем «гнилым либерализмом». Для омоложения Европы требуется новое «credo quia absurdum est».

Кордова тем временем успела превратиться в маленький провинциальный городок. Ее старые кварталы полны глубокой прелести; узкие извилистые улицы с разноцветными домами, эти тихие и прохладные дома с внутренними двориками, освежаемыми зеленью и фонтанами, план города, причудливый и логичный в своем иллогизме, как иней на стекле или как сон.

В новой Кордове широкие улицы, большие дома на цыпочках — чем не небоскребы, автомобили, словом, все, что нужно для современного города. Однако новая Кордова несчастна библейским несчастьем: она томится среди андалусского зноя.

Эстеты нашего времени любят называть себя «конструктивистами». Они требуют искусства ясного и логичного. Их боевой козырь — архитектура. Против парижских живописцев они выставили каркас небоскреба и точность машин. Однако эстеты остаются эстетами: говоря об удобстве, они думают о красоте. Они начали с логики, они кончили стилем. Эстетика нашего времени, как и всякая эстетика, пополняет недохват в разумности деспотизмом моды. Нелепы флорентийские дворцы в Стокгольме: это дань универсализму. Ни принцип международной торговли, ни воздушные рейсы не властны над климатом. Эстетика, родившаяся в Нью-Йорке, вероятно, соответствующая вкусам и навыкам Америки, при помощи доллара стала эстетикой всемирной, равно обязательной для Франкфурта и для Харькова, для Осло и для Севильи. Она называется «конструктивизмом», на самом деле она столь же декоративна, как и все стили, знакомые нам по истории искусств.

Старая Кордова вправе посмеяться над новой. Ее извилистые улицы не прихоть. Их возводили вдоволь ученые архитекторы — арабы и евреи. Для них Кордова была Кордовой, и они не знали об обязательности нью-йорков. Они строили город с таким расчетом, чтобы даже в июльский полдень на улице была бы тень. В патио — так зовут внутренние дворы — всегда прохладно. Окна выходят не на улицу, а на дворик с деревьями и с фонтаном.

По узким извилистым улицам проходят ослы. Автомобилям там нет простора. Для автомобилей про-

ложили другие улицы, прямые и широкие: здесь раздолье для «фордов» и для солнца, люди здесь изнывают от жары. Днем жизнь в новых кварталах становится мучительным испытанием. Жутко и в небоскребах с их большими окнами: это оранжереи в пустыне. Строители, впрочем, не смущаются: растет новая Кордова, как и новая Севилья или новая Гранада. Ни проповедник, ни художник не думают о людях: перед ними только материал: твердый камень или мягкое мясо.

Кроме плана города, арабы оставили Кордове знаменитую мечеть. Это гранитный лес: аллеи колонн, аллеи, среди которых блуждаешь, не видя ни крыши, ни стен, то теряясь, как в дремучем бору, то нападая на светлую просеку. Перспектива — вот единственный пафос мавританского искусства. Это прежде всего торжество разума, приближение к восторгам математика, культ числа. В мечети Кордовы правоверные молились, но с бо́льшим правом они могли бы в ней заниматься философией или гимнастикой, думать о бесконечности или решать уравнения. Это не храм, но ге́ниальная сборная. Впрочем, теперь это католический собор. В эпоху торжества инквизиции католики решили очистить поганое капище: они построили внутри амвон и часовни в стиле самого подлого барокко. Они хотели победить светский дух каменными гримасами, дурным мрамором и лицемерным фанатизмом. Над их поражением стоит призадуматься, особенно теперь, когда на смену светскому искусству, хилому и печальному, должен прийти новый абсолютизм.

Первые христиане на место римской скульптуры, хорошо знакомой и с эстетикой и с анатомией, принесли подлинное варварство. Их саркофаги кажутся детским лепетом. В течение двух-трех веков приключился разрыв, искусство стало беспомощным, однако в беспомощности своем великим. Люди видели мир действительно по-новому. Добрый Пастырь, неуклюжий и приземистый, не был просто плохим сыном Пана. Он представлял и новую форму, и новое существо: он только что родился. Путь шел наверх — к романской скульптуре и к готике.

Варвары, исправлявшие мечеть в Кордове, были не детьми, но дегенератами. Они ненавидели светский дух мечети, они были против разума и за готовую догму, но они не могли ничего создать, кроме этих

ублюдочных завитушек. Они были фанатиками по поступкам — они умели и разрушать мечети, и жечь еретиков. Но у них не было вдохновения фанатиков; оставаясь глаз на глаз с самим собой, такой неудачник, наверное, завидовал умению арабских зодчих, которые воздвигли обезображенную им мечеть.

18. УЧЕНИК БАКУНИНА

Я встретился с ним в Фернан-Нуньесе. Несмотря на двойное имя, Фернан-Нуньес — обыкновенный поселок Андалусии, заселенный батраками, с казино и с нищетой, поселок, который похож не на деревню, но на скучное предместье большого города. Однако до города далеко, да и город — Кордова — какой-то музейный. В таких поселках, несмотря на отделение банка и на казино, чувствуешь, до чего далеко от Испании до мира. Пиренеи, просверленные несколькими туннелями, все еще Пиренеи, а ветер из Африки, сухой и несносный, твердит о близости пустыни.

Республика послала в провинции новых губернаторов: адвокатов или журналистов. Это походило на волшебную сказку — кабальеро, вчера еще занятые поисками одного дуро и отсидкой в мадридских кафе, стали всесильными сатрапами. О своих новых вотчинах они знали смутно по годам школьной учебы. Адвокат из Астурии, пожав друзьям руки, направлялся управлять Эстремадурой. Началось соревнование. Севильский губернатор перещеголял всех. Воспользовавшись доносом домовладелицы на хозяина кафе, некоего Корнелио, он объявил, что в квартире Корнелио якобы помещается штаб вооруженных мятежников. К домику подвезли артиллерию и по пустой лачуге выпустили двадцать два снаряда. После такого боя уж ничего не стоило арестовать сотню рабочих и закрыть ненавистные синдикаты.

Губернатор соседней Кордовы тоже не зевал: 11 августа он приказал распустить 31 синдикат. Тюрьма Кордовы превратилась в местное отделение конфедерации. В провинции Кордовы теперь работают только профсоюзы социалистов: губернатор избавил их от опасных конкурентов.

В Фернан-Нуньесе помимо казино имеется Каса-дель-Пуэбло — это клуб социалистов. В клубе висят

портреты Карла Маркса и Пабло Иглесиаса. О первом местные социалисты знают только одно: он боролся с анархистами. Иглесиас почитается духовным отцом теперешних министров: Прието и Кабальеро. Кроме портретов, в клубе висит соблазнительное изображение полуголой республики, как висит оно, впрочем, во всех канцеляриях и даже в полицейских участках.

Вокруг стола сидели социалисты Фернан-Нуньеса: хозяин кафе, ветеринар, конторщик, несколько крестьян. Говорил ветеринар. Крестьяне молчали.

Я спросил одного из крестьян, может ли он меня познакомить с кем-нибудь из синдикалистов. Это было, разумеется, бестактно, но в деревнях Испании политические страсти еще не уплотнили человеческих суток: враги иногда стреляют друг в друга, но поскольку дело не доходит до револьверов, они еще дружески друг с другом беседуют.

Так я с ним встретился. Он вошел угрюмый и спокойный, вежливо всем поклонился и сел под портретом республики. Он не был ни конторщиком, ни ветеринаром. Корявые руки свидетельствовали о профессии: он был обыкновенным батраком. В зависимости от времени года он пахал землю, окапывал лозы или собирал маслины.

Как все батраки, он был нищ. Его одежда, купленная некогда за десять песет на базаре, с годами приобрела оттенок благородного несчастья. Он не был ни вождем союза, ни сотрудником барселонской газеты. «От солнца до солнца» он работал. Когда солнце, наконец-то смилостивясь, заходило, он думал, разговаривал, читал. На коварные вопросы он отвечал вежливо, но стойко — ничто не могло его переубедить.

Социалисты?.. Виновато улыбаясь, он смотрит на ветеринара: «Социалисты — партия буржуазии». Он за забастовки, за револьверы, за восстание. Слово «диктатура» его скорее печалит, нежели пугает: он против государства, он за свободную коммуну. Ветеринар спорит с одним из товарищей: кто вернее защищает рабочих — Второй Интернационал или Третий... Ветеринар, разумеется, за Второй. Здесь раздается тихий отчетливый голос батрака, того, что сидит под портретом республики:

— Я за Первый Интернационал...

Так на минуту встает история, споры семидесятых годов, испанские анархисты, расколы, пыльные страницы.

Так встает и карта Испании — далеко, очень далеко отсюда до жилого мира!..

Он за Первый Интернационал. Кроме того, он за свободу. Это не призрак прошлого, это живой человек, два часа тому назад он собирал маслины, я могу засвидетельствовать, что его корявая рука тепла человеческим теплом, но отчетливо и тихо он говорит: «Я за свободу...» Мне хочется понять этого загадочного современника, и я его спрашиваю:

— Вот в Фернан-Нуньесе есть вдова. Она верит каждому слову священника. Она не хочет, чтобы ее мальчика взяли в школу. Она боится грамоты, как дьявола. Я знаю, что вы против религии. Можно ли заставить эту женщину посылать мальчика в школу?

Он с минуту молчит. Он смотрит жалобно, как бык, в спину которого втыкают стрелы. Как бык, он не может повернуть.

— Заставить нельзя. Надо убедить. Нельзя убедить?.. Надо убедить!..

Что ж это — толстовец?.. Духобор?.. Или, может быть, последователь Ганди?.. Нет, он за борьбу. Надо отобрать землю. Надо взять фабрики. Работать, всем работать! Он за революцию, за революцию и за свободу.

— Наш учитель Бакунин.

На какие только нелепости не падка история! Думал ли барчук Мишель, российский бунтарь и растяпа, медведь, игравший с бомбами, и сентиментальный корреспондент Николая Первого, что через семьдесят лет у него найдется ученик, полуграмотный батрак в деревне Фернан-Нуньес?..

Против Бакунина выступал Маркс. Их спор давно решен историей: Маркс стал учителем мощного государства, которое теперь строит Магнитострой и организует колхозы. Это — сто шестьдесят миллионов и победоносная революция. Бакунин стал учителем вот этого батрака.

В нашем споре нет места бедному ветеринару. Он не может сослаться не только на Маркса, но даже на Иглесиаса. Его учитель — это Кабальеро, его оплот — это гражданский губернатор, тот, что закрыл отделение конфедерации.

Ученик Бакунина не одинок, их много и в Фернан-Нуньесе, и в Хересе, и в Севилье. Нетрудно доказать всю путаницу их теорий. Нетрудно и проследить, на-

сколько их тактика — эта беспрерывная партизанщина, эти частичные забастовки, эти разрозненные залпы — вела и ведет рабочих к поражению.

Но сейчас в этом клубе социалистов, под портретом республики, рядом с витиеватым ветеринаром сидит не теоретик, не вождь, а живой человек, батрак из Фернан-Нуньеса, если угодно, чудак и мечтатель, отважный, нищий и непримиримый.

19. ПРОЩАЯСЬ С МАТРОСОМ

В Испании искусство еще не развелось с жизнью, оно еще не стало бесплодной игрой особенно тонких натур, оно неотделимо от гор, от ослов, от суровой крестьянской жизни. Я видел в Гранаде гончаров, сосредоточенных и вдохновенных, они делали горшки и кувшины. Эту утварь можно закопать в землю, потом откопать и продать туристам, как предметы, найденные при раскопках. Дело не в косности, но в постоянстве некоторых пропорций, связанных с тем же светом, с тем же делом, с тем же праздником — кувшин вина и горсть маслин. Античный мир наверху был диссертациями археологов или модой, внизу он оставался бытом.

Кустарь раскрашивает тарелки: птица, цветы, листья. Это очень просто, и это большое искусство. Такие тарелки веселят сотни тысяч крестьян, они скрывают скудность харча, они заменяют картины и статуи; птицы летают, цветы цветут, и сон, необходимый человеку, как хлеб и вода, причудливо клубится в чадной лачуге.

Гончары Гранады, ткачи Кордовы, седельщики Саламанки, кружевницы Толедо не ремесленники, но художники. Пастух в Галисии поет песню — это поэт. Девушка в деревушке Андалусии танцует — ее можно повести на сцену. Чужестранец здесь готов уверовать в живучесть не раз похороненного им искусства. В других странах искусство теперь поддерживается, как курс ассигнаций. Условлено, что в журналах, между двумя статьями, печатаются короткие строчки, называемые «стихами». Условлено, что искусство — необходимый атрибут культурной жизни.

Среди старых испанских песен имеется одна, если угодно — программная. Эта песня рассказывает

о всаднике, который в Иванов день подъехал к озеру: «Он увидел дивный корабль. На корабле были паруса из шелка. На корабле стоял матрос, и он пел песню. Эта песня была столь прекрасна, что птицы, заслышав ее, опускались на мачты. Эта песня была столь прекрасна, что рыбы, заслышав ее, высовывали из воды головы. Тогда всадник спросил матроса: «Скажи, скажи мне скорей, о чем ты поешь?» Матрос ответил: «Я скажу это только тому, кто отчалит вместе со мной...»

Конечно, при некоторой доле тупости или злой воли, можно истолковать это как мистику. Но стоит ли выдавать высокий тембр голоса за молитву? Это просто песня о силе песни. Это также напоминание о том, что искусство обращается к нашим чувствам. Если раздеть женщину, можно увидеть красивое тело. Если оголить кочан, останется кочерыжка. Методы искусства не методы науки, и критики напрасно негодуют над кочерыжками.

Я отнюдь не склонен переоценивать старые песни или красивые кувшины. Я знаю, что эта нечаянная радость оплачена нищетой, что народное искусство в Испании сохранилось вместе со многими формами феодального строя и что оно скоро погибнет вместе с ними. В более цивилизованных провинциях — в Валенсии или в Каталонии — вместо кувшинов эмалированные чайники, вместо старых песен — фокстроты. Вскоре последние тарелки гранадских гончаров перенесут в музеи, песни издадут для тридцати — сорока этнографов, Испания вступит в новую эру, жесткую и шумную, в эру, очищенную и от птиц, и от снов, и от песен. Надо ли об этом жалеть? У каждого времени свой пафос. В эпоху Сервантеса не было ни аэропланов, ни цепных мостов, ни ротационных машин. Прогресс означает не только приобретение, но и потерю. Стоило ли Сервантесу жалеть о керамике мавров или о дидактической поэзии евреев?.. Он глядел в Сеговии на прекрасные акведуки римлян, и он довольствовался подозрительными колодцами своих современников. Дульцинея для него была важнее водопровода. Мы вправе с ним не согласиться. Мы вправе предпочесть эмалированный чайник прекраснейшему из кувшинов.

Беда в том, что Испания, как и другие государства, никак не хочет начисто отказаться от искусства: она заменяет его суррогатами. Процесс утери эстетического чувства в Европе можно сравнить с обезлесением:

народы беспечно вырубали и поэзию и поэтов. Потом они вспомнили, что без воды нельзя жить. Это верно, поскольку дело касается воды, это спорно, поскольку речь идет об искусстве. Поэзия или живопись, изготовляемые теперь в Мадриде, вряд ли кому-нибудь нужны. Дело даже не в тематике: если беллетристы начнут писать не о любви кабальеро, но о мытарствах андалусского крестьянина, их романы останутся романами. Сейчас нужны не образы, не рифмы, но статистика и прокламации. Всадник не захотел отчалить с матросом. Он предпочел сушу. Что же, тогда надо мужественно отвернуться от шелковых парусов, надо заняться делом — машинами или дорогами, не пробуя подменить уплывшего матроса портативным патефоном.

20. ГРАНАДА

Дворец мавров — Аламбра — находится над Гранадой. Летом в Гранаде была забастовка. Люди на улицах пели и кричали. Гражданская гвардия стреляла. Несколько человек были убиты. В это время к Гранаде подъехал автокар с туристами, с теми скучающими и праздными ротозеями, которые колесят по миру, проверяя, действительно ли стоят на месте все перечисленные Бедекером достопримечательности. Автокар быстро промчался по пустой улице. Трупов уже не было, и туристы никак не заинтересовались красным пятном на ступенях. Туристы спешили в Аламбру. Там проводник сообщил им: «Здесь султан убил любовника своей жены»,— и туристы долго смотрели на ржавое пятнышко, гадая: кровь это или не кровь?.. Потом они сели в автокар и уехали в Малагу.

Некоторые туристы осматривают Гранаду подробней. Для них возле Аламбры построены два превосходных отеля. Окрестности полны экзотики. В аллеях стоят цыганки с красными розами и с выражением катастрофической страсти. Они кричат: «Мы гитаны»,— и щелкают кастаньетами. Турист может пойти в пещеры, где не менее сотни таких же гитан. Они побывали в Мадриде и даже в Париже, но для туриста это «дикие дочери природы». За сто песет «дочери природы» исполняют танцы при лунном свете. В сезон дирекция отеля «Аламбра» приглашает их на сеанс.

Кроме гитан, для туриста устроены магазины с бытовой испанской утварью, как-то: с кастаньетами и с бубнами. Правда, эти звонкие инструменты изготовляются только для туристов, но ведь заранее условлено: бубны — это Испания. Проводник кидает свой плащ под ноги престарелой мисс: «Я хотел бы умереть за тебя!..» Проводник тотчас же переводит свой афоризм растроганной англичанке. Он не умирает, но плащ от таких чувств снашивается, и не удивительно, что мисс дает проводнику лишнюю песету. За дуро проводник исполнит серенаду. За два дуро эта серенада будет облита лунным светом в садах Аламбры. Можно с гитанами, можно с бубнами, можно с Кармен, можно даже с тореадором, с настоящим живым тореадором — это вопрос валюты.

Такова Испания для туристов, испанщина, как говорят здесь, «эспаньоляда». Из большой страны, вдоволь гордой и вдоволь несчастной, сделали кафешантан. Все тут постарались: свои и чужие, Мериме и Сулоага, Бласко Ибаньес и Бальмонт, Монтерлан и открытки, поэты-романтики и хозяева гостиниц. Гранада — столица этой бутафорской Испании, она рифмуется с «серенадой», и над ней Аламбра. Гитана с розой — это и есть Гранада.

В Гранаде свыше ста тысяч жителей; только немногие из них могут прожить, ударяя в бубны или расхваливая красоты Аламбры. Гранада — город как город; имеется в нем новый квартал Гран-Виа, с небоскребчиками и с шикарными магазинами. Эта Гранада родилась в начале нашего века, и своим существованием обязана сахару, не духовному сахару приморской Андалусии, но обыкновенному рафинаду. Лет тридцать тому назад вокруг Гранады начали разводить свекловицу. Новая буржуазия скупила землю у разорившихся аристократов, построила заводы и заполнила город подозрительной роскошью фасадов с барельефами, бронзовых люстр, мраморных статуэток. Надо ли говорить, что сахар подавался к столу исключительно в необычайных сахарницах, изображавших то лебедя, то турецкую фелюгу... Теперь буржуа Гранады, несмотря на кризис, увлечен домами в десять этажей и автомобилями. Он не интересуется дворами Аламбры. Он ходит в кино, где бедра Клары Боу его несколько утешают после бедер местных красоток — гитан и не гитан. Он ходит в клуб, где он толкует

о политике, поносит Мадрид и требует разгона синдикатов. Он не кидает плаща под ноги мисс, так как на нем не плащ, но английское пальто, и пальто это он заботливо сдает в гардероб. Направляясь в бордель, он ждет от красотки не пляски с бубном, но «парижских номеров», о которых ему рассказывал дон Висенте, побывавший недавно за границей. Это обыкновенный буржуа. Для него Гранада — это не Аламбра, но Гран-Виа, с банками, с магазинами и с клубами.

Кроме нового квартала, имеется в Гранаде Альбасин. Там живут ремесленники и рабочие. В ткацких мастерских Альбасина я видел немало красавиц. Они не бьют в бубны. Они стоят весь день у станка. Они получают за это по две песеты в день. Это живописный труд, и это голод. В Альбасине умеют голодать. Северная горная Андалусия куда жестче приморской, и в Альбасине редко смеются. Здесь мало кто помнит об Аламбре, здесь думают, как бы раздобыть песету, здесь спорят, кто прав — «Мундо обреро» или «Солидаридад обрера»? Отсюда спустились забастовщики с криком: «Да здравствует революция», и сюда приволокли два часа спустя несколько трупов. Для бедноты Гранада — это Альбасин.

Гранада — это имя города, это также имя провинции. Если взобраться на одну из башен Аламбры, далеко окрест видны поля и горы. Можно полюбоваться Сьерра-Невадой. Можно и задуматься над неизменной темой, которая, как восточная песня, повторяется в любой части Испании, над ее основной темой. Снова огромные поместья, одинокие кортихо, нищие поселки, снова справка: это такого-то графа, столько-то гектаров, такого-то дюка, столько-то... Неотвязная и грустная песня! Кто сможет пройти мимо этих цифр?.. Прекрасна Сьерра-Невада, как прекрасны скалы Кастилии или холмы Эстрамадуры, но это не просто ландшафт, это длинная повесть о беспечности одних, о горе других.

У некоего сеньора в Педросо пятнадцать тысяч гектаров, в Баналькасаре тридцать одна тысяча, в Альмадене пять тысяч... Вчера снова в том поселке крестьяне кричали: «Земли!» Гвардейцы стреляли... Бой идет с весны. Против крестьян высылали не только пулеметы, но даже воздушные эскадрильи. Гранада... Для окрестных крестьян Гранада — это борьба за землю.

Пять лет тому назад тихо и душно было в Испании. Примо де Ривера говорил о национальном величии. Социалисты говорили о красоте арбитража и о гармонии между трудом и капиталом. Испанские поэты писали стихи об утонченной любви. Пять лет тому назад молодой советский поэт написал престранное стихотворение. Красноармеец, «мечтатель-хохол», сражаясь против белых, поет о Гранаде. «Откуда у хлопца испанская грусть?..» Хохол отвечает:

Красивое имя!
Высокая честь!
Гренадская волость
В Испании есть.
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные,
Прощайте, семья.
Гренада, Гренада,
Гренада моя.

Эта частушка не бахвальство: судьба гранадских батраков решится, скорей всего, далеко от полей Андалусии. Победа английских консерваторов тотчас же придала бодрости графам и маркизам. На другую гирю падают успехи пятилетки. Но стихи Светлова — это не политический прогноз, это стихи о Гранаде, это также стихи о судьбе поэта нашего времени. В Гранаде побывали сотни иностранных писателей. Одни из них довольствовались гитанами, другие, покультурней и поумней, погружались в глубины восточного искусства. Одни влюблялись в пошленькую куклу, другие в прекрасный труп. Светлов никогда не был в Гранаде. Может быть, он ничего не смыслит в искусстве арабов. Он к тому же не знает ни о банках Гран-Виа, ни о трущобах Альбасина. Для него Гранада — это «испанская волость». Надо ли говорить, что он куда больше понял драму Гранады, нежели Лакретель или Ларбо? Бывают исторические эпохи, когда избыток знания превращается в невежество, когда чрезмерная тонкость лишает человека простой чувствительности. Аламбра сейчас покрыта плотным туманом: ее следует оставить для туристов с Бедекером и для находчивых гитан. В одном из ее дворов стены столь прозрачны, что лучи солнца проходят сквозь них, и лучи трепещут, как водяная зыбь. Это фокус зодчего, и это сама

стихия человеческой поэзии. Если б у меня было время, я провел бы не один день возле этой зыби. Если б я родился в другую эпоху, я писал бы не о поместьях графа Романонеса, но об игре света и тени. К Аламбре люди еще вернутся. Сейчас их место внизу — там, где обитатели Альбасина осаждают Гран-Виа, там, где крестьяне «гренадской волости» умирают с криком простым, как «мать» или как «пить»: «Земли! Земли!»

21. «ХОТЕТЬ» И «ЖДАТЬ»

Любимое слово испанцев — «завтра»; американские машины, попадая в Испанию, становятся томными и расслабленными, на письмо здесь отвечают через месяц, а то и через год — спешить незачем и некуда. Однако каждый год испанская женщина рожает. Это точно и без прогулов. Один испанец с гордостью сказал мне:

— Я семь лет как женат — шестеро детей, но седьмой уже в работе...

Женщина должна рожать: это ее единственное назначение. Девушка должна кидать пламенные взгляды: она ищет жениха. Свободны только девочки лет до двенадцати да старухи; все прочие особи женского пола подвержены строжайшему регламенту.

Девушке из приличного общества не полагается гулять одной. Она гуляет с мамашей, иногда с подругой, иногда с кухаркой. Она должна гулять, так как без этого она никогда не сыщет жениха. С семи до девяти на улицах всех испанских городов толпа: сопровождаемые мамашами или же без мамаш — пикетами по три, по четыре, девушки прогуливаются. Их лица столь обильно покрыты румянами, что рядом с ними монмартрская poui покажется инокиней. На встречных мужчин они смотрят страстно и зазывающе. Можно подумать, что это проститутки: столько-то песет и отель за углом. Но если заговорить с такой барышней, она возмущенно отвернется, а мамаша добавит: «Бесчестный человек!» У барышни синие ресницы и на лбу тщательно приклеенная прядь. Она смеется, как будто ее все время щекочут,— особо бесстыдным смехом. Но это, бесспорно, девственница. Рядом с ней тоже девственницы. Гуляют только девственницы, они гуляют под охраной мамаш. Это испанский пролог.

Молодые люди смотрят на девственниц и млеют. Их кидает в жар и в холод. Они могли бы любить, но «любить» по-испански «querer» — это значит также «хотеть». Следовательно, они хотят. Им остается одно: жениться.

Дон Хаиме Гарсиа служит в банке «Испано-Американо». Это страстный кабальеро с синеватыми щеками и с поэтической душой. Он встретил вчера на улице замечательную сеньориту. Он ждет ее сегодня. Сеньорита идет с мамашей. Дон Хаиме замирает, круто повертывает, идет вслед. Сеньорита больше не сомневается: кабальеро ее любит. В другой стране парочка, пожалуй, пошла бы вечером к речке целоваться. Но Испания страна изысканная, и дон Хаиме берет в руки перо. Он пишет послание. Он уже узнал, что красотку зовут Хуана и что она дочь владельца посудного магазина дона Мануэля Росалеса. Дон Хаиме пишет: «С того дня, когда я увидел тебя, я больше не живу, я не могу ни пить воду, ни спать — вода отравлена, а сон бежит от меня...» Дон Хаиме, как уже было сказано, в душе поэт. Впрочем, эта поэзия известна каждому и она распространена куда шире, нежели орфография.

Сеньорита получила письмо. Сеньорита не отвечает. Дон Хаиме отнюдь не отчаивается. В каждой игре свои правила: благородная девица никогда не отвечает на первое письмо. Он не жалеет ни бумаги, ни пыла. Он пишет второе письмо: «Если ты не полюбишь меня, я завяну, как цветок без воды...» Сеньорита с гордостью повторяет: «Как цветок без воды...» Мамаша тем временем наводит справки: сколько получает сеньор Гарсиа в банке? Сеньорита не отвечает и на второе письмо. Дон Хаиме вздыхает, но не падает духом: благородная девица редко когда отвечает на второе письмо. Дон Хаиме пишет третье, решающее, послание: «Если ты не подойдешь завтра вечером к окну, я наложу на себя руки...» Третье письмо — это третье письмо! Собирается семейный совет: отец, мать, дядюшки, тетушки — все высказываются: он получает триста песет в месяц... Это прилежный и рассудительный юноша... Он не играет в карты... О нем хорошо отзывался сам дон Франсиско...

Так начинается счастье: дон Хаиме подходит к окну, в окне прекрасная сеньорита. Он жених, она невеста. На окне решетка. Теперь каждый вечер он будет стоять под окном и разговаривать с прекрасной сенье-

ритой. Он не одинок — у соседнего дома стоит сослуживец, дон Рафаэль... На каждой улице Кордовы, Гранады или Мурсии можно найти влюбленного кабальеро. Дон Хаиме стоит под окном уже четвертый месяц. На окне решетка. Они говорят. О чем? Разумеется, о любви. Хаиме страстно шепчет:

— Я тебя люблю!

«Любить» по-испански значит «хотеть», и Хуана стыдливо краснеет. Хуана отвечает:

— Мы должны надеяться...

«Надеяться» по-испански «esperar» — это также значит «ждать». Кабальеро ждет: что ему еще делать? Он шепчет о «верности по гроб» и о «небесной любви». Потом часовая стрелка или мамаша уводят от окна ненаглядную особу. Дон Хаиме уныло вздыхает и бредет по улице. На углу его походка неожиданно меняется. Молодцевато он повертывает направо. У него в кармане два дуро. Он идет в заведение сеньоры Гонсалес. Там нет ни решетки, ни мамаши. Там дон Хаиме, измученный ночными диалогами, может наконец-то любить молча и взаправду.

Женившись, дон Хаиме месяц-другой не заглядывает к сеньоре Гонсалес. Потом все приходит в порядок: Хуана беременна, она сидит дома. Дон Хаиме с ней не разговаривает: кабальеро разговаривает натощак, но не после сытного обеда. Вместе с решеткой кончились поэтические упражнения. Дон Хаиме возвращается к сеньоре Гонсалес: это верный клиент. Через три года у него трое детей. Его жена может судачить с женой дона Рафаэля или со своими тетушками. Впрочем, заботливый супруг не дает ей скучать: только-только она откормила Пепику, а вот уже — Хуансита. В банке дон Хаиме зевает, дома он работает.

Любовь без брачного свидетельства в Испании — тяжкое преступление. Профессор в большом городе с гордостью сказал мне:

— Вот женщина врач X, она живет с доктором У. Но знаете, они не повенчаны. Мы их все-таки принимаем...

«Мы» было произнесено с сознанием героизма — мы, передовые, левые, влюбленные в Москву и в революцию, мы, но, разумеется, не другие...

В Мурсии с одной сеньоритой, дочерью зажиточного коммерсанта, приключилась беда. Она гуляла за городом с женихом. Оба давно уж и «любили»

и «надеялись». За невестой присматривала служанка. Жених оказался находчивым и вовремя сунул служанке дуро. Служанка отстала. Кабальеро работают без промаха: через девять месяцев у бедной сеньориты родилось дитя. Кабальеро на ней не женился: можно ли жениться на столь легкомысленной особе?.. Родители проклинали, грешница плакала. Все это могло бы приключиться в семье любого коммерсанта, парижского или берлинского. Преступление обычно. Зато наказание говорит о «местном гении»: грешницу заперли. Это не слова, но закрытые наглухо окна и дверь на запоре. Прошло четыре года; прислуга каждый день выводит мальчика, мальчик как мальчик — может быть, это сын прислуги? Молодая женщина исчезла, никто ее с того времени не видал. Она не уехала: она сидит в комнате с закрытыми окнами. Она сидит и поныне. В кортесах кричат о правах женщин, социалисты всего мира уверяют, что Испания — «страна свободы». Отец грешницы читает в клубе газеты. Дверь комнаты, однако, заперта. Все в городе знают об этом, никто не удивляется: сеньорита сглупила...

Девочка играет с мальчиками в мяч. Пройдет год-два, и она станет с опаской поглядывать на своих недавних товарищей: ее жизнь полна опасностей. В университетах теперь имеются студентки. Правда, их мало, но свободолюбцы радуются: «Мы передовая нация!..» Студентка, однако, не подойдет просто к студенту, не спросит его, какая сегодня лекция — предусмотрительно она возьмет с собой подругу. В Саламанке и в Валенсии я видел в коридорах университета студенток. Они прогуливались небольшими отрядами. Никогда нельзя увидеть одного гвардейца, всегда два — одному страшно. Страшно и одинокой девушке: что про нее подумают?.. Достаточно ловко пущенной сплетни, и она не найдет жениха.

В кортихо — рабочий и работница. Они спят рядом. Они любят друг друга. Это жених и невеста. Но девушка не смеет подпустить к себе жениха. Что он о ней подумает?.. Он ее бросит с ребенком... Рабочий сам знает: надо ждать. Вот осенью они повенчаются!.. Девушка всю ночь ворочается на соломе, ей не спится, она что-то шепчет в полубреду. Парень, тот идет в соседний поселок к симпатичной вдовушке, которая за одну песету лечит влюбленных от тоски и еще

в придачу дает дурную болезнь. Ничего не поделаешь — подождем до осени!.. Осенью, выслушав бормотанье куры, с сознанием своих прав если не перед Богом, то перед людьми, он передаст дар, полученный им от вдовушки, своей законной супруге.

В Мадриде порой можно увидеть, как корчится лицо одинокого чудака от сочетания двух испанских глаголов «хотеть» и «ждать». Католики работают ничуть не хуже английских лицемеров. Кино Мадрида — это Гайд-парк. Молодой человек сидит рядом с девушкой, девушку охраняет мать, молодого человека охраняет темнота. Он не знает, кто возле него. Он знает только: это девушка Мадрида, следовательно, и она измучена ожиданием. Он дает волю рукам. Девушка не кричит: «Нахал». Девушка закрывает глаза: ей сейчас не до любви на экране. Когда вспыхивает свет, они незнакомы. Беда, если молодой человек скажет ей: «До свиданья». Тогда-то он услышит: «Нахал». Она его не знает! Между ними ничего не было, кроме темноты и тяжелых мадридских снов.

Здесь нет любовников: любовникам здесь некуда деться. Дома охраняются швейцарами, пансионы — хозяйками, загородные парки — сторожами. Если к мужчине придет на дом женщина, ее могут отвести в полицию. Если она любит, она должна ждать. Если она не хочет ждать, она — проститутка.

Кабальеро целый день думает о женщинах. При этом он их презирает. О своей жене он говорит: «Дура! Женщины вообще дуры. Только дурак станет разговаривать с женщиной...» Свою дочь вместо школы он отсылает в монастырь. Ее учат исповедоваться и вышивать. Потом ее учат кокетничать и румяниться. Потом ее учат рожать. Потом она начинает учить своих дочерей: ее жизнь кончена.

Кабальеро в стороне. Он думает о других женщинах. Он думает обо всех встречных женщинах. Увидев женщину на улице, кабальеро кричит: «Красотка», при этом он издает препротивный звук, как будто он подзывает собачку: таков условный рефлекс. Кабальеро обязан пристать к одинокой женщине — это его долг. Примо де Ривера любил развлекаться по-испански, но в часы досуга его одолевали разные заграничные идеи, он, например, вздумал бороться с распущенностью нравов. Особым декретом он запретил приставать на улице к женщинам. Однако все чмокают

и поныне: министры и адвокаты, журналисты и чиновники: «Красотка!» Почмокав, направляются в заведение какой-нибудь сеньоры Гонсалес или не Гонсалес.

Страна любви, страна серенад и романсов, страна Кармен!.. В этой стране даже взяточники и сутенеры пишут о «небесной любви». В этой стране статистики не управляются с данными о венерических заболеваниях. Серенады кончаются в публичном доме: это два дуро и скука, та, что раздирает рот.

22. МУРСИЯ

На Богоматери, которая охраняет Мурсию, добрая дюжина орденов: эти ордена были пожалованы бравым генералам, усмирившим арабов. Знаки отличия генералы подарили Богоматери. Помимо орденов у Богоматери палка алькальда. Это дары аллегорические, но Богоматерь принимает и подарки более существенные, как-то: драгоценные камни, золото высокой пробы, жемчуга. Безделушки, коими украшена эта «защитница бедных», оцениваются во много миллионов песет. Кроме того, у «покровительницы нищих» одиннадцать платьев, все, разумеется, из самого дорогого шелка, расшитого каменьями. Конечно, душа у Богоматери весьма подозрительного происхождения: как здесь не вспомнить о нищей еврейке, которая рожала в хлеву?.. Зато волосы у Богоматери самые что ни на есть изысканные: когда пошла мода на короткие волосы, аристократки Мурсии отрезали свои косы и подарили их Богоматери. В этом нет ничего обидного: Богоматери уже около двух тысяч лет, ей нечего гоняться за модой, она может остаться при длинных волосах, притом все знают, что это не просто пакля, не конский хвост, не парик от скверного парикмахера, но ароматные локоны маркизы такой-то и графини такой-то.

Конечно, туалет столь роскошной особы требует большого искусства. Жена церковного сторожа сама и моет и чешет деревенского Христа. Богоматерь Мурсии одевают самые породистые дамы городка. Это высокая честь, и многие аристократки перессорились из-за права заколоть юбку на Богоматери.

Среди дам, которые наиболее часто допускались к туалету Богоматери, в первую очередь надо поста-

вить красу Мурсии, сеньору Сьерву. «Краса» — это не определение физических достоинств названной сеньоры, только грубые натуры могут интересоваться телесными достоинствами, нет, сеньора Сьерва подлинная краса Мурсии: ее супругу принадлежат в окрестностях города поместья на пятнадцать миллионов песет. Кто же достойней ее приблизиться к «упованию всех обездоленных»?

Пока сеньора Сьерва одевала Богоматерь, сеньор Сьерва занимался государственными делами. Народ прозвал его «кровавым министром». В его послужном списке стоят и казнь Ферреро, и расстрел забастовщиков. Сеньор Сьерва теперь находится за границей, но «республика трудящихся» отнюдь не злопамятна. Она может выселить нищего крестьянина, который не заплатил вовремя двести песет за аренду, но она не смеет посягнуть на поместья кровавого министра. Попрежнему у сеньора Сьервы земли на пятнадцать миллионов песет, и по-прежнему он сдает эту землю в аренду. Управляющие защищают его интересы. Республика охраняет его священные права. Богоматерь, одетая при содействии его супруги, повязанная генеральским шарфом и вооруженная палкой алькальда, стоит на страже порядка.

Земля вокруг Мурсии богатая и щедрая: апельсиновые сады с крупными золотыми плодами, персики, виноград, поля крупного испанского лука, на склонах холмов рыжие квадраты — это сушатся стручки перца, повсюду цветение и пестрота, та расточительность природы, которая неизменно волнует уроженца севера. Природой здесь был задуман рай. Природа не предвидела, что вместе с померанцами здесь расцветет сеньор Сьерва.

Крестьянский дом. Внутри чисто, но бедно. Хозяину лет за шестьдесят. Грустно сосет он обгрызенную трубку. На нем большая шляпа, поля еще держатся, донышка уже нет: солнце жжет седую голову. У него пять таулий земли — это крохотный садик. Земля не его, земля принадлежит какому-то маркизу. За пять таулий он платит в год триста песет. Он никогда в глаза не видел этого таинственного маркиза. Один только раз приехала в Мурсию супруга маркиза, она одарила верноподданных своей маркизовой улыбкой. Она зашла в дом к этому крестьянину. В доме было несколько старых кувшинов, расписанных искус-

ным гончаром. Таких кувшинов больше не делают, их можно найти только в лавке антиквара. Маркиза показала хороший вкус: она взяла у крестьянина кувшины, конечно, ничего не заплатив,— кувшинам место не в бедной избе, но в прекрасном особняке Мадрида. Кувшины положили в автомобиль, маркиза еще раз улыбнулась и уехала. Крестьянин, почесав затылок, понес управляющему триста песет за пять таулий.

Крохотный кусок земли не может прокормить семью. Старый крестьянин нанимается на поденную работу. Ему платят три или четыре песеты. Он работает с утра до ночи, он работает круглый год. У него не только шляпа без донышка, у него сгорбленная спина, крючковатые распухшие руки и глаза грустные, как у старого осла. Он устал. Но он будет работать до последней минуты: так хочет республика. Золотятся апельсины, смеется солнце, природа не равнодушна, природа просто обманута: она не предвидела и этого злосчастного старика.

— Вы верите в аграрную реформу?

— Как было, так и останется...

— Но вы-то что думаете?.. Разве это справедливо?..

Ему много лет, и он устал. Апельсины на севере сказка, крохотное солнце среди зимы, душистый сок, утеха ребят, витамины, здоровье. Для него апельсины — это каторга. Он вынул изо рта трубку и сплюнул:

— Зачем думать?.. Если я не заплачу за аренду, меня выселят...

Он стоит покорный и гордый. Он знает, что такое песеты и что такое свинцовые пули. Он не станет ни спорить, ни доказывать. Он может умереть в поле за работой. Он может также вынуть изо рта трубку, сплюнуть и пойти против гвардии с голыми руками. Его фатализм безобиден и страшен. Генерал Санхурхо, а за ним и республика скачут по болоту: никто не знает, где могут завязнуть и генеральский конь, и вся лживая история Мадрида.

Сады, огороды, поля — для кого-то урожай, для кого-то благоденствие. Монастырь иезуитов. У ворот толпа нищих — они ждут с утра подаяния. Внутри хорошо обставленные комнаты: это для кабальеро, которые приезжают в монастырь — предаться «духовным упражнениям». Контора экспорта консервов.

Огромные обороты. Радость — песета пала, вывоз растет. Фабрика шелка: работницам платят по две песеты в день. Наконец, город, сонный и бездумный, как все испанские города. В одном из клубов сидит у окна брат кровавого министра: это «Сьерва-добрый». Вокруг него кабальеро. Читают газету или дремлют. В кабачках темное и крепкое вино, прохладные дворы, луковая колбаса. Какое-то несуразное захолустье.

Кабальеро в клубе говорят: «Мурсия одна из самых счастливых провинций Испании». Я не раз думал, глядя на всех этих адвокатов,— лицемерие или только беспечность?.. Недавно в Лорку — это близ Мурсии — пришли две тысячи крестьян из окрестных деревень. Они заявили, что умирают с голоду, что они ищут работу и что назад они не пойдут. Они легли на площадь перед аюнтамьенто — в испанских городах большие площади. В клубах Лорки, как и в клубах Мурсии, кабальеро зевали и щурились от неги. На что они способны? Они никогда не отдадут приказа разогнать забастовщиков. Они выждут, пока не покажется отряд гвардии. Тогда они закроют глаза от подлинного ужаса. Потом вздохнут: снова шестеро раненых!.. (Они выдадут, кстати, убитых за раненых.) Они осудят народную темноту, иезуитов и прыть гвардии. Потом как ни в чем не бывало они снова сядут за карты или начнут чмокать перед проходящими сеньоритами. Испанская буржуазия — это даже не класс, это клуб, какое-то сборище очаровательных лежебок. Их выручает только слабость тех, кто работает, только этот дурман, эта оторопь, покорность судьбе, разрозненные выстрелы, партизанщина, грустные песни и десять враждующих между собой синдикатов — не поле брани, но болото. Болото выручает. Болото может и проглотить.

23. СЕМЕЙНЫЕ УТЕХИ

В Испании все делается по-семейному: доносы, аресты, взятки, выборы. Бордели напоминают гостиную тетушки, а высокая политика то и дело сбивается на ссоры двух кумушек у кухонной плиты.

Когда я приехал в Мадрид, меня прежде всего арестовали. Это было очень эффектно: на вокзаль-

ном перроне уже поджидал меня полицейский. В участке открыли чемодан — искали, очевидно, пулеметы, залезли и в карманы — нет ли московского золота? Первый день за мной неотвязно следовали представители власти. Потом представителям надоело, и они отстали: наверное, пошли чистить ботинки.

Товарищ министра внутренних дел беседовал со мной. Это бывший журналист, и я его знавал в Париже. Он сначала похвалил мои книги, а потом перешел к делу — не послан ли я в Испанию какой-либо газетой? Этот журналист, видимо, весьма боялся журналистов. Я его успокоил: «Нет, никем не послан». Тогда он снова похвалил мои книги.

Потом начальник полиции попросил представить ему список всех городов, которые я намерен посетить: это для моей безопасности. Он оговорил, что отвечает только за полицию, но не за гвардию, гвардия, та сама по себе,— следовательно, в деревни, где царит не полиция, но гвардия, лучше не забираться. Когда я приехал в Самору, редактор тамошней газеты с гордостью мне сказал: «А мы уже напечатали, что вы сюда приедете... Откуда мы узнали? Очень просто: начальник полиции прислал телеграмму губернатору, ну, а губернатор свой человек...»

В Касересе ко мне заявились два полицейских в штатском. Я сначала их принял за адвокатов: «Садитесь!» Но они не сели, а попросили паспорт. Я дал паспорт, они его не взяли: чересчур сложно. Спросили, не думаю ли я навсегда поселиться в Касересе, пожелали счастливой дороги и ушли. В поезде меня как-то задержали другие полицейские; эти оказались трудолюбивыми, они прочитали весь паспорт (а в нем страниц сорок), от доски до доски. Прочитали и растрогались, им захотелось сказать мне что-нибудь приятное. Подумали и сказали: «Вот мы уже сопровождали одного из ваших соотечественников, сеньора Майорского, это очень почтенный сеньор, а теперь мы вас сопровождаем...» После чего стали осведомляться: «Сколько получают в Москве чекисты?» Все это по-родственному. Могли бы при случае меня пристрелить, но так как день был тихий, предпочли ласково побеседовать.

Испанские газеты похожи на журналы, которые сочиняли воспитанники закрытых учебных заведений.

Валенсия — четыреста тысяч обитателей, бойкий торговый город. В Валенсии выходит газета «Эль меркантиль Валенсиано», одна из самых распространенных газет Испании. Японцы занимают Маньчжурию, в Париже лопнул солидный банк, в Магдебурге побоище между гитлеровцами и коммунистами. Обо всем этом в газете ни слова, да и вообще нет ни одной заграничной телеграммы. Сплетни из кулуаров кортесов. Интервью с министром внутренних дел, с начальником полиции, с гражданским губернатором. Все трое заявили: «Полное спокойствие». Потом — о кино, о погоде, о семейных событиях. Свадьба очаровательной сеньориты Консуэлито Матео Гарсии и почтенного дона Рикардо Ольмос Мартинес... На невесте было великолепное белое платье, которое оттеняло ее естественную красоту и чары ее молодости. После венчания молодые, так же как и гости, отбыли в кафе «Колумб»...

Иногда и в Валенсии приключаются события мировой важности. Например, полиция находит бомбы — двести пятьдесят штук. Губернатор дает обширное интервью. Фотографы дружно снимают бомбы. «Подготовляли заговор...» «Конфедерация...» «Анархисты...» «Москва...» При этом все знают, что бомбы были припасены республиканцами в декабре прошлого года, когда предполагалась «революция». Бомбометатели давно стали депутатами и сановниками. Бомбы валялись в одном из погребов. Кто-то захотел отличиться, и бомбы «нашли». О находке дали телеграмму. Читатель «Берлинер тагеблатт» читал и ежился: помилуйте, двести пятьдесят бомб!.. Чины валенсианской полиции пили вермут и обливали знойными взглядами проходящих сеньорит.

Для катарсиса в Испании существуют лотерея и бой быков. Надежда на выигрыш несколько смягчает социальную горечь, а убийство быка заменяет, хотя бы на время, убийство гвардейца. Лотереи — крупная статья в государственном бюджете. Особенно разгораются страсти к рождественской лотерее: выигрыши миллионные, играют все. В этом году произошел конфуз: вследствие кризиса несколько тысяч билетов осталось нераспроданными, и первый выигрыш пал на непроданный билет. Выиграло, следовательно, государство. Этого никто не смог стерпеть. Республике готовы были простить все ее грехи, невыполненные обещания,

 16 И. Эренбург, т. 4

болтовню, разгильдяйство, что угодно, только не эту удачу.

В газетах лотереям отводится почетное место. После тиража рождественской лотереи добрая половина самых солидных органов заполнена либо цифрами, либо философией по поводу цифр.

Еще больше места газеты уделяют бою быков. Это занятие издали кажется жестоким, даже романтическим. На самом деле это только страсть к эффекту, нечто вроде убоя свиньи, доведенного до важности миропомазания.

Разводкой быков заняты главным образом аристократы, им принадлежат племенные заводы возле Севильи и Саламанки. Каждый год в Испании торжественно закалывают тысячи четыре быков, причем хороший взрослый бык стоит три тысячи песет. Еще больше зарабатывают импресарио: места стоят дорого. Тореадоры тоже не в обиде: занятие это теперь скорее мирное, героизм заменен выучкой и каждое движение в точности рассчитано. Поработав несколько лет, тореадор покупает поместье где-нибудь в Андалусии и садится за мемуары.

Грустней всего в этой истории судьба быков. Я видал их на воле, они мирно паслись, когда работник привез корм, они побежали за лошадью, как самые доброжелательные телята. Это смирные животные, и только такому зверю, как человек, удается их вывести из себя. На арене бык сперва недоумевает. Он похож на растерянную корову. Он ищет лазейки. Он явно вспоминает пастбище. Его колют стрелами. Он весь в крови. Тогда начинается якобы бой. Человек знает, что надо отбежать в сторону, бык этого не знает, бык кидается вперед. Исход ясен заранее. Может быть, именно эта обреченность быка, эта трагическая тупость и ненужное благородство пленяют испанцев, напоминая им и об их жестокой истории, и об их личной драме?.. Эти реминисценции не мешают, впрочем, вносить в бойню все элементы оперетки: ленточки, музыку, расшаркиванье перед сеньоритами и парад престарелых кляч.

Тореадоры делятся на различные школы и толки. Агония быка изучается в деталях. Жизнь тореадоров — также. Публика знает не только то, как они играют на гитаре или пьют мансанилью, но и то, в кого они влюблены и за кого они голосуют. Редакция одной из

больших газет Мадрида отправила интервьюера к тореадору Бельмонте, чтобы выведать у этого мудреца его мнение об идеях Ленина. Бельмонте успокоил публику: «Идеи Ленина?.. Что ж, я привык к опасностям!..»

С тореадорами могут потягаться только генералы. Недавно военный министр рассказал в кортесах о генеральских проказах. Испанцы в свое время купили у французов семидесятипятимиллиметровые пушки. Купили не торгуясь. Заплатили. Пушки прибыли в Мадрид. Нашелся шутник, который заявил: «Эти пушки бьют на расстояние девяти километров, а с нас хватит и шести...» Другие шутники распорядились немедленно подвергнуть французские пушки обряду обрезания. В Марокко испанцы выступили с никуда не годной артиллерией. Тот же министр признался, что испанская армия обладает всего-навсего одним аэропланом для бомбардировки. Зато сколько орденов, сколько замысловатых мундиров!..

До апреля испанская интеллигенция играла в литературу. Все поголовно были писателями. В литературных кафе за любым столиком заседали знаменитости. Центром Мадрида был клуб «Атенеум». После апреля писатели стали министрами, посланниками или депутатами. Они теперь играют в высокую политику. В литературных кафе сидят только юноши, еще не достигшие возрастного ценза. Книг никто не пишет — некогда. Писатели сочиняют проекты законов или дипломатические ноты. Сеньор Асанья был председателем «Атенеума», теперь он председатель правительства. Он говорил о сладких чарах искусства, теперь он говорит о необходимости твердой власти. Слушая в кортесах речь Унамуно, трудно представить себе, что это парламент, а не литературный диспут. Очень культурно, очень мило. Страна, однако, продолжает голодать. Старые генералы обрезали пушки, писатели покажут миру, что даже этими обрезанными пушками можно на славу усмирять крестьян. Кроме того, генералы не умели разговаривать, они закрыли кортесы, они жили грубо и молча. Писатели куда как тоньше!..

Читатель «Берлинер тагеблатт», наверное, вздыхает от умиления — со стороны это революция, борьба идей, государство. Вблизи это только семейные утехи.

24. ДРАМА РАБОЧИХ

Дорога из Валенсии в Сагунто проходит апельсиновыми садами: это золотой фонд Испании. Каждое дерево приносит в год пятьсот — шестьсот плодов. Апельсины тоже знают классовое неравенство, возле Каркахенты плоды огромные, с тонкой кожей,— это для дорогих ресторанов Лондона и Парижа, возле Сагунто плоды крепкие и мелкие, их продают в рабочих кварталах с лотка. Кроме апельсиновых садов, вокруг Валенсии рисовые поля. Это богатый край, испанская нужда здесь залечивается природой. Валенсия — город купцов. Сюда приезжают англичане и немцы за апельсинами. Здесь много кино и дансингов. Здесь уважают песеты и Бласко Ибаньеса. Близость моря смягчает испанские нравы: вместо суровости и доброты — обыкновенная европейская вежливость. Вежливость и апельсины. Апельсины и песеты.

Сагунто известен старым замком и живописностью расположения. Имеется и другой Сагунто, ему всего пятнадцать лет. Это рабочий город, он вырос вокруг сталелитейного завода. В этом Сагунто нет ни апельсинов, ни песет. Угрюмые люди на площади и пикеты гражданской гвардии. Здесь молча разыгрывается драма испанских рабочих.

Завод принадлежит акционерному обществу «Сидерурхика дель Медитеранео»: это разветвление консорциума, центр которого находится в Бильбао. Дело не обошлось без иезуитов. Летом на заводе в Сагунто работали четыре тысячи пятьсот рабочих. Теперь — тысяча двести. Остальных рассчитали. Оставшиеся работают четыре дня в неделю. Шесть песет в день: это жизнь впроголодь. Одни безработные уехали из Сагунто. Другие остались — это уж просто голод. Недаром гвардейцы зло озираются: каждый день здесь может вспыхнуть бунт.

Республиканцы Валенсии во всем обвиняют иезуитов. Для них ясно: дирекция завода сократила работы, чтобы досадить республике. Дирекция отвергает обвинение в саботаже. Она ссылается на мировой кризис: убытки за год достигли двадцати трех миллионов песет. Конечно, одно не мешает другому: кризис кризисом, иезуиты иезуитами.

Однако, чтобы понять драму Сагунто, надо вспомнить о некоторых особенностях испанской буржуазии.

Руководители испанской промышленности прежде всего малограмотны. Это в равной мере относится к финансистам и к инженерам, к частным обществам и к государственным предприятиям. В Сан-Фернандо рабочих тоже выбросили на улицу, но там никто не говорит о саботаже: во главе верфей не иезуиты, а республика. В Каталонии не сегодня завтра закроются десятки предприятий. Большинство испанских заводов свято хранит архаическое оборудование начала этого века. Примо де Ривера хотел помочь испанской индустрии стать на ноги. Он выдавал владельцам заводов большие субсидии. Сплошь да рядом сеньоры прокучивали эти деньги в Париже или в Биаррице. На оставшиеся песеты они покупали старые машины. Испанская промышленность выдерживала конкуренцию с иностранными фабрикантами только благодаря необычайно низкой оплате труда. Испанский буржуа мелкий рвач и большой жуир. Если в кассе имеется несколько кредиток, он не думает ни о новых заказах, ни об организации производства, ни о покупке машин. Он удовлетворен жизнью. Это приятно для него и для его домашних. Это катастрофично для страны. После долгих и мучительных стачек рабочие добились повышения заработной платы. Для многих фабрикантов это оказалось гибелью. Директор большой мануфактуры в Барселоне недавно предложил председателю заводского комитета передать фабрику рабочим: «Пусть расхлебывают!..»

Завод в Сагунто оборудован достаточно хорошо, он погиб не из-за плохих машин, но из-за плохого расчета. Его построили во время войны, когда даже испанская буржуазия ухитрилась разбогатеть: манна действительно падала с неба. Построили огромный завод. Заказы. Дивиденды. Счастье. Вскоре, однако, выяснилось, что завод построили зря. От завода до рудников двести километров. Транспорт в Испании вещь сложная и разорительная. Уголь приходится покупать английский. Почему при таких условиях завод построили именно в Сагунто, никто объяснить не может. Над этим задумались только теперь. Задумались, подсчитали убытки и рассчитали рабочих.

Здесь, как и в других городах Испании, за невежество и за бестолковость буржуазии приходится расплачиваться рабочим. Конечно, и для председателя «Сидерурхики», для дона Рамона де ла Сота, этот год не

веселый. Однако дон Рамон живет неплохо. Он не задумывается над меню своего обеда. Другое дело люди на площади Сагунто: когда дон Рамон понял свои ошибки, эти люди перестали есть. Республиканский журналист из Валенсии, член партии радикал-социалистов, не без гордости говорит мне:

— В нашей партии очень много рабочих...

В Сагунто имеется клуб этой поместительной партии. В клубе сидит один из членов партии и читает газету. Это мастер. Журналист здоровается с партийным товарищем. Однако он не расспрашивает мастера о драме Сагунто. Он хочет узнать правду. Он хочет расспросить рабочего. Приходит рабочий. Увы, это не радикал-социалист, это член революционного синдиката. Журналист долго с ним разговаривает. Они шепчутся: рядом мастер. Ведь журналист хочет узнать правду, а правда всегда опасна. Мастер — человек его партии, но все же он мастер: за правду рабочего могут и рассчитать. Вот она, испанская неразбериха!..

Казино, полное мух и сонных кабальеро. Аптекарь — это местная интеллигенция, он республиканец и мелкий держатель падающих акций «Сидерурхики», человек, следовательно, томный и вдоволь разочарованный. Дома, набитые голодной детворой. В городе, по словам аптекаря, «полное спокойствие». Только гвардейцы не унимаются; они рыщут по пустым улицам, они не доверяют аптекарю. Вокруг заводских стен — стражники в мундирах. А на заводе тихо и тошно. Стоят никому не нужные машины. На одном из ящиков, куда рабочие еще недавно складывали свою одежду, выведено дегтем: «Смерть буржуазии!..» Драма Сагунто не доиграна.

25. О ЧЕЛОВЕКЕ

Рядом с французами испанцы кажутся первобытными, несмотря на всю пышность их истории, несмотря на барокко и на Гонгору, на небоскребы и на проказы Рамона Гомес де ла Серны. Это, конечно, не дети, но это люди, не духи в брюках и не манекены от «Галери Лафайет». Я настаиваю на цельности материала. Это можно проследить на природе: здесь горы —

горы, степи — степи. Это можно увидеть и за обеденным столом: испанская кухня гордится не столько искусством обработки, сколько добросовестностью продуктов: девственно белый хлеб, густое вино, ягненок, рыба. Может быть, неудачи государства в известной степени следует объяснить именно этой определенностью отдельных частей — человек здесь слишком человек, и великие реформаторы, которые привыкли иметь дело скорее с моллюсками, нежели с быками, наверное, опешили бы, перевалив Пиренеи. Даже католицизм здесь больше озорничал, нежели воспитывал. Расправы инквизиции — это только зрелище, нечто вроде боя быков. Для подлинного творчества монахам пришлось выбрать вместо Испании Парагвай. Над Испанией очень легко царствовать. Любой выродок с плохонькой армией может захватить хоть завтра власть. Управлять Испанией много труднее. Для этого мало соблазнительных идей и мистического тумана, необходима какая-то правда. Я говорю, разумеется, не об адвокатах, но о народе. Эта правда, однако, далека и от фотографии и от арифметики. Она не дается в готовом виде, ее надо создать. Куда легче с ней познакомиться в музее Прадо перед полотнами Гойи, нежели в соседних с музеем кортесах.

Можно никак не интересоваться искусством, можно приехать в Испанию, чтобы закупить апельсины или чтобы изучить аграрный вопрос, можно быть биржевиком или агитатором, но нельзя пройти мимо Гойи, это лучший проводник по стране. Так прежде всего разрушаются лживые фразы о «художнике кошмаров». Гойя не декадент, не эстет, не одинокий фантаст, Гойя — художник, которого с полным правом можно назвать социальным. В своей известной картине, изображающей расстрел, он показал, что такое пафос не патетического. Его портреты королевской семьи вовсе не карикатурны: это только вдоволь смелое оголение всячески задрапированных моделей в эпоху, когда искусство знало одно: скрывать, когда назначением цвета или рифмы было ограждать мир от чересчур жестокой действительности. Гойя шел дальше, нежели человеческий глаз, он показывал сущность предмета или чувств, он был подлинным реалистом. Вероятно, поэтому принято говорить, что он был одарен «извращенной фантазией» и что он жил в «мире неправдоподобного». Все так называемые «кошмары» Гойи

в Испании ходят по улицам: это маркизы и нищие, это спесь и горе, это генерал Санхурхо среди запуганных батраков Эстремадуры.

Урок Гойи можно дополнить уроками испанской литературы. В начале четырнадцатого века в Испании была написана замечательная книга. Ее автором был Хуан Руис, именуемый протоиереем из Ита, священник с подозрительной биографией, в которой важное место занимает тюрьма. Европа тогда довольствовалась эпигонами рыцарской поэзии, рифмованными переложениями «чудес» или молитв, обязательной догмой и столь же обязательной красотой, розой, которая не была цветком, и дамой, которая не была женщиной. Это было задолго до Франсуа Вийона. Протоиерей из Ита написал книгу о своей эпохе, о сластолюбивых монахах и о сводиях, об обманутых девушках, о лицемерии и о пастухах, о страхе перед смертью и о попойках, о рыцарях и о силе. Это якобы автобиография: протоиерей изучает грехи, чтобы больше не грешить. Так можно было бы написать сатиру или лирическую поэму; ни то, ни другое определение никак не подходят к книге Хуана Руиса. Исследователи много спорили: издевается ли автор или говорит всерьез? Для католиков это книга покаяния, для вольнодумцев первая брешь в стене средневековья. Протоиерей влюблен в донью Эндрину. Он описывает себя: он красив — у него толстая шея, крохотные глаза и осанка павлина. Он не смеется над собой: все условно. Он встречается с доньей Эндриной в церкви: это не кощунство, это просто место встречи. Потом донья Эндрина умирает, он ее оплакивает. Потом умирает старая сводня, которая свела его с доньей Эндриной, он оплакивает и сводню, он уверяет, что ее место в раю. Никто не скажет, где здесь кончается хроника, чтобы уступить место правде поэта. Это и есть жизнь, каждый вправе ее толковать по-своему, но отвязаться от нее куда труднее, нежели от обыкновенной достоверности.

Надо ли напоминать, что самое гениальное произведение испанской литературы «Дон Кихот» сделано с тем же реализмом, что оно также допускает тысячи толкований, не допуская, в сущности, ни одного, что роман Сервантеса не пародия на литературную моду эпохи, не сатирическое отображение общества, не проповедь мистического самообмана, но только правда

о человеке большом и ничтожном, достойном и смешном?..

Все это меня занимает отнюдь не как эстетические рецепты. Конечно, и в наше время могут жить художники, преданные высокому реализму. Нетрудно увидеть в рисунках немца Гросса, этого сына Домье и внука Гойи, тот же фанатизм обнажения, который в его первом густом растворе нас так пугает в музее Прадо. Можно добавить, что русский писатель Бабель описывает красноармейцев и шлюх с той же откровенностью отчаяния, с которой протоиерей из Ита описывал монахов и красавиц. Понижение значительности зависит не от понижения талантов, но от роли искусства в жизни: оно было хлебом, оно стало кокаином, которым смягчают зубную боль и которым некоторые сумасшедшие заменяют секрецию желез.

Испанский реализм меня занимает не как художественная школа, но как разгадка многих особенностей этой страны. Я не думаю, чтобы из нее можно было бы сделать новую Византию. Французское остроумие бессильно перед любым планом, перед любой статистикой. Ирония испанского реализма куда страшнее. Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться — это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу — он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди. Это хлопотно, порой опасно, и это все же очень утешительно.

26. БАРСЕЛОНА

Барселона рядом с границей, и местные франты охорашиваются: «Мы не испанцы, мы почти что французы!» Здесь много автомобилей и мало ослов. Люди здесь не шатаются без дела, они идут бодрой деловой походкой: торговать или шантажировать. Здесь продают на улицах французские журналы и даже цветы. В кафе здесь много одиноких женщин; правда, это французские проститутки, приехавшие на гастроли, но все же они входят в городской пейзаж. Словом, это Европа.

Я видел в Барселоне одного журналиста. Это каталонский патриот, сотрудник сеньора Масии. У журналиста своя система жизни: «Надо ладить со всеми! Вот я дружу с правыми и с левыми, с ворами и с анархистами...» Этот журналист в Барселоне не одинок. Каталонские патриоты издавна стараются со всеми поладить. Они великолепно уживались с Примо де Риверой: душой Барселоны был сеньор Камбо, умный банкир и посредственный политик. Узнав, что диктатура слегла, сеньор Камбо помчался в Мадрид: спасать диктатуру. Спасти диктатуру не удалось. Тогда каталонский патриотизм спешно перекрасился. Сеньор Камбо отбыл за границу. Из-за границы прибыл сеньор Масия. Сначала сеньор Масия фрондировал: он хотел получить на выборах голоса рабочих. Когда полиция арестовала вождя синдикалистов Дуррути, сеньор Масия выехал в Херону, чтобы встретить освобожденного Дуррути у тюремных ворот. Прошло несколько месяцев. Выборы позади, сеньор Масия едет в Мадрид: он хочет лично проголосовать за сеньора Самору.

Каталонские националисты довольствуются малым. В Барселоне сидит губернатор, присланный из Мадрида, власть принадлежит губернатору. У сеньора Масии прекрасный дворец, триста опереточных полицейских и столько же опереточных законодателей, которые разрабатывают законопроекты для существующей только в проекте «автономной Каталонии».

Каталонский буржуа рад ладить со всеми. Но договориться с рабочими ему не по силам. Он хочет, чтобы они работали много, а получали мало. Рабочие придерживаются другого мнения. Тогда вмешивается Мадрид: «Хорошо, вы получите автономию. Мы уведем из Каталонии наших гвардейцев и наших солдат. Вы останетесь глаз на глаз с вашими рабочими». Выбирать не приходится: каталонский буржуа предпочитает кастильских жандармов барселонским синдикалистам.

Каталонский буржуа на редкость труслив. Он содержит мадридских жандармов. Он содержит также наемных убийц. В Барселоне имеется Китайский квартал. Там нет ни одного китайца. Китайский квартал заселен босяками, нищими, мелкими преступниками и дешевыми проститутками. В Китайском квартале легко найти человека, который за несколько дуро убьет кого

прикажут. Наемные убийцы не деталь, это политическая школа каталонской буржуазии, она связана с высокими традициями. В свое время губернатор Мартинес Анидо исправно вооружал всех, кто только брался стрелять по ночам в революционеров: это было барселонским решением рабочего вопроса. С тех пор прошло много лет, в Мадриде теперь республика, в Барселоне сеньор Масия. Однако по-прежнему буржуа прячется за спину наемного убийцы.

Каталонские националисты любят всячески расхваливать культурные и социальные достижения их края: «Это не Испания!» Прежде всего они настаивают на малом проценте безграмотности. Это, конечно, похвально, но книги бывают разные, катехизис тоже составляется из печатных букв. В провинции басков чрезвычайно низкий процент безграмотности, однако именно там еще царствуют изуверы в рясах: это край «чудес» и «карлистов». Мы знаем немало народов безграмотных, которые оказались способными на самые радикальные революции, и мы знаем также немало народов вдоволь грамотных, которые терпят над собой самое грубое насилие.

Другой довод местных патриотов: «Наши крестьяне, не в пример крестьянам Испании, живут припеваючи». Правда, Каталония не Эстремадура, но и здесь крестьяне закабалены помещиками. Земля под виноградники сдается в аренду сроком на пятьдесят лет. Половину урожая получает владелец. Он, конечно, может жить припеваючи, любить приезжих француженок и пить в кафе «Колон» коктейли, он, но не крестьяне.

Главная гордость каталонцев — индустрия. В стране, где только скалы, ослы, ветряные мельницы и адвокаты, Барселона — Манчестер. Полковник Масия, требуя до апреля независимости Каталонии, явно забывал о значении этих труб. Без испанского рынка Каталония тотчас же зачахнет. Ее индустрию приходится ограждать не только гвардейцами, но и заградительными пошлинами. Фабрики оборудованы плохо. Рабочий получает семь-восемь песет в день — вдвое, а то и втрое меньше, нежели французский рабочий. Живут рабочие мизерно: несколько семейств в одной квартире. Газ стоит дорого, и готовить приходится на жаровнях. Женщина весь день возится вокруг капризных угольков. На обед и на ужин все то же косидо.

Бани не по карману. Бифштекс — роскошь. Кино — разгул. Я говорил с одним рабочим. Это механик, он работает на ткацкой фабрике в качестве мастера. Он получает шестьдесят две песеты в неделю. До апреля он работал за границей: в Бельгии, в Германии, во Франции. Там он работал как простой рабочий, но жилось ему много лучше. Дешевизной своего труда он должен покрывать и плохое качество машин, и невежество инженеров, и вороватость управляющих. Площадь Каталунья с флагами и со световыми рекламами, с шикарными кафе и с парадными фасадами банков кажется площадью большого современного города. Барселона готова соперничать не только с Марселем, но даже с Парижем. Все это, разумеется, блеф, все это оплачено нищенским бытом девяти десятых населения.

Каталонский буржуа не только труслив и безграмотен, он исключительно безвкусен. Он не способен даже на приятную дрему мадридского кабальеро. Мадрид — столица деревенской Испании. Барселона — это только провинция Европы, провинция, от которой достаточно далеко до подлинного центра. Пригороды, заселенные барселонской буржуазией, по своей пошлости кажутся нарочными: здесь перепутаны все стили и полуо́строва и мира, «мудехар» Андалусии и «модерн» Мюнхена, если угодно, это стиль песеты — даже фонарь должен твердить о богатстве хозяина. Буржуа доказывает все всесилие своей фантазии: ему удалось перекричать природные красоты, пристыдить море, отвести прочь горы.

По вечерам, закончив труды, он гуляет на Рамбле — это парадные бульвары Барселоны. Изредка забастовщики с песнями и с револьверами доходят до Рамбле. Тогда мгновенно спадает толпа: только треуголки и каскетки. Час спустя франтоватые сеньоры снова толкутся взад и вперед. Они толкутся до трех утра. По словам местных франкофилов, это «настоящий Монмартр».

От Рамбле пять минут до Китайского квартала. Тухлая колбаса здесь стоит дороже женщины. Нищета показывает себя без зазора. Сюда ежегодно приезжают французские писатели в поисках «живописного». Трудно сказать, почему рваные юбки Китайского квартала им кажутся убедительней залатанных юбок Бельвилля? Вероятно, это свидетельствует о предельной

апатии и совести и воображения. Китайский квартал — человеческая свалка: проститутки для матросов, крестьяне из Арагона или из Мурсии, которые пришли в Барселону, надеясь на заработки и которые попали в тюрьму на пятнадцать дней за мелкую кражу, безработные, рецидивисты, спившиеся босяки. Все это кишит на узеньких улицах, выискивая медяк или кусок хлеба. Ночью обитатели Китайского квартала сходятся в притон, именуемый «Креолка». Креолок там столько же, сколько китайцев. Босяки и потаскухи танцуют натощак. Хозяин заведения понял авантажи подобной живописности. Журналисты написали несколько подходящих статеек. Теперь в «Креолку» приходят не только французские писатели, но и барселонские буржуа: любоваться нищетой. Лохмотья, припухшие лица, синяки, кровоподтеки. Рядом кабинет хозяина, в кабинете глубокие кресла, как в клубе, и аромат египетских папирос. В кабинете также статуя Богородицы, а перед ней неугасимая лампадка: на деньги, которые хозяин собирает с нищих или с любителей нищеты, он покупает маслице для Святой девы.

Беднота развлекается на Параллели — это широкая улица с кафешантанами, барами и кино. В субботу на Параллель приходят и завсегдатаи Рамбле, чтобы повеселиться «вместе с народом». В цирке показывают «настоящих русских казаков». На арене темно, только мерцает электрический костер. У костра казаки в голубых шелковых кафтанах. Они поют: «Ала-верды». Входит главный казак. На нем, конечно, ярко-малиновый кафтан. Он слушает, как другие поют, и время от времени стреляет из револьвера. Барселонские буржуа ежатся: «Вот что значит настоящая революция!..» Галерка аплодирует — не казакам, но револьверу, галерка любит, когда стреляют и в цирке и на улице.

Рядом с цирком кафешантан «Севилья». Голые жирные женщины ворочаются на эстраде. Вот кто-то в зале не выдержал: начал раздеваться. Карточные столы: крупье обирают приказчиков и рабочих — сегодня суббота, значит, есть что проиграть.

За Параллелью — темь. Рабочий квартал: высокие дома среди пустырей, глухие стены, балконы с бельем, которое вечно сушится, беспризорные ребята, коты.

Блеск Пласа-дель-Каталунья, сутолока Рамбле, шарманки и певцы Параллели создали легенду о мнимой

веселости Барселоны. Все это, включая голых бабенок и босяков «Креолки», в воображении омывается лазоревым морем и посыпается золотом юга. На самом деле Барселона вдоволь трагична. Ее веселье уже сбивается на воскресные прыжки заводных игрушек, которые можно наблюдать в любом европейском городе. Тоска экрана и рупора дошла до Параллели. Искусственное оживление покрывает пустоту и одиночество. Барселона — это разведка Испании: страна добродушная, ленивая и бедная решила заглянуть в чужой мир и в новый век. Это ее передовой пост: в нем немного больше товаров и немного меньше сердечности. Здесь уже незачем философствовать, здесь надо организовывать ячейки и делить план города на столько-то боевых участков: это наш, двадцатый век.

27. ИСПАНСКИЙ ЭПИЛОГ

Это был один из моих последних вечеров в Испании. Барселона не только столица Каталонии, это большой испанский город. Фабричные трубы и политическая путаница притягивают к нему людей из других провинций. Это был, следовательно, эпилог скорее испанский, нежели барселонский. Мы пошли в рабочий кабачок, который посещают главным образом выходцы из Андалусии. Они пьют по стаканчику мансанильи, куда больше они поют. Поют не хором, не за столами, но подымаясь на эстраду, как заправские артисты; поют приказчики, сапожники, почтенные матери многочисленных семейств и молоденькие мастерицы. Поют они фламенко — это звучит безысходно, как широта и нищета Андалусии. Слова — о несчастной любви, но заунывность напева много откровенней — это о несчастной жизни.

Общество наше было достаточно пестрым: коммунист, бывший офицер, участвовавший в заговорах, теперь интеллигент без работы, журналист-каталонец, тот, что «ладит со всеми», нервный скульптор, влюбленный в искусство и твердо верующий, что человечество должно существовать ради гениев, двое рабочих из Кастилии, вожди синдикалистов. Никто из наших не пел. Скульптор, преданный искусству, слушал

песни. Журналист что-то записывал в блокнот. Прочие разговаривали: о своей судьбе, о судьбе Испании.

У одного из рабочих сухие жесткие глаза. Вряд ли он с ними родился. Он просидел сутки в часовне, ожидая казни: смертников в Испании сажали в часовню, чтобы они на прощанье поговорили с Богом. Потом их выводили из часовни, на шею надевали железный обруч, завинчивали винты: это называлось «казнью через удавление». Он сидел в часовне и ждал обруча. К нему пришел священник и начал говорить о милосердии. Тогда смертник сорвал со стены тяжелое распятие и проучил куру. Случайно он спасся от обруча. Он работает теперь на заводе и ждет часа решительного объяснения. Когда он глядит сухими жесткими глазами на журналиста, журналист начинает нервически улыбаться.

Другого зовут Дуррути. Это имя я прежде встречал в газетах — французских и немецких. У Дуррути престранная биография. Все знают, что во время войны была «ничья земля». На эту землю падали снаряды, она была очень печальной землей, но Дуррути должен пожалеть о том, что Версальский договор не оставил хоть пядь земли «ничьей». Тогда у Дуррути был бы дом. Это очень добродушный человек. Когда скульптор говорит о «святости искусства», он не спорит, но улыбается. Так, наверное, он улыбается и своему двухнедельному сыну. Он мог бы быть прекрасным руководителем детской площадки. Однако его боятся, как чумы. Он выслан не то из четырнадцати, не то из восемнадцати государств. Надо сказать, что он все же не руководитель детской площадки, но вождь ФАИ — это означает: «Федерация анархистов Иберии».

Дуррути был приговорен к смертной казни не только в Испании, но еще в Аргентине и в Чили. Французы его арестовали и решили выдать. Спорили только, кому: Испании или Аргентине. На допросах изысканный следователь время от времени проводил рукой по своей шее: он хотел напомнить, что именно ждет Дуррути в Испании или в Аргентине. Дуррути просидел семь месяцев, гадая, кому его выдадут. Пока юристы спорили, в стране началась кампания против выдачи. Дуррути спасся. Его выслали в Бельгию. Из Бельгии его выслали в Германию. Из Германии в Голландию.

Из Голландии в Швейцарию. Из Швейцарии во Францию... Это повторялось по многу раз. Как-то в течение двух недель Дуррути кидали из Франции в Германию и назад: жандармы играли в футбол. Другой раз французские жандармы решили провести бельгийских: двое вступили с бельгийцами в длинную беседу, тем временем автомобиль с живой контрабандой промчался в Брюссель. Дуррути менял, что ни день, паспорта. Он не менял ни профессии, ни убеждений: он продолжал работать на заводе, и он остался анархистом.

После апреля Дуррути вернулся в Испанию. Его арестовали в Хероне: он числился в списках людей, подлежащих задержанию. Следователь, раскрыв папку, несколько смутился: «Дело о покушении на жизнь его величества...» Дуррути пришлось отпустить. Он работает на фабрике, и он выступает на митингах. Наверное, его скоро снова арестуют. «Ничьей земли» больше нет, и трудно сказать, куда он денется со своим младенцем. Враги о нем говорят: «Это честный и отважный человек». Однако никто не хочет, чтобы человек с такими достоинствами жил бы рядом. Некоторые биографии никак не умещаются в истории. Это хорошо знают многие поэты: так встречаются дуло револьвера и теплый висок. Это знают и социальные мечтатели, те, что не умеют вовремя ни покаяться, ни промолчать.

Дуррути по убеждениям анархист. Однако по роду занятий он рабочий. Это предопределяет неизбежный конфликт. Скульптор легко мог бы стать анархистом: от этого ничего не изменилось бы в его жизни, он мог бы по-прежнему презирать человечество и верить в торжество гения. Рабочий знает, что такое организация; сложность производства приучает его к идее порядка; солидарность требует от него дисциплины. Анархизм испанских синдикалистов — это не анархизм кофейных завсегдатаев, которые сочетают Бакунина со Штирнером, безначалие с эротикой и свободу с кутежами. Испанские синдикалисты стоят у станка. Их вожди не пьют и не ходят в притоны Китайского квартала: это своеобразный монастырь с тяжелым уставом. Двадцатый век и здесь взял свое: батраки Андалусии еще мечтают — «не принудить, но убедить». Барселонские синдикалисты уже распрощались с некоторыми иллюзиями прошлого столетия. Недавно они приняли по-

становление о том, что хозяева не должны брать на работу рабочих, которые не состоят в профсоюзе. В другой стране это азбучная истина. В Испании это шло против всех традиций, и это далось с трудом. Анархистам пришлось отказаться от анархии, ревнителям свободы пришлось пойти на насилие. Это было первым шагом. Дуррути теперь стоит за диктатуру рабочих и крестьян. Он может критиковать русскую революцию, но на ней он учится, он и его товарищи, «Конфедерация труда» и рабочие Барселоны.

То, что Дуррути еще лепечет, просто и ясно говорит коммунист: диктатура для него не душевная драма; с нее он начал свою политическую жизнь. Это жесткое слово он умеет произносить с любовью. Слабость партии и обилие ересей его не смущают: «Весной семнадцатого года в России было не очень-то много большевиков...» У него нет ни авторитета Дуррути, ни его романтической биографии, но ему и не нужно это: за него история. У него даже нет имени, это просто коммунист, скромный человек в потертом пиджаке, и это вместе с тем столько-то миллионов. В этом маленьком кафе он сидит как посол, аргументируя странами и эпохами.

На эстраде тем временем один певец сменяет другого. Камереро тоже не выдержал. Он оставил поднос и поднялся на эстраду. Он поет о своих любовных неудачах, поет протяжно, как муэдзин на минарете, поет и одним глазом все присматривает, чтобы не ушел кто, не заплатив за стаканчик. После лакея на эстраду поднялись несколько человек. Среди них молоденькая девушка лет пятнадцати. Они долго и угрюмо бьют в ладоши. Они смотрят на девушку. Они ждут. Девушка медлит. Она упирается. Она сидя стучит каблуками. Потом она срывается с места и начинает плясать, медленно и страстно. Этот жестокий танец не дает выхода чувству, он только возбуждает и томит. Он сразу кончается, как ветер на море. Он спадает в изнеможении. И снова — заунывная песнь.

Теперь все спорят. Скульптор за красоту. Дуррути за свободу. Коммунист за справедливость. Это спор 1931 года. Его сейчас повторяют в разных странах разные люди. Все они сидят и угрюмо бьют в ладоши: когда же начнется?.. В Испании и в Германии, в Ан-

глии и в Индии... На столе газета: каждая строчка — это голод или кровь. Испания долго была в стороне. Она тешила мечтателей и чудаков гордостью, темнотой и одиночеством. Казалось, она вне игры. Так в Америке люди машин и ожесточенного труда устроили заповедник с девственными лесами и с диким зверьем. Однако в Испании не деревья и не звери, но люди. Эти люди хотят жить — так Испания вступает в мир труда, борьбы и ненависти. Она вступает вовремя.

Декабрь 1931 — январь 1932

Испанские репортажи. 1936—1939

БАРСЕЛОНА В АВГУСТЕ 1936

Стоят горячие дни. Город поет: звуки «Интернационала» вылетают из темных узких дворов, ползут по тоннелям метро, забираются на окрестные горы. На Рамбле[1] гарцуют кавалеристы. Проезжают грузовики, наспех обшитые железными листами. Дети несут флаги, прохожие кидают кольца, монеты. Люди с винтовками вывешиваются из автомобилей. На скамьях спят подростки, опоясанные пулеметными лентами. Девушки, осторожно ступая на высоких каблуках, волочат ружья. Повсюду неразобранные баррикады; они еще дышат боем. Осколки стекла, гильзы. В будуарах гостиницы «Колумб» среди мебели рококо — ручные гранаты. У стен домов, на плитах тротуаров, в скверах — груды роз: здесь погибли герои Барселоны. Лихорадка трясет город. Каждый день люди в мечтах берут Сарагосу, освобождают Майорку, врываются в Кордову.

На кузовах такси: «Мы едем в Уэску!» Тюфяки, винтовки, бурдюки с вином. Дружинники на гитарах исполняют гимн «Конфедерации труда» — «Сыновья народа». Они снимаются в широкополых шляпах, с револьверами. Одни называют себя «Чапаевыми», другие — «Панча Вильями»...

Девятнадцатый век еще живет на чердаках и в подвалах этого города. Расклеены воззвания: «Организация антидисциплины». Между двумя перестрелками анархисты спорят о том, как лучше перевоспитать человечество. Один вчера сказал мне:

— Ты знаешь, почему у нас красно-черный флаг? Красный цвет — это борьба. А черный — потому, что человеческая мысль темна.

---

[1] Бульвар в центре Барселоны. *(Примеч. И. Эренбурга.)*

Большие казармы над городом стали казармами имени Бакунина. Бар, где анархисты раздают свое оружие, теперь называется бар «Кропоткин».

Голые дружинники — на них только трусики. Ночью нечем дышать, и ночью город не спит: выстрелы, смех, песни.

Сентябрь 1936

МАДРИД В СЕНТЯБРЕ 1936

Мадрид живет теперь, как на вокзале: все торопятся, кричат, плачут, обнимают друг друга, пьют ледяную воду, задыхаются. Осторожные буржуа уехали за границу. Фашисты ночью постреливают из окон. Фонари выкрашены в синий цвет, но иногда город ночью горит всеми огнями. Может быть, это предательство, может быть, рассеянность.

Фашисты продвигаются из Эстремадуры к столице. На главной улице Мадрида, Алькалá, как всегда, много народу: гуляют, спорят о политике, говорят девушкам комплименты.

Несколько дней тому назад меня повезли за город. Усадьба с античными статуями, с колоннами, с замысловатыми беседками.

— Здесь будет опытно-показательная детская колония...

Мальчик лет восьми играл с ребятами. Когда дети устали и легли на траву, он сказал:

— А папу́ фашисты положили на дорогу, потом они проехали в грузовике. Папе было очень больно...

Руководители колонии спорили о воздействии музыки на детскую психику и о воспитании гармоничного человека.

Писателям отдали особняк одного из мадридских аристократов. В особняке прекрасная библиотека: рукописи классиков, тысячи редчайших изданий. Тридцать лет библиотека была заперта: последний из аристократов не любил утомлять себя серьезным чтением. На его ночном столике нашли детективный роман и французский журнал с фотографиями голых женщин.

В особняке молодые поэты читают свои стихи и спорят о роли искусства.

Во дворце герцога Мединасели — штаб моторизованной бригады. В просторных конюшнях кареты с гербами, а рядом пулеметы. В саду крестьянка и молодой паренек. Голова женщины повязана черным платком. Она спокойно глядит на дружинников. Я не сразу догадался, она глотает слезы.

— Вот, привела второго...

Паренек восхищенно поглядывает на пулеметы. Женщина села на мраморную скамью и, послюнявив нить, стала зашивать рубашку сына.

В огромном зале среди рыцарей, блистающих латами, дружинники читают «Мундо обреро». В кабинете герцога — редакция бригадной газеты. Охрипший человек, еще припудренный пылью Талаверы, диктует:

— «Необходима строжайшая дисциплина...»

На кушетке спит старый майор. Он час назад вернулся с фронта. Во сне он по-детски шевелит губами.

Зал для приемов. У большого рояля дружинник в синих очках. На груди две звездочки. Он играет все вперемешку: Грига, «Интернационал», фламенко. Потом встает, идет прямо на меня, чуть выставив вперед руки.

— Одним глазом все-таки различаю, когда светло. В Сомосьерре...

О чем можно говорить с человеком, который только что потерял зрение? Я говорю о музыке: это традиционно и глупо. Он молчит.

— У вас, в России, придумали много нового. Может быть, ты знаешь, что может делать такой, как я. Если не на фронте — здесь. У меня пальцы стали куда проворней...

Подошли другие дружинники. Они говорят о неприятельской авиации, о боях под Талаверой, о Родригесе, который застрелился, чтобы не сдаться живым. Один дружинник задумчиво сказал:

— Надо научиться умирать...

Слепой рассердился. Он ударил кулаком по столику, и китайский болванчик на столе затрясся.

— Вздор! Умирать в Испании все умеют. Теперь нужно другое: научиться жить...

Он вытер рукавом лоб и тихо говорит мне:

— Может быть, все-таки можно на фронт?..

Сентябрь 1936

НОЧЬЮ НА ДОРОГЕ

Удушливый зной испанского лета. Голая рыжая земля. Деревушки сливаются с камнями. Только на колокольнях, как огонь,— лоскуты кумача. Дома без окон: жизнь прячется от неистового солнца. Дорогу то и дело перерезают баррикады из бочек, из мешков, из деревьев, из соломы. На одной приторно улыбается ангел барокко, на другой паясничает пугало в поповской мурмолке. Крестьяне требуют документы. Некоторые не умеют читать, но все же подолгу вертят бумажонку, любовно разглядывая печать. На овине надпись: «Мы свернем шею генералу Кабанельясу»[1]. Раскрыв рот, крестьянин льет в него тоненькую струйку драгоценной воды. Потом дает кувшин мне:

— Пей, русский!

У него старое охотничье ружье. Он стоит один на посту среди зноя и тишины. Его сыновей расстреляли фашисты.

Мы едем на фронт. Но где фронт? Этого не знает никто. Каменная пустыня Арагона.

— Кто дальше? Наши? Они?

Крестьяне отвечают патетично и сбивчиво. Они проклинают фашистов и суют нам мехи с вином. Они требуют винтовок, и ребята, подымая кулаки, кричат: «Они не пройдут!». На каждом перекрестке мы спрашиваем:

— Дальше кто?

— Наши.

— Нет,— они...

Один крестьянин с голой грудью, на которой белели выжженные солнцем волосы, ткнул вилами в воздух:

— Дальше — война.

Исчезли деревни. Нагромождение камней кажется доисторической архитектурой. Быстро спустилась ночь. По черному небу текут зарницы, и, как гром вдали, грохочут орудия.

Вдруг наша машина остановилась: баррикада. Напрасно мы ищем людей. Мелькнула тень и тотчас скрылась. Кто-то испуганно крикнул:

— Пароль?

— «Бдительность всех».

---

[1] Один из зачинщиков фашистского мятежа. *(Примеч. И. Эренбурга.)*

(Мы не знаем пароля; неуверенно, но настойчиво повторяем старый и чужой пароль.)

Мой спутник вытащил револьвер.

— Что случилось?

На скале люди: они в нас целятся.

Дружинник, который сидел рядом с шофером, выругался. Оставив винтовку, он идет к камням.

— Черт возьми, да это наши!

Крестьяне весело смеются:

— А мы думали — вы фашисты... Мы лежим здесь шестую ночь — караулим фашистов.

— Где теперь фронт?

Они не знают, что ответить: для них фронт повсюду.

Холодный ветер. Крестьяне завернулись в клетчатые одеяла.

— Идите спать.

— Спать нельзя — мы сторожим.

Они говорят о своей жизни. В деревне было четыре фашиста. (Старик перечисляет всех четырех по имени и каждый раз горестно сплевывает.) Помещик-маркиз жил в Мадриде. Управляющий портил девушек. Священник, убегая, потерял возле мельницы крест и брошку с изумрудами.

Старик ворчит:

— Каждый камешек стоит сто песет... А ты знаешь, сколько нам платил управляющий? Пятьдесят сантимов в день. Мясо мы ели только на свадьбах... А теперь...

Он жадно сжал дуло ружья.

— Молотилку взяли, всё взяли — по списку. В воскресенье они приехали. Один в штатском крикнул: «За Святого Иакова!» — это их пароль. Они убили Рамона. Они убили двух мулов. Но мы стреляли — видишь оттуда... И они убрались восвояси.

Крестьяне разобрали баррикаду. Старик дружески хлопает меня по спине:

— До Бухаралоса двенадцать километров. Пароль: «Все ружья на фронт».

Из темноты вынырнул мальчишка. Протирая кулаком сонные глаза, он кричит:

— Они не пройдут!

Может быть, это сын Рамона...

Снова каменная пустыня, ночь и тени, они стерегут жизнь.

Сентябрь 1936

В ТОЛЕДО

Война страшна. Еще страшней игра в войну. На главной улице надпись: «Военная зона. Ходить без оружия строго воспрещается». На площади Сокодовер, перед развалинами Алькасара, кружится плешивая собака. Гостиница, где я жил весной, распотрошена снарядами; на изогнутом полу трясется кровать. Возле мешков с песком, в соломенных креслах или в качалках, сидят дружинники. Над некоторыми раскрыты большие зонтики. Дружинники слушают радио: военные сводки, танго. Потом они хватаются за винтовки и стреляют, не глядя куда. Треск. Звон стекла. Пуля ударила в вывеску «Перманентная завивка».

Есть в городе улицы, которые живут двойной жизнью. Одна сторона под обстрелом фашистов — это «военная зона», на другой — солдаты любезничают с девушками, играют ребята, старухи шьют и вяжут.

В Толедо много гидов. Они показывают туристам дом, где жил Греко, или древнюю синагогу. Теперь они ходят по улице с винтовками. Но по привычке они еще ищут глазами иностранцев и, завидев французского или английского журналиста, дружески советуют:

— Заверните налево — оттуда прекрасный вид на Алькасар.

По черепицам старого дома я пробрался на чердак. Битое стекло, гильзы, кукла. Отсюда Алькасар как на ладони. Это тяжелое мрачное здание. Его стены искромсаны снарядами. Фашисты сидят в подземной части крепости.

Напротив Алькасара — бывший госпиталь Санта-Крус. Фашисты по нему стреляют. Они обезобразили портал — гордость испанского Возрождения. Внутри госпиталя — музей. Под снарядами падают статуи. Я видел в музее Христа, пробитого пулями фашистов. Киноварь на его ребрах казалась свежей кровью. Когда я вышел из госпиталя, я увидел не киноварь — кровь на рубашке сына булочника, маленького Хосе; фашисты его подстрелили, когда он нес матери воду.

В столовой, где обедают дружинники, кто-то написал на стене: «Товарищи, охраняйте иностранцев!» — Толедо (даже умирая) не хочет забыть, что он город туристов. На дверях церкви Сан-Томе налепили бумажку «Собственность народа», и внутри церкви попрежнему извиваются Святители Греко.

Я слышал, как кричат женщины, которых фашисты заперли в подземельях Алькасара. Одни говорят, что они рожают, другие, что они потеряли рассудок.

В городе мало молока. Возле молочных — старые жестянки, ведерца или камешки; их кладут женщины, чтобы пометить свое место в очереди. Ни разу я не видел, чтобы женщины ссорились — чей это камешек?..

В гараже, среди винтовок, мехов с терпким вином и старых молитвенников, советский плакат: «Корова каждому колхознику». Кто знает, как он попал в Толедо?..

В казарме щит с фотографиями заложников: женщины, дети. Над ними написано: «Берегите их, товарищи,— это наши».

— Говорят, завтра будут бомбить Алькасар...

— Нельзя — там жена Хуанито...

Никто не знает, сколько в Алькасаре заложников, но все только и говорят о них.

Один француз сказал мне:

— Все-таки защитники Алькасара герои.

Я вспомнил фотографии на щите и ответил:

— Нет. Трусы.

При вылазке фашисты хватали на улицах Толедо женщин и детей. От гнева народа они скрываются за пеленками и юбками.

Жена одного фашиста попыталась выбраться с двумя детьми из Алькасара. Дружинники опустили винтовки. Раздался выстрел: фашист убил жену своего товарища. Дети добежали до парапета. Одному мальчику десять лет, другому семь. Угрюмые дружинники FAI, которые, встречаясь, говорят друг другу: «Привет и динамит», взяли на руки ребят и отнесли их в столовую.

Шесть гвардейцев убежали ночью из крепости. У них лица утопленников и глухие голоса; кажется, они разучились говорить. Они рассказывают о жизни в Алькасаре. Когда фашистский самолет скидывает провиант, ветчину едят только офицеры. Солдатам они говорят: «Мужайтесь!» Они выгоняют заложников наверх — под обстрел. Дружинники поставили на площади Сокодовер громкоговоритель, но слова сводок не доходят до подземелий Алькасара, и осажденные слышат только беспечные звуки «Марша Риего», прерываемые криками умалишенных. Внизу — трупный смрад: мертвых фашисты закапывают в манеже.

Вчера было перемирие: фашисты захотели причаститься. Мадрид прислал священника. Возле развалин встретились враги. Фашистский офицер сказал:

— Вы негодяй!

— Негодяи вы!

— Мы защищаем идеал.

— Идеал защищаем мы. Мы хотим счастья для всех. А вы хотите счастья только для своей шайки.

— Зато наша шайка лучше вашей. Кстати, вот вы курите, а мы уже давно не курим...

Дружинники раздали свои папиросы. Потом они принесли фашистам лезвия для бритв.

Комендант Алькасара полковник Москардо, тот, что приказал похитить жен республиканцев, оказался хорошим семьянином. Он передал письмо для своей жены.

В штабе один журналист спросил майора Барсело:

— Неужели жена Москардо на свободе?

— Конечно.

— Что это — галантность?

— Нет, великодушие.

История расскажет, кем был этот высокий и томный майор: донкихотом, предателем или дураком.

Фашисты подходят к Македе. Военное положение ухудшается с каждым днем. Если республиканцы не возьмут Алькасар, фашисты ударят в тыл. Решено бомбить Алькасар. Дружинникам сказали, чтобы они отошли на сто метров.

— Нет! Фашисты могут удрать.

Четырнадцать дружинников погибли от республиканских бомб. Они сидели в соломенных креслах и караулили зверя. Игра в войну продолжается с беспечностью, с глупостью, с героизмом.

Под Алькасар закладывают мину. Боец показал мне вход в подземную галерею:

— Здесь я работаю.

У него волосы, седые от пыли, и черные молодые глаза. Он жадно пьет воду — такая жара бывает только в Толедо. Молчат пушки, молчат люди, даже мухи притихли. Потом он говорит мне:

— У меня там жена и двое ребят. Я тебе ничего не скажу про жену — я не знаю твоей жизни. Женщина может изменить, женщине можно изменить. Но ты понимаешь, что значит вот это?..

Он вытащил из кармана фотографию, покрытую пылью и табачной трухой,—две девочки в нарядных воскресных платьях.

Сентябрь 1936

ПОД ТАЛАВЕРОЙ

— Пулемета я не боюсь. В Мадриде мы без винтовок шли на пулеметы. Но когда эта сволочь кружит над тобой час-два... И ничего нельзя сделать... Я тоже не выдержал — побежал...

Он махнул рукой.

Вчера фронт дрогнул под Талаверой. Мы ехали с Рафаэлем Альберти и Марией Тересой Леон на передовые линии. Небо весь день гудело: немецкие бомбардировщики кружили над позициями. Дружинники ругались, стреляли в самолеты из винтовок, а потом убегали.

Деревушка Доминго-Перес. На околице толпятся крестьяне. Они возмущенно кричат: мимо деревни сегодня прошло много дезертиров. Крестьяне хотели их задержать, но дезертиры грозились: «Пустите! Стрелять будем».

Старый крестьянин говорит мне:

— Видишь, вот все, что у нас есть.

Он показывает три охотничьих ружья.

Четыре дружинника — это дорога на Мадрид.

Мария Тереса побежала за ними вдогонку. Она, как всегда, весела и нарядна, похожа на птицу тропиков. В руке крохотный револьвер. Она остановила четырех беглецов. Они отвечают сбивчиво:

— Заблудились...

Один из них, красивый высокий парень, вдруг подымает руку вверх и ругается:

— Сволочи! Кружат, кружат... Чего тут говорить — струсили.

Дезертиры отдали винтовки Марии Тересе и, не глядя друг на друга, зашагали по пыльной дороге.

Крестьяне ругаются, кричат. Женщина, облепленная испуганными ребятишками, подбежала и визжит:

— Таких убить мало!..

Фронт рядом, и деревушка готовится к смерти.

Мария Тереса отстояла дружинников:

— Они будут хорошо драться...

Она шутит с женщинами, ласкает ребятишек. Альберти рассказал крестьянам о доблести дружинников в сьерре, и крестьяне теперь бодро ухмыляются. Вечер. Пастух пригнал овец. Старуха на жаровне печет оладьи. Из темных домов доносится теплое дыхание жизни.

Старый крестьянин жадно смотрит на четыре винтовки, отобранные у беглецов. Он отзывает меня в сторону:

— Ты меня поймешь, ты тоже старый... Дай мне винтовку! Я пойду к Талавере. Вот этот (он показывает на Альберти) — молодой, я ему боюсь сказать... Почему они бегут, как овцы? Молодые. Хотят жить, все равно как, лишь бы жить. Я не убегу. Я буду стрелять. Пусть молодой стоит здесь с моим ружьем, а мне дай винтовку.

Мы проехали мимо поселка Санта-Олалья. По шоссе идут грузовики. Это строительные рабочие Мадрида выслали отряд на фронт. Грузовики остановились. Командир говорит:

— Товарищи, малодушные сегодня побежали. Вы должны исправить дело. Рядом со мной — советский писатель. Он расскажет народам великой страны о вашем мужестве.

Восторженный гул. Потом грохот: батарея рядом. Я жму в темноте сотни горячих рук.

Под утро мы прошли на позиции. Когда затихали пулеметы, слышно было, как стрекочут цикады. Я написал на листке телеграмму: «Положение восстановлено»,— и дал шоферу. Телеграмма не ушла: автомобиль забрали санитары, а утром фашисты снова начали атаку.

За крохотным кустом лежат четыре дружинника. Они пробежали под пулеметным огнем два километра. Это контратака на правом фланге. Занят холмик, потерянный накануне. Я сразу узнал высокого красивого парня, которого чуть не убили крестьяне Доминго Переса. Он любовно сжимает винтовку — потерянную и возвращенную.

Сентябрь 1936

МАЛЬПИКА

Я был в Мальпике весной с Густаво Дураном. Крестьяне тогда злобно косились на замок герцога Ариона; как крепость, он высился над селом. Они

получили землю герцога за выплату. Правительство требовало с них сто десять тысяч песет. Крестьяне голодали и ругались.

Я снова попал на Мальпику. Горячий день сентября. На грядках золотятся огромные дыни. Дружинники, шахтеры из Сиудад-Реаля, динамитом глушат рыбу. Иногда над селом кружат фашистские самолеты. Фронт рядом, и никто не знает, что будет завтра с Мальпикой.

Я узнал моих старых друзей. Они стояли на околице с ружьями. Увидев меня, они подняли кулаки, и алькальд, старый бритый крестьянин с глубокими морщинами вокруг рта, сказал:

— Здравствуй, Эренбург! Теперь мы поведем тебя в замок.

Они вошли в древние ворота торжественно, как победители. Алькальд нес медный подсвечник с огарком.

У герцога Ариона было в одной Мальпике двадцать тысяч гектаров, но у него не было фантазии. Свой замок он украсил пошлыми статуэтками. На его кастрюлях и ночных горшках родовые гербы. В замке сто восемьдесят кастрюль различной формы, но мы не нашли ни одной книги. Герцог Арион приезжал в Мальпику осенью; он устраивал парадные охоты. Он вел статистику подстреленных зайцев. Он молился перед гипсовой Богородицей, одетой в бархатное платьице. Самая пышная комната — ванная; в ней зачем-то стоят четыре плюшевых кресла. В золоченой раме — отчет о королевской охоте 8 августа 1913 года. В этот день зайцев били: его величество король Испании и его светлость князь Херраро. Это было самым важным событием в жизни человека, который правил Мальпикой.

В декабре герцог уезжал; зиму он проводил в Биаррице или в Париже. Крестьяне никуда не уезжали, они ели бобы и проклинали жизнь. Герцог Арион платил крестьянам, которые работали на его земле, одну песету в день. На содержание каждой охотничьей собаки герцог тратил в день две песеты.

Алькальд поднес подсвечник к ночным горшкам. Я спросил:

— Как, по-твоему, жил герцог?

— Он скверно жил. По-моему, собаки и те должны были над ним смеяться.

Когда мы вышли из замка, алькальд послюнявил листок бумаги, прилепил его к дверям и расписался, народное имущество было опечатано.

Под холмом тихо светится Тахо. Сад пахнет миртами. Во всем необычайное спокойствие.

— Теперь мы заживем по-другому. Разве ты не читал, что министр земледелия — коммунист? Это свой человек. Он не станет с нас требовать сто десять тысяч песет. В этом году мы выплатим шесть песет за рабочий день. Если только...

Алькальд не договорил. В темноте посвечивают ружья крестьян.

— Из наших — четырнадцать на фронте. Пошли бы все, но приезжал товарищ из Мадрида, сказал — надо собрать урожай.

Он снова замолк. Цветники. Густой запах юга кружит голову.

Мы прощаемся. Алькальд говорит:

— Нам этот замок ни к чему. Мы напишем правительству, чтобы его отдали писателям. Они будут здесь писать книги. У нас все хотят читать, даже старики.

У алькальда широкая узловатая рука.

За ружьями, за миртами небо густо-оранжевое: это горят предместья Талаверы.

Октябрь 1936

У ДУРРУТИ

Ночь. Дорога из Бахаралоса в Пину. Трупы машин, уничтоженных немецкими самолетами. Бойцы в красно-черных шапчонках спрашивают пароль. Здесь стоит колонна анархиста Дуррути. Дуррути разъезжает в открытом автомобиле с пулеметом: он стреляет по «юнкерсам».

Пять лет назад я спорил с Дуррути о справедливости и свободе. Вечером анархисты собирались в маленьком кафе Барселоны, которое называлось «Tranquilidad» — «Спокойствие». Дуррути ходил весь обвешанный бомбами. Он не был салонным анархистом. Металлист — он днем стоял у станка. Четыре страны приговорили его к смертной казни.

Сторожевая будка — это штаб Дуррути. Он говорит по полевому телефону о подкреплениях. На стене

плакат: «Пейте для аппетита вино негус». Дуррути пьет только воду. У него огромные руки; никогда, кажется, я не видал таких богатырских рук. А улыбается он, как ребенок.

Он показывает мне окопы; это первые окопы, вырытые анархистами. В других колоннах анархисты не хотят рыть окопы, кричат: «Только трусы прячутся в землю!» Кричат, а когда фашисты пускают вперед танки, убегают...

Привезли орудия. Дуррути смеется:

— Через час начнем обстрел Кинто. А ты знаешь, почему?

— Тебе знать, ты командир.

— Здесь дело не в стратегии. Сегодня утром я был в Пине. Маленький мальчик спрашивает меня: «Дуррути, почему фашисты в нас стреляют, а мы молчим?» Раз ребенок так говорит, значит, весь народ это думает. Вот я решил взять да обстрелять Кинто.

Он улыбается: ребенок.

Он начал строить армию. Вчера он отправил четырех дезертиров без штанов в Барселону. Он расстреливает бандитов и трусов. Когда на заседании военного совета кто-нибудь заводит разговор о «принципах», Дуррути в ярости стучит по столу револьвером:

— Здесь не спорят. Здесь воюют.

В Пине выходит газета «Фронт» — орган колонны Дуррути. Ее набирают и печатают под огнем. Дуррути диктует:

«Фашисты получили иностранные самолеты. Они хотят уничтожить испанский народ. Мы сражаемся за Испанию».

Рабочие завода Форда в Барселоне, сторонники CNT и сторонники UGT, прислали бойцам колонны Дуррути грузовики. Я видел, как анархисты, эта древняя вольница Барселоны, обнимали комсомольцев. Они многому научились. Еще на стенах висят плакаты: «Организация антидисциплины», а газета Дуррути пишет: «Да здравствует дисциплина!»

Дуррути подошел к телефону. Ему сообщили о бомбардировке Сьетамо: две немецкие эскадрильи. Волнуясь, он говорит:

— Мы должны создать настоящую армию, не то мы погибнем.

В его штабе десяток иностранных анархистов. Они слетелись, как бабочки на огонь, в эту лачугу, где одна

пишущая машинка среди мешков с песком. Один прервал Дуррути:

— Однако мы сохраним принцип партизанщины...

Дуррути рассвирепел:

— Вздор! Если нужно, мы объявим мобилизацию. Мы введем железную дисциплину. Мы от всего откажемся, только не от победы.

По шоссе медленно, без фар, ползут грузовики.

Октябрь 1936

ВОКРУГ УЭСКИ

С пригорка виден город: собор, сады, дома. Уэска рядом. Оператор Макасеев, прищурив глаз, бормочет:

— Вон отсюда...

Он похож на фотографа, который снимает привередливую красавицу.

Окна, мешки с песком — это пулеметные гнезда. Проволочная паутина. В городе идет привычная жизнь: играют ребята, женщины стирают белье, нарядные фалангисты покрикивают на новобранцев. Иногда раздается выстрел, он кажется неуместным.

За холмиком лежат дружинники, человек двадцать или тридцать.

— Где остальные?

Полдень, жарко. Рядом — крохотная речка, как плотвой, она набита телами: дружинники купаются. На берегу винтовки, рубашки. Два часовых сторожат добро. Отсюда до фашистов пятьдесят метров.

Показались вражеские самолеты. Дружинники повылезли из воды и схватились за винтовки.

Командный пункт. Это крестьянский дом. На чердаке, среди сена, дружинники с биноклями. Внизу женщина, нежно причмокивая, зовет кур. Возле сит на стене следы пуль. Я спрашиваю:

— Почему вы не уехали отсюда?

Она удивленно на меня смотрит:

— А зачем нам уезжать? Вот если они придут, тогда уедем. Они здесь были. Они увели Хесуса. Увели мулов. А теперь здесь наши...

Улыбаясь, она снова идет к курам. Затрещал пулемет.

Деревушка Монфлорид. Старик поит мулов. Женщина раздувает угли жаровни. Девочка лет восьми укачивает младенца. Гудение: оно заполняет сразу все. Мир стал громким и непонятным. Семь «юнкерсов» повисли над деревней. Испуганно кричат мулы. Зазвенело стекло. Девочка по-прежнему качает ребенка: она ничего не поняла. Загорелись нивы, на дома идет жар. Самолеты повернули к Уэске.

В крестьянском доме заседает совет. Щербатый стол. Карта. Крестьяне принесли копченую свинину, они потчуют своих защитников:

— Вот фиамбрес...

Фиамбрес по-испански — холодное мясо. Дружинники теперь словом «фиамбрес» обозначают убитых.

Военный совет обсуждает план атаки Сьетамо. Коммунист Дель Барио угрюмо говорит:

— Мало патронов.

Анархист в красно-черной куртке беспечно водит пальцем по карте.

— Артиллерийской подготовкой займется полковник Хименес...

Полковник Хименес — высокий седой человек лет пятидесяти. Его звали прежде Владимиром Константиновичем Глиноедским. Он когда-то сражался против красных на Урале, долго жил в Париже, работал на заводе, стал коммунистом, а теперь приехал в Испанию как доброволец вместе со своими французскими товарищами. Полковник Хименес рассказывает о своем «бронепоезде» — это две платформы с пулеметами среди мешков.

Штаб помещается в сторожке недалеко от Сьетамо. На соломе спят усталые люди. Командир лежит на тюфяке, небритый, исхудавший, с темными кругами возле глаз.

Мы идем вниз по направлению к Сьетамо. Фашисты открыли огонь. Рядом со мной молоденький лейтенант; он нервничает:

— Зря на вас белая рубашка...

Под деревьями лежат крестьяне Сьетамо. Они ждут победы. Они ушли из деревни после прихода фашистов и увели с собой семьи. Лейтенант ворчит:

— Уходите! Здесь опасно сидеть. Они вас видят.

Крестьяне молчат, но не двигаются с места. Один выругался:

— Банда рогоносцев! Да будь у меня ружье, я сам пошел бы...

Республиканский снаряд попал в колокольню, там пулеметы фашистов. Деревня рядышком. Слышно, как перекликаются петухи: фашисты их еще не съели. Цепь дружинников, пригибаясь, бежит вперед. Пулеметы.

Утро. Развалины Сьетамо. Десяток пленных, пушки, флаг. Убитых кладут в фургон. Старый дружинник, металлист из Барселоны, угрюмо говорит:

— Фиамбрес...

Потом он обнимает меня: это первая победа.

Октябрь 1936

ВЕЧЕРОМ В ГВАДАРРАМЕ

Гвадаррама была кокетливым курортом: источники, сады, панорама. Гавадаррама погибла первой. Из домов, пробитых снарядами, выглядывают остатки человеческого быта: детская кровать, рама от зеркала, манекен для шитья. Под ногами разбитая утварь. Огромная грусть в этой разрушенной форме жизни, ощущение уродства, одиночества, сиротливости.

Фашисты в пятистах шагах. Мы перебегаем серую дорогу; она под оружейным огнем. Серые сумерки. Несвязная, нескончаемая перестрелка.

В политотделе колонны я встретил молодого рыжего крестьянина. На его рукаве были капральские нашивки старой испанской армии. Вместе с четырьмя товарищами он перебежал к республиканцам. Я поднес огарок к его лицу, оно было белым и мертвым. Тусклые глаза ничего не выражали, кроме усталости.

— Я артиллерист. Наша батарея стояла вон на той горе. Я давно хотел перейти, случая не было. Мы стреляли плохо — на перелет. Потом я подбил трех: «Перейдем?» Когда был в госпитале, я нашел флаг: желтую полоску оторвал, красную спрятал. Третьего дня, в среду, я сказал лейтенанту: «Возле мельницы — телка». Он сразу согласился — у нас с харчами было плохо, иногда по четыре дня сидели на одних сухарях. Может быть, и ему захотелось телятины? Я взял трех товарищей, а тут увязался Гонсалес. Он всегда молчал, так что мы не знали, что у него в голове. Я подумал: придется его кокнуть. Прошли мимо постов. Возле мельницы — телка. Вдруг Гонса-

лес говорит мне: «Слушай, Пепе, зачем нам пропадать? Там все-таки наши. Что, если телку к черту, а самим туда махнуть?» Я его обнял. Достал из кармана красную тряпку... Здесь я попросился к батарее: знаю, по какой цели бить.

Дружинники молча его слушали. Потом один вытащил колбасу:

— Ешь, Пепе!

Другой принес мех; вино задумчиво булькало. Дружинники повторяли:

— Пей, Пепе! Тебе нужно встать на ноги.

Я спросил капрала:

— Как тебя звать?

Один из дружинников быстро сказал:

— Не надо печатать — у него там семья.

Капрал сердито замотал головой. Он достал огрызок карандаша и крупными буквами написал свое имя:

— В такое время... Иначе нельзя...

Его голос стал звонким. Он нагнулся к свече, и я увидел живые, горячие глаза.

Октябрь 1936

«КРАСНЫЕ КРЫЛЬЯ»

В глубине палаток загадочно мерцают огни. Тулуза передает музыку для танцев. Люди припоминают, кто розовое зарево над Парижем, кто черные ночи Барселоны. Под навесом ужинают летчики. Они говорят о сегодняшней бомбежке и о давних каникулах: о море, прогулках, девушках. Одного товарища прозвали «Красным дьяволом». Это храбрый и веселый человек.

Земля еще раскалена. Из рук в руки переходит кувшин с водой. В поле — самолеты: как будто это пасутся невиданные животные. Командир Альфонсо Рейес стоит перед планом Уэски. Его карандаш упрямо долбит казармы и сумасшедший дом: там укрепились фашисты. Два летчика следят за ходом карандаша.

— Есть.

Исчезли огни. Тулуза перестала томить людей воспоминаниями. Лагерь спит. Сейчас он кажется той игрой, о которой мы мечтали в детстве.

Под утро сразу стало холодно. Часовые завернулись в одеяла. Один из них три дня тому назад

сражался на стороне мятежников. Он перебежал ночью; была гроза. Теперь он стоит с винтовкой.

— У меня мать в Сарагосе.

На измятой фотографии улыбается старушка в чепце. На обороте каракули: «Красные крылья» — так называется воздушный флот Каталонии.

В четыре часа утра горнист проиграл зорю. Летчики побежали к речке мыться. Раздался треск: четыре самолета вырвались из облака пыли к бледно-оранжевому небу. Это старенькие «бреге». Взошло солнце, и поле теперь кажется кладбищем самолетов. (В Америке называют пустыри, где стоят негодные машины, «кладбищем автомобилей».) Здесь можно увидеть, как летали люди лет двадцать тому назад. А у фашистов «юнкерсы» и «хейнкели»...

Шесть часов утра. Жарко. Взвод выстроился; над лагерем подняли знамя республики. Командир Альфонсо Рейес говорит мне:

— Я коммунист, одиннадцать лет в партии. Я старый кадровый офицер. Я знаю, что такое дисциплина. Но ты видал наши самолеты?..

У него жесткое, костистое лицо и печальная усмешка.

Кругом идет работа: строят ангары, уходит вдаль цементная дорожка; на пустом месте среди безлюдной арагонской сьерры растет аэродром. Возле палаток прикреплены пачки с папиросами: каждый берет сколько хочет.

— У нас все общее...

Кашевар варит рис с красным перцем, и, взобравшись на курятник, орет что есть мочи молодой петушок.

Днем я видел над Уэской четыре самолета. Вокруг них белели небольшие облака: это рвались снаряды фашистских зениток. Республиканцы бомбили казармы и сумасшедший дом третий раз за день.

В шесть часов вечера на аэродроме приземлился старый почтовый самолет. Его кое-как приспособили: увеличили клозетное отверстие и руками скидывают бомбы. Мы подбежали, подняли дверцу. Кровь, яркая на солнце. Стенка пробита пулями. Три немецких истребителя атаковали самолет над Уэской. Летчику удалось приземлиться с запасом бомб. Механик был без чувств, его отнесли в палатку.

Потом заиграл горнист, спустили флаг, быстро упала южная ночь, и снова Тулуза заговорила о другом, беспечном мире.

Молодой бельгиец говорит мне:

— Лететь должен был я. Сказали — в пять. Я поехал в Сариньену к дантисту. Выхожу, а шофера нет, он пошел за покупками. Еле достал машину. Приехал в четверть шестого. Вместо меня полетел он. Я не могу об этом думать...

Он думает только об этом. Как помешанный он бродит вокруг палатки, где лежит раненый испанец.

Снова утро.

Механика решили отправить в Барселону. Солнце уже высоко. Зной. Носилки не проходят в дверцу. Раненый корчится от боли. Подошли кинооператоры. Собрав силы, он улыбнулся. Мне сказали потом, что у него отняли ногу. Но на экране он весело разговаривает, улыбается. Никто из зрителей не знает, чего ему стоила эта улыбка.

Под Уэской фашисты держались на Монте-Арагон. Дружинники медленно окружали высоту; когда они ее окружили, наступило затишье. У фашистов было вдоволь провианта и боеприпасов, а необстрелянные дружинники боялись пулеметного огня. Тогда Рейес приказал бомбить Монте-Арагон. Двадцать четыре ветхих самолета повисли над горой. Они улетели в Сариньену за бомбами. Когда они снова показались над высотой, фашисты выкинули белый флаг.

В Барселоне дружинники несли трофеи: желто-красное знамя, взятое на Монте-Арагон. Женщины кидали победителям цветы. В тот самый час самолеты «Красных крыльев» над Уэской боролись с вражескими истребителями.

Шесть раз в день эти люди вылетают навстречу смерти. У самолетов старые и слабые моторы. У летчиков храбрые сердца.

Октябрь 1936

БАРСЕЛОНА В ОКТЯБРЕ 1936

Ясные осенние дни. По Пасео-де-Грасия проходят дружинники; они учатся маршировать. Я видел похороны бойца. Прохожие молча салютовали поднятыми кулаками. Все повторяют одно слово: «Мадрид». Беспечная Барселона, город легкой жизни и удали, прислушивается: это война. На стенах плакаты: нога

в тапочке (обувь испанских крестьян) наступает на свастику. В горах Арагона уже выпал снег. Сапожники торопятся: трудно бойцам в тапочках...

На заводе «Испано-Суиза» переплавляют колокола, разбитые народом в июльские дни. Медлительные рабочие Барселоны теперь поторапливают друг друга:

— Мадрид...

Я не забуду одной женщины. Она быстро укладывала патроны. Инженер, улыбнувшись, спросил:

— Для мужа?

Не отрываясь от работы, она ответила:

— Нет. Мужа убили. Для других.

В казармах имени Бакунина висит плакат: «Товарищи, необходима строгая дисциплина!»

Художники раскрашивают агитпоезд: пузатый священник, лихой генерал, рабочий с непомерно большим молотом. Я поглядел и вспомнил свою молодость: Киев, агитпароход, жену на подмостках с кистями...

В школе для командного состава полковник читает лекцию о тактике. «Колонны» умирают, рождаются дивизии.

Как всегда, переполнены террасы кафе. Проносятся трамваи, красно-черные такси. В магазинах продавщицы не успевают завертывать кофейники, галстуки, конфеты. Женщины несут в сберегательные кассы отложенные песеты. Газетчики выкрикивают названия двадцати газет. Барселона еще не узнала горестей войны. Но вдруг как ветер врывается тревога:

— Мадрид...

6 октября. Два года тому назад пушки Хиля Роблеса раздавили свободу Каталонии. Легионеры Лерруса залили кровью Астурию. Сегодня столица революционной Каталонии празднует вторую годовщину восстания.

С утра зарядил дождь; под дождем идут сотни тысяч людей. «Интернационал». Его играют не так, как в Москве. Вариации пронзительны, судорожны, полны скорби и задора. Идут дружинники с каталонскими знаменами; комсомолки в синих блузах, дети Мадрида, беженцы из Ируна. Идут фронтовики, обветренные и запыленные. Идут раненые.

А на вокзале сутолока: отряды уезжают в Мадрид. Это горький праздник. Барселона, сытая и спокойная, вздрагивает. Руководители колонн останавливаются, кричат:

— ¡No pasarán! (Они не пройдут!)

Толпа трижды отвечает:

— ¡No! ¡No! ¡No! (Нет!)

7 октября мне пришлось уехать на несколько недель во Францию. Смеркалось. На выступе скалы я разобрал три буквы: «UHP» — это было возле самой границы. Автомобиль остановился. На горном перевале была буря, и холодный ветер бил в лицо. Французский пограничник спросил:

— Что там?

Мне хотелось ответить: «Там жизнь»,— я не мог уйти из мира борьбы, ненависти, отваги. Жизнь оставалась по ту сторону шлагбаума. Испанец, который довез меня до границы, поднял кулак и крикнул: «¡No pasarán!» — на пустой дороге среди сумерек и ветра.

Октябрь 1936

ХУДОЖНИК ГОМЕС

Это было на террасе большого кафе в Барселоне. Мануэль Труэба рассказывал о кольце вокруг Уэски: «У них теперь одна дорога — на Хаку, но и она под огнем». Он не успел побриться. На его штанах рыжела сухая глина. Взяв карточку, он спросил официанта: «Соус какой?» С жаром он заговорил о соусах. К нашему столику подходили официанты, повара, судомойки. Они жали руку Труэбе и спрашивали его о штурме Монте-Арагона. Я узнал, что Труэба был прежде поваром. Он стал политкомиссаром первой дивизии.

По дороге в Толедо я встретился с моим старым приятелем музыкантом Дураном. Весной мы говорили с ним о Прокофьеве и Шостаковиче. Теперь он формировал моторизованную бригаду. Мы говорили об автоматических ружьях. Когда фашисты двинулись от Толедо к Мадриду, двести дружинников бригады Дурана остановили врага возле Бургоса.

На Талаверском фронте я видел одного дружинника. Он швырял ручные гранаты в фашистов. Я спросил: «Ты шахтер?» Он хмуро ответил: «Я дружинник».— «А прежде?» Тогда он пробормотал: «Прежде я был золотошвеем, делал позументы для этих бандитов». Он злобно отряхнулся и, как редкое сокровище, как дар жизни, сжал в руке гранату.

19 июля на площадке памятника Колумбу в Барселоне стояли пулеметы. Они косили людей. Широкий проспект был пуст. Вдруг из подворотни выбежал молодой человек с красивым смуглым лицом. Он подбежал к памятнику. За ним побежали другие. Они бежали под жестоким огнем. Они вскарабкались на верхушку высокой колонны и овладели пулеметами. Молодой человек с красивым смуглым лицом был художник Элиос Гомес.

Я видел Гомеса, когда он приехал с Майорки. Он рассказывал о жестоких боях, о бомбежке, о победах. Потом, на минуту улыбнувшись, он заговорил о Москве, о художниках, о театре Мейерхольда, о друзьях. Память о нашей стране придавала ему бодрость в те трудные дни, когда итальянские «капрони» висли над людьми, беспомощно сжимавшими старые охотничьи ружья.

Я провел с Гомесом два дня. Он ехал на фронт к Кордове. Он был веселым и живым человеком, шутил с девушками, хвалил терпкое вино Куэнки и взволнованно говорил о живописи. Он жадно любил жизнь. Может быть, поэтому он рвался навстречу смерти.

Наш автомобиль остановился: на мосту горел грузовик с патронами. Жар доходил до нас, как дыхание огромного зверя. Гомес сказал мне: «Мой отец был секретарем профсоюза пробочников в Севилье. Он работал на фабрике тридцать лет. У нас был маленький домик. Мы его назвали «Rusia» — «Россия». Они брали в Севилье каждый дом: рабочие защищались как могли — с топорами, с ножами. Легионеры убили отца на глазах у матери. Мать и младшая сестренка убежали в Эстремадуру. Я не знаю, что с ними стало...» Он отвернулся. Потом снова поглядел на меня. Белки глаз сверкали на оливковом лице. Он просто сказал: «Теперь надо взять Кордову».

Октябрь 1936

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Они пришли сюда с разных концов света: из Италии, из Норвегии, из Канады, из Болгарии. Они не могут разговаривать друг с другом: поют вместе и смеются. Старики и подростки; каменщики и музы-

канты. В деревнях женщины со слезами на глазах обнимают этих чужестранцев.

Когда-нибудь уцелевший герой напишет книгу о мужестве и братстве; это будет история интернациональных бригад. Я пишу наспех в грузовике. Рядом наборщик парижанин набирает статью по-немецки. Ночь, звезды. Французы поужинали и на мисках вызванивают «Карманьолу».

Белорус из Столбцов. Он был семинаристом. Родители звали его «выродком». Он прочел в польской газете: «Преступные эмигранты сражаются в Испании на стороне красных». Он раздобыл паспорт и деньги на билет. Теперь он лейтенант.

Чахоточный еврей из Львова. По профессии портной. Ему двадцать два года, три из них он просидел в тюрьме. Он приехал в Париж, спрятавшись под товарным вагоном. Вылез весь черный. Его арестовали. Он просидел неделю, а потом снова залез под вагон и доехал до испанской границы. Недавно возле Лас-Росаса он взял в плен двух марокканцев.

Итальянец. Ему пятьдесят четыре года. Конторщик. Когда оратор говорит, он одобрительно кивает головой. Худой, с тощей козлиной бородкой:

— Это моя вторая революция. Первую я встретил в Тамбовской губернии. Я из Триеста и был военнопленным. Потом работал во Франции. Надеюсь, доживу до третьей — дома.

Француз. Лавочник из Тулузы. Однажды он прочитал в газете о детях Мадрида, убитых германскими летчиками. Он запер лавчонку, написал на двери: «Закрыто до полной победы испанского народа», и уехал в Барселону. Под Мадридом ранен в плечо.

— Скоро поправлюсь, и назад, на фронт.

Немец. Приват-доцент. Изучал водоросли. Командир роты. Отбил у неприятеля два пулемета.

Бельгиец. Шахтер. Сорок четыре года. Оставил дома жену и пятерых ребят.

— В Валенсии противно было — сколько молодых шляются по улицам! Хорошо, наверно, в Астурии: там наши, горняки, эти умеют умирать...

Они не уходят с позиций: есть патроны — стреляй.

В морозные ночи бойцы спят без одеял под звездами. Раненые на перевязочных пунктах сжимают зубы, чтобы не кричать. Умирая, люди подымают кулаки.

Свои части они называют именами героев и мучеников: Домбровский, Гарибальди, Тельман, Либкнехт, Андре.

В полуразрушенной церкви при чахлом свете фонарика пять человек составляют газету артиллеристов. Это газета на пяти языках. Одна статья по-французски, другая по-итальянски, третья по-испански, четвертая по-немецки, пятая по-польски. Наборщик не понимает слов. Иногда он радостно улыбается, увидев нечто знакомое — «фашисты», «Мадрид», «Интернационал».

В пустой морозной лачуге комиссар допрашивает провинившегося:

— Ты был пьян в стельку. Нам таких не нужно. Батальон постановил отправить тебя назад во Францию.

Боец молчит. Это молодой металлист из Сент-Этьена. У него лицо широкое и приветливое. Наконец он отвечает:

— Не отсылай! Слышишь, не отсылай! Я не поеду. Я приехал, чтобы сражаться... Я сам знаю, что я наделал. Если надо, расстреляйте меня, пусть другим будет пример... Только не отсылай. Если отошлешь, я покончу с собой. Пошли меня в разведку — к ним. На смерть, все равно что, только не назад!..

По его широкому лицу, созданному для улыбки, текут слезы. Комиссар отвернулся.

— Хорошо, пересмотрим.

Дружинник вытер глаза и, вытянувшись по-военному, поднял мокрый кулак.

В маленькой деревушке итальянский батальон устроил праздник для крестьян. Бойцы пели песни Неаполя и Венеции, показывали фокусы, танцевали. Потом на экране Чапаев спел песню о черном вороне. Командир — седой итальянец — сказал речь:

— Привет тебе, красное знамя! Под ним победил Чапаев. Под ним мы деремся за Мадрид. Под ним отпразднуем победу в нашем Риме.

Бойцы в ответ запели любимую песню итальянских рабочих «Красное знамя победит».

Испанка с изможденным острым лицом подняла вверх ребенка и крикнула:

— Победит!

Декабрь 1936

МАДРИД В ДЕКАБРЕ 1936

Это был город ленивый и беззаботный. На Пуэрто-дель-Соль верещали газетчики и продавцы галстуков. Волоокие красавицы прогуливались по Алькала. В кафе «Гранха» политики с утра до ночи спорили о преимуществах различных конституций и пили кофе с молоком. Писатель Рамон Гомес де ла Серна прославлял цирк, газовые фонари и мадридскую толкучку. Возле небоскребов Гран-Виа кричали ослы, а чистильщики сапог напевали сентиментальные романсы. Это был город, он стал фронтом. Война вошла в него, война сделалась бытом, смерть — подробностью.

На улицах, которые никто не подметает,— осколки снарядов, обрывки старых афиш, сор. Рано утром возле костров греются женщины и солдаты. Длинные очереди у булочных, молочных. Развалины дома, черные впадины окон. Рядом другой дом, еще живой. В окне человек, он аккуратно завязывает галстук. Острый мадридский холод. Угля нет, нигде не топят.

В кафе, морозных и накуренных, мадридцы смеются. Они не разучились шутить. Газеты выходят вовремя, и газетчики с раннего утра на своих постах. Газеты куцые — две полосы: нет бумаги. Поэты издали сборник революционных стихов. Стихи написаны, набраны и напечатаны в двух километрах от фашистских окопов.

В роскошных ресторанах — овчины солдат. Официанты изысканно подают похлебку из чечевицы. Иногда вместо чечевицы горох. В гостиницах, где останавливались банкиры и примадонны, лежат раненые.

Стекла оклеены тонкими полосками бумаги. Они похожи на тюремные решетки. Много окон без стекол.

Я видел, как девушка покупала флакон духов.

Подвалы Мадрида стали катакомбами. В них бойко трещат «ундервуды».

Улицы незаметно переходят в окопы. Кричит старуха, она продает лотерейные билеты. Я шел задумавшись, я еще слышал ее хриплый голос. Завернул за угол — пулемет.

Ночью город кажется полем. Вдруг фары вытаскивают из темноты колонну, фонтан, дерево. Города не видно, он только смутно чувствуется: дворцы, площади, перспективы.

Каждый день бомбы сносят дома. Вчера я видел на улице человека с лесенкой. Он нес ведро и обои: кому-то пришло в голову заново оклеить комнату.

Туманный декабрьский день. Рабочий квартал — Тетуан. Скучные домишки: темно, холодно. Лавочки с седлами, с капустой, с бусами. Старьевщик. Цирюльник возле крохотного оконца бреет солдата. Дети, много шумных проворных детей.

Переулок Рафаэля Салилья. Сегодня немецкий самолет скинул здесь бомбу. Переулка больше нет: развалины, земля, мусор. Пожарные. Вот они вытащили два трупа — старуха и девочка. У девочки нет ног. А лицо спокойное. Кажется, что это разбитая кукла. Позади кричит молодая женщина. Потом она сразу замолкает, лицо окаменело, она молча стоит, выпростав руки. Ее хотят увести; это мать убитой девочки. Но она не двигается. К ней подошел рабочий в замаранной известкой куртке. Тогда она как скошенная упала на мусор.

Увезли девяносто шесть трупов. Ищут еще. В уцелевшем окне разрушенного дома швейная машина с голубенькой тряпкой. Старик нашел в мусоре портрет. Он что-то приговаривает и тащит портрет в сторону. Это столяр. Его жена и дочь погибли.

На носилках несут труп беременной. Большой живот. Лицо покрыто бурыми сгустками.

О чем писать? Снова и снова кричать в телефонную трубку, что фашисты звери? Но это знают все: каждый камень Мадрида, каждый воробей в его уцелевших садах.

Из Тетуана — дальше... Здесь начинаются окопы. Здесь дерутся за Мадрид.

Декабрь 1936

БАРСЕЛОНА В ФЕВРАЛЕ 1937

Барселона жила весело и беззаботно. По Рамбле гуляли молодые люди в щегольской форме. Рестораны, кокетливо прибедняясь, подавали «военные завтраки» из четырех блюд. В ночных кабаре полуголые шансонетки прославляли «павших героев». Пятнадцать газет различных партий и подпартий рассуждали о мировой политике. На стенах пестрели плакаты: «Читай анархистские книги, и ты станешь человеком»,

или: «Во имя человеческого достоинства не дари своим детям игрушечных солдатиков». Германские летчики тем временем разрушали Мадрид, и полчища чернорубашечников ползли из Малаги к Альмерии.

Вчера орудия фашистского корабля напомнили Барселоне о том, что на дворе война. Был хороший, теплый вечер. Молодые люди, как всегда, гуляли по Рамбле. Как всегда, были переполнены кафе, рестораны, кино. Люди глядели на подвиги чикагских гангстеров или мирно пили в кафе «Экспресс». Вдруг раздалось мяукание, потом грохот. Еще и еще... Завыли сирены. Город сразу стал черным, врос в ночь.

Час спустя я бродил среди камней, мусора, битого стекла. Гудели санитарные машины. На носилках несли молодую женщину. Старик в крови стонал.

Много раз я наблюдал, как испанцы смотрели фильм «Мы из Кронштадта». Когда человек с камнем на шее швыряет в воду гитару, зрители неизменно смеялись: они не могли поверить, что кронштадтских моряков кинут в воду. Потом они ожидали: сейчас выплывут! Когда показывался единственный уцелевший, они одобрительно смеялись: они знали заранее, что он спасется. Они ожидали спасения других. Я рассказываю об этом потому, что трудно понять военную карту Испании, не зная исконной беззаботности ее народа. Мадрид пережил свою драму задолго до того, как первые бомбы начали уничтожать его дома: в те дни, когда марокканцы шли от Талаверы, от Македы, от Толедо к его заставам и когда молодые люди в щегольской форме с семи до девяти вечера гуляли по Алькала. Снаряды и бомбы пробудили Мадрид. Фашисты уже разрабатывали программу празднества по случаю взятия столицы, а Мадрид очнулся Верденом Испанской республики.

Развалины домов и стоны раненых сделали свое дело. Эпоха пестрых флагов, красивых лозунгов, беззаботного оптимизма кончилась и для Барселоны.

Февраль 1937

МАЛАГА

Простоволосая женщина глядела на меня большими незрячими глазами. Иногда она чуть шевелила губами. Я боялся спросить,что она делает одна на

дороге возле узла с тряпьем. Из будки сторожа вышла девочка лет трех. Она смешно ступала чересчур пухлыми голыми ногами. Тогда женщина всполошилась. Оглядываясь по сторонам, она начала руками ловить воздух. Сторож вышел, увел девочку и шепнул мне:

— Она из Малаги. Ее детей убили.

Малага!.. Это название было связано с вином — темным, приторно-сладким. На берегу синего моря вызревал мелкий сахарный виноград. В городе вдоль улиц росли пальмы. В снежно-белых гостиницах, в виллах с мавританскими фасадами, среди пальм и винограда, жили богатые англичане. Они любили этот город за сладость и покой. Нигде в мире не было ни такого медового вина, ни такого ласкового солнца. Целый квартал был заселен ревматическими негоциантами из Лондона, Ливерпуля или Глазго. Порой они заходили в узкие, темные переулки. Дочки негоциантов щелкали кодаками: они снимали живописную нищету. Там жили рабочие, рыбаки, грузчики: там не было ни пальм, ни мавританских фасадов; жизнь там была голой и черной: лачуги, лохмотья, гаспачьо — суп с поэтическим именем — водица, заправленная ложкой растительного масла. Иногда бастовали грузчики или рыбаки. Зачинщиков сажали в острог, темный и зловонный. Иногда рабочие вытаскивали из трущоб крохотный красный лоскуток. Гражданская гвардия стреляла. В лачугах плакали оборванные, голодные ребята.

Весной прошлого года Малага вздрогнула, очнулась. Люди поверили в жизнь без трущоб, без лохмотьев, без плача голодных детей. Малага послала в кортесы депутата-коммуниста. Поденщики, получавшие в день две песеты, стали получать пять. Безработным дали работу: город начал строить школы, дома для рабочих, ясли. Помещики и жандармы перестали пить малагу: это название казалось им невыносимым. Они добавили к нему эпитет «красная». Этим они хотели унизить город. Но жители Малаги, как и многие испанцы, любили красный цвет. Кроме того, они любили свободу и хотели жить. Они сами стали называть свой город: «Красная Малага».

Ревматики из Ливерпуля уехали прочь: они боялись не то знойного андалусского лета, не то новой жизни, о которой мечтали жители рабочих кварталов.

В июле генерал Кейпо де Льяно приказал офицерам двенадцатого линейного полка, квартировавшего в Ма-

лаге, укротить строптивый город. Солдаты подвели офицеров. Офицеры подвели генерала: Малага осталась красной. Шесть месяцев город, отрезанный от военных центров страны, сражался против фашистов. В Малаге не было ни подлинного командования, ни дисциплинированной армии. На седьмой месяц в Кадисе высадились итальянцы. Они привезли артиллерию и танки. Римским разбойникам мерещилась новая Абиссиния. «Герои» Капоретто[1], которых били все регулярные армии мира и которые гордились своей победой над безоружными эфиопами, решили дать генеральный бой грузчикам и рыбакам Малаги. Они заручились поддержкой на стороне: германские линкоры курсировали возле берега; германские самолеты летали над городом. Итальянцы погнали вперед злосчастных марокканцев. Для успокоения членов лондонского комитета в обозе ехал военный губернатор Малаги, он же герцог Севильи, а два тощих фалангиста поддерживали знамя монархической Испании. Войдя в город, итальянцы повесили возле статуи Святой Девы свой флаг, скрестив его с черной свастикой союзников.

Иностранных журналистов в город не впустили. Им отвели прекрасный особняк в предместье: «Там сейчас еще опасно — идет чистка...» На пароходе «Кановас» фалангисты нашли своих друзей — арестованных фашистов: республиканцы, отступая, не расстреляли пленных. Вероятно, поэтому генерал Кейпо де Льяно приказал покарать «красных убийц». Впрочем, ни итальянцы, ни легионеры не нуждались в советах. С пением «Джовинецы» итальянцы прошли по нарядному проспекту Маркес-дель-Рио. Легионеры и марокканцы предпочли рабочие окраины. Они не пели пышные гимны, они били жалкую утварь, жгли столы и курятники. Они выводили мужчин на улицу и, глумясь, расстреливали: итальянцы привезли вдоволь патронов. Они бились об заклад, кто стреляет лучше. Выигравший хватал жену или дочь расстрелянного. Маленькая речка Гвальдальмолина была запружена трупами. Проходя по главной улице города, итальянские офицеры ногами откидывали тела мертвых. Потом герцог Севильи (он же губернатор Малаги) приказал «подме-

---

[1] При Капоретто итальянские войска понесли поражение во время первой мировой войны. *(Примеч. И. Эренбурга.)*

сти главные улицы и открыть полевые суды» — в порт зашел английский крейсер.

На площади Сан-Педро фалангисты развели большой костер: они жгли трупы. Они стали сразу ревнителями правосудия: «Никаких расстрелов без суда». За три дня они арестовали восемь тысяч человек.

Бойцы ушли из Малаги. С ними ушли сорок тысяч женщин и детей. Фашисты схватили дедушку секретаря профсоюза булочников, племянницу убитого дружинника. В день судили до трехсот человек. Писцы не успевали записывать имена приговоренных к расстрелу. На первом заседании суда одна женщина, обливаясь слезами, сказала:

— Я ни в чем не повинна. Я только стирала белье.

Старик крикнул: «Звери!» Офицеры не спорили, они торопились: «Расстрелять». Председатель суда, зевая, сказал:

— Следующий.

Корреспондент «Пополо д'Италиа» синьор Барзини отправил в свою редакцию радиограмму: «Суд работает согласно всем принципам гуманности. Будут уничтожены только зачинщики и преступники».

Может быть, по дороге на телеграф он встретил прачку Инкарнасион Хименес, которую как «зачинщика и преступника» фалангисты вели к стенке?..

Среди скал толпились беженцы. Шли старики, больные, женщины. На плечах тащили детей. Над толпами, обезумевшими от страха, кружились самолеты. Летчики генерала Фаупеля показали чудеса храбрости: на бреющем полете они косили детей. Они чистили Испанию от испанского народа: из детей могут вырасти марксисты, а это хлопотно и опасно.

Бесноватый генерал Кейпо де Льяно объявил по радио: «Все население Малаги встретило нас с восторгом. Женщины целовали руки моим храбрым ребятам».

Кто целовал руки легионеров, ваше высокопревосходительство? Может быть, те, кто убегал через горы под огнем германских самолетов? Может быть, расстрелянные, чьи трупы смутили даже герцога Севильи? Может быть, восемь тысяч арестованных? Или прачка Инкарнасион Хименес, которую ваши храбрые легионеры расстреляли за то, что она стирала лазаретные простыни?

Я видел одного человека оттуда: женщину на дороге. Она не могла ничего рассказать. Она не могла

говорить. Она не могла понять, что ее двух девочек убили возле Мотриля. Я видел ее глаза; я знаю, что фашисты сделали с Малагой.

Это знает вся Испания. Это знают герои Мадрида, готовые скорее умереть, нежели отступить. Это знают чересчур беспечные Валенсия и Барселона с их кафе, с политическими дебатами, с пестрыми эмблемами и радужными проектами. Толпы на улицах требуют мобилизации. Вся Испания становится тем Мадридом, под которым фашисты стоят уже сто дней. Кровь красной Малаги оказалась едкой: она разбудила страну.

Февраль 1937

ПОД ТЕРУЭЛЕМ

Восьмой день в агитмашине. Кино: «Чапаев», «Мы из Кронштадта», «Микки-Маус» — мышонок, который защищает свой дом от черного злого кота. «Американка». Пако набирает газету «Наступление». Я забыл, что на свете есть письменный стол.

Скалы кажутся развалинами, как будто орудия иной планеты долго громили землю. Вместо Росинанта — осел, а на всаднике короткие панталоны, сто раз залатанные. Он привез пакет: маршрут агитмашины.

«Чапаев». Когда белые убивают часовых, бойцы — крестьяне Арагона — не могут вытерпеть. Они будят часовых:

— Товарищи, проснитесь!

Потом отряд принимает резолюцию: «Усилить бдительность». Ночью никто не спит: караулят.

Снова камни. Бедный, незаселенный край. Лачуги обмазаны известью. Вот сто лачуг, между ними ухабы, мокрая глина, тощая черная свинья. Это город Алеага. И снова камни. Редко среди них увидишь травинку. Овцы, пастух. Он поет заунывно, неотвязно. Так же сиротливо здесь пел пастух сто лет тому назад, тысячу лет — до республики, до королевства, до арабов, до римлян. Вдруг в небе три «юнкерса». Овцы сбиваются в теплый мохнатый клубок. Пастух испуганно смотрит наверх. Вот он и встретился с новым веком! Он стар, темен и молчалив, как сьерра Арагона.

Среди камней — мертвый марокканец. Его рот приоткрыт, кажется, что он еще дышит. В разрыве

облаков показывается солнце и тотчас исчезает. В деревне Альфамбра стоит батальон. Нет ни вина, ни мяса, ни кофе. Острый холод. Согреться негде.

Переполох — у старого Педро пропала свинья; здесь проходили анархисты из «Железной колонны».

— Свинья!..

Педро не может успокоиться. Крестьяне бедные, все их богатство — одна или две свиньи.

Женщины разожгли хворост. Они греют свои узловатые руки и громко вздыхают. Солдаты медленно жуют хлеб. Один рассказывает:

— Пропустил ленту, а пулемет стоп... Мы за гранаты... А они...

Вечером в церкви кино. Среди Святых барокко несется тройка Чапаева. Бойцы смеются, аплодируют, топочут ногами; им весело и холодно. Потом ко мне подходит Педро — тот самый, у которого пропала свинья.

— Сеньор, пожалуйста, поблагодарите командира Чапаева за благородный пример.

— Ты разве не видел, что Чапаев умер?

Он растерян, о чем-то думает. Он мнет в руке засаленный берет. Я вижу, как на его голове трясется седая косичка. Потом он говорит:

— Тогда поблагодарите его заместителя.

Ночью в окопах тихо. Бойцы нервничают, то и дело они хватаются за винтовки. Они жадно всматриваются в туман, зеленоватый от луны. Выстрел. Из тумана выплыл человек. Он идет, подняв руки вверх. На плечах ребенок. Сзади другие тени — женщины, ребята. Эти люди пришли из деревни Санта-Эулалия, занятой фашистами. Они шли две ночи, а день пролежали под камнями. Женщины на руках несли детишек. Я никогда не забуду старуху в черном платке. Опираясь на клюку, в шлепанцах, она прошла сорок пять километров — через горы, через ущелья. Увидев политкомиссара, она улыбнулась запавшим ртом и подняла крохотный детский кулак.

Крестьянин, тот, что привел женщин, угрюмо сказал:

— Я пришел воевать.

Ему дали хлеба. Он заботливо спрятал ломоть и пошел по деревне. Ему говорили: «Нет мяса, нет кофе, нет вина». Он усмехался. Старый Педро, конечно, ему рассказал про свинью. Тогда крестьянин из Санта-Эулалия всполошился:

— Идите сюда!..

Он влез на каменный колодец возле церкви. Солдаты шутили:

— Митинг!

Крестьянин молча шевелил губами. Казалось, он жует припрятанный хлеб. Наконец он крикнул:

— Слушайте!

Все молчали, молчал и он. Солдат в красно-черной шапчонке спросил:

— Что слушать?

— Дураки! Того вам нет, этого нет. А вы понимаете, что там жизни нет?

Солдаты шумно зааплодировали.

Час спустя батальон ушел на позиции. Позади плелся крестьянин из Санта-Эулалия:

— Возьмите меня с собой!

— Нельзя. Надо записаться, пройти обучение.

— Я писать не умею, а стрелять — я стреляю. Я прошлой осенью хорошего кабана подстрелил.

Солдат рассмеялся:

— Ничего, брат, не выйдет. Винтовок нет...

Крестьянин, хитро подмигнув, ответил:

— Я подожду. Вот убьют тебя, я и возьму твою. Женщины — дело другое, а я пришел воевать.

Атака была назначена на пять часов вечера. Бойцы ползут наверх. Ветер сбивает с ног. Фашисты открыли пулеметный огонь.

Белая лачуга среди камней. Вчера здесь ночевали марокканцы. Я подобрал ладанку и нож; на ноже запекшаяся кровь. Политкомиссар рассказал мне, что крестьянин из Санта-Эулалия все же участвовал в атаке. Он ножом убил фашистского капрала. Улыбаясь, комиссар говорит:

— Арагонец... У нас есть пословица: арагонцы гвозди головой забивают.

Декабрь 1936

СУДЬБА АЛЬБАСЕТЕ

Туристы никогда не заезжали в Альбасете: это был город без достопримечательностей. Чем он мог похвастать, кроме шафрана и перочинных ножей? В мехах горячилось местное вино, розоватое

и капризное. На главной улице Калье-Майор кудрявые красавицы сводили с ума захолустных мечтателей. В парке под высокими вязами кричали смуглые дети.

Была лунная ночь февраля, холодная и прозрачная. Весенний ветер еще не доходил с побережья. Старики грели ноги у жаровен и вспоминали прошлое. В кафе доморощенные стратеги толковали о Хараме. Мечтатели рассказывали своим невестам о пулеметах: это были последние вечера перед разлукой. Вдруг прокричала сирена, люди кинулись за город, в поля. Грохот. Женщины в ночных туфлях, старики, закутанные в одеяла, сонные дети — все они побежали по Хаэнской дороге. Пулеметчик «юнкерса» увидел тени. Он стал косить женщин и ребят. Грохот, и десять минут глубокой, невыносимой тишины. Люди, лежа в полях, не говорили друг с другом, они врастали в землю; они хотели жить. Потом снова гудение и снова грохот.

Девять залетов. Свыше ста бомб, фугасных, в двести пятьдесят кило, осколочных, зажигательных. Это началось в девять часов вечера, а последняя бомба была сброшена после двух пополуночи. Шесть часов люди лежали в поле и ждали смерти. Под утро, боясь вымолвить слово, еще не доверяя тишине, люди побрели назад в город. Где-то кричал первый петух. Под ногами хрустело стекло. Огромные воронки казались черными и загадочными.

Кафе, самое большое кафе Альбасете. Мусор, случайно уцелевший сифон, старая афиша: «Бал в Капитолии». Модный магазин, манекен для примерки, без головы и без рук, обыкновенный манекен. Отсюда вытащили женщину — у нее не было ни головы, ни рук, ни ног. Большой пятиэтажный дом; он рассечен снарядом. В воздухе висят комнаты, похожие на театральные декорации. Здесь погибли семь человек. Рабочий дом; ничего не уцелело, только в горшке бледно-зеленый стебелек без цветка. «Мою жену убило осколком...» Вместо потолка — небо, обломки кровати, на полочке бутылка с лекарством. Городской музей. Иберийская скульптура четвертого века. Ее пощадило время, ее покалечили бомбы «юнкерса». Деревянный Христос. Комсомолец говорит мне: «Это я его спас...» На боку Христа новая, свежая рана.

Здесь жили мать и трое детей. Они недавно приехали из Мадрида. Мать говорила соседям: «Я никогда не

уехала бы оттуда, но что поделаешь — дети, а там теперь опасно...» Они все погибли. Рядом жила семья рабочего: отец, мать, шестеро детей. Они ужинали; их засыпало. Девочка двух лет — проломленный череп; розовый, пухлый мальчик — оторваны ноги — под теми самыми вязами, где весело верещала детвора.

Альбасете — небольшой город: сорок пять тысяч жителей. Девяносто два трупа: тридцать шесть женщин, двадцать семь детей.

После страшной ночи не открылись лавки, не вышли газеты: не было электричества. Одна из бомб повредила трубы водопровода, и лазаретные сиделки искали ведро воды. Фашисты приговорили Альбасете к смерти, но Альбасете хотел жить. Рабочие принялись за работу; они восстанавливали поврежденные провода, чинили трубы, расчищали улицы. Все, кто может держать в руке заступ, роют подземные убежища. Ночью по небу рыщут прожекторы. «Юнкерсы» попробовали снова приблизиться, но, увидев прожекторы, повернули назад. Жители вернулись в город; открылись магазины. Калье-Майор под вечер снова пестра и шумлива. Но чернеют раны Альбасете — дома без стен; нигде я не видел столько женщин в черном. Лунная ночь еще жива, и вдруг тяжелое молчание вмешивается в смех под изуродованными вязами.

Когда под утро жители Альбасете молча возвращались в разрушенный город, одна старуха, дойдя до дома, где жил ее внук и где теперь ничего не было, кроме сломанного кресла и красной лужи, выпрямившись, крикнула: «Убийцы!» Ей никто не ответил: люди еще не могли говорить. До этой ночи она была темной старухой, украдкой молилась Богородице и, завидев дружинников, пугливо куталась в черный платок. На следующее утро она пришла в казармы; она сказала часовому: «Пусти! Я могу полы мыть, стряпать, стирать...» Ей шестьдесят три года. Она рассказала мне о внуке, о разрушенном доме, о трех кроликах и, рассказав, подняла кулак. Сложна и необычайна судьба городов, похожа она на судьбу людей.

Февраль 1937

САПОЖНИК ГРЕГО САЛЬВАТОРИ

Сапожник Грего Сальватори из Палермо. С десяти лет он набивал подметки и клал на башмаки бедняков грубые рыжие заплаты. Ему двадцать четыре года. Смелое лицо, правильные черты, глаза живые и горячие. Фашисты выдали ему партийный билет, но он не знает, что напечатано на этом куске картона: читать фашисты его не научили. Он отбывал воинскую повинность в пятьдесят втором полку итальянской армии. Это полк имени Гарибальди.

Рядовому Грего Сальватори говорили: «Фашизм сделал Италию великой». Рядовой вытягивал руки по швам. Кто знает, о чем он думал? О том, что его мать умерла от голода? О том, что у него в Палермо брат и шесть сестренок, которые хотят есть? Может быть, он вспоминал слова сапожника Беппо? Старый Беппо учил Грего набивать подметки. Откладывая молоток, Беппо говорил: «Все люди родятся голыми, сапожники и маркизы. Почему Муссолини убивает коммунистов? Потому что богачи хотят хорошо есть и хорошо спать». На площадях Италии смельчаки еще говорили о «черном позоре». Потом смельчаков послали на Липарские острова. Все притихло. Но сапожник Грего не забыл уроки своего старого учителя.

Вместе с другими итальянцами Грего Сальватори послали в Испанию, чтобы покорить испанский народ. В боях под Гвадалахарой бок о бок с испанскими республиканцами сражался батальон итальянских волонтеров, которые поклялись отстоять свободу братской страны. Этот батальон носит имя Джузеппе Гарибальди. Сапожник Грего Сальватори, который служил в фашистском полку имени Гарибальди, услышал родной язык. Он понял, что перед ним друзья покойного Беппо, и бросил на землю винтовку.

Он говорит мне:

— Я хочу драться против фашистов. Они убили мою мать, они убили мою родину, они послали меня на позор: за маркизов, против своих. Я прошу, чтобы меня приняли в батальон имени Гарибальди. Я не умею читать, но Беппо мне много рассказывал про Гарибальди. Будь Гарибальди жив, никогда фашисты не правили бы Италией!..

Римские разбойники прогадали. Они составили дивизии из безработных, из неудачников, из бедняков

и из всех, кто готов был ехать в Абиссинию прокладывать дороги, рыть землю, таскать камни за кусок хлеба. Обманом они послали в Испанию десятки тысяч пролетариев, которые ненавидят фашизм. С сегодняшнего дня республиканская армия пополнилась новым волонтером; этого волонтера, вопреки постановлению лондонского комитета, доставило в Испанию итальянское правительство. Три итальянских миноносца охраняли судно, на котором везли в Испанию солдата фашистской армии и будущего республиканского волонтера Грего Сальватори. За сапожником последуют другие: виноделы, пастухи, каменщики. Италия не генерал Бергонцоли. Италия — это сапожник Грего Сальватори. Можно поработить народ, нельзя убить его душу.

Март 1937

КАМПЕСИНО — КРЕСТЬЯНСКИЙ КОМАНДИР

Живые, острые глаза. Иногда лукавая усмешка. Говорит горячо и весело. Страсть, потом шутка, потом рассказ, где каждое слово — образ и где не стоит искать границ между фактами и поэзий. С виду похож на араба. Отпустил черную бороду. Сначала балагурит: «Не буду бриться, пока не войдем в Бургос». Потом борода стала мифом. Ее теперь не посмеет коснуться ни один цирюльник. Солдаты говорят: «Борода приказал...» Под Бриуэгой он не мог вытерпеть и сам повел солдат в атаку. Все знают: «Чертовски храбр!»

Хозяйская смекалка: его солдаты всегда хорошо едят. Для привалов он выбирает удобные деревни. Теперь он заботливо подбирает итальянское добро: не пропадать же ему зря!..

Я спрашиваю:

— Сколько ты взял итальянских пулеметов?

Он хитро улыбается и бормочет:

— Так... Несколько...

Он быстро одолел военную науку. В три месяца, пока росла борода, он стал стратегом.

Его имя — Валентино Гонсалес. Но никто не зовет его по имени. Все говорят: «Кампесино», крестьянин. Кампесино и впрямь когда-то был крестьянином, он пас свиней в глухой деревушке Эстремадуры. Потом его призвали на военную службу. Он попал на флот.

Братишка Валентино увлекся анархизмом. Он цитировал Бакунина. Он встретился с коммунистами. У Валентино была крепкая голова, он умел думать. Он стал коммунистом. Его посадили в тюрьму. В тюрьме он пел песни и думал. Шестнадцать месяцев за решеткой были его партшколой. Потом братишка сбежал в Марокко. Документов у него не было. Его разыскивала полиция. Под чужим именем он записался в иностранный легион. Легионеров послали усмирять восставших арабов. Беглый матрос Валентино перешел на сторону повстанцев. Он помогал арабам, которые боролись за свою независимость. Испанцы взяли его в плен. Он перехитрил всех: он выдал себя за легионера, схваченного злыми арабами. Его должны были расстрелять. Вместо этого ему преподнесли цветы. Он вернулся в Испанию и начал пропаганду среди крестьян. Тогда-то он стал «Кампесино». В дни астурийского восстания его схватили, он узнал еще одну тюрьму. Когда начался фашистский мятеж, Кампесино был на севере. Через Бургос и Авилу он пробрался в Мадрид. В Мадриде он набрал кучку смельчаков и пошел в горы. По пять дней дружинники Кампесино сидели без хлеба. Они сами делали гранаты из консервных жестянок; на место убитых приходили новые. Слава Кампесино росла. Теперь он командует бригадой.

Кампесино поручили занять холмы над Бриуэгой. Итальянцы расставили наверху пулеметы. Кампесино шутил с солдатами: «Плюются! А мы им заткнем глотку. Пулеметы, ребята, больно хороши. Вот бы нам!..» Три часа спустя Кампесино был наверху. Он волновался: «А кто войдет в Бриуэгу?», он помнил о своем хозяйстве. Он послал динамитчиков вниз.

Солдаты с гордостью говорят: «Мы — у Кампесино...» Его уважают как командира и любят как товарища. Он знает не только карты штаба, но и душу испанского народа.

Апрель 1937

МАДРИД В АПРЕЛЕ 1937

Пять месяцев, как Мадрид держится. Это обыкновенный большой город, и это самый фантастичный из всех когда-либо бывших фронтов — так снилась

жизнь Гойе. Трамвай, кондуктор, номер, даже мальчишка на буфере. Трамвай доходит до окопов. Недавно возле Северного вокзала стояла батарея. Рядом с ней бродил чудак и продавал галстуки: «Три песеты штука!»

Мебельный магазин. Молодожены прицениваются к зеркальному шкафу. Открыты цветочные магазины: нарциссы, мимозы, фиалки. На Пуэрто-дель-Соль между двумя разрушенными домами — кафе. Там подают апельсиновый сок с ледяной водой. Развалины. Весна, солнце, флаги, шумная толпа на улицах. Бродячие фотографы, чистильщики сапог, коляски с детьми. Перед почтамтом ручные голуби, как всегда, клюют крошки. Длинные очереди. Длинные и страстные разговоры о фунте картошки, о бутылке масла.

Никто больше не смотрит в небо, где звезды и самолеты. Город громят орудия. Привыкли к бомбам, привыкают к снарядам. Солдат из окопа идет в кафе. В театрах андалусские танцовщицы трещат кастаньетами. Полны театры. Полны кино — старые картины с бандитами и свадьбами. Шарманка на улице выводит «Красное знамя».

В пробитой снарядами гостинице «Флорида» остался один жилец. Это Эрнест Хемингуэй. Он не может расстаться с Мадридом. Его зовут в Америку, он не отвечает на телеграммы. Он пьет виски и что-то пишет: наверно, диалог — Мадрид и девушка.

Ночью человека можно различить только по золотой точке папиросы. (Впрочем, папирос нет, и люди трогательно вспоминают, как они прежде курили.) Порой карманный фонарик освещает влюбленных. Им незачем искать темных переулков: город черен, как лес детства. Прощаясь, влюбленные нерешительно говорят: «До свиданья». Потом он идет «домой», в окопы Университетского городка. Голуби прячутся под карнизом, и город заполняют голоса смерти: грохот снарядов, чечетка пулеметов, несвязная перебранка ружей.

Я живу в госпитале. Каждый день туда привозят раненых: старики, девушки, дети. Ночью я слышу не только железную суету близкого фронта, но и крики людей — они умирают.

В Университетском городке — на земле старые книги, пергамент дипломов, мусор. В окопе капрал, он же профессор консерватории, читает бойцам стихи Кеведо.

В Карабанчеле люди живут под землей. Там чуть ли не каждый день взрывают дом. Есть дома, где внизу — фашисты, а на верхнем этаже — республиканцы.

Рабочие собирают под огнем утильсырье, ремонтируют испорченные мотоциклы, латают дырявые ботинки.

Люди живут мирно. Ни разу я не слышал ссор в очередях. Все друг другу приветливо улыбаются: людей спаяла одна судьба. Недавно приехал сюда турецкий консул. Он пошел осматривать город. На полуразрушенной улице он увидел старуху. Она сидела на складном стульчике и что-то шила.

— Почему вы не уезжаете из Мадрида?

Женщина усмехнулась:

— Надо им показать нашу силу.

Это глупо и прекрасно, в этих словах вся правда изголодавшегося, изуродованного, непобедимого Мадрида.

Апрель 1937

ДЕНЬ В КАСА-ДЕ-КАМПО

4 часа 30 минут. Мадрид темен и пуст. С запада доносится орудийная канонада.

6 часов. Светлая зелень Каса-де-Кампо. Солнечное утро. Напротив, на холме,— три домика. В одном из них пять пулеметов неприятеля. Батарея республиканцев бьет по холму. Проваливается крыша дома. Отваливается стена другого: восемь попаданий.

6 часов 40 минут. Батарея неприятеля взята под огонь. Республиканская артиллерия работает изумительно: меткость при быстром перемещении цели. Деревья застилает сизый туман. Неприятель отвечает вяло.

7 часов 05 минут. Первый налет республиканской авиации. Темно-синие клубы дыма.

7 часов 15 минут. По полям бегут марокканцы из одного окопа в другой. Издали кажется, что они играют в какую-то детскую игру. Один падает.

9 часов. На крайнем правом фланге республиканские войска продвигаются от моста Сан-Фернандо к шоссе на Корунью.

9 часов 30 минут. Артиллерийский огонь не ослабевает. Басы тяжелых орудий. Громкий альт семидесятипятимиллиметровых. Над головой мяукают снаряды противника. Перевязочный пункт — дом возле окна; клетка с канарейкой, канарейка поет. Невыносимый для человеческого уха грохот пробуждает в ней желание чирикать. Мортиры громят пулеметные гнезда неприятеля. Направо стреляют орудия республиканских танков.

11 часов 10 минут. На левом фланге противник встревожен. Слышна дробь его пулеметов. По Эстремадурскому шоссе бегут солдаты: это резервы неприятеля. Артиллерия тотчас берет дорогу под обстрел. Сегодня — первый летний день. Блестит вода озера. Когда на минуту замолкают орудия, парк кажется свежим и отдохновенным. У неприятеля превосходная позиция: цепи холмов, между ними глубокие ложбины. На правом фланге республиканцы заняли передовые окопы противника.

12 часов 15 минут. Два танка подходят к пехоте неприятеля и обдают ее пулеметным огнем. Противотанковые орудия стараются подбить танки. Необычайно мужество танкистов: пули, ударяя о броню, грохочут, как тяжелые снаряды; жара, скопление газов. Танки, не останавливаясь, движутся вперед.

14 часов. Четвертый налет республиканской авиации. Бомбардировщики кладут бомбы спокойно, деловито, одну за другой. По ложбине, наклонившись, бегут крохотные люди: неприятель очищает позицию.

15 часов 10 минут. Бойцы залегли в поле, готовясь к новой атаке. Один смеется: «Загораем — сегодня жарко». Санитары только что понесли раненого. Он лежал с закрытыми глазами и очень спокойно, почти безразлично улыбался.

16 часов 30 минут. В пятидесяти шагах от батареи люди гуляют. Обыкновенная мадридская улица: женщины, дети, уличные торговцы. Первое заседание областной конференции компартии. Говорит Пасионария. Ей отвечают орудия 105-мм.

18 часов. Пятый налет авиации. Противник срочно вызвал двенадцать танков. Сильный артиллерийский огонь. Бой продолжается.

Апрель 1937

БРУНЕТЕ

На конгрессе писателей было много речей, одни говорили лучше, другие хуже. Писатели — не ораторы, да и Мадрид июля 1937 года — не клуб для литературных дебатов. Косноязычный и добрый Хосе Бергамин замечательно говорил о высоком одиночестве испанского народа: «Одиночество — не отъединение, и Дон Кихот — не Робинзон».

По-испански конгресс почему-то назвали «Конгресс интеллигентов». Патрули на дорогах, услышав слово «интеллигенты», торжественно подымали кулаки. Крестьяне предлагали писателям хлеб, яйца, вино:

— Вы думаете, вам надо подкрепиться...

В Мадриде речи покрывал грохот орудий: республиканцы начали наступление на Брунете, и фашисты отводили сердце на домах столицы.

За мной приехал двадцатилетний поэт с лицом девушки — Апарисио. Он — комиссар в бригаде Кампесино. Недавно он был ранен; пуля пробила шею. Теперь он поправился.

— Едем...

Со мной поехали Ставский и Вишневский.

Зной, сухой африканский зной. Возле деревни Вильянуэва-де-Каньяда сотни трупов. На солнце они быстро сгорают; все похожи на марокканцев. Проволочные заграждения, в них человеческие клочья. Здесь шел тяжелый бой. Еще подбирают раненых. На дороге сутолока.

— В Брунете не проедешь — они обстреливают дорогу...

Мы едем в Брунете. Шофер, веселый и отчаянный, как все испанские шоферы, смеется:

— Проскочим!

Полем, пригнувшись, идут бойцы. Они идут мимо трупов, молча и сосредоточенно. В фляжке глоток драгоценной воды, может быть,— последняя радость этого человека.

Здесь сражается английский батальон. Среди камней — мертвый и альбом; в нем рисунки: деревни, скалы, деревья.

— Поворачивайте! Они сейчас прорвутся на дорогу.

Мы все же идем в Брунете. Высокая церковь (ее потом снес снаряд). Я забрался в помещение фаланги.

Документы, плакаты, листовки. «Речь немецкого ученого доктора Геббельса о проблеме человеческих рас». Перед домом — труп марокканца. В баре рюмки на стойке: фашисты их не допили...

Канонада близится. В небе облака зениток; самолетов не видно — только гудение.

Мы повернули в Вильянуэву. Как говорит шофер, мы «проскочили»: неприятель атакует с фронта дорогу Брунете — Вильянуэва.

Направо Кампесино штурмует Кихорно. Это деревня на горе; она похожа на старую крепость. Фашистские пулеметы косят людей. В течение двух дней бойцы тринадцать раз атаковали Кихорно. Сейчас они взяли деревню.

Ведут пленных. Они смотрят мутными глазами: они еще ничего не понимают. Бойцу перевязали руку — легкое ранение, он снова побежал к своим. Солнце низко, но жара не спадает. Ни капли воды. Пыль, дым, кровь — густой воздух боя.

Июль 1937

НА ТЕРУЭЛЬСКОМ ФРОНТЕ

Внизу цветут бледные декабрьские розы, золотятся апельсины. Все сто километров... Как здесь поверить в апельсины? Снег, ледяной ветер. Трудно забраться на крутой холм — ветер сбивает с ног. Скользко. Только что бойцы заняли одну из высот. Они падали, ползли. Картины войны в моем сознании теперь неразрывно связаны с крайностями испанской природы, скажу — с ее фанатизмом. Бои за Брунете под немилосердным солнцем, которое сжигало тела. Тогда глоток воды казался счастьем. А сейчас среди тихих голых обледеневших гор, на ветру смутно мечтаешь о нескольких угольках, около которых можно было бы отогреть закоченевшие ноги.

Год тому назад я видел бои в этих же местах. Тогда под Теруэлем стояли части анархистов. Они были воистину анархичными частями — мексиканскими ковбоями среди снежных буранов и кропоткиными, обмотанными пулеметными лентами.

Вот идет в бой дивизия, которой командует анархист Виванкос. Бойцы подтянулись. Они поняли, что

такое дисциплина. Научились драться. Если в тылу «Конфедерация труда» еще падка на возвышенные предрассудки прошлого века, то на фронте ее представители поняли язык единства и дисциплины. Германские бомбардировщики, итальянские дивизии оказались хорошими учителями...

«Новенькие» — рекрутская дивизия. Еще утром все спрашивали друг друга: пойдут ли? Они пошли и храбро сражались. Несмотря на сильный пулеметный огонь, они заняли высоту.

Противник не ждал наступления. Неужто генерал Франко так долго уверял англичан в неспособности республиканской армии к наступлению, что сам уверовал в эту неспособность? Между тем республиканцы сегодня показали, что они могут не только обороняться. В моем последнем очерке я писал, что народная армия готова и отразить удар фашистов, и перейти в наступление, если того потребует обстановка. Ту статью я передал с пути к Теруэльскому фронту. Ночью стояла глубокая тишина. Необходимо отметить прекрасную подготовку наступления: быструю переброску частей. Давно ли мы видели военные операции, которые откладывали со дня на день, о которых толковали все кумушки Валенсии и Барселоны? За шесть месяцев выросла новая армия. Генштаб работает. Так что, пожалуй, здесь могли бы многому поучиться генералы весьма почтенных европейских армий.

Задыхаясь, ползли по узким горным дорогам последние грузовики. Вдруг среди тишины рассвета заговорили орудия. Только тогда фашисты узнали о наступлении. Летят 40 легких бомбардировщиков. Рядом со мной бойцы — молодые крестьяне Леванта. Они кричат: «Наши!» Я не могу передать, как они выговаривают это слово. Здесь весь восторг еще недавно безоружного народа, который видит, что он теперь идет на своих вековых врагов не с вилами и не с топорами. Несмотря на низкую облачность, авиация успешно бомбила казармы и вокзал Теруэля. Бесспорно, этим был нанесен противнику значительный ущерб. Но, может быть, само зрелище народной авиации сыграло еще бóльшую роль в событиях сегодняшнего дня: оно подняло дух пехоты.

Наступление на Теруэль, точнее, его окружение, развивается в различных направлениях. Некоторые

части сегодня дрались прекрасно, другие похуже. Школа войны — трудная школа. Нелегко научиться писать стихи, нелегко научиться и брать высоты. Лучше всего наступали части, расположенные на правом фланге,— с севера. Они продвинулись на 8—10 километров. В центре республиканцы продвинулись на 3—4 км. Южная группа, взяв несколько высот, находится примерно в 2 км от исходных позиций. Взяты деревни Конкуд и Сан-Блас. В последней захвачены орудия и 83 пленных. Крестьяне Сан-Бласа встретили республиканцев с красным флагом и с радостными криками. Как ни хитер генерал Франко, который хочет завоевать сердца крестьян своими демагогическими законами, якобы направленными на защиту мелких землевладельцев, крестьяне еще хитрее: они не умеют читать,— это бедные отсталые крестьяне одной из самых нищих провинций Испании,— но они, не читая, видят, где свой и где враг.

С холма четко виден Теруэль. Это, кажется, один из наиболее патетичных пейзажей Испании. Рыжие горы и город с древними постройками, похожий на крепость. Темные свинцовые тучи, раздираемые ветром. Солнце. Яркий свет, глубокие тени. С командного пункта 10-й бригады видно, как фашисты, согнувшись, бегут назад. Вот республиканцы. Пулеметы. Несколько человек упали. Побежали!

Передо мной листовки неприятеля: «Красные вожаки, вас продали Франции и России». Точка. Все. Солдаты вокруг смеются. Зря расходует бумагу генерал Франко. Разве что послать этот листок французским «патриотам» (из тех, кто обзаводится германскими пулеметами). Они-то в своих газетах уверяют, что нет у Франции более сердечного друга, нежели генерал Франко...

Я спрашиваю пленного: «За что вы воюете?» Он тяжело дышит, смотрит на меня смутными, пустыми глазами. Потом говорит: «Не знаю». Другой, это фалангист, он угрюмо повторяет: «За государство синдикатов». Демагогия фашистов его разъела, как ржа. Но над его словами не мешало бы призадуматься политическим руководителям народной армии. Мало научить бойца стрелять, надо объяснить ему значение каждого выстрела, каждой мишени. Надо, чтобы даже самый отсталый подпасок Арагона знал, что эта война — его война.

Народная армия не только выросла, она возмужала. Я говорю сейчас не о технике, но о той величине, которая в конечном счете решает исход всякой войны,— о сознании пехотинца. Испанский народ был самым миролюбивым народом Европы. Он не знал войны и не хотел ее знать. Войну ему навязали. Он принял ее вначале как горькую необходимость. Он выполнял военные операции с пылом и с неумением ребенка, который сразу хочет все сделать и остывает при первой неудаче. Теперь того народа нет. Нет больше центурий, сидевших в Толедо вокруг Алькасара. Теперь бойцы поняли, что каждое дело надо делать хорошо, с любовью. Они и на отдыхе теперь говорят о пулеметных очередях и о правильной перебежке. Так в неудачах или полуудачах создается сильная армия. Еще недавно каждая бригада, захватив грузовики, не выпускала их из рук. Вчера это был «удельный период» республиканской армии: патриотизм бригады так и не дорос до патриотизма армии. Не то теперь. Любой командир отдаст свои грузовики другой части. Здесь спайка. Сознание необходимости единства, воля к победе. Бойцы одеты лучше, чем прежде, хотя еще немало бойцов в тапочках — это среди снега. Налажено питание, я днем ел с бойцами рис, мясо.

При иной ситуации мы могли бы сейчас заняться вопросом о судьбе Теруэля. Дважды (в декабре и в апреле) республиканцы пытались взять этот город, острым клином вошедший в их расположение. Сегодня на правом фланге бойцы вплотную подошли к шоссе Теруэль — Сарагоса. Они держат его под пулеметным и ружейным огнем. У противника остается только скверная проселочная дорога, проходящая близ позиций южной группы республиканцев. Однако мне кажется, что сейчас вопрос идет не столько об овладении тем или иным политически значительным центром, сколько о чисто стратегических заданиях. Если бои, которые начались сегодня, потревожат противника, подготовляющего свой удар, можно будет сказать, что этим достигнут крупный успех.

Только что воздушная разведка сообщила, что противник начал подтягивать резервы. Пока замечено 24 грузовика. Это только первая часть, фашисты будут вынуждены подбросить сюда более существенное подкрепление. Генерал Франко знает, что благодаря террору и умело подобранному низшему командному составу его части прекрасно обороняются. Поэтому,

собирая где-либо кулак, он держит на остальных участках тонкое прикрытие. Он облюбовал секторы, где ему наиболее выгодно развернуть операцию. Возможно, что вот эти бойцы, которые сегодня мужественно взбирались на скользкие горы, смогут несколько потревожить планы генерала Франко.

Под вечер республиканцы заняли деревню Кампилья, захватив трофеи и пленных. Потом все стихло. Изредка короткий пулеметный огонь.

Ночь. Саперы спешно укрепляют новые позиции. Измученные тяжелым днем, бойцы спят, завернувшись в тонкие одеяла или серые шинели, похожие на плащи. В землянке дым ест глаза: у хвороста греются бойцы.

Стонет раненый — пуля расщепила кость. Темно. Ветер все сильней. Конечно, есть в войне огромная печаль, зрелище человеческой немощности, скопление тысячи бедствий. И все же эти люди смеются, бодро чавкая, едят суп, который тотчас остывает на холоде, весело хлопают друг друга по спине. Каждый из них что-то оставил дома: счастье или видимость счастья, прошел через первый страх, узнал соседство смерти. Ничто так не веселит человека, как победа над страхом, сознание — борюсь, не уступаю, иду вперед.

Испанский народ всегда был мужественным. Когда дружинники убегали от Талаверы, люди, не знавшие Испании, усомнились в этом мужестве. Но каждое чувство требует своей формы: в наш век мужество связано с дисциплиной, с умением одного, пусть умного, пусть много понимающего, подчиняться приказу; в наш тяжелый век войн за человеческое достоинство мужество связано с умением спрятаться от авиации, вовремя окопаться, сделать из окопа чуть ли не уютный дом, а когда нужно — по свистку,— выбежать из этого окопа под пулеметный огонь.

Теруэльский фронт, 16 декабря 1937

ГОРЕ И СЧАСТЬЕ ИСПАНИИ

Домик испанских пограничников находится на горе. Отсюда видны два города: Сервера и Порт-Бу. Они лежат в глубине двух бухт и похожи друг на друга, как близнецы; те же дома с балконами, те же рыбацкие челны, те же виноградники.

Был вечер, буря, ветер сбивал нас с ног. Пограничники расспрашивали меня: как под Теруэлем? Один сказал:

— У меня там сынишка.

Потом они подняли шлагбаум.

Сервера светится. После черноты Испании огни маленького городка слепят. Порт-Бу темен, он зарылся в ночь. В Порт-Бу — развалины: то и дело «фиаты» бомбят городок. Я знаю там двух женщин. Прошлым летом они смеялись. Теперь они молчат. Их детей убила итальянская бомба. В Порт-Бу — длинные очереди за восьмушкой хлеба. В Сервере сколько угодно хлеба, и сахара, и молока. В Сервере сегодня бал, приехал джаз из Перпиньяна.

Два города видны с перевала. В обоих люди говорят по-каталонски. У жителей Серверы немало родственников в Порт-Бу. Между ними только гора, петли шоссе, туннель. Между ними, кажется, целый век. Между ними все то, что отделяет мужество от сомнения.

О чем говорят жители Серверы? Ведь джаз приезжает редко... Они говорят о том, что кагуляры скоро выступят, что правительство никогда не решится арестовать истинных главарей заговора, что англичане разговаривают с герцогом Альбой куда сердечней, нежели с французскими социалистами. На крышах домов — трехцветные французские кокарды, они как бы умоляют: «Не бомбите нас, мы вне игры, мы за невмешательство, мы пьем нейтральные аперетивы, мы играем в нейтральные карты!» Иногда итальянские летчики, резвясь, скидывают бомбу на Серверу. Тогда люди в панике просят свое правительство: «Защитите нас!» Правительство ставит зенитки и отдает зенитчикам приказ ни в коем случае не стрелять по фашистским самолетам.

В черном полуразрушенном, голодном Порт-Бу люди куда счастливей. У них нет ни сахара, ни мыла, ни табака, но у них сознание: мы не сдались, мы приняли бой. Это высокое счастье, и кто не позавидует пограничнику, который с гордостью сказал мне, что его сын сейчас дерется под Теруэлем?

Я знаю, слово «счастье» может показаться неуместным. Каждый день в Испании мы проверяем меру человеческого горя. Это было в Аликанте. Женщина рожала. Прилетели фашистские бомбардировщики.

Люди разбежались. Женщина родила одна. А во время второго залета осколок бомбы убил новорожденного. Я видел в Валенсии, как хоронили девушку. Ее убила бомба. Гроб качался на старомодном катафалке, украшенном крестами, розами и раковинами. Кучер был одет во фрак песочного цвета, разодранный, лоснящийся. Сзади шел боец, уже немолодой, должно быть, отец. Он ни на кого не глядел, не плакал. Он шел с поднятым кулаком, как будто салютуя гробу. Я все не могу забыть его лицо: такое в нем чувствовалось горе.

Холодно теперь в солнечной, южной Испании. Стоит суровая зима, а топлива нет. Задолго до рассвета выстраиваются очереди. В полях бродят голодные ребятишки — они ищут салат, капусту. Это второй год войны, без флагов, без музыки. Только в садах Леванта, как каждую зиму, цветут розы. Никто на них не смотрит.

Я все же говорю о счастье. В этой борьбе испанский народ впервые нашел себя. Когда-то имя Испании гремело в мире. Эпопея Сида вдохновляла храбрых. Испанские мореплаватели первые пересекли океан. Испанские завоеватели создали огромную империю. Писатели всех стран учились у Манрике, у Кеведо, у Лопе де Веги, у Сервантеса. Кто не знает имен Веласкеса, Сурбарана, Греко? Романские церкви Сеговии, готика Бургоса, дворцы Возрождения в Саламанке были высокими архитектурными достижениями. Потом? Потом Испания стала спящей красавицей, вотчиной полуграмотных аристократов, страной военных хунт и военных заговоров, приманкой для туристов, падких на экзотику.

Много раз передовые люди Испании пытались пробить стену Пиренеев. «Поколение 98-го года» выступило против традиций. Коста хотел запереть на семь замков могилу Сида, а Унамуно восклицал: «Долой Дон Кихота!» За традиции вступились Бурбоны, генералы, битые во всех войнах, невежественные помещики. Они кричали о национальной гордости и тем временем распродавали Испанию англичанам, немцам, американцам, французам. Они давали концессии не только на руду или на железные дороги, но и на исторические памятники. Донкихотов они предавали смертной казни через удушение, и, пожалуй, этот особый вид убийства был единственной традицией, которой они гордились не только на людях. Эти «патрио-

ты» старались даже в семейном кругу лопотать на дурном французском языке; они проводили полгода в Париже, и для них не было большего комплимента, нежели слово «заграничное».

Окно в Европу прорубил народ. Он проклял века рабства, Бурбонов, иезуитов, бездельных «сеньоритос». Шагнув в будущее, он открыл величие своего прошлого.

Бандиты, засевшие в Саламанке, зовут себя «национальным правительством». Недели две тому назад республиканцы заставили снизиться германский самолет. Я видел летчика. Это не новичок, уже много месяцев, как он воюет в Испании. Он не знает ни одного испанского слова, даже поблагодарить не может (впрочем, кого ему благодарить?). С презрением он говорит об испанцах. Его начальство в Берлине.

«Националисты» из иностранных орудий расстреливают национальную культуру Испании. Против них сражается испанский народ. Родина долго была для него мачехой. От зари до зари он работал на монахов, на генералов, на помещиков. Но народ любит свою землю. Андалусский крестьянин, стыдливо улыбаясь, часами вам станет рассказывать об оливковых рощах, о снежной сьерре, об Альгамбре. Он споет свои протяжные фламенко. Он поразит вас своей выдумкой, живостью речи, грустной иронией. Сухие длиннолицые кастильцы знают, что их край — камни, безлюдье, древние города на холмах — сердце Испании. Какой каталонец не гордится красавицей Барселоной, весельем ее народа, заводами и пахучими винами, опрятностью деревень и хороводами — сарданой? С нежностью говорит астуриец о мужестве горняков, об их трудолюбии, о красе перевалов. Они все любят Испанию не как пасынки, но как дети. Может быть, они и не знают страниц летописи, но в них живо чувство истории — их связь с людьми, которые некогда клали первые камни испанской культуры. Они не хотят запереть могилу Сида, они дышат воздухом героики, и, вчерашние каменщики или пастухи, полководцы народной армии, они как бы заново проделывают эпопею романсеро. Они не кричат: «Долой Дон Кихота!» Они понимают трагическое мужество Рыцаря Печального Образа. Они сражаются против тех, что издевались над бесцельным и все же великим подвигом злосчастного рыцаря.

Я слышал под Теруэлем, как один батальон среди метели пел «Интернационал». Это были молодые крестьяне из провинции Куэнка. Они шли с песней о «роде людском», чтобы отвоевать у врага клок родной земли — древний, славный традициями Теруэль.

Фашизм выбрал Испанию как самое слабое место человеческого фронта. Он учел все: предательство командиров, отсутствие военного опыта, отсталость индустрии. Он не учел ни храбрости испанского народа, ни его любви к родине. Так за дело человечества пошли сражаться неграмотные люди в полотняных туфлях, с охотничьими ружьями. А у фашистов были «фиаты» и германские танки.

Этим летом я приехал в полевой госпиталь возле Уэски, чтобы навестить немецкого писателя Густава Реглера. Он лежал тяжело раненный, с трудом говорил. Во дворе сидели испанцы. Один из них, чернявый андалусский паренек, рассказывал товарищам:

— Это немец. Ему нельзя домой. Там его посадят в тюрьму.

Он скрутил сигаретку и задумчиво добавил:

— Победим, тогда и он поедет к себе...

Когда-то Светлов написал стихи об украинском хлопце, который сражался за счастье гренадской волости. Теперь гранадские хлопцы сражаются за счастье берлинского уезда. Вот почему светятся высоким светом черные города Испании.

Декабрь 1937

МАТЕ ЗАЛКА, ГЕНЕРАЛ ЛУКАЧ

Война бедна теперь красками: человек надевает на себя рубашку цвета земли; он зарывается в землю — победить можно, лишь оставшись незаметным. Проволока, броня танков, снаряды, гудение моторов, а человека нет. Но на войне можно по-настоящему узнать человека. Он обнажен с головы до ног, пафос ему запрещен наравне с яркими мундирами или барабанщиками, пафос зарывается в сердце, как боец в землю. На войне можно разглядеть человека. Земля оказывается еще не открытой, человеческое сердце изумляет. Уже будучи генералом Лукачем, писатель Мате Залка сказал мне:

— Мы мало знаем о человеке...

Мы мало знали о Мате Залке. Он был хорошим товарищем, общительным, веселым человеком. Казалось, он был создан для мирной жизни, для уюта, дачи, сада. Он оказался большим полководцем на чужой земле, в смутные дни, когда не было ни армии, ни тыла, ни оружия,— только территория и вера. Он действительно страстно любил жизнь, все ее мелочи, ее петит. Своей любовью он заражал других, и это позволило ему сделать 12-ю бригаду бесстрашной. Мы мало что знаем о человеке. Оказалось, одной отваги мало: это горючее быстро расходуется. Для того чтобы с легкостью идти навстречу смерти, надо очень крепко любить жизнь — не только идею жизни, ее самое, сердцевину, корни, ее грубую шершавую оболочку.

Я помню генерала Лукача на отдыхе. Вот он толкует с бойцами об их сердечных невзгодах; он все понимает (может быть, здесь приходил ему на помощь писатель Залка?). Вот он сорвал какую-то лохматую траву, дует на нее, смеется и допытывается: «Как по-испански?»

Вечер в штабе. Он забавляет товарищей: карандашом он выщелкивает на крепких своих зубах различные арии. Итальянцы спели «Бандьера росса», немцы — «Коминтерн». Генерал Лукач смеется:

— Теперь песни-декларации исполнены. Давайте петь обыкновенные...

Он знал песни всех народов: венгерские, болгарские, украинские, немецкие, испанские. Вот он танцует с испанскими крестьянками, лихо танцует (это было вскоре после Гвадалахары).

— Не забыл... Все-таки — венгерский гусар...

Он был затейником, поэтом; был он добрым другом. Все это помогло ему стать «генералом Лукачем», о котором уже рассказывают легенды на десяти языках.

Он одерживал победу не с наскоку, он ее старательно сколачивал, не пренебрегая ни ласковым словом, ни мешком фасоли. Под его командой сражались разные люди: польские шахтеры, итальянцы, вспыльчивые и мечтательные литовские евреи, венгры, рабочие красных предместий Парижа, бельгийские студенты, ветераны мировой войны и подростки, выпрыгнувшие из первых ребяческих снов на жестокую испанскую сьерру. Он всех спаял одним чувством, 12-я бригада была

его последней любовью, и бригада жила командиром. Твердый, сухой Янек, командир домбровцев, плакал: «Убили Лукача». Командир венгерского батальона имени Ракоши, Нибург, погиб на следующий день после смерти Мате Залки. Он как будто пошел вслед за своим генералом. Он пошел, как всегда, опираясь на палку, под пулеметный огонь. Гарибальдийцы пели о нем песни. Комиссар бригады писатель Густав Реглер, оправившись от тяжелого ранения, схватил тетрадку и стал писать — конечно, о нем, о генерале Лукаче. Худой, золотушный еврей, сын хасида и связист, путавший все языки Европы, четыре раза раненный под Мадридом, всхлипывал: «Это был человек...»

Он пережил и поражение, и тоску вечеров накануне атаки, и победу. Его бригада разбила итальянцев у Паласио-Ибары и в Бриуэге. Потом ее увели на отдых. Это была деревня редкой красоты на верхушке крутого холма: Фуэнтес. Каждый день деревню бомбили фашисты. Бойцы спали в пещерах. Днем на склоне холма домбровцы грели отмороженные в окопах распухшие ноги. Мы сидели с генералом Лукачем среди камней Фуэнтеса и говорили о нашем ремесле. Мате Залка знал, что не сказал еще своего, не написал той настоящей, единственной книги, о которой мечтает каждый писатель.

— Если меня не убьют, напишу через лет пять... «Добердо» — это все еще доказательство. А теперь и доказывать не к чему, каждый камень доказывает. Надо только суметь показать человека, какой он на войне. И не сорвать голоса...

Он сконфуженно улыбнулся:

— Я не люблю крика...

Это было правдой: веселый, общительный человек, революционер, боец, провоевавший чуть ли не половину жизни, он любил тишину, умел ее слушать, умел ее ощущать.

«Если не убьют...» Его убили. Книга, о которой он смутно мечтал, глядя на долины Гвадалахары, этой книги не будет. Напишут книги о нем, не о Мате Залке, о генерале Лукаче. Может быть, кто-нибудь из его боевых товарищей напишет книгу, о которой мечтал Мате Залка: без крика.

Потом была деревня Мека, вправду отдых. В штабе Лукач смотрел, чтобы его товарищи отдыхали: он любил нянчиться с большими, неуклюжими, небритыми людьми. В штабе были — Реглер, испанский ху-

дожник Херасси, болгары — Белов и Петров, адъютант Лукача Алеша. Приезжал Хемингуэй, расспрашивал Лукача о военных операциях. Хемингуэй чувствовал, что перед ним не только командир 12-й бригады, волновался, пил виски; может быть, он тоже мечтал о ненаписанной книге. Вдруг бригаду снова бросили на Хараму. «Это испанское Добердо»,— говорил Лукач. Их послали на одни сутки: боевой разведкой прощупать резервы противника. Операция была неблагодарной, мучительной — наступать, чтобы отступить. Генерал Лукач повторял одно: «Людей берегите».

Это было в апреле. Он погиб в июне. Он умер накануне одного из самых тяжелых боев. Страшен, жесток пейзаж вокруг Уэски. Мате Залка умер в душный, знойный день, среди каменной пустыни. Он както сказал мне: «Я здесь часто вспоминаю мою родину...» Он, вероятно, вспоминал Венгрию, потому что одна война вязалась с другой. «Венгрия — зеленая...» Деревня Игриес, где умер генерал Лукач,— раскаленный аул. Оттуда виден безрадостный город Уэска.

На его могиле вместо имени номер: война еще продолжается. Его имя знают все. Я слышал, как в Валенсии дети повторяли: «Это генерал Лукач»,— и старая женщина тогда добавила: «Наш генерал».

Мате Залка, шутя, говорил об одном писателе: «Все записывает... Завидую!» Можно завидовать судьбе Мате Залки, его жизни, его смерти. Он все-таки написал свою большую книгу: Испанию. Впрочем, и завидовать нечего: таков был человек, и, если не удалось писателю Мате Залке сказать всю правду о человеке, за него это сделал генерал Лукач — не сказал, показал. Год уже прошел со дня его смерти, а все не верится: живой. Кажется, он еще ведет в бой 12-ю бригаду, шутит, отругивается, поет песни и молчит.

Июнь 1938

ПРАВДЫ!

Я пишу эти строки наспех. Здесь был дом. Еще недавно здесь люди мирно ужинали. Усталая хозяйка не убрала на ночь со стола. Хозяйку убила бомба, тарелки уцелели. Кругом люди работают. Тихий, счастливый город. Они прилетели утром...

Я только что видел женщину. Это была живая женщина, и кормила она живого ребенка. Прошла мотоциклетка. Женщина закрыла собой ребенка, вскрикнула. Я никогда не забуду этого крика.

Мы многое видели в Испании. В Мадриде вытаскивали трупы из кино — комедию зрители так и не доглядели. В Лериде бомба попала в школу, грифельная доска была забрызгана мозгами. В Картахене они бомбили госпиталь. Старик, больной астмой, просил лекарства, ему оторвало обе ноги. В Барселоне они попали в ясли. В Валенсии, когда хоронили, бомба попала в катафалк — вдова и дети смешались с покойником: руки, ноги. Еще — это было предместье Барселоны — бомба настигла свадьбу, помню окровавленное платье невесты, она как будто еще улыбалась. Вот мальчик, смуглый, красивый мальчик. Может быть, мать вынесла его из Малаги? Он играл в песочек. У него раскрытые глаза, чуть мутные, кровь на виске. Уцелела формочка — ярко-красная, а в ней горсть сухого песка.

Фигерас полон своим горем. Маленький город — пятнадцать тысяч жителей,— здесь все друг друга знали. Я не смел и думать, что «общественное мнение Европы» — это помесь флегматического лицемера с вечно бодрым коммерсантом — смутится, увидев на фотографиях мертвых Фигераса. Они ведь тоже всё знают: и пожарище Герники, и трупы Аликанте, и бойню Гранольерса.

Впрочем, сейчас невозмутимые европейцы заинтересовались пиратами воздуха. Дело не столько в испанских детях, сколько в английском флаге. Старик Ллойд Джордж заявил, что ему стыдно теперь числиться подданным Великобритании. Цифры назойливы: за одну неделю итальянские и германские самолеты атаковали семь английских судов. Судно «Торпголл» стояло на рейде в полутора милях от Валенсии, на нем реял британский флаг. Фашисты потопили судно торпедой. Английское судно «Айседора» стояло возле Кастельона. Итальянские летчики, памятуя о джентльменском соглашении № 2, с особым удовольствием бомбили «Айседору». Конечно, на торжественных актах англичане по-прежнему поют о гордой Великобритании, которая властвует над всеми морями. Но вряд ли английские матросы, чудом спасшиеся от фашистских бомбежек, с глубоким

удовлетворением читают этот слегка старомодный гимн. Не лучше ли перейти на реквием? Сорок три англичанина убиты на английских судах фашистами. Их преспокойно убили, как будто они — испанские дети.

«Мы требуем прекращения этого варварства»,— пишут английские консерваторы. Немцы и итальянцы отвечают: близ Дении фашисты убили четырех англичан, находившихся на борту «Брисбана». Из порта Гандия шел экспорт овощей и апельсинов. Фашисты разбомбили склады, принадлежащие англичанам, и потопили английский тралер. В Аликанте сожжены два английских парохода. Английский эсминец взял раненых и тела убитых. Им воздают воинские почести. Может быть, кто-нибудь при этом споет о мощи Британии «над всеми морями»?

Каждую ночь бомбят Барселону. Снова налет на Аликанте. Дети Фигераса. Английские министры спрашивают мирных шведов и норвежцев: «Не хотите ли вы вместе с нами убедиться в том, что убийство это убийство?» Шведы и норвежцы корректно отвечают: «Пожалуйста». Что же, римские бандиты могут убить и кроткого шведа...

А там, за этими горами,— Франция. Резвясь, фашисты иногда перелетают через горы, бомбят Серверу или Оржекс. Французы, жители пограничной полосы, с ужасом смотрят на небо. Кто до недавней поры охранял детей Серверы? Комитет по невмешательству? Нет, республиканские зенитки в Порт-Бу.

Англичане предлагают шведам и норвежцам: «Проверьте». Конечно, все это хорошо, но это политика, дипломатия. Есть в жизни и другое. Пускай сюда приедут все. Шведы? Да, не только военный атташе — Сельма Лагерлеф. Пускай приедут философы, художники, писатели — Уэллс, Шоу, Валери, Драйзер. Пускай приедут и те, кто защищал фашизм,— я хочу увидеть рядом с трупом этого ребенка старого Гамсуна. Он все же любил жизнь, лес, детство.

Правды требуют камни и капли крови. Правды требуют эти подернутые мутью голубые глаза убитого мальчика. Правды требует горсточка сухого песка.

Фигерас, 13 июня 1938

КТО ОНИ?

Вчера я провел весь день с итальянскими и немецкими летчиками, взятыми в плен. Конечно, они не похожи один на другого. Имеются среди них и обманутые дураки, и циничные убийцы. Итальянцы болтливы, легкомысленны, благодушны. Повторив наспех несколько заученных фраз, они переходят к девушкам или к погоде. Немцы методичны, пропаганда дошла до их кишок, до их ногтей, до их мозолей. Одно сближает всех — простаков и фанатиков, неаполитанцев и пруссаков: они приехали в Испанию, чтобы воевать против испанского народа, или, как они говорят, чтобы «помочь испанскому народу», но никто из них ничего не знал и не знает об Испании, никто не читал испанских писателей, никто не заинтересовался прошлым этой земли, никто даже не полюбопытствовал, какой в ней строй. Один сказал мне, что Асанья — анархист, другой заверял, что Сервантес — генерал.

Это не те люди — голодные, измученные двумя годами войны, которые, купив на Рамбле книжку, жадно ее читают в окопе или в полутемной комнате Барселоны. Это не «красная чернь», как изволил выразиться один из немецких летчиков. Это люди с высшим образованием, гордость двух империй.

Джино Поджи — веселый смышленый юноша. Ему двадцать два года. Сын адвоката. Он учился в коммерческом техникуме. Потом его призвали на службу, зачислили в авиацию. В декабре 1937 года Джино на аэродроме в Болонье проверял приборы. Было это вечером. Ему сказали: «Завтра утром ты вылетишь в Рим, а потом...» Джино не успел даже попрощаться с родителями. Из Рима — на Майорку, оттуда в Севилью, потом в Логронью. На аэродроме было тридцать итальянских бомбардировщиков. Командовал всеми полковник Винтинчелли, который у себя на родине именуется Купини. Итальянцы усердно бомбили открытые города.

«Скажите, это вам по душе — убивать женщин?»

Джино качает головой:

«Мы все говорили, что это — безобразие. Даже полковник Винтичелли говорил, что это — безобразие».

Джино морщит свой детский лоб: «Мне прежде жилось хорошо, и я ни о чем не думал. Когда человеку хорошо, он не думает. А теперь...»

Это не абруццкий пастух, это студент из Болоньи. Но я вижу, как в его глазах появляется блеск, и я — свидетель рождения первой мысли в голове этого двадцатидвухлетнего младенца. Он вдруг говорит: «А кто правит?.. Несправедливость...»

Гейнцу Клавери двадцать три года, на вид ему не больше восемнадцати. Берлинец. Курчавый, светлоглазый подросток. Отец его санитар, мать больна. Дома жили плохо. А тут еще пригрозили, что продадут с торгов крохотный домик отца. Гейнц был наборщиком. Но книги не пушки, и в Германии много безработных наборщиков. Пришлось менять ремесло. Гейнц записался на вечерние курсы и стал радистом. Потом ему предложили: «Хочешь в Испанию?» Дело было не столько в возвышенных идеях генерала Франко, сколько в пятидесяти марках, которые Гейнцу дали авансом. Уезжая, он ничего не сказал старикам: боялся их огорчить. На немецком пароходе он добрался до Лиссабона, его направили в Бургос. Ему уплачивали ежемесячно сто пятьдесят марок. Политика его никогда не занимала. Он не читал газет. У него в Берлине невеста. «Я в Испании не поглядел ни на одну девушку...» Он, пожалуй, в Испании вообще ни на что не поглядел. «В Бургосе мы были всегда в своей немецкой компании. Нам продавали немецкие обеды — «зальцкартофель» (вареная картошка)». Вот и все. Фашизм? Демократия? Нет, сто пятьдесят марок и «зальцкартофель».

Вилли Гессе родом из Дрездена. Отец его был коммерсантом. Он приехал в Испанию давно, в октябре 1936 года. Политикой Вилли не интересовался так же, как и Гейнц. Он читал в газете только рубрику спорта. «У меня была мания — летать». Его наняли в пилоты почтовой линии. Он возил корреспонденцию германского «легиона Кондор». Потом ему сказали: «Займись теперь делом. Кончится война, мы дадим тебе постоянное место на линии Севилья — Канарские острова». Что же, Вилли занялся «делом»... бомбардировщик «Хейнкель-111» что ни день бомбил испанские города. На аэродроме Альфаро находились свыше тридцати германских бомбардировщиков — «легион Кондор». Все шло хорошо если не для испанских городов, то для немецких летчиков. Но в марте бомбардировщик сделал вынужденную посадку. Вилли оказался в плену. Прежде он никогда не читал книг.

Теперь он начал читать. Он начал даже думать. Это пессимист в стиле Шпенглера: «Европа — ведьмовский шабаш. Придут желтые и все уничтожат...» Правда, пока что Испанию уничтожают не желтые, но сугубо белые. Вилли сокрушенно вздыхает. «Я не скидывал бомб. Я пилот. А бомбы скидывали другие. А я вам сказал: у меня одна мания — летать...»

Альфонсо Карачиоли взяли три недели тому назад Да и в Испании он новичок: его прислали сюда в феврале 1938 года. Он из Неаполя. У отца были знаменитые виноградники. Альфонсо — изысканный юноша. Он изучал юридические науки. В душе он мечтал об ином: «Я хотел стать знаменитым летчиком. В летном деле трудно выдвинуться без войны. Вот я и прилетел сюда». Один из предков Альфонсо, по имени Нерон, тоже мечтал о славе и даже поджег, чтобы прославиться, Рим. Скромный Альфонсо решил ограничиться испанскими городами. «Вы что-нибудь знали про Испанию?» — «Как же... Бой быков, серенады...» С таким запасом познаний высококультурный Альфонсо — он говорит на иностранных языках, он знает назубок римское право — начал «освобождать Испанию». Я спрашиваю: «Как вы лично относитесь к бомбардировке открытых городов?» Альфонсо вежливо улыбается: «Как человек я ее осуждаю, но как летчик...» Он не заканчивает фразы. Он начал свою карьеру, он будет «знаменитым».

Перикло Баруфи — сын крупного интенданта. Он родом из Рима. Кончил военную академию. Лейтенант итальянской армии. Находился в Удино. Осенью 1937 года был направлен в Испанию. Летал на «фиате». Аппарат сбили в конце мая возле Балагера. Перикло спасся на парашюте. Он очень вежлив и очень глуп. Южная беспечность придает его идиотическим сентенциям характер веселой арлекинады. Он, например, уверяет, что читал Маркса и что Маркс ему не понравился. «Что именно вы читали?» — «Кое-что. Нам давали в академии. Что такое марксизм? Сейчас я вам объясню. Фабрикант вложил в дело большой капитал и труд. А Маркс хочет, чтобы рабочие подожгли его фабрику». После экономического обзора Перикло переходит к международной политике: «Всем понятно, что Средиземное море — это наше море. Значит, те государства, которые находятся на Средиземном море, должны стать фашистскими. На Норвегию

нам наплевать (спешу сообщить эту отрадную весть друзьям норвежцам.— *И. Э.*)... Другое дело — Франция или даже Англия». Однако международная политика быстро утомляет Перикло. Он только со стыдливой скромностью признанного автора добавляет: «Пока что мы помогаем родному испанскому народу...»

Франсоис Леончини — сын коммерсанта из Витербо. Был коммивояжером, стал летчиком. У него нет лба. Все остальное примерно на месте: глаза, уши и подбородок. Но лба ему не отпущено. Как легко догадаться, это придает ему вид скорее неодухотворенный. В Испанию Франсоиса направила некая официальная организация СИАИ. Понатужившись, Франсоис расшифровывает: Синдикато итальяно аиуто Иберия — Итальянский союз помощи Иберии. «Помогать» Иберии Франсоис начал в апреле 1937 года. «Вы думали...» Он меня перебивает. «Я вообще ни о чем не думал. Думают начальники». Я смотрю на затылок, который переходит в брови, и спрашиваю: «А для чего у вас голова?» — «Только для того, чтобы управлять аппаратом. У начальников головы покрупней. У них головы для того, чтобы думать. Начальники никогда не ошибаются». Трудно говорить с человеком, который гордится тем, что он не думает. Я все же его расспрашиваю о фашизме, о войне, о будущем. Наконец он изрекает: «Когда во Франции фашисты заварят кое-что, мы и туда полетим — надо подсобить. Если все станут фашистами, на море будет спокойно...» Он замолкает. Я думаю о Паскале, который назвал человека «мыслящим тростником»...

Луиджи Мариотти — сын заводского мастера. Он вышел в люди и презирает народ. Он был студентом в Турине, потом стал летчиком. Соблюдая приличия, он называет себя «лейтенантом в отставке». Конечно, он состоял и состоит на действительной службе. Он презрительно отзывается об испанских фашистах: «Лентяи, тунеядцы...» Он говорит прямо: «Я здесь сражался за священные интересы Италии». Когда я упоминаю об убитых женщинах и детях, Луиджи иронически хихикает: «А кто в этом виноват? Республиканцы. Почему они, например, не эвакуируют население из больших городов?» Я ему отвечаю, что в крохотном городке Гранольерс итальянцы убили эвакуированных женщин и детей. Он с удовлетворением улыбается и гово-

рит: «Это красные сами подстроили. Дайте-ка лучше еще папиросу...»

Лео Зигмунд родом из Нейденбурга в Восточной Пруссии. Сын помещика. Ему двадцать девять лет. Он хитро ухмыляется в рыжую бороду. Говорит и что ни слово — врет. «Мои родители были людьми небогатыми, я хотел поездить по свету, людей поглядеть, себя показать. Я, например, мечтал съездить в Россию. А меня взяли и не впустили туда. Вот я и приехал в Испанию. Для проверки аппаратов. Ну, конечно, и летал...» Одним словом, перед нами турист, который заинтересовался красотами Севильи и Гранады. Кстати, этот турист — майор и состоит на действительной службе. Если он и помышлял о поездке в Россию, то отнюдь не в качестве интуриста. Когда я его спрашиваю об Испании, он пожимает плечами. Этот любознательный путешественник вдруг забывает о своем туристическом призвании. «Испания меня не интересует. Я — немец, и только. Самолеты «мессершмитт» — вот это штучка!» Он снова смеется в рыжую бороду.

Ганс Карлевский тоже не штафирка. Он родился в Восточной Пруссии. Его отец, увы,— доктор. Зато дядя — генерал от кавалерии. Ганс решил ориентироваться на дядюшку. Он «работал» на «Хейнкеле-111». Свое появление в Испании он объясняет резонами дипломатическими и гуманными: «В начале революции в Барселоне пострадало много немецких коммерсантов. Германия была вынуждена вмешаться». Потом он с удовлетворением вспоминает, как германские суда обстреляли Альмерию: «Это был счет за немецких моряков».— «Но вы убили там женщин».— «Ничего подобного. Я читаю только немецкие газеты. Я верю только немецким газетам». Конечно, он не щелкает шпорами. Он — летчик, у него нет шпор. Но дядюшка, генерал от кавалерии, может быть доволен: племянник пошел в него.

Первое место в ряду «героев» и последнее в моем обзоре по праву принадлежит Курту Кетнеру. Родом из Бранденбурга. Сын архитектора. Бледное лицо, мутные блуждающие глаза. Лейтенант германской армии. Был наблюдателем на «Хейнкеле-111». Один из старейших: приехал в Испанию 12 октября 1936 года. Взят в плен 10 марта 1938-го. Он злобно шепчет: «Наши заклятые враги — русские...» На лбу капли пота. Повторяет катехизис расизма: «Одна раса — одна история...»

«Но немцы здесь сражаются вместе с итальянцами, с испанскими фашистами, с марокканцами. Что же, у всех вас одна история? Вы все одной расы?»

«Конечно, это неприятно. Но, чтобы уничтожить марксистов, можно пойти даже на это... Я не знаю, какие во Франции фашисты... Наше правительство это знает. Если французские фашисты не против Германии, мы поможем и французским фашистам... Надо уничтожить марксистов...»

Он кое-что читал. Это не только убийца, это к тому же пропагандист. Однако когда он берет в руки книгу, он знает заранее, что в ней написано. Он читал Гюго, потому что Гюго «показывает гниение французской нации». Он не читал Льва Толстого и не станет его читать: «Это воняет...» Он переходит к философии:

«Война всегда будет. Я верю в бога, и я знаю, что бог хочет войны. Конечно, не Бог из Евангелия, а наш бог. Война будет вечно».

Он вытирает рукавом лоб, этот фанатик смерти, задыхается от ненависти. Я спрашиваю: «Вы бомбили испанские города?» Он смеется...

Я сознаю всю ответственность этого рассказа, я ничего не добавляю. Он говорит:

«Опять эти истории с «мухерес и ниньос» (он говорит по-немецки, но эти слова он нарочно произносит по-испански, смеясь,—«женщины и дети»)... Вздор!»

«А Барселона? А Гранольерс? Аликанте?»

«Вздор! Недавно я видел после бомбежки дым, я это видел из окна. Это, наверное, снова дымились мухерес и ниньос?»

...Он опять смеется. Потом он глядит на стенную карту, где флажками проставлена линия фронта, и, весело ощерясь, шепчет: «Ага!» Его мутные глаза — глаза пьяного.

Один из немецких летчиков презрительно сказал об испанцах: «Ну, этакие дикари!..» Фашистские самолеты разрушили в Аликанте изумительную церковь эпохи Возрождения. Они повредили в Барселоне университетские лаборатории. Они уничтожили десятки библиотек и школ. Республиканцы устроили на фронте две тысячи пятьдесят школ. Семьдесят шесть тысяч неграмотных в окопах научились читать. Впрочем, не в грамоте дело. Я спросил Карлевского, человека с высшим образованием: «Вы читали Томаса Манна?» Он удивленно ответил: «Что это?» Ни один из пленных лет-

чиков — это все дети зажиточного класса, люди с высшим образованием или студенты,— ни один не знал даже имен Веласкеса, Гойи, Лопе де Веги, Кальдерона. Ни один. Притом они отнюдь не стыдились своего незнания, и Перикло Баруфи, представитель золотой молодежи Рима, мне просто ответил: «Мы не знаем того, чего мы не должны знать».

Вот люди, которые уничтожают Испанию.

Барселона, 20 июня 1938

ВОКРУГ ЛЕРИДЫ

Как известно, фашисты держатся среди развалин Университетского городка, и одна из фашистских радиостанций начинает свои передачи весьма кичливо: «Говорит национальный Мадрид». С бо́льшим правом я мог бы в конце этого очерка поставить «Лерида» — я сейчас в Лериде. Если город захвачен фашистами, республиканцы укрепились на левом берегу Сегре — в заречье Лериды. Развалины трех улиц, театр (среди мусора — клочок афиши: «Завтра премьера»), городской сад, который носит громкое имя «Елисейские поля». Итак, я на Елисейских полях Лериды. Напротив — узкие горбатые улицы старого города. Там фашисты. Тишину летнего полдня изредка перебивают короткие реплики пулемета. Среди искалеченных деревьев чирикает пичуга-сумасбродка. Дома напротив пусты. Я помню приказ генерала Франко: такой-то назначается гражданским губернатором Лериды. Что делает этот труженик? В Лериде было свыше сорока тысяч жителей. В ней не осталось и четырехсот.

Грустен был знакомый путь от Барселоны до этих развалин. Я еще раз пережил горечь мартовского отступления. Сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Красивый шумный город казался глубоким тылом. Вон там было кафе. Завсегдатаи спорили о «раскрепощении эроса» или о «свободе воли». Теперь вместо круглых столиков — мешки с песком и пулеметы. Я физически ощущаю потерю территории — обычно так человек, вернувшись на знакомые места, переживает ход времени. Сариньена, Бухаралос, Фрага, Барбастро... Они взяли и это — голый,

скудный, жесткий Арагон, который едва успел проснуться после вековой спячки.

Я знал в Лериде парикмахера. Он брил меня каждый раз, когда я возвращался с Арагонского фронта. Весело усмехаясь, он точил бритву и приговаривал: «Самолеты где? Танки? Где город Лондон? Кто бреет лорда Плимута?» Он не мог пойти на войну: он был старым кривым Фигаро. Если он не успел выбраться, они, наверное, его убили.

Я знаю — на войне нельзя унывать. Когда Наполеон захватил Испанию, свободной оставалась только Андалусия, и Андалусия победила. Не с унынием — с яростью я гляжу на замок Лериды. Какой был город! Набережные, аркады, фонари. Развалины...

Один француз сказал мне: «Не понимаю, почему фашисты остановились в Лериде. Сегре? Речушка! У Франко загадочные методы». Француз явно склонялся к мистицизму. Конечно, никто не станет спорить, Сегре — речушка. Но фашисты не остановились в Лериде, их остановили. Здесь, вот в этом парке, Испания снова собралась с духом после мартовского удара. Это повторялось не раз. Заглянув в первые дома Мадрида, фашисты принуждены были остановиться на самом пороге столицы. Они пробились к шоссе Мадрид — Валенсия. Казалось, столица через несколько дней будет окружена. Они не смогли окружить Мадрид. Они дошли до Тортосы и не взяли Тортосы. Они не смогли перейти и эту речушку.

Велика здесь сила сопротивления. Я был недавно у Антонио Мачадо. Это самый крупный поэт старшего поколения. Старый, очень худой, с трудом ходит. Исступленно работает. Живет как беженец. В городе нет ни кофе, ни табаку. Ночью нельзя спать: лай зениток, грохот бомб. Антонио Мачадо каждый день пишет статьи для фронтовых газет. Он пишет также сонеты, строгие и чистые. Неслучайно в решающие дни большой испанский поэт оказался с народом: таковы традиции испанской литературы, таков ее внутренний пафос. Она создала не Фауста, не Гамлета — Дон Кихота. Антонио Мачадо говорил мне о глубоких корнях испанского сопротивления. «Ошибочно думают, что испанцы — фаталисты... Нет, они умеют бороться против смерти».

Вялый артиллерийский огонь. После боев у Балагера на Восточном фронте затишье. Жарко. Стрекочут

цикады. Осколок снаряда убил бойца. Красивый, смуглый, курчавый. Товарищи его звали Куррито. Он — андалусец из Сьерра-Морены, пастух. Лицо кажется живым; легкая гримаса, как будто солнце ему режет глаза. Все молчат. Только один из бойцов лопочет: «Я ему обещал рубашку зашить...» Это весельчак, барселонский портняжка. Он шевелит губами, чтобы сдержать слезы. Они вместе дрались с начала войны.

В бригаде почти все андалусцы: горняки, виноделы, пастухи. Они сначала сражались возле Кордовы, потом на Гвадалахаре. Теперь стерегут берег Сегре. Старый боец-анархист говорит: «В марте было плохо. Валентино помог... Валентино — вот это командир!» Он ухмыляется, вспоминая подвиги Валентино Гонсалеса — Кампесино.

Пушки замолкли. С того берега — крик громкоговорителя: «Сдавайтесь, пока не поздно! Мы заняли Кастельон». У фашистов хорошие громкоговорители — немецкие. Далеко окрест разносится рык победителя. У республиканцев на этом участке нет громкоговорителей. Впрочем, до вражеских окопов рукой подать, и андалусцы не теряются. Комиссар сложил в трубу руки, кричит: «Испанцы, чему вы радуетесь? Что итальянцы взяли еще один испанский город? Но мы отберем Кастельон назад. Не завтра, так через год». Бойцы восторженно подхватывают: «Отберем!» Фашисты молчат. Я спрашиваю комиссара: «Социалист? Коммунист? Республиканец?» Он отвечает: «Нет. Из конфедерации. Анархист». Помолчав, добавляет: «Испанец». Молодой. До войны работал как батрак на виноградниках. Он многому научился. Он рос вместе со своей страной.

Напротив — марокканцы. Это кажется сказкой про белого бычка, и все же это правда: бьют их, бьют; из Африки привозят новых. Недавно одного взяли в плен. Из французского Марокко. Лопочет по-французски: «Мосье, я не знать. Мне дать деньги. Мне сказать стрелять...» Вероятно, при описи иностранцев, которые сражаются в Испании, этого «мосье» лондонские спецы причислят к бесспорным испанцам.

Противник хорошо закрепился. Тонкий заслон — людей у него мало. Республиканские позиции теперь куда сильнее прежних. Особенно радует дух бойцов — и ветеранов, и новеньких, мобилизованных. Это не победители, это и не побежденные. Это армия накану-

не генерального сражения. Каждый понимает, что на карту поставлено все. В окопах чувствуется настороженность. Позади усердно роют укрепления. Все с охотой идут на занятия. Кто сумеет рассказать, как эти люди хотят победы! Они больше не говорят о ней: одни потому, что война сделала их суеверными, другие потому, что им опостылели все слова. Они молча смотрят на тот берег — горячие, сухие глаза.

Снаряд попал в персиковое дерево. Сломанная ветвь с тяжелыми, душистыми плодами. Замечательные в Лериде персики! Мы сидим на корточках, едим, улыбаемся, а сок течет на землю. Портной вдруг говорит: «Куррито любил...»

Позади — нивы, оливковые рощи, еще дальше горы, виноградники — зеленый сад — Каталония. Позади — сотни городов и сел с ранами: мусор, обломки мебели, раскиданная утварь — фашистская авиация. Один боец рассказывает: «В Тортосе всего два дома осталось: остальные разрушены. А что из того? В Тортосу они не вошли...» Он сам из Тортосы: у него была лавчонка детских игрушек.

Каждый день, каждую ночь фашисты уничтожают города Испании. Они думают, что испанский народ не выдержит этой пытки страхом. Они не знают испанского народа. Почему бы итальянскому генералу Бергонцоли не прислушаться к ответу моего комиссара: «Мы отберем Кастельон — не завтра, так через год»? Почему бы Муссолини не почитать на досуге Антонио Мачадо? Испанский народ часто пугался жизни. Он прятался от нее в облака, кочующие над Пиренеями, в сны прошлых столетий, в мглистый полуафриканский зной Ла-Манчи. Испанский народ никогда не страшился смерти, и вся поэзия этой страны от Хорхе Манрике до Антонио Мачадо, вся поэзия, не только та, что в книгах, но и другая — та, что в песне пастуха, в усмешке путника, в скупых слезах девушек,— вся поэзия Испании дышит одним:

Смерть зовет меня в бой.
Я вылью воду на угли.
Я разобью кувшин о камень.
Я пойду против смерти,
Один на один.

Перед тем как захватить Лериду, фашисты бомбили ее день и ночь. Они убили сотни женщин и детей. Потом они ворвались в город и, думая кем-то управ-

лять, назначили гражданского губернатора. Перебежчик с того берега рассказал мне: «Город пустой, как сьерра. Все ушли. Я не мог — лежал в жару. Вчера ночью переполз. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с гостиницей «Палас», там была кондитерская? На этом доме написано красной краской: «Мы не хотим жить с теми, которые убили наших жен и детей». Это не солдаты написали, это написал кто-то из жителей. Когда уходили...»

Что прибавить к словам, написанным красной краской на пустом доме Лериды?

Курсы для низшего командного состава. Кругом колосья, маки. Зной: испанское лето входит в силу. Третье лето... Майор на грифельной доске чертит разрез фортификаций. Весельчак портной напряженно слушает, он наклонил голову набок: ловит каждое слово. Недели через две он будет капралом.

Восточный фронт, 18 июня 1938

БАРСЕЛОНА В ИЮНЕ 1938

Каждую ночь фашистские самолеты нападают на Барселону. Несколько разрушенных домов, несколько убитых. Люди просыпаются, поворачиваются на другой бок и засыпают: завтра надо работать, а июньская ночь коротка.

Сейчас Неделя книги. На улицах киоски различных издательств. Девушки бойко торгуют военными учебниками, романами, стихами. Вот женщина покупает новинку — «Битва на Марне». Боец с фронта выбрал сборник стихов Гарсиа Лорки.

В самом сердце Барселоны — десятки разрушенных домов. Спиралями свисают лестницы, распотрошенные комнаты шестого или седьмого этажа показывают прохожему приплюснутую кровать, стенные часы, детский стульчик. Неподалеку, в маленьком, еще не разрушенном доме искусный ремесленник делает макет разрушенного квартала для выставки в Лондоне. Это мастер, преданный своему делу. Прежде он изготовлял другие макеты: он воссоздавал храмы Греции, арены Рима, разрушенные временем. Теперь он старательно передает трагедию родного города. Гипсовый макет кажется невыносимо хрупким. Он может этой

ночью рассыпаться. Ведь в соседних домах давно нет окон. А вокруг — дети, хрупкие, но неизменно веселые дети Барселоны, хрупкие дети вокруг хрупкой игрушки...

На площади Каталунья сквер. 19 июля 1936 года по этому скверу ползли рабочие, штурмовавшие гостиницу «Колумб». В сквере — стулья; если сядешь, надо заплатить десять сантимов. Кругом — развалины. Но старуха аккуратно взимает десять сантимов, выдает билетики. Что можно теперь купить на десять сантимов?.. В сквере — голуби. Какие-то старики приносят им крошки хлеба — птичий паек от скудного человеческого пайка. Бомбы падают на Барселону, но голуби не улетают.

Я дал двум девочкам плитку шоколада. Они позвали других; плитка была поделена между одиннадцатью ребятами. Когда я вспоминаю о том кусочке, который достался каждому, мне становится не по себе.

Жизнь продолжается. Большой рабочий город не хочет сдаться. По ночам фейерверк: прожекторы, разрывы снарядов, бомбы. Дрожат стекла там, где стекла уцелели. Рано утром из парков выходят первые трамваи; люди спешат на работу. Стучат станки. В магазинах хозяйки покупают бумагу от мух, чашки, лампы. В филармонии репетиция концерта классической музыки. Школьники зубрят теоремы. Дантистка успокаивает пациента: «Это не больно...» Влюбленные в парках ссорятся, мирятся, целуются. Перед барскими особняками крохотные огороды. Солнце принесло салат и черешни. Квартал песен и рыбаков, веселая Барселонета, уничтожен итальянскими самолетами. На Рамбле — ларьки с цветами, и никогда, кажется, в Барселоне люди не покупали столько цветов. В газетах объявление — черная рамка — «Погиб при бомбардировке».

Судьба Барселоны разворачивалась на наших глазах. Кто забудет ночи первого лета войны? До рассвета на Рамбле люди пели. Город рвался к счастью, бредил, кричал. Той Барселоны больше нет. Изуродованный город остался прекрасным. Он не разучился улыбаться. Он научился ненавидеть.

Мужчины ушли воевать, женщины стали токарями, сплавщиками, механиками. Старые рабочие, кончив работу, учат женщин. Они ничего за это не получают: они хотят победы.

Рехине Агиле семнадцать лет. Хорошенькая веселая девушка. Еще недавно она была модисткой. Теперь

она учится работать на фрезерке. Пять братьев на фронте. Рехина, по-детски улыбаясь, говорит: «Надо выиграть войну».

Одна из женских школ уже выпустила сто восемнадцать квалифицированных работниц. Школ много. Эльвира Риего работала в Париже у Ситроена. Там вдоволь хлеба и там нет ночных тревог. Она приехала в Барселону. Утром на заводе, вечером в школе:

— Что мне там делать? Я испанка...

Витории Гурьерес двадцать шесть лет. Она была ткачихой. Теперь работает на оборону. Ее муж на фронте. Отец на фронте. Брат на фронте. Она говорит, не отрываясь от работы:

— Им нужны снаряды...

Тридцать четыре девушки. Они учились три месяца в техникуме. Теперь они работают в автомобильном парке. Ни одного мужчины. Сюда привозят негодные грузовики. Девушки разбирают мотор, заменяют части, собирают. Каждый день десятки грузовиков уходят отсюда к Лериде или к Тортосе. Тересе Грульес двадцать один год. Ее отец служащий; брат на фронте. Она с гордостью показывает инструменты:

— Мы тоже воюем...

Эти девушки сродни Барселоне. Они по-прежнему приветливы, проворны, смешливы. Свой грустный обед они едят как праздничную трапезу. Они покупают на Рамбле цветы. Они пишут бойцам горячие сумасбродные письма, письма, полные тоски, ревности, нежности и веры в победу. Они работают серьезно, ожесточенно, непримиримо.

Я знаю, что муж Фелисидад Хименес убит возле Тремпа. Но она не говорит мне о своем горе. Она старается быть веселой. Это мужество ребенка — ей девятнадцать лет. Она хорошо работает на заводе, все ее хвалят.

— Нужно много снарядов. Много, очень много.

Ее детское лицо вдруг становится жестким.

Испанская женщина ненавидела войну. Суеверно она страшилась оружия. В пьесе Гарсиа Лорки «Свадьба крови» женщина проклинает все, что несет мужчине смерть:

«Нож? Пусть будет проклят тот, кто его выдумал! Пусть будут прокляты ружья и пистолеты, самое маленькое лезвие, даже топоры и вилы! Пусть будет проклято все, что может ранить тело человека, который идет, молодой, в оливковую рощу!..»

Недавно итальянская бомба попала в кладбище; далеко окрест разлетелись кости мертвецов. Вчера бомба разрезала высокий дом. За час до этого женщина родила. Погибли и роженица, и новорожденный. В окне — клок простыни. Но это не белый флаг. Барселона не сдается. У нее сейчас не только улыбка, не только розы Рамбле, но и та жесткость, суровость, которые я увидел на лице ребенка-вдовы.

Июнь 1938

ДВЕ ПРИТЧИ

I

Когда-то я не доверял притчам, теперь я знаю, что они правдивы, как голод или как боль.

Я помню огромный зал в Париже. На трибуне стоял Жак Дорио. Он не был согласен с решениями партии. Он говорил:

— Я коммунист и никогда не предам дела рабочих! Наш спор — это спор о деталях...

На следующий день фашистская газета писала: «Жак Дорио произнес блестящую речь...»

Несколько месяцев спустя я снова увидел Жака Дорио. Это было возле стены Коммунаров. Он шел впереди кучки приверженцев. Кто-то в толпе неуверенно крикнул: «Предатель!» Жак Дорио презрительно усмехнулся и поднял кулак: он салютовал мученикам Коммуны. Он уверял других (а может быть, и себя), что это «спор о деталях». Он думал, что перерос всех. Он считал себя академиком революции. На самом деле он был приготовишкой предательства.

6 июля вечером я стоял возле Ирунского моста. Был тот предзакатный час, когда особенно спокойны и нежны зеленые холмы над Бидассоа. На испанской стороне чувствовалось оживление: сновали люди в форме и в штатском, офицеры, жандармы, сыщики, фотографы. Я думал, что они поджидают какого-нибудь германского генерала. По мосту, как всегда, проносились машины: шпионы спешили на работу. В окрестных садах пели птицы. Потом по мосту проехал автомобиль представителя Франко господина Солера. Все притихли. Из автомобиля вышел Жак Дорио. Он

поднял руку: он приветствовал обетованную землю. Он приветствовал тех, что в форме, и тех, что в штатском, офицеров, жандармов, сыщиков. Фотографы работали. Губернатор Гипускоа маркиз Росалехо, человек, который приставил к стенке тридцать женщин, раскрыл объятия и прижал к своей груди Жака Дорио.

Фашистские газеты посвятили приезду Дорио длинные статьи. Он красовался на фотографиях с поднятой рукой. Испанские «националисты» произвели его в испанцы наравне с германским генералом Фейдтом и итальянским генералом Бергонцоли: Жак Дорио стал Хаиме Дорио. Официальное сообщение начиналось так: «Вчера в Испанию вождя Франко прибыл Хаиме Дорио, француз хорошей расы...»

В Сан-Себастьяне имеется фешенебельная гостиница «Мария Кристина». Недавно оттуда выселили английских журналистов: «Марию Кристину» облюбовали немецкие офицеры. Где чествовать «француза хорошей расы», как не в гитлеровском штабе? В «Марии Кристине» был устроен пышный банкет. Жак Дорио произнес речь; он обещал, что Франция пойдет по стопам генерала Франко. Немецкие офицеры аплодировали: все-таки этот Хаиме, или Жак, куда симпатичней покойника Клемансо!..

Потом Дорио повезли на Левантский фронт. Он увидел развалины Нулеса, уничтоженного в июне итальянскими и немецкими самолетами. Дорио тотчас заявил: «Я видел развалины Нулеса, уничтоженного красными дикарями». Газета «Унида» сопроводила эту декларацию следующими словами: «Бесспорно, Хаиме Дорио самый честный из всех французов».

Теперь он перерос многих; это не приготовишка, это академик предательства. С удовлетворением он глядел, как германские орудия уничтожали деревни Леванта. Он радовался, когда марокканцы убивали испанских рабочих. Он хвалил итальянских летчиков. Улыбаясь, глядел он в полевой бинокль; люди по ту сторону проволоки умирали. Это не было «спором о деталях», это было обыкновенным пулеметным огнем.

Я не забыл, как Жак Дорио салютовал стене Коммунаров. Кулак послушно разжался, и та же рука (ведь люди меняют перчатки, не руки) просалютовала наследникам Галифе.

Это было отвратительно, и все же я рад, что я это видел. Предательство, как запах,— его нельзя описать,

его надо почувствовать. Велики соблазны всеприемлющей мудрости, зеленые холмы над Бидассоа. Но теперь я знаю противоядие: стоит только вспомнить Жака Дорио на Ирунском мосту...

II

Весной прошлого года в Валенсии я пришел в мексиканское посольство. Особняк был набит людьми. Дамы аристократического происхождения шпыняли горничных. Молодые люди возмущенно восклицали:

— Какое безобразие! Почему кофе без молока?

Это были фашисты, укрывшиеся в мексиканском посольстве в Мадриде. Их везли в Париж. Оттуда они могли направиться в Бургос. Герои Пятой колонны были вполне довольны жизнью. Одно их возмущало: почему им дали кофе без молока? Атташе посольства, несколько смущенный, сказал мне:

— Конечно, мы им не сочувствуем. Но они укрылись от возможных преследований, и это вопрос человеколюбия...

Во всех посольствах Мадрида отсиживались вожди фашистского заговора. Некоторые посольства они превратили в арсеналы и крепости. Весной, когда стало ясно, что генерал Франко Мадрид не возьмет, фашисты решили переехать в Бургос. Иностранные дипломаты занялись переселением Пятой колонны. Они, разумеется, говорили о человеколюбии. Особенное рвение проявили англичане; можно было подумать, что «человеколюбие» — первое слово, которому учит мамка будущего дипломата Великобритании.

Вчера я встретил в Андайе молодую женщину с двумя маленькими детьми. Ее зовут Долорес Руфиланчас. Она мне рассказала, как погиб ее муж, профессор мадридского университета и депутат кортесов. Фашистский мятеж застал Луиса Руфиланчаса в Галисии. Он скрывался. Фашисты арестовали Долорес Руфиланчас. Потом они нашли «преступника»...

По уставу фашистского военно-полевого суда подсудимый не имеет права защищаться. Он может только отвечать на вопросы. Защищает его офицер по назначению. Луис Руфиланчас написал защитительную речь и попросил своего защитника огласить ее. Бравый лейтенант, прочитав несколько фраз, запнулся:

— Господин председатель, прошу освободить меня от моих обязанностей ввиду внезапного заболевания.

Его, конечно, освободили. Приговорить к расстрелу можно и без речей. Среди военных судей заседали два итальянских офицера. Председатель, торопясь, огласил приговор.

Долорес Руфиланчас разрешили попрощаться с мужем через двойную решетку. Луис Руфиланчас сказал жене:

— Когда меня искали, я попытался найти убежище на английском крейсере, который стоял в Ла-Корунье. Я рассказал им, кто я. Они выслушали, а потом отправили меня на берег.

Долорес Руфиланчас побежала к английскому консулу. Консул спокойно ответил ей:

— Я знаю об этом — мне рассказали офицеры флота. Но, во-первых, нам, англичанам, трудно себе представить, что человека можно убить только за его убеждения...

— Они приговорили мужа к расстрелу.

— Да, я прочел об этом в газетах. Во-вторых, мы, англичане, соблюдаем абсолютный нейтралитет. Я ничем не могу быть вам полезен.

11 июля 1937 года фашисты расстреляли Луиса Руфиланчаса.

В Мадриде они говорили о человеколюбии. Они забыли о человеколюбии, посадив в шлюпку Луиса Руфиланчаса. Они не вспомнили о человеколюбии, увидев женщину с двумя детьми. Это тоже горькая притча: о двух мерах и о лжи слов. Мораль? Она в словах Долорес Руфиланчас:

— Я хочу туда, в Мадрид...

Не словами уничтожить всю ложь слов.

Июль 1938

ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ

Актриса Массалитинова дала мне в Москве маленькую шкатулку: «Это серьги моей бабушки, самое дорогое, что у меня есть. Отвезите их Пасионарии». Большие голубые серьги цвета испанского неба. Долорес на минуту отвернулась, взволнованная, как

будто безделушка еще хранила тепло русской любви. Потом она надела серьги и побежала к зеркалу. Все в ней просто, живо, естественно.

Как она умеет говорить! Это было в парижском цирке. Сорок тысяч французов слушали ее, затаив дыхание. Они не понимали испанских слов, но они понимали Пасионарию: до сердца доходил голос, паузы, волнение, чистота.

Незадолго до фашистского мятежа я был в кортесах. Выступал усмиритель Астурии Хиль Роблес. Он говорил уверенно, развязно. Вдруг встала Долорес Ибаррури, депутат Овьедо:

— Убийца!

Хиль Роблес побелел, его губы дрожали, он вытер платком лоб, он долго не мог вымолвить слова.

В детстве Пасионария мечтала стать сельской учительницей. Она была дочкой горняка в нищем поселке. Она стала не учительницей, но служанкой; она вставала до рассвета, ложилась в два часа ночи, стирала, мыла полы, ходила за коровами. Маленькая черноглазая Долорес... Иногда она думала: «Вдруг все переменится, и я стану учительницей...»

Вот Долорес уже не девочка: она жена, мать. В доме нужда. Бывает, нет хлеба. На руках у Долорес умирает ребенок. Долорес пишет статьи для первых подпольных газет. Горняки внимательно ее слушают: «Женщина, а как говорит!..» Теперь ее зовут «Пасионария» — так она подписала свою первую статью. «Пасионария» по-испански страстоцвет — ярко-красный или синий цветок.

Ее посадили в тюрьму вместе с проститутками. Начальник науськивал: «Это коммунистка, чистоплюйка, она вами брезгует». Долорес знала человеческое горе. Ее слушали, ее спрашивали, ей верили. Несколько дней спустя начальник тюрьмы докладывал губернатору: «Это опаснейшая преступница, заключенные ее боготворят».

1932. Снова тюрьма. Долорес вздумали судить. Все на месте: и бюст Фемиды, и тога судьи, и колокольчик.

— Подсудимая...

Долорес встает:

— Скоро вы ответите за все перед народом. Есть правда. Есть совесть...

Напрасно судья схватился за колокольчик: у Долорес звонкий голос. Жандармы выволокли ее из зала.

Все знают, как она освободила заключенных Овьедо. Она прошла одна сквозь строй солдат и скомандовала:

— Вольно!

Потом вышла к народу и показала большой ржавый ключ:

— Тюрьма пуста.

Смеясь, она рассказывает, как весной 1935 года перешла через французскую границу:

— С одним товарищем... Мы пятнадцать часов шли, не останавливаясь.

Ночь, горы, обрывы, речки. За ними гнались пограничники. Долорес слышала лай полицейских собак. Долорес смеется:

— Это смешная история...

— Смешная?

— Ну да, смешная. У товарища был новенький костюм. Мы переходили вброд реки, ползли по колючкам. Костюм его сразу погиб. Но он все время вздыхал: «О, мой костюм!» Он боялся, что собаки порвут брюки...

Долорес хорошо поет народные песни. Она с бойцами на фронте. Товарищ нервно смотрит на часы:

— Заседание... Опоздаем...

— Погоди.

Долорес еще не спела с бойцами одной веселой песни. Она знает, что значит накануне атаки мелодия, знакомая с детства.

В Мадриде она шла впереди женщин. Был холодный пыльный день. Она остановила дружинников, убегавших от марокканцев,—не упреком—глазами. Бойцы клялись ей: «Отстоим Мадрид!»

Один отряд с трудом удерживал позицию. Долорес добралась туда в танке. Бойцы радостно кричали: «Теперь ни за что не уйдем». Коммунисты показывали партийные билеты:

— Долорес, напиши здесь твое имя...

Штурмовые гвардейцы приревновали:

— Мы тоже деремся за республику.

Они вынули свои удостоверения:

— Напиши.

У одного молоденького дружинника ничего не было, кроме фотографии матери. Долорес обняла его и написала: «Долорес».

Мы знаем, что такое для оратора аплодисменты. Я слышал, как речи Долорес прерывали орудийные

выстрелы. Среди снарядов привычные слова звучали по-иному. Ее слова обходят мир быстрее, чем песня. Они становятся анонимными, как эпос. Они становятся словами народа. Многие ли знают, кто первый кинул в лицо смерти два чудодейственных слова: «¡No pasaran!»? Она, Долорес.

Страшный зной арагонского лета. Ни капли воды. Проносят раненых фашистов. Один боец вытащил фляжку: глоток на дне.

— Пей, Долорес!

Раненый шепчет:

— Пить!

Долорес дает ему фляжку:

— Раненый...

Налетела авиация. Одна часть дрогнула. Кто-то кричит:

— Трусы! Не видите, что здесь Пасионария?..

Бойцы тотчас остановились, пристыженные.

В Бельчите к Долорес привели трех священников. Они дрожат от страха. Один, самый хитрый, говорит:

— Я лично всегда любил бедных. Я толковал папскую энциклику «Рерум новарум», посвященную социальному вопросу, в духе снисхождения к низшим классам...

Он запнулся и вдруг стонет:

— Мы два дня ничего не пили...

Воды нет. Долорес ушла и вернулась с кувшином, с лимонами.

— О, святой Иисусе из Сео! О, Святая Дева пиларская! Благословите эту добрую сеньору!

Один боец, смеясь, спрашивает:

— А ты знаешь, кто эта сеньора?

— Наверно, супруга старшего командира.

Бойцы хохочут:

— Это Пасионария.

Три священника всплеснули руками:

— Святая Дева пиларская! Нам говорили, что Пасионария злая женщина, которая любит кровь, а она дала нам воду и лимоны.

Вечером три священника выступили по радио:

— Неправда, что красные убивают пленных. Неправда, что Пасионария злая женщина. Неправда, что республиканцы враги Испании.

Командир Модесто кричит:

— Долорес, сейчас же уходи!.. Убьют!..

Она улыбается. Бойцы весело говорят один другому:

— Долорес с нами...

Два года войны. Она на своем посту; работает с раннего утра до поздней ночи. Душные ночи. Грохот зениток. Тревожные телеграммы. За сколько лет сойдут эти недели?.. По-прежнему Долорес смеется, ободряет других.

— После победы выспимся...

В маленьком андалусском домике я увидел портрет Долорес рядом с изображением Святой Терезы. Я спросил крестьянку:

— Ты знаешь, кто это?

— Пасионария. Бедная женщина, как я. Только у нее большое сердце. Ее все слушают — министры, генералы. А я смотрю на нее, и мне легче плакать: у меня все трое там...

Июнь 1938

ЭБРО

Эбро — Волга Испании. В стране, где мало рек, Эбро — настоящая полноводная река. Об Эбро издавна поют песни. Но никогда еще испанский народ так часто не поминал свою любимую реку, как теперь: Эбро стала смертью и славой.

Горы рыжие и розовые, на них серебристо-пепельные камни. Деревни без зелени, с домами цвета камня, уходящие вверх. Внизу быстрая ярко-желтая река.

Это было в ночь на 25 июля в два часа с четвертью: армия переправилась на вражеский берег. Застигнутые врасплох, фашисты открыли беспорядочный огонь. Лодка за лодкой причаливали к правому берегу. Переправа была нелегкой: быстрое течение, мало лодок. Одна бригада переправилась на семи лодках.

Правый берег был прекрасно укреплен. (Возле деревни Флис можно полюбоваться работой германских инженеров.) Проволочные заграждения опутывали берег. Республиканцы прорвались через проволоку, выбили фашистов из укреплений, с боем пошли брать высоты. Кое-где фашисты сразу сдавались; в других местах они оказывали сопротивление. Иногда они попадали впросак. Один боец крикнул фашистам:

— Вы что здесь делаете?

— Мы в карауле.

— Идите вниз.

— Нельзя. Смены нет.

Боец рассмеялся.

— Теперь мы всех сменим. Понятно?

Надо было перебросить артиллерию. Работали паромы. Понтонеры начали наводить мосты. По какому мосту я проехал вчера? По двадцатому? По тридцатому? На следующий день, после того как республиканцы перешли реку, в два часа пополудни «хейнкели» начали бомбить мосты. Фашисты и по нынешний день не отказались от своей мечты — уничтожить переправы через Эбро. Вот привычное гудение, облака зениток, грохот. А по мосту идут грузовики со снарядами, с рыбой, с газетами. Понтонеры поют частушку:

Они их тысячу раз разрушат,
А мы их тысячу раз построим.
Мы — упрямые черти,
Мы — понтонеры Эбро.

Раненный осколком бомбы понтонер Сантьяго Альфонсо крикнул санитарам:

— Какая там к черту перевязка, когда надо делать мост!

«Хейнкели» прилетали по десяти, по двадцати раз в день. Один день был — двадцать шесть залетов. Тысячи и тысячи бомб. А по мосту идут бойцы, машины. Работают зенитки. В рыжих скалах динамит вырыл убежища для понтонеров.

Фашисты открыли шлюзы возле Тремпа, чтобы повысить воды Эбро. Четыре метра глубины, двести тридцать метров ширины. Быстрота течения — двенадцать метров в секунду. Водовороты. Но Эбро не остановила республиканцев.

Во время переправы в воду упали девять автоматических ружей. Один капитан решил спасти добро. Девять раз он нырял, а в том месте водоворот, но вытащил ружья.

Республиканцы освободили одиннадцать сел. Все помнят первую сводку фашистов; успехи республиканской армии они объясняли содействием «марксистских элементов, оставшихся в деревнях». Я видел эти «марксистские элементы» — женщины, дети, старики. Фашисты захватили окраину Каталонии во время

весеннего выступления. Они старались подкупить население: привезли сахар, треску, табак. Однако крестьяне с радостными криками встретили республиканцев. Сахар сахаром, сердце сердцем. На стене одного дома я видел изображение Муссолини в каске среди стрел фаланги. Крестьянка, плача (ее дом распотрошила фашистская бомба), сказала мне, показав на республиканцев:

— Это наши...

Она не знает «тринадцати пунктов Негрина». Она даже не знает, кто такой Муссолини, хотя фашисты нарисовали его портрет на соседнем доме. Она знает одно: республиканцы это — «наши».

В деревне Аско на дверях записка: «Товарищи! Охраняйте этот дом. Хозяин ушел в горы, потому что стреляют. Да здравствует республика!»

Крестьяне мало-помалу возвращаются в деревни. В деревне Миравет бойцы недавно устроили для крестьян праздник. Но немецкие бомбовозы не простили «марксистским элементам» простодушной радостной встречи со своими. Мора-де-Эбро, Аско, Фатарела — в каждой деревне десятки разрушенных домов. Среди развалин играют ребятишки; по улицам, загроможденным мусором и обломками мебели, осторожно ступают ослики. Они везут оливковое масло или хворост. Девушки весело беседуют с бойцами.

Бойцы армии Эбро знали, зачем в ясную июльскую ночь они форсировали реку: они не только возвратили республике десяток каталонских деревень — своим наступлением они защитили Валенсию. Фашисты, уже подступившие к окрестностям Сагунто, принуждены были остановиться. Когда показывались двадцать немецких бомбардировщиков, бойцы говорили: «Двадцатью бомбардировщиками меньше на Леванте».

Наступление республиканцев представляло угрозу коммуникациям фашистских частей, которые весной вышли к Средиземному морю. Кроме того, переход через Эбро поколебал престиж генерала Франко. Генерал Гарсиа Валиньо как-то заявил иностранным журналистам: «Красные, разрезанные на два куска, не смогут продержаться дольше двух недель». Это было в конце апреля, а три месяца спустя «красные» нанесли тяжелый удар фашистам, освободили восемьсот квадратных километров территории и захватили около пяти тысяч пленных. Как мог снести генерал Франко

такой афронт? Фашисты стали подтягивать новые дивизии. Они перебросили на фронт Эбро почти всю боевую авиацию, подвезли большое количество артиллерии, пулеметов, минометов и 4 августа перешли в контрнаступление.

Сегодня сорок второй день фашистских атак. Я гляжу с высоты на широкую долину: поля, виноградники, оливковые рощи, деревни, дороги — все это взято у фашистов и, несмотря на численное превосходство противника, не отдано назад. Генерал Гарсиа Валиньо, который командует одной из фашистских армий у Эбро, должен призадуматься, видя эту неприступную цепь высот.

С 4 по 16 августа фашисты атаковали высоты Сьерра-Пандолос. Эти горы покрыты низкими соснами. Некоторые высоты — 705, 698, 644 — по многу раз переходили из рук в руки. 11-я дивизия, недавно награжденная правительством республики, отбивала все атаки. Фашисты выпускали тысячи снарядов по высоте — воронка здесь переходит в другую. Двадцать залетов авиации в день. Можно сказать, что рельеф некоторых высот изменен. По интенсивности артиллерийского огня бои напоминали Верден или Сомму. На высоте 705 беспрерывно шли бои: атака, потом контратака. Захватив верхушку горы, фашисты взяли восемьдесят республиканцев в плен и расстреляли их на месте. Республиканцы видели это из своих окопов. С яростью они пошли в контратаку и взяли верхушку горы. Со стороны фашистов здесь сражалась лучшая часть — 4-я наваррская дивизия. Высоту 705 фашисты взяли, но дальше они не смогли пройти. Немецкая авиация стала скидывать зажигательные бомбы. Леса загорелись. Трудно в строках, которые я пишу наспех, на телеграфных бланках, рассказать о том, что пережили защитники Сьерра-Пандолоса. Они не отступили.

17 августа фашисты переменили направление удара: они атаковали республиканские позиции вокруг Гаэты. Бои шли до 31 августа. 3 сентября фашисты еще раз перегруппировали свои части: они провели свое наступление на высоте возле Корберы. 14 сентября наступило затишье до новых атак.

На фронте Эбро сражаются все лучшие части фашистской армии: 4-я, 1-я и 5-я наваррские дивизии, 13-я и 74-я дивизии, 50-я, 74-я, 82-я и 152-я «смешанные дивизии» (в них входят марокканские части). О насы-

щенности артиллерией можно судить по тому, что на фронте в три километра фашисты сосредоточивают сто семьдесят орудий. Тридцать — сорок бомбардировщиков засыпают бомбами республиканские позиции. Штурмовая авиация непрерывно обстреливает республиканцев из пулеметов. Механизированная итальянская бригада пытается танками прорвать фронт; были атаки, в которых участвовало до шестидесяти итальянских танков.

10 сентября фашисты вели наступление на высоту 544. Ее защищала одна рота, которая входит в 3-ю дивизию. Несколько раз бомбардировщики засыпали высоту бомбами. Потом фашисты открыли ураганный огонь. Казалось, на высоте не осталось ни одного живого человека. Два батальона фашистов из 84-й дивизии спокойно пошли занимать мертвую высоту 544. Когда они находились на расстоянии ста метров от макушки, республиканцы открыли пулеметный и ружейный огонь. Два фашистских батальона были уничтожены. Ночью к республиканцам перешел десяток солдат из 84-й дивизии. Они рассказывают, что их дивизия потеряла в боях у Эбро восемь тысяч человек ранеными и убитыми. Так высоту 544 отстояла одна рота.

Бойцы спрашивают:

— Как с чехословаками? Неужели Европа не отстоит?

Я молчу. Если бы Европа обладала мужеством и стойкостью защитников высоты 544, я знал бы, что ответить.

20 августа близ Фатарелы пятьдесят итальянских танков прошли в глубь республиканских расположений. Артиллерия республиканцев тотчас открыла огонь. Четыре танка были подбиты, остальные повернули назад. Все бойцы оставались на позициях.

На высоте возле Гаэты фашисты вели наступление компактными массами, иногда по шести атак в день. Если республиканцы после налета штурмовой авиации очищали высоту, как только авиация уходила, они отвоевывали утерянные позиции. Саперы приходят ночью в окопы и дивятся: как могла здесь удержаться пехота? Пыль... Ничего не осталось от окопов, от мешков с землей — воронки, а в них люди, и эти люди держатся.

На спокойных участках небольшие отряды республиканцев с ручными гранатами ночью идут в разведку.

Они возвращаются домой с пулеметами и винтовками, перебив фашистов.

На одной высоте снаряды фашистов убили командира и роту солдат. Остался боец 3-й дивизии Хосе Фонсере с восемью товарищами. Он принял командование и отстоял высоту.

3-я дивизия — прекрасная дивизия. Вот уже пятьдесят пять дней, как она в бою — от первых лодочек на Эбро до высот Корберы. Комиссар дивизии Карлос Гарсиа, раненый, остался в строю. Когда его хотели представить к награде, он возмутился:

— Ни в коем случае! Или представьте к награде всех бойцов — они это заслужили больше меня.

Капитана 3-й дивизии Франсиско Санчеса окружили фашисты. Он застрелил командира фашистского батальона. Франсиско Санчес погиб в этом бою, но фашисты дальше не прошли.

Капитан Анхель Осарин был убит, когда он пытался спасти два республиканских танка, подбитых вражеской авиацией.

Итальянцы были убеждены в том, что их тактика беспроигрышна: они ставили на превосходство вооружения и на численный перевес. После маневров в Абруццких горах итальянская печать писала о новых специфических приемах «итальянской войны». Вряд ли было что-нибудь новое в итальянском плане: большое количество авиации, концентрированный артиллерийский огонь, массовые атаки на коротком участке. Однако итальянцы уверяли, что они нашли верный способ быстрого завершения войны. Абруццкие теории получили проверку у Эбро. 8 сентября в газете «Пополо д'Италиа» Луиджи Барзини писал: «Фронт красных у Эбро нельзя прорвать, так как укрепления следуют за укреплениями и фронт идет в глубину».

Между тем днем, когда республиканцы заняли оспариваемые высоты, и первыми массированными атаками фашистов прошло не более трех суток. Неужели республиканцы за три дня воздвигли линию Мажино? Очевидно, объяснения фашистских неудач надо искать в другом. Итальянские разговоры о быстром завершении войны, может быть, и напугали французских стратегов из кафе «Де коммерс». Они не напугали бойца Хосе Фонсере, который с восемью товарищами отстоял высоту.

Английские и французские специалисты определяют сопротивление республиканцев на фронте Эбро как

«победу пехоты над авиацией». Мне и это объяснение кажется спорным: в некоторых боях три фашиста сражались против одного республиканца — пехоты у генерала Франко достаточно. Вернее назвать битву у Эбро победой человека над машиной, ибо к машинам мы можем отнести не только бомбовозы, немецкие орудия и минометы, но и фашистскую пехоту. Я разговаривал с пленными — это либо полудикие марокканцы, либо испанские крестьяне, которые не знают, почему их погнали под огонь. Если можно говорить о торжестве человеческого начала в столь бесчеловечном деле, как война, то оно — здесь, у Эбро,— торжество сознания над грубой автоматической силой. Смерть не остановила бойцов республики, когда они переходили Эбро. Смерть не заставила их отойти назад — под бомбами среди горящих лесов, измученных огнем штурмовой авиации, они оказались душевно сильнее фашистов, и поэтому они победили.

Вот несколько бойцов армии Эбро. Мигель Тагуэнья. Еще по-детски припухшее лицо: ему двадцать пять лет. Он кончил накануне войны университет, занимался оптикой, готовил диссертацию. Когда фашисты подняли мятеж, он взял винтовку и пошел сражаться в сьерру. Теперь он командует корпусом.

Боец Анхель Сапика. Ему пятьдесят два года. Он жил спокойно в Париже. Пошел на фронт добровольцем. Усмехаясь, он говорит:

— Смерть — это феномен, случай: умирают, как рождаются. Главное, прожить достойно, не презирая себя.

Боец Пабло Диас говорит о том же другими словами — он никогда не был в Париже. Это арагонский крестьянин.

— А мы их гранатами... Ты что думаешь! Убьют, так убьют. Но под ними жить я не согласен.

Такие люди побеждают «хейнкели», танки и наваррские дивизии. Они побеждают потому, что они — люди.

Сражение не закончено. Враг сосредоточивает новые резервы. Он перекинул на Эбро итальянский корпус, заново пополненный. Вероятно, в ближайшие дни фашисты снова попытаются вернуть потерянную ими в июле территорию. Республиканские части укрепляются, готовятся к новым битвам. Какие это прекрасные части! Среди бойцов много ветеранов, героев Мадрида, Брунете, Теруэля. Много и молодых, для этих

Эбро — первый страх и первая победа. Все они хорошо обучены. Подготовка к наступлению была тщательной. Два месяца бойцов учили переправе через реку. Пленные и перебежчики говорят о меткости республиканских стрелков — республиканцы не расходуют зря патронов.

В эти смутные дни на Эбро дышишь легко. Еще горячо южное солнце. Пользуясь передышкой, бойцы моются — сейчас подвезли цистерны. Для Европы завтрашний день зависит от непонятной и загадочной силы, от любезности Чемберлена, от нелюбезности Гитлера, от рока. Для этих людей завтрашний день ясен. Они смеются, поют песни, греются на солнце — выпал тихий день,— они веселы, потому что между позором и борьбой они давно выбрали борьбу.

Сентябрь 1938

НОЧЬ НАД ЕВРОПОЙ

У греков был миф о начале Европы. Европой звали прекрасную финикиянку, дочь Агенора. Зевс, влюбившись, ее похитил. Агенор послал своего сына Кадма на розыски Европы. Кадм долго блуждал. Дельфийский оракул сказал ему: «Следуй за коровой и там, где корова ляжет, заложи новый город». Кадм последовал совету и, увидев корову, воскликнул: «Здесь будет Европа!»

Недавно я прочитал в газете «Фелькишер беобахтер» следующие строки: «Наши крестьяне были мудрее наших книжников: они понимали, что такое чистота расы. Если мы справедливо гордимся прусскими коровами, которые во многих отношениях выше фионских и герефордских, то никто у нас не станет гордиться Марксом, Гейне или ублюдком Эйнштейном».

Что же, вспомним Кадма, и, взирая на великолепную прусскую корову, скажем: «Здесь была Европа».

7 ноября 1917 года рабочие и крестьяне разоренной, нищей России обратились к Европе со словами братства. На эти слова ответили орудия. По улицам Киева гарцевали германские уланы. Японцы захватили Владивосток. Сторонники самоопределения народов высадились в Архангельске. Присяжные пацифисты кровью залили Одессу.

В те памятные годы они глядели свысока на нашу страну: сколько неграмотных и сколько лаптей! Они заверяли, что для буржуазной Европы наступает эра мира и счастья. Отвоевав, победители и побежденные ночи напролет танцевали — это была эпоха фокстрота. В Вене люди умирали с голоду, но и в Вене не умолкал джаз. Демократы клялись помирить волков и овец. Ученые готовились к новым открытиям. Писатели обещали читателям длинные романы. Восторженно глядели обыватели на самолеты — они еще помнили извозчиков. Как они презирали нашу страну! В Москве голодные люди, устраивая субботники, руками подталкивали вагоны.

Потом Европа оттанцевала. Во всех европейских городах поставили памятники героям войны. Под памятниками валялись люди: дружно, как всходят хлеба, всходило поколение без работы и без хлеба.

Где теперь законники, которые осуждали балтийцев за то, что балтийцы отдали будущему не избирательные бюллетени, но свою кровь? Фашисты убили Ратенау и Эрцбергера, Амадола и Маттеотти. О Веймарской конституции упоминают только учителя истории. В домах Вены, построенных социал-демократами, поселились берлинские штурмовики. Чехо-Словакия поделена между захватчиками, а Бенеш изгнан немцами из своей страны.

Детям свойственно играть, подросткам — мечтать. Все люди рождаются для счастья. Новое поколение Европы так и не узнало счастья. Юноши весь день бродят по улицам: они ищут работу — так некогда люди искали клад. В Манчестере закрыты фабрики. Экономисты говорят, что в Англии чересчур много текстиля. Но я видел в том же Манчестере людей без рубашек, они заворачивались в газеты. Во Франции особая комиссия обсуждает, каким способом уничтожить избыток пшеницы, а газеты пишут, что во французских колониях голод. Датчане несчастны потому, что в Дании слишком много коров. Шахтеры Боринажа голодают потому, что в Бельгии чересчур много угля. Зачем люди прокладывали через Европу пути? Все страны наглухо закрыли двери. На чужестранцев устраивают ночные облавы, как на зверей.

На пустыре между Германией и Чехо-Словакией, под открытым небом ютятся триста человек. Германия их выслала, Чехо-Словакия их не впустила. Они

обречены на голодную смерть. Несколько дней тому назад одна женщина родила ребенка. Ей никто не помог: врачи были по ту сторону двух границ. Она рожала осенью 1938 года, как в пещерный век.

Поезд с ранеными бойцами интернациональной бригады подошел к французской границе. Поезд не впустили во Францию. Фашисты тотчас сообщили итальянской авиации, что в Порт-Бу — бойцы интернациональной бригады, и, чтобы спасти людей от итальянских бомб, испанские железнодорожники отвели состав в туннель. На пороге Франции люди в темноте корчились и стонали.

В Германии палач, надев черные перчатки, отрубил голову молодой женщине: ее заподозрили в том, что она коммунистка. Остался грудной ребенок. Я не скажу — звери: у зверей нет жалости, но у них нет и жестокости, звери знают голод, а люди, которые теперь правят Германией, всю цивилизацию своей страны, весь технический прогресс посвятили одному — жестокости. Они изучили анатомию, чтобы лучше пытать арестованных рабочих. Они изучили механику, чтобы без промаха убивать испанских детей. Они изучили химию, чтобы завтра удушить народы Европы. Во имя чего? Во имя «чистоты расы», во имя той прусской коровы, которая выше Маркса и Гейне. Черная ночь опустилась на Европу, и по сравнению с штурмовиками варвары, уничтожившие Древний Рим, кажутся нам гуманистами.

В новом Риме засели комедианты. Они были бы смешны, если бы им не дали свободы грабить и убивать. Они говорят о древней латинской культуре и мимоходом рассказывают, с каким наслаждением они травят абиссинцев ядовитыми газами. Я видел в Испании пленных итальянцев. Эти представители «древней латинской культуры» были вшивыми, голодными, неграмотными. В нашей стране имелись народы, до революции не обладавшие алфавитом, не знавшие оседлости, никогда не видавшие поезда, но Муссолини может теперь пригласить в Сицилию шорцев или ненцев с букварями и с мочалками.

Где открытия? Где бальзаковские романы? Где культура? Начало века сулило народам Европы достоинство и мир. Я не говорю о достоинстве — прусская корова... но кто теперь говорит о мире? Капитализм, разлагаясь, как огромный труп, отравил водоемы Ев-

ропы. В Италии восьмилетние сопляки учатся колоть штыком. Гейдельбергские студенты заменили курсы философии маршировкой.

Гитлер вызвал к себе представителей двух демократических держав. Он показал им сначала танки, потом карту Чехо-Словакии. Они поняли и не стали перечить. Среди бела дня разграбили страну, как лавочку. Каждый старался схватить побольше. Я знаю Бреслав. Это чешский город. Его заняли немцы. Жители убежали, и Бреслав стал новой Помпеей: пустые улицы, брошенные дома.

Завтра венгры войдут в Ужгород, в Мукачево, в села Закарпатской Украины. Два дипломата провели карандашом по карте. Теперь жандармы могут исчерчивать плетками спины крестьян.

После этого бессовестные люди в странах, гордых Хабеас Корпус или Декларацией прав человека, спокойно говорят, что восторжествовало право.

Французские буржуа откупились на год или на полгода. Они предали все ради покоя и все же покоя не нашли. Я видел в газете объявление пошляка, не лишенного смекалки: «Ввиду тревожного времени ищу хотя бы на краткий срок веселую беззаботную блондинку». Они стараются повкуснее есть и принимают на ночь снотворное. Они хлещут вперемешку коньяк и валерьянку. Судьба Португалии — вот их затаенная мечта, и они хотят завести у себя своего французского Салазара.

Обыватели с ужасом смотрят на небо. Они думали, что самолеты заменят извозчиков. Фашистские самолеты воскресили чуму 1000 года.

В Испанской республике нет хлеба. Недавно над маленьким каталонским городом показались пять «хейнкелей». Немцы скидывали не бомбы, но хлеб. Голодные женщины и ребята выползли из убежищ и стали подбирать хлеб. Тогда-то германские летчики принялись расстреливать их из пулеметов. Это новый спорт — охота на людей с приманкой, величайшее достижение Европы 1938 года.

Мужественно испанский народ защищает свою родину и культуру Европы. Мужественно в Париже и в Лондоне, в Берлине и в Риме миллионы рабочих, измученных одни безработицей и нуждой, другие кнутом и решеткой, отстаивают ценности большой цивилизации.

Мы взяли все, что было лучшего в Европе. Мы взяли Гете и Гегеля, Маркса и Гейне, мы им оставили Геббельса. Мы взяли Леонардо да Винчи, Леопарди, Гарибальди. Мы им оставили скоморохов в черных рубахах. Мы взяли Вольтера и Конвент, Гюго и Бальзака. Мы оставили им грустных героев этой осени. Мы взяли Байрона в Греции. Мы оставили им лорда Ренсимена в Праге.

Настанет день, и все живые люди повернутся лицом к той стране, которая одна сохранила традиции всеевропейской культуры. Подлинная Европа теперь у нас, и теперь их черед открыть окно в Европу.

Париж, ноябрь 1938

ВОЛКИ

На парижских экранах часто можно увидеть Муссолини: он любит сниматься. Мы видим его то воинственного в каске, то в трусиках на пляже. Недавно он снялся на сельском празднике с косой. Жаль, позади не сняли стогов — детей Харрара и Барселоны, скошенных этим державным косцом.

В Риме, согласно обычаю, проживает тощая, облезшая волчица. Ей дают в день два кило конины, и она никого не пугает. Рядом с ней теперь засели двуногие волки. Сотни тысяч матерей в Риме и Аддис-Абебе, в Неаполе и в Мадриде плачут оттого, что эти двуногие волки любят не конину, но человечину.

Тучный, обрюзгший человек, который снимается на пляже в трусиках, объявил убийство подвигом, грабеж — добродетелью: «Война — дело божественного происхождения. Война для мужчины — то же, что материнство для женщины».

Придворный шут академик Маринетти развил мысль своего учителя: «Война прекрасна, потому что она создает единую симфонию из выстрелов, грохота бомб, немых пауз, ароматов и трупного смрада».

Сын правителя — Бруно — собственноручно принимал участие в создании «единой симфонии»: он бомбил абиссинские деревни и каталонские города. Этот «герой» выпустил книгу воспоминаний, в которой он пишет: «При помощи зажигательных бомб мы подо-

жгли лесистые холмы и деревни. Все это было чрезвычайно занимательно...»

Есть русская поговорка: «Сын в отца, отец в пса, а все в бешеную собаку».

Один из вожаков германских волков — тщедушный графоман Геббельс поделился с миром своей философией: «Война — самая простая форма утверждения жизни. Нельзя уничтожить войну, как нельзя уничтожить феномен рождения».

Эти люди не в палате для буйных, они управляют огромными странами.

Капитализм когда-то строил библиотеки, обсерватории, мосты. Теперь, обезумев от страха, он призвал на выручку убийц, которые жгут библиотеки, разрушают обсерватории, взрывают мосты. В стране Данте и Леонардо да Винчи отец Бруно спокойно заявляет: «Я предпочитаю одну ручную бомбу десяти томам».

В стране Гете и Шиллера графоман Геббельс говорит: «Когда я вижу интеллигента, мне хочется выхватить из кармана револьвер».

В стране Сервантеса фашистский генерал Мильян Астрай провозглашает: «Смерть разуму!»

Я повторяю: они не в клинике для помешанных, они — на командных постах.

Они учат детей одному: убивать. Даже арифметика у них смердит: они считают трупы. Немецкий Бунд дер лерер (Союз учителей) издал новый задачник. Вот несколько задач:

«Каждая зажигательная бомба весит полтора кило. Сколько бомб может захватить самолет грузоподъемностью 600 кило?»

«47 бомбардировщиков бомбят вражеский город. Каждый самолет взял по 500 бомб весом в полтора кило каждая. Сколько сброшено кило взрывчатых веществ? Принимая во внимание, что 70 процентов бомб не попадут в цель и что только 20 процентов попавших в цель произведут нужное действие, сколько пожаров произойдет в городе?»

Это для десятилетних немцев. Для десятилетних испанцев — бомбы зажигательные, фугасные или осколочные.

Фашисты — грабители. Среди них имеются и взломщики — итальянцы в Испании, и «форточники» — поляки в Тешине. Грабеж они оправдывают вы-

сокими побуждениями. Они захватили Абиссинию потому, что там вместо культуры было рабство. Оказывается, неграмотные крестьяне Калабрии и Сардинии принесли абиссинцам просвещение. В Италии нет свободных людей, там все рабы, кроме тучного человека, который любит сниматься, и вот сотни тысяч рабов пришли освобождать абиссинцев. Они принесли им высшую форму волчьей культуры: иприт и портреты человека в каске.

Ворвавшись в Испанию, фашистские варвары тоже говорили хорошие слова. Они заверяли, что каталонцы — дикари, что в Мадриде на площадях насилуют монахинь и что в горах Астурии бродят преступники. Эти неучи объявили народ с высокой культурой, за счет которой долго жили другие народы Европы, народом дикарей. Смотрители концлагерей, рыцари кнута, топора и касторки, освобождали испанский народ от республики, от парламента, от свободы.

В сентябре этого года все тот же графоман Геббельс назвал дикарями чехов. Истребители книг, профессиональные поджигатели решили просветить «дикарскую Прагу» с ее старейшим в Европе университетом.

Когда в сентябре Гитлер произнес очередную речь, вся Европа сидела у радиоприемников. Неуравновешенный душевно человек кому-то грозил, и философы, ученые, поэты слушали, затаив дыхание: их судьба зависела от этого невнятного и, скажем прямо, нечеловеческого воя.

Один крупный и два мелких разбойника разграбили страну. Запуганные буржуа Европы вежливо кивали головами, и грабеж они называли «самоопределением национальных меньшинств».

Фашистские волки нахальны, но трусливы. Мы знаем, до чего победоносен Муссолини в Риме. Мы знаем также, как удирают его храбрые дивизии в Испании всякий раз, когда против них оказывается несколько батальонов.

Почему правители Англии и Франции не остановили захватчиков? Один француз цинично сказал: «Это могло бы привести к усилению Народного фронта». Чемберлен говорил: «Я боюсь, что у нас мало самолетов». Он думал про себя: «Я боюсь, что у Гитлера слабый тыл». Он боялся одного: свалить германский фашизм. В Мюнхене ни о чем не догова-

ривались. В Мюнхене только завтракали, обедали, а потом оставили на память четыре автографа. Все было решено заранее. Гитлеру выдали с головой не только Чехо-Словакию, но и немецкий народ. Даладье приехал в Париж гордый, как победитель при Аустерлице. Он сразу сказал шоферу адрес: к Триумфальной арке.

Теперь все живут одной мыслью: чей черед? Куда двинутся захватчики? На Литву или на Эльзас? На Румынию или на Данию? Во Франции жизнь замерла. Лаборатории ученых стали кочевыми: их эвакуируют, потом возвращают. Писатели больше не пишут длинных книг: все равно до конца не допишешь. Война скребется у дверей.

Фашисты не могут жить мирной жизнью. Им больше десяти лет, и они уже решили все задачи с зажигательными бомбами. Они хотят жечь, грабить, убивать. Ввиду антракта правители Германии предложили своим храбрым воинам заняться еврейскими погромами. В ноябрьскую ночь людей вытаскивали из домов и обливали ледяной водой, у стариков выдергивали бороды, женщинам набивали рот нечистотами. Геббельс назвал это «высоким проявлением германской души»; он сказал: «Никаких грабежей не было. Если женщина и взяла шубу в магазине, чтобы поднести ее матери на Рождество, я не могу назвать это грабежом».

Можно ли назвать грабежом, если женщина арийской расы стащила для маменьки неарийскую беличью шубку? Это только торжество справедливости. Теперь Геббельс и Даладье договариваются с Муссолини. Дело идет не о беличьей шубке: Муссолини хочет получить Испанию. Этот ребенок капризен, и Чемберлен, вздыхая, говорит: ничего не поделаешь! Чемберлена прозвали «крылатым вестником мира»: он присутствует при европейских грабежах — такова его специальность. Притом мы знаем, что, присутствуя при грабежах, он всегда ходит с зонтиком и всегда говорит о мире.

В испанском городе Фигерасе одна женщина, сына которой убили итальянские летчики, сказала мне: «Может быть, у этого Чемберлена нет детей?» Я не знаю, имеются ли у него дети. У него зонтик в руке, а в голове — Сити. Что касается Муссолини, у него много детей; это образцовый семьянин, и, может быть, именно его сын Бруно убил мальчика в Фигерасе. Не будем

ждать человеческих чувств от тех, что поклялись уничтожить человека.

Американские газеты пишут, что в Европе воцарилось средневековье. Зачем оскорблять предков? Люди средневековья жили в городах-крепостях с узкими темными улицами. Они верили в дурной глаз и боялись ада. Они еще многого не знали, и с улыбкой изумления человечество вышло из узких уличек на площади Возрождения. Но люди средневековья любили жизнь. Они создали прекрасные соборы, гениальные поэмы. Они оставили примеры мужества и дружбы. Можно ли сравнить с ними Бруно Муссолини или двух громил из Берлина? Что оставят потомкам эти убийцы, кроме фотографий дуче в каске, кроме развалин, кроме песни о сутенере Хорсте Весселе, кроме колючей проволоки концлагерей?

Они всегда были жадными. Они всегда говорили, что человек человеку — волк. Но теперь они взбесились. Мы знаем, что значат эти мутные глаза и слюнявые пасти. Страшно и стыдно подумать, что в 1938 году по городам Европы бродят эти проклятые стаи.

Париж, декабрь 1938

«КРОВЬ ИСПАНИИ»

Это было два года тому назад. Недалеко от Валенсии в апельсиновой роще был аэродром интернациональной эскадрильи — десяток стареньких самолетов. Воздушный флот республики только рождался. Итальянцы и немцы что ни день бомбили испанские города. Добровольцы из интернациональной бригады на плохих самолетах пытались отбить натиск противника. Эскадрильей командовал французский писатель Андре Мальро. Он тогда не помнил о литературе — он бомбил вражеские аэродромы. Он сидел над картами генштаба, проверял приборы и добывал для летчиков теплые рукавицы. С августа по январь писатель пропал: я встречался каждый день с подполковником испанской армии Андресом Мальро.

С Мальро были отважные бескорыстные люди. Я должен здесь вспомнить молодого летчика Абеля Гидеса, веселого и скромного, который погиб на севере Испании, спасая товарища.

В Валенсии тогда было тепло: вызревали ранние апельсины. В ста километрах от Валенсии, в Теруэльских горах, бушевали метели. Республиканцы задумали первое наступление на Теруэль. Этот живописный, бедный, а теперь полуразрушенный город увидел много мужества и много горя. Республиканская авиация была сосредоточена вокруг Мадрида. Теруэль считался второстепенным фронтом. Туда послали эскадрилью Андре Мальро.

Однажды старый крестьянин пришел к молодому французу. Он шел день и ночь,— он перешел через фронт,— крестьянин деревни, занятой фашистами. Он сказал:

— Я знаю, где стоят их самолеты.

Ему показали карту. Он грустно покачал головой: он не понимал ничего в картах.

— Посади меня в самолет, я тебе покажу.

— А ты летал когда-нибудь?

— Нет.

— Не боишься?

Он только усмехнулся. Два республиканских бомбардировщика успешно бомбили фашистский аэродром. Один республиканский самолет подвергся атаке фашистских истребителей. Я помню лицо Андре Мальро в тот вечер: твердые глаза, отрывистые фразы. Он только что вернулся из полевого лазарета. Два года спустя я увидел это на экране. Рядом со мной сидел Андре Мальро — кинорежиссер.

Есть люди одного ремесла, одной страсти. Андре Мальро менял часто свою жизнь. Он был поэтом и археологом, издателем и летчиком, агитатором и путешественником. Он прожил годы в Китае. Он бродил по джунглям Индии. Он открывал древние статуи. Он говорил на рабочих митингах о будущем. Он менял профессию, но не веру. Этому человеку претит измена. Он прилетел в Испанию, когда началась война: он был одним из первых. С тех пор он думает только об Испании. Он был летчиком, когда в Испании не было авиации. Потом он поехал в Америку. Он выступал на огромных митингах: он требовал помощи. Он всполошил много сердец и набрал много долларов. Он заперся и написал роман «Надежда». Перо было оружием: он продолжал сражаться за Мадрид. Его роман переведен на десять языков и в одной Америке он разошелся в ста тысячах экземпляров. Он решил сделать

фильм об Испании. Этот фильм он решил сделать в Испании.

Крестьянин, который спешит предупредить своих: «Там вражеский аэродром», бои над Теруэлем, смерть товарища — Андре Мальро посвятил этому эпизоду лучшую часть своего романа. Он сделал этот эпизод стержнем сценария.

Надо ли рассказывать о том, как трудно делать фильм в стране, которая воюет? В Барселоне было мало электроэнергии. Съемки в павильоне приходилось делать по ночам. Холодно на фабрике. Холодно в комнате Мальро. Актеры, да и режиссер между двумя съемками мечтали о пачке папирос или о куске мяса. Однако с каким восторгом они работали! Они тоже сражаются: фильм покажет миру мужество страны. Фильм может стать через полгода пароходами, которые уйдут из Америки к берегам Испании.

Андре Мальро сценарист и режиссер. Оператор — француз Паж — один из лучших операторов Европы. Актеры — испанцы. Фигуранты — несколько деревень и бригада республиканской армии на отдыхе.

Недавно Мальро и Паж на допотопном «фоккере» снимали сверху каталонский город Серверу. Для фильма не хватало кадров — город с самолета до бомбардировки.

«Фоккер» делал 130 километров в час: все приличные аппараты в Испании заняты другими делами. Вдруг показались 15 итальянских бомбардировщиков, окруженных истребителями. Они прилетели, чтобы бомбить Серверу. Старенький «фоккер» чудом спасся и доковылял до Барселоны. Съемки фильма почти закончены. Я видел некоторые части картины, еще не смонтированные. Это большая удача. Я не верю, чтобы фильм об Испании можно было сделать где-нибудь в Голливуде. Его надо было сделать здесь. Нигде в мире не найти испанского пейзажа, сурового и патетического, нигде в мире нет таких гордых крестьян с высохшими острыми лицами. Нигде не дышат этим воздухом отчаяния и надежды. В каждом кадре я чувствовал настоящее время глагола: это не взгляд со стороны, не рассказ историка, это поэзия самого боя, яркость крови, которая не успела свернуться, правда, которая еще не узнала справедливых и, однако, лживых поправок потомства.

Вот зал аюнтамьенто — муниципального совета деревни. Фашисты рядом. Крестьяне обсуждают: что делать? Есть два ящика с динамитом... Вот крестьянин, который идет предупредить республиканских летчиков. Ему дают револьвер. Он качает головой: у него за поясом большой щербатый нож. Вот политкомиссар над гробом летчика: сухая речь. Крестьяне деревни Чива молча слушают, говорят только глаза. Вот заключительные сцены фильма. Республиканцы уничтожили фашистский аэродром. Республиканский бомбардировщик сделал вынужденную посадку в горах. Один летчик убит, двое ранены. Крестьяне осторожно спускают с отвесной горы раненых на носилках. Потом их несут по дороге вниз. Одна за другой деревни спешат проводить героев. Тысячи людей. Один летчик ранен в лицо, и, когда его проносят мимо, женщина инстинктивно закрывает лицо своего ребенка. Виден грандиозный пейзаж сьерры. Процессия движется. Когда приносят гроб и носилки, все крестьяне поднимают кулаки — старики, женщины, детишки.

«Кровь Испании» — так названа картина. Это — кровь мертвых и раненых. Это и кровь живых — тех, кто подымает кулаки. Связь всего народа с республикой, национальный характер борьбы, героизм испанского крестьянства — таково содержание этого замечательного фильма. Война в нем не веселый парад (такой пытаются изобразить войну фашисты), но и не тупая бойня 1916 года, как в фильмах Майльстоуна или Пабста.

Это — жестокая война и это справедливая война: люди отстаивают свою свободу, свое достоинство. Бывший подполковник испанской армии Андре Мальро выиграл еще одно сражение.

Январь 1939

БОРЬБА ДО КОНЦА

Когда несколько тысяч республиканских солдат, охваченных паникой, перешли французскую границу, некоторые французские газеты осмелились говорить о «трусости республиканцев». Герои Мюнхена, сдавшие без единого выстрела свою линию Мажино

в Богемии, попрекали республиканцев, сдавших железное кольцо вокруг Барселоны. Я не стану сейчас на этой несчастной и героической земле спорить с французскими журналистами. Мы разно понимаем честь, дружбу и храбрость. Я предпочитаю даже этих оборванных, обросших бородами, голодных солдат парижским приказчикам лондонских купцов, битым не в бою и этим гордым.

Железного кольца вокруг Барселоны не было. Была армия, недостаточно вооруженная и подточенная сначала боями у Эбро, потом неприятельским наступлением.

Каталония, с прошлой весны отрезанная от Леванта, от Мадрида, от центра, была скорее осажденным городом, нежели областью. Беженцы из Малаги, из Астурии, из Арагона принесли с собой горе, ощущение жизни как гибели. Их надо было кормить, а хлеба не было.

Незадолго до падения Барселоны я получил письма барселонских школьников. Я должен был их переслать в Москву. Дети писали детям о своей жизни. Маленькие испанцы, они не жаловались, но в каждой строке чувствовался голод. Один мальчик двенадцати лет писал: «Война — самая жестокая игра из всех, которые я видел в моей жизни». Ребенок, он думал, что война — это игра. Ребенок, он думал, что многое видел в своей жизни. Игра...

Двадцать три воздушные бомбардировки в сутки. Ночи, полные воя сирен, грохота, криков. Огромная усталость разъедала город. Люди не договаривали фраз, разучились смеяться. Муссолини поздравил свои дивизии в связи с блестящей победой. Однако если итальянцы, битые под Гвадалахарой, теперь дефилируют по проспектам Барселоны, дело не в боевых качествах итальянских солдат, но в концентрации живой силы и материала. Я не буду повторять цифр. Они не раз приводились в печати. Итальянские моторизованные части могли легко маневрировать. Противник избегал лобового удара. Он просачивался в бреши. У республиканцев не было ни должного количества автоматического оружия, ни резервов, чтобы прикрыть все долины, все проходы. Натыкаясь на сопротивление, итальянцы тотчас сворачивали в сторону. Их авиация, их артиллерия не давали республиканцам ни часа передышки. Мы можем только прекло-

няться перед мужеством многих республиканских дивизий, которые отражали в таких условиях атаки противника.

Части, находившиеся на побережье, распылились, и фашисты подошли к Барселоне с юга. Они пытались охватить город. Оборона в районе Субадельи была более упорной, и кольцо не сомкнулось. Противник тем временем продолжал бомбить город. В Барселоне не было продовольствия. Несколько сот голодных женщин пытались рыть окопы. Началась паника среди населения. Люди бросились прочь из города. Они врывались в грузовики, ехали на ослах, шли пешком, забивая все дороги. Итальянцы их расстреливали на бреющем полете.

Командование решило оставить город и спасти армию. Одна старуха, плача, говорила уходившим солдатам: «Вам воевать, а для нас война теперь кончена,— ведь наши не бомбят городов».

Начались дни паники. О них говорил Негрин на заседании кортесов. За годы войны я сжился с испанским народом. В нем много детского, он легко переходит от безоблачного оптимизма к отчаянию. Тщетно в первые дни министры, командиры, отдельные стойкие люди пытались остановить лавину. Провокаторы распространяли вздорные слухи. Не было ни газет, ни радио. В Хероне уверяли, что в Порт-Бу высадился вражеский десант, в Фигерасе говорили, что пала Херона...

Дорога между Хункером и границей была забита. Люди ехали шесть километров в сутки. Север Каталонии превратился в табор — миллион людей кочевал. Ночью горели костры. Не было хлеба. Лил холодный дождь. В районе Пуисчерды стояли сильные морозы. Дети, женщины умирали. Раненые, выбравшиеся из барселонских госпиталей, валялись на земле без перевязок. Крестьяне везли скарб, гнали коз, баранов. Земля на десять километров от границы покрыта тряпьем, брошенной утварью, дохлыми ослами, сломанными машинами, мебелью — всем, что еще недавно было аксессуарами мирного быта. Кто-то приволок кресло, потом бросил. Кто-то оставил узел с голубыми лентами.

Что означал этот исход народа? Ушли не только рабочие Барселоны, ушли крестьяне. Известна привязанность крестьянина к своей земле, к своему дому.

Страх перед фашистами, ненависть к захватчикам заставили этих людей бросить все. Кажется, мир еще не видел столь трагического плебисцита. Французские газеты полны рассказов о беженцах. Они молчат об одном — о глубоком значении этих страшных дней. Каталония еще раз проголосовала против изменников.

Правительство работало не покладая рук. Бойцы на фронте стали укрепляться. Вышли газеты — крохотные листочки «Френте рохо», «Эхерсито популар», «Требаль». Радиостанция Хероны передала первую сводку. Навели порядок на дорогах. От отчаяния люди легко перешли к надежде. Беглецы отдышались, отоспались, побрились и пошли бодро на фронт. Эвакуация женщин во Францию проходит теперь в порядке. На кострах пограничники жгут память недавних дней — тряпье, рухлядь.

Положение остается исключительно трудным. Север Каталонии — это фронт без тыла. Сотни тысяч беженцев кочуют, их негде разместить. Итальянцы каждый день бомбят городки и села. Беженцы, ночуя на улицах Фигераса, узнали ряд трагических бомбардировок. Одно учреждение поместилось в лавке, другое — в деревенском сарае. Нет типографии, нет бумаги, нет даже пишущих машинок.

Противник продолжает энергично наступать. Многое зависит теперь от лопат: укрепления могут остановить противника, уставшего и понесшего тяжелые потери. Новые назначения и объединение двух каталонских армий в одну облегчат оборону. Мы помним, как фашистов остановили под Мадридом и близ Валенсии. Север Каталонии еще не потерян.

Учитывая серьезность положения, правительство собрало кортесы. Сессия длилась несколько часов. На последнем отрезке свободной Каталонии... парламент собрался в подземелье, чтобы избежать опасности воздушной бомбардировки. Свободный парламент, который должен заседать в убежище под землей,— этого я никогда не забуду. В речи Негрина было много горькой правды. Он рассказал о том, как французское правительство после падения Таррагоны отказалось принять испанских женщин и детей, как англичане посадили под арест героический экипаж «Хосе Луиса Диаса», как демократические государства приложили свою руку к петле блокады. Он говорил о страшной

борьбе испанского народа против военной мощи двух фашистских империй. В этой речи были слова высокой надежды. Негрин напомнил, что это война не между испанцами, но испанцев. Испания не может умереть. Потом один за другим вставали депутаты — республиканцы, коммунисты, социалисты, католики, называли свое имя и говорили: «Да». Это было присягой на верность Испании. А по дороге шли на фронт грузовики с бойцами, и среди черной ночи горели костры беженцев.

Я говорил с главой правительства и с солдатами, с командирами и с беженцами. У всех те же слова: «Бороться до конца». Женщина в палатке с детьми. Я спросил: «Почему вы не уходите во Францию?» Она покачала головой: «Они еще не пришли, а здесь я у себя — испанка».

Когда испанский народ боролся против Наполеона, были тяжелые дни. От Испании оставался только один город Кадис. Испания победила. Я думал об этом на маленьком куске свободной Каталонии. Там — за врагами и за городами — свободная Испания от Мадрида до Альмерии. Испания не может умереть. Испания победит.

Фигерас, 4 февраля 1939

ИСХОД

Кажется, я не видел ничего горше этого исхода. Народ согнан со своей земли. Идут по дорогам из Фигераса, из Риполя, из Сео-де-Уржеля. Фашисты бомбят дороги. Идут без дорог, через горы. Женщины с детьми, с узлами. Идут по скользким, обледеневшим скалам, вязнут в снегу. Многие идут уже шестой день. Весь север Каталонии заполнен людьми, которые идут, и кажется, что сдвинулись с места Пиренеи. Идут каталонцы, беженцы из Мадрида, из Малаги, из Овьедо, работницы, крестьяне, старые актрисы, беспризорные дети. Женщины тащат на головах тюки. Крестьяне гонят мулов, овец. Одна женщина сегодня родила на горе, а рядом падали бомбы. Я не знаю, где найти слова, чтобы об этом рассказать.

Трудно понять, что люди уносят с собой, покидая жизнь. Зачем этой женщине на чужбине трюмо? Интел-

лигент в очках, он идет, прихрамывая, а под мышкой несколько книг, связанных бечевкой. Девочка прижимает к груди уродливую куклу. Возле Пуисчерды много снега. Сколько там погибло в пути? Приходят с отмороженными ногами. Итальянские летчики истребляют беженцев. Возле Порт-Бу сидит женщина и кормит грудью ребенка. Ребенок мертвый — осколок бомбы, а мать сошла с ума. В Перпиньяне в госпитале много умалишенных.

Дети из Бильбао. Для них это не первый исход. Они перешли через горы возле Пратс-де-Молло. Я видел детей, где-то на перевале потерявших мать, я не забуду женщины, которая в снегу кричала: «Пепе, Пепе!» Она потеряла сына. Французы говорят, что границу уже перешли сто тысяч. Сегодня с утра идут все новые и новые: у каталонцев отняли Каталонию.

Франции нелегко: все здесь уплотнено. Что делать стране с чужим горем и с чужим народом? Я не хочу ничего осуждать. Я только расскажу о том, что видел. В тяжелые часы все ясней — и низость и великодушие.

Застигнутое врасплох французское правительство быстро наладило питание беженцев и эвакуацию. Жители французской Каталонии хотели приютить у себя десятки тысяч испанских каталонцев. Муниципалитеты рабочих предместий Парижа просили прислать им десятки тысяч детей. Однако французское правительство решило не допускать ни в Париж с его предместьями, ни в пограничные области испанских беженцев. Поезда направляются в центр Франции.

Несколько дней тому назад французскую границу охраняли сенегальцы. Это хорошие солдаты и, наверное, добрейшие люди, но им трудно разобраться в европейских делах. Выполняя слепо приказы, они по непониманию разлучали матерей с детьми. Мне хочется перебить этот грустный рассказ смешным воспоминанием — те же сенегальцы по ошибке вытолкали одного французского журналиста правого толка в Испанию. Теперь на границе французские солдаты. Они помогают женщинам и нянчатся с детьми.

Негде разместить беженцев. В приграничных городках у ребят каникулы — во всех школах приютили испанцев. Есть города гостеприимные и негостеприимные — как люди. Впрочем, зависит это не от доброты

людей, но от политической окраски мэра. В Арль-сюр-Теке все теперь живут одним — спасают испанских женщин и ребят, а в Серете мэр отказался предоставить для беженцев даже бывшую тюрьму.

Я видел со стороны французских властей много участия и человечности. Видел я и другое. В Булю я пытался разыскать одну испанку с двумя детьми — у меня было для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный и бездушный, сказал: «Их чересчур много». А представитель полиции стал кричать на меня. Я ему напомнил о человеческих чувствах. Тогда он гордо ответил: «Человеческие чувства меня не касаются». Я внимательно оглядел его. Он и впрямь не походил на человека.

Конечно, среди десятков тысяч беженцев имеются скверные люди. Газеты здесь пишут только о них, и местный листок завел даже особую рубрику «Неблагодарность испанцев». Стыдно читать такие газеты — на горе целого народа они отвечают глупыми анекдотами или клеветой. Местных жителей пугают: «Это анархисты, бандиты, убийцы». Группа правых советников парижского муниципалитета опубликовала расистское заявление. Эти господа требуют закрытия границы даже для испанских детей, так как дети, рожденные на испанской земле, должны неминуемо стать преступниками. Я знаю гостеприимство испанского народа, не раз я ел хлеб испанских бедняков. Когда я читаю статьи о бесстыдстве испанских беженцев, мне стыдно за перо, за бумагу, за письменность.

Среди беженцев фашисты — испанские и французские — ведут агитацию: «Поезжайте в Бургос. Франко вас примет, как родных детей». Вчера над французским городом Сен-Лоран-де-Сердан летали три итальянских самолета и скидывали листовки: «Франко вас прощает» (французов?). Тем, кто соглашается ехать в фашистскую Испанию, дают деньги. Несмотря на посулы и обиды, таких мало. Вероятно, скоро их будет больше: ведь не зря поехал в Бургос почтенный Леон Берар. Он договорится, а потом французские жандармы «раскроют глаза» разоруженным солдатам республики.

Прекрасно зрелище человеческого братства, оно одно помогает пережить жизнь. Во всей Франции люди теперь собирают деньги, муку, ботинки. Дают те, ко-

торым трудно дать. На вокзалах беженцев встречают с едой, с подарками, со словами утешения и надежды. Железнодорожники выбились из сил, но они все на посту, и с каким вниманием они слушают жалобы измученных женщин на непонятном языке. В Лионе на вокзал пришел Эдуар Эррио, чтобы ободрить испанских женщин, и все дети ему улыбались. В Арль-сюр-Теке механик круглые сутки ездит на границу и спасает в горах обессиленных ходьбой детей. Учитель в Пратс-де-Молло все время на посту. Он на перевале дает беженцам горячий кофе и хлеб. В Сен-Лоран-де-Сердане две с половиной тысячи жителей. Мимо села прошли пять тысяч беженцев. Крестьяне их всех кормили. Крестьяне носили детей на плащах с перевалов. Я видел этих крестьян, я видел механика и учителя. Это обыкновенные французы, люди труда и борьбы. Я хочу, чтобы в нашей стране знали: настоящая Франция — не журналисты с их грязными статейками, но вот эти простые и благородные люди. В Сен-Лоране солдаты бегают в лавчонку и покупают для испанских детей шоколад. В Баньюльсе рыбаки окружили журналистов, клеветавших на беженцев, и пригрозили им не на шутку. У Пратс-де-Молло пусты все амбары, все кладовые — люди ничего не пожалели для других людей в беде.

Я видел на перевале Арес, как пограничник прощался с женой и двухлетним сыном. Они пошли вниз, во Францию. Он долго следил за ними глазами. Потом он повернул в другую сторону, к своему посту. Этот не уйдет — я видел его глаза, столько в них было ненависти и гордости! Со своим автоматическим ружьем, с кучкой товарищей он еще отражает атаки итальянцев. Говорят: «Горе побежденным», но сейчас, среди метели на перевале, я думаю об этих глазах бойца, об этой ненависти, и в моей голове вертятся другие слова: «Горе победителям».

Перпиньян, 5 февраля 1939

УМЕР ПОЭТ АНТОНИО МАЧАДО

В дни горя Испании еще одно горе, еще одна потеря: умер большой поэт Антонио Мачадо. Я познакомился с ним перед войной в Мадриде. Он писал

стихи, легкие и прозрачные. Он был окружен любовью молодых поэтов — Гарсиа Лорки, Неруды, Альберти. Сухая сьерра Кастилии, когда он глядел на нее, убиралась цветами, как в старых серанильях испанских пастухов.

Под бомбами в Мадриде Мачадо писал стихи, и я думаю об этом как о большой победе человека в наши бесчеловечные дни. Его насильно увезли в Валенсию, потом в Барселону. Он часто вспоминал любимый Мадрид. В 63 года он жил жизнью бойца. Работая, он не знал передышки. Он писал стихи, он писал статьи, он писал листовки. Он говорил о прекрасных камнях Испании и о мужестве бойцов Эбро, о Дон Кихоте и о сердце ротного комиссара. Он жил в Барселоне в промерзшей комнате. Он работал ночью. Друзья иногда приносили ему папиросы, кофе. Он никогда не жаловался. У него были молодые глаза, а он едва ходил. Он написал бойцам Эбро: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей», и я видел, как, волнуясь, командир Тагуэнья читал эти строки бойцам.

В последний раз я был у Мачадо незадолго до падения Барселоны. Мы говорили о поэзии. Мачадо повторял любимые стихи испанского поэта пятнадцатого века Хорхе Манрике:

Наши жизни лишь реки,
А смерть — это море.
Берет оно столько рек!
Туда уходят навек
Наша радость и горе,
Все, чем жил человек!

Потом он сказал о смерти: «Все дело в том «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи, хорошо жить и хорошо умереть».

Он не был моралистом. Он был поэтом, и он был испанцем,— он был бойцом.

Он увидел перед смертью самое страшное — исход народа. Он увидел, как бездушные люди оскорбляли его братьев. Он умер в деревушке Кольюр, близ испанской границы. Из последних домов Кольюра виден пляж Аржелеса. Антонио Мачадо перед смертью видел муки своего народа: на песке Аржелеса пытали голодом и обидой бойцов Эбро, молодых поэтов Испании, друзей и учеников Мачадо. Когда фашисты

убили в Гранаде Гарсиа Лорку, Мачадо писал: «Преступление свершилось в Гранаде». Может быть, перед смертью он еще повторял: «Преступление свершилось в Аржелесе...» Потомкам достанутся стихи Мачадо, чистые, как вода Мадрида. Друзья Мачадо не забудут человека — детская улыбка, горячие глаза, жизнь в звуках, смерть в походе.

23 февраля 1939

Ecce.

РОМАНТИЗМ НАШИХ ДНЕЙ

Это началось в Италии задолго до «фиата» и до Муссолини, в Италии, знакомой нам предпочтительно по открыткам и по бродячим тенорам, то есть в стране мадонн, блох и дешевого вина. Несколько молодых людей, увидев американский автомобиль, стали от восторга прыгать, вопить и плеваться. Хоть это чрезвычайно напоминало пляски дикарей вокруг клистира, оброненного рассеянным миссионером, молодые люди легко сошли за основоположников нового искусства. Был наспех составлен катехизис, согласно известному правилу всех бродяг и поэтов: «Хорошо там, где нас нет». В Италии волы обгоняют поезд,— установите динамику в... живописи! Макароны, и те треченто,— сожгите Данте! Выпив фиаску, агрономы и сенаторы поют романсы о красоте Джулии,— запретите лирику! Примерно так родился футуризм.

Прошло пятнадцать лет. Молодые люди состарились и облысели. Север Италии подвергся электрификации. Фашистское «э-ля-ля!» заменило сентиментальные баркаролы. От былого максимализма осталось несколько весьма посредственных картин и чемоданчик находчивого Маринетти, набитый теперь шерстью капитолийской волчицы, а может быть, и знаменитой касторкой.

Нужны были особо благоприятные (?) условия, чтобы культ техники и вещи возродился. Нужны были снаряды Круппа, дробившие города, и «белые рыцари», в еврейских местечках усердно бившие пасхальную посуду, нужны были война, революция, голод, блокада, интервенция английских гуманистов и тифозных вшей, хвосты на калоши бывшего «Треугольника», хвосты-фантасты на бывшие калоши, предсмертная одышка маршрутных поездов и мандаты, написанные

на обороте старых фактур, чтобы в темной героической Москве родилась поэзия вещи.

Вместо традиционных муз поэтов стали посещать по ночам соблазнительные машины и даже сахарные головы. Бродя по чрезмерно живописной Сухаревке, где азиатская широта торговала обсосанными ирисками, художники искренне восклицали: «К черту картинки! Да здравствуют американские ванны!» Революционный воздух подсказывал бодрость и непримиримость. Юные фанатики, кое-как добиравшиеся из Витебска или из Перми до ворот Вхутемаса, объявляли искусство упраздненным. Они мечтали о новых формах телефонных аппаратов (большинство номеров в ту пору было выключено). Маяковский (стыдливо прикрывая восторг иронией) описывал город «электродинамо-магический». Глядя в театре Мейерхольда на действующие лифты, москвичи забывали об обличительных монологах героев. Татлин мастерил знаменитую «башню», а привезенный из Ревеля копировальный пресс волновал сотрудников Наркомпроса до слез.

Мечта о городе бродила среди разобранных на топливо деревянных домишек и традиционных сугробов Замоскворечья. Мы мечтали о пустой по существу цивилизации, как мечтают пленники Уолл-стрита о девственных лесах.

Подобные эмоции быстро получили и теоретическое оформление, и заграничное имя. Конструктивизм двинулся на Запад. В истории эстетической мысли Европы он сыграл немалую роль. Правда, конструктивисты не построили нового Парфенона (приходилось довольствоваться Эйфелевой башней). Зато была учинена основательная вентиляция. Символисты, вчера еще живые люди, в пиджаках, стали сразу зачастившими юбилеями. «Саломея» Таирова или «Оды» Клоделя начали вызывать похвалы престарелых немецких бюргеров и смех всего прочего человечества.

Доверчивые венгры или поляки приняли отрицание искусства за чистую монету. Их не удивило, что Маяковский приглашает бросить писать стихи в стихах, а Малевич отрицает живопись картинами. Они не догадались, что все эти «конструктивные» блузы, печи и чайники — родные братья зря осмеянной луны влюбленного подростка. Да что венгры? В Париже, где без искусства и дня не прожить, где даже дамские носики и меню ресторанов иллюзорны, в Париже стало тревож-

но. Ведь не следует забывать, что Париж иных кварталов — провинция, очаровательное захолустье с сентиментальными парочками и цветущими каштанами. Вероятно, сидя под одним из этих буколических деревьев, Леже, сын фермерской Нормандии, влюбился в подшипники и приводные ремни. Глез вырабатывал проекты облицовки московских вокзалов. (Это происходило в то время, когда наши вокзалы были украшены только портретами «врагов революции» — польского пана и вши, всем неподдельным пафосом кустарной обороны.)

Что это? Блеф? Испанка?

Любезные венгры (и невенгры), зачем доверять ярлыкам? Когда поэт говорит: «Нигде кроме, как в Моссельпроме»,—он великолепно знает, что обязательно «кроме» — у Нотр-Дам, среди океанских вод или в женских зрачках.

Мнимый конец искусства был зарождением новой романтики. Вот почему в Москве, трагически бившейся над пресловутыми «ножницами», бритые спортсмены воспевали динамо и добротный драп, а в индустриальном Берлине, где рельсы Гляйс-драйэка, копоть рабочего Нордена, Вертхайм, дома и скука, растрепанные экспрессионисты вопили о рощах Индии, о любви зулусов и о человеческой душе.

Прошло несколько лет. В Москве появились автобусы и перья Ватермана. Леса строящихся домов и успехи воздушного флота стали задирать подбородки прохожих к небу (так, кстати, были замечены после долгого перерыва и звезды). О Западе говорить нечего — семь послевоенных лет наплодили столько вещей, что поредевшему человечеству, право же, легко затеряться среди всех этих «фордов», радиотелефонов и зажигалок. Казалось, война была вызвана переизбытком неодушевленных пород, бешенством машин,— апоплексия опившегося нефтью пигмея. Но каким же сельским раем кажется нам ныне довоенное время!..

Культ вещи узнал отступников. Посетители театра Мейерхольда неистово аплодировали, когда вместо биомеханики им показали лунную идиллию «Леса». Редактор французского журнала «Эспри нуво», продолжая участвовать в автомобильных гонках, выступает теперь против машинной эстетики. Одно дело, мол, гонки, другое — живопись.

Вдруг обнаружилось, что жители Нью-Йорка любят воробьев, а в Москве НОТ не исключает ни скамьи бульвара с курносой Джульеттой, ни синего неба, ни кладбища. Прекратились диспуты. Стало чрезвычайно тихо. Все сошлись на том, что автомобиль — прекрасная вещь, что простой портсигар красивее разукрашенного, что без техники никак нельзя обойтись и что, несмотря на все это, искусство существует.

В этой реабилитации условности не следует забывать о романтической природе нашего российского «американизма». Мы уже слышим голоса: «Чем больше в СССР тракторов и ревербров, тем лучше. Но пусть писатели и художники займутся подходящим материалом, пусть они изображают жизнь как таковую, с березками, с выпивкой по случаю октябрин и с дойными коровами». Так появляются вместо «конструкций» 20-го года халтурный жанр «ахрровцев», а вместо поэм о баснословном Чикаго — бытовые рассказики в «Огоньке».

Сам Маяковский, побывав в Америке (географической) и увидев, что она изрядно отличается от его былых стихов, заявляет: «Намордник на технику». Опасный совет! Я не говорю, разумеется, ни о социальном законодательстве, ни об уличном движении,— об этом и без поэтических напоминаний позаботятся соответствующие органы. Мистеров Кулей я, и не побывав в Америке, мало уважаю. Но в российском быте техника пока что отсутствует, и единственно на кого сможет Маяковский надеть намордник, это — на свой собственный ЛЕФ. Было бы остроумней приберечь его для тех же «дойных коров». Ошибкой было бы почитать за грубый утилитаризм искусство, стремящееся преодолеть наш вдоволь косный быт.

В прошлом году я встретил комсомольца, бритого и светлоглазого фанатика. Он бегал по московским дворам, устанавливая какие-то стрелки, которые должны были помогать рассеянным людям находить нужные двери. Доброволец «Лиги времени», он проматывал свое время с законным энтузиазмом неофита.

Многим еще памятен наш павильон на недавней выставке в Париже. Индустриальная архитектура? Да нет же. Если он и был похож на гараж, то это сходство Пегаса и ломовой лошади. Я немало радовался его откровенной бессмысленности: крыша пропускала ко-

сой дождик, а ступени лестницы доводили впечатлительных эстетов до головокружения.

Когда года два тому назад я ехал по Крещатику, дряхленькие санки распались на две части. Недавно в Москве я видел прекомичные надписи: «Берегись автомобиля»,— это в тихеньких переулочках, среди судачущих баб и беспризорных котов. Надписи звучали почти мистически: «Берегись дракона!»

Вероятно, поэтому мы и выставили прекрасный сон о тривиальном гараже.

Я несколько раз упомянул слово «романтизм». Следует наконец объясниться. Менее всего хочу я аргументировать оборотами исторической спирали. Средневековые розы в кабачках Монмартра пахнут «гаванами» и коктейлем, а кресты покупаются на вес и по курсу дня. Хотя даты подсказывают каламбур касательно ежевекового повторения данного «изма», «30-е годы» мало что говорят нам. Мы не променяем на плащи габардиновых пальто. Слезы нового Вертера мы склонны толковать как белый уголь, а элегические вздохи измерять лошадиными силами.

Не внешние приметы, преходящие, как костюмы, подсказывают мне определение, но некоторые эстетические законы. В отличие и от натурализма и от символизма, которые равно случайны, ибо дают осколки мира, будь то чаепития «передвижников» или пробегающие облака Андрея Белого, романтизм строит цельный и связный космос. Это не увеличенная фотография, но расширенное сознание. Второй мир героичен и условен. Он по-своему организован, ибо подчинен воле строителя. Соблюдены и детали. Но это мир измененных пропорций и сдвинутых планов. Каскетка героя порой проглатывает лицо, фонари становятся Млечным Путем, а нефтяные лужи на новой карте проставлены океанами.

Романтизм учит человека летать, летать, как летал Икар, что особенно необходимо в наши дни, когда аэропланы снабжаются бадом и ватерклозетом.

Хорошо ли, плохо ли наше беличье круженье среди колес и цифр, оно диктует новый ритм. Мы не выбираем ни страны, ни эпохи, а в формовке наших вкусов играют роль не только высокие идеи, но и обои.

Как можно, говоря об искусстве наших дней, обойти молчанием томительную улыбку младенца Кадума, который правит Парижем, или глицериновые слезы

Лилиан Гиш, каменеющие в катакомбах подземной дороги?

Личное теперь становится публичным, но это не заменяет героя — массой. Здесь вместо деления надлежит прибегнуть к умножению.

Грандиозные темы диктует современность. Империализм, как тифозный больной, мечется, раздваивается, бредит. Борьба за нефть или за гуттаперчу, мощь консорциумов и петитный трагизм человеческой жизни захватывает нас больше, нежели все выдуманные романы. Озноб биржи, перегоняющий кровь арабов и тонны горя в хрустящие листки, охватывает города и страны. Повседневность вышла из пределов парламентских прений и газетных колкостей. Наша революция, фашизм, малярия восстаний, могущественные организации враждующих классов, зачастую тайные или полутайные с их бытом сект или каст, общая настороженность,— вот показания социального барометра. Фантастика техники делает игрушечной любую мифологию. Проблема рас и климатов выползает из подвалов истории. Что, если завтра Америка «фордов» и миллионов, Америка, идиотически жующая ароматную резину, но строящая при этом сумасшедшую механику, отберет у Европы Гольфстрим, чтобы в Лабрадоре появились свои Морис Дени и Анри де Ренье, а на площади Оперы зарезвились северные медведи? Но самой высокой темой является отчаяние человека среди антенны и восковых автоматов, которые улыбаются в каждой витрине, которые выходят из витрин, участвуют в выборах, танцуют фокстрот и любят женщин. Кажется, готовится второй «потоп» — бешенство машин, крестовый поход манекенов.

Это — не «школа». Это мировое тяготение. Я предпочел бы аргументировать световыми бликами парижских бульваров или хроникой самоубийств, ссылаться на тоску и на автобусы. Но если требуется тире, то я могу привести имена всех подлинных художников современности, от Чаплина до Бабеля, от Пикассо до Пастернака. Все тщедушные группировки последнего десятилетия были лишь неосознанными симптомами нового романтизма. Я ничуть не обманываюсь касательно объективной ценности французских сюрреалистов: за исключением Луи Арагона, среди них нет больших писателей. Однако их выступления, назойливые как зуд, показательны для нарушенного обмена

веществ. Что такое этот сюрреализм? Если оставить преходящие моды, вроде увлечения психоанализом Фрейда или (для нас старомодного) «скифства», забыть об очередных выходках вчерашних дадаистов, останется утверждение некой второй реальности, которая для людей, чуждых и мистике и мистификации, может быть только романтической. Отсюда плотность, густота, весомость по существу ирреальных миров, значительность мелочей и взволнованный, астматический ритм прозы, похожий на дыхание альпиниста.

Еще сильней устойчивость призрачности сказывается в стихах Пастернака. Только традиционное невежество современников удерживает имя этого замечательного поэта в пределах литературных кружков и сердец влюбленных. Он доказал, что «великий бог любви — великий бог деталей». Поэзии, доведенной символистами до пара,— да, не душа, а пар,— он вернул конкретность, то есть плоть. «В кашне, ладонью заслонясь, сквозь фортку крикну детворе: какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»

Россия — страна сырья, и у нас искони больше внимания уделяют материалу, нежели его проработке. Для искусства это равносильно смерти или выполнению так называемого «социального заказа» (на торгах или на переторжках). Наши простаки до сих пор думают, что правдивое изображение больших дел — это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские дни, остается все тем же фотографом. Здесь могут быть только извороты халтуры и относительная фантазия в выборе того бристоля, на который наклеиваются заказанные снимки.

Пренебрежение естественной «искусственностью» искусства обесцветило нашу молодую литературу. Репортаж, разумеется, хорошее и нужное дело, но надлежит понять, что рабкор только становится писателем, когда от его описаний заводской жизни читатели испытывают радость или стыд, а сотоварищи не опознают в них знакомой им мастерской. Опасны вес и значительность самого материала. События, люди, чувствования революционных лет столь ярки и патетичны

сами по себе, что мыслимо двоякое поражение: убежать в сторону или же быть задавленным этим материалом. Вот почему из многих прекрасных и любимых мной писателей я сейчас останавливаюсь на Бабеле. Он взял труднейший материал и сумел «исказить», то есть поэтически преобразить его. Фольклор в рассказах Бабеля не самодовлеющая ценность, а только один из приемов, легко оставляемый сочинителем хотя бы в «Голубятне». Величина Бабеля не определяется сюжетом. Он не снижается по мере того, как снижается внешний пафос окружения. В том романтическом свете, которым освещает он своих героев, простое человеческое прозябание становится эпопеей. В этом неисторичность уже исторической «Конармии».

Мейерхольда, еще недавно загипнотизированного индустриальным натурализмом («настоящие» пушки на сцене!), привели в восторг негры берлинского мюзик-холла. Немудрено — достаточно хоть раз услышать джаз-банд, чтобы понять: это не очередная прихоть безвкусных нуворишей, но подлинная поэзия наших дней, с ее неповторимым сочетанием механической жизни и тоски о свободном, если угодно, бесштанном рае. Я готов поднести к уху недоверчивого читателя языкастую сопелку негра, исполняющую тривиальный фокстрот: столько здесь отчаяния большого города, с портфелями служащих и алфавитом автобусов, столько пахучих, как кожура бананов, надежд! Я готов также показать ему танец мулатки Бекер, пафос первобытности, пустыни, страусовых яиц, черных ночей, вдохновенное оформление природы. Не духовной ли профилактикой предписывается искусство?..

Поскольку речь зашла о Париже, я могу призвать в качестве свидетелей любой фонарь и любую вывеску, галереи улицы Боэси, витрины книжных лавок, страсть восковых манекенов, синерубашечников молодого Барреса и манифесты «Кларте». Пусть архаичен, как газовые фонари и маленькие бистро, Утрилло, но кто же станет оспаривать современность мрачного романтизма Пикассо? Писатели, будь то туманный, как Фландрия, Мак-Орлан или тартаренский весельчак Дельтейль, будь то сюрреалисты или же не менее искусственные «человечники», вроде Жюля Ромена,— все они идут общим путем с Бекер, с Пикассо, с Пастернаком, с Чаплином, с Гроссом, с Бабелем среди электрической метели встревоженных столиц.

Нет ничего проще и показательней для нашего времени, нежели последние картины Чаплина: «Дитя», «Парижанка», «Золотая лихорадка», с их человеческой грустью, лохмотьями, снегом, голодом, любовью. Здесь спорные приемы и опостылевшие теории становятся стилем эпохи.

Есть в переходном времени нечто объединяющее вражеские лагери, придающее общий колер двум зорям. Эти «уже нет» и «еще нет» наполняют наши, с виду прескучные, будни тревогой, а также героизмом. «Стабилизация» скорей всего напоминает упражнения на канате среди болезненно белого света арены и сердцебиения ярусов. Площадь Оперы — это шторм огней и душ. Прожекторы и котировка человеческой жизни, которая сто́ит ниже бумажного франка, как бы продлевают кошмарные годы «дома паромщика» и мирового тетаноса. Социологу нетрудно установить причину лихорадки, которая треплет нашу «дезорганизованную и морганизованную» финикианку. Но профессиональная узость мешает ему расслышать среди бессмысленного бреда высокие предвидения и подлинные достижения.

Как бы ни был отличен наш советский быт, он рождает столь же романтическое искусство. Бабель и Арагон легко поймут друг друга. Ведь ничего нет страшнее костенеющей обрядности и аллегорических канареек. Чтобы понять природу русского романтизма, нужно поглядеть на раскрасневшиеся щеки первого встречного вузовца. Понедельник истории он преодолевает озорным смехом или суровым подвижничеством. Он уклоняется от чаепитий векового Миргорода. По шахтам быта он пробегает в спортивных трусиках. Он стоик и он чудак. Почему он читает Джека Лондона? Да потому, что в «Ниве» печатаются рассказы о том, как Иван сознательно почесался, а Петр отстало харкнул. Кажется, Достоевский чужд нашему поколению. Он как бы переселился на время в Германию. Но не воля Пушкина, не мудрость Толстого способны облегчить жестокий подъем по трудным тропинкам, среди призрачности облаков и чрезмерной реальности окрестной фауны. На перекрестках московских улиц можно встретить теперь нежного гордеца Лермонтова и самого фантастического, единственного из наших писателей, всецело преодолевшего быт, якобы «бытовика» школьных учебников — великого Гоголя.

Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он тщится канонизировать сегодняшний день. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть иная часть тела, которая неизменно клонится к мягкому сиденью. Так возникают сложные эстетические теории. Люди хотят на канате организовать семейный уют. Это вполне понятно — и тираж соответствующих романов и сбыт подходящих картин. Но подлинное искусство лежит вне этого пафоса седалища. Выражением эпохи переходной, то есть кочевой, бездомной, если угодно — акробатической, может быть только романтизм. Время твердых цен миновало. Нам нужен «запрос». Отказ от данного — вот режим для больного человечества.

Пословица говорит: было бы болото, а черти найдутся,— лживая, как и все пословицы. Можно пошутить — здесь исторический материализм, вульгаризованный ленивым умом земледельца, доведен до фатализма. Я оставлю в стороне образ — болот, увы, много, да немало и чертей. Но нельзя строить новый не по одному прозвищу город, забыв об его грядущих обитателях. Романтика — не только зрение отобранных, это также общественная необходимость, суровое воспитание амфибий, еще не утративших жабр, гимнастика ожиревших душ. Вне этого никакие «школы», никакой прогресс не предохранят нас от подмены человека механическим фантомом.

1925

ЛОЖКА ДЕГТЯ

При диспепсии анализируют желудочный сок — в нем может быть переизбыток кислот, может быть и недостаток.

Странно подумать, что в одну и ту же эпоху, в одной и той же стране существуют Бабель и Сейфуллина, Пастернак и Орешин. Приправы, если угодно специи, диктуются не роскошью, но тем или иным состоянием организма.

Мне приходится повторять эти тривиальные истины потому, что иные критики, не ознакомившиеся до сих пор с другой пищей, помимо молочной, искренне

почитают «ладушки» за единственно допустимую форму творчества. Сколь ни соблазнительны гогот классического недоросля и новомодное сочетание маниловского оптимизма с любовью Собакевича к чужим мозолям, я принужден восстать против подобной канонизации душевного возраста.

Я не хочу работать на фабрике мозговых и сердечных консервов. Я предпочитаю ложку дегтя в бочке меда.

Конечно, скептицизм плохо вяжется с повседневными нуждами общества. Устройство городской канализации не имеет ничего общего с лирическими сомнениями. Жорж Клемансо — исправный циник, однако и он умел произносить речи, полные телячьего благоговения. Все это бесспорно. Но мир искусства территориально находится вне ведения муниципалитетов и комхозов. Пропорциональный рост в литературе различных «приправ» не следует смешивать с находящимся в области социолога общественным упадочничеством. Вместо легких, но поверхностных отгадок лучше задуматься над рядом сложных явлений: над возрастом человечества, над обогащением его внутреннего опыта, утерей свежести восприятий, над требованиями развивающихся и снашивающихся форм.

Мед бродит. Впрочем, я буду говорить сейчас о дегте, то есть о приливе еврейской крови в мировую литературу. Этим вопросом занимаются либо наивные «жидоеды», трудолюбиво составляя проскрипционные списки, либо столь же наивные патриоты еврейства: «Чем, мол, мы хуже других? Мы заслуживаем своей земли, своего университета, даже своей полиции...» Говорить об этом вне ругани и вне бахвальства не принято. Между тем распыление иудейского духа — по меньшей мере столь же важный фактор для понимания литературы нашего времени, как механическая бодрость «американизма» или тяга на восток.

Книги еврейских писателей, которые пишут на идиш, иногда доходят до нас. Это книги как книги, нормальная литература, вроде румынской или новогреческой. Там идет хозяйственное обзаведение молодого языка, насаждаются универсальные формы, закрепляется вдоволь шаткий быт, проповедуются не бог весть какие идеи. Может быть, этот язык слишком беспомощен, слишком свеж и наивен для далеко не младенческого народа. Или же концентрация

известных, самих по себе живительных свойств неминуемо ведет к смерти? Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка, жестка, ее скопление — солончаки, где нет ни птицы, ни былинки, где мыслимы только умелая эксплуатация или угрюмая сухая смерть.

Я не хочу сейчас говорить о солончаках — я хочу говорить о соли, о щепотке соли в супе. Если суп пересолен, вините стряпуху, а не соль.

Критицизм не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие, всяческие истины — религиозные, социальные, философские, фабрикующий их миролюбиво, добросовестно, не покладая рук, истины оптом, истины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов. Что делать, может быть, покойная вдова Клико предпочитала шампанскому ром или липовый чай. Одно дело — изготовлять истины, другое — потреблять их.

Шестьсот лет тому назад поэт ребе Сем Тоб преподнес испанскому королю Педро Жестокому книгу, озаглавленную: «Советы». Стихи докучливого еврея должны были утешать короля в часы бессонницы. Книга начиналась следующим утешением: «Нет ничего на свете, что бы вечно росло. Когда луна становится полной, она начинает убывать». Конечно, трудно утешить короля подобными истинами. Однако Педро Жестокий, будучи светским кастильцем, ответил поэту не менее мудрой пословицей: «Как хорошее вино иногда скрыто в плохой бочке, так из уст иудея порой исходит истина». Это показывает, что король не дошел до девятой страницы «Советов» — там он прочел бы нечто весьма подозрительное об устах и о вине: «Что лучше? Вино Андалусии или уста, которые жаждут? Глупец! Самое прекрасное вино забывается, а жажда, ничем не утоленная, остается».

Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные

трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается «романтическая ирония». Это не школа и не мировоззрение. Это самозащита, это вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи стерли их, блуждая по всем шоссе мира.

Если сейчас нужны главным образом боксеры и мотоциклисты, то это все же не отстраняет необходимости кому-нибудь да думать. Теперь в моде хорошие бицепсы и хорошая дисциплина. Говорят, что машина учит подчинению. Винтик должен знать свое дело. (Впрочем, так думали задолго до наших дней отцы церкви и татарские ханы.) Однако чтоб изобрести ту же машину, надо было ослушаться, отойти от данных правил, восстать на них. Когда усовершенствование приходит на смену изобретению, начинается эра буколических «олимпиад» и прекрасного единомыслия. Мед готов. Деготь же остается дегтем.

Художник Менжицкий, польский еврей, рассказал мне как-то о своем первом учителе. Это был обыкновенный еврей, из тех, что знают в жизни одно — пощипывая чахлую бородку, думать, думать с утра до ночи, думать, чтобы думать. Урок начался с того, что ребе предложил мальчику прочесть первую фразу Библии: «Вначале был Бог...» Дальше дело не пошло. Учитель спросил: «Ты понимаешь, что такое начало?..» Мальчик обиделся,— помилуйте, он ведь умел хорошо читать. «Начало — это есть начало».— Но что такое начало?.. Ты не знаешь? Я тоже не знаю... Давай с тобой вместе подумаем об этом...» И он принялся щипать свою бородку. Следующий урок был посвящен тому же занятию. Вскоре учителя отправили в сумасшедший дом; но это простая случайность. Если бы за подобные дела заточали в клинику, пришлось бы построить гигантский сумасшедший дом для всех евреев мира, ибо все евреи похожи на учителя Менжицкого, даже те, что аккуратно бреются и никогда не читают духовной литературы.

Всем известно, что евреи, несмотря на тщедушие, любят много ходить, даже бегать. Происходит это не от стремления к какой-либо цели, а от глубокой уверенности, что цели вовсе нет. Хороший моцион — и только. Как больные сыпняком, они хотят умереть на ходу. В конечном счете знаменитая легенда о Вечном жиде создана не христианской фантазией, а еврейскими икрами.

Французский поэт Андре Спир в одной поэме рассказывает о беседе своей с землей. Еврей на минуту соблазняется: не осесть ли?.. Какого же бродягу не соблазняли сельский домик, цветник, лейка, запах навоза и душистого табака? Но здесь земля великодушно отказывается — она боится прикреплять такие ноги. Поэма озаглавлена «Непостоянство». Впрочем, это можно назвать и по-другому, хотя бы «Свободой». Увы, нескоро поймут заправские классификаторы человеческих сердец, что между бестолковым лётом птиц и великолепнейшим построением муравейника различие не идей, а физиологии.

На складах (только для экспорта!) найдется немало идей — от Мессии до образцового коммунального хозяйства. Только почему мы все улыбаемся — сумасшедший учитель Менжицкого, поэт Андре Спир, подслеповатый портной из Балты, я и с нами столько же миллионов?.. Скажите, что бы делал вот этот «мужеский портной» в идеальном мире? Он слишком умен, чтобы нянчиться с машиной. На это были способны его прапрадеды в те незапамятные времена, когда они из золота делали не валюту черной биржи, а боготворимую статую. Что касается рая в стиле Руссо, то наш портной недолюбливает квартиры, из которой его так преглупо выгнали. У него хилое тельце и забракованные американским консулом глаза. Притом он боится гусениц.

Все это, конечно, вдоволь печально и ничего положительного бочке меда не сулит, кроме разве нескольких гениев, беспорядка и хлопот. А между тем мед можно было бы сварить, разлить по бутылкам и, «блюдя обычай старины», подавать взамен кислятины типа «Шабли». Утешимся, вспомнив «Советы» ребе Сем Тоба. Мед ведь забывается еще скорее, нежели вино. После него не бывает даже назидательного похмелья. А жажда остается.

1925

ИХ ГЕРОЙ

Они были детьми, когда социал-демократы, подымая к небу пивные кружки, кричали «ура» в честь великой родины. Они были школьниками в цветных

картузиках. С завистью они поглядывали на мундиры своих старших братьев. Они улюлюкали, когда по узким улицам старых городов проводили пленных. Они кричали: «Боже, накажи Англию!» Они пели: «Мы застрелим всех французов!» Они начали свою жизнь с духовых оркестров и с дешевых петард.

Продолжение оказалось менее занятным. Из госпиталей запахло карболкой. Стоя возле окон, женщины поджидали почтальонов. Бургомистры деловито просматривали списки убитых. «Героев» считали уже не на сотни, но на сотни тысяч. «Героев» было много, но не было ни сахара, ни масла, ни хлеба. Женщины вытирали передником слезы и варили суп из картофельной кожуры. В праздники они приготовляли пудинг из репы. Господин Гугенберг еще стойко кричал: «Ура!», но молча сколачивали гробовщики детские гробики.

Ребята с утра до ночи бегали по грязным, запущенным улицам. Они визжали от голода и тоски. Никому не было до них дела. Давно вылиняли пестрые картузики, и никто больше не пускал петард.

Когда война кончилась, они были хилыми, озлобленными подростками. В Веймаре социал-демократы снова попробовали поднять к небу пивные кружки. Но у них были осипшие голоса, и никто не хотел их слушать. Рабочие хотели жить и есть. Тогда социал-демократы скомандовали: «Пли!» Они держались одобренной ими конституции: они не хотели передавать власть посторонним генералам. Они сами стали немецкими Кавеньяками и Галифе.

На Рейне ухмылялись бравые сенегальцы. В Берлине русские эмигранты за бесценок скупали дома и кабаки. Голодные ломали щиты булочных. В магазинах вместо рубашек продавали только манишки. Над страной царил зеленый кусок бумаги — доллар. Подростки стали юношами. Они по-прежнему тосковали. Они хотели жить, но в жизни для них не было места. Это были сыновья отставных чиновников, разорившихся лавочников, лейтенантов, убитых под Верденом, и отощавших пасторов. Они шлялись натощак по танцулькам, поджидая каких-то воображаемых американок, они смотрели в кино на военные забавы Фридриха Великого, они обирали доверчивых девушек и мечтали о новой войне. Они хотели детских петард и прекрасных приключений.

Все тяжелей и тяжелей было жить. Безработные кидались в воду, вешались и открывали газовые краны. Люди падали от голода на улице. Люди не могли больше жить. Красные полотнища, как языки пламени, стали выскакивать на площади городов.

Тогда господин Гугенберг собрал всех королей Германии, королей угля, руды, электричества и азота: «Надо спасать нашу великую родину!» Этот немецкий Минин не был мясником. В свое время он управлял заводами Круппа. Его прельщало другое мясо — отнюдь не воловье. Так родился Адольф Гитлер, чтобы из мелкого неудачника превратиться в государственного канцлера и в немецкого Пожарского.

В Берлине имеется большая уродливая площадь — Александерплац. На одной стороне этой площади стоят проститутки-женщины, на другой — проститутки-мужчины. Безработица выгнала молодых парнишек — здесь они поджидают клиентов. Здесь прогуливаются сутенеры и карманники, полицейские и сводницы, шпионы, продавцы кокаина, скупщики краденого и громилы. Ребята, бегавшие когда-то в пестрых картузиках, пришли сюда: они требовали счастья или хотя бы пятидесяти пфеннигов. Среди них фашисты вербовали веселых убийц и глубоко духовных погромщиков.

Завсегдатаи притонов по соседству с Александерплац хорошо знали Хорста Весселя. Он был трижды знаменит: как любовник, как патриот и как поэт. Для людей с Александерплац нет зазорных ремесел. Хорст Вессель был «другом» проститутки. Одни говорят, что ее звали Люцци, другие — Мицци. У этих девушек имен не меньше, нежели улыбок. Девушка работала на славу, и она любила храброго Хорста. Она любила его не только за пылкость объятий и за нежность сердца — Вессель охранял девицу от соперниц, от других «котов», наконец, от назойливых полицейских. У Весселя был револьвер, и он умел стрелять. Он хвастал, что на своем веку он уложил немало коммунистов. Он был вожаком одного из штурмовых отрядов. Полицейские дружески на него поглядывали, и девушка — Люцци или Мицци — была за ним как за каменной стеной.

Хорст Вессель когда-то носил цветной картузик. Он тоже кричал: «Ура!» Он вышел из почтенной семьи: его отец был пастором. Он скучал вместе со своим поколением. Он не мог признать будни. Он хотел риска и удачи. Должность счетовода или приказчика он про-

менял на Люцци и на револьвер: он был неисправимым поэтом.

Он жил прекрасно: ел сосиски с капустой, стрелял в коммунистов и сочинял боевые песенки. Но «старый немецкий бог» — бог пастора Весселя — славится дурным нравом. Он не позволил Весселю-старшему покарать как следует Англию. Он не позволил Весселю-младшему насладиться всласть буколическим счастьем. Однажды Хорст Вессель сидел у своей любимой. В комнату вошел Али Хегер.

Али Хегер был серьезным сутенером. Он не признавал дилетантизма. Люцци или Мицци прежде всего принадлежала ему. Вессель нарушил профессиональную этику, и Хегер преспокойно укокошил Весселя.

Хегер входил в профсоюз сутенеров и воришек, который назывался «Всегда верен». Полиция относилась к этому союзу с должным уважением: шупо арестовывали коммунистов, но не сутенеров. В союзе «Всегда верен» было немало фашистов, они действительно были верны и своим девицам, и своим вождям. Что касается заработка, то зарабатывали они вдвойне: с гитлеровцев они получали за каждого убитого рабочего, с девушек — за каждого обслуженного гостя.

Когда Хегер убил Весселя, фашисты объявили, что «кот», штурмовик и бард пал от преступной руки коммуниста.

У них уже были и деньги, и пулеметы, и флаги, и гимны. Им не хватало только своего святого. В душной пивной, среди сигарного дыма, рева и отрыжки был торжественно канонизирован Хорст Вессель. На его могилу положили не подвязки Люцци, но венки, украшенные свастикой.

Каждый святой требует «жития». На беду, фашисты не умели писать. Они рано променяли школьные перья сначала на «пугачи», на рукавицы боксера, на шприцы морфиномана, на воровские отмычки, а потом на казенные револьверы. Они писали на стенах: «Смерть жидам», но даже в этой несложной фразе они ухитрялись делать орфографические ошибки. Надо было разыскать настоящего писателя. Тогда Гитлер призвал к себе Ганса Гайнца Эверса.

Эверс прежде не занимался политикой. Как Хорст Вессель, он промышлял любовью. Правда, он никогда не опускался до трущоб Александерплаца. Он писал похабные книги, и за каждый проданный экземпляр он

получал столько-то пфеннигов. Другие были «националистами» или «социалистами». Эверс гордо сохранял свое звание: «сатанист».

Он написал роман «Вампир». Герой этого романа — предтеча прекрасного Адольфа. Он работает в Америке над торжеством великой Германии. Он встречается с девушкой. Девушка — еврейка. Они любят друг друга. На беду, у них не ладится со здоровьем: когда немец бодр и прыток, заболевает еврейка, и наоборот. Продолжается это довольно долго, а именно до смерти еврейки. Умирая, великодушная особа открывает своему любовнику, что он вампир. По ночам он сосал ее кровь. Но она никак на него не в претензии: она ведь отдала свою иудейскую кровь борцу за великую Германию.

Этот роман был написан вскоре после войны. Тогда Эверс рассчитывал предпочтительно на богатых еврейских дам с Курфюрстендама, которые зачитывались его «сатанинскими» романами. Но настали трудные времена. В книжных лавках громоздились горы непроданных романов. Эверс понял, что одними вампирами не проживешь. Тогда он предстал перед фашистами — ему поручили написать житие нового великомученика.

В книге Эверса Хорст Вессель, разумеется,— благороднейший идеалист. У Хорста в Вене белоснежная невеста, но он забывает об этой чистой лилии, только чтобы спасти грешную душу Люцци или Мицци. Оказывается, для этого он и жил с ней. Это не профессия! Это высокая миссия: он лечил Люцци от безнравственности и от марксизма. Притом он боролся с Москвой. Кто же не знает, что Москва решила погубить Германию? Для этого она нанимает проституток и сутенеров. Вессель с помощью новообращенной Люцци выслеживал коммунистов. Он погиб от пули агента Москвы, и его смерть прекрасна, как смерть христианского страстотерпца.

Ганс Гайнц Эверс после этой книги стал первым писателем «возрожденной Германии». Ренн — в тюрьме, Киш, Генрих Манн, Рот, Толлер, Голичер, Меринг, Зегерс, Брехт, Бехер, Пливье — в изгнании. Под запретом Цвейг. Зато старый порнограф Ганс Гайнц Эверс избран председателем Союза немецких писателей.

Приятели Хорста Весселя победили. Социал-демократы хотели было крикнуть «ура» в честь великой

родины, но их сразу прогнали. Они обиделись. Они стали бормотать о своих давних заслугах. Мало ли коммунистов расстрелял Носке?.. Их нельзя сажать в тюрьму вместе с преступными коммунистами! Им следует назначить пенсию и разрешить подать еще одну жалобу в лейпцигский трибунал.

Приятели Хорста Весселя тем временем резвятся. Геринг расхаживает по городу в рейтузах. Он не выпускает из руки хлыст. Ловкачи возле еврейских лавчонок растаскивают марксистские ботинки и интернациональную колбасу. Все то дикое и темное, что пряталось в узких, как щели, улицах, выползло наружу — садисты, морфиноманы, параноики и душители.

Художник Гросс нарисовал одного из этих безумцев — зарезав женщину, он деловито моет в тазике руки. Кто знает, может быть, теперь он назначен комиссаром полиции?..

В свое время они жадно смотрели на экран: перед ними кривлялись пресловутые «доктора» — доктор Мабузо или доктор Калигари. У зрителей были прямые бритые затылки, и они томно вздыхали. Они ждали часа, когда им позволят кромсать теплое человеческое мясо. Они ждали и дождались — не им ли поручено допрашивать арестованных рабочих? Зачем казнили дюссельдорфского «вампира»? Он тоже спасал бы христианскую Германию от низменного марксизма!

В своих речах вожди фашистов неустанно повторяют: «Кровь, кровь!» Они говорят о самом возвышенном, о своей готовности пролить кровь за Германию. Но, дойдя до этого слова — «кровь», они останавливаются от волнения, и чернь в ответ восторженно улюлюкает.

Они начали с петард. Они кончают поджогами, погромами и убийствами. Они не виноваты: они делают то, что умеют. Когда им говорят об экономике, они громят в ответ лавки. Они хотят быть философами. Для торжества идеализма они устроили в доме, где родился Карл Маркс, полицейский участок. Они образцовые педагоги: они ввели в школах телесные наказания — от пощечин до порки. Они ведь вышли из школьного возраста — розги грозят не им. Они занялись иностранной политикой. Для этого первым делом они избили сотню иностранцев. Потом они стали оглядываться по сторонам: где же союзники?..

Тогда швейцар министерства шепнул, что в передней дожидаются какие-то молодчики. Это была делегация русских белогвардейцев.

— Мы хотим положить на могилу погибших героев венок с надписью: «Ваши убийцы — наши враги!»

Так они побратались — члены союза «Всегда верен» и сотня безработных Горгуловых.

После государственных трудов нужен был лирический апофеоз. В Берлине был Дом Карла Либкнехта. Он был назван именем героя. Рабочие знали, что этот человек их не предал. Он не кричал: «Ура!» Он не остановился ни перед тюрьмой, ни перед смертью. Он был беден, смел и великодушен. Даже враги преклонялись перед его памятью. Его убили старшие братья тех добровольных палачей, которые теперь приканчивают в тюрьмах арестованных. Его имя стало символом большой жизни и высокой смерти, как стена Коммунаров и как баррикады Пресни. Таких людей мало на земле. Их немного среди нас. Их нет среди них.

Они?.. Они переименовали Дом Карла Либкнехта в Дом Хорста Весселя. Вот он, их герой: сутенер, виршеплет, убийца из-за угла, воспетый старым похабником. Что же, каждому — свое.

1933

АНДРЕ МАЛЬРО

Новый роман Андре Мальро пользуется заслуженным успехом. В витринах книжных лавок пестреют обложки двадцать пятого издания, а в газетах критики посвящают роману восторженные статьи. Книга, согласно французскому обычаю, опоясана бумажной лентой. На ленте — фотография: головы казненных китайцев. В газете рядом с отзывом о романе я увидел и другую фотографию: Мальро смотрит в упор на китайскую маску. Перед ним не голова казненного, но только высокое произведение искусства. Что касается казненных, то они не были ни просвещенными эстетами, ни буддами, «приближавшимися к чистоте романского стиля», — они были обыкновенными кули, их лица хранят оскал затравленных зверей.

Сопоставление этих двух фотографий заставляет призадуматься над судьбой автора. У Мальро лицо

тонкое и женственное. Он очень нервен. Разговаривая, он не умеет слушать. Его взволнованные монологи напоминают водоворот: неизменно возвращается он к одной и той же мысли. Его хвалят наперебой все снобы и все эстеты. Но он выступает на коммунистических митингах. Он окружен романскими и готическими буддами, но это не мешает ему увлекаться мировой экономикой — планом Стевенсона или борьбой «Стандарда» с «Рояль-Детчем». Две дороги прельщали его в жизни: революционера и археолога. Поиски древностей он окружал героическим ореолом. Казалось, он идет не на раскопки, но на баррикады. Он был в Афганистане, в Индии, в Китае. Он привез оттуда много прекрасных камней и ту позу аффектированного равнодушия, в которой он заснят перед китайской маской. Это был путь в прошлое.

Другой путь вел его к будущему. Это было на тех же географических долготах. В Китае в годы героической борьбы рабочих Кантона и Шанхая Андре Мальро сблизился с коммунистами. Он забыл на время об археологии. Он думал о концессиях и о пулеметах. Вокруг него были миллионы людей — они просыпались для новой жизни.

Мальро пережил разгром китайской революции. Он привез в Европу не только фотографии казненных, не только усталость и отчаянье, но то глубокое ощущение человечности, которое поразило его в борьбе рабочих за право на жизнь. Кантон требовал продолжения если не в самом Кантоне, то в Париже, в Лондоне или в Нью-Йорке. Второй путь вел в будущее. Он не сулил ни прекрасных находок, ни столь же прекрасных раздумий. Трагедия Андре Мальро, писателя и человека, — это трагедия двух путей, из которых один исключает другой. Речь идет, разумеется, не о памятниках старины, но о том комплексе чувствований и понятий, которые Мальро нашел в прошлом и с которыми ему мучительно расстаться.

Большинству французских писателей трагедия Мальро чужда. Они живут не прошлым и не будущим, но настоящим. За это настоящее им не приходится бороться. Оно дается им сразу, как пейзаж Иль-де-Франса, как правила классического романа, как легкая ирония и как покладистые издатели. Отсутствие событий они принимают за мудрость, и пишут они не потому, что им нужно что-либо сообщить миру, но только

потому, что они — писатели. Мальро выделяется среди них прежде всего тем, что его книги рождены внутренней необходимостью. Не только напряженные диалоги его героев, но даже их поступки являются лишь вещественным оформлением личной трагедии автора.

В романе «Условия человеческого существования» Мальро снова возвращается к китайской революции. Очевидно, этот эпизод остался в его жизни чем-то исключительным, и, чтобы разобраться в своей судьбе, он должен снова пробежать по улицам Шанхая, полным гуда, беглых огней и разрозненных залпов. Однако Китай для Мальро — это только историческая (или географическая) случайность. Его интересует не город Шанхай, но то, что приключилось с четырьмя-пятью людьми в этом городе весной 1927 года. В этом и сила и слабость романа. Это не книга о революции, не эпопея — это интимный дневник, стенограммы душевных споров, радиоскопия самого себя, рассеченного на несколько героев.

Шанхай, как известно, находится в Китае, но в книге Мальро почти нет китайцев. Его герои: метис — полуяпонец-полуфранцуз, немка из Померании, русский, проживший полжизни в Швейцарии, француз-профессор, француз-финансист, француз-жулик. Все эти люди, включая революционеров из Гоминьдана, говорят друг с другом по-французски, и автор чрезвычайно настойчиво указывает, кто из них как произносит различные звуки. Порой кажется, что эта разница в произношении должна определить границу между различными зонами души самого автора, ибо все они, включая немку и метиса, высказывают сокровенные мысли Мальро.

Есть, впрочем, в романе один китаец — Чен, но отличает его от европейцев только имя. Это террорист, занятый мыслями о том, что такое убийство, родной брат героев Савинкова, типичный персонаж начала нашего века, когда углубленное самомучительство Достоевского дошло до толщи европейской интеллигенции.

Что касается прочих китайцев, тех, которые делали революцию, они только изредка показываются как фигуранты, чтобы своей пассивностью подчеркнуть революционную волю героев романа. Эти фигуранты настолько робки и неприметны, что порой встает вопрос: при чем же тут бомбы, профсоюзы и захват

власти?.. Книги о революции — трудные книги. Поскольку жизнь в них остается анонимной, поскольку толпа является единственным персонажем, они сбиваются на схему, на плакат, в лучшем случае на хронику. Мы знаем в советской литературе немало таких произведений. Мы все еще хорошо помним описываемые в них события, но читаем мы об описываемых событиях с глубоким равнодушием: в этих книгах нет людей.

Слабость Мальро в другом. Его люди живут, и мы страдаем вместе с ними, мы страдаем потому, что страдают они. Но мы отнюдь не чувствуем необходимости такой жизни и таких страданий. Герои, отделенные от того мира, в котором они жили, кажутся нам экзальтированными романтиками. Революция, пережитая огромной страной, превращается в историю кружка заговорщиков. Эти заговорщики умеют героически умирать, но с первой же страницы романа ясно, что они должны умереть. Они очень много рассуждают. Правда, они заняты распределением винтовок, но трудно сказать, зачем им эти винтовки. Маленький дом с освещенными окнами, вокруг него ночь. Когда революция побеждена — это не разгром класса, даже не разгром партии, это душевная обреченность метиса Кио или русского Катова. Из винтовок никто не стреляет. Читатель готов спросить: да было ли это впрямь огнестрельным оружием или только материализированными аргументами пяти одиноких фантастов?..

Путь в прошлое обогатил Мальро не одной коллекцией скульптуры. Он загромоздил его сознание той усложненностью, той обязательной глубиной, теми хитрейшими противоречиями, которыми изобилует всякая культура, пережившая свой полдень и обреченная на смерть. Соблазн сложностью — страшный соблазн, им, а не довольством и не покоем, соблазняет теперь прошлое наших лучших современников, чтобы оградить их от другого соблазна — от соблазна революцией. Нелегко понять, что путь в будущее означает простоту, если угодно, известную примитивность, что культура молодого класса неминуемо отличается монолитностью, которую, отталкиваясь от нее, можно выдать и за грубость.

Герои Мальро живут жизнью необычайно «духовной». Профессор Жизор занят одним: как бы

отличить отрицание жизни от забвения жизни? Мелкий прохвост и врунишка Клаппик и тот подвержен «мифомании». Террорист Чен, прикончив белого китайца, отправляется к профессору и начинает с ним философствовать: ужасно ли убийство, или оно притягательно, и как ему, Чену, освободиться от столь рокового притяжения? Пошляк-финансист, обнимая портниху, не забывает о литературных реминисценциях: «Ваша улыбка напоминает мне призрак кота, который никогда не материализуется». Революционеры накануне разгрома все еще спорят друг с другом: что такое марксизм — фатализм или воля к победе? Все это очень интересно, а порой и убедительно, но избыток такой «духовности» уничтожает реальность происходящих событий.

Заглавие романа тоже продиктовано потребностью в сложном. Профессор Жизор и финансист Ферраль беседуют друг с другом о том, что нужно человеку для его существования. Вспоминая свой душевный опыт, Мальро утверждает, что только состояние борьбы, подъема, отрешенности от косного создает подходящие условия для человеческого существования. Это, конечно, вполне справедливо, и лучшим подтверждением этого является роман Мальро, который в современной французской литературе отличается своей человечностью. Но как не вспомнить, прислушавшись к беседе двух резонеров, о примитивном значении некоторых слов? Миллионы людей боролись за начальное право на человеческое существование. Эта борьба вдохновила Мальро, но написал он книгу не о самой борьбе, а о своем вдохновенном состоянии.

Когда я говорю о глубоко человеческом пафосе романа Мальро, я никак не забываю, сколь спорно и туманно это определение. Представители воинствующей реакции, любители кадильниц и знамен, католики, фашисты и фанатики собственных домиков с сиренью,— все они давно монополизировали право на «человеческое». Они упрекают революционную литературу в том, что она хочет заменить живых людей знаками уравнения, колесиками машины и лозунгами в штанах. Не настало ли время открыто сказать, что защита человеческого начала, полноты чувств, героики, самоотверженности, чистой любви и победы над страхом смерти, что все это теперь неразрывно связа-

но с борьбой против того старого мира, который в книге Мальро представлен колониальным бандитом Ферралем, белогвардейцем-семеновцем Кенигом и мясниками Чан Кайши? Во имя «человеческого» написаны романы и католика Мориака, и «гуманиста» Дюамеля. Но в этих романах нет людей — это посмертная жизнь, это копошение паразитов и тонкая сеть ниточек, которые прикреплены к суставам марионеток. Люди оказались в романе Мальро, и эти люди — революционеры.

Трудно без глубокого волнения читать о смерти русского большевика Катова. Пленные лежат в сарае. Офицеры Чан Кайши их кидают в топку. У Катова давно припасен цианистый калий. Но он слушает разговоры товарищей. Двух молодых китайцев пугает мучительность такой смерти: «Жгут... Живьем... Глаза тоже, глаза — понимаешь?..» Тогда Катов отдает им яд — он может спокойно пойти на пытку. Все это рассказано просто, почти сухо, и в этом столько человеческого подъема, что дух захватывает, как высоко в горах. Столь же прекрасно умирает Кио — это не абстрактный героизм, не легенды о «храбрых воинах», это настоящая смерть, но это смерть людей, которые боролись за жизнь и которые поэтому побеждают смерть.

Мальро отказывается от эффектного и легкого эпилога: роман не кончается на гибели Катова и Кио. В японском порту отец Кио — Жизор и жена Кио — немка Май еще раз забираются в чащу сомнений — они ведь не умерли, и жизнь от них требует выбора. Впрочем, каждый из них знает заранее, что он будет делать,— это Андре Мальро спорит сам с собой.

Жизор — представитель мысли. Он был профессором в Париже. Чжан Цзолинь его выгнал из университета за недозволенные мысли. Жизор мог бы стать революционером. Он остался, однако, безобидным чудаком, который хочет противопоставить мысль силе и который сбивается на однообразные парадоксы. У него лицо аскета и проповедника, но на аскете — халат, и проповедник ограничивает свой прозелитизм несколькими беглыми усмешками. Он доходит до отрицания жизни. В этом ему способствует опиум. Мальро никак не поэтизирует наркотиков — то, что было откровением во времена Бодлера, нам кажется про-

стой патологией. Опиум взят, скорей всего, чтобы сделать рассуждения Жизора более правдоподобными. Забыв об экзотичности декораций, мы вправе назвать Жизора образцовым интеллигентом с поправкой на ту эстетику, которая заменяет европейцам нашу доморощенную и вдоволь обременительную «совесть».

Май зовет Жизора в Москву. Профессор отвечает: «Люди должны понять, что нет ничего реального. Есть только миры для созерцания, с опиумом или без опиума, но полные той же тщеты...» Ясно, что с такими идеями ехать в Москву незачем, и Жизор остается в Кобе: он будет читать лекции о западном искусстве и курить опиум.

Пока Жизор говорит о необходимости освободить себя от жизни, Май думает о другом — сейчас новые Катовы гибнут в топках!.. Они беседуют, перед ними — кули, и кули, как всегда, тащат на спине тюки. Май поедет в Москву. Оттуда она снова вернется в Китай. Ее жизнь связана с революцией. Революция для нее — люди, вот эти кули с тюками. И Жизор вынужден признать, что он никогда не любил людей.

Китаец Пей пишет Май: «Заводы теперь — это как бы часовенки в катакомбах. Они должны стать тем, чем были соборы — люди увидят вместо богов человеческую силу и человеческую борьбу...» Это не обожествление машины, это только высокое утверждение человека и его самой большой, неотъемлемой радости — радости творческого труда. Май читает в вырезке из газеты: «Советский Союз проектирует пятилетний план...» Это для нее столь же внутренняя интимная радость, как разгром Шанхая был личным горем. То, что называется «политикой» или «экономикой», становится попросту жизнью.

Май уехала в Москву, Жизор остался на берегу чужого моря с трубкой опиума. Перед Андре Мальро два пути. Недавнее торжество фашистов в Германии напомнило ему дни шанхайского поражения. Я видел его на митинге, посвященном немецким событиям. Он говорил взволнованно, сбивчиво, и вряд ли начало его речи было понятно тем слушателям, которые не знали его романов. Но потом неожиданно просто он сказал: «В случае войны мы должны знать, что у нас одно отечество — Советский Союз. Наше место в рядах

Красной Армии!» Может быть, выбор Мальро давно сделан? Может быть, тень Жизора — это только внутренняя честность? Я не думаю, что Мальро может «опроститься». Я и не думаю, что он должен к этому стремиться. У каждого поколения свои возможности и своя обреченность. Писатель переходного времени вовсе не должен заниматься хирургией, удаляя из себя все возможности осложнений и раздвоенности. Он должен только понять, что его сложность никак не выше той простоты, которая идет ему на смену. В минуту лирического волнения он вправе вспомнить о томлении Жизора; в жизни его место рядом с Май.

Эстеты, восторгаясь романом Мальро, стараются убедить и автора, и читателей, и самих себя, что революция в книге — случайная экзотика, что все дело в одиночестве, в тоске, в отчаянии. Мальро недавно выступил на собрании с протестом против колониальной политики в Индокитае. Он говорил о подлости Ферралей и о тех кули, которые борются за человеческое существование. Это ответ писателя на новые соблазны сложностью. Это еще одно доказательство, что Андре Мальро не по пути с Жизорами.

1933

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Границы нашей страны проходят не только в пространстве, они проходят также во времени. Наши иностранные гости сейчас совершают поездку в машине времени. Они видят страну будущего. Наряду с остатками прошлого, с нашей глубокой отсталостью, с нашим провинциализмом они видят фундамент нового мира.

Говоря это, я думаю не столько о наших технических гигантах, о нашем метро, сколько о наших людях. Мы не машинами удивляем сейчас мир — мы удивляем мир теми людьми, которые делают эти машины.

Модели наших тракторов пришли к нам из Америки, но наши трактористы — это модель новых людей,

и на них с жадностью смотрит мир, как смотрит наша деревенская детвора впервые на автомобиль.

Чтобы понять положение писателя в нашей стране, нужно вспомнить о том, в каких условиях живут теперь писатели по ту сторону рубежа. Я видел в Париже, в Праге немецких писателей, только что убежавших из тюрем или концентрационных лагерей. Их рабочие комнаты разгромлены, книги сожжены, они лишены возможности говорить со своим народом.

Теперь, когда мы, советские писатели, собрались здесь, чтобы прямо и смело говорить о наших победах и наших неудачах,— и если мы мало говорим о них, это только наша вина,— когда мы можем о наших нуждах говорить как с товарищами с теми, кто стоит на «капитанском мостике», в это время в германской тюрьме сидит большой и честный писатель Людвиг Ренн.

Я вчера слышал рассказ китайской писательницы о том, как закапывали живьем в землю китайских революционных писателей. Я никогда не слышал таких простых и страшных слов.

Среди нас — немецкий писатель Бредель, который провел полтора года в концентрационном лагере.

Среди нас я вижу здесь моего друга, словацкого писателя-поэта Новомеского, и я вспоминаю, что когда я был в Словакии, мне говорили, что он сидит в тюрьме и там пишет лирические стихи.

Но, товарищи, и в тех странах, где литература еще не посажена под замок, положение писателя не многим лучше. Разве не гордость нашей страны — та действительно всенародная любовь, которой окружен Максим Горький?

Когда крупнейший писатель современной Франции Андре Жид мужественно заявил, что вся его жизнь теперь связана с надеждами на наше строительство и на нашу страну, какими оскорблениями и какой клеветой покрыли его в родной стране!

Можно вспомнить, какой моральной изоляции подвергся большой, отважный и честный человек Ромен Роллан. Так те, которые хотят говорить всерьез, открыто о новой правде, подвергаются нападкам или присуждаются к одиночеству.

Во Франции — я беру Францию, потому что лучше всего из иностранных государств знаю эту страну,— во Франции существует целая серия книг, посвященных

восхвалению универсальных магазинов, фабрик шелка, общества спальных вагонов и других коммерческих фирм. Кто же пишет эти книги? Знаменитые писатели, чьи произведения переведены на все европейские языки, в том числе и на русский. За деньги они восхваляют ту или иную фирму. Буржуазного писателя можно сравнить теперь с великолепной фабрикой. На фабрике нет сырья. У этого писателя много всего — традиций, и линотипов, и прекрасной бумаги, он лишен одного — людей, но люди там — дефицитный товар. Я, разумеется, говорю не о блистательных одиночках — они хранят все завоевания человеческой культуры, но как совместить Гете и Геббельса, Бальзака и Декобру? Они должны довольствоваться иллюзорной жизнью, это увлекательные и никому не нужные сноски на полях книги. Литература не может жить исключениями. Гениальный поэт нуждается в Иване Ивановиче Иванове. Если общество не поставляет писателю достойного материала, литература превращается в изучение патологических казусов. Андре Жид в то время, когда он бродил среди пустоты, населенной фантомами, дошел до откровенного признания: он выпустил целую серию книг, основанных на данных судебной медицины.

Что делают писатели умирающего мира? Одни в такой-то раз перечисляют инвентарь мертвого мира, идя путем Пруста, другие, разыскав крохотную деталь, отличающую один призрак от другого, всю свою творческую жизнь посвящают описанию этой детали, и это называется «индивидуализмом».

У нас во многом недохватка — и в мастерстве и в бумаге. Зато у нас есть о чем писать. На нашу долю выпала редкая задача показать людей, которые еще никогда не были показаны. Этого ждут от нас миллионы строителей нашей страны. Этого ждут от нас и другие миллионы — по ту сторону рубежа. Ни цифры, ни газеты не могут заменить здесь художника. Мы должны дать ту правду, которая повсеместно ощутима и которая, однако, с трудом определима,— это как голубизна бесцветного неба, это как звучание тихого августовского полдня.

Товарищи, мы собрались на этот съезд не для взаимных приветствий, но для работы. И я хочу теперь откровенно говорить о том, что мы сделали и чего мы не сделали. Меня могут спросить — почему «мы»? По

роду литературных занятий большую часть времени последние годы я провожу за рубежом. И я слышал разговоры о том, что этот образ жизни мешает мне видеть нашу работу. Было бы неуместно, да и попросту глупо доказывать, что мне все ясно и понятно. В моей жизни я много раз ошибался. Вполне возможно, что я ошибаюсь и теперь. Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое и хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я рядовой советский писатель. Это моя радость, это моя гордость.

Конечно, я писал и пишу также для иностранцев, но я это делаю как советский писатель. Мое зрение основано на нашем опыте, на нашей, здешней работе. Вот я теперь написал книгу, которая вышла во Франции. Я ее назвал «Глазами советского писателя». Позвольте же мне, товарищи, с полным правом говорить здесь «мы», «мы» — я с моими товарищами. Мы кое-что сделали, но мы далеко еще не всего достигли. Наш новый человек куда богаче, тоньше, сложнее, нежели его тень на страницах книг. Вместо теплой вибрирующей жизни, вместо органической биографии у нас то и дело получается декларация, снабженная карточкой ударника и десятком общеизвестных мыслей.

Буржуазный роман, вырождаясь, пришел к одностороннему показу героя. Я говорю при этом не о великом Мопассане, а о каком-нибудь маленьком Поле Моране. В вульгарном романе наших дней чем занят герой? Он любит. Он любит удачно или неудачно, лениво или рьяно, но эта любовь остается условной, так как нельзя понять страсти человека, не видя его. Я сейчас скажу, нарочито утрируя, что часто, когда я читаю современный французский роман, мне хочется спросить — на какие средства живет этот пылкий герой, где он учился, по какой специальности работает его соперник? «Лишних людей» на свете не осталось, а не лишние люди что-то делают. И чтобы понять их любовь, нужно прежде всего знать их жизнь.

Наша литература грешит другой деформацией. Сплошь и рядом мы видим людей только в цехах или в правлении колхоза. Леса стройки превращаются в ультратеатральные подмостки. Человек изолирован от всей жизни. Почему ударник не может быть мечтателем? Скажите, о чем он думает в выходной день,

глядя на рябь речки? Разве бригадир не способен ревновать, лукавить, грустить? У сталевара может умереть дочка, и нельзя посвятить описанию кауперов двадцать страниц, а этому — две строчки, сухих, как запись загса.

Я великолепно отдаю себе отчет в роли труда, я знаю, что именно труд преображает и возвеличивает человека, но от автора романа я скорее хочу узнать детали о горе сталевара, чем о кауперах, я хочу узнать, как он преодолел это горе, так как я знаю, что смерть дочки — это событие в его жизни, заслуживающее больше, чем две строчки.

Как-то я смотрел фильм «Встречный». В этом фильме было все, что «полагается». Я попробовал сказать, что это не похоже. Мне сказали, помилуйте, у нас ударник живой, мы даже пошли на такой поступок, что ударник выпивает рюмку водки. А теперь решают оживить рассказ об ударнике или о МТС размеренно вставленными аккуратными любовными сценами. Но манекены остаются манекенами, их не превратят в людей ни рюмка водки, ни два-три дозированных поцелуя, ни скучная паечная слезинка. Наши рабочие — живые люди, они трудятся, борются, любят, целуются, читают книги, фантазируют, иногда чудачат, ревнуют, они живут. И они так же не похожи на классических ударников из некоторых наших книг, как не были похожи их забитые и злосчастные прадеды на галантных пастушков пасторали. Многие из авторов идут по пути наименьшего сопротивления. В показе живого человека куда легче ошибиться, нежели в повторении односложных деклараций. Поглядите на буржуазное общество — молодой писатель там должен пробить стенку лбом. У нас он поставлен в прекрасные условия — это наша гордость, и вы понимаете, что менее всего я склонен против этого протестовать: я только хочу сказать, что легкость пути действует на некоторых писателей расслабляюще. Мучительный процесс творчества они подменяют умелым лавированием. Они тщательно обходят темы, которые им кажутся трудными: «Да что вы, разве об этом можно сейчас писать!..» Те из них, которые любят мастерство и слово, отмахиваясь от главных тем, выбирают экзотику или историю. Другие — попроще — ухитряются, оставаясь якобы в русле главных тем, до неузнаваемости их оскоплять. Они отмахиваются от прав-

дивого изображения всех трудностей нашей борьбы, всей запутанности психологии людей, у которых новые чувства часто переплетаются с ветхими страстями и страстишками. Надо сразу сказать, что частично в этом нежелании некоторых писателей взяться за основную тему повинна наша критика. Вместо серьезного литературного разбора мы видим красную и черную доски, на которые заносятся авторы, причем воистину сказочна легкость, с которой их с одной доски переносят на другую. Нельзя, как у нас говорят, поднимать на щит писателя, чтобы тотчас же сбрасывать его в грязь. Это не физкультура. Нельзя допускать, чтобы литературный разбор произведения автора тотчас же влиял на его социальное положение. Вопрос о распределении житейских благ не должен находиться в зависимости от литературной критики. Нельзя, наконец, рассматривать неудачи и срывы художника как преступления, а удачу — как реабилитацию.

Путь художественного развития — это долгий, извилистый путь. Наши критики сделали бы куда более полезное дело, если бы вместо подобных упражнений над писателями занялись теорией современной прозы, проблемой нашей поэтики, всей совокупностью того, что мы называем — еще не видя при этом точных контуров, но чувствуя всю грандиозность явления — социалистическим реализмом.

Товарищи, мой личный опыт отнюдь не легкий. Мои срывы, неудачи, смена похвал и оскорблений, которые часто меня сопровождали в моей работе,— все это дает мне право так отзываться о части нашей критики. Многие из наших неудач объясняются перенесением не только терминологии, но и практики индустрии в область, достаточно от нее отличную. Художественное творчество не похоже на стройку металлургического комбината. Мы слышим цифры: у нас столько-то писателей, и эти столько-то писателей написали столько-то книг. Так можно говорить о тоннах чугуна, а не о романах.

Для статистики «Война и мир» — всего-навсего одна единица.

В отличие от буржуазного, наше, социалистическое общество помогает молодым талантливым писателям расти и развиваться. Но писатели — это не ширпотреб: нет такой машины, которая позволила бы изготовлять

писателей сериями. Нельзя подходить к работе писателя с меркой строительных темпов.

Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит, как крольчиха, но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, нежели крольчихи.

Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги Пастернака и т. д.,— когда я слышу это, я чувствую, что не все у нас понимают сущность художественной работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно. Это не достоинство и не порок — это свойство, и нелепо трактовать таких писателей как лодырей или как художников, уже опустошенных.

Несколько слов о методах бригадной работы. Я говорю при этом, разумеется, не о газетном материале. Можно сделать коллективно сборник огромной документальной важности. А что может быть важнее в наши дни, нежели живые человеческие документы? Но вряд ли можно создать коллективно лирическую поэму или роман.

Я слышу такие разговоры: был писатель прежде кустарь-одиночка, надо заменить его коллективом. Я этого просто не понимаю. Живой писатель нашей страны неизбежно и неизменно связан с коллективом тысячами нитей. Ни себя, ни своих героев он не мыслит вне коллектива. Мир и людей он показывает, однако, через свой индивидуальный опыт. Чем богаче, чем крупнее его индивидуальность, тем живее его герои, тем монументальнее тот коллектив, который он показывает.

Создание художественного произведения — дело индивидуальное, скажу точнее — интимное. Я убежден, что литературные бригады останутся в истории нашей литературы как живописная, но краткая деталь юношеских лет.

Часто у нас говорят: опишите такой-то завод, такое-то производство, такую-то стройку. Вы понимаете, как надо приветствовать писателей, которые в поисках человеческого материала проводят месяцы или годы среди рабочих, врастая в будничный героизм нашей страны. Вы понимаете, как надо приветствовать сборники или монографии, посвященные цехам, заводам, стройкам.

Я говорю о другом — об основном задании нашей литературы: о романе. Мы хотим быть художниками, а не только репортерами или даже летописцами.

Я скажу по своему опыту. Я написал роман, может быть хороший, может быть плохой. Действие романа происходит в Кузбассе. Но такой же роман мог бы быть написан о Магнитке или Караганде. Это не связано с вопросом о точности документа. Я в свой роман включил многое из того, что я увидел на Бобриках и на Урале.

Буржуазия дает своим авторам социальный заказ веселить или отвлекать от мысли о неизбежной гибели вымышленными терзаниями.

Социальный заказ, который нам дает наше общество,— другой. Мы пишем книги, чтобы помочь нашим товарищам строить страну.

Но зачем скрывать, что часто по непониманию социальный заказ воспринимается как просто заказ: написать так-то и то-то. Это ведомственный подход к литературе.

Наше общество глубоко демократично. Вчерашний пастух — сегодня инженер. Культурный уровень широких масс поднимается с каждым днем, но перед нами еще далеко не однородная масса. У нас имеются колхозники, только что ликвидировавшие свою безграмотность, и у нас имеются ученые, к которым приезжают учиться американские и европейские собратья. Естественно, что и литература у нас различного назначения. Возьмем, к примеру, Маяковского или Пастернака. Они требуют общекультурной, да и специальной литературной подготовки. Но это не довод против их стихов. Несколько раз я слышал рассказы молодых рабочих или вузовцев о том, с каким трудом им доставались ритмы Маяковского и ассоциации Пастернака и как щедро они бывали вознаграждены. Эти рассказы — прекрасное свидетельство о росте нашей социалистической культуры. Можно ли упрекать писателя за его необщедоступность? Романсы на гармошке куда легче даются, нежели Бетховен. Непонятно и сложно пишут только бездарные, пустые люди. Каждый истинный художник стремится к простоте, но простота простоте рознь. Простота «Моцарта и Сальери» — не простота крыловских басен. Есть простота, которая требует для своего понимания подготовки. Мы вправе

гордиться тем, что некоторые из наших романов уже доступны миллионам. В этом мы далеко обогнали капиталистическое общество. Но одновременно мы должны лелеять, беречь те формы нашей литературы, которые сегодня еще кажутся уделом советской интеллигенции и верхушки рабочего класса, но которые завтра, в свою очередь, станут достоянием миллионов.

Простота — не примитивизм. Это синтез, а не лепет. Мне приходится напоминать об этом только потому, что провинциализм еще частично присущ нашей литературе. Нашей стране теперь принадлежит гегемония. Это страна-гегемон. А часто в наших книжках чувствуется спесь и одновременно приниженность захолустья. Провинциально-литературная манера — неизменное описание восхода и захода, степей и лесов, которое регулярно перебивает ликвидацию прорыва или подвиг ударника. Чересчур сложные метафоры, тот винегрет, который с Дос Пассоса сбивается на Мамина-Сибиряка и с Джойса — на Гусева-Оренбургского. Провинциально и наше отношение к иностранной литературе — то огульное отрицание всего того, что делается за границей, то погоня за последней модой. Провинциально многое в нашей литературной жизни. Достаточно вспомнить хотя бы оркестр, исполнявший туш на открытии нашего съезда.

Я перехожу сейчас к самому трудному вопросу — как же нам надо писать? Мы часто слышим — почему у нас нет классического советского романа — «Войны и мира» 1934 года. Этот упрек построен на недоразумении. С огромной бережливостью наша страна относится к культурному наследию прошлого. Мы — не скифы и не беспризорники. Это фашисты жгут Гейне, а наши молодые писатели учатся и у Тютчева, хотя Тютчев был монархистом и царским цензором.

Вряд ли кто-нибудь из вас заподозрит меня в архаическом футуризме. Великие писатели прошлого века оставили нам опыт, и он еще тепел, этот живой опыт. Но изучение этого опыта у нас подменяется имитацией. Так начинается эпигонство, так появляются романы или рассказы, слепо подражающие манере старой натуралистической повести. Так появляются стихи о тракторах, подозрительно похожие на довоенные

романсы. Под видом необходимости борьбы с формализмом у нас часто проводится культ самой реакционной художественной формы. Мы справедливо смеемся над буржуазными эстетами, когда они уверяют, что в их произведениях нет политического содержания. Мы знаем, что протест против содержания — это тоже содержание, это определенная идеология и это определенная политика. И в выступлениях наших некоторых критиков против поисков новой формы, в этом пренебрежении к форме также скрыто утверждение некоторой формы, а именно формы эпигонской и глубоко буржуазной.

Товарищи, это эстетика того старого мещанства, о морали которого так превосходно говорил в своем докладе Алексей Максимович.

Это проходит через все силы искусства. Конечно, проблема архитектуры у нас не была никак разрешена. У нас строили дома американского типа. Они были хороши для завода или для учреждения. Жить в них трудно. Глаза рабочего требуют от жилого дома куда большей радостности, интимности, индивидуальности. Рабочий справедливо протестует против дома-казармы. Это все верно. Но разве это значит, что можно вытащить лжеклассический портал, прибавить немного ампира, немного барокко, немного старого Замоскворечья — и выдать все это за архитектурный стиль нового великого класса?

Товарищи, в живописи форма — это органическая часть содержания. Кому придет в голову рассматривать историю живописи только как голую смену тематики? Голландские мастера семнадцатого века писали яблоки. Сезанн тоже писал яблоки, но они писали яблоки по-разному, и все дело в том, как они писали яблоки. Давид писал Марата, но его тесная связь с якобинцами гораздо больше, чем в этом факте, сказывается в тех революционных для его эпохи приемах, которые он принес в живопись.

Для кого показательна живопись передвижников? Для безрадостности и антипластичности русского общества конца прошлого века, для уродливости всех этих земцев, купцов, разночинцев-либералов. Может ли подобная живопись быть искусством победоносного пролетариата, который жаден ко всем радостям жизни, который ощущает форму вещи и который любит цветы?

Товарищи, была эпоха, когда я слышал в Европе разговоры о советском стиле в кино. Но неужто бытовая драма с диалогом в стиле старого коршевского театра, в котором мы находим самые слабые места буржуазного кино,— неужели она соответствует огромному росту советского зрителя?

У меня нет программы литературной школы или рецептов, как делать роман. Я считаю себя одним из тех советских писателей, которые неуверенно ищут новой формы, соответствующей новому содержанию. Мы не пытаемся скопировать ни «Войны и мира», ни романов Бальзака, как бы прекрасны они ни были и как бы мы лично страстно их ни любили. Классики описывали уже сложившуюся жизнь и сформировавшихся героев. Мы описываем жизнь в ее движении. Герой нашего романа еще не сформировался. С такой быстротой меняется жизнь, что писатель сел писать роман, а к концу работы он замечает, что его герои уже переменились. Вот почему форма классического романа, перенесенная в нашу современность, требует от автора фальшивых заявок, а главное — фальшивых концовок. План очерка, огромный интерес художника в живых людях, все эти стенографические записи, исповеди, протоколы, дневники — все это не случайно. Здесь смутно намечается новая форма нашего романа. Мы часто сбиваемся на каракули. Мы терпим огромное количество неудач, но по-моему — это честный путь. Мы не пробуем вложить новое содержание в уже готовые, но обветшавшие формы.

Я должен иллюстрировать это опытом. Я вас очень прошу поверить, что я говорю о моих книгах не потому, что я считаю их в какой бы то ни было степени показательными. Я просто их лучше знаю, чем книги других,— изнутри. Были критики, которые писали о «Дне втором», что это не роман, что это наполовину очерк, что в нем недостает сюжетного развития. Товарищи, что может быть легче, нежели построить роман вокруг сложной интриги? Я давно, лет десять тому назад, написал роман «Любовь Жанны Ней» и уверяю вас, что любой писатель, набивший руку, может делать такие сюжеты, как сюжет «Жанны Ней», по десяти в один год.

Богатство и насыщенность нашей жизни таковы, что они не допускают чересчур сложной интриги. Ведь

не случайно мой роман напоминает критикам очерк. Я сам не провожу резкой грани между очерком и художественной прозой. Вместе с другими писателями, которые ищут новую форму, я предпочитаю казаться некоторым критикам газетчиком, очеркистом — словом, писателем второй, низшей категории, нежели, заменяя слово «граф» словом «колхозник», переписывать бедные школьные образцы.

И сказал обо всем этом с такой резкостью не потому только, что литература — это мое дело: верьте мне, что о том, о чем я с вами говорю, я очень часто думаю за своим столом. Я резко говорю об этом также потому, что сейчас необычайно велика наша ответственность. Никогда, нигде писатели не находились в положении, равном нашему. Куда бы мы ни пришли — на завод, на стройку, к колхознику, в шахту,— нас повсюду встречают с любовью, а главное — с надеждой. От нас ждут огромных, необходимых всем этим людям работ. Французский писатель — я говорю о писателе буржуазном — может писать лучше или хуже,— от этого ровно ничего не меняется: столько-то ценителей скажут — это лучше или — это хуже. Вы знаете, когда я — давно это было — начинал писать стихи, мне казался самым завидным уделом для поэта удел того знахаря, которого приводили когда-то к корове. Он говорил над коровой: «Стой горой, дой рекой». Тогда люди верили, что слова могут изменить нечто в реальном мире, например, увеличить удой коровы. Вот мы этого теперь достигли — и не магией, а глубокой человечностью нашего социалистического общества. Мы не просто пишем книги, мы книгами меняем жизнь, и это необычайно увеличивает нашу ответственность.

1934

ЗА НАШ СТИЛЬ

Я много пережил, сидя в Колонном зале. На несколько дней исчезли стены: не в Колонном зале сидел я, но на огромной площади. Глазами я разговаривал с теми миллионами, которые в бараках Магнитки, Караганды, Кузнецка жадно сжимают зачи-

танные, трухлявые книжки. Их голоса я слышал и в речах некоторых из моих товарищей, и в неловких паузах, которые придавали приветствиям различных делегаций глубоко человеческое значение, и в гуле рукоплесканий.

Нас было много. По-разному мы пишем, по-разному понимаем наше ремесло. Трудно лирическому поэту догадаться о тех шахтах, в которых работают очеркисты, и трудно автору натуралистических повестей услышать в ночи мучительные роды нового слова. Среди нас были приверженцы старого романа, уверенно продвигающиеся по широким путям, и среди нас были разведчики, с их лихорадочной рысью, привыкшие к уступам и к обвалам.

Среди нас находился живой посланник великой русской литературы — Максим Горький. Рядом с ним стоял Авдеенко, и в его косноязычии чувствовалась взволнованность подростка, впервые познающего все многообразие мира. Среди нас был курд, если не ошибаюсь, автор первого курдского букваря. Среди нас был Борис Пастернак — поэт, технику которого изучают мастера Запада.

Мы говорили на разных языках, и бывали минуты, когда только огромное напряжение позволяло нам понять друг друга. Но, сталкиваясь лицом к лицу с нашей страной, при виде рабочих, красноармейцев, колхозников мы находили общий язык. Мы, «мастера слова», как дети, неистово били в ладоши. Мы как бы пытались передать усиленное биение сердец. Я внимательно слушал речи писателей, еще внимательней я прислушивался к языку аплодисментов. Кроме делегатов, в этот разговор ладоней вмешивались и хоры: там сидели случайные, однако правомочные представители наших читателей. Тотчас они отвечали нам, и, отрываясь от споров поэтов, я прислушивался к простому языку рукоплесканий. Я нашел в нем сотни оттенков, сотни различных слов.

Я помню, как зал горячо аплодировал, когда один из делегатов, волнуясь и путаясь, впервые на съезде произнес имя Маяковского. Потом это повторялось не раз: как эхо, отвечали рукоплескания на имя того, кто умел реветь от любви и кто о революции говорил нежно и ревниво, как о своей первой возлюбленной. Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского, — мы аплодировали потому,

что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов.

Сидя за столом президиума, я получил записку от одного из французских писателей: «Я только что узнал, что Жорж Дюамель выставил свою кандидатуру в Академию».

В своей последней книге полушутя-полувсерьез Жорж Дюамель предлагает установить «пятилетку отказа от изобретений». Он возмущается и новым газетным языком, и автомобилями. Больше всего он возмущается тем, что люди еще хотят изобретать. Зло — в изобретении! Специальный портной, наверно, уже снимает мерку с остепенившегося бунтаря. Ему сошьют парадный мундир, покрой которого не изменился за сто лет.

С каким облегчением, прочитав эту записку, я взглянул на очередного оратора! Это был грузинский поэт. Грузия не детские ясли,— за спиной грузинских писателей стоят века, а за ними древняя культура, эпические песни, фрески, замысловатые купола. Грузинский поэт мог бы с полным правом, как Дюамель, сказать о великом прошлом своей страны. Однако этот поэт говорил о будущем. Он говорил о творчестве, о дерзании, о новых литературных формах. Он не плелся в обозе, он предпочитал трудный путь лазутчика. Он ли один? Разве вся наша страна — не одна гигантская разведка, не один беспрерывный поток изобретений? Самое большое изобретение — наша жизнь, сознание того, что жить по старинке, без дерзаний и без изобретений, пошло, скучно, недостойно человека.

Александр Блок, увидав в осеннюю ночь тени людей, обмотанных пулеметными лентами, подумал о пути скифов. С ненавистью и сожалением вспомнил он древние камни Европы. Скифами оказались не мы. Буржуа кичится своей древней культурой, и он покупает на аукционе портреты каких-то бородатых сановников; он выдает их за своих предков. На самом деле это духовный беспризорник. Испугавшись рабочих, он уничтожает Гейне. Это только почин. Гете для него — почтовая марка. Он так страшится будущего, что не способен думать о прошлом. Он живет одной короткой минутой, которую подарила ему рассеянная история. Ради дивидендов он готов тотчас засыпать снарядами все Реймсы, сжечь на кострах все библиоте-

ки, а высшую математику заменить высшей шагистикой. Мало-помалу мы начинаем понимать наше значение. Я говорю сейчас не только о пространстве, но и о времени. Нашей стране принадлежит теперь духовная гегемония, жадно смотрят на нее лучшие люди других стран. Такова география 1934 года: столица мира перенесена в новый центр. Но еще важней осознать нашу роль в истории: все то ценное, что было в биографии человечества, мы должны связать с нашим будущим. Вот он, долгий путь,— далеко позади тлеет лучина — это первобытный человек впервые улыбается добытому им огню. Мы должны сохранить и его улыбку. Мы должны сохранить и память о тех вершинах, куда забрались поэты и мыслители прошлого. Для человека социалистического общества будут понятны и миф о Прометее, и трагедия Гамлета.

Нельзя учиться у Леонардо да Винчи строить самолеты — это всем ясно. Нельзя учиться у Леонардо писать картины: живописные формы снашиваются, как и все на свете. Это ясно сегодня немногим, завтра это станет ясно всем. Но у Леонардо можно учиться размаху, дерзости, необычайной широте кругозора, у него можно учиться умению жить, бороться, созидать.

Аплодируя на съезде Маяковскому, мы тем самым аплодировали Пушкину против Шишкова, Гете против Клопштока, Бальзаку против Шатобриана, Делакруа против «классиков», которые в такой-то раз зарисовали античные модели, и Мане против малокровных эпигонов Делакруа. Может ли страна, дающая миру вторую пятилетку прекрасных изобретений в области искусства, установить пятилетку «отказа от изобретений», столь любезную сердцу Жоржа Дюамеля?

Я слыхал как-то в Москве гордое заявление: «Мы научились вкладывать в старые формы искусства новое содержание». Что надлежит ответить этому отважному товарищу? Спросить его: знаком ли он с трудами Маркса? Или напомнить ему о том, с каким упорством наша страна в течение семнадцати лет ломает все формы прежней жизни?

Буржуазные эстеты часто говорят о том, что в истинном произведении искусства нет политического содержания. «Товарища Эренбурга нет дома»,— отвечаю

я по телефону некоторым ретивым интервьюерам, но даже самые наивные из них догадываются, что означает это отсутствие. Кнут Гамсун — прекрасный писатель, на этом сойдутся и наши комсомольцы, и шведские академики. Но Кнут Гамсун — писатель норвежских бюргеров, кулаков и скупщиков трески. Он упорно отказывался от политических деклараций. Рыбаки Лофотенских островов бастовали. В грубых клеенчатых штанах, они повторяли грубые слова о борьбе. Кнут Гамсун знал другие слова, куда более нежные и высокие. Он согласен был говорить о горах, о соснах фиордов, о неразделенной любви — обо всем, что угодно, только не о грубой политике. Но вот Кнут Гамсун подходит к столу и вместо любовных признаний Виктории подписывает фашистскую программу. Кого это могло удивить? Наивных фрекен из кондитерских Осло? Или, может быть, буржуазных эстетов? Что касается нас, то мы хорошо знали, что отказ от политического содержания — это тоже политическое содержание.

Я осмелюсь продлить разговор: отказ от формы — это тоже форма, это только плохая форма, форма, доставшаяся от последнего прохожего, шаблонное слово, давно потерявшее свою начальную остроту, женщина, которой не шепчут нежных слов, которую не выдумывают, из-за которой не страдают. У нас имеются поэты, которые пишут стихи о стройках, об ударниках, о тракторах. Но стихи эти до конфуза напоминают романсы о черных очах и о страстных лобзаниях. Есть материалы, которые связаны с определенным назначением. Нельзя делать бисерные кисеты с изображением танков, нельзя изображать на лаковых коробочках красноармейцев в виде Святого Георгия, нельзя писать роман о колхозе, слепо копируя модель классического романа, описывавшего драму дворянской семьи.

В Вологде работают тысячи прекрасных кружевниц. Орнамент кружева рожден образом инея, и не случайны названия наших кружев: «снежинка» или «звездочка». Какие-то шутники предложили вологодским кружевницам ввести «советскую тематику» — тракторы или самолеты. Я оставляю в стороне вопрос, почему наши модницы должны носить на комбинациях тракторы. Я хочу только сказать об органичности формы, о ее спаянности с содержанием. Я видел кру-

жева с тракторами; они нелепы и уродливы. Вполне возможно, что через десять лет наши вкусы изменятся, и тогда исчезнет кружево на белье, как исчезли многие декоративные вещи, чуждые нашей эпохе. Но если можно разлюбить кружево, то нельзя из него сделать пропаганду тракторов.

Я не отрицаю ни чистой лирики, ни песни, ни цветов. Я думаю, что в нашем арсенале это прекрасное оружие: жизнь человека включает и радость и грусть. Пролетариат отнюдь не склонен отказаться от прекрасных эмоций, которые волновали людей предшествующих культур. То, что Пастернак пишет стихи в Советском Союзе, никак не случайно. Не случайно, что в буржуазном мире поэзия сейчас находится на ущербе. Мы можем ответить фашистам: «Да, у нас люди любят звуки, свист и щебет. У нас работают прекрасные лирические поэты. Но это не потому, что мы выиграли по билету на лотерее, это потому, что ваш воздух смертелен для поэзии». Не боясь быть смешными, мы можем гордиться и нашими цветниками, и смехом наших ребятишек. Автомобили Форда и ГАЗ похожи друг на друга, но их значение меняется в зависимости от того, кто сидит у руля. Каждый новый автомобиль у нас — это шаг к благоденствию, каждый новый автомобиль у них — это шаг к перепроизводству, к хаосу, к гибели. Простая полевая ромашка может изменить свое существо в зависимости от того, по какую сторону границы она цветет.

Я часто спорю с парижскими художниками, которые считают тематику в живописи признаком дурного тона и недостаточной культуры. Я говорю им, что тематика не помешала ни великим художникам треченто, ни Гойе, ни Домье, ни Курбе, ни Мане создать гениальные полотна. Формализм — это либо ослепление мастера самим процессом работы, либо уловка реакционных снобов. Но надо прямо сказать, что понимание живописи как голой тематики приводит к самым нелепым курьезам. Голландские живописцы семнадцатого века любили писать яблоки, но и Сезанн тоже писал яблоки. Необходимо установить, как эти столь различные живописцы изображали одни и те же яблоки. Социолог, который захочет проанализировать эстетические вкусы амстердамских купцов семнадцатого века и французской буржуазии эпохи Золя, не сможет удовольствоваться изучением тематики,

ему придется заняться разбором живописных методов.

Художник Давид был тесно связан с якобинцами. Как известно, он написал изображение Марата. Но разве стал бы он художником Французской революции, если бы его Марат был сделан в условном жеманном стиле Греза или Буше? Давид принес в живопись новые приемы, логичность и сухость, преобладание линии над цветом, все то, что показательно для философии третьего сословия в эпоху юношеского буйства.

Многие у нас думают, что живопись — это раскрашенные фотографии. До революции в газетах помещались такие объявления: «Пришлите мне вашу фотографию и три рубля, и вы получите ваш портрет, с полной гарантией сходства, исполненный лучшими масляными красками». Это вполне подходило к елецким и тотемским купцам, но стыдно так изображать людей нашего времени. Вся жизнь ударника, красного командира, секретаря райкома — это эпопея, полная фантазии, творчества и, скажу не смущаясь, вдохновения. Почему же наши художники, подходя к этим необычайным людям, создают пошлые стандартные олеографии?

Передвижничество было некогда политически революционным направлением: оно отображало народничество, точнее — его горечь по поводу обездоленности «малых сих». Это время давно стало историей, но многие из наших художников взяли у передвижников не их политическое содержание, а их живописную форму. Здесь дело не обходится без анекдотов: женщина у окна, судя по каталогу, «Отдыхающая колхозница», а коняга, папаша которого преспокойно висит в Третьяковке, произведен в «Коня красноармейца». Впрочем, наиболее исполнительные из наших неопередвижников изображают и пуск домны, и заседание сельсовета, и выдачу премиальной гармошки лучшему ударнику. Однако все эти картины кажутся копиями Маковского. Вторая половина прошлого века отмечена глубокой уродливостью, безрадостностью, антипластичностью быта. Передвижники хорошо уловили эту черту своего времени: они создали неживописную живопись. Но разве наш комсомолец — это Базаров? Разве можно по рецептам Писарева строить искусство живой и радостной страны? Кто лучше рабочего осяза-

ет форму вещи и радуется ее цвету? Рабочий — отнюдь не кастрат, и живопись нашей страны должна быть полнозвучной, как наша жизнь.

В художественных отделах Мосторга вкус рабочего старательно отравляется филинами, кошечками и прочей дрянью, место которой на комоде тетушки Геббельса или на рабочем столе Бальдура фон Шираха. Сидя среди этой «художественной» утвари, трудно думать о планах Метростроя, читать телеграммы о судьбе Тельмана, мечтать о любимой девушке, учиться жить. Сидя среди такой дребедени, можно только пить чай, мурлыкать «У самовара я и моя Маша» и скромно прикидывать, как бы получить по блату путевку в Сочи. Я не знаю, формализм или не формализм все эти наяды, закаты солнца и совы, но я знаю, что мало кто на них обижается, и я знаю также, что кличкой «формалист» у нас иногда награждают тех художников, которые хотят в живописи быть живописцами.

Я остановлюсь на нескольких примерах. Мне не раз говорили, что Штеренберг и Тышлер формалисты. Штеренберг художник натюрморта. Я никак не могу понять, почему натюрморт должен быть изъят из искусства пролетариата. Если выставить натюрморты Штеренберга, сделанные им за пятнадцать лет, получится история нашего Союза — ведь вещи тоже говорят об эпохе, как и люди. Мы увидим натюрморты эпохи военного коммунизма, натюрморты нэпа, натюрморты пятилетки. Тышлер — художник, органически связанный со стихией театра. Его картины поймут и полюбят те колхозники, которые устраивают самодеятельный театр, трактористы, изображающие Гамлета, и доярки, репетирующие роль Офелии.

Эти художники не довольствуются устаревшими формами передвижников, они знают, что палитра — не объектив фотоаппарата, они ищут, и они изобретают,— они нашли органический синтез формы и содержания.

Немало печального у нас и в архитектуре. Мы начали с так называемых «коробок»,— это был индустриальный стиль, пришедший к нам из Америки, иногда в грубом оригинале, иногда в смягченных переводах Корбюзье. Он вполне пригоден для заводов и для учреждений, но глаз рабочего требует от жилого дома

большей индивидуальности, интимности, радостности. Надо также учесть, что чем меньше на вещи украшений, тем острее сказывается качество материала. Наши «коробки» через год-два становятся уродливыми, как голые тела стариков. Мы вправе были ожидать, что наши архитекторы, взяв современный стиль за основу, попытаются идти дальше, найти вместо домов-деклараций дома, в которых можно жить. Но вместо этого многие строители пошли по линии наименьшего сопротивления: они решили создать эклектический портрет — нос Ивана Ивановича, рот Петра Петровича, а уши Луки Лукича, немножко лжеклассических колонн, немножко ампира, немножко барокко, все это густо приправленное роскошью старого купеческого Замоскворечья. Это не архитектурный стиль нового великого класса, и напоминает это скорее всего павильоны международных выставок или, еще точнее, предместья Барселоны, где разбогатевшие на военных подрядах сеньоры понастроили себе виллы со смешением всех стилей. Один из них, сеньор Гонсалес, сказал мне: «У меня достаточно денег, чтобы не довольствоваться одним стилем. Я приказал моему архитектору смешать мавританский стиль, готику и модерн, и все это пусть называется по моему имени стилем Гонсалеса...»

В Москве кто-то предложил построить дом для композиторов в виде лиры. Как же здесь не вспомнить стихи того поэта, который является классическим примером полного пренебрежения словом, а именно Надсона: «Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает...» На беду, подобные «аккорды» у нас делаются из камня, и «рыдать» они будут по меньшей мере несколько десятилетий.

Я видел Акрополь, и, глядя на него, я радовался, что время сохранило для нас такую радость. Но я не знаю, смеяться нам или плакать, читая о том, что мартеновский цех Краматорска предполагают одарить античным порталом и «строго дорическими колоннами». Здесь сказывается глубокое неуважение и к истории искусств, и к производству стали. В парижском музее хранятся первые модели автомобилей, сделанные в девяностые годы прошлого века. Многие мудрецы раздумывали тогда, как бы сделать эту уродливую машину поизящней. В музее можно увидеть автомобиль в виде портшеза, отделанного золотом, в виде

наяды с корзиночкой, в виде лебедя, запряженного в бричку. Глядя на эти чудовища, мы весело смеемся, мы знаем, что автомобиль выпуска 1934 года красив, что форма его обдумана и тесно связана с его назначением. Есть изобретения и изобретения. Нельзя теперь изобретать трут с огнивом, ткацкую машину в виде древней прялки и дома для победоносного пролетариата в виде особняков господина Рябушинского.

Наш советский стиль существует. Надо только освободить его от докучного натурализма, от пошлости кошечек и романсов, от раскрашенных фотографий, от того мещанства, которое радуется любой подачке, которое делает из четвертки чая философию, а из права на отдых — право на прозябание. Художественное чутье нашей рабочей молодежи чрезвычайно велико, и я смело утверждаю, что рабочие «Шарикоподшипника» разбираются лучше и в стихах, и в картинах, и в фильмах, нежели изысканные студенты Оксфорда. Это они, сидя на хорах, в дни писательского съезда аплодировали прекрасному имени Маяковского, которое, прокатываясь по залу, еще раз напоминало писателям, что творчество — это прыжок вперед, а не хорошо исполняемый шаг на месте. У нас имеются прекрасные поэты, и они имеются только у нас. Наши молодые художники впервые достигают живописной зрелости парижских мастеров, сочетая это со свежестью глаза и с новым дыханием. Имеются у нас и архитекторы, которые, несмотря на все трудности, ищут новых путей. Седоволосый Мейерхольд ни на минуту не останавливается в своих прекрасных и единственных поисках. Наше кино — это вовсе не слащавые куплеты на экране, это Эйзенштейн, Довженко, Васильевы, Вертов. Мы создали целую плеяду молодых писателей, которые, взяв низшую форму искусства — очерк, подняли ее на высоту романа. Не будем преувеличивать значение пошлости — она, как тень, плетется позади нашего созревания и обогащения. Но не будем и преуменьшать роль этой пошлости. Объявим кошечек и филинов врагами революции, как мы некогда объявили врагом революции тифозную вошь. Будем бороться с халтурными живописцами и с кафешантанными поэтами, как с сорняком. Строя наши города, не забудем о том, что мы строим их не только для себя, но и для наших детей. Мы оставим им прекрасную

летопись о том, как люди сделали из невежественной и нищей страны новое, невиданное общество. Пусть эта прекрасная летопись не будет сопровождаться грустными иллюстрациями из мрамора, из камня или из бетона, иллюстрациями, которые заставят наших детей спросить, как же могли современники Магнитогорска, современники челюскинского похода — любоваться жалкой мишурой умиравшего в те годы мира денег, уродства и спеси?

1934

Комментарии

Четвертый том Собрания сочинений Ильи Эренбурга составляет его публицистика 20—30-х гг. Во всех прижизненных Собраниях сочинений Эренбург один том неизменно отводил публицистике (это соответствовало ее весу в общем объеме написанного писателем и общепризнанности того, что масштабу своей мировой известности он в значительной мере был обязан именно публицистике).

Первую публицистическую книгу («Лик войны») Эренбург написал в 1919 г. на материале собственных газетных корреспонденций 1915—1917 годов с франко-германского фронта (она вышла в Софии в 1920-м, затем в Берлине в 1923-м и в Москве в 1924 гг.). В 20-е гг Эренбург занимался главным образом прозой, а статьи, путевые очерки и эссе писал в перерывах между романами. В 1926 г. полтора десятка статей и очерков были собраны в книгу «Белый уголь, или Слезы Вертера», которую удалось издать два года спустя в Ленинграде. С тех пор в течение четырех десятилетий Эренбург более или менее регулярно выпускал сборники статей.

С конца 20-х гг. публицистика начинает занимать едва ли не главенствующее место в литературной работе писателя. Именно тогда в силу ужесточившегося в СССР цензурного пресса Эренбургу пришлось искать новые темы, новые литературные формы и жанры. Кризис, разразившийся на рубеже 20—30-х гг. и потрясший экономику капиталистического мира, привлек писателя к изучению механики капиталистического производства. В результате основательных штудий статистических и экономических источников Эренбург пишет книги, составившие цикл «Хроника наших дней»: «10 л. с.» (об автомобильной индустрии; 1928), роман «Единый фронт» (о короле спичек Крейгере; 1930), «Фабрика снов» (о кинобизнесе; 1931). Переведенные на многие языки, они вызвали шумную реакцию вплоть до судебного преследования автора со стороны разоблаченных им «героев». Некоторые из этих книг печатались в прижизненных Собраниях сочинений Эренбурга; в настоящее Собрание их включить не удалось.

Публицистика Эренбурга 20—30-х гг. представлена здесь путевыми очерками, репортажами с фронтов гражданской войны в Испании и несколькими эссе.

ВИЗА ВРЕМЕНИ

«Виза времени» впервыс вышла в берлинском издательстве «Петрополис» в 1930 г.; в 1931-м ее выпустил в Москве ГИХЛ (был исключен очерк «Грузия», и книга стала сборником только зарубежных путевых очерков); в 1933-м Издательство писателей в Ленинграде переиздало «Визу времени», дополнив ее книгой «Англия» и шестью очерками 1931 г. Оба советских издания открывались предисловием Ф. Ф. Раскольникова, сообщавшим читателям, что если последние романы Эренбурга «нам идеологически чужды», то с его произведениями, посвященными Западной Европе, «у нас имеется общая платформа».

Путевой очерк — из любимых жанров Эренбурга-публициста. Страсть к путешествиям, ведущая отсчет с детской попытки удрать в Африку к бурам, не оставляла писателя до конца дней, и время, проведенное в поездах и самолетах, составляет весьма длинный отрезок его жизни. Эренбург превосходно знал всю Европу, после войны побывал во многих странах Азии и Америки. В 1923—1931 гг. (таковы хронологические рамки «Визы времени») он жил в Германии и Франции, приезжал в Грецию, Италию, Польшу, Чехо-Словакию, Швецию, Норвегию, Данию, Австрию, Англию, Испанию. Поездки были различные: путешествия в летние каникулы — Бретань (1927), Чехо-Словакия (1928), Скандинавия (1929); литературные гастроли — Польша (1927); по приглашению Пен-клуба — Англия (1930), попутные и даже случайные — Турция, Греция, Испания (1926). Маршруты поездок Эренбург разрабатывал весьма тщательно. Его интересовали не только знаменитые центры, но и края, куда редко забирались туристы; в каждой стране его интересовали неповторимые черты ее политической, экономической, культурной жизни, ее история, религия, быт, особенности уклада национальных меньшинств. Снобизм был чужд Эренбургу, и жизнь самых разных социальных слоев и групп населения оказывалась в поле его зоркого зрения.

Впервые включив путевые очерки в сборник «Белый уголь, или Слезы Вертера» (1928), Эренбург подчеркнул в предисловии к нему, что все напечатанные там статьи объединяет «привязанность к времени». О том же говорило и название «Виза времени»; в мемуарах Эренбург его объяснял так: «Для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не

о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем» (Люди, годы, жизнь, кн. 3, гл. 23).

Марк Слоним в книге «Портреты советских писателей» (Париж, 1933) писал о «Визе времени»: «С уничтожающим презрением и едкостью, приближающейся к страстности, Эренбург разоблачает все нелепости и несправедливости того строя, который узаконяет порабощение человека человеком, возводит наживу в цель бытия». Советский критик А. Селивановский, напротив, утверждал, что «свой аналитический талант Эренбург использует для нанесения капиталистической культуре ран, царапающих ее поверхность и не проникающих в ее сердцевину»[1]. В СССР Эренбурга обвиняли в непонимании законов исторического развития, значения классовых боев и роли компартий; критики не могли принять того снисходительно-иронического тона, в котором Эренбург писал о рабочих и коммунистах. «Виза времени» написана неангажированным художником, видящим Европу без идеологических шор. И если Эренбург не идеализировал рабочих, писал о наивности симпатий европейских коммунистов к СССР (как в очерке «Без языка»), не выдавал коминтерновские дрязги за ключевые события политической жизни Запада (в конце 20-х гг. окончательно оформился сталинский диктат в коммунистическом движении и ликвидировались последние группы, ему сопротивлявшиеся), то это вовсе не свидетельство его слепоты.

Переживший европейскую катастрофу 1914 г., Эренбург, наблюдая Европу 20-х гг., понимал, что мировая война ее мало чему научила. Отсюда горечь многих страниц книги и очевидный скептицизм автора. И все же выводы о внутренней опустошенности Эренбурга («У него в душе все выжжено, стерто, уничтожено»,— писал М. Слоним) были слишком преувеличены. Достаточно прочесть страницы, посвященные бескорыстию словацких крестьян или благородному мужеству скандинавских тружеников, чтобы усомниться в такой оценке.

Упрекали Эренбурга и в том, что он классовое подчиняет национальному, слишком большое значение придает описанию национальных типов. Время все же отметило своей визой эти страницы — десятилетиями межнациональные отношения остаются тяжкой проблемой многонациональных государств. Применительно к странам бывшего «советского блока» эти проблемы неизменно замалчивались; неслучайно при переиздании «Визы времени» в Собраниях сочинений Эренбурга в 1950-х и 1960-х гг. наиболее объемные цензурные вымарки пришлись именно на эту тему (сняли ряд глав из очерков о Словакии, не был напечатан очерк о Польше).

---

[1] Селивановский А. Фальшивая виза. Литгазета, 30 августа 1931.

Художественно запечатлев в «Визе времени» картины политической, экономической, социальной и культурной жизни Европы третьего десятилетия XX в., Илья Эренбург разглядел и показал то, что предопределило последующие трагические страницы европейской истории.

Очерки печатаются по последней прижизненной публикации (Эренбург И. Собр. соч., т. 7. М., Художественная литература, 1966); все купюры, а также очерк «В Польше» восстановлены по изданию «Визы времени» (Берлин, изд-во «Петрополис», 1930); очерк «В джунглях Европы» печатается по сборнику Эренбурга «Затянувшаяся развязка» (М., 1934).

Письма другу.— Впервые: «Белый уголь, или Слезы Вертера» (под заголовком «Письма из кафе»); очерк «Берлин» — впервые: Россия, 1923, № 9; очерк «Магдебург» — впервые: Последние новости (Ленинград), 14 апреля 1924.

Стр. 7. *Аспид* — зд.: плитки темного сланца; *Пьяцца-Спанья* — площадь Испании в Риме; *кьянти* — дешевое красное итальянское вино; *Пуанкаре* Раймон (1860—1934) — президент Франции в 1913—1920 гг.; *Муссолини* Бенито (1883—1945) — фашистский диктатор Италии; *«Романишес-кафе»* — литературное кафе в Западном Берлине.

Стр. 8. *«...играют... Расина!»* — Спектакль «Федра», поставленный А. Я. Таировым в 1921 г. в Камерном театре по пьесе французского драматурга Жана Расина (1639—1699); *валькирии* — в скандинавской мифологии воинственные девы, решающие исход сражений; *кентавры* — в греческой мифологии полулюди-полукони.

Стр. 9. *Шуман* Роберт (1810—1856) — немецкий композитор; *Гайд-парк* — парк в Лондоне, место политических митингов; *Дэвид Копперфилд* — герой одноименного романа английского писателя Чарлза Диккенса (1812—1870); *члены Пиквикского клуба* — персонажи романа Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837); *...когда меня в прошлом году из этого «рая» выгнали...* — Эренбурга выслали из Франции 26 мая 1921 г.; *мидинетка* — девушка, работающая в универмаге, где перерыв на обед в полдень; *Люксембург* — имеется в виду сад перед Люксембургским дворцом в Париже; *Себастьян Фор* (1858—?) — французский политический деятель, анархист, оратор и писатель.

Стр. 11. *Келлерман* Бернхард (1879—1951) — немецкий писатель, автор романа о революции в Германии «9 ноября» (1920); *Бебель* Август (1840—1913) — один из основателей германской социал-демократии; *два Либкнехта* — Либкнехт Вильгельм (1826—1900), лидер германской социал-демократии, и его сын Либкнехт Карл

(1871—1919), деятель Германской компартии; *«Адриенна Лекуврер»* — историческая драма французского драматурга Эжена Скриба; *«Жирофле-Жирофля»* — оперетта французского композитора Шарля Лекока (спектакли, поставленные А. Я. Таировым в Камерном театре).

Стр. 12. *Бисмарк* Отто (1815—1898) — первый рейхсканцлер Германии; *Карл Эйнштейн* (1885—1940) — немецкий поэт; *Рейнгардт* (Рейнхардт) Макс (1873—1943) — немецкий режиссер.

Стр. 13. *Нахт-локаль* (от нем. Nachtlokal) — ночное кафе; *шибер* (от нем. Schieber) — человек, разбогатевший на спекуляциях.

Стр. 14. *Диле* (от нем. Diele) — зал для танцев.

Стр. 15. *Comitè des Forges* — французский металлургический синдикат; *Шпенглер* Освальд (1888—1936) — немецкий философ-волюнтарист, автор книги «Закат Европы»; *Ратенау* Вальтер (1867—1922) — немецкий промышленник и финансист, в 1922 г.— министр иностранных дел, убит членами террористической организации «Консул»; *Эрцбергер* Маттиас (1875—1921) — член германского правительства в 1918 г.; в 1919—1920 гг.— министр финансов, убит членами террористической организации «Консул».

Стр. 16. *Прерафаэлиты* — английские художники и писатели XIX в., поклонники искусства раннего Возрождения.

Стр. 17. *Радек* Карл Бернгардович (1885—1939) — деятель большевистской партии, публицист; *Кирилл Владимирович* Романов (1876—1939) и *Николай Николаевич* Романов (1856—1929) — великие князья, претенденты на российский престол; *Бедекер* — путеводители по разным странам, выпускаемые немецкой фирмой.

Стр. 18. *Спартаковское восстание* — восстание в Германии «Союза Спартака», революционной организации левых социал-демократов; *Носке* Густав (1868—1946) — правый германский социал-демократ, военный министр, подавил всеобщую политическую забастовку.

Стр. 19. *Вайнштубе* (от нем. Weinstube) — погребок.

Стр. 21. *Юдифь* — древнееврейская героиня; *Кранах* Лукас Старший (1472—1553) — немецкий живописец; *форестьер* (от ит. forestiere) — иностранец, контрабандист; *мистер Куль* — американский бизнесмен, персонаж романа Эренбурга «Хулио Хуренито»; *...слиянием двух Интернационалов* — Интернационала «$2^1/_2$» и Бернского в 1923 г.

Стр. 22. *Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна* — персонажи повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики»; *Ремизов* Алексей Михайлович (1877—1957) — писатель.

Стр. 23. *Бруно Таут* (1880—1938) — немецкий архитектор; *...пуфы трех Людовиков.*— Мебель в стиле барокко и рококо эпохи французских королей Людовиков XIV—XVI.

Стр. 24. *Zoo* — берлинский зоопарк; *Джотто* ди Бондоне (1267—1337) — итальянский живописец.

Стр. 25. *Германская «учредилка»* — Германское учредительное национальное собрание, 31 июля 1919 г. в Веймаре приняло конституцию; *«Bauhaus»* — высшая школа строительства и конструирования в Веймаре.

Стр. 26. *Клее* Пауль (1879—1940) — швейцарский живописец; *Файнингер* Лионель (1871—1956) — немецкий художник; *Кандинский* Василий Васильевич (1866—1944) — живописец, с 1921 г. работал в Германии; *московский Вхутемас* — ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские, учебное заведение, основано в Москве в 1920 г.; *Моголи-Надь* Ласло (1891—1946) — венгерский художник, фотограф; *Лисицкий* Лазарь Маркович (Эль Лисицкий; 1890—1941) — график, дизайнер, конструктор, в 1921—1925 гг. работал в Германии; *Ван Десбург* Тео (1883—1931) — голландский архитектор; *Брак* Жорж (1882—1963) — французский живописец; *Иль-де-Франс* — историческая провинция Франции с центром в Париже.

Стр. 27. *«А все-таки она вертится»* — книга И. Эренбурга об искусстве (1921); *фабрика Цейса* — германская фирма по производству оптических приборов в г. Йена.

Пять лет спустя. — Впервые: «Белый уголь, или Слезы Вертера»; «Демоны и взбитые сливки» — впервые: Вечерняя красная газета (Л.), 8 апреля 1927 г.

Стр. 30. *Нана* — проститутка, героиня одноименного романа Э. Золя; *Икар* (греч. миф.) — сын Дедала, взлетевший вместе с отцом в небо.

Стр. 31. *Максимилиан Гарден* (1861—1927) — немецкий эссеист, критик; *Канитферштан* — персонаж немецкого фольклора.

Стр. 32. *Фрейд* Зигмунд (1856—1939) — австрийский психиатр, основатель психоанализа; *евхаристия* — причащение, когда верующие приобщаются к Христу, вкушая во время литургии хлеб и вино; *Кулидж* Калвин (1872—1933) — президент США в 1923—1929 гг.

Стр. 33. *Агасфер* — Вечный жид, герой средневековых сказаний, осужденный на вечную жизнь и скитания за то, что не дал Христу отдохнуть по пути на Голгофу; *Соломон* — царь Израильско-Иудейского царства в 965—928 гг. до н. э.

Стр. 34. *Тиргартен* — берлинский зоопарк.

Вассерман Якоб (1873—1934) — немецкий писатель, автор социально-этических романов «Каспар Гаузер», «Человечек с гусями», «Дело Маурициуса».

Стр. 35. *Марфа* — библейский персонаж, сестра Лазаря; *Гросс* Георг (1893—1959) — немецкий художник; *Рабиндранат Тагор* (1861—1941) — индийский писатель и общественный деятель.

Стр. 36. *Роза Люксембург* (1871—1919) — деятель германского и польского рабочего движения, убита вместе с К. Либкнехтом

контрреволюционерами; *Адонис* — бог плодородия в древнефиникийской мифологии; *Леда* — персонаж древнегреческой мифологии.

Стр. 37. *Эскуриал* — дворец-монастырь возле Мадрида.

Стр. 38. *Блез Паскаль* (1623—1662) — французский писатель, ученый, автор книги «Мысли».

Стр. 39. *Джойс* Джемс (1882—1941) — ирландский писатель.

Стр. 40. *Пруст* Марсель (1871—1922) — французский писатель; *Валери* Поль (1871—1945) — французский поэт.

Стр. 41. *Петр* — один из апостолов Иисуса Христа; *Альфред Деблин* (1878—1957) — немецкий писатель; *«ламед», «вов»* — буквы древнееврейского алфавита.

Стр. 43. *Дуглас Фербенкс* (1883—1939) — американский киноактер; *мемуары Форда* — Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. (Русский перевод выходил 5 раз в 1924—28 гг. в изд-ве «Время»; в 1989 г. в изд-ве «Финансы и статистика»); *«Мать»* — фильм Вс. Пудовкина по роману М. Горького (1926); *Брейгель* Старший Питер (1525—1569) — нидерландский живописец; *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель-романтик; *...Эйзенштейн скромно разводил мясных червей...* — В фильме С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (1925) в сцене матросского бунта крупным планом показано червивое мясо; *Краус* Вернер (1884—1959) — немецкий актер, исполнитель роли Калигари.

Стр. 44. *...забытого всеми «Калигари»...* — Фильм немецкого экспрессиониста Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари» (1919); *«Метрополис»* — фильм немецкого режиссера Фрица Ланга (1926).

Стр. 45. *Карл Грюне* (1890—1962) — немецкий режиссер, сценарист; *«Критика чистого разума»* — работа немецкого философа Иммануила Канта (1781); *«Варьете»* — фильм немецкого режиссера Эвальда Андреаса Дюпона (1925).

Стр. 46. *Гарольд Ллойд* (1893—1971) — американский киноактер-комик; *саше* (от фр. sachet) — душистые подушечки, кладутся в белье.

Стр. 47. *Гогенцоллерны* — германская династия, правившая в 1415—1918 гг.; *Есть у меня рассказ о трубке...* — Пятая новелла из книги «Тринадцать трубок».

Стр. 48. *Святая София* — храм Айя-София в Константинополе; *«большой век»* — XIX в.

Стр. 49. *Франциск Ассизский* (1182—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев; *Кампанелла* Томмазо (1568—1639) — итальянский философ-утопист; *Уэллс* Герберт Джордж (1866—1946) — английский писатель-фантаст; *Гропиус* Вальтер (1883—1969) — немецкий архитектор.

Стр. 50. *Руссо* Анри (1844—1910) — французский художник-примитивист, по прозвищу Таможенник.

Стр. 53. *Алеша Карамазов* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы»; *«Шехеразада»* — опера Н. А. Римского-Корсакова; *«Хованщина»* — опера М. П. Мусоргского; *Лемм* — персонаж романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

Стр. 55. «*Хуренито*» — роман И. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921).

Двойная жизнь.— Впервые: Прожектор, 1928, № 42.

Стр. 57. *Новалис* (Фридрих фон Харденберг; 1772 — 1801) — немецкий поэт.

Стр. 58. *Гинденбург* Пауль фон (1847 — 1934) — генерал-фельдмаршал, президент Германии с 1925 г.; *шуцманская каска* (от нем. Schutzmann) — полицейская каска; *Франц Штук* (1863 — 1928) — немецкий художник.

Стр. 59. *Ле Корбюзье* Шарль Эдуар (1887 — 1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры; «*Сикстинская мадонна*» — картина итальянского художника Рафаэля Санти; хранится в Дрезденской галерее.

Стр. 61. *Бенуа* Пьер (1886 — 1962) — французский писатель, автор авантюрных романов; *Синклер* Эптон (1878 — 1968) — американский писатель.

Стр. 62. *Шуберт* Франц (1797 — 1828) — австрийский композитор.

Стр. 63. *Гутенберг* Иоганн (ок. 1399 — 1468) — немецкий изобретатель книгопечатания; *Клемансо* Жорж (1841 — 1929) — французский политический и государственный деятель.

Германия. «Август 1930».— Впервые под названием «Освобожденный Рейн»: Ленинград, 1931, № 4; «Берлин. Январь 1931».— Впервые под названием «В предчувствии конца»: Вечерняя красная газета (Л.), 25 февраля 1931 г.; «Октябрь 1931».— Впервые под названием «Перед зимой»: Прожектор, 1931, № 31 — 33.

Стр. 65. *Лорелея* — героиня немецкого эпоса, олицетворение Германии; *«Мы освободили Рейн!..»* — Рейнская демилитаризованная зона установлена по Версальскому мирному договору в 1919 г.; *Ватерлоо* — битва при Ватерлоо (1815), где был разгромлен Наполеон; *Бад-Соден* — курорт в Германии.

Стр. 66. *Бад-Крейцнах* — бальнеологический курорт в Германии; *«берта»* — сорокадвухсантиметровая пушка Круппа.

Стр. 67. *Спартаковцы* — члены «Союза Спартака».

Стр. 68. *Илоты* — спартанские земледельцы; здесь — средний класс; *июль 1914 года* — начало первой мировой войны; *Пискатор* Эрвин (1893—1966) — немецкий режиссер; *трест ИГ* — (И. Г. Фарбен-индустри) — германский военно-химический концерн, основан в 1925 г.

Стр. 69. *Андре Жид* (1869 — 1951) — французский писатель; *...романами Ремарка или Ренна.*— Ремарк Эрих Мария (1898 — 1970) — немецкий писатель, автор антивоенного романа «На Западном фронте без перемен» (1929); Ренн Людвиг (1889 — 1979) — немецкий писатель, автор антивоенных романов «Война» (1928), «После войны» (1930); *сербский гимназистик* — Принцип Гаврило (1894 — 1918), 28 июня 1914 г. убил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда, что послужило поводом для начала первой мировой войны; *Саарский бассейн* — германский угольный район, оккупированный Францией; *Польский коридор* — полоса земли, дававшая выход Польше к Балтийскому морю.

Стр. 70. *Премьера «Потемкина»* — показ фильма С. М. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» в Берлине 23 января 1926 г.

Стр. 72. *«Дух Локарно»* — согласие между Германией, Францией и Бельгией на конференции в Локарно (1925) о неприкосновенности их границ; *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729 — 1781) — немецкий драматург, критик; *Тристан Бернар* (1866 — 1947) — французский писатель.

Стр. 73. *Марна* — река во Франции, где в первую мировую войну французская армия остановила немецкое наступление на Париж; *хлысты* — христианская секта, доводящая себя на радениях до религиозного экстаза; *хасиды* — последователи хасидизма, течения в иудаизме, возникшего в XVIII в. в Галиции.

Стр. 74. *«Стальная каска».*— Имеется в виду «Стальной шлем», монархический военизированный союз бывших фронтовиков, созданный в 1918 г.; *Эмиль Людвиг* (1881 — 1948) — немецкий писатель; *Зибург* Фридрих (1893 — ?) — немецкий писатель, нацист; *Болдуин* Стенли (1867 — 1948) — премьер-министр Англии; *Фрик* Вильгельм (1877 — 1946) — нацист, имперский министр внутренних дел; *«На Западе без перемен»* — фильм американского режиссера Льюиса Майльстоуна (1930) по роману Э.-М. Ремарка.

Стр. 77. *Пилсудский* Юзеф (1867 — 1935) — диктатор Польши, маршал; *Жоффр* Жозеф Жак (1852 — 1931) — маршал Франции, главнокомандующий французской армией в первой мировой войне.

Стр. 78. *Жироду* Жан (1882 — 1944) — французский писатель.

Стр. 79. *Армия спасения* — религиозно-филантропическая организация, созданная в 1878 г.; *Лаваль* Пьер (1883 — 1945) — в 1931 — 1932 гг. и позже — премьер-министр Франции; *терция* — одна шестидесятая доля секунды.

Стр. 80. *Шупо* (от нем. Schupo) — полицейский; *«Путевка в жизнь»* — первый советский звуковой фильм Н. Экка (1931).

Стр. 81. *Гувер* Герберт Кларк (1874 — 1964) — президент США (1929 — 1933); *Цилле* Генрих (1858 — 1929) — немецкий карикатурист.

В центре Франции.— Впервые: Прожектор, 1929, № 14.

Стр. 87. *Луиза Лабе* (1524—1566)—французская поэтесса; *Иоахим Белле* (Дю Беллс Жоашен; 1522—1560)—французский поэт

Стр. 88. *Фуше* Жозеф (1759—1820)—министр полиции Франции; *Баррас* Поль Жан (1755—1829)—французский государственный деятель, один из лидеров термидора.

Стр. 90. *Бланки* Луи Огюст (1805—1881)—французский революционер-утопист; *Делеклюз* Шарль (1809—1871)—член Парижской коммуны, погибший на баррикадах; *Дантон* Жорж Жак (1759—1794)—один из вождей якобинцев; *Верньо* Пьер (1753—1793)—один из вождей жирондистов; *Финистер*—мыс в Бретани.

Стр. 91. *Луи-Филипп* (1773—1850)—французский король в 1830—1848 гг.

Стр. 94. *Сюлли-Прюдом* Франсуа Арман (1839—1907)—французский поэт.

Стр. 96. *Робеспьер* Максимилиан (1758—1794)—один из руководителей Французской революции.

В Польше.— Впервые: Красная новь, 1928, № 3, 4. Отдельные очерки—в Вечерней красной газете (Л.) и Прожекторе.

Стр. 98. *«Поляки Моисеева закона»*—польские евреи.

«Тринадцать трубок»—книга новелл И. Эренбурга (1923).

Стр. 100. *МОПР*—Международная организация помощи борцам революции (1922—1947); *Павиак*—тюрьма в Варшаве.

Стр. 101. *Кресы* (от пол. kresy)—окраина.

Стр. 102. *Каден-Бандровский* Юлиуш (1885—1944)—польский писатель.

Стр. 103. *«Дзвигня»* («Рычаг», 1927—1928)—польский пролетарский журнал, родственный «ЛЕФу»; *«ЛЕФ»* («Левый фронт искусства»)—журнал под редакцией Маяковского (1922—1929); *Шкловский* Виктор Борисович (1893—1984)—писатель, литературовед, теоретик «формальной школы»; *Эйхенбаум* Борис Михайлович (1886—1959)—литературовед; *Виноградов* Виктор Владимирович (1895—1969)—литературовед, языковед; *Тувим* Юлиан (1894—1953)—польский поэт.

Стр. 104. *Мицкевич* Адам (1798—1855)—польский поэт; *«поляки Достоевского»*—персонажи романа «Братья Карамазовы».

Стр. 105. *Запольская* Габриеля (1857—1921)—польская писательница; *Люк Дюртен* (1881—1959)—французский писатель; автор книги «Иная Европа. Москва и ее вера» (1928) о поездке в СССР; *Бжозовский* Леопольд Станислав (1876—1911)—польский критик, писатель, философ.

Стр. 106. *Духи «Коти»*—по имени Коти Франсуа (1874—1934), французского парфюмерного фабриканта.

Стр. 108. *Клеман Вотель* (1876—1954)—французский писатель и журналист; *Сандрар* Блез (1887—1961)—французский писатель.

Стр. 109. *Комендант*—Ю. Пилсудский; *Честертон* Гильберт Кит (1874—1936)—английский писатель; *Бальмонт* Константин Дмитриевич (1867—1942)—поэт; *Вольдемарас* Августинас (1883—1942)—литовский политический деятель, до 1929 г. премьер и министр иностранных дел; *Слонимский* Антони (1895—1976)—польский писатель.

Стр. 111. *Жеромский* Стефан (1864—1925)—польский писатель; *Маринетти* Филиппо Томмазо (1876—1944)—итальянский писатель, сподвижник Муссолини.

Стр. 112. *Гетель* Ф. (1890—1960)—польский писатель; *Дюамель* Жорж (1884—1966)—французский писатель; *Рембо* Артюр (1854—1891)—французский поэт.

Стр. 113. *Толлер* Эрнст (1893—1939)—немецкий поэт, драматург; *Витлин* Юзеф (1896—?)—польский поэт; *Пейпер* Тадеуш (1891—?)—польский поэт; *Родченко* Александр Михайлович (1891—1956)—художник, дизайнер, мастер фотоискусства; *Броневский* Владислав (1897—1962)—польский поэт; *«Скамандер»*—литературная группа, в которую входили поэты: Ю. Тувим, А. Слонимский, Я. Лехонь, Я. Ивашкевич и др.; *Манны*—немецкие писатели, братья Генрих (1871—1950) и Томас (1875—1955).

Стр. 114. *Серошевский* Вацлав (1858—1945)—польский этнограф, писатель; *Бельведер*—дворец в Варшаве, резиденция президента; *Лазенки*—предместье Варшавы с королевским дворцом.

Стр. 115. *Витторио-Эммануил*—Виктор Эммануил II (1820—1878), первый король Италии, автор памятника ему—архитектор Джузеппе Саккони; *новый памятник Шопену*—работы В. Шимановского (1926); *Реомюр* Рене Антуан (1683—1757)—французский естествоиспытатель, предложивший температурную шкалу; *Оборин* Лев Николаевич (1907—1974)—пианист, получивший первую премию на Международном конкурсе им. Шопена в Варшаве (1927).

Стр. 116. *«Квипрокво»*—театр в Варшаве, созданный Ю. Тувимом; *эндек*—член польской националистической организации; *пэпээсовец* (от ППС)—член Польской социалистической партии; *Новачинский* Адольф (1876—1944)—польский публицист; *Эренберг* К. (1870—1932)—польский журналист.

Стр. 118. *Поль Моран* (1888—1976)—французский писатель и дипломат.

Стр. 119. *Стена Плача*—западная стена Иерусалимского храма, святыня иудеев; *Декобра* Морис (1885—1973)—французский писатель.

Стр. 124. *Один мой приятель, советский дипломат...*—Семен Борисович Членов (1890—1938?), профессор, юрисконсульт советс-

кого посольства в Париже; *Вит Ствош* (Штос Фейт; 1455—1553) — польский и немецкий скульптор.

Стр. 125. *Словацкий* Юлиуш (1809—1849) — польский поэт.

Стр. 126. *Дефензива* (от пол. defenzywa) — контрразведка и политическая полиция в Польше (1918—1939).

Стр. 127. *Пуришкевич* Владимир Митрофанович (1870—1920) — монархист, черносотенец, один из лидеров крайне правых во 2—4-й Государственных думах.

Стр. 129. *Казимир* IV (1427—1492) — король Польши с 1447 г.

Стр. 130. *...советская нота заставила всех говорить о Вильне.* — Нота заместителя наркома иностранных дел Литвинова об ответственности польского правительства за убийство полпреда П. Л. Войкова 7 июня 1927 г.; *маршал* — Пилсудский; *«Что возмутило вас? Волнения Литвы?..»* — Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России»; *Ковно* — Каунас, в то время столица Литвы.

Стр. 131. *Трайкович* П. — русский эмигрант, убитый в перестрелке 1 сентября 1927 г. в советском полпредстве; *Арцыбашев* Михаил Петрович (1878—1927) — писатель, автор натуралистических романов; *Философов* Дмитрий Владимирович (1872—1940) — критик, публицист, с 1920 г. жил в Варшаве; *Великий Бешт* — Баал Шем Тоб (ок. 1700—1760), основатель хасидизма; *Каббала* — мистическое течение в иудаизме; *Книга Зогар* (Книга Сияния) — основной труд Каббалы.

Стр. 132. *Талмуд* — собрание религиозно-этических и правовых положений иудаизма; *францисканское движение* — католическое движение, в основу которого положен обет бедности; *«старчество»* — одинокое монашество; *Зосима* — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 135. *...ребе Нахман из Брацлава... Его изречения, легенды и стихи вышли недавно в немецком переводе.* — Художественное переложение Мартина Бубера «Рассказы о Раби Нахмане» (Берлин, 1906).

Стр. 136. *Иом-кипур* — Судный день, день всепрощения.

Стр. 137. *Шагал* Марк Захарович (1887—1985) — художник, уроженец Витебска.

Стр. 139. *...вспоминает книгу Бубера о хасидизме...* — Бубер М. Легенды о Баал Шеме (Берлин, 1907); *пляска св. Витта* (хорея) — нервное заболевание, сопровождающееся непроизвольными движениями.

Стр. 141. *Столыпин* Петр Аркадьевич (1862—1911) — председатель Совета министров России (1906—1911).

Стр. 143. *Маца* — лепешки из пресного теста, которые верующие евреи едят в дни Пасхи.

Стр. 144. *Талес* — еврейское облачение, надеваемое во время

утренней молитвы; *«коты»* — сутенеры; *«Слушай, Израиль!..»* — Начальные слова еврейской молитвы.

Стр. 148. *Пурим* — весенний еврейский религиозный праздник.

Стр. 149. *Клод Фаррер* (1876—1975) — французский писатель.

Стр. 153. *Курбов* — герой романа Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова»; *Жанна* Ней — героиня романа Эренбурга «Любовь Жанны Ней».

1928 в Словакии.— Впервые: Красная новь, 1929, № 1.

Стр. 155. *Фонтенбло* — резиденция французских королей; *треченто* — итальянское название XIV в.

Стр. 156. *Малая Антанта* — в 1920—1938 гг. блок Чехо-Словакии, Румынии и Югославии, поддерживаемый Францией; *Бенеш* Эдуард (1884—1948) — министр иностранных дел Чехо-Словакии в 1918—1935 гг.; *Хорти* Миклош (1868—1957) — фашистский диктатор Венгрии в 1920—1944 гг.; *сигуранца* — в 1921—1944 гг. тайная политическая полиция Румынии; *Франц-Иосиф* (1830—1916) — император Австро-Венгрии; *...один московский журнал...*— «Красная новь», 1926, № 5.

Стр. 157. *Пратер* — парк в Вене; *«под вехами»* — в Братиславе виноделы имели право одну неделю в году торговать вином распивочно, вывесив над дверями «веху» (сухую ветку).

Стр. 158. *Масарик* Томаш (1850—1937) — президент Чехо-Словакии в 1918—1935 гг.; *старосветский сон* — реминисценция из Гоголя («Старосветские помещики»).

Стр. 159. *Келлог* Фрэнк (1856—1937) — госсекретарь США в 1925—1929 гг.

Стр. 162. *Мартин Кукучин* (1860—1928) — словацкий писатель.

Стр. 164. *Яношик* Юрий (1688—1713) — участник освободительной войны Словакии против Габсбургов.

Стр. 168. *«Красин»* — ледокол, в 1928 г. участвовал в спасении арктической экспедиции У. Нобиле.

Стр. 169. *«Корона Святого Стефана»* — династия первого короля Венгрии Иштвана I (ок. 970—1038); *Когда Красная Армия подходила к Кошицам...*— Речь идет о венгерской Красной Армии (1919); *ирредентизм* — политическое и общественное движение за присоединение земель по национальному признаку.

Стр. 174. *...но началась война, а в итоге появилась какая-то «Чехо-Словакия»* — в результате распада Австро-Венгрии.

Стр. 175. *Шабес-гой* — иноверец, нанятый верующими евреями для работы в субботу; *Богатырев* Петр Григорьевич (1893—1971) — славист, фольклорист.

Стр. 176. *Подкарпатская Русь* — ныне Закарпатская область Украины.

Стр. 177. *Трианонский мир* — подписан в 1920 г.; по нему Закарпатскую Украину присоединили к Чехо-Словакии.

Север.— Отдельные очерки впервые: Красная новь, 1930, № 3, 4, 6, 7; полностью — «Виза времени» (Берлин, 1930).

Стр. 185. *...«назло надменному соседу»...* — Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

Стр. 186. *Цеппелин* — дирижабль жесткой конструкции.

Стр. 187. *Густав Дален* (1869—1937) — шведский инженер, изобрел устройство для автоматического зажигания и гашения ацетиленового пламени в маяках, нобелевский лауреат (1912); *Максим* Хайрем (1840—1916) — американский конструктор и промышленник, создал автоматическую винтовку, пушку и станковый пулемет («максим»); *Лебель* Никола (1838—1891) — офицер французской армии, принимавший участие в создании ружья, названного с 1886 г. его именем; *Базиль Захаров* (1850—?) — финансовый делец; *Крейгер* Ивар (1880—1932) — глава шведского спичечного треста; *«Эриксон»* — шведский электротехнический концерн.

Стр. 189. *Сельма Лагерлеф* (1858—1940) — шведская писательница, нобелевский лауреат (1909).

Стр. 191. *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции, полководец; *«закон Братта»* — шведский антиалкогольный закон.

Стр. 193. *Сигрид Унсет* (1882—1949) — норвежская писательница, нобелевский лауреат (1928).

Стр. 194. *Музей Гревен* — музей восковых фигур в Париже.

Стр. 206. *Д'Аннунцио* Габриеле (1863—1938) — итальянский писатель, политический деятель.

Стр. 207. *Чан Кайши* (1887—1975) — глава гоминьдановского режима в Китае.

Стр. 208. *Локарнская идиллия* — надежда на умиротворение Германии в связи с Локарнским договором (1925).

Стр. 213. *Йеста Берлинг* — герой романа С. Лагерлеф «Сага о Йесте Берлинге» (1891).

Стр. 214. *Сен-Жюст* Луи (1767—1794) — один из вождей якобинцев.

Стр. 215. *Ландрю* — француз, казненный в 1921 г. за многочисленные изощренные убийства.

Стр. 216. *Ллойд Джордж* Дэвид (1863—1945) — премьер-министр Великобритании в 1916—1922 гг.; *Питт* Уильям Младший (1759—1806) — премьер-министр Великобритании (1783—1801), один из организаторов коалиции против революционной Франции; *Чемберлен* Остин (1863—1937) — министр Великобритании, один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР (1927);

Детердинг Генри (1866—1939) — английский нефтепромышленник, глава нидерландско-английской нефтяной монополии; *Макдональд* Джеймс Рамсей (1866—1937) — в 1924 и 1929—1931 гг. премьер-министр Великобритании.

Стр. 219. *Эррио* Эдуар (1872—1957) — лидер французской партии радикалов, неоднократный министр и премьер-министр Франции.

Стр. 220. *Пангалос* Теодорос (1878—1952) — греческий диктатор.

Стр. 221. *Маргарита* — персонаж трагедии И. Гете «Фауст».

Стр. 223. *Брантинг* Карл Ялмар (1860—1925) — деятель шведской социал-демократической партии.

Стр. 224. *...в годы верденских боев?* — В феврале — декабре 1916 г., когда германская армия пыталась прорвать французский фронт в районе Вердена.

Стр. 228. *Густав Ваза* — основатель шведской королевской династии (1523).

Стр. 230. *Нобиле* Умберто (1885—1978) — итальянский дирижаблестроитель, генерал; руководитель экспедиции к Северному полюсу на дирижабле «Италия» (1928).

Стр. 231. *Бандерильеро* — пеший боец, вооруженный бандерильей (копьем) во время боя быков; *Бедель* Морис (1883—1954) — французский писатель.

Стр. 232. *«Стандард ойл»* — нефтяная компания США; *«Рио-Тинто»* — металлургическая компания в Испании.

Стр. 234. *Бронные и Козихи* — улицы Москвы; *Баррас* Поль Жан (1755—1829) — французский государственный деятель, содействовавший казни короля Людовика XVI.

Стр. 235. *Заменгоф* Людвиг (1859—1917) — польский врач, создатель международного языка эсперанто; *Матисс* Анри (1869—1954) — французский художник.

Стр. 236. *Ибсен* Генрик (1828—1906) — норвежский драматург; *Марфа... Мария* — библейские персонажи, сестры Лазаря; *Обрегон* Альваро (1880—1928) — президент Мексики в 1920—1924 гг., в 1928 г. вновь избран президентом, убит при вступлении в должность.

Стр. 237. *Бойер* Юхан (1872—1959) — норвежский писатель; *Пер Крог* Кристиан (1852—1925) — норвежский живописец.

Стр. 238. *Виктория* — героиня одноименного романа К. Гамсуна (1896).

Стр. 242. *Григ* Эдвард (1843—1907) — норвежский композитор.

Стр. 246. *«Пауки и мухи»* — брошюра Вильгельма Либкнехта; *«Донская речь»* — издательство в Ростове-на-Дону (с 1903), печатало дешевые издания революционеров-публицистов; *«Кларте»* — международное объединение левых деятелей культуры, созданное французским писателем А. Барбюсом (1919).

Стр. 247. *Бранд* — герой одноименной пьесы Г. Ибсена (1866); *Штокман* — герой пьесы Г. Ибсена «Враг народа» (1882); *открытие Эйнштейна* — теория относительности.

Стр. 250. *Мунк* Эдвард (1863—1944) — норвежский живописец; *Вигланд* (Вигеланн Густав; 1869—1943) — норвежский скульптор.

Англия.— Впервые: Звезда (Л.), 1931, № 1, 2; отдельное изд.— «Федерация», 1931.

Стр. 254. *Эдем* — страна, где обитали Адам и Ева до грехопадения, синоним рая; *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — итальянский проповедник.

Стр. 256. *...роман Джойса* — «Улисс» (1922).

Стр. 257. *Крошка Доррит* — героиня одноименного романа Ч. Диккенса; *Казанова* Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский писатель.

Стр. 262. *Бабушка Виктория* — королева Великобритании (1819—1901).

Стр. 266. *...«небу в алмазах»...* — слова Сони из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня».

Стр. 270. *Бриан* Аристид (1862—1932) — премьер-министр Франции.

Стр. 273. *...картина по роману Ремарка.*— См. примеч. на с. 598; *Сомма* — река во Франции, место ожесточенных боев в 1916 г.

Стр. 277. *«Любовь Жанны Ней»* — фильм немецкого режиссера Георга Пабста (1927) по роману И. Эренбурга.

Стр. 282. *Виккерс* — английский трест по производству вооружения.

В джунглях Европы.— Впервые: Известия, 6 и 11 мая 1934 г.

Стр. 290. *Геринг* Герман (1893—1946) — немецко-фашистский военный преступник, министр авиации; *Третья империя* — насаждавшееся нацистской пропагандой наименование режима гитлеровской Германии; *...«хоры стройные светил»...*— Из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон»; *Дюрер* Альбрехт (1471—1528) — немецкий художник; *Папен* Франц фон (1879—1969) — в 1934 г. вице-канцлер Германии.

Стр. 291. *Дольфус* Энгельберт (1892—1934) — канцлер и министр иностранных дел Австрии.

Стр. 292. *Я даже написал об этом несколько статей.*— Статьи Эренбурга составили книгу «Гражданская война в Австрии» (1934).

Стр. 296. *Гельсингфорс* — шведское название г. Хельсинки.

Стр. 298. *«Железная гвардия»* — фашистская организация в Румынии в 1931—1944 г.

Стр. 301. *Аншлюс* — политика насильственного присоединения Австрии к Германии; *Габсбурги* — династия, правившая Австрией с 1282 по 1918 гг.; *Батя* Томаш (1876—1932) — чешский промышленник, король обуви; *Мой друг Томас Батя вовремя умер.* — В 1931 г. Эренбург напечатал в немецком журнале сатирический очерк о Бате; тот подал на писателя в суд; процесс не был закончен из-за гибели Бати в авиакатастрофе; *Екклесиаст* — одна из книг Ветхого завета, приписываемая царю Соломону и доказывающая тщету земных благ.

Стр. 302. *Литвинов* Максим Максимович (1876—1951) — нарком иностранных дел (1930—1939); *готтентоты* — древнейший народ Южной Африки.

Стр. 303. *Геббельс* Йозеф (1897—1945) — один из главных немецко-фашистских преступников, с 1933 г. глава пропагандистского аппарата Германии; *эксперименты Рузвельта* — система мероприятий президента США Ф.-Д. Рузвельта 1933—1938 гг. для ликвидации экономического кризиса.

Стр. 307. *Рем* (Рём) Эрнст (1887—1934) — начальник штаба штурмовых отрядов фашистской Германии; расстрелян с санкции Гитлера.

Стр. 309. *Марковец* — участник гражданской войны в составе первого сводного офицерского пехотного полка (затем дивизии) Добровольческой армии под командованием генерала С. Л. Маркова; *дроздовец* — участник гражданской войны в составе добровольческого отряда (затем третьей дивизии) Добровольческой армии под командованием генерала М. Г. Дроздовского.

Стр. 311. *Флоридсдорф* — предместье Вены, место упорных боев в феврале 1934 г.

Стр. 312. *Вотан* — верховный бог в древнегерманской мифологии; «*Фелькишер беобахтер*» — газета, официоз нацистской партии; *Лонги* Пьетро (1702—1785) — итальянский живописец.

Стр. 314. *Гольдони* Карло (1707—1793) — итальянский драматург; *Митрофанушка* — персонаж комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».

Стр. 315. *Боккаччо* Джованни (1313—1375) — итальянский писатель; *Аретино* Пьетро (1492—1556) — итальянский писатель; *Гоцци* Карло (1720—1806) — итальянский драматург.

Стр. 316. *Афера Ставиского* — финансово-политическая афера во Франции в начале 30-х гг., названная по имени Александра Ставиского (1886—1934).

ИСПАНИЯ

В августе 1926 г., возвращаясь из Москвы в Париж, Эренбург впервые увидел Испанию. «Я успел побывать в Испании,— информировал он Н. Тихонова,— хотя недолго, зато вполне авантюрно, то есть без виз, благодаря доброте пограничника и своему легкомыслию. Будь я один, я добрался бы до Барселоны. Жаль было поворачивать назад, во Францию,— кроме России, Испания единственная страна, где «couleur locale» — душа, а не приманка для английских туристов»[1]. Об увиденном Эренбург написал очерк «Сео де Урхель».

Как только в апреле 1931 г. была свергнута испанская монархия, Эренбург стал добиваться визы, и осенью 1931 г. приехал в Мадрид. Он объездил всю страну, включая захолустье,— знакомился с жизнью литейщиков Сагунто и батраков Эстремадуры, увидел нищету Санабрии и Лас-Урдеса. От цепкого взгляда Эренбурга не укрылись прекраснодушные адвокаты и вороватые чиновники, бездельники кабальеро и католическое духовенство, обирающее нищих. Все они старались сохранить уклад прежней жизни под пышной вывеской «Республика трудящихся всех классов».

Но в Испании Эренбург увидел и то, как зреет народное недовольство, становясь решающим политическим фактором. Более всего поразило писателя чувство достоинства трудового народа, органически присущее ему стремление к свободе. «Я видел немало стран, некоторые полюбил,— писал Эренбург в «Книге для взрослых».— Обычно они подтверждали то, чем я жил до этого. Испания подсказала мне нечто новое... Я вижу суровое плоскогорье, камни, белье на веревках, вздуваемое ветром, лачугу, тревогу перестрелок; не это потрясло меня. Я встретил людей, которым невыносимо трудно жить, они улыбались, они жали мне руку, говоря «товарищ», они храбро шли на смерть ради права жить. Это было приготовительным классом, в него я записался на пятом десятке». Поездка в Испанию сыграла исключительную роль в судьбе Эренбурга.

Книга «Испания» писалась в Париже в декабре 1931 — январе 1932 гг. 25 декабря 1931 г. в «Вечерней Москве» появился очерк «Рай, как он есть». Это первая публикация из «Испании»; полностью книга была напечатана в «Красной нови» (1932, № 1—3) и в том же 1932 г. вышла в издательстве «Федерация»; в 1933 г. ее издали на

---

[1] См.: Попов В., Фрезинский Б. Верность сердцу и верность судьбе. Испанские страницы в жизни и творчестве Ильи Эренбурга (в кн.: Эренбург И. Испанские репортажи. 1931—1939. М., АПН, 1986, с. 370).

русском языке в Париже (изд-во «Геликон»), а в 1935-м — переиздал Гослитиздат.

Однако раньше всего «Испания» вышла в Мадриде под названием «Испания — республика трудящихся» и вызвала необычайно яростную дискуссию. На Эренбурга нападали и справа и слева. Проправительственные либерально-демократические круги возмутились критикой правительства, обвинениями его в непоследовательности. Леворадикальные деятели бранили «Испанию» за недостаток революционности. Материалы этих дискуссий напечатал журнал «Интернациональная литература» (1933, № 1) вместе с ответом Эренбурга его критикам. «Споря со мной, вы защищаете не Испанию, а партию, стоящую у власти в настоящий момент,— обращался Эренбург к либералам.— Я верю, что среди руководителей республики есть люди, искренне стремящиеся помочь рабочему классу. Но у истории свои законы. История не считается с добрыми намерениями того или иного мечтателя». Отвечая оппоненту «слева», Эренбург заметил: «Я отнюдь не думаю, что моя книга — это книга о причинах и перспективах испанской революции. Это не социально-политический трактат. Это всего-навсего путевые очерки. Я писал о том, что видел и слышал».

Советская критика отнеслась к «Испании» сдержанно, без привычных наскоков. «Обычное пристрастие Эренбурга к контрастам и парадоксальным сопоставлениям находит благодарнейшую почву в любом явлении испанской жизни»[1],— заметил Д. Выгодский. «Книга эта ценна высоким, человеческим, товарищеским сочувствием к угнетенным»[2],— признал Л. Никулин. «Революционное движение отражено очень слабо, деятельность компартии почти не освещена»[3],— были и такие отклики.

«Испания» печатается по последнему прижизненному изданию 1966 г. с добавлением очерка «Пять встреч».

Стр. 322. *Кайзерлинг* Герман (1880—1946) — немецкий писатель, философ.

Стр. 324. *Коллонтай* Александра Михайловна (1872—1952) — деятель большевистской партии, дипломат, автор повестей «Василиса Малыгина», «Любовь трех поколений» и «Сестры» (1923), «Большая любовь» (1927); *«Дневник Кости Рябцева»* — повесть Н. Огнева (1927); *Я знаю одного художника-испанца...*— Имеется в виду Пабло Пикассо.

Стр. 325. *Харьковский конгресс.*— Речь идет о 2-й Международной конференции революционных писателей (Харьков, ноябрь, 1930);

[1] Звезда, 1933, № 7, с. 207.
[2] Художественная литература, 1933, № 1, с. 9.
[3] Борьба классов, 1934, № 10, с. 104.

...последнюю картину Эйзенштейна.— «Старое и новое» (1929); *Леррус* Гарсиа Алехандро (1864—1949) — с 1933 г. премьер-министр Испании.

Стр. 326. *Марч* Хуан (1884—1962) — миллионер, финансист; *Прието* Индалесио (1883—1962) — политический деятель, с 1936 г. морской, затем военный министр.

Стр. 329. *Асанья* Мануэль (1880—1940) — писатель, глава правительства, затем президент Испанской республики; *Маура* Мигель (1887—1971) — лидер правой республиканской партии, с 1931 г.— член правительства.

Стр. 330. *Кортесы* — испанский парламент.

Стр. 331. *Кокто* Жан (1889—1963) — французский писатель, художник, театральный деятель, кинорежиссер.

Стр. 333. *Сурбаран* Франсиско (1598—1664) — испанский художник; *Рибера* Хусепе (1591—1652) — испанский художник; *камереро* (исп.) — официант; *дон Альфонсо* — имеется в виду Альфонс XIII (1886—1941), король Испании в 1902—1931 гг.; *Романонес* граф Фигероа-и-Торрес, Альваро (1863—1950) — лидер испанской либеральной партии; *Самора* Алкала (1877—1949) — президент Испанской республики в 1931—36 гг.

Стр. 334. *Торквемада* Томас (1420—1498) — глава испанской инквизиции; *Лопе де Вега* (Вега Карпьо Лопе Феликс де; 1562—1635) — испанский драматург; *Иглесиас* Эмилиано (1878—1941) — адвокат и политический деятель, входил в правительство Лерруса; *пакт Келлога* — об отказе от войны как орудия политики, подписан в 1928 г. в Париже 15-ю странами.

Стр. 335. *Превращение Альдонсы в Дульцинею...*— Альдонса (героиня романа М. Сервантеса «Дон Кихот») — сельская девица, превращенная мечтательным воображением Дон Кихота в Дульсинею Тобосскую.

Стр. 336. *«Дон Кихот»* — балет Л. Минкуса.

Стр. 337. *Альфонс XII* (1857—1885) — испанский король (1874—1885); *Кобленц* — место пребывания французской монархической эмиграции.

Стр. 338. *Король Родриго* — кастильский идальго Родриго Диас де Бивар (Сид; 1043 ?—1099), идеализированный народный герой; *хаимисты* — сторонники претендента на испанский престол Хаиме; *Камбо* Франсиско (1875—1947) — каталонский общественный деятель; *Масия* Франсиско (1859—1933) — лидер левой республиканской партии Каталонии, глава каталонского правительства в 1931—1933 гг.

Стр. 340. *Примо де Ривера* Мигель (1870—1930) — генерал, в 1923—1930 гг. фактический диктатор Испании; *В Севилье имеется своя «ABC».*— Эта газета после поездки Эренбурга в Испанию весной 1936 г. писала о «вояже советского эмиссара», провоцирова-

вшего революцию; *Галан* Фермин — испанский писатель, в 1930 г. пытался поднять антимонархическое восстание в крепости Хака; расстрелян в 1930 г.; *Ферреро* Гуардиа Франсиско (1859—1909) — анархист.

Стр. 341. *Апрельская переделка* — революция, свергшая Альфонса XIII; *Мак-Магон* Патрис (1808—1893) — маршал Франции, разгромивший Парижскую коммуну; *Унамуно* Мигель де (1864—1936) — испанский писатель, философ.

Стр. 344. *Алькальд* — глава городской администрации, выборный староста в деревне.

Стр. 345. *Протоиерей из Ита* — Хуан Руис (1283—ок. 1350), испанский поэт; *Хорхе Манрике* (ок. 1440—1479) — испанский поэт, Эренбург переводил его стихи.

Стр. 346. *Людовик XIV* (1638—1715) — французский король; *Карл V* (1500—1558) — император Священной Римской империи, испанский король (1516—1556).

Стр. 347. Эль *Греко* (Доменико Теотокопули; 1541—1614) — испанский художник; *Гонгора*-и-Арготе Луис де (1561—1627) — испанский поэт.

Стр. 348. *Филипп II* (1527—1598) — испанский король.

Стр. 349. *Комб* Эмиль (1835—1921) — французский министр, борец с клерикалами; *Марианна* — символ Франции.

Стр. 352. *Гонсало де Берсео* (конец XII — нач. XIII в.) — испанский поэт.

Стр. 358. *Ольсон* — персонаж романа И. Эренбурга «Единый фронт»; его прототипом послужил Крейгер; *Бласко Ибаньес* Висенте (1867—1928) — испанский писатель; *Бурбоны* — королевская династия во Франции, Сицилии и Испании (в Испании правила с перерывами с 1700 по 1931 г.).

Стр. 359. *Брюнинг* Генрих (1885—1970) — германский рейхсканцлер в 1930—1932 гг.

Стр. 361. *Марокканская война* — война между марокканской республикой Риф и Францией и Испанией (1921—1926).

Стр. 364. *Мурильо* Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский художник.

Стр. 370. *Пантелеймон* Сергеевич *Романов* (1884—1938) — русский писатель.

Стр. 374. *«Веселая вдова»* — оперетта Ф. Легара (1905); *Распутин* Григорий Ефимович (1872—1916) — крестьянин, царский фаворит.

Стр. 378. *Морис Шевалье* (1888—1972) — шансонье.

Стр. 379. *Сноуден* Филипп (1864—1937) — министр финансов Великобритании, лейборист.

Стр. 380. *Мосли* Освальд (1896—1980) — лидер английских фашистов; *Тардье* Андре (1876—1947) — премьер-министр Франции в 1929—1932 гг.

Стр. 381. *Альгамбра* — дворцовый комплекс в Гранаде.

Стр. 383. *Guardia civil* (исп.) — гражданская гвардия.

Стр. 384. *Санхурхо* Хосе (1872—1936) — генерал, один из организаторов мятежа.

Стр. 386. *Кабальеро* Ларго (1869—1946) — премьер-министр Испании в 1936—1937 гг.

Стр. 387. *Эфебы* — божества, служившие Эроту (греч. миф.).

Стр. 388. *Роман Гладкова* — «Цемент» (1925).

Стр. 392. *Георг* V (1865—1936) — король Великобритании с 1910 г.

Стр. 395. *Реклю* Жан Элизе (1830—1905) — французский географ, социолог; *Маймонид* (Моше бен Маймон, 1135—1204) — еврейский философ, уроженец Испании.

Стр. 396. «Credo quia absurdum est» (лат.) — «Верю, ибо это нелепо» (изречение, приписываемое христианскому теологу и писателю Тертуллиану).

Стр. 398. *Бакунин* Михаил Александрович (1814—1876) — русский революционер, теоретик анархизма.

Стр. 399. *Пабло Иглесиас* (1850—1925) — председатель социалистической рабочей партии и Всеобщего союза трудящихся Испании.

Стр. 400. *Ганди* Махатма (1869—1948) — идеолог индийского национально-освободительного движения.

Стр. 404. *Мериме* Проспер (1803—1870) — французский писатель, автор ряда произведений на испанские темы («Кармен», «Театр Клары Гасуль» и др.); *Сулоага*-и-Савалета Игнасио (1870—1945) — испанский художник; *Монтерлан* Анри де (1896—?) — французский писатель.

Стр. 405. «*Мундо обреро*» — газета испанской компартии.

Стр. 406. *Светлов* Михаил Аркадьевич (1903—1964) — поэт, автор стихотворения «Гренада»; *Лакретель* Жак де (1888—1985) — французский писатель; *Ларбо* Валери (1881—1957) — французский писатель.

Стр. 422. *Рамон Гомес де ла Серна* (1891—1963) — испанский писатель.

Стр. 423. *Гойя* Франсиско Хосе де (1746—1828) — испанский художник.

Стр. 424. *Франсуа Вийон* (1431—?) — французский поэт.

Стр. 425. *Домье* Оноре (1808—1879) — французский художник.

Стр. 426. *Дуррути* Буэновенкуро (1896—1936) — один из лидеров испанских анархистов.

Стр. 427. *«Карлисты»* — представители клерикально-абсолютистского движения, развязавшего в XIX в. гражданские (карлистские) войны; после свержения монархии вместе с последователями Бурбонов боролись с республикой.

Стр. 432. *Штирнер* Макс (1806—1856) — немецкий философ, анархист.

ИСПАНСКИЕ РЕПОРТАЖИ

В феврале 1936 г. в Испании победил Народный фронт; резкий сдвиг влево вызвал поляризацию политических сил. Побывав в Испании весной 1936 г., Эренбург вернулся в Париж с мыслью о зреющем в стране выступлении военных. Когда 18 июля 1936 г. военно-фашистский мятеж разразился, Эренбург стал добиваться от «Известий» командировки в Мадрид. Это ему не удалось (в Москве шел процесс над Зиновьевым и Каменевым, набирала обороты машина сталинского террора, и редакции было не до Испании). Полтора месяца парижский корреспондент регулярно посылал в «Известия» обзоры испанских событий по сообщениям его западных коллег, а в конце августа самовольно отправился в Барселону, и с тех пор до февраля 1939 г. совмещал обязанности корреспондента и во Франции и в Испании.

Первые испанские корреспонденции Эренбурга газета печатала под рубрикой «Письма из Испании» — это были беглые зарисовки, свидетельства очевидца; обобщений и военно-политического анализа в них не было. Статьи первого года испанской войны Эренбург собрал в сборник «Испанский закал» (он вышел в Москве весной 1938 г.). «Письма из Испании» вошли во второй испанский фотоальбом Эренбурга («No pasaran!». М.—Л., Изогиз, 1937) в качестве комментария к фотографиям (первый фотоальбом — «UHP» — показывал Испанию весны 1936 г.).

Поначалу Эренбург исполнял в Испании не только журналистские обязанности. Его темперамент, опыт, активная антифашистская позиция требовали более действенного выхода, и Эренбург вел переговоры с правительством автономной Каталонии, с анархистами; организовал передвижную печатню и выпускал по-испански агитгазеты для окопов, разъезжал по передовым позициям с кинопередвижкой. Это позволило ему узнать испанскую войну изнутри. Примерно с конца 1936 г. Эренбург отошел от нежурналистской работы (возможно, толчком к этому послужило все более заметное участие в испанских событиях агентов НКВД; о масштабах и характере их деятельности Эренбург мог судить по многим фактам; обстоятельства сводили его в Испании с такими, например, крупными деятелями НКВД, как Орлов и Котов-Эйтингон).

Летом 1937 г. Эренбург участвует в подготовке и проведении второго антифашистского конгресса писателей в Испании; затем берет в газете отпуск и пишет на материале испанских событий повесть «Что человеку надо». Время от времени по заданиям газеты он выезжает из Испании в Париж. Самая длительная отлучка из Испании произошла, когда, приехав ненадолго в Москву в декабре 1937 г.,

Эренбург вплоть до мая 1938 г. не мог получить разрешения на возвращение в Мадрид и полгода провел в эпицентре сталинского террора.

С июня 1938 г. и до падения Испанской республики Эренбург снова в Мадриде, Валенсии, Барселоне. Статьи 1938 г.— вершина его испанской публицистики. Они органически сочетают в себе гнев и сарказм, пафос и иронию, элементы очерка, репортажа и памфлета, документы. В этих статьях голос Эренбурга звучит естественно и страстно.

Испанские статьи Эренбурга никак не напоминают очерки «Визы времени». Их автор — участник событий, занявший свою сторону баррикад. Он знает, за что и с кем сражается. Отсюда сила его статей — яд их сарказма и ирония приобрели убойную мощь. Но для читателей, удаленных от испанских событий на полвека, очевиден и недостаток этих репортажей — говоря о республиканцах, Эренбург вынужден о многом молчать (об участии СССР в испанских событиях, о разногласиях в республиканском лагере, о жестокостях гражданской войны). Писатель знал и понимал куда больше, чем мог позволить себе сказать. Недаром, в отличие от иных участников войны в Испании, он сразу принял не только роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», но и «Испанское завещание» Кёстлера.

За годы испанской войны Илья Эренбург написал три с половиной сотни статей и репортажей. Летом 1938 г. он составил из них книгу «В Испании», которую удалось довести до верстки. Поражение Испанской республики и прогитлеровская ориентация Сталина помешали ей выйти из печати. Испанские статьи Эренбурга были собраны и изданы в относительно полном объеме лишь в 1986 г. (Эренбург И. Испанские репортажи. 1931—1939, М., АПН); по этому тексту они и печатаются. Исключение составляет статья «Кровь Испании», не вошедшая в сборник и печатающаяся по «Известиям»; в статье «Мате Залка, генерал Лукач» восстановлена редакторская купюра.

Барселона в августе 1936 (с. 435).— Впервые: Эренбург И. Соч., т. 5. М., Гослитиздат, 1954.

Панча Вилья (Вилья Франсиско; 1877—1923) — руководитель крестьянского движения в Мексике; *Кропоткин* Петр Алексеевич (1842—1921) — князь, революционер-анархист.

Мадрид в сентябре 1936 (с. 436).— Впервые: Эренбург И. Соч., т. 5, М., Гослитиздат, 1954.

На груди две звездочки.— Знаки различия испанской армии носились над левым нагрудным карманом, на рукаве и головном уборе; *Талавера* — транспортный узел на подступах к Мадриду, захвачен мятежниками 4 сентября 1936 г.

Ночью на дороге (с. 438).— Впервые: Известия, 23 сентября 1936.

В Толедо (с. 440).— Впервые: Известия, 23 сентября 1936.

FAI — Федерация анархистов Иберии.

Под Талаверой (с. 443).— Впервые: Известия, 27 сентября 1936.

Рафаэль Альберти (р. 1902) — поэт; *Мария Тереса Леон* (1905—?) — писательница, жена Р. Альберти.

Мальпика (с. 444).— Впервые: Известия, 29 сентября 1936.

Дуран Мартинес Густаво (р. 1907) — композитор, музыковед, во время гражданской войны командир бригады, затем дивизии, корпуса; после войны — переводчик в ООН.

У Дуррути (с. 446).— Впервые: Известия, 5 октября 1936.

CNT — Национальная конфедерация труда; *UGT* — Всеобщий рабочий союз; объединение профсоюзов, созданное Испанской социалистической рабочей партией.

Вокруг Уэски (с. 448).— Впервыс: Известия, 6 октября 1936.

Макасеев Борис Константинович (р. 1907) — кинодокументалист.

Вечером в Гвадарраме (с. 450).— Впервые: Известия, 9 октября 1936.

«Красные крылья» (с. 451).— Впервые: Известия, 12 октября 1936.

Барселона в октябре 1936 (с. 453).— Впервые: Эренбург И. «No pasaran!». М.— Л., Изогиз, 1937.

Хиль Роблес Хосе Мария (1898—1981) — глава католической организации СЭДА; «*UHP*» — сокращение от «Union Hermanos Proletarios» (исп.) — Союз братьев-пролетариев.

Художник Гомес (с. 455).— Впервые: Известия, 21 октября 1936.

Элиос Гомес (1905—1956) — испанский художник, плакатист.

Интернациональные бригады (с. 456).— Впервые: Известия, 17 декабря 1936.

Домбровский Ярослав (1836—1871) — польский революционер, главнокомандующий Парижской Коммуны; *Андре* Эдгар — немецкий коммунист, казненный гитлеровцами в 1936 г.

Мадрид в декабре 1936 (с. 459).— Впервые под заголовком «О Мадриде»: Известия, 20 декабря 1936.

Барселона в феврале 1937 (с. 460).— Впервые под заголовком «Барселона под обстрелом»: Известия, 15 февраля 1937.

«*Мы из Кронштадта*» — фильм Е. Дзигана (1936); Эренбург показывал его в Испании.

Малага (с. 461).— Впервые: Известия, 16 февраля 1937.

Лондонский комитет — Комитет 27-и европейских государств по невмешательству в испанские дела (1936—1939), заседал в Лондоне; *Кейпо де Льяно* Гонсало (1875—1951) — генерал республиканской армии, перешедший на сторону мятежников; фон *Фаупель* — немецкий генерал, посол гитлеровской Германии у Франко.

Под Теруэлем (с. 465).— Впервые под заголовком «Возле Теруэля»: Известия, 3 марта 1937.

Пако — уменьшительное от Франсиско.

Судьба Альбасете (с. 467).— Впервые: Известия, 5 марта 1937.

Харама — в феврале 1937 г. в битве при Хараме победила республиканская армия.

Сапожник Грего Сальватори (с. 470).— Впервые: Известия, 16 марта 1937.

Липарские острова — местонахождение тюрьмы.

Кампесино — крестьянский командир (с. 471).— Впервые: Известия, 4 апреля 1937.

Кампесино (Валентин Гонсалес; 1904—1979) — один из военных руководителей республиканской Испании; *Бургос* — столица мятежников.

Мадрид в апреле 1937 (с. 472).— Впервые: Эренбург И. Соч., т. 5, М., Гослитиздат, 1954.

Кеведо-и-Вильегас Франсиско (1580—1645) — испанский писатель.

День в Каса-де-Кампо (с. 474).— Впервые: Известия, 10 апреля 1937.

Пасионария (Долорес Ибаррури; 1895—1989) — одна из лидеров испанской компартии.

Брунете (с. 476).— Впервые: Эренбург И. Испанские репортажи, М., АПН, 1986.

На конгрессе писателей...— Второй конгресс международной ассоциации писателей для защиты культуры в Валенсии, Мадриде и Париже (4—17 июля 1937); *Хосе Бергамин* (1895—1983) — писатель, критик, президент Союза антифашистской интеллигенции Испании; *Апарисио* Антонио (р. 1917) — поэт; *Ставский* Владимир Петрович (1900—1943) — писатель; *Вишневский* Всеволод Витальевич (1900—1951) — писатель.

На Теруэльском фронте (с. 477).— Впервые: Известия, 18 декабря 1937.

В моем последнем очерке...— «Перед битвами» (Известия, 14 декабря 1937).

Горе и счастье Испании (с. 481).— Впервые: Известия, 1 января 1938.

Кагуляры — члены французской террористической организации 30-х гг.; *герцог Альба* — представитель Франко в Лондоне; *Сид* — см. примеч. на с. 609; *Коста*-и-Мартинес X. (1846—1911) — испанский публицист; *«поколение 98-го года»* — испанские писатели, пришедшие в литературу под знаком поражения Испании в войне с США в 1898 г., их духовным вождем был Мигель де Унамуно; *Густав Реглер* (1898—1963) — немецкий писатель, после испанской войны порвал с коммунизмом.

Мате Залка, генерал Лукач (с. 485).— Впервые: Известия, 12 июня 1938.

Мате Залка (1896—1937) — венгерский писатель, генерал испанской республиканской армии; *...вскоре после Гвадалахары.*— Битва под Гвадалахарой (март 1937) окончилась первой победой республиканских войск над франкистами; *«Добердо»* — роман М. Залки (1937); *Херасси* Фернандо (1899—1974) — художник, начальник оперативного отдела штаба 12-й интербригады; *Белов* (Карло Луканов; 1897—1982) — болгарский государственный деятель, участник испанской войны; *Петров* (Фердинанд Козовский; 1892—1965) — болгарский государственный деятель, участник испанской войны; *Алеша* (Алексей Владимирович Эйснер; 1905—1984) — писатель, адъютант генерала Лукача.

Правды! (с. 488).— Впервые: Известия, 14 июня 1938.

Герника — город в стране Басков, разрушенный немецкой авиацией в 1937 г.; *соглашение № 2* — англо-итальянское соглашение от 16 апреля 1938 г., содержало обещание Италии отозвать своих волонтеров из Испании после окончания войны.

К т о о н и? (с. 491).— Впервые: Известия, 21 июня 1938.

Кальдерон де ла Барка Педро (1600—1681)—испанский драматург.

В о к р у г Л е р и д ы (с. 497).— Впервые: Известия, 28 июня 1938.

Лорд Плимут—председатель Комитета по невмешательству; *...после мартовского удара*—после битвы при Гвадалахаре; *Антонио Мачадо*-и-Руис (1875—1939)—испанский поэт.

Б а р с е л о н а в и ю н е 1 9 3 8 (с. 501).— Впервые под заголовком «В Барселоне»: Известия, 17 июля 1938.

Гарсиа Лорка Федерико (1898—1936)—поэт и драматург, расстрелянный фалангистами в начале мятежа.

Д в е п р и т ч и (с. 504).— Впервые: Известия, 27 июля 1938.

Жак Дорио (1898—1945)—член политбюро Компартии Франции, вышедший из нее и перешедший на сторону Гитлера.

Д о л о р е с И б а р р у р и (с. 507).— Впервые: Ленинградская правда, 1 августа 1938.

Массалитинова Варвара Осиповна (1878—1945)—народная артистка РСФСР; *Модесто* (Гильочо Леон Хуан; 1906—1969)—командующий республиканской армией на Эбро.

Э б р о (с. 511).— Впервые: Известия, 20 сентября 1938.

...«тринадцать пунктов Негрина»—программа республиканского правительства Хуана Негрина от 30 апреля 1938 г., предусматривающая глубокие социально-экономические преобразования; *Негрин* Хуан (1894—1956)—премьер-министр Испании в 1937—1939 гг.; *Линия Мажино*—система французских пограничных укреплений; *Мигель Тагуэнья* (1913—1971)—военачальник республиканской армии.

Н о ч ь н а д Е в р о п о й (с. 518).— Впервые: Известия и Правда, 7 ноября 1938.

Маттеотти Джакомо (1885—1924)—итальянский социалист, антифашист; *Веймарская конституция*—конституция Германии, принятая 31 июля 1919 г. в Веймаре, заменившая монархию республикой; *Гитлер вызвал к себе представителей двух демократических держав.*— Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. Даладье в Мюнхене 29—30 сентября 1938 г. заключили с Гитлером и Муссолини соглашение, удовлетворявшее претензии Германии; *Хабеас Корпус*—закон о неприкосновенности личности, принятый английским парламентом в 1679 г.; *Салазар* Антониу ди Оливейра (1889—1970)—фашистский диктатор Португалии; *лорд Ренсимен*—глава английской миссии во время переговоров Чехо-Словакии с судетскими немцами в августе—сентябре 1938 г.

Волки (с. 522).— Впервые: Комсомольская правда, 4 декабря 1938.

Маринетти Филиппо Томмазо (1876—1944) — итальянский писатель, сподвижник Муссолини; *...поляки в Тешине.*— В 1939 г. часть Чехо-Словакии с г. Тешин захватила Польша; *Хорст Вессель* (убит в 1930 г.) — сутенер, ставший легендарным нацистским героем.

«Кровь Испании» (с. 526).— Впервые: Известия, 29 января 1939.

Андре Мальро (1901 — 1976) — французский писатель, государственный деятель; *Абель Гидес* (1908—1937) — французский летчик, воевал в Испании; *Майльстоун* Льюис (1895—1980) — американский кинорежиссер; *Пабст* Георг Вильгельм (1885—1967) — см. примеч. на с. 605.

Борьба до конца (с. 529).— Впервые: Известия, 5 февраля 1939.

Исход (с. 533).— Впервые: Известия, 6 февраля 1939.

Леон Берар — французский сенатор, вел переговоры о признании Францией правительства Франко.

Умер поэт Антонио Мачадо (с. 536).— Впервые: Известия, 24 февраля 1939.

Неруда Пабло (1904—1973) — чилийский поэт.

ЭССЕ

Тема литературы и искусства занимает существенное и неизменное место в публицистике Ильи Эренбурга (первая опубликованная им в 1911 г. статья — рецензия на книги М. Кузмина «Сети» и «Куранты любви»; последняя из написанных им статей посвящена творчеству К. Паустовского).

Взгляды Эренбурга на искусство не раз, и достаточно радикально, менялись, как правило, вместе с его политической ориентацией. От увлечения эстетизмом и католицизмом он перешел к конструктивизму и культу «вещи», а от них — к борьбе с американизацией (машинизацией) европейского искусства и к романтизму. Что бы ни писал Эренбург об искусстве, это всегда вызывало резкие споры. «За годы войны и революции Эренбург переменил несколько церквей, но в каждой был случайным и нерадивым прихожанином»,— заметил в давней книге М. Слоним[1]. Это была реакция на перепады политических и эстетических пристрастий писателя в 1917—1922 годах. Рассматривая его эссеистику на более протяженном отрезке времени, легко увидеть в ней нечто неизменное — заинтерессованное, пылкое

[1] Слоним М. Портреты советских писателей. Париж, «Парабола», 1933, с. 101.

отношение к предмету, в чем Эренбург всегда оставался поэтом. Эренбург, осуждавший в 1918 г. грубый диктат левых мастеров, и Эренбург, защищавший в 1936 г. Тышлера и Мейерхольда, это один и тот же публицист. Он не был теоретиком, в его статьях об искусстве речь идет о том, что ему лично близко и дорого, но этот страстный, откровенный субъективизм, острота, парадоксальность высказываний придают его эссеистике не только черты яркого, индивидуального стиля (недаром написанное Эренбургом узнается по нескольким строчкам), но и особую содержательность.

Статьи об искусстве 20—30-х гг. входили в сборники публицистики Эренбурга «Белый уголь, или Слезы Вертера» (1928), «Затянувшаяся развязка» (1934) и «Границы ночи» (1936); печатаются по этим сборникам и по т. 7 Собрания сочинений (1966).

Романтизм наших дней.— Впервые: Парижский вестник, 1 декабря 1925; в СССР — Вечерняя красная газета (Л.), 24 и 28 декабря 1925; печатается по сб.: «Белый уголь, или Слезы Вертера».

Стр. 541. *Треченто* — итальянское название XIV в., периода интенсивного развития гуманизма в итальянской культуре; *...снаряды Круппа...*— Речь идет о металлургическом и машиностроительном концерне; *бывший «Треугольник»* — завод резиновой обуви в Петербурге, ныне «Красный треугольник».

Стр. 542. *Сухаревка* — барахолка на Сухаревской площади в Москве; *Татлин* Владимир Евграфович (1885—1953) — живописец, график, художник-конструктор; *Ревель* — Таллинн; *«Саломея» Таирова* — спектакль московского Камерного театра, поставленный А. Я. Таировым по пьесе О. Уайльда (1917); *Клодель* Поль Луи Шарль (1868—1955) — французский писатель, драматург; *Малевич* Казимир Северинович (1878—1935) — художник.

Стр. 543. *Леже* Фернан (1881—1955) — французский художник; *Глез* Альбер (1881—1953) — французский художник, теоретик кубизма; *«Нигде кроме, как в Моссельпроме»* — реклама В. Маяковского; *перья Ватермана* — авторучки; *«Лес»* — спектакль, поставленный Вс. Мейерхольдом по пьесе А. Н. Островского (1924); *Редактор французского журнала «Эспри нуво»...*— архитектор и теоретик архитектуры Ле Корбюзье.

Стр. 544. *Ревербер* — фонарь с вогнутым зеркалом; *«ахрровцы»* — участники Ассоциации художников революционной России (АХРР; 1922—1932); *мистер Куль* — см. примеч. на с. 594.

Стр. 545. *Вертер* — герой романа Гете «Страдания молодого Вертера»; *Андрей Белый* (Бугаев Борис Николаевич; 1880—1934) — писатель, один из лидеров символизма; *Икар* — см. примеч. на с. 595; *Кадум* — французское мыло; на его рекламе изображался малыш Кадум в мыльной пене.

Стр. 546. *Лилиан Гиш* (1896—?) — американская киноактриса;

Морис Дени (1870—1943)—французский живописец; *Анри де Ренье* (1864—1936)—французский писатель; *Луи Арагон* (1897—1982)—французский писатель; впоследствии Эренбург оценил тогдашних сюрреалистов П. Элюара и Р. Десноса.

Стр. 547. «*Скифство*»—идеологическое течение в славянофильстве; «*великий бог любви—великий бог деталей*»—неточная цитата из стихотворения Б. Пастернака «Давай ронять слова» (1917); «*В кашне, ладонью заслонясь...*»—из стихотворения «Про эти стихи» (1917).

Стр. 548. *Баррес* Жюль - правый политический деятель; *Утрилло* Морис (1883—1955)—французский живописец; *Мак-Орлан* Пьер (1882—1970)—французский писатель; *тартаренский весельчак*—по имени героя трилогии А. Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона»; *Дельтейль* Жозеф (1894—?)—французский писатель; *Жюль Ромен* (1885—1972)—французский писатель.

Стр. 549. *Тетанос* (греч.)—судорога; «*Нива*»—еженедельный иллюстрированный литературно-художественный и научно-популярный журнал (Петербург, 1870—1918).

Ложка дегтя.— Впервые: «Белый уголь, или Слезы Вертера».

Стр. 550. *Сейфуллина* Лидия Николаевна (1889—1954)—писательница; *Орешин* Петр Васильевич (1887—1938)—поэт.

Стр. 552. *...вдова Клико*—марка шампанского; *Сем Тоб*—испанский поэт первой половины XIV в.; *Педро* Первый (Жестокий; 1334—1369)—король Кастилии и Леона.

Стр. 554. *Андре Спир* (1868—1966)—французский поэт, теоретик верлибра; Эренбург посвятил его стихам статью «Святое «нет» (Камена, № 2, Харьков, 1919); «*Непостоянство*»—стихотворение А. Спира, переведено И. Эренбургом в 1914 г. для антологии «Поэты Франции».

Их герой.— Впервые: Известия, 30 марта 1933.

Стр. 555. *Гугенберг* Альфред (1865—1951)—коммерческий директор концерна Круппа, финансировал нацистов; *Кавеньяк* Луи Эжен (1802—1857)—французский генерал, подавивший Июньское восстание 1848 г.; *Галифе* Гастон (1830—1909)—французский генерал, подавивший Парижскую коммуну; *бравые сенегальцы*—сражались в составе французской армии, оккупировавшей Рейнскую область в результате первой мировой войны; *Фридрих Великий* (1712—1786)—прусский король с 1740 г., полководец.

Стр. 558. *Киш* Эгон Эрвин (1885—1948)—чешско-австрийский писатель, журналист; *Рот* Йозеф (1894—1939)—австрийский писатель; *Голичер* Артур (1869—1941)—немецкий писатель; *Меринг* Вальтер (1896—?)—немецкий писатель; *Зегерс* Анна (1900—1983)—немецкая писательница; *Брехт* Бертольд (1898—1956)—немецкий поэт, драматург; *Бехер* Иоганнес Роберт (1891—1958)—немецкий

поэт; *Пливье* Теодор (1892—1955) — немецкий писатель; *Цвейг* Арнольд (1887—1968) — немецкий писатель.

Стр. 559. *Доктор Мабузо* — герой фильма немецкого режиссера Фрица Ланга «Доктор Мабузе — игрок» (1922; в советском прокате «Позолоченная гниль»); *доктор Калигари* — см. примеч. на с. 596.

Стр. 560. *Горгулов* Павел (1895—1932) — русский эмигрант, убийца французского президента Думера.

Андре Мальро.— Впервые: Литературная газета, 11 июня 1933.

Стр. 560. *Новый роман Андре Мальро...*— «Удел человеческий» (в первых русских публикациях — «Условия человеческого существования»).

Стр. 561. «*Стандард*» (Стандард ойл компани оф Калифорния) — нефтяная монополия США; «*Рояль-Детч*» (Ройял Датч-Шелл Груп) — нидерландско-английская нефтяная монополия; *...разгром китайской революции.*— События 1925—1927 гг. в Китае; *Иль-де-Франс* — см. примеч. на с. 595.

Стр. 562. *Гоминьдан* — национальная партия Китая, основана в 1912 г.; *Савинков* Борис Викторович (1879—1925) — эсер, политический деятель, террорист, автор романов (псевдоним — В. Ропшин).

Стр. 565. *Мориак* Франсуа (1885—1970) — французский писатель; *Чжан Цзолинь* (1876—1926) — китайский военный и политический деятель прояпонской ориентации; *Бодлер* Шарль (1821—1867) — французский поэт.

Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.— Впервые: Правда и Литературная газета, 22 августа 1934.

Стр. 568. *Бредель* Вилли (1901—1964) — немецкий писатель; *Новомеский* Лацо (1904—1976) — словацкий поэт.

Стр. 570. «*Глазами советского писателя*» — сборник эссе И.Эренбурга (Париж, изд-во «Галлимар», 1934, перевод Мадлен Этар).

Стр. 571. *Каупер* — доменный воздухонагреватель; «*Встречный*» — фильм Ф. Эрмлера и С. Юткевича (1932).

Стр. 574. *Я написал роман...*— «День второй»; *Бобрики* — ныне Новомосковск, в 30-е гг. там был построен химкомбинат; «*Моцарт и Сальери*» — одна из «Маленьких трагедий» А. Пушкина.

Стр. 575. *Дос Пассос* Джон (1895—1970) — американский писатель; *Гусев-Оренбургский* Сергей Иванович (1867—1963) — писатель.

Стр. 576. *Алексей Максимович* — Горький; *Сезанн* Поль (1839—1906) — французский живописец; *Давид* Жак Луи (1748—1825) — французский живописец; *Марат* Жан-Поль (1743—1793) — один из вождей якобинцев.

Стр. 577. *Коршевский театр* — московский театр, основанный предпринимателем Ф. А. Коршем в 1882 г., закрыт в 1932 г.

За наш стиль.— Впервые: Известия, 15 октября 1934.

Стр. 578. *Я много пережил, сидя в Колонном зале* — на Первом съезде советских писателей.

Стр. 579. *Авдеенко* Александр Остапович (р. 1908) — молодой рабочий, автор романа «Я люблю»; *Среди нас был курд...*— Аджиэ Джинди (р. 1908); *...когда один из делегатов... впервые на съезде произнес имя Маяковского.*— Лев Кассиль, выступивший 21 августа.

Стр. 580. *Грузинский поэт* — видимо, речь идет о Паоло Яшвили, выступившем 23 августа;

Стр. 580. *...засыпать снарядами все Реймсы...*— Имеется в виду уничтожение Реймского собора немецкой артиллерией в 1914 г.

Стр. 581. *Шишков* Александр Семенович (1754—1841) — писатель и государственный деятель, будучи министром просвещения, ввел реакционный цензурный устав; *Клопшток* Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт и драматург; *Шатобриан* Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель, политический деятель; *Мане* Эдуар (1832—1883) — французский живописец, *Делакруа* Эжен (1798—1863) — французский художник.

Стр. 583. *Курбе* Гюстав (1819—1877) — французский живописец; *Грез* Жан-Батист (1725—1805) — французский художник-сентименталист; *Буше* Франсуа (1703—1770) — французский живописец, мастер грациозных мифологических и пасторальных полотен; *Маковский* Константин Егорович (1839—1915) — живописец-передвижник; *Базаров* — герой романа И. Тургенева «Отцы и дети»; *Писарев* Дмитрий Иванович (1840—1868) — публицист, критик, революционный демократ.

Стр. 585. *Бальдур фон Ширах* (р. 1907) — нацистский военный преступник; *Тельман* Эрнст (1886—1944) — лидер Германской компартии, 3 марта 1933 г. схвачен гестапо; *Штеренберг* Давид Петрович (1881—1945) — живописец и график; *Тышлер* Александр Григорьевич (1898—1980) — театральный художник, живописец и график.

Стр. 586. *Надсон* Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт; «*Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает...*» — из стихотворения Надсона «Не говори мне» (1886).

Стр. 587. *Рябушинский* Николай Павлович (1876—1951) — промышленник, меценат; в московском особняке Рябушинского с 1932 г. жил А. М. Горький; *Довженко* Александр Петрович (1894—1956) — кинорежиссер, драматург; *Васильевы* (Георгий Николаевич, 1899—1946, и Сергей Дмитриевич, 1900—1959) — кинорежиссеры и кинодраматурги; *Вертов* Дзига (1895—1954) — кинорежиссер.

Б. Фрезинский, В. Попов

Содержание

ВИЗА ВРЕМЕНИ

ИСПАНИЯ

ЭССЕ

Эренбург И. Г.

Э 76 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 4. Очерки; Репортажи; Эссе; 1922—1939 / Сост., подгот. текста И. Эренбург и Б. Фрезинского; Комм. Б. Фрезинского, В. Попова.— М.: Худож. лит., 1991.— 623 с.

ISBN 5-280-01625-X (Т. 4)

В четвертый том Собрания сочинений И. Г. Эренбурга вошли очерки, репортажи, эссе, написанные им в 1922—1939 годах.

Э $\frac{4702010206-326}{028(01)-91}$ Подписное **ББК 84Р7**

Илья Григорьевич Эренбург

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

Том четвертый

Подбор иллюстраций
Б. Фрезинского

Редакторы
А. Краковская, К. Вепринцева

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
В. Кулагина

Корректор *О. Журавлева*

ИБ № 6304
Сдано в набор 28.12.90. Подписано в печать 6.08.91.
Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл.-печ. л. 32,76+альбом=33,6. Усл. кр.-отт. 34,85. Уч.-изд. л. 33,03+альбом=33,68. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3897. Заказ № 2000. Цена 10 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.